ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 6 2011

Виктор Астафьев
Любить ближнего своего

Николай Гайдук
Охотники за соловьями

Валентин Курбатов
Качели

Ирлан Хугаев
Ласточки прилетели

Евгений Степанов
Незнакомка в метро

Наталья Данилова
Сила двенадцати

Ксения Кузьминых, 11 лет | **«Рыцарский турнир» | акварель | преподаватель Г. Ю. Макарчук**

Настя Николаева, 12 лет

Художественная школа при Красноярской гимназии «Универс» (№ 1) была открыта в 2004 году. Возглавляет её замечательная художница и педагог Светлана Юрьевна Морозова. Двадцать лет посвятила она системе образования и воспитала не одно поколение учеников, знающих толк в изобразительном искусстве, умеющих понимать и ценить произведения художников всех времён. Ученики Светланы Юрьевны и её коллег становились студентами архитектурных факультетов, художественных училищ и вузов Красноярска и Москвы. Их работы непременно участвуют во всех городских, краевых и районных выставках. Они отличаются не только свежестью взгляда, оригинальностью и непосредственностью, свойственными вообще детскому творчеству, но и культурой, привитой учителями.

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 6 (86) | ноябрь–декабрь | 2011

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН память
Виктор Астафьев
3 **Любить ближнего своего**
Марина Саввиных
7 **Песнь о счастье**
Аркадий Пахомов
154 **На площадке озёрной воды**

ДиН публицистика
Валентин Курбатов
9 **Качели**
Сергей Есин
136 **Страницы дневника**

ДиН стихи
Ирина Каренина
12 **Птицы вы, птицы…**
Юрий Коньков
36 **Предлагаю устроить День**
Владимир Каганов
94 **Стаей журавлиною**
Вениамин Ленский
127 **Твоё слово — листок дубовый**
Кирилл Ковальджи
156 **В сердцевине**
Владимир Захаров
159 **Голос**
Илья Фоняков
161 **Молодость — это надежда**
Вячеслав Самошкин
163 **В дымке детства**
Людмила Абаева
200 **Рождённая сентябрём**
Сергей Лузан
202 **Псковари**
Светлана Хромова
204 **Хорошо, что есть метро…**
Владислава Ильинская
206 **Существенно всё**

ДиН диалог
Юрий Беликов, Марина Попович
13 **Маленькая серебряная ложечка**

ДиН дебют
Лика Галкина
33 **Если можешь не писать…**

ДиН проза
Виталий Пшеничников
60 **Прощание бабушки Евдокии**
Владимир Селянинов
74 **Гонимые**
Лейбгор
86 **Венецианец**

Страницы Международного сообщества писательских союзов
Алексей Сыромятников
95 **Ты помнишь обо мне**
Ёлка Няголова
124 **Нулевая группа**
Свети
125 **Письма из Парижа во Владивосток**
Мурад Саид
128 **В миражах любви**
Сергей Бударин
131 **Кочующий свет**
Алексей Стариков
134 **Старые деревья**

ДиН цитата
130 **«Я не люблю своего почерка…»**
160 **Писатели на марше**

ДиН юмор
Владимир Семёнов
191 **Не покорить вам нашей сельвы!**

Клуб читателей
Евгения Коробкова
194 **Счастье от сердца, горе от ума?**

ДиН юбилей
Николай Игнатенко
198 **Переделкино — Комарово**

Библиотека современного рассказа
Наталья Сафронова
17 **Старый сундук**
Вальдемар Вебер
21 **101-й километр, далее везде…**
Николай Гайдук
37 **Охотники за соловьями**
Ирлан Хугаев
165 **Ласточки прилетели**
Евгений Степанов
176 **Незнакомка в метро**
Дарьяна Антипова
181 **Есть люди**

ДиН критика
Кирилл Анкудинов
207 **Не хотим взрослеть!**

ДиН детям
Наталья Данилова
211 **Сила двенадцати**
Людмила Уланова
243 **В море синем**
Элина Лунегова
244 **Мотя**

ДиН антология
Михаил Ломоносов
6 **Устами движет Бог…**
Николай Некрасов
8 **Позабудь ненавистное слово**
Михаил Дудин
32 **Надежда моя и броня**

246 **Авторы**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ

Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова
Заместитель председателя правительства Красноярского края

А. М. Клешко
Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска

Г. Л. Рукша
Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована картина Валерьяна Сергина «Март. Радостный день».

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

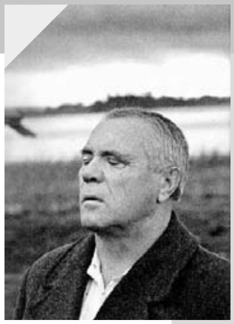
БИК
040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а,
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 17.11.2011
Тираж: 1500 экз.
Номер заказа: 17037

Отпечатано в типографии ООО «Издательство ВВВ».
ул. Пограничников, д. 28, стр. 1.



Виктор Астафьев

Любить ближнего своего

Разговор у печки со съёмочной группой киностудии «Леннаучфильм» (с. Овсянка, 17 сентября 1998 г.)

Десять лет без Астафьева

Середина сентября 1998 года выдалась для Виктора Петровича Астафьева радостной и хлопотливой. С 15 по 18 сентября в Овсянке по инициативе писателя проходили Вторые Провинциальные литературные чтения, на которые съехалось немало гостей. А в канун открытия чтений была освящена церковь, построенная при активном содействии Виктора Петровича.

Вполне логичным был и приезд на эти торжества съёмочной группы киностудии «Леннаучфильм» во главе со старым приятелем Астафьева кинорежиссёром Михаилом Сергеевичем Литвяковым, который к тому времени снял уже три фильма об Астафьеве.

Один любопытный эпизод остался для многочисленных участников праздника «за кадром». Режиссёр придумал эпизод, в котором Виктор Петрович сидит в своей деревенской избе у открытой дверцы печки и о чём-то размышляет, за кадром звучит его голос, а на лице — отблески огня.

Эти несколько секунд экранного времени снимали не менее получаса: надо было найти ракурс, выставить свет и прочие киношные хитрости. А поскольку это был не «синхрон», то есть эпизод снимался без записи звука, то во время подготовки и съёмки у киношников с Виктором Петровичем завязался разговор — не каждый день общаешься с таким выдающимся человеком. Каждому было интересно узнать, что думает Астафьев по поводу тех или иных проблем бытия.

И тут надо сказать спасибо звукооператору съёмочной группы. Понимая значимость личности В. П. Астафьева и то, что каждое слово писателя-мыслителя дорого для всех нас, он записал разговор, хотя понимал, что в картину он не войдёт.

Благодаря этому запись была сделана, к счастью, сохранилась в архиве М. С. Литвякова, он её любезно передал автору этих строк, и сегодня мы можем восстановить «разговор у печки», который происходил более тринадцати лет назад.

Николай Кавин

Астафьев *(разжигает печку)* …Газетой разжигаю. Вы хоть это не снимайте. А то будут потом говорить: «Таёжник, а газетой «Завтра» разжигает печку». Где-то тут должна быть лучина, береста… Всё в ажуре. Миша, рыбу прислали наши знакомые. Васька привозил. Васька же сейчас стал главой администрации. Чудак тоже, каких свет не видел. Судится, прокурора снимал. В общем, тратит время на то, что борется. Но ведь надо не только бороться, но и работать, помогать, зарплату людям платить. А он борется. Сейчас в Енисейске уже не рады этому борцу, что выбрали его. Сейчас начал бороться с начальником охотнадзора. Ну, жулик тот, конечно, и вор, но раз ты выбрался главой администрации — значит, у тебя должны быть и другие дела. Понравилось ему выступать по телевидению…

Вопрос. Виктор Петрович, не уходите с этого места, потому что огонь лицо отсвечивает хорошо. Получается кадр.

Астафьев. Кадр, чёрт подери *(непечатное выражение)*. Шварценеггер овсянский.

Вопрос. Виктор Петрович, как вы считаете, Россия счастливая страна или нет?

Астафьев. Вот ничего себе вопросик. Никогда она счастливой не была, уже и не будет. В таком буржуйском понимании смысла. Её всё время какие-то оккупанты, то свои, то чужие, одолевают. Всё ей хлеба не хватает. Ума не хватает при таком изобилии земли. Когда я японцу одному сказал, посмотрев, как они хлеб насущный добывают: «Вот вам бы наши просторы и землю нашу», — он сказал: «И мы стали бы такие же ленивые, как вы».

Вопрос. Вот раньше за вашей «Царь-рыбой» охотились, чтоб прочитать, а теперь она как бы утонула в море бульварного западного чтива. Что, народ, что ли, у нас поглупел?

Астафьев. Да никуда она не утонула. Многие её прочли, и ещё многие читают. Как шло, так и идёт. Количество читателей по сравнению с тринадцатым годом (хороших читателей, настоящих) ни убыло, ни прибыло. В одиннадцатом году Чарскую читали в сто раз больше, чем Льва Толстого, и Вербицкую в вашей петербургской библиотеке. Мне сказали, и сейчас так же. Читают и Чарскую, и Вербицкую, и Маринину — современную Чарскую. Она дворец себе купила, а я вон избушку топлю. Так было всегда, так и будет.

Вопрос. А писатели русские ничего не пишут почему-то.

Астафьев. Как это не пишут?! Кто тебе сказал?

Вопрос. Ну, нет ничего.

Астафьев. Как это нет? Журналы ежемесячно выходят с очень приличной литературой. Вы ничего не читаете, так и скажите. Маленько надо следить, читать. А то вам кто-то сказал за кружкой пива в петербургской пивнушке, что ничего не пишут. Пишут, очень много пишут. Пишут плохого, как всегда, много, пишут и хорошие вещи. Эпохальных нет—так время такое. Каково время, такова и литература. Но будет готовиться для неё почва. Как будто на Руси не было безвременья. Будто всё время были Пушкины, Лермонтовы и Толстые. Вон ребята сидят здесь, на чтениях, крепкие какие. Жаль, не приехал Олег Павлов. Алёша здесь… Ну, Лёня Бородин, само собой. Миша Кураев.

Вопрос. А почему она такая, действительно, всё время была, что её грабят?

Астафьев. Россия-то? Какая была, такая и есть. Она не менялась.

Вопрос. От кого это всё-таки зависит?

Астафьев. А я откуда знаю, от кого? Ты знаешь?

Вопрос. Вы же писатель, философ!

Астафьев. Ну и что! Хоть писатель, хоть кто. Живу здесь. Родился бы в другой стране—может быть, и лучше был. Тоже бы не осознавал, где живу. Ты думаешь, голландцы или шотландцы, датчане, которые живут прекрасно, осознают, что они живут счастливо? Живут и живут, это их естественное существование. Так и мы живём. Наша жизнь достойна нас, и мы достойны этой жизни. И правительства своего достойны. И оно нас достойно. И нечего тут орать, пузыриться, пускать волны, как нынче говорят. Мы достойны той жизни, которая у нас есть. Мы её сами сотворили, никто нам её не творил. Не американцы никакие. Это всё сказки этих полоумков красных. Большевички всё на американцев пеняют: «Богатство наше забрали, девок наших забрали, картошку нашу сожрали». А хохлы говорят: «Москали сало зъилы». Всё время ищем виноватых.

Вопрос. Есть в России счастливые люди?

Астафьев. Если здоровье есть, о нём не говорят. Так и о счастье. Если оно есть, тоже о нём не говорят и не замечают его. Понятие счастья—такое растяжимое понятие. Один вчера голодный, нажрался хлеба и картошки—и уже счастлив. А другому—и вагона хлеба мало. А третьему всей страны сожрать мало, надо ещё какую-нибудь соседнюю сожрать. А вы такие вопросы задаёте, детские. В детском саду задавай. Там тебе скажут: «Есть, дядя, счастье. Сегодня мама мне дала конфетку. Я очень счастлив». Вот какая-то девочка прыгала и кричала—барабанщик какой-то в Москву знаменитый приехал: «Как я счастлива, я увижу его при моей жизни». А ей лет восемнадцать. Прыгает и орёт.

Вопрос. Ну так ведь счастлива.

Астафьев. Прыгает, сияет вся. Всяк по-своему радуется. По Ерёмке шапка.

Вопрос. Виктор Петрович, можно ещё повернуться?

Астафьев. Опять. Ну что ты… Спина болит… Ну чего тебе надо ещё? Я отыграл так, что на киностудии бы уже пятую ставку с вас сорвали. А я задаром играю вам. Шварценеггера. Живьём сжигаю тело… Вот, дымить начало…

Вопрос. Виктор Петрович, литература затерялась, как сейчас говорят, в виртуальном пространстве…

Астафьев. Где затерялась? Ничего в мире не теряется, ничего не исчезает.

Вопрос. Ни фильмов не смотрит, ни книг не читает молодёжь. Ничего они не знают.

Астафьев. Да как ничего? Кому надо, читают. Умные читают, дураки не читают. Так всегда было. Масса читает массовую литературу. В библиотеку попасть нельзя. Для покупки многие книги недоступны, а библиотеки переполнены. Идёт возврат к классике.

Вопрос. Никто не читает, все смотрят видеозаписи.

Астафьев. Вчера на конференции всё в цифрах вам было доложено: кто что читает, сколько. Для этого и собрались.

Вопрос. Виктор Петрович, ещё вот нужно так же поговорить и немного нагнуться к печке.

Астафьев. Я скоро упаду тут… Я посетил как-то в Екатеринбурге одного детского писателя, прикованного к постели. Он издавался много, печатался. Его навещали друзья, выпить мог, поговорить, фотографировал лёжа, птичек держал. Матрёна Ивановна, мать у него была, ухаживала за ним. Всё вроде хорошо. Остались мы вдвоём, он и говорит: «Витя! Виктор Петрович! Вот если бы один день мне встать на ноги, пройтись по Свердловску, просто посмотреть, как люди ходят, пройтись по парку, это было бы высочайшим счастьем для меня. Я готов всё остальное отдать и тут же умереть». Вот так. Так что одному нужно нажраться до полного кайфа, а другому… Понятие счастья… Как-то приучила нас советская власть оперировать такими терминами, как «счастье», «свобода», «Родина-мать». Запросто произносить «любовь», «ненависть». Подумать бы немножко. Поэтому и оказались мы во время перестройки не готовы ни к чему: ни к мысли, ни к произношению громких слов, ни к действию, ни к работе. И все спрашивают: «Что такое счастье?» и «Куда денется Россия?» Всё-таки надежда-то была, что перестройку будут осуществлять не Ельцин, не Горбачёв, не кто-то третий ещё—народ будет осуществлять. Он будет работать, а эти будут им руководить. Но «руководители» давай воровать, «тащиловкой», пьянством заниматься. А какая-то маленькая часть действительно работающих страдает, не получая зарплаты, удовлетворения от своего труда. Та, которая заслуживала как раз того, чтоб и платили ей как следует, и жизнь её обеспечили. Бывшие коммунисты всё порастащили, у них было всё в руках. А сейчас они кричат о возврате власти (смотрите, сколько удобных случаев было) и не возвращают. Потому что, находясь у власти, надо отвечать. Надо кормить народ. Они знают, что всё разворовано—ими же. А самим своё отдавать не хочется. Вот и орут. Горло широкое, рот откроют. <…>

Вопрос. Но ведь правду говорят, что коммунисты никуда и не уходили?
Астафьев. Не уходили, остались на месте, просто они знали, как ловчей украсть. Они всегда были воры. Но не было позволено — боялись. Кое-кого из них сажали, иногда стреляли. А тут полная свобода получилась. Свободу использовали для воровства, для пьянства, для разгильдяйства. Вон всюду тучи бомжей, среди них половина настоящих мужиков, которые могли бы работать, но подались в бомжи. Там полная независимость и свобода. А сколько он проживёт, этим никто не интересуется. Все их жалеют. Все о них пишут, пытаются помочь. В кино показывают.
Вопрос. Но надежда-то есть выскочить из этого круга?
Астафьев. Надежда всегда есть. Надежда на Бога, что он нам поможет, помнит о нас.
Вопрос. Огонь не горит. Плохо. Надо, чтобы пламя было. Газеты, может, подбросить?
Астафьев. Пламя тебе надо. «Революционное», ещё скажешь.
Вопрос. «Правду», вон ту, старую, можно туда запихать? Горит-то «Правда» коммунистическая, советская, наверное, хорошо?
Астафьев. Я её никогда не выписывал и не читал. Начнём с этого. А бумаги и другой до хрена. Если надо тебе пламя, то и «Наш современник» хорошо горит. Это старый как раз «Современник», периода, когда я в нём работал. Не нынешний, не фашиствующий. Ну, хватит тебе пламени? Опять закоптил избушку.
Вопрос. Виктор Петрович, вы ещё будете писать «о времени, о себе»?
Астафьев. Не буду.
Вопрос. Время же требует, чтобы писатель работал.
Астафьев. Я хочу подлечиться, отдохнуть. От вас время требует, чтобы вы работали. От трудящихся. Я своё отработал, мне семьдесят пять лет. Итог подвёл — издал собрание сочинений. Всё! Не приставайте ко мне!
Вопрос. А как вы относитесь к Лебедю?
Астафьев. А никак. К бабе вот к своей хорошо относился и отношусь, это я могу сказать. А почему я должен как-то к нему относиться?
Вопрос. У нас женщины все: ой, Лебедь, Лебедь…
Астафьев. Ну, так он самец. На вид-то самец. Скажи им, что не отломится, баба у него хорошая… Дымит, курва.
Вопрос. А почему не приехал Распутин?
Астафьев. Он красный, не хочет брататься с этой шоблой.
Вопрос. …которая приехала?
Астафьев. Да.
Вопрос. А может быть, он прав?
Астафьев. Ну, наверное, прав по-своему. У него есть интервью-выступление в Петербурге на пленуме, напечатанное в приложении к газете «Завтра». Всё он объяснил, свою позицию: нечего брататься с теми, «кто изменил Родине, народу».
Вопрос. Но многие ведь изменили.
Астафьев. А если наоборот? Если он изменил?
Вопрос. Смотря в какой степени.
Астафьев. Ах, степень? Я не кладовщик и не продавец, чтобы степень измены на весах определять.
Вопрос. Степень определяется в зависимости от того, сколько людей погубил он своими мыслями. Наверное, так? Но и телевидение же губит людей?
Астафьев. А литература что делала с людьми? Революцию кто сделал семнадцатого года? Наслал на нас Беса? Сделала интеллигенция, та же литература, тот же театр. Зараза эта. Не зря её вешали.
Вопрос. А почему она такая кровожадная оказалась, интеллигенция?
Астафьев. Она не кровожадная. Она делает тихо, как вошь. Грызёт только душу, не тело. Мы сами себе мешаем. Не хотим работать.
Вопрос. Оно мешает нам всем.
Астафьев. Телевидение? Да неправда. Добрым людям, разумным не мешает. Наоборот, помогает развиваться. Что мешает, то отключай. Что тебе охота смотреть — смотри, развивайся… Я увидел массу прекрасных передач, поучительных, узнал многое через телевидение, то, чего раньше не знал и никогда бы не увидел. Хотя бы те же передачи «Клуб кинопутешествий», о редких животных, из Третьяковской галереи, о шедеврах наших. И много-много из театра. Нашли самых виноватых — американцев и телевидение.
Вопрос. Почему отдали рынок американскому телевидению, американским фильмам? Забили весь экран.
Астафьев. Потому что самые дешёвые фильмы. Американцы их не смотрят, но поставляют Африке и нам. Что ж, американцы виноваты, что мы на уровне с Африкой живём? И сознание наше на уровне черножо…ых. Вот нашлись патриоты, врагов ищут. Американцу этому достаётся с двадцатых годов. Всё он нас якобы поедом ест. Я тебе встречный вопрос задам: а надо, чтоб оно, телевидение, осталось?
Вопрос. Надо. Вы же «инженер человеческих душ», о душе думаете. А душа славянская, русская — она исчезает? Почему?
Астафьев. Это я тебя хочу спросить, раз ты веришь: почему? Плохо веришь, да? Некрепко так, неуверенно? Потрепаться лишь бы на этот предмет. Славяне… Патриоты… «Третий Рим»… «Святая Русь»… Это кликушеством называется, между прочим, когда проповедуют то, чего на самом деле нет. Сами же проср…ли Россию и пропили. А вину сваливаем на американцев и сионистов. Американцы и сионисты всегда были и будут. А вот мы будем ли?
Вопрос. А почему у нас такая манера — вечно искать врагов?
Астафьев. Когда человек ни на что не способен, сразу начинает кивать на соседа. У него ограда крепче, девки красивее, картошка крупнее растёт. Лучше работает, вот у него и картошка крупнее. Если это всё убедило, то собака громко лает, спать не даёт. Тут много причин можно найти. Виртуозное умение у народа нашего находить врагов. Если уже нет никого, тогда друг друга, соседа объявим врагом. Вот сейчас

выпустили книгу Барковой. Очень хорошая поэтесса двадцатых годов. Её после первой отсидки выпустили. Она работала. Нигде на предприятия не берут, начала на дому шить. Какой-то профсоюзнице-активистке сшила юбку, попросила сто двадцать рублей. Та пошла и заложила её, будто она антисоветские разговоры ведёт,—чтоб за юбку не платить. И её снова посадили. И таких много сидело. Великолепная поэтесса, и за нежелание выплатить ей заработанные деньги её посадили в тюрьму.

А кто их стрелял в лагерях? Вот я только что прочитал о Бухенвальде рукопись человека, который там пробыл с сорок первого по сорок пятый год. Немцы там никого не истребляли. Евреев прямиком гнали, это да, а тут они наладили свою службу так, что они только наверху давали какие-то указания, проверяли, иногда вмешивались, а истребляли друг друга русские, украинцы, белорусы. Предатели расправлялись со своим народом. Причём чем дальше, тем изощрённей. Предательство и истребление. Так что Бухенвальд—это не немецкое достижение, скорее наше. А наши лагеря были похлеще Бухенвальда. Я прочитал меню в Бухенвальде, что там подавали, но как-то уцелели люди с сорок первого по сорок пятый. А у нас бы уцелел попробовал.

Работать надо как следует каждому на своём месте, возвратиться к Богу, искренно, а не показушно, любить ближнего своего—это и есть вера в Бога. Надо учиться вновь любить. А то мы ищем врагов и ненавидим друг друга. Вот научимся этому всему—тогда, может, уцелеем.

Вопрос. Всё. Закончили.

Астафьев. Слава тебе, Господи!

Вопрос. Спасибо! Виктор Петрович, ещё последний кадр. С полки надо достать книгу… *(Смех.)*

Астафьев. Ну настоящий Коломбо. Доходит до конца, а потом: «Я ещё хотел один вопрос».

Вот построили часовню, библиотеку. Всё достойно удивления. То, что должно быть нормой, мы уже возводим в подвиг. Так научила советская власть. Работает человек хорошо—уже подвиг, не украл котелок с кашей—подвиг, нашёл кошелёк на дороге и вернул—сразу полоса в газете, снимок. Матрёна Ивановна Сидорова, из трудовой семьи, не может позволить себе не вернуть кошелёк…

Из архива кинорежиссёра М. С. Литвякова

Расшифровка, подготовка текста и публикация Н. М. Кавина

ДиН антология *300 лет со дня рождения*

Михаил Ломоносов

Устами движет Бог…

Я долго размышлял и долго был в сомненье,
Что есть ли на землю от высоты смотренье;
Или по слепоте без ряду всё течéт,
И промыслу с небес во всей Вселенной нет.
Однако, посмотрев светил небесных стройность,
Земли, морей и рек добрóту и пристойность,
Премену дней, ночей, явления луны,
Признал, что божеской мы силой созданы.

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарéн!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен,
Что видишь, всё твоё; везде в своём дому,
Не просишь ни о чём, не должен никому.

Устами движет Бог; я с ним начну вещать.
Я тайности свои и небеса отверзу,
Свидения ума священного открою.
Я дело стану петь, несведомое прежним!
Ходить превыше звёзд влечёт меня охота,
И облаком нестись, презрев земную низкость.

На сочетание стихов российских

Я мужа бодрого из давных лет имела,
Однако же вдовой без оного сидела.
Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб,
Бессилен, подл, и стар, и дряхлой был арап;
Сказал, что у меня, кривясь, трясутся ноги,
И нет мне никакой к супружеству дороги.
Я думала сама, что вправду такова,
Не годна никуда, увечная вдова.
Однако ныне вся уверена Россия,
Что я красавица, Российска поэзúя,
Что мой законный муж завидный молодец,
Кто сделал моему несчастию конец.

Марина Саввиных

Песнь о счастье

Памяти В. П. Астафьева

Перечитываю «Последний поклон» — и снова удивляюсь острому переживанию счастья, охватывающего всё моё существо. Художник сохранил для потомков-читателей мир, отнюдь не безмятежный, не безоблачный, но… совершенный, как Божий дар, в пределах которого даже боль и горе — не наказание свыше, а естественное следствие бытия, и миром, жизнью перемалываются, поглощаются, становятся новой плотью и душою, проникают существование как его особая энергия, необходимый жизненный витамин. Сам Астафьев написал в комментариях к пятому тому своего последнего прижизненного собрания сочинений: «Не вдруг, не сразу, но понял я, что чего-то в «Поклоне» не договорил, «перекосил» книгу в сторону благодушия, и получилась она несколько умильной, хотя я к этому сознательно и не стремился, а всё же жизнь пообтесал, острые углы пообпиливал, чтобы дорогие читатели, советские прежде всего, за них штанами не цеплялись и коленки не ушибли. А ведь жизнь тридцатых годов не из одних весёлых детских игрушек и затейливых игр состояла, в том числе и моя жизнь, и жизнь близких мне людей».

Какие уж там «одни весёлые детские игрушки»! Читаешь о маленьком мальчике, жизнь которого мало того что не раз и не два на наших глазах буквально висит на волоске, так ещё и ревматизм его ломает, и заботы — совсем не детские — отягощают его судьбу, а всё равно — «перекосил» в сторону благодушия»… словно боится писатель признаться самому себе в этом «постыдном» стремлении — поведать человечеству о счастье!

Убеждена: всё, что создано пером Астафьева, — почти бессознательная, по-птичьи инстинктивная, песнь о неисповедимой радости бытия. Вот она встаёт с первыми лучами весеннего солнца: «Сияй, солнышко! Радуй первосветом взор младенца и отразись последнею искрой в угасающем зрачке живого существа, чтобы унёс он с собой отблеск света твоего, как надежду на нескончаемость земной жизни»… Вот прячется письмом за божницей в горнице у бабушки Катерины Петровны: «… кто и сколько сватал тётю Маню. Выходило, что сватали её наперебой, и не только наши, деревенские, но и верховские, заезжие из Даурска, Ошарова, Сисима и аж из Минусинска. А сколько раз в кошеве приезжал из города сам Волков! Фотограф! Приезжал честь по чести, с колокольцами, со сватами, с дружками, с вином сладким и с речами ладными, и с присказками складными, а она, раскрасавица наша, чё? Да ничё! Даже на письмо его не ответила. А уж письмо-то было, письмо-то! Как в старинной книжке писанное — сказывалось всё в нём, будто в песне, любоф, любоф да ещё эта, как её, холера-то? Чувства. За божницей долго письмо хранилось, и как навёртывался грамотный человек, она просила его читать». Вот — плюхается галушками в баке, тиснутом фэзэушниками из кухни станционного буфета: «Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраса доску, отломили от неё ощепину и шевелили ею хлёбово. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут, наверху, будто вёртких головастиков, с улюлюканьем поддевали ложками. Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось, мы их зарыбачили, но хлебать ещё можно было. Девки споро работали ложками и время от времени восторженно взвизгивали — из глубины бака возникала галушка: «Лови её! Чепляй! Не давай умырнуть! Пап-па-а-ала-ася-а-а-а! Рубай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!..» — орали мы». И так чуть ли не на каждой странице любого произведения Астафьева — счастье является во всеразличных своих ипостасях, от восторженной, залихватской, разудалой до задумчивой, трогательной или философически напряжённой, по-тютчевски космичной. И если уж останавливать эту мысль соображениями о тёмной, болевой стороне астафьевского творчества, то ведь это, наверное, оттуда же — нет большего преступления, чем преступление против счастья; это и есть преступление против человечности — поруганное счастье есть искажённый страданием Божий лик.

Для счастья нужно совсем немного, — словно бы учит нас Астафьев, — счастье — сам человек, покоящаяся в светлой гармонии душа его, которая разворачивается, как древесная почка, в поисках любви и свободной самоотдачи. Зверство и злодейство — пресечь этот божественный рост, посягнуть на его самодостаточную закономерность.

Не про это ли — «Звездопад», «Пастух и пастушка» и поздняя, горчайшая в своей безысходности повесть «Пролётный гусь»?

Наверное, он так и не написал главной книги своей жизни — того романа о войне, к которому шёл долгие годы… Книга «Прокляты и убиты» вызвала вместе с восхищением и негодованием (как любая книга Астафьева) ещё и какое-то нездоровое поветрие вокруг автора. Может быть, то была высота, которую ему так и не довелось одолеть? В 98-м он говорил: «И чем дальше я писал, тем больше убеждался, что писать я не умею. Сейчас, заканчивая итоговое собрание сочинений, я особенно во многом разочаровался, плевался, ругался…» Филологи находят, что Астафьеву действительно

несвойственно «романное мышление». Как «сделаны» его крупные вещи? Повесть в рассказах… повествование в рассказах… Не главы, а отдельные рассказы. Каждый — скорее длинное стихотворение в прозе. Или — поэма, песнь, сочетающая в себе и повествовательные фрагменты, и лирические излияния, которые даже как-то неловко назвать «отступлениями». Астафьевские создания таковы, что между ними и автором вроде бы и нет того необходимого зазора, которого требует принцип условности искусства. Словно бы влилась душа его без остатка в «текст» и… удваивала бытие художника при его жизни? продолжает жить среди нас после его физического ухода? Мистика какая-то… Возможно, мистикой этой могут быть объяснены попытки некоторых лично знавших его людей разделить в своём сознании Астафьева-писателя и Астафьева-человека. Дескать, гениальный писатель, но до чего противоречивая личность! Как будто бывают личности «непротиворечивые»… А Виктор Петрович… думаю, не мог он шагать в белых одеждах среди крови и грязи; осквернилась его детская память не совместимыми с нею страшными ранами — и разве что глухому и зачерствелому до каменной твёрдости чистоплюю достанет духа упрекнуть в том израненного, изверившегося в людской чистоте, одинокого до пустынного звона вокруг писателя, если осталось его творение в мире людей Песнью песней о желанном, поруганном, но вопреки всему воссиявшем счастье…

2005 г.

ДиН антология

190 лет со дня рождения

Николай Некрасов

Позабудь ненавистное слово

Если, мучимый страстью мятежной,
Позабылся ревнивый твой друг
И в душе твоей, кроткой и нежной,
Злое чувство проснулося вдруг —

Всё, что вызвано словом ревнивым,
Всё, что подняло бурю в груди,
Переполнена гневом правдивым,
Беспощадно ему возврати.

Отвечай негодующим взором,
Оправданья и слёзы осмей,
Порази его жгучим укором —
Всю до капли досаду излей!

Но когда, отдохнув от волненья,
Ты поймёшь его грустный недуг
И дождётся минуты прощенья
Твой безумный, но любящий друг —

Позабудь ненавистное слово
И упрёком своим не буди
Угрызений мучительных снова
У воскресшего друга в груди!

Верь: постыдный порыв подозренья
Без того ему много принёс
Полных муки тревог сожаленья
И раскаянья позднего слёз…

Отрадно видеть, что находит
Порой хандра и на глупца,
Что иногда в морщины сводит
Черты и пошлого лица
Бес благородный скуки тайной,
И на искри́вленных губах
Какой-то думы чрезвычайной
Печать ложится; что в сердцах
И тех, чьих дел позорных повесть
Пройдёт лишь в поздних племенах,
Не всё же спит мертвецки совесть
И, чуждый нас, не дремлет страх.
Что всем одно в дали грядущей —
Идём к безвестному концу, —
Что ты, подлец, меня гнетущий,
Сам лижешь руки подлецу.
Что лопнуть можешь ты, обжора!
Что ты, великий человек,
Чьего презрительного взора
Не выносил никто вовек,
Ты, лоб, как говорится, медный,
К кому все завистью полны, —
Дрожишь, как лист на ветке бедной,
Под башмаком своей жены.

Валентин Курбатов

Качели

Закон о жизни

В Общественной палате обсуждали «Закон о культуре в Российской Федерации», предложенный Госдумой. Перед началом я ждал столкновения вариантов «Закона» Общественной палаты и Госдумы, потому что они существенно различны. И видел, что этого же столкновения опасался и проводивший слушания заместитель председателя Комиссии по сохранению культуры ОП С. А. Абрамов. Но обсуждение, верно начатое Председателем комитета по культуре Госдумы Г. П. Ивлиевым и продолженное членом такой же комиссии Общественной палаты Е. А. Лукьяновой, хотя они и были главными антагонистами, представлявшими свои варианты «Закона», пошло с такой разумной осмотрительностью (обе стороны поняли, что важнее всего собственно «Закон», а не расхождение частностей), что всё прошло спокойно и согласно. Закрывая слушания, и С. А. Абрамов был искренне рад: нельзя начинать благое дело с противостояния.

Уже в коридоре мы перекинулись несколькими словами с Г. П. Ивлиевым о скором новом обсуждении уточнённого варианта, и я поторопился сказать, что как ни покажется странно и поверхностно, но в таком «Законе» едва ли не важнее всего преамбула. Григорий Петрович улыбнулся моему простодушию. А я уж хоть вот так, заочно, договорю, почему преамбула кажется мне такой важной. Ведь она пишется не для юристов, чиновного аппарата и грядущих исполнителей. Она объясняет каждому человеку в государстве, зачем необходим такой «Закон». Деятели-то культуры и так знают, зачем он. А вот «гражданин Отечества», исправный налогоплательщик хочет знать, на что расходуются его деньги (он почему-то всегда уверен, что расходуются именно его, а остальные только и живут для расточения его налогов).

Что это за культура такая? Не те ли это комические пустяки, которые он видит в исшутившемся телевизоре? Так он как-то и без них жил прежде и вперёд поживёт. Не те ли «крутые ребята» из рок-групп, мужского стриптиза и «подтанцовок» для певиц, которые глядят с городских афиш? Так он и сам не ходит, и детей с удовольствием не пустит. Не театры ли, на спектакли которых уже и «новый русский» спрашивает: «Можно ли с дамой?» — потому что всё чаще с нею уже нельзя?

Да, положа руку на сердце, и сами-то депутаты Госдумы из других комиссий, которым предстоит принимать этот «Закон», не думают ли о матушке-культуре так же? Промышленность бы поднять. Сельское хозяйство в чувство привести. В вооружении позиций не сдать. До культуры ли? И вот они читают нынешнюю преамбулу, а там «включение в процессы глобализации», «комплексная модернизация», «техническое переоснащение», «рыночные отношения». Поневоле в глубине души смутишься. Опять, значит, на пустяки, на слова деньги пойдут? А то и на опасности. Прочитаешь вот, что «надо включаться в процессы глобализации», и сразу вспомнишь, что при всех больших экономических форумах непременно «бьют посуду» противники этой глобализации и их тащат в участки, поднимают несметные полицейские силы (а ведь это тоже деньги). Так что — значит, чтобы и у нас явилось то же?

Специалист тут хмыкнет: ну, уж ты нас совсем за дураков держишь. А это я не вас, а себя за него держу. Мы ведь культуру-то как понятие так ещё и не определили. То, что предлагает «Закон» («совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков, ценностей, традиций и верований, находящих выражение в образе жизни и искусстве»), так общо, что тут никаких стен не найдёшь — чисто поле. Вот тут о преамбуле-то и подумаешь.

По мне, она и во всяком законе должна писаться простым человеческим языком, чтобы человек не в «правовом поле» себя чувствовал, а дома. А уж в «Законе о культуре» и того более, потому что, может, важнее-то этого «Закона» и нет. Ведь он, если вдуматься, касается всей человеческой жизни, её основ и опор, на которых, в конце концов, стоят и промышленность, и сельское хозяйство, и космос, и вооружение. И это никакое не преувеличение, а простая повседневная правда.

Не зря в Интернете 311 (триста одиннадцать) определений понятия «культура», что вернее всего говорит о напрасности попыток вогнать эту вселенную в тесный коридор «аппаратного учреждения». Не зря во вступительном слове на слушаниях Г. П. Ивлиев говорил, что это «мировоззренческий закон» и что в обсуждении неизбежна и «политическая составляющая». Мы предпочли осторожные частности — не перед выборами же о политическом обертоне «Закона» говорить, хотя существенная его часть посвящена взаимоотношению государства и культуры, их взаимной ответственности. Правда, про «взаимную ответственность» — это уж я вставил. Никто про ответственность культуры перед государством и её обязательствах перед ним не говорил, и в «Законе» об этом ни слова. Хорошо если об этом не говорится, потому что это «само собой разумеется». А если нет?

Но тут надо сразу оговорить, что мы говорим об *ответственности культуры* перед *сознающим*

себя государством с ясной системой координат, ясным духовным и идеологическим строем, о котором и всякий гражданин этого государства знает. Знает, что́ строит государство, какие определяющие цели держит перед собой, как «позиционирует» (простите!) себя на карте истории и мира. Ведь сказать, что мы живём в «свободном гражданском обществе» или «правовом государстве»—это всё равно что не сказать ничего. Это значит—только заставить человека замкнуться: ну, значит, эти ребята делают что-то своё, и им лучше не мешать. Не до меня им—вон у них какие заботы!

Ну а если государство себя «очертит» и хоть перед выборами свою перспективную программу по-человечески назовёт—не по ввп, жкх, ФэЗэ (так сокращают профессионалы от законодательства «федеральные законы»), а по обыкновенному человеческому пониманию, то и культура себя скоро найдёт. И выберет из 311-ти определений то, которое ей на этот час ближе. А может, просто вспомнит себя в покойной целостности и найдёт в себе мужество сказать государству, что культура не «совокупность признаков», а вся накопленная веками, вглядывающаяся в себя жизнь, которой не надо было даже и определять себя, потому что жизнь была просто жизнь.

Странно было бы думать, что Козьма Минин, прежде чем позвать новгородцев против ополячивания России, искал определения поприличнее, чтобы, не оскорбляя европейского слуха, сформулировать патриотическую идею. Он жил дома и хотел жить дома—и потому 400 лет назад (случайны ли «круглые даты»?) попёр поляков с их Владиславом. Может, и мы через четыреста лет про дом вспомним.

Когда культура начинает «определять себя», она перестаёт быть жизнью и становится «отраслью», которую можно регламентировать, отводить ей «место» в иерархии социальных структур. В конце концов, это означает просто перестать быть народом, потому что на самой глубине культура и народ—это одно понятие. А «определение»—только способ коллективного внушения, способ планомерного выведения народа из органического целого как раз в удобные, управляемые «социальные структуры». Мы почти не заметили, когда исчезла живая традиция, то золотое «коллективное бессознательное», которое легко и естественно объединяло государя и крестьянина в курной избе, которое как-то таинственно ещё доживало в советском человеке и делало нас Россией. Вместо него явилось дробное современное сознание, и живая традиция подменилась цветными этикетками списанных с чужого языка идей, позволяющих делить Россию на «единую», «справедливую», «державную», «демократическую»—знай выбирай по вкусу! А Евангелие вон ещё когда предупреждало, что «разделившееся в себе царство не устоит».

Ну а как пошли делиться «россии», «фронты» и «ополчения», то тут уж и культура пошла делиться на «массовую», «интеллектуальную», «духовную», перестала быть почвой, какой являлась при рождении понятия, и тоже пошла рвать русского человека на славянофила и западника, патриота и демократа, традиционалиста и постмодерниста. И чем далее, тем мельче. И тут уж без «Закона о культуре», который введёт эту безбрежность хоть в какие-то берега, не обойтись.

Только боюсь, что «берега» эти окажутся ненадёжны и неизбежно тотчас начнут подмываться ручьями «подзаконных актов», на работу над которыми уходит основное время Думы, у которой что ни заседание, то «о внесении поправок» к тому и сему. Это деление может длиться бесконечно, пока понятие «народ» окончательно не размоется в «население» и все подтачивающие нынешнее сознание эсхатологические предчувствия и апокалиптические тревоги окажутся реальностью. И Россия, как мечтает мир, уйдёт в сырьевые придатки тем государствам, которые лучше слышат слово «культура», как синоним государства и народа.

Я думаю, что осмотрительность при обсуждении «Закона» хороша и желание поскорее вынести его на рассмотрение Думы разумно—каждый день только умножает наше разделение. Но ещё более важным мне казалось бы вынесение этого «Закона» на народное обсуждение, чтобы мы на минуту остановились и вгляделись в себя, чтобы поняли, как далеко можно зайти в цивилизационные тупики, куда всегда приводит человека слишком материалистическое и сиюминутное существование. И может быть, вспомнили в себе ещё слышный, ещё отечески и матерински остерегающий нас голос народного сердца и ещё постояли бы перед небом и миром тем, чем были задуманы Богом при рождении этого сердца—духовной крепостью мира, чьи «сырьевые ресурсы» света и памяти ещё послужат человечеству понадёжнее нефти и газа

Пусть это простодушно, но мне всё кажется, что мы обсуждаем не «Закон о культуре», а «Закон о самосохранении народа».

Качели…

(любительский снимок)

Сто пятьдесят лет назад, в 1861 году, когда «сова кричала, и самовар гудел бесперечь», в России совершилось одно неприятное событие. Нет-нет, не отмена крепостного права. Один русский писатель пообещал дать другому «в рожу».

И что?—спросит сегодняшний читатель. Из-за чего сыр-бор? Ну, сказал Быков Сорокину, что даст ему «в рожу». Велико событие! Тот скажет: во-первых, не в рожу, а в морду, а во-вторых, ещё посмотрим, кто кому, а в третьих—а ты попробуй! Бывало, цдл ходуном ходил от таких обещаний и исполнений. О чём тут говорить—обычная творческая жизнь

А вот поди ты—тут история литературы. Это Иван Сергеевич Тургенев Льву Николаевичу Толстому про «рожу»-то. Вековые дворяне, у которых из-за косого взгляда, тайного шёпота третьему лицу—на шести шагах! А тут и не выговоришь…

Про то, из-за чего поссорились и до «рожи» дошло, мнения разные. Всё накопилось. Тургенев ещё недавно одним из первых приветствовал Толстого в литературе. И Толстой это покровительство и старшинство чтил. Не оттого ли, когда Иван

Сергеич написал «Отцы и дети», он первым на горячую рукопись, которой гордился, предчувствуя открытие и взрыв всеобщего интереса к новому герою, и пригласил Льва Николаича? И не надо быть художником, чтобы представить, как, передав рукопись Толстому (верно, с торжественной бережностью и какой-нибудь милой смущённой шуткой, вроде: «Вот моё последнее дитя!»), бедный Иван Сергеич притворяется в соседних комнатах занятым: чего-то переставляет на книжных полках, пытается писать письма, а сам весь там, с Толстым. И наконец, когда нетерпение уже не удержишь (что же так долго не слышно ни покашливаний, ни завистливых вздохов, ни порыва броситься с объятьями?), заглядывает в комнату, где оставил Льва Николаича, не скрипнув дверью, чтобы не смутить и не отвлечь жадно читающего товарища… А тот — не знаю, как и сказать, как не вскрикнуть от негодования, — тот… спит, уронив рукопись на грудь, на уютном просторном диване, не зря называвшемся «самосон» (не успевал гость прилечь, как готово). Ах, не надо было оставлять Толстого именно в этой комнате!

Льва Николаича будто кто толкнул — он поспешил открыть глаза: так, мол, задумался над глубиной текста. Но увидел уже только удаляющуюся спину Тургенева и понял, что пропал. И, поди, выйдя к обеду, крутился, искал путей отступления, придумывал, как подсунуть рукопись обратно без разговора, а Иван Сергеич не знал, как сделать вид, что никакого «дитя» не было.

И, похоже, оба одновременно вспомнили соседнего Фета и ударились к нему — авось оно и замнётся. А знали бы — лучше не ездили, потому что именно там «рожа»-то и прозвучала. Будто из-за того, что Толстой оскорбил высокие чувства Тургенева-отца, похвалившегося, что его дочь от крепостной девушки прекрасно воспитывается и берёт чинить одежды бедных крестьян. И думаю, что если бы Толстой только сморщился от безвкусицы — нарядная дама чинит, по его выражению, «грязные, зловонные лохмотья», — то до «рожи»-то, может, дело бы и не дошло. Хотя, конечно, и «грязные и зловонные» — это уже нарочито, с вызовом подпорченная умилительная тургеневская картина.

Нет, дело было не в лохмотьях. Тут и Фет, и Софья Андреевна при воспоминании скрыли одну малость, а Тургенев, кажется, сказал правду: если, мол, думаете о моей дочери дурно, так и то не следовало бы так говорить, «а он что выговорил! — восклицает Иван Сергеич. — Если бы, говорит, она была ваша законная дочь, вы бы её иначе воспитывали». Ну и, конечно, после того как Толстой такое «выговорил», то уж и от Ивана Сергеича тоже ничего другого, кроме «рожи», ждать не следовало. Тут он тоже «выговорил».

И как хотите, а по мне тут оба настоящие русаки прежде, чем дворяне. Один забылся в раздражении. А другой не стерпел — дочь ведь, и так хотелось похвалиться ею и собой. А потом уж, конечно, сразу дворяне последовали. Толстой послал за ружьями, чтобы стреляться прямо в лесу один на один без всяких секундантов — нечего людей смешить. А Тургенев уж «рожу»-то и сам себе не мог простить и извинился: повторите-ка какнибудь это слово в Спасском вслух, так от вас не то что портреты, а и вещи отворотятся — так оно тут неуместно, дух не тот. И хоть всё ещё полгода тянулось, но уж всё вот тут между русаком и дворянином и разрешилось. И потом уж, кажется, только и оставалось наживать настоящую мудрость, чтобы снять внешнее и догадаться о внутреннем — что они и не могли быть вместе, что родная, русским-русская, земная, немного всегда барская литература одного была по ту сторону русской же, но уже не принимающей никакой литературы учительной требовательности к миру другого. Для Толстого Тургенев уже был то, что потом Лев Николаич иронически звал «лит-тература». Они поссорились ещё на одном поле, а помирились уже на разных. И их взаимно прощающие письма через семнадцать лет были уже больше для других, уже больше для выравнивания души, а не для встречи в общем деле.

Это так легко увидеть по их встрече в Ясной после этих писем. Всё было весело и просто. Тургенев был само обаяние, а Лев Николаич само воспитание: ни о чём серьёзном ни слова — от греха подальше. И хороши-то друг с другом хороши, а всё-таки Толстой замечает, что Иван Сергеич вроде фонтана из привозной воды: вот-вот вода кончится, и фонтан иссякнет. Так про сердечных друзей даже про себя не думают, а уж тем более другим не говорят. Кто через плечо Льву Николаичу, пока он пишет про «фонтан» Страхову, не заглядывал, верно, души в обоих не чаяли. И случись рядом простодушный репортёр, он, верно, воскликнул бы: вот святая русская литература, вот русские писатели в их желанном для читателя дружеском единстве (читателю так хочется, чтобы дорогие его сердцу писатели не нарушали его читательского миропонимания, а так и жили, как Чичиков с Маниловым, как страницы в «родной речи», — великие, любимые, согласные).

Обмана тут не было. Толстой и правда нежен к старшему товарищу, но только когда на дворе день, и когда кругом «все», и когда он сам живёт «как все», а как один остался, так берёт слово тот Толстой, который и Софье Андреевне, и самому себе был тяжек, и всё договаривает до конца. Внутреннее евангелие соврать не даёт. И для воображаемого-то наезжего репортёра, и для гостей Ясной они, может, и умилительно близки, да жизнь, посмеиваясь, словно из озорства, которое она не может удержать в себе (живая же!), сочиняет для нас зримую метафору (художница же!), чтобы мы увидели две вечные тенденции русской литературы, которые виднее всего как раз в этих великих стариках.

Через двадцать лет после ссоры (это я всё юбилеи подчёркиваю), в 1881 году, они, уже примирённые, сердечно близкие, снова вместе в Ясной. И опять на них не наглядеться. И опять о главном, о деле друг друга — ни звука (знают, чем кончится, и берегут себя и других). Да и почему не сыграть двух милых стариков, когда это доставляет удовольствие близким? Не на работе же. Тем более

«роли» уже для обоих написаны. У Толстых давно все жили «на люди», дом давно был стеклянный. Сергей Львович, про которого знававший его С. Н. Дурылин однажды написал, что после знакомства с ним особенно любил найти в переписке Толстого с Софьей Андреевной не обсуждение тонкостей «Войны и мира», а как смешно пишет Лев Николаич Софье Андреевне: «Серёже кланяйся и не вели капризничать, а атата, атата». Серёже в пору написания письма был год. А уж теперь, в 1881-м, ему восемнадцать, никаких «атата, атата», и он по общей толстовской привычке всё видит и спустя годы вспомнит, как при всеобщем любящем смехе родных и дворовых Толстой с Тургеневым качались «на первобытных качелях». Оно было бы смешно, если бы два старика (Толстому тогда 53, а Тургеневу 63 — по тем летам серьёзная старость, через два года Ивана Сергеича не станет) и просто качались на качелях. А тут качели-то «первобытные». А что это такое, объясняет Татьяна Львовна, которая тоже смотрит и потом пишет (вот ужас-то — все друг друга видят и все пишут!). Оказывается, это доска, положенная на чурку, и они по очереди прыгают, подбрасывая друг друга. Теперь мы можем видеть это только в цирке, а в пору моего детства это была наша любимая игра. И я только не могу представить, даже по точному рассказу Татьяны Львовны, как прыгают в такт серебряные кудри Ивана Сергеича и ходуном ходит борода Льва Николаича — хрестоматия не позволяет. И это тоже очень по-русски (застаньте-ка за этим занятием Флобера и А. Франса или Г. Гессе и Т. Манна) — прыгают русские крестьянские дети (и так и тянет сказать: «рожи» обоих сияют).

Ну, игра и игра. А в чём метафора-то? Да уж каждый и догадался. Это прыгают «лит-т-тература» с литературой. И однажды Толстой так топнет по своей половине доски, что Тургенев взовьётся в облака — и только его и видали. Но качели же! И по сегодняшнему состоянию литературы легко увидеть, что увереннее прыгает как раз Иван Сергеич — игра и сюжет, «веяния» и стиль, а строгость и истина только ждут своего часа. Но ведь дождутся. Оба они — русская литература. Качели…

ДиН стихи

Ирина Каренина

Птицы вы, птицы…

Причисли меня к потерям, а не к долгам.
Я выживу — степью, бросившейся к ногам,
Походом, полётом сокола и коня.
Дорога, Охота — так называй меня.
Ночная прохлада, синий степной цветок,
И в путь без возврата манит восход, восток.
Будь, странник, избавлен от срама, хулы и лжи.
И ветер отравлен бескрайней свободой жить.

А я — а что я? У меня никаких гвоздей,
Сирин и Гамаюн за моим плечом,
Финист и Алконост — над головой моей.
Было бы не о чем — пела бы ни о чём.

А я — а что я? Жду с жестоким лицом,
С нежным лицом, влюблённым — всё жду и жду:
Будет однажды и у меня сад, и для меня — дом,
Будет в доме цвести любовь, и розы — в саду.

И от дверей — дорога, и за дорогой мир —
Буду бродить в нём, петь, покуда жива.
…А Гамаюн сердце моё расклевал до дыр,
А Сирин в эти прорехи вкладывает слова.

Птицы вы, птицы, хищные девы мои,
Храните меня в полночь моей любви!

Пусть будет век без боли и войны,
И бытие — светло и непорочно.
…Я просто сплю, я просто вижу сны,
Опять вишу на ниточке непрочной.

Я просто жду, надеюсь и дышу
С размеренностью звёзд, травы, корней, и
По ниточке серебряной скольжу,
Пляшу и, как паяц, деревенею.

Какой благословенный страх —
Не спать с улыбкой на губах,
Лежать в разлуке, в темноте,
В разъединенье, в пустоте,
Не чувствовать твоей руки
В своей — мы оба далеки,
И возле чуткого плеча
Твоя подушка горяча,
Примята ласковой щекой…
Какой божественный покой,
Какая мука, нежность, власть —
К душе возлюбленной припасть,
В любви счастливой изнемочь —
И провалиться в сон и ночь.

Юрий Беликов, Марина Попович

Маленькая серебряная ложечка

Марина Попович — человек преодоления. Вслушайтесь: женщина — и лётчик-испытатель. Она поднималась на такие высоты и выдерживала такие нагрузки скоростей, что по плечу далеко не каждому представителю сильной половины человечества. Записанный на её счёт 101 рекорд мира о чём-то да говорит? Гордая попытка попасть в отряд первых космонавтов. Почему — гордая? Потому что, когда услышала необоснованный отказ, объявила голодовку. А дальше — целая вереница доказательств, что Марина — круче иных мужиков. Она становится действительным членом пяти академий. В том числе — Петровской академии наук и искусств, Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы, Платоновской академии наук во Франции. Марине вручают высшую международную награду — Большую золотую медаль ФАИ. Кроме того, что Попович — полковник ВВС, она ещё — генерал казачьих войск. О ней написаны книги и сняты фильмы. Она и сама автор нескольких книг, в том числе «НЛО над планетой Земля». Попович посвящены стихи. Например, такие строки Юрия Асланьяна:

> Из восемнадцати ребят одна Марина
> осталась в небе у штурвала корабля…

А вот — ещё один пример преодоления. В пору, когда в державе нашей довольно прохладно относились к посыпавшимся, точно из прорех, сообщениям об НЛО, Попович встала во главе Комиссии по аномальным явлениям. Она словно учится воспринимать окружающий мир иначе. Едет то в одну экспедицию, то в другую. Например, в Пермский треугольник — зону устойчивого визита «летающих апельсинов». Там-то и состоялось наше первое знакомство.

— Марина Лаврентьевна, несколько лет назад, общаясь с космонавтами, чьи фамилии называть не буду, я поймал себя на мысли, что, как только начинаешь спрашивать их об НЛО, идёт резкое неприятие темы. Мало того, как только я произношу именное словосочетание «Марина Попович», это вызывает у них лёгкие гримасы скептицизма. Чем вы это объясняете?

— Дело в том, что несколько наших космонавтов видели НЛО, но ведь вы знаете (мы с вами сто лет знакомы!), что в России существовал запрет на публикации о неопознанных летающих объектах, и поэтому, как только наблюдавшие их лётчик или космонавт что-то о том говорили, это грозило путёвкой в дурдом.

— Это было раньше, в СССР. Но с той поры сколько лет минуло?!

— Сейчас, если кто-то из космонавтов что-то об НЛО знает, они об этом, как правило, не распространяются. Это — поза. А про тех, кто занимается исследованием НЛО… Даже мои дети говорят: «Мама, это «твои» звонят!» Не так давно я прилетела из Аргентины. Туда приезжал представитель Папы Римского для того, чтобы извиниться перед людьми, которые занимаются венчурными, то есть рискованными, технологиями. Он заявил: «Как бы не попасть в такую же ситуацию, как Россия, которая в своё время отвергала кибернетику и генетику». И действительно: мы минимум на десять-пятнадцать лет отстали от международной науки и её прогрессивных взглядов. Только несколько лет назад, незадолго до его кончины, в нашу большую Академию наук был принят замечательный учёный Анатолий Акимов, который в своё время приехал ко мне в Звёздный городок и сказал: «Я вам предлагаю работу по изучению НЛО, потому что к нам стучится иной Разум — инопланетный и высший». И я под его руководством более десяти лет работала с торсионными полями и уже созданными у нас генераторами — двигателями, по принципу которых действуют «летающие тарелки». А ведь ещё недавно наши академики считали, что Акимов занимается лженаукой. Теперь же в институте имени Баумана проходят акимовские чтения. Потому что совестно: существование НЛО уже признал весь мир.

— В том числе и представитель католической церкви?

— Совершенно верно. Ватикан этого не отрицает. Просто явления, о которых речь, надо всерьёз изучать. Что же касается былых запретов по этому поводу и последующего за ними скептицизма в нашей стране, хочу напомнить ситуацию, когда во время войны во Вьетнаме армейский расчёт, охранявший Ханой, выстрелил всеми своими ракетами по явившейся им «тарелке». Думали, что это американский Б-52 висит над ними…

— И ракеты вернулись обратно?

— Да, вернулись, превратив стрелявших в ничто! После этого случая вышел приказ министра обороны СССР, гласивший о запрете производить огонь по не отождествлённым летающим

объектам. Вот и весь скептицизм. У меня этот приказ есть. Вызвано это было тем, что многие попытки стрелять по НЛО ничем не заканчивались. Вот пример. Наши лётчики над Липецком не уступили маршрут «летающей тарелке». Она у них перед носом ушла абсолютно вертикально, и они сделали вывод, что «нам не под силу соревноваться с НЛО и нечего испытывать судьбу». Если помните, в космосе побывал Виктор Афанасьев. Так вот, он говорит, что в течение двух суток параллельно его кораблю шёл не отождествлённый объект. И он всё это зафотографировал и послал на Землю. И что? Информация канула в Центре управления. Лётчик-космонавт Виктор Савиных, ныне возглавляющий Институт картографии и аэрофотосъёмки, тоже видел НЛО.

— Если это так, тогда на чём основан скепсис космонавтов, когда их спрашиваешь о «летающих тарелках»? Что это — хорошая мина при плохой игре?

— Знаете, на чём? На всякий случай они не хотят прослыть допустившими в себе «примитивное отношение к небу». Но чем больше мы стесняемся «примитивного отношения к небу», тем ближе мы сталкиваемся с его грозными очевидностями. На Землю идёт «тёмная масса» — пыль, астероиды, метеориты. Если бы не магнитное и гравитационное поле Земли, всё бы это сыпалось на нас. Сейчас на Земле — период переполюсовки. В связи с этим все грамотные люди должны знать: если полюса поменяются местами — на юге будет северный, а на севере — южный, — то Земля просто-напросто оголится, и «тёмная масса» осядет на Землю. И все потянутся за горы и леса в поисках гравитационной отталкивающей, не пускающей «тёмные массы». Переполюсовка бывает раз в восемь миллиардов лет. Признаки её налицо: изменение климата, выражающееся в таянии снегов и льдов. Самое главное для нас — это морская вода, которая даёт дейтерий, но дейтерий из «разжиженной» растаявшими льдами воды не получится, а это значит, что магнитные излучения Земли уменьшатся во много раз.

Американские закрытые центры подсчитали, что сейчас средняя плюсовая температура на Земле два и семь десятых градуса. Когда будет три и три десятых, начнётся потоп! А развитие ситуации на Земле к тому и идёт. Потому что человечество неразумно эксплуатирует то, что ему дано. Мы беспощадно выкачиваем «кровь» Земли — нефть и газ. Земля становится легче, скорость её вращения увеличивается или замедляется. Многие учёные говорят: «Вы посмотрите на звёзды!» Например, на Полярную. Она известна как путеводитель для лётчиков, потому что вращается вместе с Землёй вокруг солнца со скоростью тридцать километров в секунду. Это звезда-гигант. На нашем Млечном Пути она — самая большая: в сто двадцать раз больше солнца. Представьте себе диаметр этой звезды!.. Но она уже находится немножко не в том, как мы раньше засекали, радиусе.

Гольфстрим тоже изменил направление своего движения. И связано это, кроме всего прочего, и с неразумными полётами. Да, человеческая цивилизация работает, но дело в том, что после этой работы остаются озоновые дыры. Однажды меня не пустили лететь вокруг полюсов только потому, что озоновая дыра над Антарктидой была невероятно большой. Уже был готов самолёт. Но опасность облучения была ощутимой. Это же озон. Он находится на высоте от сорока до семидесяти километров. Но он очень разжижен. Это биологическая защита Земли. Этот слой держит весь вредный ультрафиолет и другие тепловые излучения. Отчего образуются озоновые дыры? От идущих с Земли загрязнений, пожаров, запускаемых ракет и спутников.

— Получается, своей теперешней деятельностью вы в каком-то смысле опровергаете себя прошлую? Вот вы только что сказали о неразумных полётах. А ведь небо трудно сегодня представить без лётчиков и космонавтов. И может быть, определённое неприятие вашей деятельности среди космонавтов связано с тем, что вы, некоторым образом, опровергаете часть их работы?

— Я не опровергаю. Наоборот, я горжусь ими. Они нашли в себе мужество и здоровье пройти комиссию и подняться в космос. Я сама не прошла этой комиссии. И даже счастлива, что не прошла, потому что первые космонавты слетали, и потом они больше — никуда и никак. Я бы не защитила докторскую, не летала бы полноценно лётчиком-испытателем, не состоялась бы, в конце концов, как личность в данном мне воплощении. Когда я проходила комиссию для полётов в космос, мне сказали, что у меня повышен кислородный обмен. Но я-то знала, что я летаю на больших высотах — у меня кислородный обмен в норме. И поэтому объявила голодовку. Конечно, мне девочки еду приносили, но официально я дала понять: не буду есть, пока вы мне не скажете правду!

— Что же было на самом деле?

— На самом деле у меня была маленькая дочь. На комиссии дали понять, что им нужна незамужняя женщина. «А сорок дней назад, когда вы меня сюда приглашали, вы не знали, что у меня маленькая дочь?» Тогда всех лётчиц-профессионалов, проходивших ту самую комиссию, просто-напросто «зарубили», и мы даже Хрущёву написали письмо о том, что подбор для полётов в космос ненормальный. Но я не отдала Никите Сергеевичу это письмо. У меня оно есть — я написала книжку, куда его поместила.

— Удивительно: почему комиссию не прошли профессионалы?

— Мне академик Борис Раушенбах однажды сказал: «Марина! Знаешь, почему ты не прошла в отряд первых космонавтов? Королёв очень разозлился: «Пока я жив, больше ни одна из женщин в космос не полетит!» Но ты не переживай, потому что ты — лётчик-испытатель, профессионал. А там, во время первых полётов, была инструкция из четырёх слов: «Ничего руками не трогать!» Марина, тебя бы это не устроило». И я как-то успокоилась.

— Зато вы летали в Перу над плато Наска, загадка которого приковывает сейчас лучшие умы человечества.

— В Перу я была два раза. Нас туда пригласили сначала с космонавтом Анатолием Арцыбарским, а потом — с Геннадием Падалко, который дважды летал у нас в космос командиром, а затем — возглавлял экипаж американских астронавтов.

— Странные огромные, правильной формы, следы, которые вы видели с высоты самолёта над плато, — что они, с вашей точки зрения, означают?

— Мы сделали вывод: это — аэродромы. Посадочные полосы, которые были сделаны не человеческими руками. Потому что с момента горообразования прошли сотни лет, а они — как вкопанные, эти линии. Мало того, одна линия тянется через горы шестнадцать километров!

— Они действительно правильной формы?

— Правильной абсолютно! Причём их не видно, если идёшь по земле. Но как только поднимаешься на высоту, они видны отчётливо. В одном месте эти линии вычерчивают «паука», в другом превращаются в «обезьяну». Она, эта «обезьяна», «нарисована» на ландшафте как бы не отрывая руки. По нашему мнению, этих гигантских «паука», «обезьяну» и «лиру» «написал» лазерный луч. В начале каждой «полосы» идёт своё изображение. Существует гипотеза, что когда-то Землю посетили посланцы созвездия Орион.

— Почему именно с этого созвездия?

— Перу населяют люди, которые до сей поры называют себя инками. Они живут по тем же законам, что и две тысячи лет назад. Оказалось — живут по сигналам из космоса. Пояс Ориона — три звезды. Когда над Перу восходит первая звезда, они сеют. Когда восходит вторая звезда, они убирают. Когда восходит третья — идёт семьдесят дней и ночей ливень. Из животных там выживают преимущественно только куры и ламы. Все остальные погибают. Поэтому инки кормятся в основном рыбой.

— Если говорить о времени, когда, на ваш взгляд, нанесены эти таинственные знаки?

— Как минимум две тысячи лет назад. Мало того, шло образование гор, а эти «линии» остаются на месте, никуда не сдвигаются. Уже дороги шоссейные через них проходят. В Перу гордятся этими «линиями», потому что туристы едут со всего мира, чтобы посмотреть на плато Наска. Там есть огромные горы, а на них — нарисованные существа в скафандрах.

— Какого мнения вы придерживаетесь: Земля — это наша родина? Или нет?

— Однажды я общалась с человеком-медиумом, который, глядя на меня, сказал: «Я хочу вам подарить маленькую серебряную ложечку — она вам пригодится». Ложечка была действительно очень красивой. Я его спрашиваю: «Мы — от обезьяны?» Он сказал открыто: «Мы привнесены». Через месяц я узнаю, что моя дочь ждёт ребёнка. Ложечка сразу пригодилась. Медиум — через ложечку — дал мне понять, что он говорил правду.

— Тогда в чём феномен НЛО? Зачем они к нам прилетают?

— Они хотят выйти с нами на контакт о каких-то совместных действиях. Это — примерно то же самое, что мы хотим найти братьев по разуму во Вселенной. Хотя при этом считаем, что, кроме Земли, больше цивилизаций не существует.

— Парадокс. Вы сказали: «Они хотят выйти на контакт с нами». Но и «мы хотим найти братьев по разуму». Так? Мы ищем там, они — здесь. Если говорить общо: никто не встречается. Ну, или корректней: встречаются единицы. Если уж всё действительно так просто и если они взаправду обладают высшим, в отличие от нашего, разумом…

— Они считаются нашими прародителями…

— Тем более! Тогда почему контакта в данной нам реальности не происходит?

— Сейчас личные контакты есть. Я знаю женщину — её зовут Клара Доронина, она работает в газете «Здоровый образ жизни». В моей книге «НЛО над планетой Земля» я рассказываю, что эту женщину забирали на борт «летающей тарелки». Забирают не только людей. Когда я была в Лос-Анджелесе, мне показывали жутковатые «плантации»: лежат коровы, у них удалены вымя, глаза, уши, язык. Причём — без кровинки.

— Как это можно объяснить?

— Очевидно, «они» выводят какой-то генофонд. У людей берут кровь, щитовидку. Как считает швейцарский исследователь НЛО Билли Майер, среди пришельцев есть «хорошие парни» и есть «очень плохие парни». Видимо — как у тех японцев, у которых был запрет жениться с теми, кто извне. У них упал генофонд, и они стали вырождаться. Потому что женились на родственниках. Может быть, такая же аналогия характерна и для инопланетян, «промышляющих» на Земле щитовидками, кровью, мужскими и женскими гормонами?

— Вскоре, как был открыт Пермский треугольник — аномальная зона близ деревни Молёбка, в редакцию газеты «Молодая гвардия», где я тогда работал, пришёл человек, рассказавший мне о встрече инопланетного корабля примерно в том же самом месте, куда мы ходили с вами в экспедицию. Он увидел некий объект серебристого цвета, из которого выдвинулось нечто похожее на бур. Рядом — три гуманоида в серебристых комбинезонах.

— Уже интересно!

— Этот бур вошёл в землю, через какое-то время вдвинулся обратно. Корабль улетел. Когда человек приблизился к месту посадки и «бурения», он увидел на земле запёкшуюся корку, напоминающую нефть. Вывод какой? Они берут у нас полезные ископаемые. Если это происходит в глобальном масштабе на глазах у многих людей, почему наши

принимающие решения структуры, в том числе на уровне мирового сообщества, не создадут некую ассоциацию, во-первых, по защите землян, а во-вторых, по расследованию всех этих названных обстоятельств?

— В США это есть. А у нас — нет. В стране раздрай колоссальный. Конечно, нам не до этого. И поэтому люди, которые у нас, в России, жертвуя своим временем и денежными средствами, едут в экспедиции, занимаются на свой страх и риск всевозможными исследованиями аномальных явлений, заслуживают всяческого уважения и поддержки.

— Существует фильм о том, как в штате Нью-Мексико, где в тысяча девятьсот сорок седьмом году наблюдали падение НЛО, препарируют якобы погибшего инопланетянина. Как вы к этому относитесь? Не мистификация ли это?

— Нет! Просто эту историю хотят затемнить или подать как выдумку. Я была в Японии на одной из конференций, посвящённых проблеме НЛО, и там услышала, как были найдены материалы с пометкой «Совсекретно», раскрывающие все тонкости и особенности так называемого «препарирования инопланетянина». Я знакома с непосредственным участником тех событий, командующим ВВС на Аляске Венделом Стивенсом, который поднимал на Б-29 и увозил из Нью-Мексико потерпевшего катастрофу живого инопланетного пилота. В личном архиве Стивенса — три тысячи фотографий НЛО. Он даже сбить хотел одну из «тарелок». После чего его самолёт был выведен из строя, и Вендел катапультировался. Он показал мне необыкновенную пластинку. Материал: вот так берёшь его — он сжимается в ладони, потом отпускаешь — он абсолютно такой же, расправляется в исходном положении. Это — металл. Кусочек от потерпевшего крушение НЛО. Стивенс сказал, что вскрытие инопланетянина действительно имело место. Это был биоробот, состоявший из тканей человека. И он отвечал на все вопросы, которые ему задавали…

— Если накоплена такая солидная статистика, связанная с феноменом НЛО, не является ли тот факт, что на уровне государств не придаётся этому большого значения, свидетельством того, что «они», «наши прародители», расставили на Земле своих «агентов влияния» и контролируют происходящее?

— Американцы, занимавшиеся проблемой НЛО, дали ответ на этот вопрос: «Мы потому скрывали добытые факты и материалы контактов с НЛО, что наше правительство боялось: когда мы полностью перепишем добытые «инопланетные» технологии, начнётся конкурирующая гонка в военном деле». Вообще скрытие технологий связано с гонкой вооружений, войной и уничтожением человечества. Вот вам аналогия: атомные бомбы. Их разработками занимались ещё специалисты Гитлера. Потом главного конструктора этих разработок американцы тайно доставили в США. В свете развития дальнейшей истории это привело к тому, что сегодня мы можем оказаться вообще вне закона космических исследований и полётов, если встать на позиции инопланетного и высшего разума. Почему американский астронавт Эдгар Митчелл отказался летать в космос? Потому что атомную бомбу американцы хотели взять на борт космического корабля.

Академик Евгений Велихов, выступая по телевидению, говорил о том, как приобщить ядерные разработки для освещения и отопления. Для этого нужно два компонента: чтобы обязательно был гелий-3 и чтобы заменить дейтерий. Дейтерий радиоактивен. Надо, чтобы этот агрегат работал на гелии-3 и тритии. Два газа. А гелия-3 нет на Земле. Он — только на Луне. Чтобы он выделился, его надо нагревать в скальных породах Луны до семисот градусов. И тогда его в баллонах можно переправлять на Землю. Это в будущем, когда кончится нефть. Гелия-3 очень много и на Юпитере. Но чтобы с Юпитера стартовать, надо иметь двигатель мощностью шестьдесят один километр в секунду. Представляете? Поэтому — или плавить горные породы на Луне, или привозить их с Луны на Землю. Сейчас и американцы, и японцы, и китайцы, и мы снова полетим на Луну. Это я разоткровенничалась, отвечая на ваш вопрос по поводу «агентов влияния». Что касается Луны, то хочу вам сказать, что это была подсказка, данная нам, землянам, через «инопланетные» технологии.

— С какого-то времени вы стали вице-президентом Международного Центра-Музея имени Николая Рериха. Это помогает вам заниматься изучением проблемы НЛО?

— Во-первых, когда я прочла «Письма в Европу» Елены Рерих, я уже была поклонницей её учения. А она для меня — ведунья. Во-вторых, когда я познакомилась с воспоминаниями Пржевальского — как он приехал к Николаю Константиновичу Рериху, это укрепило меня в моих прежних научных интересах. Ведь Рерих не только видел НЛО, но ещё и обладал знаниями, у порога которых стоит нынешнее человечество. Пржевальский сказал Николаю Константиновичу: «Я хотел бы посмотреть на Шамбалу, но ни лошади туда не идут, ни верблюды». И Рерих ему ответил: «В Шамбалу не ездят, и не летают, и не ходят. В Шамбалу приглашают». Пржевальский попросил у Рериха нужную ему книгу и вдруг увидел, как тот прошёл сквозь стену. Пржевальский чуть в обморок не упал! Вернувшись с книгой, — всё так же, через стену! — Рерих ему пояснил: «Люди, имеющие высокую духовность, могут не только сквозь стену проходить».

Что, собственно, и подтвердил недавно сделанный эксперимент: осьминога поместили в металлический ящик с водой, рядом — ещё такой же ящик. Наутро приходят, а осьминог — в другом ящике. Думают: наверное, ящики перепутали. Ещё раз пересадили. А он — раз! — и утром «перелил» себя в соседнюю ёмкость. И это зафотографировали. Осьминог же вообще мудрый. Практически водяной дракон. Так что человеку сначала есть чему поучиться у осьминогов, прежде чем выходить на контакт с инопланетным и высшим разумом.

Наталья Сафронова

Старый сундук

Печка

Мы гостили в деревне уже несколько дней, а я не переставала удивляться всему новому, что окружало меня здесь. Вообще-то наша городская жизнь в бараке немного походила на жизнь в деревне. Те же вёдра с водой, которые взрослые должны были приносить в дом, но только здесь воду брали из колодца. Колодец вызывал у меня и страх, и уважение одновременно. Страх—потому что глубокий и тёмный, а уважение—потому что он давал нам воду. И откуда она в нём? Отец сказал, что из земли. Не знала, что под землёй есть вода. Во дворе и в доме каждый день что-нибудь необычное обязательно попадало в поле моего зрения. Если что-то было непонятно, спрашивала у взрослых. Но иногда отец или дед сами посвящали меня в тайны деревенской жизни. Особенно мне нравилось, когда они начинали вспоминать о прошлом, о том времени, когда наш отец и его родной брат дядя Саша были мальчиками, а их сёстры тётя Катя и тётя Аня—девочками. И все они жили вместе в этом большом дедовом доме. На мой вопрос, где же они спали, ведь столько кроваток не поместится в двух комнатах, отец отвечал так:

—Пока маленькие были и особенно зимой—на печке все помещались. Печка у нас большая, настоящая, русская! Вот здесь, смотри, Наташа, специальная приступочка есть, чтобы на неё вставать, когда наверх забираешься.

Длинная деревянная приступочка, похожая на порожек, тянувшаяся вдоль середины печки, была округлой и гладкой. Наверно, на неё заскакивали много раз, даже краска стёрлась.

—Ну-ка залезь и посиди там,—отец помог мне забраться на печь.

Печку бабушка топила утром, но она до сих пор хранила тепло. Здесь даже пахло теплом, а от трубы немного пахло извёсткой. А как просторно! Сама печь застелена ватными фуфайками, в уголке лежат узелки с травой, носки шерстяные греются и даже старые валенки. Но больше всего понравилось, что на печке можно спрятаться, как в домике, задёрнув занавеску, прикреплённую к потолку над краем печки. Я потянула занавеску—и вот меня уже никто не видит: сиди себе на тёплой подстилочке, или даже прилечь можно.

—Ну как там?—слышу откуда-то издалека голос.—Тепло?

Снизу появляется голова отца.

—Вот тут мы с Сашкой спали, а рядом Катюха с Анной,—продолжал свой рассказ отец.—Всю зиму на печи спали.

—Дедушка, а ты где спал? А бабушка?—интересуюсь я у деда, выглядывая из своего укрытия.

—На койке спали, а когда малым был, на печке спал и на полатях.

—На каких полатях?—услышала я новое для меня слово.

—А вот смотри,—как бы обрадованно заговорил отец.—Видишь, там к стене брусок прибит?—он показал на стену, противоположную печке.—Так вот, на этот брусок и на край печки укладывали широкие плахи, такие же, из каких лавка сделана и пол. На плахи постель настилали. Это и были полати; кто на них спал, а кто на печке. Наверху-то тепло, под потолком.

—Нас же, ребятни, человек шесть было, там и сидели, на печке, всю зиму,—вздохнул дед, внимательно разглядывая газету, разложенную на столе.

—Не гуляли, что ли?—удивляюсь я.

—Гуляли—до уборной и обратно. Одни валенки на всех, сильно не нагуляешься, только по нужде. Одежонки-то путней не было, ремухотья одни, а на улице мороз,—вспоминал дед.

—А когда большой стал, тоже на печке зимой сидел?—снова спрашиваю у деда.

—Сидел, кости грел. Пока дров принесёшь в избу, воды натаскашь да со скотиной управишься—околеешь. На печи отогревались,—рассказывал дед, сидя на табуретке.

Над ним на стене висели большие рамки с фотографиями. Он обернулся и, ткнув в одну фотографию пальцем, сказал:

—Вот тут я и братья мои.

Я смотрела с печки вниз, и комната казалось необычно маленькой, а дед совсем стареньким. Снова спрятавшись за занавеску, я прилегла на бок и стала представлять всё то, что услышала от отца и от деда. Странные чувства возникли в моём сознании. Какой-то безрадостной показалась мне жизнь деда и отца, неинтересной. Как же они так жили—только работали да на печке сидели? Я отодвинула занавеску и свесила с печки ноги. А сама не могу спуститься, высоко.

—Что? Насиделась уже?—отец подхватил меня под мышки и спустил на пол.

Чтобы развеять неясные впечатления от знакомства с печкой, я пошла во двор. Светило солнышко. Мама гуляла с Таней и показывала ей, как курочки клюют свою пищу из корытца. За изгородью, из дальней стайки, слышны были бабушкин голос и мычание коровы.

«Хорошо, что у нас в городе, в бараке, печка не такая большая, как у деда. А то, может, тоже пришлось бы на ней всю зиму сидеть»,—думала я. Но, вспомнив, что и у меня, и у сестры есть хорошие тёплые зимние вещи, порадовалась и успокоилась.

Нам мороз не страшен, у нас валенок много!

Старый сундук

— Мать, дай-ка мне чистые ремушки, в баню пойду,— крикнул дед и уселся на край кровати.

Мне было непривычно слышать такие смешные слова от деда, и я не сразу понимала, что́ именно он просит у бабушки. Бабушка вышла из кухоньки, вытирая руки о подол цветного фартука, и направилась к сундуку. Большой деревянный сундук, обитый по углам и по бокам узкими железными полосками, давно вызывал у меня интерес. Он стоял возле кровати, рядом с дверью, и на нём можно было сидеть, как на лавке. Его выпуклая крышка, сохранившая на себе в некоторых местах железную обивку, имела серо-зеленоватый цвет. Может быть, раньше сундук красили зелёной краской, но со временем она стёрлась, и сундук выглядел таким поцарапанным и потёртым, что казался мне загадочным предметом из старинной русской сказки. Мне всегда хотелось узнать, что же там лежит. Может, сокровища?

— Бабушка, а что там у тебя спрятано?— я уже с нетерпением крутилась возле сундука.

— Богатства,— засмеялся дед за моей спиной.

— Какие богатства?! Как в сказке?!— моё воображение рисовало немыслимые видения о содержимом сундука.

— А у нас теперь всё как в сказке! А в сундуке бабкино приданое спрятано,— продолжал смеяться дед, но я не понимала, что такое приданое, и мне стало ещё интересней.

Бабушка не спешила. Она долго крутила ключом в дырочке замка, потом вытащила замок из железных петель и наконец-то откинула тяжёлую крышку сундука, а я уже тут как тут.

То, что лежало в сундуке, сильно разочаровало меня. Он был наполнен какими-то вещами, которые бабушка стала перекладывать, как будто что-то искала.

— На вот, приданое твоё,— лукаво засмеялась бабушка и кинула деду на кровать свёрток из толстого белого материала.— Иди уже, мойся. После Маша с девчонками пойдут.

Дед развернул свёрток, и в его руках оказались широкие мятые штаны с верёвочками. Он потряс ими передо мной.

— Вот и всё моё богатство— кальсоны холщовые в заплатах,— захохотал дед, свернул вещи и пошёл в баню.

Не получив никакой радости от увиденного, я перевесилась через край сундука и стала отодвигать в сторону тряпки, надеясь увидеть на дне придуманные мною сокровища, но, кроме поношенных вещей, в сундуке ничего не попадалось.

— А что там ещё есть?— допытывалась я у бабушки, не веря, что дед пошутил надо мной.

— Ничего больше нет,— улыбалась бабушка.— Платьишки мои старые да дедовы рубахи.

— А здесь что?!— я радостно вытащила из угла свёрток из пожелтевшей газеты.

— Бумаги там, документы наши. Наташа, убирай ручки, закрывать буду уже,— бабушка спрятала газетный свёрток обратно и стала легонько отстранять меня от сундука.

И тут только я увидела, что внутренняя поверхность крышки старого сундука обклеена разными цветными бумажками. Вот это да!

— Бабушка, это фантики у тебя, что ли?!— удивлялась я, рассматривая необычные размытые цветные изображения на больших прямоугольниках с оборванными краями.

Бабушка тоже фантики собирает!

— Какие ж это фантики? Мы и конфет-то отродясь не видали. Это деньги старые.

— Деньги?! А зачем ты их приклеила в сундуке?!— продолжала я удивляться такому странному для меня открытию.— А на них можно что-нибудь купить?

— Нет. Они же старинные, царские ещё, николаевские,— пыталась объяснить бабушка.— После реформы остались, вот и обклеили ими сундук.

Из всех слов, сказанных мне бабушкой, я услышала и поняла только одно: «царские».

«Значит, сундук всё-таки оказался с богатством»,— с восторгом думала я, прикасаясь к невиданным бумажным сокровищам.

Теперь сундук нравился мне ещё больше, и в следующий раз, как только бабушка открывала его, я непременно бежала рассматривать загадочные «царские» деньги.

Крапива

Уже с первого дня моего пребывания в гостях у деда и бабушки я познакомилась с животными, жившими во дворе за изгородью, в деревянных стайках. Я их немножко боялась, особенно корову. Корова с виду выглядела доброй, от неё пахло теплом и молоком, но её рога и копыта вызывали у меня страх. Хорошо ещё, что весь день она паслась на лугу вместе с остальными деревенскими коровами. Но когда вечером я слышала за воротами мычание, то убегала на крыльцо дома и оттуда смотрела, как бабушка открывает ворота и запускает корову во двор. Двери в сени я держала наготове приоткрытыми, чтобы можно было сразу спрятаться в случае чего. И всё же интересно: как корова сама находила наш дом? Вместе с коровой в загончике жили барашек и две овечки. Барашек хоть и с рогами, но сам всего боялся, а овечки так сильно всех боялись, что даже было видно, как они, тяжело дыша от страха, чуть-чуть качаются на месте. И кричат они смешно: «Бебе». Большую толстую свинью я тоже побаивалась, а вот её маленьких поросяток— нет. Поросятки смешно повизгивали и крутили пушистыми розовыми хвостиками. Их можно было даже погладить или почесать за ушком. Куриц я совсем не боялась, потому что они от меня разбегались в разные стороны, а от петуха я старалась держаться подальше. Уж очень он крикливый.

И всё-таки хорошо, что животные жили за заборчиком, а мы с сестрой могли гулять по большому двору и наблюдать за ними издалека. Правда, курицам разрешалось гулять везде. Но они и не спрашивали разрешения, ведь у них есть крылышки, а на них можно перепорхнуть через любой

невысокий заборчик. Когда дед приносил с рыбалки рыбу, бабушка чистила её прямо во дворе на доске, а куры тут как тут. Они склёвывали всё то, что бабушка отрезала от рыб. И ещё кудахтали при этом и чуть не дрались друг с другом из-за лучшего кусочка. Почти каждый день дед ходил на речку за рыбой. И каждый день мама с бабушкой варили её. В рыбе много косточек, и маме приходилось вытаскивать их, чтобы мы с Таней могли покушать.

И вот как-то, когда мы все обедали, я услышала, как дед и отец стали договариваться о том, чтобы зарезать барана. И даже бабушка говорила, что мы с сестрой плохо едим суп с вяленым мясом и что, кроме рыбы, картошки и каши, есть нечего.

Услышав это, я мигом представила пугливого барашка в кучерявой коричневой шёрстке, очень испугалась за него и стала жалостливо просить:
— Не надо резать барашка! Я всё равно не буду есть из него суп! Не надо…
— Ндак вы и этот суп не шибко едите,— глянула бабушка в мою тарелку, по которой я нехотя водила деревянной ложкой.

Суп действительно по вкусу не нравился мне, мама в городе варила вкуснее. Дед объяснял, что суп с вяленым мясом. Он рассказал, что летом свежее мясо негде хранить, и поэтому мясо сушат на чердаке, чтобы оно не испортилось. Но от его объяснений суп не становился вкуснее. Значит, теперь из-за нас с Таней должны убить барашка, чтобы сварить из него обед?! Я стала быстро доедать свой суп, а сама, следя за разговорами взрослых, продолжала повторять:
— Я буду есть этот суп, не надо резать барашка, не надо резать барашка!
— Наташа! Перестань! Дед же как лучше хочет, для вас же свежее мяско будет,— уговаривала меня мама.

Я поняла, что меня всё равно никто не послушает, и настроение моё совсем испортилось.

После обеда я пошла к изгороди, за которой жили животные, но там ещё никого не было. Значит, барашек ещё пасётся на поле, подумала я, и это меня немного успокоило. Может, дед с отцом забудут о нём, и всё обойдётся?

Вечером корова и барашек с овечками, как всегда, вернулись домой, в свои стаечки, и бабушка, взяв большое ведро, отправилась доить корову. Молоко мы пили с сестрой каждый день, а отец, глядя на нас, радовался и говорил, что в деревне молоко настоящее и воздух свежий. Бабушка вернулась от коровы и налила нам в кружки свежего парного молока, но мне не хотелось его. Я заметила, как отец и дед вместе выходят из дома. Я — за ними. В сенях дед нашёл верёвку, а отец прихватил старый мешок.
— Не надо убивать барашка, не надо убивать барашка,— снова начала я уговаривать деда.

Таня перелезла через высокий порог и тоже вышла за мной на крыльцо. Тяжёлую дверь в дом мы прикрыли.
— Идите в избу, не стойте тут,— заворчал на нас дед, но мы не уходили.

Дед и отец направились к изгороди. С крыльца было хорошо видно, как они, закрыв за собой калиточку, пошли к стайкам. Я вытянув шею, смотрела во все глаза. За оградкой началась беготня. Барашек понял, что пришли за ним, испугался и стал кидаться в разные стороны. При этом он громко и жалобно кричал. Но отец и дед гонялись за ним и никак не могли поймать. Они ругались, махали руками, но барашек отпрыгивал от них.
— Папа, не убивай барашка,— уже со слезами на глазах просила я с крыльца,— не надо его лови-и-и-ить.

Мой голос переходил на плач. Сестрёнка, видя, что я сильно переживаю за барашка, тоже начала плакать. Она всхлипывала:
— Не нядя-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а…
— Идите к маме,— кричал нам отец,— уходите!

Но мы с сестрой продолжали стоять на крыльце.

И вдруг уже окончательно перепуганный баран перепрыгнул через изгородь, отбив копытами самую верхнюю жёрдочку, и стал носиться по двору прямо перед нашими глазами. Я так обрадовалась, что он всё же убежал, что даже плакать перестала! Мне почему-то представилось, что барашек сможет перепрыгнуть через высокие ворота и убежать куда-нибудь подальше от дома, где его уже никто не догонит. Но дед и отец, громко ругаясь, выскочили из оградки и снова стали гоняться за несчастным бараном. Они поймали его и потащили к забору. Видя эту ужасную картину, мы с сестрой, уже не сдерживая слёз, ревели вовсю:
— Не надо резать барашка, не на-а-а-ада-а-а-а-а-а-а-а…

Слёзы заливали глаза, а горе переполняло настолько, что я даже не сразу заметила, как мама выбежала на крыльцо и, схватив нас обоих с сестрой, потащила в дом.
— Вы зачем на крыльцо-то вышли?! Зачем смотрите на всё это?!!! — возмущалась мама.— Надо же, я думала, они в другой комнате играют, не слышим ничего из кухни, а они тут плачут стоят!

Из кухни вышла бабушка, жалостливо посмотрела на нас и тоже стала причитать:
— Они что же, мужики, не могли тихонько уйти, девчонок не могли прогнать, что ли, с крыльца?! Ох, ох, ох.

Мама и бабушка стали уговаривать нас не плакать. Но я долго не могла успокоиться, понимая, что самое страшное, наверно, уже произошло и что теперь уже ничего не изменишь. Бедный барашек, он так боялся…

Вскоре в доме запахло мясом, мама и бабушка вдвоём суетились на кухне, готовили ужин.

Я спряталась в другую комнату и смотрела в окно. Когда мама позвала за стол, я надулась:
— Я не хочу есть.
— Как это «не хочу»? Голодом сидеть будешь, что ли?— возмущалась мама.
— А вы из барашка еду сварили, я не буду её есть! Зачем зарезали его?

Во мне закипала обида, но мама вывела меня к столу и заставила сесть на своё место.
— Не хочешь из барана — будешь что-нибудь другое кушать,— тяжело вздыхала мама, понимая,

наверно, что теперь ей будет нелегко нас накормить.

Когда дед и отец сели напротив меня, мне не хотелось даже смотреть на них. Они мне казались злыми. Но когда бабушка поставила посреди стола тарелку с большим дымящимся куском мяса, напоминающим голову бедного барашка, я сползла с лавки и спряталась под стол.

— Я не буду есть, я не хочу есть еду из барашка,— сердито приговаривала я из-под стола.

— Вылазь оттуда!—прикрикнул отец.

Я вылезла из-под стола, но старалась не смотреть на тарелку с бараньей головой.

— Я не буду есть, не буду,—упорно твердила я, глядя исподлобья на отца и деда.

Мама вынесла из кухни тарелку с супом и поставила передо мной:

— Кушай тогда суп.

— А он из барашка?—я стала принюхиваться к горячему пару, поднимающемуся из тарелки прозрачной дымкой.

— Ешь, Наталья. Завтра за рыбой пойду. Ухи наварим опять,—заступился за меня дед.

— Нет, не из барана. Простой суп, ешь,—спокойным голосом уговаривала мама.

Она тоже села за стол, посадила сестру на колени и стала дуть на суп в Таниной тарелочке. Потом вложила ложку в Танину ручку и поднесла её к маленькому ротику сестры.

— Это вкусный, хороший суп, да? Вот и Таня кушает.

Таня нехотя открывала рот.

Я смотрела на всех и не знала, как же мне поступить. Всё же я понимала, что мама хитрит и суп тоже из барашка. Кроме супа и бараньей головы, на столе ничего не было, только огурцы и хлеб. Что же мне теперь, одни огурцы кушать?

— Ешь!—отец строго глянул на меня.—Заелись совсем! Если бы нам в войну такой суп дали, мы бы так рады были! Всю войну голодом сидели, очистки картофельные в чугунке варили. Тятя на фронт ушёл, а мне-то ещё только десять лет было. Я хоть самый старший из всех, а что мог-то? Нас же четверо ребятишек было. Тятя и на охоту ходил за зайцем, и уток стрелял, и рыбу ловил. Мужиков всех забрали на войну, одни бабы да пацаны остались, да ещё дядя Ваня—костыль безногий.

Отец взволнованно рассказывал о том, что я и не знала совсем. Я слышала о войне в садике, но вот так открыто и прямо услышать от отца обо всех её бедах ещё ни разу не приходилось. Все ели и молча слушали. Я взяла ложку и попробовала суп.

— Ещё поначалу перебивались как-то, а потом хуже и хуже,—продолжал отец.—Весной надо огороды копать, картошку сажать. Мы с Сашкой, два пацана, целыми днями за своим огородом сорок соток земли перекапывали под картошку. Посадили, а потом осенью выкапывали. Нам этой картошки на ползимы и хватило только, а больше есть нечего. Даже очистки картофельные кончились. Ни хлеба, ни муки. Корова сдохла. Залезем на печку, сидим и плачем там от голода. Если бы тогда нам на стол столько еды поставили! О!!! Знаешь, как бы мы набросились на неё и не прятались бы по столом! Барана пожалели! На то и растят баранов и свиней, чтобы потом было чем кормиться! Мы по весне крапиву в войну варили, мяса и не видели. А Сашка наш с сыном дяди Митрофана, Ванькой, кости рыбные у них со сковороды стащили и, чтобы мать Ванькина не увидала, незаметно выбросили их на улицу в окно. Думали, хоть костей погрызут. А пока сами в окно вылезали, собака прибежала большая рыжая и кости те есть начала. Так Сашка с Ванькой из-за костей с собакой дрались. Она на них рычит и кости грызёт, а они так и остались ни с чем. Вот так жили! Животы с голоду пухли! А вам сейчас и то, и другое, и конфеты, и пряники—всё есть! И ещё выбираете: хочу, не хочу!

Пока отец рассказывал о войне, бабушка хлебала суп и тихонько кивала головой. Глаза у неё стали грустные. Наверно, она тоже вспомнила, как плохо им тогда жилось.

— Худо было, ох худо…—вторила она отцу.

Я уже доела суп и сидела, задумавшись, низко опустив голову. Всё перемешалось в моей голове. Слишком много всего необычного и страшного узнала и увидела я сегодня. Я всегда думала, что плохо—это когда нет сладкого, но чтобы есть траву или вообще ничего не есть—не могла себе представить. К жалости за барашка прибавилась жалость к ребятишкам, голодающим в войну. А отец всё рассказывал и рассказывал. Дед тоже вспоминал войну и голод после войны.

После ужина я стояла на крыльце и удивлялась какой-то необычной тишине. Я знала, что барашка уже нет, и чтобы уже не переживать из-за этого, представила, как худой маленький мальчик рвёт кусачую крапиву, чтобы потом его мама сварила из неё суп. Мне было очень грустно.

На крыльцо вышел отец.

— А где ты крапиву рвал, когда война была?—вдруг спросила я, глядя через забор на бабушкин огород, где все грядки были засажены и морковкой, и огурцами, и луком.

— Да вон же её сколько,—отец показал рукой на заросли крапивы в самом углу огорода за домом.—Это к концу лета в огороде что-то нарастёт, а весной и в начале лета одна крапива стоит. Вот тут её и рвали.

Крапива тихонько шевелила на ветру острыми резными листочками, каждый из которых мог так ужалить, что станет очень больно! Как же они её кушали?

— Ну что, пойдёшь крапиву рвать на суп?—спросил шутливо отец.

Я смотрела на высокие стебли крапивы, представляла тарелку, наполненную водой с зелёными листьями, и молчала.

Вальдемар Вебер

101-й километр, далее везде…

Главы из книги

Спаситель

Самые ранние воспоминания связаны у меня с железной дорогой. Мне было немногим больше двух лет, когда мама повезла нас, троих детей, из Сибири в Котлас, на русский Север, к отцу, чтобы оттуда после его освобождения из трудлагеря направиться всем вместе в Карабаново, единственное место вне лагерной зоны, где отца с матерью помнили и ценили и где отцу обещали работу.

Мне мало кто верит, но моя память сохранила многие подробности того путешествия: снование людей по вагону, крикливые голоса проводников, хлопанье и лязг дверей, свистки паровозов, запах гари, снежные горы за окном и широкое лицо игравшего на гармошке солдата. Все мои жизненные ощущения начинаются с этих звуков и запахов, настолько вытеснивших все другие впечатления, что кажется, словно и на свет-то я появился в том поезде и словно ехали мы в нём с самого моего рождения вплоть до прибытия в Карабаново и так сроднились с рельсами, что, достигнув наконец цели, не захотели с ними расстаться и поселились у самого железнодорожного переезда.

От фабричной узкоколейки наш дом отделяло булыжное шоссе. Столь близкое соседство с главными «транспортными артериями» города нас не тяготило. В первые послевоенные годы в наших непрестижных краях ездили в основном на лошадях, запряжённых в телеги и сани. Узкоколейка тоже не была перегруженной. Сновали нешумные самоходки и дрезины, или паровозик тянул не спеша, со станции и на станцию, товарные платформы с сырьём и готовой фабричной продукцией.

Наш небольшой двухэтажный дом, в котором умудрились разместиться восемь семейств, широкий двор перед ним и сараи отделял от дороги низкий деревянный забор. Двор пустой и просторный, заросший сорной травой, посредине него огромный серый камень. Считалось, что лежит он здесь с ледникового периода. Говорят, что этот камень до сих пор на своём месте и совсем не изменился — единственный в городе объект, не поддавшийся разрушению последних лет, ставший для карабановцев своего рода предметом культа, символом стабильности и надежды.

Серый камень был моим первым другом. Летом он обрастал бурьяном и лебедой, и, пробираясь сквозь их заросли, я представлял себя в глубокой горной долине. Зимой он превращался в ледяную весёлую горку. Но больше всего я любил играть около него ранней весной, когда сходил снег и начинала подсыхать земля. На неподветренной стороне, на припёке, я выковыривал из земли оттаявшие разноцветные стёклышки и черепки и мог, сидя на какой-нибудь деревяшке, часами их перебирать.

Мы, дети, закапывали осенью под камнем стёклышки, а весной выкапывали, словно сокровища из тайников. Считалось, кому повезёт, могут в этих стёклышках, долго пролежавших в земле, увидеть другую сторону земли — Америку, например.

Камень к полудню нагревался, я прислонялся к нему спиной, как к печке, его тепло проникало сквозь одежду и заряжало сладким чувством причастности к окружавшему меня миру.

В апреле воздух наполнялся радостной силой и щедро ею делился. Всё оживало, даже старые ветви и прошлогодняя листва, да и сам камень казался просыпающимся после зимней спячки, жмурящимся от солнца зверем. Поленница дров, не до конца сожжённая за зиму, тоже наполнялась жизнью, из неё без конца выползали какие-то жучки и паучки, а среди них — первые божьи коровки.

Мне не нравилось, когда девочка-соседка, посадив божью коровку себе на ладонь, говорила: «Лети в небо, где детки кушают котлетки». Порой она заменяла «котлетки» на «конфетки». Мне больше нравилось делать, как меня учила соседка тётя Настя: посадить божью коровку на указательный палец и сказать: «Божья коровка, лети на небо, узнай нам на счастье, будет завтра вёдро али ненастье». Я не знал точного значения этих слов, но быстро усвоил, что «вёдро» — это что-то хорошее, а «ненастье» — что-то плохое; тётя Настя произносила слова эти по-разному: одно — радостно, другое — грустно. К тому же я очень любил тётю Настю, а «ненастье» звучало как «не Настя».

Если коровка взлетала, это обещало хорошую погоду. И коровка редко ошибалась. А ещё мне нравилась присказка: «Лети-ка домой, в твоём доме пожар, твои детки одни». В ней были тревога, беспокойство, а также предположение о существовании какого-то другого мира, к которому принадлежит божья коровка: мир этот должен быть чем-то связан с нашим, иначе зачем бы она прилетала сюда, к нам, оставляя своих деток одних, подвергая их опасности. Все мои божьи коровки улетали за переезд.

Покидать пределы двора настрого запрещалось. Ребёнком я был послушным, и мама, имевшая возможность наблюдать за мной из окон квартиры, не волновалась. Она не догадывалась, что пространство двора с каждой минутой становилось для меня всё теснее и что мной уже давно владело желание отправиться туда, куда улетала божья коровка, а именно — за пригорок, на который за переездом взбиралась окаймлённая берёзками

дорога, туда, где каждый день заходило солнце. Что таилось там, за разноцветными домиками и заборами? Я слышал голоса детей, там шла чья-то загадочная жизнь, лаяли собаки, блеяли козы, пели петухи, играл какой-то звонкий инструмент. Позже я узнал, что это был ксилофон и что играл на нём такой же, как я, маленький мальчик.

И вот однажды, в один особенно яркий, солнечный день, я пошёл на звуки этой музыки.

Самым трудным оказалось перейти через шоссе. Оно было вымощено крупным булыжником разного размера, уложенным неравномерно. В некоторых местах камни выступали из земли, и чтобы не споткнуться, приходилось их обходить. Я старался ставить ступни между камней, это не всегда удавалось, и два раза я больно шлёпался о землю. Идти стало легче, когда я ступил на деревянный настил переезда. Первый рельс преодолел без труда. И тут предо мной возникло неожиданное препятствие: нескольких досок между рельсами не хватало, другие прогнили, в них зияли дыры. Для колёс машин и телег это, вероятно, большой помехи не представляло, для меня же оказалось серьёзной преградой. Я смело шагнул через образовавшуюся между досками «пропасть», удачно преодолел её, но одна нога вдруг соскользнула в зазор между досками, и я повалился набок. Поднявшись, я легко вытащил ногу из щели, но в ней застряла моя галошка, соскользнувшая с валенка.

Я знал, что мама будет очень недовольна, если я вернусь домой без галоши. Их прислала маме из Москвы подруга, и они были страшным дефицитом. Я уселся на рельс и стал сосредоточенно вызволять галошу из плена.

Однажды мне уже довелось легкомысленно поступить с другим подарком маминой подруги. То были непромокаемые ботики с плоской подошвой, которые можно было натягивать на детские туфельки. Как-то мама взяла меня с собой на речку, куда ходила полоскать бельё. Мальчики, игравшие на берегу, пускали по течению кораблики. Мне тоже хотелось пускать кораблики. Я снял ботики и поставил на воду. Они быстро поплыли, сносимые к центру реки, и скоро скрылись из виду. На вопрос мамы, где мои ботики, я захлопал в ладошки и радостно прокричал: «Поплыли, поплыли!» Мама осела на землю и заплакала.

Я не хотел, чтобы мама опять плакала, и выковыривал галошу до тех пор, пока не достал её. Затем стал натягивать её на валенок.

Вдруг я ощутил страшную боль в руке. Кто-то дёрнул за неё с такою силой, что я, пролетев над рельсами, шлёпнулся в нескольких метрах от них прямо на придорожную шлаковую насыпь. В момент падения я слышал резкий гудок дрезины и грохот проносящихся мимо колёс. Придя в себя, увидел над собой лицо незнакомого небритого мужчины.

Первые мои слова:

— А где галошка?

— Ты чё, мужик, какая галошка? Я тя токо что от наезда спас, ещё б секунда — и тя, как червяка, раздавило б!

Дрезина, переехав место происшествия, резко затормозила и остановилась, машинист подбежал с выпученными от страха глазами.

Увидев, что я живой, он выругался и спросил небритого:

— Твой, что ли?

— Не, я мимо проходил.

— Во, бля, родители пошли, алкоголики, за детьми совсем не глядят. Я б такого, коли б мой был, так бы вздул…

Он выругался ещё покрепче и пошёл назад к дрезине.

Я опять спросил:

— А где галошка?

Мы нашли её между рельсами целой и невредимой. Только теперь я почувствовал боль в ушибленной спине и разодранных ладонях.

Спасителя звали дядя Паша. Оказалось, что мама с дядей Пашей знакома, он когда-то чинил у нас водопровод. Она не знала, как дядю Пашу благодарить, куда посадить и ни за что не хотела отпустить его так просто, без гостинца. Он смущённо отказывался. Тогда мама вспомнила, что у неё заначена бутылка водки.

— Вот это пойдёт, — сказал дядя Паша, засунул бутылку в карман брюк, потрепал меня по волосам и заспешил.

Он работал неподалёку и порой захаживал к нам. Заявлялся днём в рабочей одежде, играл со мной, называл крёстным. Ходил он прихрамывая, а одна щека у него подёргивалась. Родом он был из-под Дмитрова и поэтому не окал, как наши, не говорил «пясок» или «смятана».

Мама угощала дядю Пашу оладьями, пирожками, иногда ей удавалось уговорить его отобедать с нами. Однажды за обедом он вдруг спросил:

— Генриховна, а может, у вас, это самое, есть грамм сто?..

Оказалось, что есть.

Теперь дядя Паша, что называется, зачастил. У мамы на такой случай всегда были припасены водка или портвейн. Отец считал, что мама поступает неправильно, но не препятствовал ей.

Случалось, дядя Паша пропадал на многие недели. Как-то раз после долгого отсутствия он впервые пришёл к нам сильно пьяный и с порога попросил водки. Сидя за кухонным столом, весь в синяках, он стал зло и крикливо ругать свою жену Фроську, которая, мол, с самого начала только и думала, что гулять-блядовать, со своим полюбовником навела на него клевету, упекла в тюрьму, да тут через месяц война грянула, он в штрафной батальон угодил, один из всего батальона уцелел, потом, контуженный, больше полугода в госпиталях провалялся. Фроська к нему приезжала, простить её, суку, умоляла, и он простил, вернулся к ней после войны, хоть и инвалидом, новую избу своими руками поставил, но она опять за своё, теперь вон на автобазе работает, деньгу зашибает, ушёл он из дома, живёт один, снял в чужой избе угол, она и детей не стыдится, своих шоферюг прямо в дом водит, один из них его, дядю Пашу, недавно избил до бесчувствия, собственные дети его презирают, да и люди тоже, одни только, мол,

мы, Веберы, его в дом свой пускаем, ведь мы ему вроде родни — всё ж, как-никак, а если б не он, дядя Паша, Вовке б сейчас и на свете не быть…

При этих словах он заплакал и попросил ещё выпить. Мама налила ему полстакана, но больше дать отказалась.

Подобные сцены стали повторяться. И хотя мама водкой запаслась, визиты дяди Паши стали её тяготить. Наконец она ему заявила, что хотела бы видеть его у нас дома только трезвым.

— Это значит, видеть вы меня больше вовсе не хотите. Трезвым я теперь не бываю.

Отец предлагал дяде Паше устроить его в вечерний техникум, где преподавал, но тот на подобные предложения лишь снисходительно улыбался и в конце любого разговора просил на водку. Порою его находили мертвецки пьяным в зарослях бурьяна около серого камня.

Как-то раз он явился, еле держась на ногах, в сопровождении ещё двух таких же пьяных водопроводчиков. Мы жили на первом этаже, и дядя Паша, постучавшись к нам в окно, громко и на «ты» обратился к выглянувшей из окна маме. Красуясь перед своими дружками, он просил денег на водку для всей компании. На его голос стали открываться окна других квартир. Мама рассердилась и, ничего не ответив, захлопнула окно и задёрнула шторы. Между тем дядя Паша не унимался: перебравшись на крыльцо, кричал что-то о людской неблагодарности, обращался к прохожим, рвал на себе рубаху. Собутыльники стояли поодаль и ухмылялись.

Спасла положение тётя Настя, наша соседка. Коренастая, жилистая, как мужик, она взяла дядю Пашу за шиворот и решительно скинула его с крыльца. Тот шлёпнулся о землю, стал мерзко ругаться и, уходя, погрозил тёте Насте кулаком.

Прошло много лет, я был уже в девятом классе и как-то стоял в очереди в продмаге, где за одним прилавком продавали хлеб, молоко, селёдку, колотый сахар, халву, повидло, концентраты каш, папиросы, пиво и водку. Как всегда в подобной ситуации, я о чём-то размышлял и почти не замечал происходящего.

Вдруг кто-то дёрнул меня за рукав, да так, что я чуть не вылетел из очереди. Передо мной, улыбаясь беззубым ртом, стоял небритый пожилой человек, одетый, несмотря на жару, в рваную фуфайку.

— Помнишь, как я тя из-под дрезины выдернул? Ты тогда полехше был, а теперь смотри какой вырос, оперился… Вовка, али не узнаёшь?

— Не узнаю́… Дядя Паша, что ли?..

— Во, люди, — обратился он к окружающим, — во что сделало со мной светлое будущее, во как потрудилась надо мной кипучая-могучая — даже челаэк, которого я от смерти спас, не сразу меня признал…

— Это водка над тобой потрудилась, — пропищал какой-то худенький чистенький пенсионер из очереди.

Дядя Паша в его сторону даже не посмотрел.

— Думаешь, Вовчик, я этому бывшему стахановцу отвечать стану? Ни сил, ни времечка у меня не осталось на таких мудозвонов. Как ты-то, как мать с отцом?..

Я рассказал, что мы давно переехали, живём по другому адресу, что старшие братья — студенты, а я старшеклассник.

— Сам ещё, значит, не зарабатываешь. А я уж хотел у тя пару рубликов стрельнуть, не хватает мне тут…

Я дал ему три рубля, сказал, что больше не могу, а то не хватит на покупки.

— А мне как раз три и нужно, — обрадовался дядя Паша.

Он схватил трёшку и стал протискиваться к продавщице:

— Катя, белую головку!

Очередь шумно запротестовала, но Катя рявкнула:

— А ну тихо, а то отпускать прекращу! — и выдала дяде Паше четвертинку.

Он тут же, при всех, отпил половину, постоял с минуту молча и вдруг сказал громко, чтоб все слышали:

— Вот ведь что получается: я те жись спас, ты должен бы передо мной на коленях стоять, а всё наоборот. Я копейку у тя прошу, вроде как бы за доброе дело унижением расплачиваюсь… Вот ведь устроено как…

— Бога не гневи! — с укором сказала пожилая женщина в деревенском платке.

— Бога? А что он мне, Бог-то твой? Где был он, Бог этот, когда меня в штрафбат упекли? Когда я по госпиталям мучился, где он был? Или когда меня, инвалида, за кражу одной буханки в лагерь отправили? Если б не амнистия, сидеть бы мне там и сидеть…

Из репродуктора, висевшего под потолком и никогда не умолкавшего, грянул в исполнении хора гимн Советского Союза. В те дни его исполняли днём по нескольку раз — шла Спартакиада народов СССР.

— Может, скажешь, этот «дядя Стёпа», и кореш его Регистан, и гимн их холуйский — тоже от Бога? Ты ведь наверняка Лебедя-Кумача с «Отче наш» вперемежку поёшь, те ведь один хрен, что петь. Вовка, ты посмотри только на них, — он обвёл рукой стоявших в очереди. — Посмотри на хари эти: неужто они от Бога?

Очередь возмущённо загудела, требуя вызвать милицию, мужики разъярились и стали наседать на дядю Пашу. Назревала драка.

Я оттеснил его к выходу и буквально вытолкнул на улицу.

— Ты где живёшь? — спросил я дядю Пашу.

— На кладбище, у сторожа в пристройке сплю. Слушай, крёстный, пойдём ко мне, покалякаем. Ведь мы с тобой толком никогда ещё и не говорили, маленький ты был… Вот только, Вовчик, — признался он, торопливо допивая четвертинку, — угостить мне тя нечем, прикончу щас бутылочку эту — и всё, дома у меня пусто, ни закуски, ни вина, ни чая, одни мертвецы.

Я дал ему все оставшиеся деньги. Он скрылся с ними в другом магазине и вскоре вышел оттуда с авоськой, в которой были буханка чёрного хлеба,

несколько банок консервов, две луковицы, бутылка портвейна и бутылка водки.

— Ну, устроим теперь пир, ты уж прости меня, что я в магазине паясничал, это я для них… Тебя я так приплёл, для красного словца…

Мы расположились на дальней окраине кладбища, среди старых могил. Многие надгробия были выворочены и сложены в штабели. Их использовали для новых могил или растаскивали для тротуаров перед домами: на кладбище с разных сторон напирали жилые бараки соседнего совхоза.

Дядя Паша сбегал в сторожку, принёс небольшие стаканчики и чистую рогожку, накрыл ею одну из плит с выбитыми на ней именем, званием и датами: 1857–1918 — надгробье местного священника.

— Тут при кладбище раньше часовенка была, местные её на кирпичи растаскали, «христиане» хреновы. Сколько живу — всё только и слышу: народ святой, народ святой… А как кирпич воровать, так сразу и алтарь раздрючут. Тот большой собор на Церковной горе тоже ведь под улюлюканье толпы порушили! Хуже нет бывшего мужика, что пролетарием стал, душе его совсем держаться не за что. Поди спроси вон ту очередь в магазине, чё они знают про дедов своих, — ничё не расскажут. Э-э-э… голи перекатной всё нипочём. Бабу-то свою я тоже из пролетарок взял, всё ей трын-трава. Всю жизнь мою покорёжила…

— Как они сейчас, твои-то? Знаешься с ними?

— Дочки замужем, а жена с другим, не знаю теперь уж, с которым по счёту. Дочек, когда их мужей дома нет, наведываю, они мне чуток помогают. Жена назад зовёт, обещает, что этого, своего, выгонит, коли вернусь. Посмотрел я на неё: на что она мне теперь, чучело старое? Я уж лучше тут, с мертвецами…

Он налил мне полную стопку. Я сказал, что водки ещё не пробовал.

— На Руси первая чарка — как второе крещение. Когда-нибудь всё равно начинать надо. Без этого — пропадёшь. Вот я, к примеру, не умел, поскольку из староверов, не научили меня в детстве. В жизнь, можно сказать, незакалённым вступил — вот и спился. Не доверяют трезвенникам у нас: не пьёт — стало быть, скрывает чё-то, правду сказать боится. Говорят же: чё трезвый не скажет, то пьяный развяжет.

— Значит, и ты сегодня в магазине сказать такое побоялся бы, если бы трезвый был?

— А что такого я там сказал? Так, вершки… Если б я до корешков добрался, они б меня точно поколотили. Ничё, дождутся ещё всей правды… ох дождутся!.. А пока пусть думают: с пьяного спрос, что с дурака. Только пьяным-то я, Вовчик, бывал, но головы не пропивал. Наоборот — когда пил, всё про себя приговаривал: чарка вина да прибавит ума…

Назад дядя Паша отвёз меня на попутной телеге. Мы простились у серого камня.

— А говорил, больше здесь не живёшь!

— Не могу же я домой в таком виде явиться, заночую у тёти Насти, у той, что тебя с крыльца спустила, помнишь?

Он поморщился.

— Дядю Пашу повстречал, — сказал я тёте Насте, едва стоя на ногах.

— Вот напасть-то! — воскликнула она.

— Ну что вы, тётя Насть, он мне жизнь спас. И он такой несчастный.

Тётя Настя испуганно меня перекрестила и уложила в постель. Долго тёрла мне уши, чтобы, как она уверяла, кровь к голове прилила и наутро голова не болела.

— Вот только хлеба и молока я для дома не купил, всё пропил, — промямлил я, засыпая.

Тётя Настя

Каждое воскресенье и по престольным праздникам она ездит в Александров на службу во вновь открытую там церковь — единственную во всей округе, а также по нескольку раз в год на исповедь, на её языке — «на говение». Апокрифические рассказы о деяниях святых почитает не менее самого Писания, да, собственно, она их от него и не отделяет — добавляет свою фантазию, начиняет суевериями детства.

Верит в приметы, загадывания. Например, что если сорока прилетела поутру к дому, то обязательно жди гостей. Как ни странно, эта её примета почти всегда сбывается. Знает много чудесных и «жутких» историй, происшествий, которые якобы случились в её жизни или в жизни тех, с кем была знакома.

Добрые силы в её рассказах не всегда побеждают, что вызывает мой протест, и тогда тётя Настя воскрешает героя, обрызгав его живой водой. Знает тётя Настя и массу загадок, пословиц, заговоров, заклинаний, вот только петь не умеет, слушать любит, но сама никогда не поёт. Даже в застолье не подпевает.

В её комнате на комоде и подоконниках — стопочки маленьких книжечек, ещё царских, с цветными картинками, с рассказами о житиях святых и мытарствах души, на стенах — образки, деревянные крестики, в плетёных и жестяных коробочках — просфорки от прежних посещений церкви. Она хранит их долго, по году, употребляет понемногу, размачивая кусочки в святой воде. Над божницей и рядом — пучки пахучей травы. В одном из углов, почти под потолком, берёзовый банный веник. Когда он выпаривается, тётя Настя использует его для подметания, а в угол вешает новый.

Она редко гневается, никого не судит, даже богохульников. Про всё плохое говорит: «Искушение это нам».

Не помню случая, чтобы кто-то из нас пренебрежительно высказался о её набожности. Мы лишь подтруниваем над её суевериями. Когда в грозу она тревожно крестится и молится, мы смеёмся и объясняем, что всё это только физика.

Она обучает меня церковнославянским буквам; узнав же о моём православном крещении в Сибири, принимается просвещать уже без сомнений. Грамоте она выучилась в доме александровского купца и фабриканта Первушина, где с детства прислуживала. Когда к купеческим детям приходил

учитель, Насте разрешалось заниматься вместе с ними.

И хотя нам в школе внушается совсем иное, тексты из её книжек слушаю с трепетным интересом. Лишь сожалею, что её неофициальные и такие притягательные праздники нельзя отмечать столь же открыто и со всеми, как Первое мая или Седьмое ноября. Тёте Насте подобные параллели не по душе:
— Вот поедем на Пасху или на Троицу к Сергию в лавру — увидишь, что такое праздник.

Она была нашей единственной соседкой по квартире. Считалось, нам сказочно повезло: не в казарму-спальню угодили, не в избяной частный сектор, а в ведомственный двухэтажный кирпичный дом на восемь семей, с тёплым общим туалетом на каждом этаже, с печными плитами и водопроводом.

По причине полного согласия между нами и тётей Настей назвать наше жильё коммуналкой не поворачивается язык. Подружившись с первого дня, мы жили, по сути, одним семейством. Тёте Насте принадлежала отдельная комната, где нашлось место для железной узкой кровати, небольшого комода, платяного шкафа, стола, сундука, а также красного угла с иконой.

Ребёнком я целые дни проводил с тётей Настей, глядел, как она варит в медном тазу на керосинке малиновое варенье, слушал её рассказы. Или мы вместе наблюдали из её окна, как на корм, высыпанный ею из форточки на карниз, налетали красногрудые снегири и жёлтые овсяночки, — мир я начинал познавать из окна тёти Насти.

Все звали её Анастасией Карповной, только для нас она была тётей Настей. Выросшая в деревне Лукьянцево под Александровым, она вышла замуж за белоруса, жила в гомельском Полесье. Три первых года войны провела в оккупации. Муж умер ещё в тридцатые, сын, призванный в армию ещё в сороковом и прошедший через все фронты невредимым, остался на сверхсрочной, служил теперь на Дальнем Востоке.

Белорусская деревня тёти Насти сгорела. Оставшись без крова, она подалась с другими погорельцами на восток, навстречу своим. Прячась ночью и днём по лесам, добралась до освобождённой зоны.

Факт пребывания в оккупации не имел для неё особых последствий. В анкете после возвращения на родину в январе тысяча девятьсот сорок пятого написала: жила в оккупации в деревне такой-то, сын — на фронте. В родном селе, где она поселилась в семье брата, никому в голову не приходило ставить ей в упрёк годы, прожитые при немцах. Только в тысяча девятьсот сорок седьмом, когда она перебралась к нам в город и устроилась на работу в столовую комбината, спецотдел заинтересовался её прошлым подробнее, стал таскать на допросы, но всё в конце концов уладилось: сыграли, видимо, роль военные заслуги сына и его офицерский чин.

В её белорусском доме два с половиной года квартировали три немецких штабиста. Двое были родом из Риги и понимали по-русски. Один из них был православным. Поэтому, когда выяснилось, что её новые соседи в Карабанове тоже немцы, она никак не удивилась. К звуку немецкой речи она привыкла, а в то, почему мы здесь и что нас сюда занесло, не вникала. Пережив несколько войн, террор, разорение церквей и деревни, она отучила себя давать окончательные оценки страшному настоящему, воспринимала всё как судьбу, как неизбежность, через которую надо пройти, не теряя достоинства и чести; настоящей же жизнью была для неё жизнь в вере.

…Год начинается с весны. Ростепель — предвестье. Первый весенний воздух, таяние сосулек, золотые капли. И наконец — самая ранняя, но уже настоящая весна. Ручейки, плывущие чурочки, кораблики из коры, запах колёсного дёгтя, винный запах от сосновых досок старых сараев. На реке бьют лёд для лéдников — для большого городского, потом каждый для себя, у кого изба или рядом с домом сарай. Ледоход, вётлы, утопленные высокой водой, чёрные полыньи и вороны над ними. Когда подсохнет, мажут лодки смолой, выносят на припёк матрасы, тулупы, пальто, телогрейки. Помню свою заворожённость быстрым движеньем весенних ручьёв, а по вечерам — неподвижностью, когда они, замерзая, останавливались, словно по мановенью. Тётя Настя поясняла: тому, кому они повинуются, тоже хочется кое-когда поспать.

Ранняя весна — это тёти-Настин пост, если он попадает на вторую половину марта. На подоконнике у неё ящик с зелёным лучком, посаженным загодя. Перед постом она посещает всех знакомых, просит простить её за прегрешения. Для нас в этом ритуале какая-то странность, нелепость, а потому загадочность: какие у тёти Насти могут быть грехи? Но слова «Прощёное воскресенье» звучат как музыка.

Сухари для поста она сушит недели за две, больше чёрные, на постном масле, в доме потом долго стоит дух жареного хлеба. Накануне поста идёт в баню и проводит в ней чуть ли не целый день. На Чистый понедельник одевается во всё праздничное и так ходит весь день.

Пост — это и наш вдруг преображающийся городской рынок, куда меня водит тётя Настя. Яблоки, клюква, брусника, крыжовник — мочёные, солёные, засахаренные, подмороженные. От капустки дух резкий квашеный, от огурцов — душистый укропный. Солёная с маринадом репа, грибы сушёные, солёные. Пирожки с луком, с изюмом. Медовые пряники, варенье. Приезжие азербайджанцы продают солёные арбузы. В мамином детстве на Волге они были зимой её любимым лакомством. Но нам они не нравятся. Мама обижается.

Для Вербного воскресенья тётя Настя нарезает вербу заранее, ставит в бутылки на подоконник, чтобы серёжки к сроку пушистее стали, золотистее. Стоит верба в бутылках после освящения в церкви долго, многие недели. Время от времени тётя Настя срывает одну из серёжек и жует, не знаю почему — то ли освящённая, то ли полезная.

Пасха — праздник, который празднуют все, даже родители. Хотя и тайно, закрыв двери. Случается,

что немецкая Пасха и русская выпадают на одну и ту же неделю. Мама тоже печёт кулич—остеркухен. В отличие от остальной её выпечки, он почти такой же, как тёти-Настин. Яйца красят в разные цвета, но больше в «луковый». Всюду по городу на земле скорлупки. Многие рабочие христосуются открыто: чего бояться—не библиотекари, не учителя.

Церкви в Карабаново нет, сломали ещё в конце тридцатых, верующие ездят на Пасху ко всенощной в Александров. В автобусах мест не хватает, ходят за восемь километров пешком. Возвращаются под утро, до обеда поэтому на улицах затишье, затем по окраинам и окружным деревням начинается гулянье.

Вскоре после Пасхи—Первое мая, мой любимый праздник. Музыка, бумажные цветы, красные флаги, первые пикники. Тётя Настя на демонстрацию не ходит. В этот день, даже если солнце и тепло, ей почему-то всегда нездоровится. Вспоминает, как однажды её барину-фабриканту рабочие забастовку объявили—а как раз заказчики издалека приехали, не могли долго товар забрать.

Двойные рамы выставляются поздно, холода могут нагрянуть и в начале мая. День, когда их наконец выставляют,—один из самых счастливых. Значит, скоро лето.

Вначале всё ненадолго бело от черёмухи, потом начинается неторопливый период сирени. На Троицу в домах, над дверьми и под потолком, нарезанные ветки берёзы; ходят в лес за берёзовым соком; ещё неделя, а там—и лето в разгаре.

Хотя и город, но повсюду пахнет сеном, на окраинах у всех коровы, у многих лошадки, все косят. С теплом появляются цыгане, разбивают табор в широком овраге в двух километрах от города.

Летом о тёте Насте я почти забываю: захлёстывает свобода от школы, детские игры и другие бесчисленные удовольствия; тётя Настя напоминает о себе праздником Преображения.

Считалось, что лето кончается в начале августа, на Илью Пророка: ночи темнели, дни укорачивались, вода в речке резко холодела, но мягкий август длился долго, распространяя яблочные духи. Яблоки, много яблок, к тёте Насти их несут и несут, она их с радостью раздаёт дальше, для неё они—плоды Спаса, Преображенья. Грустное время: скоро в школу…

Если сентябрь тёплый—лето продолжается: разводим костры, печём в поле картошку. Перед первыми ночными заморозками мочат антоновку, рубят капусту, засаливают огурцы, зелёные помидоры. Тётя Настя ходит к подруге помогать и берёт меня с собой. Торопятся: скоро дожди зарядят, дороги размокнут, над домами закурятся дымки, мама и тётя Настя начнут чуть ли не каждый день печь пироги, и мы все вместе—чаёвничать долгими вечерами.

Главное событие в эти хмурые дни—праздник Октября, торжественные собрания, школьные концерты. Для тёти Насти этого праздника словно не существует. Я к тёте Насте в комнату не заглядываю, сержусь на неё. Хожу мимо её дверей и громко пою: «Смело, товарищи, в ногу…»

Между рамами у тёти Насти ветки рябины. Огонь ягод делает хмурые дни светлее. Задолго до Рождества всё завалено снегом.

После приезда бабушки и переезда на новую квартиру у нас тоже справляется Рождество, бабушкино немецкое Рождество, оно всегда первое, прежде тёти-Настиного. Бабушка редко улыбается. Её церковь где-то далеко-далеко, в каких-то заволжских степях, всеми брошенная, заколоченная.

Тётя Настя приходит к бабушке на Рождество из уважения: её Рождество ещё впереди, седьмого января, сейчас она держит пост, а у нас рыба—жареная щука, но бабушка специально для тёти Насти постные булочки испекла, накладывает ей капустки. Всё мирно, с обоюдным почтением. Тётя Настя лишь удивляется: у нас, православных, в сочельник так сытно не едят, разве что кашу, сайку с чаем.

Для папы с мамой главный праздник—Новый год. Красная звезда на ёлке, празднуют шумно, зовут гостей. Рождественский Дед перекочевал из Рождества в Новый год, тётя Настя называет его «товарищ Дед Мороз».

На Новый год она тоже ничего не ест, её пост продолжается. Говорит:

—Вот на старый Новый год душу отведу и рюмочку выпью.

На своё Рождество она мажет свечки мёдом, уверяет: у мёда самый рождественский запах. На святки ходят ряженые с личинами, с бородами, огромными носами, парни румянят щёки, мажутся сажей. А там и крещенские морозы, купание мужиков в проруби, соревнуются, кто кого пересидит, после купания—кто кого перепьёт. Катание с ледяных горок на санках, на коньках.

На Масленицу у тёти Насти для всех нас блины, а за окнами гармошка, частушки, хохот, крики, матерная ругань.

Стучатся цыганки, предлагают погадать, тётя Настя их гонит, говорит, что в Святки нагадалась.

Казармы-спальни устраивают между собой драки, «стенка на стенку». Старинный деревенский обычай, выродившийся в пролетарской среде в мордобой; на окраинах дерутся даже с кольями и цепями.

Перед Великим постом пьют безбожно. Самое несчастное время для комбината. Прогулы, опоздания. Но никого не увольняют, не сажают, как перед войной: мужская рабочая сила—дефицит. Настя пьяниц не любит. Когда при ней говорят: «Если пьёт—значит, мастер хороший»,—поправляет: «Как мастер—так пьяница, вот напасть то…»

Всё увидено детскими глазами, но запечатлелось ярко: жизнь, о которой ни слова—ни по радио, ни в кино. Пережитки… Но что-то такое, значит, в них есть, в этих «пережитках», коли близкие тебе люди так ими дорожат, так их держатся…

Удивительно, но ни мама, ни отец, воспитанные в безбожии, не возражали против приобщения меня тётей Настей к религии. Будто не замечали.

Ежегодно на Троицу тётя Настя направлялась на богомолье в Сергиев Посад, переименованный в те годы в Загорск в честь большевика Загорского, человека незнаменитого. Никаких гор вокруг не

было, но название для русского слуха было благозвучным и потому, наверное, быстро привилось. Никаких ассоциаций с образом Загорского ни у кого не возникало.

Немного подросши, я напомнил тёте Насте о её обещании взять меня когда-нибудь в лавру. Родители нисколько не возражали, хотя знали, что нам придётся брести по сельским дорогам, ночевать неизвестно где. Человека надёжней тёти Насти в их представлении не было. А та была чрезвычайно довольна, что родители не возражали. Оказывается, с давних времён для паломничества обязательно испрашивали родительского благословения.

Троица в тот год пришлась на самый конец мая. От Александрова ехали на электричке, но сошли уже на следующей остановке, в Струнино. Там — Преображенская церковь, в ней тётю Настю крестили. Постояли перед руинами, помолились. Тётя Настя тихо пела: «Изведи из темницы душу мою…» Я при этом думал: «У неё такая добрая душа, разве она в темнице?..»

Затем опять сели на электричку. Когда проезжали Арсаки, тётя Настя, оглядевшись вокруг, полушёпотом рассказала, что в трёх километрах отсюда была Зосимова пустынь, мужской монастырь, куда она тоже девочкой с купеческими детьми на богомолье ходила. «Там теперича воинская часть. В кельях монахов солдатики проживают, храни их Господь». А Лукианову пустынь, что рядом с её родной деревней, куда она «сызмальства молиться ходила», в тюрьму превратили. Потому-то и не ездит она туда, «хошь и родина». «И перекреститься-то в её сторону страшно…»

Доехали до станции «Платформа 81-го километра». Оставшиеся десять километров до лавры предстояло пройти пешком.

— Хоть немножко, но пяшком пройти надоть — а то какое ж это хождение к месту святому?.. — приговаривала тётя Настя.

Мы идём, минуя околицы деревень, по полям, обрамлённым лесными полосами, не отклоняясь далеко от железнодорожного полотна. Воздух горячий, густо жужжат стрекозы и пчёлы, у обочины дороги расцветают первые ромашки, колокольчики, подрастает крапива. В лесу в полдень — напоённый жар, проникающий до костей. В берёзовой роще он пахнет травами, в сосновой и в ельниках — смолой.

Тётя Настя рассказывает мне про Сергия Радонежского, который жил давным-давно, тогда же и первые храмы в лавре выстроил и освятил; Богородица ему тогда явилась, и он духом своим Русь от монголов освободил, а потом во все времена её спасал, — там, в Троицком соборе, мощи его лежат, люди к ним ходят, потому что рядом с ними молитва особенно помогает.

Советовала:

— Если ты оченно чяго желаешь, только, конечно, чяго душевного — например, помощи кому-нибудь или сябе самому, попроси Сергия, у яво мощей.

Учила:

— Обращение к святому надо начинать нараспев: «Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас».

Вблизи одной деревни в лесу она долго искала знаменитый родник, обязательно хотела попить из него. Потом хлестала себе ноги молодой крапивой, моча её в студёной воде, приговаривала:

— Теперь побягут, словно и не ходили…

Дорога была безлюдной. Тётя Настя обещала:

— Вот придём — увидишь, скоко там крящёного народу. Всё больше со стороны Москвы по Троицкой дороге на богомолье ходят, я тоже не один раз, в девках когда была, по ней ходила, а мы вот с тобой нонче с другой стороны к Сергию идём, — да рази не одно, откуда идти, важно преподобного уважить.

На той Троицкой дороге, вспоминала она, трактиры были, чай и постное предлагали.

— Ну ничё, скоро к Дарье придём, у неё и напьёмся.

До Дарьи, свояченицы тёти Насти, её ровесницы, жившей километрах в двух от лавры, в деревне Топорково, мы добрались ближе к вечеру. Лес кончился, солнце ещё светило, и издали виднелась колокольня монастыря.

Дарья уже ждала нас, самовар кипел, пахло сосновыми шишками, было жарко, и чай мы пили в саду. Со лба тёти Насти текли струйки пота, она утиралась большим полотенцем, но продолжала пить стакан за стаканом вприкуску с вареньем. Держа глубокое блюдечко в левой руке на всех пяти растопыренных пальцах, она отдувала парок и громко схлёбывала. Дарья пила не меньше. Было непостижимо, как в них столько вмещается.

Очень хотелось пойти ко всенощной, но меня сморило, и тётя Настя с Дарьей ушли одни. Я засыпал под дальние звуки благовеста.

Проснулся рано. Тётя Настя ещё спала на кровати напротив, и я долго лежал молча, боясь её разбудить, смотрел на освещённые первыми солнечными лучами деревянные доски противоположной стены, увешанные поблёкшими бумажными цветами, вышивками и фотографиями, вслушивался в тишину. Ждал, когда в лавре прозвучит первый удар колокола, о котором знал от тёти Насти, что он самый главный, что он тон всему дню задаёт — всем другим колоколам и молитвам.

Дарья к обедне идёт вместе с нами. По пути рассказывает, что даже в годы, когда лавра была закрыта, всё равно люди шли сюда: постоят у монастырских стен, рукой их коснутся или приложатся, пучок травы нарвут и в котомку спрячут, сама видела. А кто и до Троицкого собора, минуя охрану, добирался.

Впереди маячит Троицкий собор с блистающими звёздами на синих куполах, вырастая всё больше и больше. При приближении к лавре очень много калеченых и убогих. Столько их сразу вместе я никогда ещё не видел. У нас в городе тоже много инвалидов с обрубками рук и ног, ездящих на маленьких платформах-колясках, но здесь и слепые, и хромые, и с язвами на лице, на глазах, на теле.

В медленно идущей к главному собору толпе — несколько женщин, странно себя ведущих, крикливых, с диковатым выражением глаз.

— Эти выделяются, — говорит тётя Настя, — но многих болящих не распознаешь, они хоть сябя

тихо вядут, а душа у них болит, тоже исцеленья пришли просить.

Она медяков наменяла заранее, ещё дома, часть дала мне, чтобы раздавал просящим подаяния, когда к храму подойдём. И ещё поразило: много молодёжи и женщин с детьми. Не так, как у нас в Александрове, где в церкви одни старики.

В соборе полумрак, самое яркое место—вдали, у гроба Сергия, там больше всего свечей, откуда-то слышится хор, но, прислушавшись и присмотревшись, замечаю, что поют почти все. Кто тише, кто громче; не поют лишь те, кто продвигается в один ряд в очереди к раке. Вперёд никто не протискивается, даже увечные ждут терпеливо.

Дошедший до раки прикладывается к стеклу над нею, потом крестится; священник, стоящий рядом, крестит его.

Я к раке решаю не идти, что-то мешает, какая-то внутренняя тревога, ощущение неготовности… Тётя Настя не настаивает.

На выходе из собора сталкиваемся с моей школьной учительницей пения. В Карабаново она носит волосы открыто, славится модными причёсками, а сейчас повязана платком. Я здороваюсь, она испуганно вздрагивает, делает вид, что не знает нас, и торопливо исчезает.

Когда думаю о том паломничестве, не могу отделить его от впечатлений более поздних. Повзрослев, бывал в лавре много раз, да и в постсоветские времена приезжал, когда у монастырской наружной стены вновь закипела пёстрая торговая жизнь. Но уже и тогда, в середине пятидесятых, многолюдно было и многоцветно: иконки продавали, кипарисовые кресты, туески, короба, деревянные миски, кружки, ложки, шкатулки, платки, резные игрушки, и было много цветов и у ворот, и в самом монастыре. Берёзки внутри церквей и снаружи. У некоторых мужчин в нагрудных карманах ландыши. Стены монастыря запомнились мне в тот, первый, раз почему-то не белокаменными, а розоватыми. До сих пор, когда думаю о лавре, в памяти моей два цвета—розовый и голубой.

В тот день нам с тётей Настей почему-то постоянно хотелось пить. Она считала: «Это нас посадские родники к сябе зовут, распознали в нас жажду душевную».

Стоит перед глазами маленькая разноцветная часовенка, внутри бьёт из-под земли источник. Был ли это тот самый, что в центре лавры, или какой-то другой—теперь не вспомню: в Сергиевом Посаде много чудотворных родников. То, что мы пили именно из того самого, маловероятно; говорят, он был замурован, и власти, даже когда разрешили открыть монастырь, ещё многие годы не позволяли родник размуровывать. Но в душе так запечатлелось: люди идут и идут к часовенке—через всю страну, за тысячи вёрст,—попить живой водицы.

Недостающий бемоль

Слава Ивана Ильича как наладчика ткацких станков гремела далеко за пределами Карабанова. В здешних краях ткацкие фабрики—чуть ли не в каждом населённом пункте, некоторые работали на технике морозовских времён, а она часто выходила из строя. На нашем комбинате и в пятидесятые годы ещё пользовались английскими станками конца девятнадцатого века. Когда на чужих предприятиях тамошние наладчики не справлялись, звали Ивана Ильича.

Работали в три смены. После ночной Иван Ильич спал до обеда. Ему нужна была ясная голова, чтобы в остальное время суток предаваться любимым занятиям—игре на балалайке и чтению. Весь наш двенадцатиквартирный дом, помня об этом, ходил на цыпочках.

Балалайкой Иван Ильич владел виртуозно, побеждал на областных конкурсах самодеятельности. Нот не знал, поэтому его в городской оркестр народных инструментов не приглашали. На уговоры учиться нотам отвечал:

—А зачем? Я и так любое сыграть могу.

Особенным успехом пользовались его собственные вариации на популярные мелодии. Он любил смешивать радостное и грустное, из трёх разных мотивов составлять один, любил эксцентричные выходки вроде подбрасывания балалайки во время исполнения весёлой пьесы «Светит месяц»—да так, чтобы она, сделав в воздухе тройное сальто, вернулась к нему в руки, не нарушив темпа музыки.

Но всё же главною страстью Ивана Ильича было чтение. Книг он не покупал, брал в библиотеке или у соседей. Особенно любил старые дореволюционные издания с «ерями» и «ятями». Читал Иван Ильич запоем, собрания сочинений прочитывал полностью, ничего не пропуская. Писателей называл обязательно по имени и отчеству, с нежностью: Одоевский Александр Иваныч, Аксаков Сергей Тимофеич, Лесков Николай Семёныч, Чехов Антон Палыч… Качество текста распознавал сразу, послевоенные «партизанские» и «производственные» романы не жаловал.

—Так бы и я смог,—говорил он.

Однажды, возвращая книги, Иван Ильич вдруг спросил, кивнув на полки:

—А на кой хрен отец твой подписывается на всех этих Бальзаков и Стендалей? Я вот их не знаю и знать не стремлюсь.

—Напрасно. Диккенс, например, вам бы полюбился, очень «забирает».

—Не, я русских ещё не всех прочитал, что же я этих читать буду? Подождут. К тому же переводчики, может, всё переврали—почём знать? Ты вот на пианино тоже всё больше нерусские вещи играешь, русских-то я у тебя почти не слышал.

—Какие в музыкальной школе задают, такие и играю.

—Что же они русских-то вам не задают? Мало, что ли, композиторов у нас? Балакирев Милий Алексеич, Лядов Анатолий Константиныч, Калинников Василий Сергеич, Танеев Сергей Иваныч…

—Ну а как же тогда манчестерские станки? Полвека уже на них ткёте.

Иван Ильич ответил не сразу.

—Ты меня не сбивай, не срезай, в тупик не загоняй. То станки, железки, а тут музыка, вещь живая.

Но было заметно, что вопрос мой его озадачил. Он долго молчал.

— Вот ты тут одну вещь играл, я на лестнице, идя к вам, слышал. Как композитора-то зовут?
— Шопен.
— Слыхал. А он какой нации?
— Польской.
— Фамилия-то не шибко польская.
— Фамилия французская, но душой — поляк, даже сердце своё завещал похоронить в Варшаве.
— Сердце, говоришь, похоронить? Сердце — не душа. Вот видишь, как у них там: голова в одном месте, сердце в другом, душа мечется, покоя не находит. Это ж надо придумать — частями человека хоронить! Мне тут один приезжий рассказывал, что после смерти Ленина какой-то американец посоветовал мозг его заспиртовать, и будто бы мозги эти до сих пор в спирту держат, изучают… Я когда последний раз в Москве был, очередь в Мавзолей отстоял, полдня потратил… Люди мимо идут и не знают, что у него в голове пусто, точно в моей балалайке. Ведь мы за что Ленина любим? За башковитость! А тут обман получается!

Уходя, сказал:
— Ты там в Шопене своём одну ноту неправильно играешь.

Я сел к инструменту, он на слух указал место.
— Так в нотах…
— Ноты, значит, паршивые.

Вскоре я выбрался в Москву, в музыкальный магазин на Неглинной.
— Вам попался экземпляр тиража с опечаткой, — извинился продавец, — в этом месте следует играть ля бемоль.

Дед Игнатий

Во второй половине пятидесятых бывший кулак Игнатий Гурков вернулся из Сибири в родные владимирские края. Не потому что, перестав числиться спецпоселенцем, получил право «свободы передвижения». Причиной возвращения была любимая внучка Нюра, после окончания ивановского медтехникума попавшая по распределению в Карабаново и проживавшая в нашем доме.

Замужняя Нюра работала на скорой помощи, маленький болезненный сын в детский сад ходить не мог, и Нюра в отчаянии, хотя и без особой надежды, написала в Тюмень жившему в одиночестве деду, просила приехать понянчить правнука. И тот неожиданно согласился.

Ехал дед Игнатий на родину после двадцатипятилетней разлуки со смешанными чувствами. В его бывшей усадьбе в селе Ивановское располагались теперь сельсовет и колхозный клуб, и ему впервые в жизни предстояло жить в городской квартире.

Единоличного хозяйства после раскулачивания и выселения в Сибирь он заводить на новом месте не стал, но и в колхоз не пошёл, работал счетоводом тюменского леспромхоза. Однако дом свой всё-таки поставил, приусадебный участок обрабатывал так, что продуктами с него, несмотря на тамошний климат, кормил всю семью.

Овдовев и оставшись один в большом доме, скотины не держал, жильцов не пускал, овощи и фрукты продавал на базаре, а вырученные деньги посылал разъехавшимся в разные концы страны детям — всем поровну.

Письмо Нюры пришло в октябре, когда яблоки, ягоды, огурцы, чеснок и черемша были уже замочены и засолены, крыша залатана, забор подправлен, а сад и огород подготовлены к зиме. Дед Игнатий продал домашние заготовки потребсоюзу, повесил на двери замок, но ставен заколачивать не стал, отдал дом и сад под надзор соседа, такого же, как и он, старика.

Багаж деда Игнатия — рогожный баул, деревянный чемодан и кожаный саквояж, купленные им ещё до войны на тюменской барахолке, всё дореволюционного образца, — привлекал внимание. К тому времени такое можно было увидеть только в кино. Кое-что у деда Игнатия сохранилось и из личных вещей: хотя в ссылку разрешалось взять лишь самое необходимое, он умудрился укрыть от охранников табакерку, часы на цепочке, трубку с кисетом, зубочистку из слоновой кости и роговую расчёску, которыми дорожил и всегда носил при себе.

В его одежде за последние пятьдесят лет также мало что изменилось. Зажиточно-крестьянское сочеталось в ней с уездно-купеческим: летом в будни он ходил в рубахе-косоворотке навыпуск, подпоясанной узким кожаным ремешком, хлопчатобумажные тёмные порты заправлял в хромовые сапоги с приспущенными гармошкой голенищами. В праздники носил рубашку из отбелённого холста, украшенную вышивкой по разрезу на груди, по вороту и манжетам рукавов, а поверх надевал жилетку с кармашком для часов и полукафтан, или, как он называл его сам, «пинджак». В зимнее время облачался в штаны из сукна и полушубок. Валенок не обувал никогда, лишь порой овчинные бахилы, на которые в слякоть натягивал галоши; сапоги чистил жирной чёрной ваксой, изготовлявшейся им самим из сала, сажи и свечного воска.

Длинные усы он закручивал наверх, брил подбородок опасной бритвой, одеколонов не признавал, умывался хозяйственным мылом, после чего смазывал лицо и руки топлёным маслом.

Какое впечатление он производит на других, деда Игнатия не интересовало, в его привычке так одеваться не заключалось никакой непочтительности к окружению и тем более фрондёрства — ему в современной одежде было просто не по себе, она не соответствовала ритму его движений и манере держать осанку.

Последняя была главным отличительным признаком в облике деда Игнатия. Несмотря на свои семьдесят пять, он ходил с расправленными плечами, прямой спиной, слегка откинув назад и склонив направо голову, отчего создавалось впечатление, что на всё он смотрит насмешливо и как бы со стороны.

Живя у Нюры, дед Игнатий закупал семье продукты, готовил обед, читал правнуку книжки, свободное же время проводил на скамейке у подъезда, беседуя с подвернувшимся соседом.

Из этих разговоров я кое-что уже знал о жизни деда Игнатия. Со мной он заговаривал редко.

Однажды, летом шестьдесят первого, он вдруг жестом пригласил меня к себе на скамейку, стал расспрашивать о житье-бытье, что я расценил как признание своей взрослости — мне было почти семнадцать. Накануне в Сибирь вернулась к больному сыну, моему дяде, наша бабушка, наиболее желанная и частая собеседница деда Игнатия, и он, видимо, затосковал.

— Звал я её с собой в Тюмень, ведь она тоже, считай, сибирячкой стала. У нас с ей жизни схожие. Ну и что ж, что вера разная, всё одно — християне. Я в энтих вопросах независимый. Ответила, что к сыну Виктору в Канск ей надоть, хворый он, с тюрьмы и лагеря хворый. И жена у сына есь, а мать не заменит. Не посмеялась надо мной Терезия Августовна — и на том спасибо. И я вскорости к сябе в Тюмень отправлюсь. Чай, отпустит мяня Нюра, Валерка-то вон совсем подрос.

— Мы тоже скоро на новое место переберёмся, отцу работу в Купавне, под Москвой, предлагают.

— Ну, это неподалёку, боровские края с нами сродственные. И народ там на наш похожий, токо не окает.

Наши беседы стали более частыми после того, как я, чтобы развлечь его, рассказал про плакат, что висел у клуба: «Заставить корову утроить надои!».

— Я таких плакатов да лозунгов, которые щас в газетах, молодым насмотрелся-начитался. Не уймутся всё, мамаи. Брат из-под Рязани пишет, почин энтот новый насчёт «догоним-перегоним по мясу-молоку» совсем ихний колхоз разорил. Скотину подчистую порезали, под нож приплод пустили, даже быков, у соседей масло в магазинах скупали, чтоб в зачёт молока продавать, план в три раза перевыполнили, тяперь голодные сидят. В школе половину комнат под крольчатники оборудовали. А ентот указ о городах и посёлках, который скотину держать не даёт! Я тут по окраинам хожу — словно вымерли, а ещё нядавно у каждого — корова, поросяты, козы. Не, не, зямля не допустит, чтоб вечно так было, разбой такой. Смятёт их всех, непотребных, пошто они ей! Другие люди народятся, нормальные, природные, что средствие знают, как жить.

— А вы знаете?

— А нешто не знаю? И бабушка твоя знает, она ведь тоже с детства к зямле приучена. Мы с ей про то кажинный день говорили, дивилися, как эти партейцы в ум не возьмут: в мужицком деле «скачков» не надоть. Дайте землю, не кажите, что да как сажать и кому опосля урожай продавать! Через несколько годочков всех накормят.

Изредка дед Игнатий крепко выпивал. Но нетрезвым за порог квартиры не выходил. Что он пьян, было слышно по повышенным тонам, доносившимся из-за двери. В такие дни он обычно «наезжал» на зятя, тихого, неразговорчивого, редко смотревшего в глаза собеседнику инженера-электрика, не перечившего деду даже во время совместных возлияний. Дед кричал:

— Что всё молчишь, Лёнька? Душа болит али страшно? Кого боишься-то? Ежели Бога, то хорошо. А мяня не боись, открой душу, лехче будет… Или в церковь пойдём, покаешься.

Можно было только догадываться, что дед имел в виду.

Лишь много позже узнал я о тайне Алексея. Юнцом он попал в плен, работал в Германии на военных заводах, батрачил у богатого крестьянина, затем бежал, сдался американцам, какое-то время воевал на их стороне. Поэтому русским они его сразу не выдали, включили в состав группы, занимавшейся передачей нквд военнопленных и других советских граждан, находившихся в американской зоне. На студебеккерах перевёз Алексей в расположение советских властей тысячи человек. Уверял деда Игнатия, что не знал, какая судьба их ждёт. Затем американцы выдали и самого Алексея. После допросов и долгой проверки его отпустили на родину, не направили в фильтрационный лагерь для советских лиц под Дрезденом. Миновала его их участь. Видимо, зачли студебеккеры с «добровольцами».

Хотя тысяча девятьсот шестьдесят первый год и был самым «разоблачительным», и никогда до этого о сталинских репрессиях не говорилось столь открыто, тема насильственной коллективизации оставалась запретной. Публично сомневаться в необходимости колхозов директивы не было. Дед Игнатий, однако, о сельскохозяйственных премудростях Хрущёва высказывался без обиняков:

— У нас в дяревне таких балаболов сколько хошь было. Я их даже до косилки не допускал.

Собеседники деда Игнатия пугливо озирались, но слушали с удовольствием.

В паузах между беспрерывным курением он нюхал табак, чихал громко, на весь двор. Приговаривал:

— Мозги просвятляет. Если бы в правительстве табак нюхали, колхозы давно б отмянили.

Со мной он разговаривал, не утруждая себя политическими и историческими подробностями недавней эпохи. По его мнению, я, потомок репрессированных, в объяснениях не нуждался. Тут он ошибался. Ни бабушка, ни родители в те годы столь откровенны, как он, со мной ещё не были.

— У советской власти с нами, мужиками, отношения особые. Она всё про народ толдонит, но народ для няё — это только рабочие. Мы же алемент инородный… Поскольку независимые. Вот и превратили мужика в сельхозпролетария. В двадцать седьмом году в крестьянскую жизнь ещё не так вмешивались, нясильно давили. Но домнами уже бредили. Ты вот мяня спрашивал, почаму Декрет о земле в семнадцатом году такое впечатление на нас, мужиков, произвёл. Да потому что и здесь обманом взяли. Ведь народ на Руси обчиной жил, зямелюшка внутри обчины обращалась. Не распознал тогда мужик на радостях-то разницы между обчинной зямлей и казённой. В обчине на личную долю никто не покушался. А тут и она стала обчая. Даже эта, ну как яё… продразвёрстка мужиков не сломила — обнищали, но всё на войну списали, саму-то землю ящё не забрали. При нэпе и вовсе про энту продразвёрстку не вспоминали. Но тут уполномоченные пожаловали. Начали недоверие сеять к чужому достатку. А в русском человеке это недоверие с давних пор живёт. Богатство-де лишь

обманом и сколотишь. А знаешь, чем уполномоченные в конце концов взяли? Совсем жалости у них не было, она у них вроде гряха считалась. Они и дятей наших тем гряхом пугали. Учили в школе родных травить. Я со своими дятьми справлялся, никого до них не допускал. В двадцать девятом лишенцем стал—права голоса лишили. На сяле меня уважали, но нихто не заступился. Потом заём придумали, заставляли облигации покупать. Бабы их опосля внутри комодов и сундуков клеили. Когда потребовали вязти на рынок семенной хлеб, мужики зерно стали прятать. Я тоже прятал. На выселках, в лясу. Унесговорчивых вещи отбирали, инвентарь, сено накошенное. В стадо скотину не принимали. Люди избы заколачивали, в город уходили. Были такие, что с ума сходили или руки на сябя накладывали. Но больше пить начинали. Этому начальство способствовало, на массовые гуляния водку привозило—тоже способ у людей последнюю копейку выкачать. Потом под корень стали грабить. У мяня дом отобрали, баню, амбары со скотиной. Остался один с пятью детьми в маленькой пристройке к усадьбе. Долго не высяляли, знали, что у меня ящё запасы есть, но найти не могли. Тогда стали расстрелом грозить. Тут я сдался. Попросил, чтобы оставили хоть пудов десять. Не оставили. Предложили в колхоз вступить. Но даже бедняки в колхоз ня шли. Спярва некоторые вроде бы согласились, а потом побежали, в Александровском уезде в тридцатом году перед посевной в колхозах никого не осталось. Вот тогда и пошла колхозная принудиловка. Укого ящё чего оставалось, бросились за бясценок продавать. Скот под нож пускали, варили и тут же съедали.

Про сам процесс выселения дед Игнатий рассказывал скупо, начинал, но при первых же фразах замолкал. Слюну сглатывал. Я ждал, не торопил.

— Кулаков ссылали накануне зимы, а многие семьи зимой, в самые морозы. Кто сопротивлялся, убивали на месте или в проруби топили. Официально высяляли на три года, но все понимали, что навсегда. Кое-кто в город перебирался, но их и на фабриках травили. Я случаи знаю, когда с женой разводились, чтобы хоть сямью не ссылали, или дятей за бедняков выдавали. Надеялись вярнуться…

Пришла очередь и за дедом Игнатием. Оставили немного денег, кое-что из одежды да на три месяца продовольствие. Хорошие полушубки отобрали, дали взамен рваные.

Путь в ссылку был самым страшным из пережитого. Куда их везли, они не знали. Конвоиры могли бросить людей посреди реки на барже под дождём или в запертом товарном вагоне на запасных путях и уехать на несколько дней на гулянку, не оставив ни воды, ни пищи.

Полгода прожили на пересыльных пунктах, потом в землянке. Хорошо, что на Крайний Север не загнали или в топи уренгойские. Из тех, кто туда попал, никто не вернулся.

Однажды дед Игнатий сказал мне:

— Три года как снова на родине живу, а в сяле своём не был. Когда услышал, что могилки все порушены, решил, что ноги моей там ня будет. Но тяперь думаю, надо бы всё же съездить… Компанию не составишь?

«Газик» для поездки достал в соседней воинской части зять Алексей. Шофёр, молодой солдатик, был не из местных, и деду Игнатию доставляло удовольствие показывать ему дорогу. Ехали довольно долго, с остановками, дед Игнатий маршрут выбрал окольный, хотелось проехаться по знакомым местам.

Попросил остановиться у небольшого запаханного на зиму поля. Пройдясь вдоль крайней межи, вынул из кармана холщовый мешочек и, загребая рукою сырую землю, наполнил его до краёв.

В другой раз попросил тормознуть у невзрачного перелеска. Подошёл к старой берёзе у дороги. Прислонившись спиной к стволу, смотрел ввысь сквозь жёлтую поредевшую крону.

Перед Ивановским заехали на кладбище. Дед Игнатий долго ходил среди могил, но тех, какие искал, не нашёл, сел на пенёк и опустил голову на клюку.

Водитель-солдатик за всё время поездки ни разу не выказал нетерпения, уважительно дожидался в машине.

Родное село дед Игнатий предпочёл обозревать из окна машины. Под конец попросил шофёра свернуть к сельсовету, а мне сказал, чтобы сопровождал.

Войдя в здание, никого не приветствуя, прошёл через бывшую большую прихожую и, остановившись перед одной из комнат, решительно рванул дверь. Она оказалась запертой. Он постучался, женский голос крикнул изнутри, что обеденный перерыв.

Кабинет председателя сельсовета располагался в бывшей горнице. Отстранив клюкой секретаршу, преградившую было ему путь, дед Игнатий вошёл и, не поздоровавшись, сообщил, что он, Игнатий Гурков, владелец сего дома, требует немедленно открыть такую-то комнату, бывшую комнату его матушки.

Председатель удивлённо выпучил глаза и хотел, вероятно, что-то сказать, но произнёс только: «А… а…»—сел и замолк. Вбежала секретарша и объяснила, что там помещение бухгалтерии, куда посторонним вход запрещён, и вообще сейчас—время обеда. Председатель в подтверждение её слов лишь кивал головой.

— Открой нямедля!—гневно приказал дед Игнатий и с силой ударил клюкой по столу председателя.

Тот с воплем вскочил и мигом исчез. Кабинет заполнили крикливые сотрудники, за стеной кто-то громко вызывал по телефону участкового милиционера.

Держа перед собой клюку, словно дубинку, дед Игнатий направился к дверям бухгалтерии и колотил по ним до тех пор, пока они не открылись и из них не выскочили две перепуганные сотрудницы.

Комната была уставлена конторскими столами и шкафами, увешана стендами и таблицами. За ними—обои, которыми оклеили комнату перед самой женитьбой деда Игнатия в тысяча девятьсот десятом году, полинявшие, но ещё хорошо сохранившиеся: красные и жёлтые лилии на зелёном фоне.

Он кланялся стенам, каждой в отдельности, крестился. Подойдя к окну, замер и долго смотрел на деревья бывшего сада и дальний холмистый лес. Потом резко повернулся и пошёл прочь.

Выходя из дома, показал мне на зарубки на внутреннем брусе дверного косяка:

— Это отец на мои имянины кажный раз мой рост отмячал.

Грузный немолодой милиционер приехал в тот момент, когда мы сходили с крыльца. Увидев деда Игнатия, он встал навытяжку, втянул сколько мог огромный живот и пролепетал:

— Игнатий Панкратыч!

Дед Игнатий двинулся к машине, даже не посмотрев в его сторону. Самостоятельно забрался в высокий «газик».

— Обратно коротким путём поедем. Я покажу.

Михаил Дудин

Надежда моя и броня

Нет у меня пристрастия к покою.
Судьба моя своей идёт тропой.
Зачем скрывать? Я ничего не скрою.
Душа моя чиста перед тобой.

Мир свеж, как снег, как снег на солнце, ярок,
Голубоватым инеем прошит.
Он для тебя и для меня подарок.
Бери его! Он, как и ты, спешит.

Встречай его работой или песней,
Всей теплотой душевного огня.
Чем дольше я живу, тем интересней,
Сложней и строже время для меня.

Есть и своя у зрелости отрада,
Свои дела, но не об этом речь.
В любое время для себя не надо
Запас души и жизнь свою беречь.

Нет, мы в гостях у жизни не случайны
И вымыслом и сказкой не бедны.
Земля кругла — на ней не скроешь тайны.
Зима бела — и все следы видны.

Я слишком долго был счастливым
И перестал душой ценить
Когда-то бьющую приливом
Любовь, сходящую на нить.

Был мир глазаст, цветаст и ясен,
Как солнце, в очи била страсть.
Нет, не старайся — труд напрасен.
Не свяжешь. Нить оборвалась!

Но где-то там, ещё в глубинах
Раздумий тяжких и обид,
Боясь взорваться, как на минах,
Надежда тихая стоит.

Из дальней дали, злой и строгой,
Через отчаянье и ложь
В последний раз меня растрогай,
Последним взглядом обнадёжь.

И. Т.

В моей беспокойной и трудной судьбе
Останешься ты навсегда.
Меня поезда привозили к тебе,
И я полюбил поезда.

Петляли дороги, и ветер трубил
В разливе сигнальных огней.
Я милую землю навек полюбил
За то, что ты ходишь по ней.

Была ты со мной в непроглядном дыму,
Надежда моя и броня.
Я, может, себя полюбил потому,
Что ты полюбила меня.

Стареют ясные слова
От комнатного климата,
А я люблю, когда трава
Дождём весенним вымыта.

А я люблю хрустящий наст,
Когда он лыжей взрежется,
Когда всего тебя обдаст
Невыдуманной свежестью.

А я люблю, как милых рук,
Ветров прикосновение,
Когда войдёт тоска разлук
Огнём в стихотворение.

А я люблю, когда пути
Курятся в снежной замяти,
А я один люблю брести
По тёмным тропам памяти.

За тем, что выдумать не мог,
О чём душа не грезила.
И если есть на свете бог,
То это ты — Поэзия.

Лика Галкина

Если можешь не писать…

Если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я буду писать, то я бы ни за что не поверила. Наверное, потому, что всегда руководствовалась простым принципом: «Если можешь не писать—*не пиши!*» Вот я и не писала. Значит, могла. Не то чтобы сейчас я нуждаюсь в этом, как в глотке́ воды, но, очевидно, от безделия или же недостатка работы, а может, просто хочется поговорить. Короче, потянуло.

У человека, прошедшего эмиграцию, впечатлений хоть отбавляй. Можно и поделиться.

Так вот, я вспоминаю, как переехала в благословенную страну Израиль, заведомо приняв и простив ей всё. Я знала из писем друзей и разговоров знакомых, что это вовсе не рай, и готовила себя жёстко. Не расслаблялась и «манны небесной» не искала. Готова была ко всему, и всё же…

В Израиле мне не понравилось. Я уверена, что не оригинальна, так как не знаю ещё ни одного олима (новый репатриант, эмигрант в Израиле), который бы не получил шок, приземлившись на земле обетованной. Особенно если этот несчастный прилетал в хамсин (это когда в декабре, ни к селу ни к городу, вдруг температура воздуха поднимается до сорока градусов в тени, а тени просто нет, потому что солнце заволакивается каким-то желтоватым туманом и ветер несёт с собой идущую из пустынных краёв пыль). Ты не можешь дышать, потому что огонь заполняет тебе нос, рот и все доступные отверстия. Теперь-то ты понимаешь, почему бедуины и арабы покрывают головы платками, почти полностью закрывая лицо, но ведь это понимаешь потом! Много-много времени спустя! А тогда, испуганный и потерянный житель Украины или Молдавии, как он мог себе представить, что Израиль—это пустыня?! И что ещё вчера, улетая из Днепропетровска, где в декабре минус двадцать пять, он мёрз в аэропорту, а сегодня, перекинув через руку пальто, свитер, вторые носки, горы чемоданов и крепко пропотев, он сошёл с трапа самолёта и вдохнул нечто, плавящееся в лёгких, как ингаляция в финской сауне. Он, этот несчастный эмигрант, вновь возвращённый на свою неожиданно обретённую родину, просто не понял, что это, как с этим быть, дышать или переждать, когда всё это закончится. И только несколько лет спустя ты понимаешь, что не закончится никогда. И ты привыкаешь дышать кондиционированным воздухом, и уже не выходишь из дома без тёмных очков, и фраза «Здравствуйте, вы попали…» становится твоим жизненным кредо. Ты понимаешь, что это навсегда.

Бывали ли попытки вырваться? А как же! Через одного!

И тут у всех складывается по-разному. Кто-то в первый же год, набрав всевозможных ссуд и заручившись гарантиями таких же «левых», как и он, граждан, сбегает из страны. Хватает ли ему ворованных денег на счастье? Навряд ли. Максимум на безбедное существование в течение первого года жизни после возвращения и крутого выпендрёжа перед друзьями. Но это преходяще, а вот запрет на въезд в Израиль—вечен. Можно, конечно, сделать фальшивый паспорт и снова эмигрировать, уже под другой фамилией, но всё это настолько хлопотно и непросто, что навряд ли у кого-то хватит на это желания и сил. Может быть, разве у каких-то отчаянных единиц? Я таких не знаю.

Бывают ещё варианты постоянного желания вернуться, и тогда жизнь на чемоданах превращается в твоё перманентное состояние. Что может быть ужаснее этого? Как говорил Довлатов, «самый прочный брак—это брак на грани развода». Так можно жить вечно, но при этом в состоянии полной нестабильности и временности. Ни во что особенно не вникая и ни во что особенно не вкладывая. Такие люди годами в Израиле работают на временных работах, с трудом объясняются на иврите и поливают дерьмом всё, что только можно замарать. При этом они прекрасно понимают, что и обратно их уже никто не ждёт, что все места давно заняты, что, съездив туда в гости, они не нашли того, что оставили, и того, что искали, тоже не нашли. И вот они в Израиле. Навсегда. И это ужасно! *Для них!*

Конечно же, есть и те, кто сваливает в Америку. Таких много, и так было всегда. Израиль нередко оказывался для евреев перевалочным пунктом, и, как правило, там, в стране вечного счастья и неограниченных возможностей, они находили себя. Оттуда в Израиль уже струились счастливые письма о том, как бесконечно хорошо они живут и бесконечно многого достигнут их дети. На другой стороне земного шара, в Израиле, получатели шумных восторгов вздыхали и успокаивали себя тем, что даже если бы уехавшим было бы очень хреново, то они вряд ли бы стали хаять Америку. Хотя бы по той простой причине, что дальше ехать уже некуда. И теперь просто не может не быть всё хорошо.

Даже если на самом деле всё и не так хорошо. Так всё же чуть проще читать про заграничное «счастье». Ну кто их осудит?!

У нас было по-другому. Мы приехали навсегда, приняв происходящее как данность, и поэтому

всерьёз отнеслись к известному израильскому высказыванию, что Израиль—это зеркало: как ты в него посмотришь, так оно тебе и ответит (много лет спустя моя дочь, прочитав это писание, объяснит мне, что это высказывание одного греческого учёного и что оно вовсе не относилось к Израилю, но тогда нас так учили, и мы верили—трепетно и безоглядно). И мы старательно улыбались в это зеркало. Мы закрывали глаза на то, что не нравилось, и воспринимали только хорошее, потихоньку и постепенно впитывая в себя эту страну со всеми её «за» и «против». Мы учили язык, высиживая в «ульпанах» положенное количество часов, а потом честно делали уроки дома. Мы бежали после учёбы на свои уборки (у кого квартиры, а у кого и этажи рабочих помещений) и падали с ног от усталости, отупев от совершенно непривычного труда (основной контингент русскоговорящих уборщиков был не только с высшим образованием, но и зачастую со степенями и званиями). Мы не задавали ни себе, ни тем более окружающим вопросов: зачем мы это делаем и вообще зачем это всё? Какого чёрта мы сюда приехали, и что нас понесло в совершенно чужую страну, где нас иначе, чем в качестве уборщиков, не воспринимали, и для нас самым большим и казавшимся тогда недосягаемым достоинством израильтян было их совершенное знание иврита? О эти пролетевшие времена!!! Начало эмиграции! Начало «аллии»! Я помню, как, до блеска натерев туалеты верхних офисных этажей Бриллиантовой Биржи, в жутких и грязных брючках, мы с приятельницей, в прошлой жизни профессором на кафедре физики, пытались подкурить сигарету дрожащими от усталости руками. Я минут пять не могла понять, почему моя сигарета не зажигается, а потом оказалось, что я тычу в огонь другим концом. Мы пытались посмеяться над этим и тогда ещё сказали себе: «Давай постараемся это никогда не забывать! Увидишь: пройдёт пара лет, и израильтяне будут убирать наши квартиры».

Нет пророка в своём отечестве, но были в чужом отечестве, и несмотря на то, что мы потихонечку начинали воспринимать его как своё, всё же смотрели чуть со стороны. Наши предсказания сбывались быстрее, чем мы думали. Мы шли в гору, на удивление самим себе, не то что израильтянам. Такой прыти мы сами от себя не ждали. Мы заканчивали бесконечное количество курсов и школ, месяцами сидели над учебниками на иврите, чтобы подтвердить наши заслуженные в прошлой жизни дипломы, сдавали на права, рожали детей. Мы утверждались. Мы закреплялись на этой земле и пускали в неё корни. Наши вновь рождённые дети получали новые имена: Амит, Алон, Шахар. Наши привезённые из прошлой жизни дети обычно быстро адаптировались в новой среде и, повинуясь инстинктивному желанию не выделяться и быть такими, как все, отказывались говорить по-русски. И вот уже в наших домах двое русских детей говорят на языке, который бабушки не понимают, а переспрашивают нас, их родителей: «Что он сказал?» Это уже не просто другое поколение—это другая планета, зародившаяся в другой точке Земли, прошедшая свою собственную историю и школу.

Наверное, наши дети тоже имели своё мнение по поводу эмиграции, но каждый выражал его посвоему. Моя шестилетняя дочь по истечении года жизни в Израиле и постоянного посещения израильского детского сада ни разу не заговорила на иврите. Так проходила её адаптация. Ей не нравилось в Израиле, она не хотела говорить на иврите. Благо, вместе с ней в детском саду находились ещё трое «русских» детей, и таким образом, сколотив небольшой, но преданный коллектив, моя дочь запретила и им говорить хоть с кем-нибудь на иврите. Это был настоящий бойкот израильскому садику. Они говорили только по-русски и, прекрасно понимая всё, что говорили воспитатели, отвечали им по-своему. Какова же выдержка израильского воспитательского персонала, если лично я узнала об этом только через год.

Можете себе представить, что в течение целого года я была уверена, что у моего ребёнка в саду всё идёт как нельзя лучше, и её успехи в новом языке и в новом коллективе не вызывали у меня никакого сомнения. Пока в одно прекрасное утро, держа её за руку, на улице я не столкнулась нос к носу с одной из её воспитательниц. «Бокер тов (доброе утро)»,—тепло улыбаясь, сказала женщина. Моя дочь угрюмо посмотрела на неё из-под свисающей на глаза чёлки и тихо, но с какой-то мстительностью ответила: «Привет». Я удивилась: «А почему ты не отвечаешь на иврите?» (На таком-то уровне уже даже я могла ответить.) Ребёнок настороженно молчал. И тогда воспитательница, тихонько всплеснув руками, начала мне рассказывать, что моя дочь практически сколотила в своей группе «бандочку» из русских детей, что они все ни слова не говорят на иврите и что моя дочь лично за этим следит. Воспитательница сказала, что они уже использовали все возможные способы «приручения» шестилетней атаманши, но на все их заискивания моя дочь только хитренько улыбалась и продолжала говорить по-русски. Ни слова на иврите. «Если и дальше так пойдёт, то я вынуждена буду оставить её на следующий год в садике, и тогда она пропустит первый класс в школе…» Я была в шоке. Моя дочь (как и полагалось детям из интеллигентных семей) в два года знала наизусть «Муху-Цокотуху» и «Мойдодыра», а в три года, за время моего летнего отпуска, мы освоили букварь. В три года она уже читала… У меня не укладывалось в голове, что у ребёнка могут быть проблемы с языком, что ей не даётся иврит. Что-то не складывалось. Я от всей души пообещала воспитательнице досконально изучить проблему и, сжав ручку ребёнка намного крепче, чем просто с материнской нежностью, поволокла её домой.

Дома состоялся разговор, запомнившийся мне на всю жизнь. Из таких моментов складывается твоё понимание реальности и происходящего в ней. В обычной повседневной жизни у тебя нет времени остановиться и задуматься, обратить внимание, присмотреться. А когда ты оказываешься один на один с вопросом и ждёшь ответа—и получаешь

его… Это откровение… «Ну? Что происходит?»—в ответ тишина, потупленный взгляд, начинающий намокать нос. «Викуля, почему ты не хочешь говорить на иврите? Тебе сложно? Ты не знаешь? Не понимаешь? Боишься?..» Нос начинает потихоньку шмыгать сам по себе, маленький пальчик так и тянется его поковырять, чтобы хотя бы чем-нибудь занять ненужную паузу, время, предназначенное для ответа, который ещё не сформулировался в этой крошечной голове. «Нет».—«Что нет?»—я стараюсь не заводиться, а понять, в чём проблема. На самом деле это только кажется так просто, а когда ты уже здесь, перед фактом, то заводиться начинаешь сам по себе, как крутилка от ветра. «Ну скажи, скажи. Почему ты сегодня не поздоровалась с воспитательницей на иврите? И вот она говорит, что ты и в садике говоришь только по-русски. Ты не хочешь говорить на иврите?» Моя дочь оставляет в покое свой уже покрасневший нос и совершенно неожиданно и не по-детски говорит: «А я не буду говорить на иврите. И жить я здесь не буду. Мне здесь не нравится». Я замерла. Такого я не ожидала не только потому, что для шестилетнего ребёнка это слишком сформулированное и чёткое определение действительности, но и потому, что я вообще не думала, что для ребёнка важно, где жить, и нравится ли ему, где он живёт, или нет. Что он вообще в этом понимает… «То есть как это? Почему?» И дальше—разговаривают двое взрослых (ну, если не два, то полтора), но абсолютно здравомыслящих (по крайней мере, в тот момент) людей. «Мне здесь не нравится. Здесь некрасивые дома, узкие улицы, и там гадят собаки. Там грязно. Я тут жить не буду». Ну что вам сказать—после такого заявления я тут же перестала раздражаться и растерялась. Т.е. разговор нужно было как-то продолжать, но теперь у меня возникла ничем не заполненная пауза, и не могла же я, чтобы занять её, взять пример со своей дочери и начать ковырять в носу? Но очень хотелось хоть куда-нибудь деть руки, что-то придумать и как-то найти то, что от меня ждал ребёнок в продолжение разговора. Ведь взрослая была всё же я. Но я растерялась… «А где же ты будешь жить?»—ничего лучше я просто не могла придумать. И снова шах-мат: «В Америке или вернусь в Запорожье…» Мне снова нужно время, хотя следующий вопрос вырвался сам собой: «А почему в Америке-то? Что ты про неё знаешь?»—«А там хорошо!» Ага, понятно, видимо, у кого-то из её компашки шестилетних бандитиков есть родственники в Америке и этот вопрос обсуждается дома на кухне. «Ага, понятно»,—я тяну время и готовлюсь к следующему выпаду. Меня опередили: «А тебе тут нравится?..» Дочь привыкла мне верить. Она знает, что я не совру, что если я скажу, что мне нравится, то это чистая правда и у неё нет выбора. Она меня уважает, моё мнение решающее… Но мне-то тоже не нравится… Я ещё только в начале пути, и грязь на улице, жара, забастовки уборщиков по инициативе местных муниципалитетов и многое-многое другое воспринимается мною жгуче остро и болезненно… Что же ей ответить? Как подвести разговор под самое главное, как объяснить?.. «Ну, в общем, так,—сказала я,—в Америке у нас никого нет, и тебя там никто не ждёт, а это значит, что путь в Америку исключается. Но есть возможность вернуться на Украину, в Запорожье: у тебя там есть бабушка Ксена (наша соседка, которая вырастила сначала меня, а потом была няней и у моей дочери все те пять лет, которые мы жили на одной лестничной площадке, и она постоянно носила нам горячие обеды и незабываемо вкусные кисели). Так вот, в Запорожье у тебя есть бабушка Ксена, и она тебя примет. Если ты так категорически настроена, то я куплю тебе билет, и ты вернёшься туда». Боже правый, у меня это так серьёзно получилось, что я сама в этот момент почти верила тому, что говорю. Я просто уже видела, как завтра я иду и покупаю билет на самолёт, и моя дочь (моя шестилетняя дочь) улетает в Запорожье, где остаётся жить вдали от меня, со своей няней Ксеной. Видимо, у меня всё это было написано на лице крупными буквами: «Уверена. Только так»,—потому что мой ребёнок насторожился. «А ты?»—она не поняла. «А я останусь здесь. Здесь мой дом. Потому что мы евреи и это наша страна. Я буду жить здесь». Мой ребёнок снова потянулся пальчиком к носу и начал тщательно его исследовать изнутри. При любом другом случае я бы её одёрнула, но сейчас я сидела, затаив дыхание, и смотрела, как физически ощутимо, в необыкновенном напряжении идёт работа мозга в маленькой голове моего самого дорогого человека. Такого поворота событий дочь не ожидала. Она готова была уехать, но, само собой, это подразумевало рядом моё присутствие. То, что я останусь здесь, в её планы не входило. Но всё же, очевидно, недостаточно чистые улицы и непривычная архитектура Тель-Авива—это всё же было не единственное, что её удручало. Было что-то ещё, что она не решалась, но очень хотела сказать. Вытащила палец из носа, посмотрела на него, хотела вытереть о стул, но, перехватив мой взгляд, спрятала руку до более подходящего момента под стол и… решилась: «А правда, что здесь все еврейцы?» Мой ребёнок многие слова говорил по-своему, это осталось ещё с тех времён, когда она училась говорить. И поэтому мы уже смирились с тем, что адвокат—это «облакат» («облакат, белогривый на лошадке»—откуда возникла такая ассоциация, сказать сложно, но с этого момента мы все очень чётко представляли себе адвоката, сидящего на облаке или на лошадке), туловище—«туговище», а брови—«бровики». Вот так вот и слово «евреец» улеглось у неё в головке легче, чем слово «еврей». «Да, малыш, здесь все евреи. Так же, как и мы. А что?»—«Я не евреец. У меня папа белорус». Оп-ля! Так вот оно что… За что боролись, на то и напоролись… Оказывается, в те годы, которые дочь провела в детском саду в Запорожье, её не только научили кушать, самостоятельно одеваться, играть в песочнице и воевать за игрушки, но и объяснили ей, что «еврей»—это плохо, что быть евреем—стыдно и что если кто-то еврей (конечно, не мой ребёнок, так как благодаря папиной белорусской фамилии она счастливо избежала подозрения в этом постыдном недостатке), то нужно держаться от

этого персонажа подальше и радоваться тому, что тебе повезло, что ты не такой, что ты не еврей… Так вот откуда у моего ребёнка такой негатив к Израилю, такое неприятие израильских песенок, гимнов и патриотических стишков… Ну надо же… кто бы мог подумать?.. Я улыбнулась… «Ну что же, малыш, значит, ты не еврейка. Значит, ты белоруска и можешь уехать отсюда. Ты не должна здесь жить. А мы останемся: я, бабушка, тётя Люда, дядя Серёжа, Даня…» Ребёнок встал в тупик. Идти вперёд было некуда, а сзади была целая семья: родная, любимая и единственная. «А ты точно евреец?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза и, видимо, в глубине души всё же надеясь, что, может быть, это недоразумение как-то рассосётся. «Я — да». — «И бабушка евреец?» — «Да». — «И даже Даня евреец?» — это уже не лезло ни в какие ворота, и мой ребёнок просто не знал, как быть с тем, что красивый, голубоглазый, старший на целых десять лет двоюродный брат, её гордость и мечта каждой её подружки, — и он тоже еврей, и он будет жить здесь… Это был непреодолимый барьер… Это была неизбежность, хотя и очень сладкая, потому что это сразу ставило всё на свои места и больше не нужно было сопротивляться такой простой и совсем не страшной реальности… Ответ по поводу Дани решил всё. Викуля вздохнула и тихо сказала: «Ну ладно… если даже Даня евреец…»

Больше мы к этой теме никогда не возвращались; только когда на следующий день я пришла за ребёнком в садик, воспитательница кинулась мне навстречу с воплями, что так не бывает, что мой ребёнок сегодня заговорил на иврите, причём так, что ей дали главную роль в предстоящем национальном утреннике.

Так у моего ребёнка появилась Родина.

ДиН стихи

Юрий Коньков

Предлагаю устроить День

серенада дальних холмов

Мороз такой, что воздух можно грызть.
Я жду тебя у третьего подъезда.
Из форточки второго этажа
Сибелиус рассказывает вечер —
Как будто знал он и сюжет, и место.
Собаки что-то делят в гаражах.
Прохожие, непроходные пешки,
Невольно неуклюжи и бодры.
Печальный мальчик в красном колпаке
Выходит на балкон и наблюдает
Летящий целлофановый пакет,
Что в ель с размаху бьёт и опадает
Дождём хрустальным. Нет, стеклянным. Нет,
Он просто падает — на снег. И дальше
Я жду тебя. Тождественный зиме,
На вальс похожий, мой печальный мальчик
Уходит в дом. Вот-вот зажжётся свет,
Но вечно продолженье темноты:
Сто раз открылась дверь, но там не ты.
Мороз такой, что я стою и плачу.

обострение

Всё быстрее
тепло уносит.
Обострение —
значит, осень.
Серый стелется по воде.
Всё короче,
да, всё короче.
Перескочит
строка и точка.
Предлагаю устроить День.

океан

Океан, который всегда с тобой:
Если ты смеёшься — шумит прибой,
Если плачет чайка — темнеют сны,
Как темнеют песни зверей лесных
В час, когда, уставши в тугой петле,
Отделяет мир от души олень,
Как темнеет новое колесо,
Как уходит день. Как уходит всё.

А на новый лист нанесут значки,
И возникнет мир: тишина, очки,
Пресс-папье, чернильница, спаниель,
Урожай, распутица, зной, метель.
И бежать от сырости — не сбежать,
Не покинуть трудного рубежа,
Лишь почтовой радости быть одной —
Океан, который всегда с тобой…

Мой милый друг, печальные глаза,
Не унывай — недалеко до марта.
Пока зима — но под окошком нарты
И густопсовых лаек голоса.

Сегодня снег, как яблоко, хрустит,
Как ёлка новогодняя, сверкает,
Зима стоит. Но знаешь, как стоит?
Ссутулилась и вещи собирает.

Мой милый друг, переплетённый в жгут,
Вдохни свободно, выдохни, засмейся,
Идём гулять, там Масленицу жгут
И тесто для свистулек месят.

Николай Гайдук

Охотники за соловьями

Сколько талантов хранила в себе и хранит заповедная русская глубь, отгороженная от мира колючей стеною тайги, населённая медведями, колдунами и лешими. «Разливы рек её, подобные морям», глухие непролазные болота из века в век одухотворялись водяными, русалками, чаровницами. В «тёмных» избах было светло от сказок, песен. Но время идёт, жизнь меняется, и тихая, дремотная глубинка — от слова «глубина» — год за годом мелеет, мельчает, теряя своё первозданное очарование. Всё глуше и глуше звенит заповедное вещее слово. Всё меньше и меньше в сердцах священного трепета, веры в Бога и веры в любовь. Всё реже и реже рождаются люди с богатырской ухваткой, с талантом, похожим на прекрасную диковину. И всё-таки бывают чудеса: из глубины-глубинки нет-нет ещё да выплывет такое самобытное создание — диву даёшься. Откуда?! Неужели он неиссякаем, тот божественный родник, живой водой питающий измученные реки, редеющую тайгу, хиреющие деревни и заброшенные посёлки, над которыми волком воют ветра, причитают и волосы рвут седые метели, рыдают ливни и торжествует дикая трава забвения?

Жила-была в глубинке Зарубина Поляна, девочка, родившаяся в тайге на цветочной поляне и потому получившая это — почти забытое — старославянское имя. Поляна была наиредчайшая красавица с глазами-изумрудинками, с длинными хвоистыми ресницами, горделиво-курносая, тихого, кроткого нрава, но изумительно громкого, зазвонистого голоса. Полянка петь умела так задушевно, так раздольно, что отец её — хладнокровный, толстокожий Ефим Демидыч — был готов слезищами залиться. Но плакать Зарубин не мог — не умел. Только изнутри его, беднягу, ломало на корню, корёжило и точно варом кипящим обваривало: краснел, пыхтел; под кожей на висках вены бугрились голубыми узелками.

Чаще всего это происходило в застолье, когда водка смягчала едва ль гранитное сердце Фимидыча. (Ефима с детства звали Фимой, а когда приспело время величать, из Ефима Демидыча слепился какой-то «Фимидыч».)

Так было и сегодня. Сидели за столом, отмечали «праздник урожая» — хороший улов.

Выслушав несколько песен, Зарубин засмурел, вспотел от напряжения.

— Полька! — пробасил, отмахиваясь. — Хватит! Ну тебя к лешему!

За столом находился дружок по речному и таёжному промыслу — Леонид Максимыч Мукосей.

— Пущай поёт! — рассиропившись, попросил он, вытирая под носом. — Полянка, слышь? Валяй!

Дочь посмотрела на отца. Ждала разрешения.

Сергунька, младший брат, выглянул из детской.

— А давайте я спляшу!

За столом засмеялись. Ефим Демидыч пошлёпал дочку ниже спины и самодовольно пророкотал:

— Иди к себе! Всю душу наизнанку вывернула!

Полянка порозовела от суровой похвалы. Встряхнувши косичками, удалилась в тихий закуток, за уроки взялась; она была круглой отличницей.

— Ты понял? Ну отколь такое у неё? — вслух подумал Ефим Демидыч, глазами провожая дочку. — Кристя! — шутливо обратился он к жене. — В кого такая девка? Ты, может, с кем подгуляла, пока я в тайге пропадал?

— А по башке? — ответила дородная Кристина, занимаясь домашним хозяйством. — Чо мелешь? Помело…

Зарубин скуповато улыбнулся.

— Видно, в бабку мою, — вспомнил он, обращаясь к товарищу. — Горластая бабка была. Но Полянка её переплюнет!

Мукосей туманными глазами вперился в картинку Московского Кремля. (Картинка была под стеклом старенького кухонного шкафа.)

— Фимидыч! — Он потыкал пальцем в сторону Кремля. — Девке твоей надобно в Москву!

— Я уж думал про это, — признался Ефим Демидыч, согласно качнув головой.

— Надо, надо, Фимидыч! — попугаем заповторял Мукосей.

Жена возилась неподалёку — потрошила богатый мужнин улов. Тыльной стороной руки поправляя волос, выбившийся из-под косынки, она метнула синий взгляд на мужиков.

— Зачем это в Москву?

— За песнями, — ответил муж.

— Сиди давай! — Кристина вздохнула. — Сдалась бы та Москва…

— А здесь чего ей делать? — рассуждал Ефим Демидыч. — Коров доить на ферме и грыжу зарабатывать, таская фляги с молоком?.. У Польки голосище — я те дам! А у этих?.. Ты посмотри на них по телевизору!

— На кого?

— Да эти-то, лахудры размалёванные. Варежку свою разинут под эту… как её?

— Под фанфару, — ляпнул Мукосей. — Тьфу! То есть под фанеру.

— Вот-вот. И сами-то худые, как фанера, и голос х… худой.

— А ну не лайся!

Проворно отирая руку фартуком, Кристина отвесила мужу такую затрещину, за которую другой и осерчал бы — рука тяжёлая. Но Зарубин только усмехнулся, приглаживая взбитый волос на загривке.

Мукосей, поднимаясь, качнулся. Посмотрел на кошку, жравшую кусок тайменя возле порога.

— Пойду, Фимидыч. — Он слегка поклонился. — Спасибо, Кристя, за угощение…

И хозяин поднялся, проводил Мукосея до тёмных тесовых ворот, пахнущих сыростью — на вечерней зорьке дождик полосонул.

Оставшись один во дворе, Ефим Демидыч по своей многолетней привычке зубами отхватил половину бумажного мундштука «беломорины» и лишь потом закурил, глядя в темень, расшитую узорами созвездий. На сердце было тепло и благостно, и хотелось думать о хорошем.

Вернувшись в дом, он засмотрелся на картинку древнего столичного Кремля, потом в «закромах» покопался, нашёл фотографию бабки-певуньи, которую он знал лишь по рассказам.

…«Девка-песнопевка» — так её прозвали по всей деревенской и таёжной округе. Весёлая была, а уж какая пригожая — некого рядом поставить. Десятки парней хороводили возле певуньи, на вечёрках смертным боем бились за неё.

— Петухи! — говорил председатель. — Не обращай вниманья, Мира. Выйдешь замуж, так пиши пропало. А у тебя талан!

— Ой, да ну что вы! — Мира, смущаясь, отмахивалась.

— Тебе бы надо в город, в люди, — продолжал председатель. — Ты бы там жару дала! В шелках бы ходила, на золоте ела…

— Баловство, — отвечала певунья.

— Не скажи, — не соглашался председатель. — Талан — это, девка, достояние народа, а мы в землю его зарываем, как тот навоз…

— Дак вы же знаете, — смеялась Мира, — земля без навоза хужее родит.

— Это так, — вздыхал председатель, — но мы уже столько зарыли, что не дай бог!..

Мирочка, певунья, отличалась какой-то болезненной скромностью. Никогда ей в голову не приходило — ехать куда-то, гоняться за славой. Она с утра и до вечера горбатилась за всякою работой, какую только ей давала «родина». А когда случалась минута роздыха, когда нехитрое застолье гоношили в избе или прямо в тайге на поляне, когда утомлённая Мирочка пропускала рюмочку-другую и розовела, как в семнадцать лет, — вот тогда и песня из груди рвалась. Народная русская песня — глубокая как море, широкая как степь, такая песня, после которой снова оживают сердце и душа, скрученные в узел бесконечным каторжным трудом, повседневными заботами и всевозможной мелкой суетой.

Бабка Мира так умела петь — цветы зацветали зимой. Так, во всяком случае, гласит семейное предание Зарубиных. (Однажды зимою цветок распустился на окошке в горшочке в той избе, где Мирочка от души весь вечер пела на свадьбе у своей товарки.) Жалко только, мало, ой как мало цветов зацвело от её волшебных, жарких песен — некогда ей было «горло драть», как говорила сама певунья. Работа была на уме. Работа и снова работа, в конце концов сгубившая её.

Надорвавшись на лесозаготовках, девка-песнопевка рано умерла. Это случилось на Пасху, в дни Светлой недели, когда «отворяется рай»: умереть в эту пору наши предки считали за особую милость, и потому семейное предание о золотой певунье было окружено ореолом таинственной святости. А вскоре вслед за нею и муж отправился — то бишь дед Зарубина. Тот, правда, не был святым — балагур и гуляка, он всю жизнь, как на тормозе, держался на характере жены, не позволявшей пить «в три горла». А когда исчезли «тормоза» — он слетел под гору, причём в буквальном смысле: на лесовозе поехал пьяный…

И вот тогда парнишку, Демида Зарубина, затолкали в детский дом, который со временем сделал из Зарубина — крепкого и жёсткого «Загрубина». В детском доме житьё не мёд, вот и пришлось Демиду отстаивать своё место под солнцем. Хорошо говорить мудрецам, сидящим на тёплой печке: «Разум человека сильнее его кулаков»[1]. А когда ты год за годом кантуешься в полухолодном, полуголодном бараке, где рядом с тобою словно бы стая отощавших и озлобленных волчат, тогда уж, извините, не до разума. Инстинкты начинают говорить, страшные, звериные инстинкты. Там другая мудрость торжествует: «Умри ты сегодня, а я умру завтра!» Из детдома Демид Зарубин вышел с глубоко сидящей в сердце озлобленностью на белый свет. И озлобленность эта в какой-то мере сыну передалась.

И теперь, когда хмельной Ефим Демидыч, сидя за столом, рассматривал фотографию бабки-певуньи и хмуро косился на блёклые звёзды Кремля на картинке под стеклом старого буфета, — теперь он со злинкой скрипел зубами, глубоко вздыхал и мысленно твердил кому-то: «Будет, будет праздник и на нашей улице!..»

Весною, перед окончанием школы, Полянка влюбилась. Это было видно по глазам, как будто отражавшим золотой огонь, — глаза горели, весело играли и беспричинно туманились то ли мечтой, то ли грустью.

Поначалу тайком гужевались, и непонятно было, что за паренёк запал ей в сердце. Ефим Демидыч только издаля порою наблюдал, как сидят они в обнимку — то возле дома на лавочке, то возле берега, где сухой извёсткой ещё белели рваные снега, но уже подсыхали макушки лужаек, зарастающие зелёными волосьями травы. Первые подснежники под берёзами открыли синие глаза, радостно блестящие росой. Влюблённый паренёк дарил цветы, иногда гитару приносил и тренькал, а девушка щебетала вполголоса, как прилетевшая первая ласточка.

Однажды вечером, когда костёр под берегом затеплился в голубой полумгле, издалека напоминая марьины коренья и цветы жарки, Ефим Демидыч,

1. Рабле. *(Примеч. авт.)*

подойдя вплотную, не сдержал презрительной усмешки, когда узнал избранника — Олежку Мукосея, простоволосого, некозырного.

— Ты уроки сделала? — сурово спросил у дочери.

— Сделала.

— Ну, пошли, проверю.

— Зачем? — удивилась Полянка; никогда он в тетрадки её не заглядывал.

— Пошли, уже поздно.

— Иди, пап, я сейчас.

Он сапогами молча затоптал костёр, густо задымивший, рассыпающий зернистые искры.

— Жених! — негромко обратился к юноше. — А ну пойдём со мной на пару ласковых.

Страшно смущённый Олежка следом направился, то и дело спотыкаясь на каких-то костлявых корягах, принесённых на грязном горбу половодья.

С полминуты, не больше, они постояли в полумгле под серебром кривой берёзы, поговорили о чём-то, и Олежка понуро поплёлся вдоль берега, даже не попрощавшись с Полянкой.

Глядя на затоптанные угли, она рассердилась.

— Что ты сказал ему? Что?!

— Не ори, — хладнокровно оборвал он. — Горло простудишь.

Полянка дёрнулась — бежать хотела.

Отец ухватил её за руку, больно сдавил.

— Никогда за хахалем не бегай. Пускай он за тобою побегает.

— Пусти! — Она вырвала руку. — Что ты лезешь куда не просят?!

Зарубин помолчал. Щетину поцарапал на щеке.

— Рано тебе замуж. Поняла?

— Да причём тут «замуж»? — Полянка вспыхнула, округляя глаза.

— А не замуж, так и вовсе нечего. Поматросит и бросит. Тебе это надо?

— Как это так «поматросит»?

— Дак так. Рано тебе, говорю.

— Я большая уже! Сама как-нибудь разберусь!

Подбирая дождевик под себя, Зарубин присел возле затоптанного огня и зачем-то подул на синевато-багровые угли.

— Ну чего ты взвиваешься, как та кобыла… — Он закашлялся от дыма. — Я ж добра тебе хочу.

— Ну конечно! — съязвила дочь. — Добро должно быть с кулаками!

Поправляя жёсткий воротник, пропахший рыбой, Ефим Демидыч басовито проворчал:

— Кулаками? Ты чо? Я даже пальцем не тронул его… Ну, ступай. И мне пора…

— Ага, уже стемнело! — Сердитый взгляд Полянки метнулся за реку. — Иди, браконьерничай!

Зарубин сплюнуть хотел на кострище, но отвернулся. Проглотил комок слюны.

— Я для кого стараюсь, дура? Мне эта рыба и задаром не нужна! — Глаза его блеснули диковатой яростью. — Я могу сидеть на тёплой печке, а ты ходи, сверкай тут голым задом…

— И что? Надо обязательно браконьерничать? Другие-то как-то живут и без этого.

Ефим Демидыч вынул папиросы. Оторвал половину бумажного мундштука от «беломорины».

— Знаешь, дочка, — проскрипел он, прежде чем направиться к моторке, — сожрать лимон и не скривиться — не всякий может!

Под боком районного центра, где жили Зарубины, струилась небольшая, но глубокая река. В прежние годы, начиная с паводка, когда ледолом отгремит во все пушки свои, река принималась трудиться. Смолистые горы кондового леса — кедры, сосна, листвяк, — заготовленные зимой, громоздились над обрывами в верховьях. К этим горам подползали хищные морды бульдозеров, сверкая зверскими оскалами, пихали в воду. Брёвна, уплывая, бестолково бились друг о дружку, кабанами рыли берега, срезали красноталы, распугивали живность. Неповоротливые стволы застревали на крутых излучинах — заломы там и тут топорщились противотанковыми жуткими «ежами». Брёвна тонули в несметном количестве. И всё равно подобный сплав считался одним из экономных.

А то, что рыба дохла — берёзовым поленом катилась по реке; то, что зверь уходил от натоптанных троп; то, что птица бросала насиженные гнездовья; то, что Красная книга год за годом распухала, пополняясь убитыми красотами Сибири, — похоже, это мало волновало государственные головы, ослеплённые странной экономической выгодой. Отяжелевшие, водой опившиеся брёвна, доплывая до устья, попадали в загородку, оцепленную бонами. Там их поддевали железными когтями, грузили на лесовозы и отправляли дальше — на городскую лесопилку, на переработку.

Ну, а потом свершилось то, что должно было свершиться давным-давно. Защитники природы, много лет стучавшиеся в двери всяких «инстанций», всё-таки добились своего. Лесосплав по реке прекратили. Сплавной участок № 13, где много лет горбатился Ефим Демидыч, вскоре сократили, рабочих разогнали «на вольные хлеба». Что делать? Зарубин сел на лесовоз и спервоначалу даже возрадовался — баранку-то крутить куда как проще, чем ворочать многопудные брёвна. Только покататься по горам и долам, не вынимая папироску изо рта, довелось недолго.

В Советском Союзе шла «перестройка», и вскоре всю державу так перестроили, собаки, так перекроили, что от Союза остались только рожки да ножки. И тогда по реке — с утра до вечера, и даже тёмной ночью, — стали шастать катера, проворные моторки, над которыми впору было вывешивать пиратские флаги с черепами-костями.

Браконьеры всех мастей за рыбой потянулись, за зверьём — в самые глухие, заповедные места, когда-то защищённые законом, рыбнадзором и егерями. Рыбу ловили перемётами, самоловами и даже на электроудочку — дьявольское изобретение двадцатого века, которое попросту «выжигает» реки и озёра. С каждым годом браконьер всё шире и шире свой рот разевал на дармовщину. Браконьер не то что осмелел — обнаглел, заступая за черту беспредельности. И уже попадались такие великие сволочи, которые не где-нибудь в туманной глухомани, а прямо в черте города кидали перемёт — сеть, перекрывающую горло всей реки или протоки.

Наблюдая за всем этим делом, Зарубин повздыхал немного, пожалковал о былых временах и тоже потянулся к ружью, к рыболовным снастям. А что делать? Жалостью сытым не будешь… Правда, в тайге и на речке он старался не хапать, не жадничать, как другие. Брал только семье на прокорм и не больше. Ну, может, когда продавал хвостов десять, пятнадцать городским гастролёрам, на моторках приплывавшим к дебаркадеру. А как не продать? Кристя, работавшая на лесопилке, денег живых по полгода не видела. «Опилками зарплату выдавали»,—так, матерясь, пошучивал Зарубин.

Деньгами их нередко выручал хитроватый Лёня-Ледокол.

Черноглазый, крепко сбитый сорокатрёхлетний Леонид Максимыч Мукосей в последнее время в поселковой округе больше был известен как Лёня-Ледокол. История этого имени весьма драматична (а кое для кого даже трагична).

При советской власти на реке Большая построили гидростанцию. С оркестром отгрохали, с шумом-гамом, с гонором. «Мы покорим тебя, река!», «Сдавайся нам на милость!»—белою краской писали на чёрных глыбах, предназначенных для перекрытия.

Задушенная плотиной, река попятилась, медленно, но верно затопляя окрестные луга, деревни, пашни, сопки. Образовавшееся рукотворное «море» больше было похоже на грязное горе. Однако же нет худа без добра: полумёртвую, широко разлившуюся воду вскоре оживили катера и яхты, картинно белеющие парусами; пионерские лагери по берегам затрубили медными горнами, зазвенели голосами детворы. Но главное—хоть летом, хоть зимой сюда тянулись городские и сельские любители порыбачить. Зимой так особенно. Как только первым ледком застекляло водохранилище, так мужики налетали—будто мухи на мёд. Да оно и понятно. По первому льду рыбу можно чуть ли не голыми руками из лунки выдёргивать, особенно леща да окуня.

Ефим Демидыч одно время сильно «болел» этим делом: бывало, рисковал по перволёдку—топал с ледобуром за спиной, с пухлым рюкзаком, в котором валенки с галошами, шерстяные портянки, мормышки и всякие прочие хитрости для рыбы. Но рисковать, как это делал прижимистый Мукосей,—немногие отчаивались. Леонид Максимыч знал такие распрекрасные места, которые он называл «магазинами» (в том смысле, что приехал и набрал, как в магазине, только бесплатно). В эти «магазины» Мукосей гонял на старом «Москвиче». Первый лёд—сантиметров пятнадцать—гнулся под машиной, хрустел сухой фанерой, распуская многочисленные трещины. Несколько раз Мукосей проваливался—то передним колесом, то задним. Звал мужиков на помощь—вытолкнуть. «Ты доиграешься!—говорили ему.—Жадность фраера губит!» Неизвестно, сколько играл бы он ещё, если бы не тот кошмарный случай, после которого Мукосей вообще зарёкся на льду рыбачить.

…Бывший полковник Фейбакович во времена советской власти работал в районной милиции, а затем пошёл «в гору»—перебрался в городскую администрацию. Мукосей был с ним знаком—и в тайге и на реке встречались. Леонид Максимыч дружбу водил с егерями, которые порой устраивали эдакую «царскую охоту»—делали подставу на полянах, на водоёмах: городскому или районному начальству «вдруг» сохатый попадался—на расстоянии выстрела, или отборные рыбины «вдруг» начинали клевать как дурные. Фейбаковичу приглянулась «царская охота» и Мукосей приглянулся: покладистый, весёлый, знает кучу анекдотов; водку железными кружками хлещет, собака, но не косеет.

И вот однажды утром к дому Леонида Максимыча подкатил солидный чёрный джип. Фейбакович, упакованный в тёплые заграничные шмотки, вошёл без стука, громко поздоровался.

—Хочешь заработать?—с ходу предложил.

—Лишь бы не по морде.—Мукосей табуретку подвинул.—Присаживайтесь.

Фейбакович хохотнул; у него в то утро было отличное настроение. Он посмотрел на старенькую снасть, над которой колдовал рыбак. Усмехнулся.

—Бросай к чертям свой перемёт. Поехали!

—Далече?

—А помнишь ту избушку на Скалистом?

—Это где же? На том берегу?

—Ну да. Там клюёт—закачаешься!

—Клевать-то, может, и клюёт…—Максимыч поцокал языком.—Ледок больно тонкий.

—Нормально!—заверил Фейбакович.—Я вчера с моим шофёром прокатился…

—А сегодня? Без шофёра?—Мукосей кивнул на джип, стоящий под окном.

—Я ж говорю, что можно заработать, соединить приятное с полезным.—Фейбакович подмигнул чернявым оком.—Ты ведь гоняешь по льду на своём «Москвиче»?

—Не гоняю. Сломался.

—Ну, вот подзаработаешь—наладишь. Давай собирайся.

Сомневаясь, Мукосей покачал головой, снова глядя в окно:

—Больно тяжёлый кабан!

—Кто? Где? А! Джипяра? Так я же говорю, уже ездили.

Убедил Фейбакович, настоял на своём. Еврей, казалось бы, а вот поди ж ты—до того обрусел, что крепко стал надеяться на русское «авось». На тяжёлом джипе они в то утро пулей проскочили на противоположный берег, надёргали рыбы за милую душу, под вечер малость водочки дёрнули в избушке и заночевали. А на рассвете—в понедельник—назад поехали. Дорога была та же самая, да не совсем. Южный ветер всю ночь потягивал, нагоняя оттепель, превращая снега в клейкое тестообразное месиво. Трещины по «морю» под утро загуляли, там и тут на льду уже скопились лужицы, кроваво горящие в свете зари, с трудом прорывающейся из-за лохматой и низкой облачности. А вдобавок к этому густой туман с горных вершин поехал ленивыми лавинами. Туман замазывал скалы и сопки на противоположном берегу, сползал на зеркало водохранилища, и то и дело вспыхивал жухлою соломой, когда в него втыкались противотуманные жёлтые огни.

Долго ли, коротко ехали той ледяною дорогой, только доехать была не судьба. Тяжеленный джипяра с разгону в полынью влетел и метров десять пёр как ледокол, разбрасывая хрустально звенящие льдины. От страха побелевший Мукосей—будто мукой обсеянный—успел драпануть из кабины. А Фейбаковичу не повезло: после того как дверца ударилась о льдину—ручку заклинило. Мукосей, отбежавший на безопасное расстояние, широко распяленными, дикими глазами долго наблюдал, как пузыри вспухают и лопаются, будто что-то шепчут на поверхности чёрной воды, раскрашенной павлиньими перьями мазута.

Увы, такие случаи в тех местах не редкость—целое кладбище автомобилей уже упокоилось на дне злополучного рукотворного моря, и никто их поднимать не собирается—«утопленники» не поддаются восстановлению, проще новую машину прикупить. Но тут оказалось несчастье особого рода—погиб чиновник краевой администрации. Пришлось подсуетиться, вызвать из Иркутска бригаду байкальских спасателей, имеющих опыт глубоководных работ,—джип находился на стометровой отметке.

Леонида Максимыча долго после этого тягали по судам, «снимали» показания, но в конце концов оставили в покое. И вот с тех пор он сделался—Лёня-Ледокол.

Так-то он мужик был неплохой, считался даже друганом Зарубина—иногда выручал на таёжной тропе, на рыбалке. И всё равно Зарубин малость недолюбливал его. Шибко уж чутко и остро Лёня-Ледокол нос по ветру держал, всегда безошибочно зная, кому и сколько в районе или в городе икорки подсыпать «в карман», рыбки подсунуть, а ежели руки пустые, так он, пустомеля, языком своим такого «леща» подкинет—хоть на сковородочке зажаривай.

«Ну а что? Умеет жить!»—так про него мужики говорили. «Может быть, и умеет, да только,—думал Зарубин, наморщив нос,—плебейством всё это попахивает!»

Влюблённый прыщеватый паренёк—что банный лист—никак не отлеплялся от девахи. Ефим Демидыч это понял по тому, что в почтовом ящике стали появляться пухлые конверты с однообразным почерком, без обратного адреса. Кроме того, на конверте отсутствовал почтовый «штепсель», как выражался когда-то отец, Демид Зарубин. Распотрошив один такой конверт, Ефим Демидыч прочитал какую-то галиматью—стишки про луну, цветуёчки.

«Ну, писака!—Зарубин набычился, глядя по сторонам.—Я тебе писульку-то пообломаю!»

Он хотел порвать письмо, но решил сначала с дочерью поговорить, чтобы губы не дула потом. Зажимая конверт в кулаке, Зарубин вошёл в избу.

— Где она?—спросил у сына, игравшего возле окна.

— В клуб ушла,—сказал Сергуня, сосредоточенно что-то строивший из картонных коробок из-под патронов.

Зарубин отправился к берегу—минутками назад Лёня-Ледокол там копошился в лодочном моторе. Переулок, ведущий к реке, зацветал золотыми накрапами мать-и-мачехи, под забором крапива мерцала колючими шильцами, полынь уже изрядно вымахала.

Сокращая дорогу, Ефим Демидыч свернул с тропинки, переступил через дряхлый скелет бывшей лодки. Река сверкнула серебристой рябью. Потянуло прохладой. Остатки ледохода завиднелись на прибрежной полосе—большие, солнцем издырявленные крыги, синеватые в верхних слоях, зеленоватые снизу. Трясогузка сидела на льдине, что-то клевала.

Мукосея на берегу уже не было—лодка под замком стояла.

«До дому, значит, попылил?—Зарубин письмецо в карман засунул.—Ну ладно, я схожу, не поленюсь!»

Семья Мукосея жила на выезде из районного центра—перед мостом через Сухой ручей, получивший такое название потому, что он только по весне бывает «мокрый»—половодье шурует так, что режет, будто плугом, краюхи чернозёма, подмывает крайние прясла на огородах. А после половодья снова сухо, пыльно, по широкому, но неглубокому руслу, поросшему кудрявой муравой и полынями, гуляют куры, гуси, телята пасутся; в кустах малины бродят ребятишки с малиново-раскрашенными рожицами.

Просторная, добротная изба Мукосея сидит на пригорке. На тёмной тесовой крыше белеет большая телевизионная тарелка, из которой сегодня «едят» столько разных программ, что страдают несварением и расстройством.

Дом оказался на замке. Ефим Демидыч сплюнул: стоило тащиться? Постояв перед крылечком, он отметил, как прибрано всё во дворе и ухожено. Направляясь к воротам, краем уха услышал всплески голубиных крыльев над головой. Затем раздался резкий посвист «соловья-разбойника», и Зарубин остановился. «Ага,—припомнил,—паренёк-то—он же голубятник!»

Направляясь в глубину подворья, Зарубин увидел чёрную псину в грязно-сером носке на передней лапе. Позвякивая цепью на выходе из конуры, кобель прогнулся—потянулся, раззявив горячую пасть и, приподнимая нечёсаный загривок, предупредительно зарычал. Ефим Демидыч подхватил какой-то острый кол, прислонённый к забору, и сообразительная псина присмирела—мохнатыми листьями торчащие уши обвяли.

Олежку Мукосея он отыскал на «задах», где стояла небольшая, аккуратная голубятня, крашенная в радугу, пропахшая птичьим помётом, бьющим в ноздри не похуже нашатырного спирта.

— Голубь!—задирая голову, позвал Зарубин.—А ну лети сюда!

Паренёк увидел острый кол в руках у мужика и замер перед лестницей.

— Да мне и здесь неплохо,—пробормотал.

Зарубин спохватился—отбросил палку.

— Иди, поговорим. Где батька?

— Я не знаю.—Олежка спустился.—Что вы хотели?

Ефим Демидыч посмотрел в упор. Взгляд был тяжёлый, пронзительный—до сердца доставал.

— Что я хотел? А тебе невдомёк?
— Догадываюсь,— отводя глаза, ответил паренёк.— Только вы не волнуйтесь. Мы ведь скоро уезжаем. Насовсем.
— То есть как это?— Зарубин растерялся.— Куда уезжаете?
— В город.
— А с чего это вдруг?
— Отец нашёл работу.— Олежка, глядя в небо, неожиданно свистнул, подбадривая голубей.
— Интересное дельце!— Зарубин поцарапал ухо, в котором зазвенело от свиста.— А я тут встречал его, так он даже ни гу-гу.
— Да он и нам не говорил. Боялся сглазить.
Зарубин оживился, подобрел.
— Ну, так это, парень, хорошо. По теперешним временам работу сыскать— это редкость.
Олежка вздохнул, глядя в небо.
— Редкость— голуби вот эти. Где их там держать-то? На балконе?
Прищуриваясь, Ефим Демидыч тоже засмотрелся в небеса, где крутилась белоснежная птица, выполняя фигуры «высшего пилотажа». Потом рука его в карман скользнула.
Зарубин постоял, глядя на землю, где белели снежинки птичьего пуха. Приблизился к пареньку.
— Ты вот что, голубь… Ты давай-ка прекращай всю эту писанину…
— Какую писанину?
Зарубин протянул ему скомканный конверт.
Олежка покраснел.
— Забери!— Ефим Демидыч сунул письмо в ладошку парня.— Перестань деваху баламутить. У тебя их, может, будет— как вот этих голубей. А у меня она одна. В люди надо вывести. Ты понял?.. Ну вот и ладушки. Ну, дай вам Бог устроиться, обжиться на новом месте…
— Счастливо оставаться,— буркнул Олежка.
Когда Зарубин вышел за ограду, голуби горохом с неба вдруг посыпались на крышу голубятни.
Ястреб закружился в синей вышине.

В последнее время «красивая» жизнь там и тут пускает пыль в глаза. «Красивая» жизнь— то в бриллиантовом блеске, то в шубах, а то и совсем нагишом— из телевизора выпрыгивает в комнаты небогатых и скромных людей, рёвом ревёт в роскошных иномарках, в репродукторах и на театральных подмостках. «Красивая» жизнь распаляет юные сердца— огнями прожекторов и огнями софитов, горящих на сценах, где проходят конкурсы всевозможных красот и чудес. И всё это не может не сбить мозги набекрень подрастающим людям, некрепко ещё стоящим на грешной земле. У многих— или явственно, или подспудно— появляется жажда лёгкой наживы, яркой и шумной славы.
— Чо попало показывают!— говорила Кристина Прокопьевна, глядя на такую «красивую» жизнь в телевизоре.— Ты, Полянка, чем глаза лупить зазря, иди лучше уроки учи!
— Чо б ты понимала!— фыркала дочь, выключив телевизор и одеваясь.— Я уроки давно уже сделала…
— А куда собираешься?
— В клуб.
— На танцы, что ль?
— Скоро конкурс будет. Я готовлюсь.
— Ты лучше к экзаменам готовься.
— Ой, да ладно, хватит, мам, не начинай!
После Нового года в районном центре шумно провели конкурс юных талантов. Роскошно обставленное мероприятие проходило под патронажем столичных ценителей искусства, потому и название было придумано звонкое: «Соловьиное сердце России». Вот так вот, ни больше ни меньше. Поляна Зарубина завоевала там первое место. Её наградили какой-то «золотой» статуэткой и блестящей медалью. И сама Полянка блестела как медаль— от счастья.
— Меня пригласили в Москву!— сообщила родителям.— Дорогу обещали оплатить!
Кристина Прокопьевна к этой затее отнеслась молчаливо и хмуро. Ефим Демидыч был доволен через край, но виду не показывал. Сосредоточенно рассматривая статуэтку, он спросил:
— Что за мужик?
— Аполлон,— объяснила дочка.— Покровитель искусства.
— Аполлон?— Отец пожал плечами.— А похож на этот… на половник.
Полянка засмеялась:
— Чо б ты понимал!
— Ну где уж нам! Лаптями щи хлебаем!— Ефим Демидыч поставил статуэтку на обеденный стол.— Значит, в Москву? А что? На дармовщинку-то можно скататься.
— Ага!— заартачилась мать.— У неё же экзамены!
— Ну так я же потом,— загорячилась Полянка.— Это ж после экзаменов…
Тяжело вздыхая, мать поднялась из-за стола.
— Ты сначала сдай, потом посмотрим. Шутка ли— в Москву! Там денег скоко надо! А мне зарплату третий месяц тока обещают…
Жили Зарубины так себе— ни богато, ни бедно. Однако же после того, как Поляна окончила школу и стала собираться в Москву «за песнями», Ефим Демидыч расстарался: воровскими тёмными ночами рыбы на продажу наловил до чёрта и больше, безжалостно пустил под нож кое-какую живность на своём дворе.
Он сделался в те дни какой-то необыкновенно возбуждённый, чересчур весёлый и широкий в своих желаниях.
— Я тут подумал… Лети самолётом!— Он взмахнул рукой.— Ну их, эти поезда! Будешь суток трое или четверо нюхать грязные чьи-нибудь лапы.
Изумрудинки глаз у Полянки округлились от удивления.
— Зачем я буду нюхать?
— Ну а чо? Я же помню, как со службы возвращался,— рассказывал Зарубин.— На верхних полках постоянно кто-нибудь валяется— ноги в грязных носках тебе в морду суёт…
Полянка засмеялась, показывая ровный рафинадный ряд зубов.
Мать, пришедшая с работы, утомлённо опустилась на табуретку, слушала их разговор.

— Можно взять купе,—равнодушно подсказала.— Там хорошо. Культурно.
— А ты откуда знаешь?—спросил Ефим Демидыч.—Ты дальше пилорамы-то не ездила.
— Зато я видела такие поезда. На нашей станции.
Помолчав, Зарубин почесал свой прелый «мох» под мышками—он сидел в одной майке на кухне за крепким рукодельным столом, грубо сколоченным из широких сосновых досок.
— Видела!—передразнил он, доставая «Беломор».—Поезда эти—фирменные, чтобы ты знала.
— Ну и что, что фирменные?
— А то, что билетик на них чуть подешевле, чем на самолёт.
— Ой, да сиди ты!
Зарубин потыкал пальцем в сторону двери:
— А вот сходи на станцию, спроси. Кротче, так. Давай не будем скупердяйничать. На поезде, дочка, ты уже ездила, а вот на самолёте…
— Да ты чо?—возмутилась Кристина Прокопьевна.—Это скоко денег-то вам надо? Двоим-то!
— А я не поеду.
Жена на него посмотрела—будто ослышалась.
— Как это так—не поедешь? Мы чо говорили с тобой? Да куда же мы одну её?.. Нет, нет!—Кристина Прокопьевна развязала под горлом платок.—Не пущу! И не думайте даже…
— Спокойно.—Муж ладонью пристукнул по скатерти.—Мы об этом тоже позаботились. Поедет она не одна.
И снова жена на него посмотрела—как будто ослышалась.
— Не одна? Так с кем же?
Ефим Демидыч натянул рубаху, заправил в брюки. Не стесняясь, застегнул ширинку.
— Доча!— Он постоял на пороге.—Расскажи ей про эту… Ирину Даниловну.
— Эльвиру Давыдовну?
— Ну да. Расскажи, как да что…—Зарубин дверь толкнул плечом.—А я пока схожу на дебаркадер. Там деньги за рыбу должны…

От райцентра до города—километров сорок. Рано утром Ефим Демидыч на старом своём «жигулёнке» повёз Полянку в аэропорт.
Голубовато-серая луна догорала вдали над берёзовым колком, над вихрастыми кедрами. Туманы опарой томились в оврагах, тёплым тестом ползли через край.
Птицы, просыпаясь, лепетали в деревьях, унизанных каплями полночного короткого дождя. И в траве на обочинах капли то и дело вспыхивали звериным глазом, отражая солнечный свет, занимающийся на востоке.
Исподлобья глядя на дорогу, посыпанную щебёнкой, кое-где разбитую, раскисшую от грязи, Ефим Демидыч говорил:
— Я вчерась к ней ходил, к этой Эльвире. Чёрной икры отдал почти полпуда…
— Ой, папка!—Полянка поморщилась.—Ну что ты позоришь меня?
Зарубин промолчал, ожесточённо переключая скорость. Ему и самому была противна такая «дань», да только что поделаешь…
— Ну вот,—продолжил он.—Мы потолковали мало-мало… Ну, в общем, вас там встретят. Ну а ты, как только доберёшься…
— Да знаю, знаю!—Полянка поправила лёгкое платьице под собой.—Доберусь—позвоню. Ты сто раз говорил уже…
Он помолчал, кусая погасшую «беломорину».
— Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Дочь посмотрела с недоумением.
— Ты к чему это, пап?
Пошевелив бровями, он усмехнулся.
— Да я ж ни разу не был в той Москве. Так что завидую. Малость.
Полянка не сдержала довольную улыбку. Курносая, глазами устремлённая вперёд—судьбе навстречу,—она в то утро выглядела особенно гордой, прекрасной.
—Ну, может, в гости приедешь,—сказала снисходительно.—Вот поступлю, маленько обустроюсь…
Фимидыч в приоткрытое окно окурок выбросил.
— А чего ж не приехать? Приеду. У нас тут какой-то заводик по переработке древесины планируют построить. Зарплата хорошая будет, так что ж не приехать.—Помолчав, он зарычал сквозь зубы:—Долбаки!
— Кто?— Полянка удивилась.—Ты про кого?
— Да про этих… Твари подколодные! Такую страну развалили…
Объехали грязное место. Чёрные кляксы брызнули из-под колеса—сбили с ноги белый цветок на обочине.
— Ну что же теперь, папка?—беззаботно откликнулась Полянка.—Значит, время пришло.
Он насупился.
— Время! Много ты понимаешь. Твой папка раньше скоко заколачивал? Да на старые деньги я бы каждый месяц в Москву летал!
Полянка, меняя тему, спросила:
— Мы не опаздываем?
Посмотрев на часы, он поправил старый, потёртый ремешок.
— Нормально. Даже с запасом.
— Пап!—Она улыбнулась.—А в Москве есть музей Шаляпина! В Кремле. В Оружейной палате. Там есть часы Шаляпина, которые ему лично подарил наш русский царь Николай Второй.
— Ох, мать его! Сам царь?—Он покачал головой.— А ты откеда знаешь?
— Читала,—не без гордости ответила Полянка.— Я же к ней готовилась. К Москве.
— Молодец. Но сильно-то рот не разевай. Там, знаешь, ухари…
— Ой, да ладно, папка! Чо я, маленькая?
Зарубин покосился.
— Большая. Только ляжки-то прикрой.
Дочь раздражённо фыркнула и отвернулась, поправляя платье.
— Чо ты грубый такой?
Он вздохнул.
— Я не грубый. Я забочусь об тебе. Поаккуратней надо, раз большая.
Они замолчали, выезжая на «финишную прямую»—впереди замаячило здание аэропорта, опутанное железной паутиною антенн. Справа и слева

стоял «навытяжку» ослепительно-стройный, молодой листвою не так давно прикрытый березняк.

В аэропорту народу было мало; теперь, с нашими заоблачными ценами, всё больше поездом предпочитали ездить, а лучше того — дома за печкой сидеть, тараканов давить.

В центре зала стояла Эльвира Давыдовна Иваницкая, коренная москвичка, немолодая, но отлично сохранившаяся дама, опрятно одетая, эффектно подкрашенная косметикой, увешанная золотом — сосульки серёжек сверкали в ушах, колечки блестели на пальцах.

Эльвира Давыдовна — певица Большого театра. Бывшая, правда, но это неважно. Главное то, что госпожа Иваницкая — знаток в этом деле; прослушав Полянку, она провела собеседование и осталась довольна. В последние годы, занимаясь административной работой, Эльвира Давыдовна в провинцию приезжала с какой-то проверкой, заставив изрядно посуетиться и поволноваться здешнее начальство, отвечающее за культуру и искусство.

Около неё торчала упитанная свита провожающих.

«Простой-то смертный хрен подойдёт! — отметил Зарубин. — Только это даже хорошо. Дочка будет в надёжных руках».

Иваницкая приветливо встретила девушку.

— Это наше будущее! — не скупясь на похвалу, она прижала девушку к себе. — Соловьиное сердце России!

Полянка зарделась, опуская глаза.

— Ну да прям уж…

— Солнышко, давай на регистрацию! — начальственным тоном распорядилась Эльвира Давыдовна.

В такие минуты, когда приходилось провожать кого-то в дальнюю дорогу, Зарубин томился, как голый в предбаннике: руки, сцепивши замком, смущённо держал внизу живота. Не знал, что сказать и что сделать. Моргал, опуская глаза, и стыдился проявить своё жаркое чувство прощания, или, вернее, чувство до свидания. С каждой минутой угрюмился он всё сильнее и начинал поторапливать время: когда же наконец-то проводы закончатся?

Но вот объявили посадку, и, провожая дочку в накопитель — словечко-то какое мерзкое! — он в какую-то долю секунды забылся и неожиданно для себя крепко обнял Полянку и тут же застыдился и отпрянул; никогда он «баб своих» ласками не жаловал.

Накопитель мигом проглотил Полянку — не разглядеть за спинами, за шляпами.

Зарубин походил кругами возле входа в шумный, пёстрый зал. Чертополошную свою, три дня уже не бритую щетину поцарапал на щеке, под горлом. Вынул папиросы и чуть не закурил, но спохватился — тут нельзя.

Выйдя на улицу, он машинально откусил и выплюнул половину бумажного мундштука. Задумчиво на небо посмотрел.

«Ну, дай Бог, чтобы всё там сложилось как надо!»

Серебром сверкающий элегантный лайнер с первого взгляда очаровал. А уж когда Полянка вошла вовнутрь — всё было романтично, необычно, всё располагало к восторгу и мечтам. Из динамиков, спрятанных над головами, доносилась приятная приглушённая музыка.

Угнездившись, Иваницкая спросила, глядя вверх:

— Что играют, солнышко? Прислушайся.

— Не знаю. — Девушка смутилась.

— Шопен! — улыбаясь, Эльвира Давыдовна закрыла глаза. — Солнышко, должна тебе признаться, я в самолётах всегда засыпаю, так что заранее прошу прощения.

— Ну что вы, что вы! Спите на здоровье!

Однако заснуть в этот раз для Иваницкой оказалось делом непростым.

Сзади находился необычный пассажир — сухопарый мужчина в тёмной дорожной куртке с белым ястребом, сидящим на кожаной перчатке. Голова хищной птицы была зачехлена оранжево-серым кожаным клобуком. Это был орнитолог — ястреба вёз на работу в один из московских аэропортов.

В лице орнитолога — вот уж поистине, с кем поведёшься, от того и наберёшься! — сквозили хищноватые черты, особенно во взгляде и в глубоких вырезах ноздрей. Но, в общем-то, он оказался человеком приятным. Поглаживая беломраморного ястреба, орнитолог запальчиво взялся рассказывать о том, что первооткрывателями в прикладном использовании хищных птиц в аэропортах были европейцы.

— Англичане стали использовать приручённых птиц ещё во время Второй мировой войны, — просвещал орнитолог. — Ястребы отлавливали почтовых голубей с секретными донесениями. А позднее эти ловчие птицы появились на военных аэродромах. Высокоскоростные самолёты имели небольшую массу, но огромную скорость, и повреждения от столкновения даже с маленькой птицей были порою катастрофические.

— А что? — глаза у Полянка расширились. — Разве сталкиваются?

— Ну так ещё бы! Современный реактивный самолёт, — продолжал орнитолог, — если он столкнётся, допустим, с невинной уткой… Вы представляете? Сколько у вас, извините, было по физике в школе?

— Пять, — жеманно проговорила Полянка.

— Значит, поймёте, что происходит в полёте. По законам физики утка превращается в настоящий снаряд, который легко пробивает сверхпрочное ветровое стекло толщиной в три сантиметра. А это — ни много ни мало — давление аж в триста тысяч атмосфер… Впечатляет? Вот так-то… — Орнитолог помолчал и, сбавляя голос, сообщил как будто по секрету: — Не так давно в одном столичном аэропорту аэробус Ил-96 во время посадки зачерпнул во все двигатели огромную стаю чаек. Просто чудом беды избежали.

Эльвира Давыдовна, перебарывая зевоту, заметила:

— Насколько я знаю, во всём мире для отпугивания птиц используются преимущественно соколы.

В Швеции, например, где я была в позапрошлом году, там работают кречеты. А у нас так почему-то ястребы.

— О!—обрадовался орнитолог, не скрыв удивления.—Приятно слышать знатока!

— Да я бы не сказала, что знаток.

Приподнимая белоснежного хищника, орнитолог с гордостью сообщил:

— Наши белые ястребы—это белая зависть всех зарубежных коллег. Белый ястреб, чтоб вы знали, нигде больше в мире не водится—только в России.

— Альбиносы, что ли?—Иваницкая сонными глазами рассматривала птицу.

— В том-то и дело, что не альбиносы. Этот вид сама природа сотворила.

— И где же они…—Иваницкая снова зевнула.—Где обитают?

— В тундре.

— А у нас в Подмосковье,—вспомнила Эльвира Давыдовна,—ястреб-тетеревятник живёт. Его почему не используют?

— Тетеревятник живёт в густых либо хвойных, либо смешанных лесах,—с удовольствием отвечал орнитолог.—Стиль его охоты рассчитан на короткие рывки между деревьями. А у нас-то задача другая. Нам нужна не столько эффективная охота, сколько отпугивание. А для этого нужно зависать над территорией…

Эльвира Давыдовна и Полянка странно как-то переглянулись, скрывая улыбки. Орнитолог, похоже, заметил и понял попутчиков.

— Ладно,—вздохнул, замолкая,—я на минутку покину вас.

Поднимаясь, он поправил кожаную грубую перчатку, в которую вцепились когти ястреба.

— Вот что значит профессионал!—глядя в широкую помятую спину, подытожила Иваницкая.—Вот так надо знать своё дело, красавица. От «А» до «Я»… А ну-ка расскажи, какие знаменитые певцы тебе известны?

Полянка растерялась. Ресницами захлопала.

— Шаляпин. Козловский…

— Хорошо.—Эльвира Давыдовна закрыла глаза.—А ещё?

Увлекаясь, девушка взялась перечислять, но вскоре замолчала, увидев, что Иваницкая спит, откинув голову и приоткрывши рот, сияющий золотым резцом.

«Ну и ладно,—вздохнула Полянка, немного обидевшись.—Чо я буду здесь, как на экзаменах…»

Она прислонилась к иллюминатору.

Денёк стоял погожий, светло-голубой. От края и до края горизонта—ни облака, ни тучки. Ничто не мешало Полянке любоваться далёкой, будто нарисованной землёй. Только разве что сердце донимало порой—обжигало огнём, когда в голову вдруг приходила шальная мыслишка о поломке этого большого лайнера или о той невероятной высоте, на которой надсадно ревели турбины, доводя до мелкой дрожи всё живое и неживое в салоне.

Иллюминатор находился недалеко от крыла, сверкающего серебристо-солнечным покрытием. И вдруг на этом чистом серебряном крыле Полянка разглядела чью-то грязную ступню—чёткий оттиск башмака (наземная обслуга самолёта наследила). В чистом небе, где, кажется, могут жить только боги да ангелы, увидеть эту нечистую лапу было так дико, так странно—даже настроение испортилось.

«Какой-то знак недобрый!—мелькнуло в голове.—Ну что за глупости?»

Отвернувшись от иллюминатора, Полянка взялась читать—томик Пушкина с собою прихватила. В это время Иваницкая всхрапнула и, на мгновенье приоткрывши мутные глаза, пробормотала:

— Пардон, пардон…

Полянка улыбнулась, полистала книжку, почитала и незаметно для себя тоже заснула, убаюканная размеренным гулом.

И приснилась ей нарядная Москва, Красная площадь, храм Василия Блаженного, который, оказывается—не похуже Пизанской башни—накренился метра на полтора, но всё-таки стоит надёжно, крепко. (Эльвира Давыдовна рассказала, пока они томились в накопителе.) И приснился ей огромный нарядный зал, сверкающий хрусталём и золотом, до отказа набитый людьми,—то ли миланский театр «Ла Скала», то ли наш Большой театр или Мариинский. И возникли перед нею золотые и серебряные голоса всего мира: Шаляпин, Козловский, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучиано Паваротти. Сидящие в первых рядах, все они плакали и восторженно рукоплескали, слушая, как звоном звенит «соловьиное сердце России»—так про неё уже как будто раструбили все газеты, и столичные, и заграничные. Закончив петь, Полянка поклонилась, хотела продолжить на бис, но в это время—из боковой кулисы—на сцену неожиданно вышла стюардесса.

— Дамы и господа!—объявила она, расплываясь дежурной улыбкой.—Пристегните ремни! Мы идём на посадку!

Ещё не проснувшись, но уже выныривая из глубины сновидения, Полянка ощутила лёгкий толчок: колёса осторожненько поцеловали—шаркнули по щеке бетонной полосы. И тут в салоне раздались аплодисменты; пассажиры так нередко рукоплещут лётчикам за мягкую посадку, за благополучно совершённый рейс.

Открывая глаза, Полянка вздохнула, сожалея о прекрасном мимолётном сне.

«Прилетели? Так быстро?—с удивлением подумала она, поглядев на спящую Эльвиру Давыдовну.—А тётеньку-то, видно, и пушкой не разбудишь!»

Потягиваясь, Полянка незаметно ощупала низ живота; в трусиках имелся потайной карман, мамка вчера вечером пришила. «Деревенщина! Как вот теперь деньги доставать? Бегать каждый раз в уборную? Извините, господа, у меня понос!»

Беззвучно рассмеявшись, она увидела, что Иваницкая просыпается: мутно-тусклые глаза блуждали по салону.

Полянка отвернулась к иллюминатору, чтобы Эльвира Давыдовна, всклокоченная после сна, спокойно привела себя в порядок. Не без удовольствия отмечая это, Иваницкая подумала: «Тактичная барышня. Может быть, первое время у нас

поживёт? По хозяйству поможет. Надо с мужем переговорить».

И снова Полянка увидела грязный чей-то след на серебристом крыле. И неожиданно спросила:

— А вы в приметы верите, Эльвира Давыдовна?

Поправляя причёску, Иваницкая пожала плечами:

— В хорошие — верю. А в дурные — зачем?

Полянка простодушно хохотнула, довольная мудрым ответом. И снова спросила:

— А почему называется «Домодедово»?

— Домовой, домоедушка. Наверно, отсюда ноги растут у названия. — Эльвира Давыдовна повязала на шею цветастый полувоздушный платок. — Вот приедем, солнышко, домой, я дам тебе «Историю Москвы». Много интересного узнаешь. — Она увидела «Русские народные сказки» в руках у ребёнка, сидящего неподалёку. — Вот скажи, мне, солнышко, откуда пошло выражение «избушка на курьих ножках»?

— Ну, это… — Полянка губы трубочкой свернула. — Это избушка Бабы Яги.

Иваницкая головой покачала — золотые сосульки сережёк заблестели, как будто закапали солнечным светом.

— Нет! Давным-давно когда-то на Большой Молчановке стояла церковь Николая Чудотворца, что на курьих ножках. Вполне официальное название. «На курьих ножках» — это, милая моя, старинный термин московских строителей. Это один из способов устройства фундамента, при котором избу или другое строение ставили на пеньки. А поскольку пеньки эти выкорчевывались, были с корнями, они напоминали курьи ножки…

Говорила Эльвира Давыдовна громко — уши заложило при посадке. Окружающие стали поворачиваться. Орнитолог, сидящий за спиной, придвинулся поближе. Самолёт в это время резко притормозил, и орнитолог чуть на голову Иваницкой не посадил своего белоснежного ястреба.

— Сдурел ты, что ли?! — откачнувшись, неожиданно крикнула Эльвира Давыдовна, на несколько мгновений потеряв интеллигентную маску.

Аэропорт бурлил — огромный, гулкий, не знающий покоя ни днём, ни ночью. Народищу было — тьма-тьмущая. Кто прилетал, кто улетал; кто спал, кто бодрствовал; кто читал, кто кроссворды решал, кто бездельничал, ожидая рейса в такие глухие края, где сейчас клубились непроглядные туманы и даже пурга свирепела. Аэропорт ошеломил Полянку и развеселил — своими разноцветными нарядами, разноплемёнными лицами, разноязыкой речью…

Миновав железную вертушку, они остановились.

Эльвира Давыдовна — сначала растерянно, а затем раздражённо — стала постреливать глазами по сторонам.

— Где он? — подумала вслух. — Наверное, что-то с машиной? Или снова рейсы перепутал?

Глядя на Иваницкую, девушка тоже покрутила головой с двумя тёмно-соломенными косичками. Изумрудинки глаз её, восхищённо сияя и широко распахнувшись, бегали по незнакомым лицам, по спинам, по голубям и воробьям, летающим над головами и приютившимся на потолочных карнизах, — в просторном зале всем хватало места.

Закрутилась лента эскалатора: чемоданы всех цветов радуги и непомерно пузатые сумки поехали навстречу пассажирам, торопливо разбирающим поклажу.

Эльвира Давыдовна была налегке.

— Всё своё ношу с собой, как сказал мудрец… — Она вздохнула, продолжая крутить головой. — Ты вот что, солнышко, постой тут пока с чемоданом, а я позвоню. Только никуда не уходи.

— Хорошо.

Оставшись одна, Поляна — как большинство провинциальных людей — принялась во все глаза рассматривать нескончаемый людской поток, способный довести до головокружения, если долго смотреть. Впервые так близко увидевши негра, прошедшего рядом, девушка внутренне ахнула и чуть попятилась, поражённая контрастом между чёрной кожей и ослепительно яркими, большими белками глаз и сахарной белизной зубов. Посмеявшись над своим испугом, Полянка тут же нахмурилась: толстощёкий, разогретый работой носильщик беспардонно оттолкнул её с дороги.

— А повежливей? — прошептала она, оборачиваясь.

Бесконечная цветная «кинолента» вскоре стала надоедать.

Отойдя в сторонку, чтобы не мешать, девушка уселась на упругий угол чемодана. «Господи! — подумала с затаённым ужасом. — Тут людей ничуть не меньше, чем во всём райцентре!»

Почти под ногами Полянки закрутился шустрый воробей, слетевший откуда-то с железной конструкции, поддерживающей полупрозрачный потолок, сквозь который синело небо. Воробей похож был на бродягу — грязные перья свалялись, чубчик ржавого цвета взъерошился. Она увидела два-три семечка возле своей поклажи, ногой подтолкнула к пернатому. Избоченив головку, «бродяга» посмотрел на девушку и отважно бросился клевать.

Подошёл таксист, играющий звонкими ключами на кольце, — спугнул воробышка.

— Едем? Слышь, красавица?

— Нет, спасибо. Я жду.

— Ждут у моря погоды. Поехали.

— Да нет же, я тут не одна.

— А с кем?

— С Эльвирой Давыдовной.

— О-о! — саркастически протянул таксист, будто знал Иваницкую. — Ну, тогда конечно! Сиди на своём чемодане, как та курочка на яйце! — Он перестал крутить ключи. Поближе подошёл. — А то, может, поедем? Я беру недорого.

Полянка молча отошла от парня, прилипающего, как репей. Но там, в уголке, где она чемодан притулила, к ней привязалась цыганка, жгущими глазами достающая до сердца и предлагающая для начала руку ей «позолотить». И опять Поляна отошла — ещё дальше от того условленного места, где надо ждать.

Время шло, а Эльвиры Давыдовны не было.

Заволновалась, Поляна пошла на улицу и почти сразу увидела Иваницкую, стоящую в стеклянной телефонной будке на углу—будто в большом стакане. Обрадовавшись, Полянка поспешила к ней, но тут же замерла: дверь будки распахнулась, и женщина, шагнувшая на улицу, оказалась просто похожей на Иваницкую.

Расстроившись, Полянка вернулась на условленное место. Ей становилось тревожно. Ноги на высоких каблуках деревенели. Посидев на чемодане, она опять на улицу пошла. Во рту от волнения сделалось сухо. Заприметив роскошную надпись «Кафе», она заглянула туда, попить хотела соку или чаю, но всё было такое дорогое—подавиться можно.

Голова начинала побаливать и кружиться от суеты, от бесконечного мелькания вокруг. В глубине души Поляна запаниковала, потерявши Эльвиру Давыдовну, чтобы не сказать наоборот: Иваницкая потеряла её, суматошно бегая по залу, по площади около здания аэропорта. (Уже два раза прозвучало объявление по радио: пассажирку Поляну Зарубину просили подойти к справочному бюро.)

Затыкая пальцами уши, чтобы сосредоточиться, Полянка про записную книжку вспомнила. Достала из сумочки. Приободрилась. И телефон был записан, и адрес. «Ну слава Богу! Чего расстраиваться? Не маленькая, доберусь!»

И опять—когда она вышла на улицу—к ней приставали, как репейники, таксисты, но девушка только отмахивалась, всё ещё не теряя надежды найти Иваницкую.

Пожилой мужчина, занимающийся частным извозом, чем-то понравился ей (на отца был похож).

—Вам куда, гражданочка?

Она вздохнула, глядя в записную книжку.

—Да мне бы только до метрá.

—До метро? Так в чём же дело?—Пожилой человек улыбнулся, обнажая на половину беззубый рот.—Карета подана.

Девушка глазами искала, шарила в толпе. И в то же время соображала насчёт «кареты».

—А скоко стоит?

Когда шофёр ответил—девушка изумлённо ойкнула. Незаметно трогая резинку на трусиках, засмеялась, прикрывая рот рукой:

—Да вы чо? Опупели?

Пожилой водитель пожал плечами.

—Дешевле здесь никто не повезёт.

—Ну конечно!—Полянка сделала вид бывалой пассажирки.—Я что, не знаю? Тут же есть автобус, электричка.

Частный извозчик ушёл, потеряв интерес. А Поляна вдруг исполнилась решимости—ехать автобусом.

На остановке было столпотворение.

Девушка покорно встала в очередь, медленно ползущую к пунцовому «Икарусу», размалёванному рекламой. Дверь перед самым носом вдруг закрылась, и наполненный «Икарус», резко рыча, отвалил от платформы. Дожидаясь другого автобуса, Полянка тоскливо поморщилась: неподалёку стояла смердящая урна—там что-то чахоточно тлело. Уклоняясь от вони, Полянка вперёд подалась и едва не упала, зацепившись каблуком за чью-то сумку. За спиною злобно зашипели, заругались вполголоса. Она молчала, глядя под ноги; там валялись фантики, дымились окурки, блестели плевки.

—Мадам!— донёсся до неё чуть раздражённый скрипучий голос.

Это был интеллигентный с виду, сухопарый старичок с длинными свинцово-седыми волосами, похожими на парик.

—Внучка!—Он поправил галстук.—Ты за кем?

—Вот за этим—за дяденькой.

—Да?—удивился старичок.—И я за ним!

Полянка глазами похлопала.

—А я тогда за кем?

Старичок хихикнул, потрясая длинными волосьями.

—Девичья память!

—Да нет.—Поляна грустно улыбнулась.—Это, наверно, склероз.

—Ты на что намекаешь?!—Старичок неожиданно взвизгнул.—Нет, вы поглядите на неё! Такая молодая, а такая наглая! Распустили, понимаешь. Демократия… Ни комсомола теперь у них нет, ни стыда и ни совести…

Она покраснела, опуская глаза.

—Да чо вы такое несёте?

—Я тебе не носильщик—нести!—громко скаламбурил старичок, которому, кажется, поскандалить от скуки хотелось.

Хмельной двухметровый детина с пижонскими усиками неожиданно придвинулся к ней.

—Дед!—зарокотал он, легонько приобняв Полянку.—Чего ты зря пылишь? За мной она! Мы вместе!

—Ну, так чего же?—Старичок моментально пошёл на попятную.—Так и сказали бы сразу.

Девушка вспыхнула и отошла, освобождаясь от неприятно липкой лапы хмельного покровителя.

—Чёрт знает что!—роптали сбоку.—Где автобусы?

—Обед у них, наверно.

—Электричкой уж давно на месте были бы.

—Ну пошли, сколько ждать…

Полянка посмотрела вслед уходящим, развернулась и тоже направилась на электричку, поддавая коленкой по чемодану, становившемуся чугунным.

Однако же и там, на электричку, оказалась хвостатая очередь за билетами—в бетонную, обшарпанную кассу, похожую на амбразуру вражеского дота.

«Господи!—Поляна покачала растрёпанной головой.—Тут сдуреешь!»

Она вздохнула, опуская чемодан. Поправила волосы, вытерла вспотевший горячий лоб.

—Кто будет крайний? Вы?—уточнила, тыкая пальцем.—А кто за вами?

—Так вы, наверно, будете за мной,—насмешливо проговорила женщина.

—Ой!—Поляна улыбнулась.—Правда. Я хотела спросить: вы за кем?

—А вот за этим седым гражданином.

Очередь двигалась медленно—в час по чайной ложке. Теребя косички, подталкивая ногой чемодан, Поляна тупо смотрела на землю, закиданную бумажками, битым стеклом, пробками от бутылок.

Неподалёку под ногами прохожих проворно крутилась, ворковала пара белых голубей с грязными крыльями и неопрятными задами. Кто-то бросил непогашенный окурок в сторону ближнего голубя; трепыхая крыльями, он подскочил и жадно клюнул—золотыми зёрнышками полетели искры. Присмотревшись, девушка сообразила: голубь плохо видит—на правом глазу какой-то неприятный бородавчатый нарост. Полянка вздохнула, вспомнив голубятню в родном селе, Олежку Мукосея, свистящего соловьём-разбойником, чтоб вертуны и дутыши в небесах исполняли «концерт»…

Настроение портилось. Поляна скисала. Изумрудинки глаз потускнели. Забывая двигаться «в час по чайной ложке», Полянка вдруг сильно-сильно затосковала по дому. Потом спохватилась. «Эх, ты! Прошло всего лишь каких-то пять часов, а ты уже схлюздила… А как же ты будешь учиться?»

Печальные эти раздумья прервал чей-то весёлый, вкрадчивый голос.

—Девушка! А девушка!

—А?—Полянка очнулась и поспешно добавила:—Я вот за этой женщиной. Я тут уже давно…

Перед нею стоял симпатичный худощавый парень в джинсовой куртке. Золотая цепочка с крупнозернистыми звеньями блестела на длинной шее с треугольным кадыком.

—Я говорю, вам билетик не нужен?

—Куда? Какой билетик?

—На электричку, конечно. Не в Большой же театр.

—А что? У вас лишний билетик?

—Я другану купил,—худощавый симпатяга улыбнулся,—а он торопится, уехал на такси.

—Деньги, видно, некуда девать,—ответила Полянка.—А ваш билетик скоко?

—Да так же, как в кассе.—Парень снова улыбнулся.—Ну так что? Берёте? А то в этой очереди состариться можно…

Посмотрев на толкучку возле окошечка кассы—да там ещё без очереди лезли,—девушка достала кошелёк из сумочки.

—Ну, давайте. Скоко?

—Вам со скидкой можно,—ответил худощавый.—За красивые глаза.

Полянка нахмурилась:

—Ой, ну только давайте без этого…

Парень шутливо руки поднял вверх:

—Понял. Сдаюсь. Ну, держите билет.

—Спасибо.—Поляна подхватила чемодан.—Погодите! А где электричка-то?

—А их тут сразу две,—ответил парень, показывая на перрон.—Вот эта, которая справа, она пойдёт минут, наверно, через сорок. А которая слева—минут через пять. Я смотрю, чемодан-то тяжёлый. Если хотите, так помогу.

—Нет, не надо, я сама.

—Ну, тогда счастливо!—Отвернувшись, парень как-то странно скосоротился и, довольный чем-то, сам себе охально подмигнул.

Боясь опоздать на электричку, «отходящую минут через пять», Полянка поспешила войти в самый первый вагон.

Здесь было почему-то малолюдно (хотя у кассы давка). Желтоватым снопом в крайнее окошко падал свет—пылинки лениво кружились. Солнечный заяц врастяжку лежал на полу—между деревянными сидениями, исцарапанными, исписанными всякой похабщиной.

Несколько парней сидели неподалёку от распахнутой двери, непринуждённо курили, размашисто играя в карты. Вскинув глаза на Полянку, парни молча переглянулись и тут же снова взялись картами хлестать. А потом один из них—рыжеватый, узкогрудый—медленно поднялся, причесал хохолок, пучком заржавелой соломы торчащий на макушке. Плутоватые глаза его—цвета плевка—весело прищурились.

—Дама!—провозгласил он, бросая карты на сидение.—Козырная дама!

—Таких тут ещё не было. Б… буду!—воскликнул кто-то за спиною рыжеватого.

—А можно без «б»?—остановившись, строго попросила девушка.

—Можно,—согласился рыжеватый, приглашая широким жестом.—Прошу! Проходите, мадам!

—А почему тут курят?—продолжала строжиться Поляна.

—А мы больше не будем,—пообещал рыжеватый, оглядываясь.—Братан, кончай курить. Иди и выбрось.

—Один момент,—с наигранной покорностью ответил «братан»—темноволосый, темнокожий плечистый крепыш.

Он прошёл мимо девушки в тамбур и перед тем, как выбросить окурок, воровато посмотрел по сторонам.

Возвращаясь, тот «братан» остановился за спиной Полянки и вдруг одной рукой зажал ей рот, а другою обхватил за шею. И тут же—быстро, молча—к ней подскочили два коротко стриженых парня.

Широко и дерзко ухмыляясь, они—словно бы железными клещами—стиснули руки и ноги Полянки.

Сердце больно ёкнуло, и всю её—с головы до ног—будто кипятком ошпарили. Краснея от натуги, от стыда и страха, она пыталась вырваться, кричать, раздувая чуть побелевшие крылья горделиво вздёрнутого носика. Но вместо крика раздалось только приглушенное мычание, похожее на мычание той обречённой телушки, которую отец зарезал из-за денег на Москву

—Живее!—приказал рыжеватый.

Полянка ощутила невесомость—дюжие парни подняли её как пушинку. Лёгкий подол, усыпанный ситцевым горошком, колоколом вздулся и упал на грудь, где отчаянно-гулко забилось заполошное сердце.

В диком ужасе округляя глаза, Полянка, точно в бреду или в кошмарном сне, вдруг ощутила, как с неё «сами собой» поползли новые синие трусики.

—Гляди, чо тут!—раздался хохоток.—Карман!

Лопнула резинка, обжигая ляжку, задрожавшую неудержимо сильной нервной дрожью. Полянку придавили к затоптанному полу. Рыжеватый, склоняясь над ней, запыхтел, торопливо рассупонивая брюки.

…Крестьянская эта привычка — всегда и на всём экономить — когда-нибудь может ударить, да так, что и костей не соберёшь. Привык Ефим Демидыч к своей старенькой двустволке «эпохи Бородинского сражения». Привык, хотя она давно уже капризничала, переставая быть надёжною кормилицей — то зубами клацнет вхолостую, то пулю плюнет в сторону. Это ещё ладно, если ты пальнёшь мимо сохатого, глухаря или зайца. А если медведь повстречается? Тут за промашку запросто можно башкою своей заплатить.

Заменить нужно было ружьё — кровь из носу. И вот здесь-то у него, рачительного хозяина, возникал соблазн приобрести не «что-нибудь да как-нибудь», а подкопить да купить такое оружие, чтобы зубы ломило от зависти у мужиков, которых повстречает на охотничьей тропе. Подобные ружья Зарубин встречал у городских толстосумов, в тайгу приезжавших жирок растрясти. Это были, конечно, дорогие игрушки. Вот, скажем, «Блейзер 375» для охоты на крупного зверя — двенадцатый калибр, оптический прицел. Или «Браунинг Гольд» для охоты на утку, десятый калибр. Да мало ли теперь стволов на загляденье…

Сидя возле окошка, вспоминая чужие хорошие ружья, Зарубин ремонтировал своё, захудалое. Пружины проверял на курках, ружейным маслицем затвор подкармливал. Потом загнал патрон, подумал, глядя за окно: «Пойти за огород, проверить».

Шаги в сенях заслышались.

Гена Хохряков, сосед, без стука ввалился в избу, забывая здоровкаться.

— Фимидыч! — громко позвал, переводя дыхание. — Там это… из Москвы. Щас будут перезванивать…

(Хохряков одним из первых телефон провёл себе, потому как работал «связистом» — ямы копал для телеграфных столбов.)

— А кто там? Поляна? — Ефим Демидыч встал из-за стола. — Уже прилетела? Во техника пошла, да, связист?

Молчком развернувшись, угрюмый сосед оставил за собою дверь нарастопаху.

«А чего это он?»

Зарубин застыл на мгновенье. Забывая спустить курок, прислонил ружьё к стене и следом двинулся. Половица пискнула под сапогом, прогнулась, и двустволка, покачнувшись, упала. Жёлто-красная молния хлестанула вдоль пола — по избе прокатился громоподобный раскат.

Чёрный кот, ощетинившись, из-под кровати кинулся на шторку — думал в форточку выпрыгнуть, но там оказалось закрыто. Когтями царапая штору, кот зашипел, ощериваясь и полыхая дикими глазами.

Содрогнувшись на крыльце, Хохряков в избу метнулся.

Голубовато-серая стена возле стола по-над полом была разворочена дробью — дырявая дранка виднелась, бревно со смолистым потёком.

Пороховой дымок синё пластался в комнате.

Подняв ружьё, Зарубин матюгнулся сквозь зубы:

— Когда надо, мать его, так не стреляет!

Он поставил двустволку за печь.

Побледневший сосед неожиданно сделался нервно-весёлым.

— Фу ты, чёрт! — вздохнул он, когда вышли за калитку. — А я подумал, ты застрелился!

Остановившись, Зарубин посмотрел на крепкий, будто салом свинячьим заплывший затылок «связиста».

— Чо ты буровишь, хряк?

В другое время Хохряков наверняка бы рассердился, но теперь только сплюнул под ноги.

— Иди! — поторопил. — Там трезвонят уже…

Ефим Демидыч трубку взял, послушал и медленно поехал спиною по стене, собирая сухую извёстку. Сел рядом с табуреткою — на пол. Минуты две сидел, окаменев. Не моргая, смотрел на потёртую шляпку гвоздя, слабо сверкающую кровью закатного солнца. Будильник на трельяже кузнечиком постукивал, отмеряя какое-то новое время; Зарубин очень остро вдруг почувствовал — жизнь переломилась пополам.

— Связист! — заговорил он глухо, как из погреба. — Водка есть?

Хохряков самогонки принёс.

— А чо там такое-то? — Хохряков кивнул на телефон.

Глядя на свой дом, видневшийся в окне, Ефим Демидыч попросил:

— Ты моей-то ничего не говори. Я сам потом…

Приподняв стакан с «надкушенным» закрайком, Зарубин понюхал пойло, шевеля ноздрями, и неожиданно поставил на середину стола — припечатал донцем так, что брызнуло на скатерть.

— Деньги есть? — напряжённо спросил.

Сосед хотел выпить. Рука со стаканом застыла возле раскрытого рта.

— Много надо-то?

— Много. Мы же всё подскребли, провожая…

Шумно выдохнув через плечо, Хохряков всё же выпил. Захрустел огурцом.

— Много нет, Фимидыч, извини. А чо случилось-то?

Зарубин поднялся. Опять посмотрел за окно. Вечер был ветреный, не по-летнему зябкий, кроваво-красный в полнебосвода.

— Давай скоко есть. Я верну.

— Ну о чём разговор. А то врезал бы малость?

Зарубин молча деньги взял, молча пошёл к двери.

— А ты… — Он остановился на пороге. — Ты не знаешь новый адрес Лёньки-Ледокола?

— О! — хмелея, хмыкнул «связист». — Это идея! Говорят, он неплохо устроился в городе, возит какую-то шишку.

В тот вечер Зарубин как можно спокойней соврал жене, будто на реке вдруг объявилась рыбоохрана, и ему надо срочно в тайгу — снимать потаённые снасти. Вернётся не скоро. Денька через три.

Из-за нехватки денег до Москвы добираться пришлось на грузовом самолёте, похожем на неуклюжего мастодонта, чудом отрастившего крылья, мерцающие алюминиевой чешуёй. В просторном и прохладном брюхе «мастодонта» были валом навалены картонные коробки, жестяные ящики,

грубой материей обшитые тюки, спальные мешки, переносная радиостанция, скрученные палатки и солдатские котелки, в полумгле напоминающие новенькие солдатские каски.

«Летающий склад!» — озираясь, подумал Зарубин, а немного позднее припомнил: командир самолёта сказал — это гуманитарная помощь для далёкой какой-то заморской страны.

Добрые мы люди, спасу нет! Вечно мы кому-то помогаем, последнюю рубаху отдаём с плеча — будто лишнюю барскую шубу. А нам-то кто когда поможет? Нет? «Россия, нищая Россия!» — неужели это клеймо поэта оказалось пророчески-вечным? И не хотелось бы верить, но годы проходят, десятилетия, меняются флаги, правительства; всё громче и всё краше — едва ль не на каждом углу — горлопаны кричат о процветании державы. А на самом-то деле что мы имеем? Да если бы те сумасшедшие деньги, которые «добренькое» наше государство широко швыряет направо и налево, забывая о своём народе, влачащем жалкое существование, — да если бы хоть половину тех денег отдать на процветание своей страны — тут и зимой бы цветы зацветали и соловьи бы не затихали.

Во время взлёта, когда всё кругом дрожало и шаталось, один из ящиков разбился и приоткрыл тёмную пасть, сияющую зубами-гвоздями; на пол просыпались охотничьи ножи, складные вилки, ложки, причудливые спички в палец толщиной, способные гореть не только в сырую погоду, но и под водой.

Покосившись по сторонам, Зарубин взял охотничий нож, засунул за голенище. И тут раздался голос, заставивший вздрогнуть:

— Ну как вы тут? Освоились?

Перед ним, сверкая галунами под потолочной лампочкой, стоял моложавый командир самолёта — Илья Светлаков.

— Угу!.. — откликнулся Зарубин, не глядя в глаза командиру. — Освоился…

Замечая бледность на его лице, Светлаков озаботился.

— Вас не тошнит?

— Да ну! — Зарубин зубы стиснул. — Чо я, баба на сносях?

Командир усмехнулся:

— Самолёты, значит, нормально переносите?

Теперь Ефим Демидыч усмехнулся, подбородком кивая вверх.

— Такой, пожалуй, перенесёшь! Сколько в нём тонн?..

Светлаков ответил, но из-за гула в грузовом отсеке Зарубин не расслышал, однако согласно покачал головой:

— Ого! Это чо же — «Антей»?

— Ну что вы! Ему до «Антея» — как пешком до Луны. — Командир, улыбаясь, посмотрел в иллюминатор, за которым катилась предутренняя прозрачно-синеватая луна. — Хотя машина классная, грех жаловаться… Я что пришёл? Вы как насчёт покушать?

И опять Зарубин не расслышал из-за громоздкого гула.

— Ась? — прокричал, наклоняясь.

— Не проголодались, говорю? А то прошу в кабину, угостим. Вы даже выпить можете. Нам-то нельзя. За рулём как-никак. — Светлаков засмеялся, влажнея глазами. — А вам накатим грамм сто пятьдесят.

Отрицательно покачав головой, Зарубин покосился на голенище. Ему, никогда и ничего чужого не бравшему, было мучительно стыдно перед добродушным командиром, на свой страх и риск пустившим постороннего на борт. (Только потому, что за Фимидыча похлопотал один хороший человек, близкий друг Светлакова.)

— Ну, идёмте, — настаивал командир. — Там всё готово.

Зарубин засмотрелся в иллюминатор.

Интересно то, что когда взлетели и всё под крылом постепенно сделалось игрушечно маленьким — нитки дорог и высотные здания города, рассыпавшегося в предгорьях, деревья и старые избы, прилепившиеся возле реки, — тогда и горе в душе Зарубина стало будто бы меньше, давая возможность дышать посвободней.

Поддёрнув голенища, он пошёл за командиром, с непривычки пошатываясь «в воздухе».

Ещё вчера кабина самолёта — диковинная штука — наверняка удивила бы Ефима Демидыча, но сегодня, при полной подавленности, отметил он только одно: в грузовом отсеке стоит кошмарный гул, прохлада, а тут, в кабине, — тихо, тепло, светло и муха не кусает. Мерцали многочисленные лампочки приборов, разноцветно светились круглые щитки с непонятными буквами, цифрами.

— Тут не курят? — Он пошевелил ноздрями.

— Вы сначала поешьте, — пригласил командир.

«Вот настырный какой!» — Зарубин через силу затолкал в себя что-то съестное, не понимая, что это, и совершенно не чувствуя вкуса.

Светлаков, будто зная, что творится на душе человека, говорил как-то вкрадчиво, мягко:

— В Москве-то всё дорого. Подкрепитесь. У нас, конечно, скромно. Фрикасе из соловьиных языков не подают.

— Кого не дают?

Светлаков негромко засмеялся. Показал на помощника.

— Штурман байки рассказывал, как наши новоиспечённые буржуи любят куражиться. Фрикасе какое-то из соловьиных языков изволят жратеньки.

— Так точно! — подтвердил кудрявый штурман с поднебесно-синими глазами. — Сам, правда, не видел, но читал.

— Во собаки! — Светлаков губы вытер салфеткой. — Это сколько ж надо угробить соловьёв, чтобы одно блюдо приготовить?

— Мало не покажется, — прикинул штурман, щуря левый глаз.

— А стоит сколько? Фрикасе это хреново…

— Не ел, не знаю. — Штурман пригладил бакенбарды, взъерошенные наушниками. — Нашей зарплаты, однако, не хватит.

— Да уж! — Командир машинально посмотрел на приборы. — В Европе, между прочим, наши братья лётчики за год зашибают в среднем по двести тысяч долларов.

— Да ну?— не поверил штурман, делая гримасу дурака.

— Американцы,— продолжал командир,— те вообще по миллиону в год получают. А мы? Двадцать пять, от силы тридцать тысяч зелёных…

Зарубин выпил минералки. Утираясь рукавом, икнул, глядя вперёд, и наконец-то крепкими зубами ухватил «беломорину», изменяя своей многолетней привычке— оторвать половину бумажного мундштука.

Багряный рассвет разливался— по курсу.

Ефим Демидыч высмолил две папиросы кряду и пожалел, что свалял дурака, отказавшись от выпивки. «Надо было немного принять, а то вон уже руки трясутся…»

За эту ночь у мужика седых волос прибавилось, погасшие глаза ввалились, щёки тоже впали, обозначив каменные скулы. Бледно-сизые губы— и так-то нетолстые— совсем истончились. Он плохо слушал. (Слушал, но не слышал.) Замедленно соображал. Всё происходящее сегодня представлялось диким сном. Вчера ещё (а кажется, много лет назад) провожал Полянку в аэропорт, кругом было задорно, солнечно, а вот сегодня…

— На грозу идём, ребята!— Светлаков глазами показал на мрачный горизонт.

Отвлекая себя от печальных раздумий, Зарубин спросил:

— А скоко там, под нами?

— Высота?— Командир пощёлкал ногтем по высотомеру.— Десять тысяч метров.

— А температура?— Ефим Демидыч посмотрел на боковое стекло, прихваченное стылым серебром.

— Минус пятьдесят. Как на Севере.— Светлаков посмотрел на приборы, за наушниками потянулся.— Я вот родился в Якутии, на Алдане. Мамка с папкой там алмазы добывали. Так у нас, бывало, как придавит— стёкла в окошках лопались, ей-богу…

Рассветное зарево, кроваво разгоравшееся по курсу, затягивали облака и тучи. Внезапная молния вдалеке злыми зигзагами распарывала небо, кинжально втыкалась куда-то— за чертой горизонта.

Сбавляя разъярённый, звероподобный рёв, с приглушённым стуком выпуская резиновые лапы, самолёт пошёл на посадку.

Белоснежными овцами облака побежали навстречу, разрываясь под крыльями и обволакивая фюзеляж. В кабине в эти мгновенья становилось мрачновато, тревожно. Рваные тени метались по лицам пилотов.

Расплывчатая, мутная земля приближалась, твердея. И всё, что там, внизу, минутами назад ещё было окутано дымкой и тайной,— всё это с неумолимой быстротою надвигалось, разрасталось, приобретая размеры и очертания жёсткой реальности.

Утреннее солнце над Москвой не могло прорваться сквозь грозовой заслон— раздавленным яичным желтком проступало и вновь пропадало. Вверху погромыхивало, будто на крышах высотных зданий— то вблизи, то вдали— ветер срывал жестяное покрытие.

Понуро постояв у телефона-автомата, Зарубин зубы стиснул. «Деловая, сука!» Озлобился.

Эльвира Давыдовна была занята— не дозвонишься. Секретарша холодно выпытывала, кто её спрашивает, и всякий раз спокойно отшивала, говоря, что сегодня у Иваницкой очень напряжённая программа: заседание, совещание; так что лучше завтра позвонить, а ещё лучше так послезавтра.

Домашний телефон её помалкивал.

«Прячутся, курвы!— сделал вывод Зарубин.— Ладно, хоть сообщили…»

Он показал прохожему бумажку с адресом больницы.

— Как туда проехать? Не подскажете?

— Я не здешний,— мимоходом пробурчал прохожий.

Зарубин остановил другого— и опять нарвался на нездешнего.

Обалдело покрутив головой, он ещё больше насупился. «А здешние-то, где они?»

И наконец-то согбенный старик с пучком подстриженной бородки, с тросточкой уверенно сказал, куда и как проехать.

Зарубин пошёл на метро, издалека напоминающее воронку, в которую засасывало чёртову уйму людей.

Суета, шум и гам вокруг «воронки» нарастали. Запахло овощами, фруктами— рынок находился неподалёку. Мальчишки, воробьиной стайкой пролетевшие мимо него, матюгались как заправские мужики. Молоденькие девушки и женщины курили, сидя за стёклами кафе или за стёклами проезжающих иномарок. И там, и тут на рекламных плакатах красовались: водка, пиво, сигареты. Иногда на рекламах был виден Гермес, бог торговли с крылышками на обуви. (Но, кроме того, бог воров и жуликов, о чём постарались «забыть» современные люди или, может, не знают.)

Весёлая, разбитная джаз-банда, с утра пораньше расположившись в пыльном подземном переходе, наяривала так, что уши затыкай. А дальше, за углом, пожилой мужчина в потёртом концертном фраке, в лакированных туфлях играл на скрипке, встряхивая редкой паутиною волос.

Вынырнув из подземного перехода, Ефим Демидыч снова натолкнулся на людей искусства: кто-то пел, кто-то играл, положив под ноги шляпу или раскрытый футляр от своего инструмента.

Остановившись на минуту, Зарубин невольно прислушался к песне; вдруг показалось, Полянка поёт. Он подошёл поближе. Пела высокая ширококостная баба, раскрашенная как матрёшка, одетая в старинный русский сарафан. «Дылда!— направляясь дальше, с неприязнью думал он.— Тебе только брёвна ворочать на лесосеке!»

Любители делать деньги из воздуха попадались на каждом шагу. Молодая цыганка попробовала остановить «брильянтового», безошибочно определив человека, прибитого горем. Но «брильянты» потемневших глаз Зарубина вдруг полыхнули с такою неистовой силой— цыганка подавилась болтовнёй и отошла.

Неподалёку от входа в метро «лохотронщики» стригли купоны, ловко играя на жадности и глупой

уверенности человека в свою везучесть; продавались лотерейные «беспроигрышные» билеты, один из которых Зарубину почти силком навяливали. Отмахнувшись, он выбил «счастливый» билет из руки продавца и пошёл, осыпаемый бранью того, кто минуту назад обещал осыпать миллионами.

Эскалатор, напоминающий язык фантастического животного, потащил Зарубина в подземную утробу. И чем глубже он спускался, тем тяжелее становилось дышать, хотя кругом ходили токи воздуха — полумёртвого воздуха, прокрученного через вентиляцию.

Метро показалось огромным, глубоким, богато отделанным склепом. И люди здесь были точно «живые покойники»: с книжками, с газетами в руках каменно сидели на скамейках или торчали стоймя, стеклянно вперившись куда-то в пустоту цивилизованной преисподней.

Разглядывая незнакомых людей, Зарубин обращал внимание на молодёжь, на сверстников Полянки. И чем больше присматривался, тем сильнее приходил в смятение — от немыслимых причёсок, от «боевой» раскраски и татуировок, от браслетов с черепами, от поясов с какими-то бренчащими бляхами-мухами. Временами трудно было парня от девки отличить: одинаково подкрашенные глаза, длинные чёрные чёлки; проколотые губы, носы и языки, где сверкали серёжки, — идиотский пирсинг. Были здесь, конечно, и вполне приличные ребята, но в глаза бросались только выродки…

Разыскивая больницу, он заблудился в каменных дебрях. Сначала попал на помойку, в которой копался неплохо одетый мужчина. Из-под сапог Зарубина шумно взлетели вороны, разметая крыльями рваные бумажки и луковую шелуху, — загорланили, рассаживаясь на ближайшем тополе, из которого торчала пятерня кривых засохших веток. Потом он угодил в тупик — железобетонный высокий забор был исписан, изрисован грамотеями и художниками. Не привыкший отступать, он хотел сигануть через забор, но увидел кружево колючей проволоки — на верхотуре. Постоял, уныло глядя по сторонам, глазами вляпался в дерьмо и, сплюнув, пошёл назад. Драная тёмная кошка с белым голубем в зубах пробежала под ногами Зарубина — голубь трепыхался, перьями сорил…

Больница была уже — вот она, рукой подать, но пробраться к ней через лабиринты гаражей и складских помещений не представлялось возможным.

Дождь, собиравшийся пойти, так и не мог насмелиться, только ветер усилил свой тонкий, противный скулёж в проводах и деревьях.

Пробившись наконец-то к желанному крыльцу, Ефим Демидыч оробел. Потоптался в нерешительности. Посмотрел на тяжёлую дверь с потемневшей залапанной ручкой. Достал помятый «Беломор», а в пачке — пусто.

Неподалёку стоял киоск. Купив папиросы, он жадно покурил, поглядывая на больничные окна с номерами палат, написанными на стёклах.

Войдя вовнутрь, Зарубин сбивчиво забубнил на вахте, кто он такой и что надо.

— Отец? — переспросила пожилая, толстая вахтёрша. — А документы есть?

— Угу… — Он расстегнул булавку на нагрудном кармане. Протянул потёртый паспорт с надломленным уголком.

Медлительная, сонная вахтёрша пухлой рукою трубку подняла, подобострастно поговорила с кем-то.

— Можно, — кивнула она, — идите вон туда, потом налево.

Крепко запахло лекарствами, немощью.

Зарубину выдали старый халат с бурым пятаком засохшей крови, прилепившейся на уровне сердца. Повели по длинному пустому коридору — мимо каталок, носилок, прислонённых к стене.

Из кабинета, постукивая каблучками, вышла медсестра в белоснежном халате и ослепительно-белой крахмальной шапочке. Чёрные глаза её — на белом фоне — выглядели как-то жутковато.

Помолчав, медсестра оглядела Зарубина.

На нём была сатиновая серая рубаха с нагрудным карманом, застёгнутым на булавку. Тёмные брюки с пузырями на коленках. Старые, но прочные пока что сапоги.

— Только недолго! — предупредила медичка, приподнимая указательный палец, мерцающий маникюром.

Возле двери в палату Зарубин задержался. Вспотевшие руки отёр о халат. Сердце сжалось, а потом запрыгало, больно шарахаясь в рёбра.

Палата была сиротская, второсортная — сразу понятно. Казёнщина, прохлада, неуют и неустроенность сквозили отовсюду. Ремонта здесь давненько уже не делали из-за отсутствия денег. Штукатурка мелкой оспой облупилась на одной стене, краска на полу облезла, вышарканная больничными тапками. Между оконными рамами — кучками сухого пожелтевшего творога — виднелась вата, наложенная с прошлой или позапрошлой осени, когда к зиме готовились.

Напоминая мёртвую, бледную старушку, Полянка лежала на кровати, скрестивши руки под простыней на животе. Закрытые глаза её дрогнули от лёгкого скрипа двери. Отстранённый взгляд упёрся в потолок.

— Доча! — позвал он.

Поляна молчала.

Потревоженная муха закипела где-то в углу за шторкой.

Зарубин подошёл поближе, стараясь не греметь сапогами. Разглядел припухшую нижнюю губу, синяк на горле и неглубокий, но отчётливый укус — красно-ржавая подковка от зубов. Проколотые уши у Полянки была пусты; самые лучшие серьги надела перед поездкой — папкин подарок.

Он снова попытался с нею поговорить, но бесполезно. Не поворачивая головы, дочь посмотрела мимо него. Потом моргнула. Взгляд её — тускло и тупо — упёрся в Зарубина. Дочь как будто узнала его, хотя и не сразу. В ней что-то шевельнулось — в глубине души. Полянка часто-часто заморгала. Дрожащая слезинка протопилась между ресницами, блеснула, витиевато покатившись по щеке, и пропала, впитавшись в подушку.

За эти несколько минут, пока Ефим Демидыч истуканом стоял в изголовье, многое вспомнилось. Как тяжело ему с женой досталась дочь (хотели делать кесарево сечение). Как часто Полянка болела, особенно в первые годы. Как однажды чуть не утонула на реке — в полынью провалилась, играя за огородами.

Вспоминая ту полынью, куда он бросился прямо в телогрейке и сапогах, Зарубин ощутил такой озноб — зубы стали мелконько приплясывать, и серая небритая щетина вздыбилась репьём, как на морозе.

А медсестра тем временем шуршала по-над ухом:

— Хватит! Ей нужен покой!

И вновь они пошли по длинному пустому коридору, похожему на тюремный, только пахнущий лекарствами. Остановившись у окна, потолковали тихо, как заговорщики. Медсестра поведала ему всё, что знала по этому «делу». В больницу Полянку привезли супруги Иваницкие. Они нашли её в аэропорту на перроне, с которого отходят электрички. Полянка только плакала и ничего — ни слова — не могла сказать.

— Голос у неё пропал, — пояснила медсестра, крашеным ногтем потрогав своё светлокожее горло.

Зарубин выпучил глаза с кровавыми белками:

— Как это — пропал?

— Ну, так… — Медсестра руками развела. — Мы сколько ни пытались её разговорить — не получилось.

— Да ты… Да вы что? Как же так? Почему?..

— Не знаю. Доктор говорит, на нервной почве.

— А он вернётся?

— Доктор? Да, он скоро… Он вам лучше объяснит.

Зарубин полыхнул глазами:

— Голос! Голос, говорю, вернётся?

Медичка пожала узким плечом:

— Скорей всего…

Зарубин засопел:

— Чо «скорей всего»? Да или нет?

— Доктор сказал, что вернётся. — Медсестра прижала руку к нагрудному карману, из которого торчала ручка и какой-то больничный бланк. — Вы извините, мне пора, моё дежурство кончилось. Если хотите дождаться доктора, можно посидеть вот здесь.

— Да нет, лучше на улице…

Он пошёл, глядя под ноги. Мутное солнце тужилось прорваться сквозь тучи — жёлтые пятна жуками ползали по стенам коридора, бабочками порхали по полу.

Медсестра догнала его — уже почти на выходе.

— Я вот что забыла сказать! — Она слегка запыхалась. — У меня был дед глухонемой…

— Причём здесь дед?

— Нет, нет, вы не дослушали. Я умею читать по губам. Понимаете?

— Да ни черта я не понимаю! — сдержанно признался Ефим Демидыч. — Чо вы башку мне морочите с дедом своим, с какими-то губами…

— Я говорю про губы вашей дочери. — Медсестра пальцем потыкала вверх. — В беспамятстве она — одними губами — шептала буквально следующее: «Электричка отходит минут через пять! Электричка отходит минут через пять!..»

Он подождал. Нахмурился.

— И всё, что ль?

— Всё.

— Негусто.

Сутуля широкую спину, Зарубин вышел.

В голове гудело от прилива крови. Гром, погромыхивающий над Москвой, молотком отдавался в висках. Ефим Демидыч морщился, когда над головой трещало и рвалось грязно-серое небо. Резкий ветер, пахнущий больницей, плескался в лицо. Высокие кривые тополя, чем-то хворающие, были точно поточены молью — они уже роняли первую листву, напоминающую кроваво-ржавые жестянки, со скрипом рассыпавшиеся под сапогом. А через минуту вверху так шарахнуло — будто землю из-под ног пытались вырвать.

Грузовой «мастодонт», на котором прилетел Зарубин, приземлился в аэропорту Шереметьево. Туда он сейчас и поехал, сам ещё толком не зная — зачем.

Понуро глядя на мелькавшие дома, на шумные проспекты, улицы, Ефим Демидыч осознавал, насколько это нереально и даже глупо — искать иголку в стоге сена. И в то же время остановить себя, охладить закипевшее сердце — это было выше его сил.

Уже на подъезде, когда завиднелись шереметьевские ангары и здания аэропорта, Ефим Демидыч спохватился. «Стоп! Куда я попёрся? Пассажирские самолёты садятся в этом, как его… в Доме… дедовом».

Ругая себя за растрату денег и времени, Зарубин поехал в Домодедово, снова кружа и петляя по столичным дорогам. Смотреть на бесконечное мелькание за окнами было уже невыносимо. Он закрыл глаза, хотел вздремнуть, но где там: натянутые нервы не давали, да к тому же всякий музыкальный мусор из динамика сыпался в уши — то свистели, то ревели, то стонали голосом кастрата.

Оказавшись в Домодедово, он пришёл на перрон, где стояли две одинаковых электрички. Челноком походил — от одной до другой. Потоптался. Вошёл в переполненный душный вагон. (Вторая электричка была пустая.)

— А когда отходит? — спросил Ефим Демидыч у кого-то, стоявшего в тамбуре.

— Минут через пять. — Ответ прозвучал, будто отзыв на странный пароль.

Сердце отчего-то ёкнуло.

Он постоял, подумал: «Ну? И чо дальше-то?»

А люди всё спешили, всё заходили в тамбур, тяжело протискиваясь. Зарубин уже ощущал чьи-то железоподобные локти у себя под боками, под животом. Кто-то с похмелья в затылок дышал. Кто-то спешил покурить напоследок, едва не растрясая папиросный жар за шиворот Зарубина. Потом в репродукторе кто-то неразборчиво что-то прохрипел — и двери закрылись. Электричка, отъезжая, дёрнулась.

Спохватившись, Зарубин сорвал стоп-кран, оказавшийся под рукой, бесцеремонно растолкал людей, как брёвна, и, осыпаемый руганью, выскочил на перрон.

Электричка взвизгнула сердитой фистулой и дальше покатилась.

Посмотрев на пуговку, выдранную с мясом на груди, Ефим Демидыч пальцами проверил документы и деньги, пришпиленные булавкой в кармане.

Не зная, что делать, куда себя деть, он медленно прошёлся по перрону. Свернул ко второй электричке. Постоял возле вагона, заглянул — там пусто. Опустившись на крайнюю лавку, исписанную то ли ножом, то ли гвоздём, он закрыл глаза, тоскливо думая, как хорошо бы сейчас заснуть, а когда проснёшься — будешь дома, и вся эта Москва, и вся беда окажутся не более чем сон…

Прислонившись горячим виском к прохладной какой-то железке вагона, Ефим Демидыч слышал, как сердце дёргается где-то в глубине, гоняет кровь с таким тугим напором, что голова подрагивает.

Он вышел из вагона, подумал, озираясь: «В больницу надо ехать, забирать Полянку — и домой…»

Но что-то не давало, не отпускало — ехать.

Слоняясь по аэропорту, разглядывая грандиозное здание, похожее на муравейник из стекла и бетона, Ефим Демидыч всё острее и всё горше осознавал бессмысленность своей затеи — найти обидчиков. Да где же тут, да как же тут найдёшь? Нет, чёрта с два! Столько людей повсюду копошится: кто прилетает, кто улетает. Неудержимый пёстрый водоворот раза два подхватывал Зарубина, как щепку, и с невероятной лёгкостью уносил туда, куда он вовсе и не думал уноситься.

«Дурдом какой-то!» — сердился он, с трудом вырывая себя из потока и расправляя «скомканные», сдавленные плечи.

Отыскавши тихое местечко, он стоял, курил, соображая: «Почему Полянка про электричку что-то говорила? А может, вовсе и не говорила? Мало ли что медсестре померещилось. Дед у неё был немой! А с другой стороны — Иваницкие, они ведь на перроне дочку-то нашли…»

И опять он пошёл на перрон, угрюмо рассматривая скопище разнообразных людей и неприятно поражаясь тому, как сильно оголилось подрастающее поколение. Оголилось так, что дальше некуда. Там, в глубинке, теплился ещё, был жив хоть какой-то стыд и страх, но здесь — как будто упразднили за ненадобностью.

Под ногами темнело. По низкому чёрному небу чиркали белые молнии. Гром гулял поблизости — раскатывался ружейным эхом. Капли дождя, похожие на крупнокалиберную дробь, только что отлитую, ещё не затвердевшую, сверкая, разбивались на перроне, на крыше пустой электрички. Под ветром, заунывно засвистевшим, с насиженного места поднимался мусор. Гроздьями откуда-то срывались воробьи, шумно пролетали над вагонами. Зонтики зацветали уже там и сям — большими цветами.

Зарубин хотел закурить, но капля дождя тюкнула прямо по спичке. Он отвернулся от ветра и снова хотел прикурить. И вдруг увидел юную красавицу в белой кофте, в красной юбке. (На Полянку похожа была.) Рядом с ней шагал парень в джинсовой куртке с золотой крупнозернистой цепочкой, ошейником блестящей на худосочной длинной шее с треугольным кадыком. Парень что-то говорил с улыбкой.

— Другой электрички не будет часа полтора, — услышал Зарубин. — А эта минут через пять отойдёт.

— Вот спасибо! — ответила девушка.

— На здоровье! — Парень отвернулся и неожиданно состроил какую-то странно довольную рожу.

Ефим Демидыч насторожился.

Улыбаясь, девушка с лёгкой дорожною сумкой вошла в первый вагон. И тут же на ступеньке показался коротко стриженый темноволосый крепыш, воровато посмотрел по сторонам и скрылся.

Сердце Зарубина дрогнуло. Он тоже посмотрел по сторонам.

Милиционер щеголевато вышагивал по перрону, глядя поверх электрички, где собиралась гроза. Не доходя до первого вагона, страж порядка остановился. Играючи — с носка на пятку — покачавшись на сверкающих ботинках, милиционер пошёл назад.

Ничего особенного в этом не было, но… что-то странное почудилось вдруг в поведении молодого мильтона. У Зарубина возникло ощущение, как будто он, блюститель, нарочно отвернулся именно тогда, когда парень плутовато зыркал по сторонам.

Ефим Демидыч был тугодумом, а в тот день так и вовсе с головой было туго — после бессонной ночи, после перелёта, после посещения больницы. Но дело-то даже не в этом. Просто ему даже в голову прийти не могло, что *такое возможно* среди белого дня, среди людного места, на глазах у милиции.

Сообразил Зарубин лишь тогда, когда через две-три минуты из вагона пробкой выскочила вся зарёванная девка. Поправляя помятую юбку, она подбежала, покачиваясь, к милиционеру. Тот привычно взял под козырёк, стал внимательно слушать, но идти к вагону не спешил.

И только тогда осенило Зарубина: эти суки, твари подколодные, которые окопались в вагоне-ловушке, они наверняка отстёгивают деньги милиционеру, чтобы он бессовестные глазки закрывал на то, что происходит на его территории.

Но это лишь догадки. (Зарубину могло ведь просто показаться.)

Стараясь быть непринуждённым, малоприметным, он приблизился к милиционеру и зарёванной, растрёпанной красавице. Делая вид, что отдал кому-то приказание по рации, старший сержант взял девушку под локоток и вежливо предложил пройти в отделение.

— Какое отделение? — всхлипнула красавица, оглядываясь. — Они же там, в вагоне…

— Сейчас туда придёт группа захвата! — заверил милиционер, поправляя фуражку.

В небесах загрохотало.

Зарубин, точно громом поражённый, стоял и смотрел не моргая. И не мог, не мог, не мог поверить, что *такое бывает*…

А в это время в первый вагон электрички вошёл элегантный стройный мужчина в сером костюме. Зарубин замер. Минуты через две мужчина

выскочил будто ошпаренный. Выскочил так, что едва не упал на перрон. Был он багровый, всклокоченный, с надорванным под мышкой рукавом, с галстуком, сбитым на сторону.

И опять в небесах загремело—погромче, поближе. В воздухе, сверкая, замелькали дождинки. Перрон потемнел от разбитых, расплющенных капель. Железные крыши вагонов стали отзываться бойким барабанным боем…

Делая вид, что скрывается от дождя, Зарубин зашёл в первый вагон. Потопал сапогами, отрясая влагу. Опустился на крайнюю лавку.

Беззаботные подвыпившие парни сидели в середине вагона, играли в карты. Все крепкие, добро одетые. Синеватый дымок сигарет пластался над головами, лениво подтягиваясь к выходу.

Некто рыжеватый, узкогрудый мельком глянул на него и, выражая недовольство, глухо что-то прорычал.

К Зарубину подвалил темнокожий, темноволосый крепыш с золотым распятием на мускулистой шее.

— Батя,—спросил он, зажимая карты в кулаке,—далеко собрался?

— До метры́,—нарочито громко отвечал Зарубин.—Во как дождь припустил! Урожай, однако, нынче славный будет!..

Крепыш усмехнулся.

— До «метры́»,—он тёмными глазами стрельнул за окно,—вон туда тебе надо. А этот бронепоезд не пойдёт.

Ефим Демидыч будто расстроился.

— Как—не пойдёт? А мне сказали…

— Тебе сказали, дуй отсюда!—Тёмные глаза прищурились.—Ты что? Глухой?

— Сынок! Да ты чо?—Зарубин поёжился.—Гляди, как там хлещет! В такую погоду хороший хозяин…

Рыжеватый поднялся в середине вагона, узкую грудь почесал.

— Да чёрт с ним!—крикнул.—Иди сюда. Сколько там у тебя получается?

Крепыш возвратился к компании, показал свои карты, затем приглушённо спросил:

— А может быть, тряхнуть его?

— Да ну,—презрительно ответил рыжеватый.—Что ты с него стрясёшь? Хрен да маленько?.. Ты ещё скажи, что надо лишить его девственности!

Парни в вагоне заржали.

За окнами с каждой секундой темнело. Дождь перерастал в яростный ливень, скрученный в виде алюминиевых длинных проволок. Крупные сверкающие капли—будто плоскогубцами откушенные от проволоки—щёлкая, упруго отлетали от стекла, от грязного перрона, по которому уже струились пузырящиеся ручейки, уносящие окурки, пробки, фантики…

Зарубин глубоко вздохнул, как перед тяжёлой работой, делать которую неохота, а надо. Облизнув пересохшие губы, он подошёл к парням. Остановился.

— Чего тебе, дядя?—Рыжеватый, даже не глянув на него, сигарету сунул в зубы.—Ну, братва? Кто банкует?.. Чья очередь?..

— Моя!— вслух подумал Зарубин.

Двумя руками он обхватил рыжеватую голову—за подбородок и вихрастый загривок. Обхватил с такой неимоверной силой, с какою он брёвна волохал на лесосплаве, на лесоповале. Шейный позвонок, будто сухая ветка, негромко хрустнул, когда Зарубин резко повернул вихрастую башку.

Парень моментально побелел. Глаза его—цвета плевка—изумлённо полезли на лоб. Сигарета задрожала и, растрясая искры, выпала из приоткрытой искривлённой пасти. Подсолнухом роняя голову на грудь, рыжеватый—как мешок с отрубями—рухнул к ногам Зарубина.

Картёжники застыли на несколько мгновений. Затем, бросая карты, подскочили, вразнобой матерясь. Плечистый крепыш, обмороженно белея верхушками скул, сунул руку в карман—за ножом.

Проявляя неожиданную прыть, Зарубин руки распахнул и ястребом свалился на него, сграбастал; одна рука схватила за грудки, откуда посыпались пуговки, вторая—за ремень. Свирепо сопя, Ефим Демидыч вскинул этот мешок с дерьмом—сломал через колено и швырнул куда-то в тёмный грязный угол…

Остальных—как ветром из вагона выдуло.

Ослеплённый бешенством, почти невменяемый, Зарубин, пошатываясь, побрёл из вагона…

В лицо ударил ливень, остужая…

Поднявши голову, он постоял, разинув рот, глотая и захлёбываясь небесной водой. Потом пошёл, но вдруг наткнулся на вагон. Кружась на месте, он не мог сообразить, куда идти. Кругом гудели и дрожали струи ливня, похожие на тростниковый лес, в котором он заблудился. Ухватившись рукою за мокрый бетонный столб, оказавшийся на пути, Зарубин согнулся пополам и зарычал, разинув рот,—его тошнило…

Ливень был могучий, хлёсткий, но недолгий.

Мутные лужи, вскипающие пузырями, уже успокаивались. Деревья распрямлялись, отряхивая зеленоволосые косматые головы. Тёмное низкое небо, взбудораженно плывшее над аэропортом, светлело и приподнималось—в чернильно-сизых тучах открывались голубоватые окна. За тёплою туманной пеленой проступали размытые силуэты строений, деревьев, машин. Стая белых голубей, хлопая крыльями, всплеснулась откуда-то с сухого укромного местечка.

Ефим Демидыч руки долго мыл, раскорячившись, над водосточной трубой, из которой хлестало как из брандспойта. (Руки подрагивали.) Он умылся, покряхтывая, шумно попил, обливая рубаху. С трудом распрямившись, потёр поясницу, посматривая по сторонам. Никого рядом не было—люди попрятались от грозы.

Собираясь закурить, Ефим Демидыч сунулся в карман и обалдел: «А деньги-то откуда?.. Столько много!..» Он выпучил глаза, рассматривая крупные купюры.

(Деньги прихватил он у тех подонков, когда покидал электричку; сумка стояла на грязном полу, где валялся рыжеватый чертяка с поломанной шеей.)

Брезгливо морщась, Ефим Демидыч подумал деньги выкинуть и снова руки вымыть, но в это

время неподалёку—между машинами—замаячил красный околыш милицейской фуражки.

Зарубин медленно, точно во сне, подошёл к свободному таксомотору, козонкáми постучал по мокрому стеклу.

—Свободен?—спросил, не узнавая собственного голоса.

—Как ветер!—приоткрывая окно, ответил шофёр.

И опять-таки медленно, будто во сне, Ефим Демидыч сел на заднее сидение. Влажное лицо было багровым. Тёмная промокшая рубаха на плечах и на груди дымилась—как на русской печи. (У него был странный организм: во время сильного переживания температура поднималась до сорока.) Покашляв, Зарубин сказал непререкаемым тоном:

—Ну, гони, коль свободен!

—Далеко?—не оборачиваясь, спросил шофёр.

—До Москвы.

—Москва большая. Вам куда?

—Мне пока прямо, а там будет видно.—Зарубин помолчал, глядя на муху, ползающую по лобовому стеклу.

Шофёр с недоумением оглянулся:

—Ну хорошо. До Москвы так до Москвы. Только деньги вперёд.

Ефим Демидыч протянул сырые мятые бумажки, и водитель, не скрывая удовольствия, врубил мотор. Дворники с лёгким резиновым скрипом поплыли по стеклу в дождевых задрожавших пупырышках. Муха по салону заметалась…

—Откуда будешь, батя?—расспрашивал таксист.—Наверно, с Севера?

—Ну да,—помедлив, согласился Ефим Демидыч.—А как ты угадал?

—Птицу видно по полёту.

—Что верно, то верно!

Если бы водитель раньше знал его, так теперь бы сильно удивился. Всегда монументальный, мрачновато молчаливый Зарубин неожиданно сделался нервно-весёлым, словоохотливым.

—Север—это хорошо,—похвалил таксист.

—Ну, не скажи!—Пассажир насторожённо оглянулся.—Там порою так прижмёт, что ухи в берестяную трубочку сворачиваются!

Шофёр включил фары—косые, редкие дождинки засеребрились перед рылом рычащей машины.

—А откуда с Севера, если не секрет?

Пассажир между бровями поцарапал.

—Да с этого… с Алдана.

—Это где?

—В Якутии.

Такси стало проворно лавировать, пробираясь между другими припаркованными машинами, заполонившими всё пространство перед аэропортом.

—А что там у вас? Золото?

—Алмазы.

—Тоже неплохо. А вот скажи-ка мне, батя…

Зарубин поморщился, пропуская вопрос.

—Башка чо-то гудит,—пожаловался он, двумя руками сдавливая влажные виски.

Водитель на время умолк. Затем пощёлкал пальцем по кадыку.

—Что? Наверно, перебрал?

—Перебрал…—многозначительно ответил Зарубин.

—Так надо было взять пивка.

—Ничего, перебьюсь.—Опять оборачиваясь, пассажир произнёс непонятную фразу:—Сожрать лимон и не скривиться—не всякий может.

—Это как понять?

—Никак! Сам не пойму!—снова как-то двусмысленно проговорил пассажир.

—А ты чего оглядываешься?—заметил шофёр, усмехаясь в зеркало заднего вида.—Там погоня, что ли?

Возбуждённо сверкая глазами, пассажир неожиданно крепко ударил его по плечу:

—Эх! Чудак-человек! Телевизора, однако, насмотрелся.—Он головой кивнул назад.—Там дружки мои, тоже с Алдана.

—Кореша? Ну, всё ясно. А почему же вместе не поехали?

—Места не хватило. Они молодые, собаки. Им ехать кучей куда веселей.—Зарубин похлопал себя по карману.—Ты не куришь, милок?

—Не курю.

—А мне? Дозволишь?

Водитель плутовато покосился в зеркало заднего вида. Поморщил крючковатый нос.

—За отдельную плату,—сказал как будто в шутку и вроде как всерьёз.

—Договорились.—Ефим Демидыч достал помятую, наполовину промокшую пачку.—Покурю да маленько вздремну. Устал. Будто с полем управился…

Дальше поехали молча.

Нервно-весёлое состояние понемногу покидало пассажира. Встопорщенные, коротко подстриженные волосы, подсыхая, опадали на макушке. Рубаха, облепившая грудь, подсыхала. (Но если присмотреться: ниже соска всё ещё заметно было трепыхание—сердце никак не могло опуститься в своё привычное гнездо.)

Закрыв глаза, откинувшись на мягкую кожаную спинку, Зарубин соображал: куда теперь ехать, что делать? «Надо как можно скорее дёргать отсюда!—билось в голове.—Надо было не прыгать в такси, как тот заяц, а пойти узнать насчёт билета. А может, надо ехать на тот аэропорт? В Шире мать его… Ну, то есть Шереметьево. Нет ли там моего самолёта? Да только навряд ли! Они со своим грузом, наверно, за морем уже. Но дело-то даже не в этом… Поляна! С ней-то как быть? Не бросать же волкам не съедение! Надо как-то забирать её! Как?.. Там, конечно, упрутся, хай поднимут. Ей нужен покой. Что же делать?..»

Шуршание шин и гудение ветра за приоткрытым стеклом стало заметно слабее—скорость упала.

—Ну, вот и Москва начинается!—долетел до него голос водителя.—Теперь-то куда?

Пассажир глаза протёр, вздохнул, глядя вперёд, где громоздились до неба плечистые, серые здания, моргающие стёклами, отражавшими свет. Там и тут солнце в лужах вспыхивало—золотыми рваными шляпами подсолнухов. Промокший, нахохлившийся ворон, напоминая помятую шапку, сидел на столбике с километровой отметкой.

— Давай на вокзал! — попросил пассажир.
— На какой? Тут их много.
Зарубин замешкался. Поскрёб затылок.
— Да я уже забыл, — слукавил он. — С какого до Сибири ходят поезда?
Водитель это понял по-своему.
— Редко приходится поездом?
— Редко. — Ефим Демидыч хмыкнул. — Всё больше летаю.
— Деньги есть, так чего не летать, — согласился шофёр. — Мы раньше каждый год с женою пропадали на море. То в Крыму, то в этом, в Калининграде.
Сухие проплешины стали попадаться на пути. А дальше и вовсе дорога пылила под колёсами встречных машин — гроза не докатилась до Москвы, только серый асфальт кое-где был присыпан конопушками капель.
На вокзале Зарубин зашёл в туалет, вынул охотничий нож из-за голенища — забросил куда подальше.
Потоптавшись возле расписания, он толком ничего не понял — голова гудела. «Выпить бы, ёлки!» — с тоской подумал, задержавшись около буфета.
Милиционер прошёл мимо него.
Сердце жарко дрогнуло, и между бровей проступила испарина. Стараясь не оглядываться, Ефим Демидыч направился к выходу. Потом остановился. Напрягая спину и засунув кулаки в карманы, он заставил себя вернуться к доске расписаний. Смотрел, смотрел и снова ни черта не мог сообразить, путаясь то в номерах поездов, то во времени прихода и отхода.
Покрутив головой, Зарубин увидел окошечко с надписью «Справка». Там расспросил и уточнил, когда отходит ближайший поезд. Посмотрел на часы. Времени — на всё про всё — немного оставалось.
Опуская глаза, чтобы не привлекать внимание милиционера, снова проходившего мимо, Зарубин приклеился к очереди. Но глаза его — как-то сами собой — поползли по залу, насторожённо выискивая человека в форме.
Время тянулось в очереди — смола смолой. И всё никак не мог он отделаться от чувства, что милиционер неспроста гарцует вокруг да около. И люди в очереди тоже неспроста косятся на него.
Добравшись до кассы, Ефим Демидыч так обрадовался, что едва не закричал, ссутулившись над окошечком:
— Два билета! В купе!
Кассирша огрызнулась, не глядя на него:
— Я не глухая. Где паспорт?
— А вот, пожалуйста.
— А где второй?
— Какой второй?
— Ну вам же два билета?
— Два. — Зарубин растерялся. — А второго нету. Второй — это дочка моя. Там, в больнице. Я второй вам, ей-богу, сейчас привезу…
— Вот когда привезёте, — отрезала кассирша, — тогда и продам!
— Да как же? — залепетал Зарубин. — Да вы что?
— Следующий! — раздражённо поторопила кассирша.
— Погодите! — взмолился Ефим Демидыч. — Поймите…
Опуская голову с навороченной модной причёской, кассирша стала заполнять какие-то ведомости. Очередь за спиною сердито засопела, зароптала, сороконожкою переступая с каблука на каблук. А потом нашёлся кто-то сердобольный, шепнул на ухо:
— Оформляй на себя два билета. С проводником разберёшься.
Удивляясь простоте решения проблемы, Зарубин с благодарностью покосился на подсказчика.
— Давайте два билета на меня! — проворчал в окошечко.
Кассирша вскинула подкрашенные брови:
— А может, все четыре?
Он махнул рукой, недолго думая:
— Хорошо! Давайте все четыре!
Недоверчиво глядя на чудака, кассирша уточнила:
— Все четыре? Серьёзно?
— Да. — Он вздохнул. — Дочке нужен покой…
Отойдя от кассы, Ефим Демидыч расстегнул рубаху и подул за пазуху — там было потно. Глянув на часы, заторопился.
И опять ему попался милиционер, торчащий возле выхода.
— Гражданин! — позвал он, поднимая указательный палец. — Минуточку!
Зарубин замер, только сердце дико заметалось.
Однако через несколько секунд он осознал, что говорят не ему, а тому человеку — кавказской наружности, — который в эту минуту оказался за спиною Зарубина.
«Фу-у!..» — ступая на волю, он ощутил противненькую слабину в коленях. Подумал закурить, но времени в обрез…
И опять он взял такси — в больницу.
Дорога, извиваясь, прижалась к парапетам, пошла вдоль набережной. Белый парус вдали завиднелся — лебяжьим крылом. От реки поначалу повеяло целительной свежестью, а затем в нос ударило такою застарелой затхлостью — Зарубин поспешил закрыть окно.
Рассматривая внутреннее убранство новенькой иномарки с правым рулём, Ефим Демидыч крякнул: «Хорошо живут, собаки, на таких машинах таксовать!»
— А побыстрее можно? — попросил он, желчно добавляя: — За отдельную плату.
Водитель неопределённо хмыкнул, прибавляя газ.
Москва-река, сияющая солнцем, сверкнула и пропала за поворотом. Зарубин увидел церковь и поторопился отвести глаза, ощущая, как что-то вдруг сильно заныло в душе — покаянно и горько. Но тут же, когда отпустило, он опять посмотрел на золотые луковки, увенчанные крестами. Только теперь посмотрел исподлобья — непримиримо, не покаянно. «А где он раньше был, ваш Бог? — раздражённо подумал. — Да я бы этих тварей всех покрошил, когда б не разбежались!»

В кабинете главного врача горела настольная лампа, молочным полукругом ярко заливая бумаги, папки, книги, миниатюрный гипсовый бюстик Гиппократа, фонендоскоп, сияющий никелированными железками. Лампа здесь горела едва ли не круглосуточно: в кабинете царил полумрак из-за тополей, столпившихся под окнами. Налетающий ветер временами шерстил тополя и раскачивал — открывались колодцы далёкого неба, пронзительно-синего, промытого ливнем. Слабые проблески дневного света и полутени от веток дрожали, ползая по полу и улетучиваясь.

Глядя за окно, моложавый густобровый главный врач заявил:

— Я даже и слушать не хочу! Идите!

Зарубин угрюмо бухтел:

— Ну а как мне быть? Где жить и что жрать? На помойках шабриться прикажете?

Доктор продолжал смотреть в окно. Взял фонендоскоп и нацепил себе на шею.

— Я приказать вам не могу. — Он Гиппократа переставил с места на место. — Я только могу попросить: выйдите отсюда.

— Но у меня билеты! — вежливо настаивал Зарубин. — Отдельное купе. Там будет покой и порядок…

— Какое купе? Да вы что? — Возмущённый главный врач стукнул раскрытой рукой по столу, заставляя Гиппократа укоризненно покачать головой. — Всё, дорогой товарищ! Всё! Разговор закончен. Выйдите.

Зарубин встал, уныло глядя в пол. Опять присел.

— Билеты у меня! — Он посмотрел на круглые настенные часы. — Скоро поезд…

— Вы русский язык понимаете? Нет? — Повышая голос, доктор руку положил на телефон. — Или вызвать милицию?

«Этого мне только не хватало!»

Зарубин за двери поплёлся, цокая одной подковкой (вторая отлетела на московских улицах на счастье кому-то). Зажмуривая глаза, чтобы лучше сосредоточиться, он прислонился к каменной крашеной стене, напротив которой висели плакаты, напоминающие, как правильно бороться с какими-то зловредными болячками.

И неожиданно вспомнился тот продажный блюститель порядка — на перроне в аэропорту. И Зарубин подумал с отчаяньем: «Делать нечего, надо рискнуть!»

Посмотрев по сторонам, он отслюнявил сколько-то мятых купюр — покрупнее. Робко постучался в кабинет и, не глядя доктору в глаза, торопливо, молча «дал на лапу».

В кабинете стало тихо. Невнятный шорох тополей за окнами сделался отчётливей. И сердцебиение часов на стене словно бы усилилось и даже участилось.

Ожидая дальнейшего разворота событий, Ефим Демидыч взмок, моргая в пол. Никогда он подобным паскудством не занимался, и если бы врач в ту минуту скомкал проклятую взятку и швырнул бы Зарубину в рожу — это было бы нормально. Только в том-то и дело, что всё теперь в стране с ног на голову перевернулось, и нормальным стало ненормальное.

Эскулап довольно хладнокровно принял взятку, и через несколько минут Ефим Демидыч уже спускался вниз по лестнице, бережно держа спящую Полянку на руках.

Таксист, увидев пассажира, поспешно развернулся и подъехал к самому крыльцу.

Зарубин осторожно погрузил дочурку, пребывающую в сонном забытьи. Сам забрался в машину. Хотели отъезжать, но вдруг перед капотом кто-то замаячил. (Это была знакомая вахтёрша.)

Толстой уткой переваливаясь с ноги на ногу, она открыла дверцу — протянула какой-то конверт.

— Главный врач документы приказал передать, — страдая одышкой, пояснила вахтёрша.

— Сдались они мне! — с неприязнью ответил Зарубин.

— Ну, я не знаю, — ворчала вахтёрша. — Он сказал, что сгодятся…

Когда уже отъехали подальше от больницы, Ефим Демидыч, словно чувствуя подвох, заглянул в конверт и криво улыбнулся, ощущая и стыд, и смущение, и ещё бог знает что такое, огнём опалившее сердце: в конверте находилось то, что Зарубин «дал на лапу» главному врачу.

«Есть ещё люди на свете!» — решил он, обескураженно качая головой.

Раскалённый летний день клонился к вечеру. Закатное солнце, угарно краснея, висело на западном склоне, плавно перекатываясь то на левую, то на правую сторону от пассажирского поезда, идущего извилистой дорогой, проложенной в предгорьях. Равномерно тарабанили колёса, мелькали за окном луга, леса и реки, озёра, болота; золотилась пшеница и рожь, попадались большие поля, до краёв поросшие дурниной — земля была забыта и заброшена. Предвечерний воздух тушевался, наполняясь дымкой. Сизый туманец тянул свою тонкую пряжу из перелесков.

Дочь спала на нижней полке, плотно сжимая ноги и временами вздрагивая. Поглядывая на неё, Зарубин то и дело поправлял белоснежное покрывало с чёрной эмблемой фирменного поезда. Отзываясь на эти прикосновения, Полянка вздрагивала и всякий раз чуть слышно жалобно стонала, болезненно ворочая глазами под закрытыми веками.

Осторожно закрыв купейную дверь на колёсиках, Ефим Демидыч подошёл к проводнику, разогревавшему титан.

— Сынок! — Зарубин протянул ему купюру. — Организуй три пузыря. Один — тебе. Два — мне. Договорились?

— Без проблем, — спокойно согласился проводник.

Петушиный гребень заката спрятался куда-то под крыло тумана и далёких гор, вспухающих на горизонте. За окнами темнело, первые звёзды забрезжили в небе, повторяясь на зеркале рек и озёр за железной дорогой.

Дождавшись проводника, Зарубин, широко раздувая мясистые ноздри, выпил водки и прислушался к себе — к надорванному своему нутру; сердце обожгло, а на душе ничуть не полегчало. Он выпил ещё, не закусывая, только шумно занюхивая

горбушкой хлеба. Вспомнив что-то, поморщился и, взяв полотенце, отправился в туалет. Закатав рукава, руки с мылом помыл; постоял, глядя в зеркало и с трудом узнавая себя, измождённого, по вискам прихваченного свежей сединой.

Поезд ненадолго задержался на каком-то тихом, безымянном разъезде, хрипловато прогудел и дальше затараторил на стыках, но Зарубин успел углядеть за окном живую золотинку далёкого костра, полыхающего на берегу, и успел услышать отголоски печальной, протяжной песни.

Губы его мелко задрожали. Он хотел закурить, но вдруг с силой вцепился в металлические толстые прутья, закрывающие половину чёрного окна, за которым мелькали яркие летние звёзды — будто слетали с небес под колёса бегущего поезда.

Он ссутулился, и плечи тряслись от безудержных, страшных рыданий.

Через трое суток дотелепались до дому. Зарубин баню протопил и долго мылся, курил в предбаннике и даже думал там расположиться ночевать: в доме жена бесновалась, чуть не с кулаками бросалась на него. Кругом виноватый, усталый, как лошадь, на которой пахали целинные и залежные земли, он до утра промаялся в предбаннике на драном топчане, не в силах задремать от перенапряжения.

Рано утром собрался и понуро побрёл в районное отделение: семь бед — один ответ.

Медленно шёл, тяжело, заложив руки за спину, точно репетируя походку под конвоем. Останавливаясь, он печально поглядывал по сторонам.

Сосны, отбившиеся от бора, шатрами шумели там и тут на улицах посёлка. Под соснами — как чёрные ежата — топорщились сухие шишки, куриный пух крутился неурочным снегом, вселяющим в душу тоску.

Утро было ветреным, прохладным. Над горизонтом, надсадно краснея, солнце путалось в тучах и облаках, не находя дорогу на простор, — золотушные блики соломенной трухою сыпались на голубоватые вершины далёких гор, на излучину взъерошенной реки, откуда доносилось бренчание «кандальной» цепи и глухие удары воды о лодку.

Зарубин постоял возле бетонного крылечка милиции. Похлопав по карманам, покусал не прикуренную папиросу. Покосился на большое окно, забранное железными прутьями, сваренными в виде лучей восходящего солнца. (Или, скорее всего, — заходящего.) Сапоги, будто налитые свинцом, не слушались, когда переступал порог.

Дежурный, после бессонной ночи закемаривший за столом, вздрогнул от скрипа двери и поправил фуражку, съехавшую набекрень.

Моргая в тусклом, мрачном помещении, Ефим Демидыч подошёл к полукруглому стеклянному окошечку, похожему на кассу, где выписывают билеты в места «не столь отдалённые».

Побито пригнувшись, он посмотрел на лейтенанта с лилово-красным ухом и помятою щекой.

— Гражданин… — прикрывая ладонью зевок, спросил офицер. — Что хотели?

Тиская в зубах не прикуренную папиросу, Ефим Демидыч неожиданно спросил:

— А спички есть?

Рот у лейтенанта приоткрылся, мерцая железными фиксами.

— А больше ничего не надо?

— Нет.

Дежурный сначала нахмурился, затем усмехнулся, протирая глаза.

— Ну, держите. — Он потарахтел полупустой обоймой спичечного коробка. — Что не спится-то?

Зарубил молча прикурил и, хлопнув дверью, широко пошёл навстречу ветру, с треском надрывая ворот чистой рубахи — дышать стало нечем. Отойдя подальше, он остановился и, отбросив папиросу, мрачно глянул в сторону милиции. «Ага! — Сердито сплюнул. — Щас!.. В гробу я вас всех видел!..»

В то же утро он ушёл в тайгу, чтобы вернуться только к первоснежью, когда грязь и мусор на земле укроет слепящий, серебром искрящийся подзимок, когда станет кругом тихо-тихо, светло и немного печально от близости матёрых морозов.

Весной они продали свою избу и переехали куда-то за перевал, на тихую таёжную заимку, откуда очень редко выбирались к людям.

Говорят, что время лечит. Так-то оно так, да не совсем. Со временем голос вернулся к Полянке, но вернулся лишь для разговора, а вот песня ушла навсегда. Петь Полянка больше не могла, да и не хотела, даже не пыталась никогда. Только своим ребятишкам, родившимся на той глухой заимке, где муж её работал пчеловодом, Полянка порой напевала медово-тягучие колыбельные песни. Забываясь на время, она устремлялась глазами в какую-то дальнюю, неведомую даль, где живётся легко и отрадно, где даже зимой зацветают дивные, волшебные цветы и, не жалея сердца своего, звенит самозабвенный соловей.

Виталий Пшеничников

Прощание бабушки Евдокии

Глава из неопубликованного романа «Вкус хлеба»

Стоит Фёдор у барака, осматривает хозяйство, и тревожная дума не даёт покоя: «Живой с войны вернулся, жизнь устроил: жена, дом, работа. Огород распахал, стайку для хозяйства построил. Всё хорошо! Одно плохо — мать живёт одна, без сыновнего досмотра! Надо забирать к себе. Но как жена на это посмотрит?» Мрачнеет от этих дум его лицо день ото дня, работа из рук валится. Видит Федосья, что мужа тоска какая-то гложет, а спросить боится, думает: «Захочет — сам скажет!»

Фёдор думал, думал, и невмоготу стало, решился поговорить с женой.

— Ты присядь, Фенечка! Разговор у меня серьёзный есть. Давно хотел поговорить с тобой!

И замолчал, внимательно глядя на супругу. Видит — она молчит, вопросительно смотрит на него, окончательно решился:

— Мать хочу взять к себе, Евдокию! Одна старушка с хозяйством мается! Да и корова нам не помешает, в голодное время живём. Не последнее дело, когда своё молоко, сметана, масло будет…

Слушает его жена и думает: «Какой он у меня молодец! Не только о себе и семье думает, но и перед матерью долг помнит!»

Замолчал Фёдор, смотрит, как воспримет его слова супруга, а Феня говорит:

— Правильно решил! Давно тебе хотела предложить, но не решалась — дом у неё в Асафьевке, там же все друзья и подруги. Она столько пережила, без отца четверых детей на ноги поставила. Пусть с нами живёт. Как говорят, в тесноте, да не в обиде, — с голоду не помрём. Будет хозяйничать по дому, печь топить. Корову и овец пусть Марии оставит, у неё пять дочерей по лавкам сидят, одна другой меньше. Без мужика надрывается, воспитывает! Нам отец обещал пару ягушек, нетель, растелится, даст Бог, раздоим, с молоком будем и хозяйство своё разведём! Поговори с Марией, пусть кого-то из девчонок к нам пожить отправит вместе с матерью. Всё ей остальных легче прокормить будет!

— Спасибо тебе! — нежно обняв жену, сказал Фёдор и отвернулся, стараясь не показать набежавшие слёзы. — Ты напиши ей письмо: так, мол, и так, решили с Фёдором тебя забрать к себе. Через месяц пусть ждёт, обязательно подъеду. Сам неграмотный я, ты же знаешь.

Написала невестка свекрови письмо от имени Фёдора, а он крестик внизу поставил.

Установилось бабье лето, солнце и тёплый ветер подсушили раскисшие от осенних дождей, разбитые тракторами и немногими машинами таёжные дороги. Взял Фёдор отгулы за работу в выходные дни, выпросил лошадь, запряг телегу и поехал в Асафьевку, забирать мать свою, Евдокию. Жила она в приделе дома, построенного его отцом, Потапом. В другом приделе этого дома жила Мария с дочками — жена Александра, пропавшего без вести на фронте брата.

Неспешно ступает конь, неспешно текут мысли у Фёдора о трагической судьбе матери. Колчаковские каратели в девятнадцатом году, в светлый праздник Крещения Господня, на льду речки Рыбной, на глазах у неё и согнанных на берег сельчан, расстреляли его отца, Потапа, и ещё трёх мужиков асафьевских, помогавших партизанской армии Кравченко. Осталась мать одна с четырьмя сыновьями в лихую годину, а ему, Фёдору, исполнился всего один год. Не сумела их выучить грамоте, но сумела от голодной смерти и тифа сохранить; с детства пошли сыновья в работники — хлеб зарабатывать. Думали все, что наладилась жизнь. Выросли дети Потапа, встали на крыло, семьи кормят и сами голодные не сидят. Но грянула великая война, а в ту пору у старшего, Василия, было трое детей, у Александра — пятеро, и все дочери, младшенькой всего годик. У Матвея две дочери. А сам он встретил весть о войне на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске. Ушли на второй день на войну братья Василий, Александр и Матвей, остались их жёны одни с ребятишками…

Василий погиб, Александр пропал без вести на полях войны, а дети остались, их надо было чем-то кормить. Взяла мать на себя домашние заботы, копает весной со старшими огород, а в нём восемьдесят соток, засаживает его, пропалывает и окучивает. Осенью картошку копает, носит, в подпол ссыпает, огородную мелочь прибирает, капусту квасит. А ещё надо своей коровке и овечкам летом сена накосить, три зарода поставить. И не только себе — у снохи тоже хозяйство: корова, бычок, овечки. На сенокосе надо помочь, сена ей накосить на зиму. С утра до вечера в тяжкой работе. Ещё шла война — вернулся Матвей, израненный, с выбитым осколком глазом, уехал в Кожелак, к семье. Пришла Победа, но осталась нищета, голодные сироты на её руках. «Нелёгкая доля матери досталась, пусть остаток дней поживёт у нас, и Феня не возражает. Мария правильно поймёт наше решение забрать мать и одну из её дочерей в Хабайдак!»

Недавно принёс почтальон письмо от Фёдора, попросила его прочесть, так как грамоте не была обучена. Написал Фёдор, что решили с Феней взять её жить к себе, в Хабайдак. Просил не волноваться, ближе к осени подъедет, просил передать всем приветы и поклоны.

Тепло и радостно стало на сердце у матери. Хоть кому-то она нужна на этом свете. Но грустно от мысли о том, как Мария одна останется с дочерьми, младшей из них шёл шестой годик.

Фёдор, вернувшись после войны с востока, не захотел работать в колхозе, уехал в Партизанский леспромхоз, на лесозаготовки. Молилась Евдокия, чтобы Господь хранил его на лесоповале, послал здоровье и счастье. Из редких писем знала, что сын сошёлся с женщиной и живёт в поселке Хабайдак. Где находится этот посёлок, она не знала; говорили колхозники, ходившие туда заготавливать лес для колхоза, что далеко, на самом краю тайги.

И думала вдова тёмными ночами, какая жизнь её ждёт впереди, как уживётся с невесткой, женой Фёдора. Перевёз её в тридцать шестом Матвей жить к себе в Кожелак. Но сразу после приезда поняла она, что пришлась не по нраву своенравной невестке, эстонке Анне, которая делала всё, чтобы выжить её из своего дома. Фёдор уезжал на Дальний Восток по вербовке. Спасибо ему, рассказал Марии, как к ней относится невестка. Приехала та на лошади, забрала её, корову, перевезла в Асафьевку, наказала: «Живи с нами, обузой не будешь. Девчонки житья не дают, пристают: “Где баба Дуня? Почему её долго нет?”»

Так она одиннадцать лет жила рядом с Марией и внучками, вместе с ними делила горе и радости. Но годы делают своё дело, всё тяжелее становилось жить. Плакала старушка по ночам одна в своём доме: и уехать было страшно, и оставлять сноху с ребятишками не хотела. Но понимала она, что не сегодня, так завтра не сможет ходить на сенокос. Не было уже ни сил, ни здоровья, стала бы тяжёлой обузой для снохи. А у той и так забот полон рот — от зари и дотемна работа в колхозе и пять голодных дочерей. Её утешала мысль о том, что старшие внучки, Вера с Дусей, подросли и повзрослели. Дуся работать пошла в колхоз — всё какая-то помощь матери.

«Слава Богу, теперь у неё есть кому за младшенькими присмотреть, корову выгнать, загнать и подоить. Дуся хорошей помощницей выросла. Если бы не она, как бы войну пережили? Подумаю, поплачу, а деваться некуда — придётся уезжать к Фёдору, если не передумает. Кому из молодых хочется брать такую обузу, как старики?» — вытирая катившиеся из глаз слёзы уголком платка, думала Евдокия.

Утром пришла к Марии и говорит со слезами на глазах:

— Говорила я тебе, что Фёдор в письме обещает забрать к себе. Прости, Мария, тяжело мне стало жить, с хозяйством управляться. Не хочу для тебя стать обузой. Решила для себя: коль приедет — соглашусь, делать нечего! Присмотри за домом, скотиной. Схожу в Карымово, надо навестить брата моего, Григория, и сестру, разлюбезную Марию, попрощаться. Сердцем чувствую, что мне здесь не придётся больше бывать!

— Не убивайся, Евдокия, себя не кори! Решила — езжай! Спасибо тебе, сколько лет за сиротами помогала смотреть, последним делилась, лечила, от смерти голодной спасала! Жила за тобой как за каменной стеной! Корову буду доить, выгоним с овцами к пастуху и загоним. Поклонись родне за нас. Мне вырваться в гости нет возможности! — говорит Мария.

Заплакала старушка, говорит:

— Спасибо, Мария, на добром слове, что понимаешь меня! Дай Бог тебе и детям твоим здоровья, счастья!

Затемно встала Евдокия и пошла по дороге в Карымово, на родину свою. Идёт себе по холодку, комары и мошка не надоедают. Погостила у родственников, наговорилась с сестрой, отвела душу, попрощалась и через два дня вернулась. Отдохнув денёк, говорит:

— Завтра пойду в Новопокровку, надо попрощаться с племянницами Дашей и Татьяной, дочерьми сестры моей, Прасковьи.

Обошла она всех родственников, со всеми попрощалась. Домой вернулась — два дня отдыхала: не те годы для таких дальних путешествий. На третий пришла на половину дома снохи и говорит внучке:

— Есть у меня задумка, Дусенька! Хочу пройти по полям, проститься с родными местами. С начала войны где мы с тобой только не были. Меня ты везде сопровождаешь. Давай пройдём с тобой последний раз по дорогим моему сердцу местам!

— Бабуля, почему ты так говоришь? — всхлипывает Дуся, жалко ей бабушку.

— Только плакать не надо! Ты молодая, подрастёшь — ко мне в Хабайдак придёшь в гости. А я уже старая, в Асафьевку прийти не смогу, поэтому хочу попрощаться с близкими сердцу местами! Боюсь, одна не дойду. Проводи меня, внученька!

— Пойдём, бабуля, обязательно пойдём! — услышав, что бабушка уезжать собралась, плача, соглашается внучка.

— Ну и славно! Сегодня отдохнём, а завтра, как солнце росу обсушит, так и пойдём с Богом! Отдыхай, внученька, до завтра! — уходя к себе, сказала старая женщина, едва сдерживая слёзы.

Она понимала, что скоро, очень скоро ей придётся расстаться со снохой, с любимыми внучками и с прежним укладом жизни. Проснулась Евдокия, нехитрую еду завязала в узелок, зашла за Дусей. А та уже заждалась её. Пошли они по деревне, вывела их улица к берегу реки Рыбной. Крестится и говорит бабушка:

— Поймали белые каратели деда твоего, Потапа, а с ним ещё трёх мужиков, которые продукты партизанам отвозили, избили сильно. Был в селе учитель, Злобин, донёс на них. Вывели их на расстрел в светлый праздник Крещения Господня, прощается Потап со всеми, речь ведёт о том, что гибнут они за счастливую новую жизнь для всех, верит он, что скоро каждый будет обут, одет, сыт! Когда на лёд вывели, поставили на берегу пулемёт, попрощался Потап с родными, велел мне беречь детей. Здесь каратели деда твоего вместе с тремя деревенскими мужиками расстреляли из пулемёта принародно. Дед твой здоровый был, шестипудовый колокол на звонницу один поднял. Три пули в грудь попали, а он живёт. Подбежал к нему офицер и зарубил любимого Потапушку

саблей. Ночью я его тело у часового из-под носа выкрала, на саночках домой привезла. А тут белые хватились, повальные обыски в домах сельчан учинять стали. Затащила я его за амбар, присыпала снегом. Дети спасли — метались в жару, корью болели. Пришли в дом каратели, а я им говорю, что дети тифом-сыпняком болеют. Они испугались, не стали двор смотреть, от тифа в те поры много народа померло. Чудом они меня с детьми не расстреляли и усадьбу не сожгли! Господь не дал им это злодеяние совершить!

Поплакали они вместе с внучкой и пошли дальше. Пришли на покос. Села Евдокия на поваленную берёзу и заплакала.

— Здесь мы с Потапом сидели, он обнимал, целовал, миловал меня! Господи, упокой его душу! Столько лет прошло, но забыть не могу! — плача, крестилась она.

Замолкла бабушка, унесли её мысли в далёкую молодость. Вспомнила, как случайно свела её судьба с Потапом…

…Услышала девица Евдокия стук в калитку отцовского дома в селе Карымово, открыла — и увидела за ней статного, высокого парня. И будто молния пронзила её, так он ей приглянулся с первого взгляда. Обомлела, опустив глаза, чтобы не выдать своих чувств, стояла растерянная, и вывел из оцепенения её голос того парня. И вспыхнуло в душе чувство первой любви.

Знала она, что желания невест родители не спрашивали. Понравился им жених, заслал сватов — отдавали девку замуж. Замужество по любви было большой редкостью и удачей для девушки, и страстно ей захотелось прожить всю жизнь с этим парнем.

Вспомнила, как подавала на стол самовар, чашки, сахар, как ходила в чулан за мёдом. И всё это время хотелось неотрывно смотреть и смотреть на этого красивого парня, говорившего с отцом. Вспомнила, как выскочила из избы, чтобы не выдать своих чувств, остыть на улице. А в девичьей голове билась только одна мысль: вновь оказаться рядом с этим парнем. Как подскочила она к двери в сенцы, услышав стук входной двери, и робко потянула на себя. Оказавшись лицом к лицу с гостем, опустив от смущения и трепета глаза, стояла на его пути. Ей так хотелось, чтобы заговорил он с ней, сказал хоть слово. Ещё больше оробела, когда парень спросил, ходит ли она вечерами на посиделки, за околицу. Как сказал ей, что будет ждать, и она, едва живая от счастья, вымолвила: «Приду».

Вспомнила, как билось её молодое, полное любви и нежности сердце, когда она считала дни до первого свидания с Потапом. Ей казалось, что время замедлило свой бег, дни тянулись нестерпимо долго. Как по ночам плакала от мысли, что парень пошутил и не придёт, ведь до Асафьевки немало вёрст. Как готово было остановиться от счастья сердце, когда вечером за околицей, у костра, увидела появившуюся из мрака знакомую фигуру; как увидела радость на лице парня, разглядевшего её среди подружек, таких же девушек села Карымово. Как подошёл к ней, смущённо справился о здоровье, подал крепкую руку. Как под завистливые взгляды подружек отвёл в сторону, приподнял за комель толстое бревно и подвинул к костру, предложил сесть и сам опустился рядом. Она помнила чувство надежды и тревоги, когда с нетерпением ожидала наступления следующего выходного дня, гадала, придёт или не придёт Потап.

Но тревоги были напрасны: любимый приходил, и каждая клеточка её тела пела от счастья, что он рядом с ней, что она видит его, слышит его голос. Помнила каждое его слово во время нечастых свиданий, как робко, с надеждой в голосе, спросил у неё, можно ли засылать сватов, и она, потеряв голову от счастья, ответила едва слышно: «Да».

Помнила шумную свадьбу, первую брачную ночь, когда подарила она суженому своё девичество и любовь. Как лежала счастливая и напуганная первой близостью с мужчиной, плакала до утра от счастья, что Господь услышал её молитвы, что она будет жить с Потапом, носить под сердцем и рожать от него детей.

Помнила, как после первой брачной ночи с кровати молодых сняли простынь с её девственной кровью, как она готова была провалиться сквозь землю, когда родители с гордостью показывали её хмельным гостям.

Она не была обучена грамоте, не читала любовных романов, но любовь с первого взгляда осталась с ней светлым, радостным чувством на всю её горькую вдовью жизнь.

Тяжёл крестьянский труд для мужика, но вдвойне тяжёл для женщины, которой, вернувшись с поля, надо и еду сготовить, за детьми и мужиками постирать, в доме прибрать; но всё успевала Евдокия, радость любви придавала ей сил. Здесь, на краю покоса, в шалаше, ласкал её любимый Потап, здесь, как она считает, был зачат первенец, Василий. Вспоминала она и муки первых родов, и первый крик мальчика, радостные слёзы молодой матери, которой после тяжёлых родов дали в руки только что появившийся на белый свет живой комочек — её сына, завёрнутого в домотканые льняные пелёнки…

…Воспоминания прервал встревоженный голос внучки:

— Что с тобой, бабушка?

Встрепенулась та.

— Вставай, внученька, пора идти дальше. Засиделась я, молодость вспомнилась! — вытирая уголком платка слёзы на глазах, сказала Евдокия.

Помогла ей Дуся подняться. Бабушка сказала:

— Пойдём дальше, внученька, здесь уже недалече осталось.

Идут они по просёлку, пробитому тележными колёсами, и говорит бабушка:

— Вот мы и пришли! Здесь было наше родное поле! Оно кормило, поило и одевало нас!

Смотрит девочка, а поля нет. Перед ней пустырь, заросший сорной травой и репейником, кое-где растут на нём молодые осинки, метра по полтора высотой. С удивлением посмотрела на бабушку. Та положила узелок с едой на придорожную травку, зашла на пустырь, встала на колени, отвесила земной поклон, и слёзы брызнули из глаз.

— Здравствуй, родное полюшко! Что же они с тобой сделали, эти безбожники! Оттого мы сейчас и голодуем! Такую земельку плодородную бросили, не стали обрабатывать! — плача, причитала Евдокия, а вместе с ней плакала и её внучка.

Немного успокоилась внучка, давай бабушку успокаивать:

— Не плачь, бабуля! Не плачь, родная! — гладит её по волосам.

Не может та успокоиться, всхлипывает:

— За что расстреляли моего Потапа белые каратели? За что терпели мы с детьми малыми голод и лишения всё время после прихода советской власти? За что сгинули на страшной войне Василий и отец твой, Санька? За что терпим лишения всю войну и после неё, до сего времени? Что это за власть, которая голодом морит народ? Которая за каждого курёнка налогом три шкуры дерёт? А пахотные земли в бросовые превращает! Не здесь, это там, в Москве, истинные враги народа сидят! Последние жилы их сатрапы из народа тянут!

Немного успокоила Дуся бабушку.

— Не плачь, бабуля! Вставай, пойдём! — говорит ей, помогая на ноги подняться, и пошли они дальше.

Подошли к окраине пустыря; стоит там стройная белоствольная берёза. Встала Евдокия на колени, поклонилась берёзе, говорит:

— Здравствуй, моя красавица берёзка! Ты все ненастья одолела одна, стоишь на прежнем месте, ещё краше стала. Ещё гуще твои ветви разрослись.

Причитает бабушка, а внучка плачет вместе с ней, успокаивает бабушку, но бесполезно — уговоры не действуют. Дала она выплакаться, взяла под локоть, подняла с травки зелёной. Бабушка крепко обняла внучку, и плакали они вместе. Поплакали, успокоились, пошли по просёлку дальше.

У дороги лежит бревно, толстое, метра четыре длиной. Подходят к бревну; потрогала его рукой, погладила баба Дуня и говорит:

— Садись, внученька! Здесь мы с тобой отдохнём, как в былые времена отдыхали! Это брёвнышко для меня дорого сто́ит, мы с Потапушкой сиживали здесь часто, сидели здесь и мои сыночки, сгинувшие на войне! — заплакала горько вдова, запричитала: — Злодеи! Загубили Потапа, отняли у меня мужа! Лишили отца четверых детей малых своими разговорами о счастливой жизни! Где же она, эта счастливая жизнь, за которую Потап и сыновья наши головы сложили? Где она? Господи, покарай этих клятвопреступников! Живём как рабочий скот! При царе-батюшке даже батраки не влачили такую убогую жизнь! Кто работал, тот сыт, одет и счастлив был! Господи, пошли на головы супостатов кару небесную, верни людям счастье в жизни!

Посмотрела Дуся по сторонам — одни-одинёшеньки они с бабушкой в полях, подслушать и донести на неё некому, — давай успокаивать:

— Бабуля! После таких слёз будет тебе трудно дойти до дома! А я не смогу тебя утащить! Успокойся, прошу тебя! Не жалеешь себя — пожалей меня! Лучше расскажи, как вы здесь трудились. Устала я, есть хочу.

Услышала Евдокия слова внучки, говорит:

— Прости меня, старую! Вся жизнь у меня здесь прошла! Молодая была, когда Потапа расстреляли, это память моя! Может быть, эти родные для меня места больше не увижу. Спасибо тебе, что согласилась сходить со мной, теперь я буду до самой смерти помнить каждую травинку у нашего поля, это бревно, берёзку! С этим я и уйду на суд Божий! Пусть Господь рассудит, кару наложит за прегрешения вольные и невольные. Но, видит Бог, всегда я бескорыстно помогала людям! Не творила зла! Ты оставь меня, я одна попрощаюсь с дорогими сердцу местами, потом сама приду.

Видит внучка, что бабушка сама не своя от нахлынувших воспоминаний. Нельзя её оставлять одну в таком состоянии — мало ли что может с собой сделать, отрицательно качает головой:

— Нет, бабуля! Не оставлю тебя! Сама позвала! Уйду, а ты плакать будешь! До дому не доберёшься!

А сама думает, как же отвлечь её от тяжёлых воспоминаний.

— Я не буду плакать, обещаю тебе! Хочу побыть одна, вспомнить прошлое, оно мне очень дорого. Здесь, где всё это было, где был Потап и сыночки мои, на фронтах сгинувшие. Ты иди, посмотри, вон там стояла наша заимка, а чуть дальше был конный двор, лошадей держали. Прошу тебя, дай несколько минут побыть одной!

Осталась одна, и нахлынули воспоминания. Как с нетерпением ждала она вечерней зорьки, когда возвращалась с поля семья Емельяна, вечеряли, все укладывались спать. Наконец наступало заветное время, и выскальзывала она из избы-заимки, шла к заветному бревну. Сюда же приходил её любимый муж, садились они рядком. Целовал он её, миловал, вёл на конный двор, ложились на мягкое душистое сено на сеновале, и до той поры, когда начинают тускнеть звёзды на ночном небосклоне, любил её родной Потапушка. Забывались в коротком сладостном сне, а чуть рассветёт — шли в поле вместе со всеми, с нетерпением ожидая ночи.

От страстной любви понесла она второго ребёнка, в назначенный природой день родила сына, нарекли его Александром. А поздней осенью, когда сжали и свозили снопы на гумно, едва не случилась страшная смерть Потапу. Как будто Господь послал её на гумно, где он снопы молотил конной молотилкой. Но сломалась молотилка. Поднатужившись, приподнял он тяжёлую станину, отлитую из чугуна, поставил подпорку, сказал ей: «Ты отойди подальше, не дай Бог, упадёт, задавит!»

Взяв ключ, полез под неё устранять поломку. Лёжа на спине, упираясь ногами, подбирался к нужному месту. Увидев его ноги рядом с подпоркой, Евдокия подошла ближе, подумала: «Не дай Бог, упадёт, задавит Потапа!» Её охватил страх неминуемой беды. Стоя рядом, смотрела, как муж пытается подлезть глубже под станину. Она не успела ничего сказать, как тот ногой выбил подпорку, и тяжёлая молотилка полетела на землю. Как сумела её перехватить, Евдокия не помнила. Приняв тяжесть падающей станины на свои руки, сдавленно вскрикнула: «Потапушка!»

Едва смог вылезти слегка придавленный супруг, белый весь, испугался не за себя — за жену,

перехватил молотилку из её рук. И здесь предупредила она его: «Береги себя, Потап! У нас двое детей; погибнешь — на кого останутся?..»

Подошла Дуся к указанному месту, а там, в земле, глубокая яма, а чуть дальше торчат полусгнившие деревянные столбы. Поняла, что здесь был загон для лошадей с навесом, сеновалом. Под ним коней от непогоды укрывали. Чувствовалось, что было крепкое хозяйство. Но сколько ни смотрела, следов избушки не увидела. Постояла, посмотрела и вернулась к бабушке. А та сидит, на неё смотрит и не видит — из глаз слёзы текут, на землю капают. Испугалась девочка, начала бабушку трясти за плечо:

— Бабуля, очнись! Скорее очнись! Прошу тебя!

Вздрогнула бабушка, посмотрела на неё невидящим взглядом, тряхнула головой:

— Успокойся, внученька! Со мной ничего не случилось, вспомнила я дни былые, счастливые, что провела с дедом твоим, Потапом! — тяжело вздохнула, слёзы вытерла концом платка.

— Вставай, бабуля, пошли! Расскажи, куда заимка делась? Только яма от неё осталась.

— Этот живоглот, дядька Антон, после смерти Потапа её к себе перевёз, во дворе поставил. Вот и осталась после неё только яма. Её вырыли как погреб, летом туда еду от жары прятали, что из дома привозили. А ещё мои мужики хлебный квас холодненький любили! Я сделаю в кадушке, он созреет, в погреб спущу, а они туда один за другим ныряют, квас пьют и нахваливают. Дружно жили, дружно работали. Кадушки дней на пять хватало! В одной кадушке заканчивается, в другой поспевает. И радостно мне похвалы моих работников слышать. А кваску попьют — за десятерых работают! И так у нас всё лето квас холодненький в погребе стоит, мужиков балует!

— Бабуля, давай пообедаем! Кушать очень хочется! — вновь говорит ей внучка.

— Да что же это я, старая? Солнце на вечер перевалило, а мы с тобой не ели! Садись, внученька, рядом со мной. Помню я, как вся наша семья сидела за столом в заимке. Жили дружно, работали не покладая рук и ели хорошо, ни на кого я обидеться не могла! Садись на травку, внучка, она тебе силу жизненную передаст! — сказала Евдокия, развязывая узелок.

Смотрит девочка, а в узелке две бутылки кислого молока, штук десять варёных, в мундире, картошек и два яйца варёных. Её не надо было долго упрашивать, когда время далеко за полдень, а во рту и маковой росинки не было. Ели молча. Казалось девочке, успевшей проголодаться, что вкуснее она ничего в жизни не ела. Бабушка дождалась, пока внучка поест и простокваши на верхосытку выпьет, собрала в платок остатки пиршества, завязала узелок.

Спрашивает Дуся:

— Бабуля, а как вы всё это огромное поле пахали?

— Да, внученька, поле большое, но Потап мой был мудрым хозяином. Умело вёл хозяйство. Он разделил его на четыре части. Три клина засевали, один оставляли под пары, отдыхать. За лето пары два раза перепахивали, выпахивали сорняки и собирали их и корни. На дворе от скота навоз в кучах горел, перегной на поле Потап возил на телеге перед последней пахотой. Разбрасывали мы перегной с ребятишками по всему полю. Следом Потап запахивал, и земля всегда у нас была жирная и чёрная, как крыло ворона, отдохнувшая!

А весной по этим парам, без весновспашки, сеяли пшеницу, боронили. Всегда был богатый урожай. Осенью сожнём в снопы, свяжем, скирды поставим — опять заходит с плугом Потап. Вспашет, рожь озимую посеем, а в следующем году ячмень. А там, где был ячмень, сеяли овес, после него землю под пар оставляли. И так, через три года, каждый клинышек земельки нашей отдыхает, сил набирается. Всегда собирали богатый урожай, соседям на зависть! Трудились не покладая рук, и труд не был нам в тягость! Чем больше трудились, тем больше было радости, когда видели результаты своего труда! Бывало, приходим на поле — хлеба́ стеной стоят, поспевают. Налетит ветерок, волной качает колосья, забавляется, идут волны по полю, и от счастья дух захватывает! Осенью уберём богатый урожай, трудимся день и ночь, все понимают: день год кормит! Свезём снопы с поля в гумно — Потап опять клин пашет до холодов, пока мороз землю не скуёт. Полетели белые мухи — молотить начинаем, а зерно в снопах дозрело, высохло к тому времени. Добротное, полноценное зерно засыпаем в амбар. Трудились не напрасно, наша семья была обеспечена на два года вперёд! Зерно в амбаре дороже золота будет! Золото в голодный рот не положишь, а зерно в недородный год всегда выручало. Да редко такие годы случались! Всегда все были сыты, одеты и обуты! Не то что теперь! Господи, прости! — с досады плюнула бабушка в сторону.

Замолчала она, молчит и внучка. Посидели минут десять, каждый о своём думает. Евдокия думает о днях минувших, мужа своего, Потапа, вспоминает, слёзы уголком платка вытирает. Вдруг тронула губы улыбка. Вспомнила она, как Потап один раз в жизни изменил ей…

…Собрались спать, детей она уложила, а он говорит: «Евдокия, ты меня не жди, спать ложись. Я пойду с мужиками на брёвнах посижу, семечки пощёлкаю. Семьей обзавёлся — нет времени старых дружков проведать!»

Поверила она, отпустила, а под утро лёг в постель муж, а от него чужой женщиной пахнет. Ничего не сказала и виду не подала, а на следующий вечер опять отпрашивается к товарищам. Решила посмотреть, с кем он по ночам семечки лузгает. Подошла к мужикам тихонько, а мужа среди них нет, и услышала их разговор, что пошёл Потап к гулящей вдовушке, Клавдии. Не поверила, решила проверить, не наговор ли это. Простояла ночь у забора, дождалась под окнами вдовьего дома, пока, натешившись вволю, вышел Потап. Услышала на пороге разговор: приглашает вдова его к себе жить.

Побежала домой тёмными улицами. Опередила его, легла в постель, притворилась спящей, а как он, утомлённый, заснул, встала, оделась и вымазала дёгтем ворота и входную дверь у вдовы, опозорила на всю деревню. Пошёл мужик к вдове на третью ночь, та и рассказала, что Евдокия её

опозорила, потребовала наказать её. Позабавившись с любовницей, Потап вернулся домой, утром вызвал жену в амбар, где висели вожжи. Взяв их в руки, хлестанул по плечу: «Ты дёгтем вымазала ворота Клавдии? Говори быстро, а то изобью до полусмерти!» Евдокия поймала вожжи в руку, держит и спокойно отвечает: «Я намазала! Хочу от сучки кобеля отвадить! У неё течка каждый вечер! Вот похотливые кобели к ней и наповадились, забыли, что дома жёны и дети малые!»—«Ах ты, стерва!»—попытался вырвать вожжи муж, но не тут-то было. Крепко зажав вожжи в руках, Евдокия сказала твёрдым голосом: «Богом клянусь: тронешь из-за этой сучки—сожгу её в доме, сама удавлюсь, в петлю залезу, оставлю тебя с детьми малыми! Я помру, но и ей не жить, если ещё раз переступишь её порог!»

У Потапа сразу опустились руки. Кинув вожжи, выскочил из амбара как ошпаренный, и больше не слышала она, чтобы наведывался он к чужим жёнам и вдовушкам, прожили до революции проклятой душа в душу, четверых сыновей она ему родила, пятого носила…

…Как вспомнила о революции, слёзы сами покатились из глаз: «Сколько раз говорила тебе, Потап: одумайся! Четверо ребятишек по лавкам, пятый под сердцем. Новую, справедливую жизнь искал! Вот и нашёл смертушку лютую! Семью осиротил, на голод и мучения обрёк! А за что, спрашивается? Где она, эта счастливая жизнь при Советах? Даже не вспомнила она о сиротах!»

Очнулась Евдокия. Вытерла слёзы на глазах, смотрит: внучка сидит, задумавшись.

— О чём задумалась, внученька?—спрашивает её.

— Папку своего вспоминаю, какой он был большой и красивый, как на войну уходил!—заплакала Дуся.

— Успокойся, Дусенька! Успокойся, милая! За свою жизнь я столько горя натерпелась, не дай Бог никому испытать такую участь! Пролила столько слёз, что собери их в одно место, человек бы утонул в моих слезах. А сейчас, у родного полюшка, Бога прошу, чтобы послал вам счастья, чтобы не знали вы горя горького, вдовьего, нищеты! Я за вас всех выстрадала, глаза выплакала!

Глядит на бабушку внучка, как та уголком платка слёзы вытирает, и сама всхлипывает—так её жалко стало. Наконец говорит Евдокия:

— Солнышко садиться собралось, пора нам возвращаться. Путь до села для меня, старухи, неблизкий! Помоги мне на ноги подняться!

Обняла её Дуся и на ноги встать помогла. А сама удивилась: совсем лёгкая бабушка была, под руками чувствовала её косточки.

Взяла под руку, и пошли молча домой, каждая думала свою думу. Евдокия ещё раз переживала встречу с прошлым, с мужем своим любимым, Потапом, о детях своих с такой разной судьбой.

Внучка думала о своём отце, Александре. Она, шестилетняя девчонка, помнила его проводы на войну, слова, сказанные на прощанье: «За старшую остаёшься, доченька! Вы с Верой у меня большие уже! Будь мамке надёжной помощницей, помогай ей воспитывать сестрёнок! Слушайся её всегда!»

Эти слова запомнила на всю жизнь шестилетняя Дуся, и теперь вспоминала со слезами на глазах, стараясь не смотреть в сторону бабушки, чтобы она не видела её слёз. Не вернулся отец с фронта, но образ его, молодого и красивого, в детской памяти запечатлелся навек.

Уже затемно добрались до дома. Бабушка утомилась и едва передвигала ноги, а внучка поддерживала её под руку, не давая упасть.

— Ты, Дусенька, до кровати спровадь, совсем устала я,—просит бабушка.

— Бабуля! Пойдём к нам вечерять. Потом тебя домой отведу!

— Спасибо внученька, но я сыта! Спасибо тебе, что сходила со мной, помогла мне молодость вспомнить! Без тебя я не отважилась бы так далеко ходить. Ты поставь рядом на лавку ковш с водой и иди, мать уже заждалась! Иди, а я отдохну, притомилась шибко. Завтра, если встану, приду к вам. А теперь беги домой, беги, мамка ругать будет.

Пришла Дуся домой, а мать спрашивает:

— Почему одна? А баба Дуня где? Почему к нам на ужин не зашла?

— Звала её! Говорит, притомилась шибко, сил нет, попросила ковш с водой рядом с кроватью поставить.

Налила мать в кринку молока свеженького, дала несколько картошек варёных.

— Отнеси бабушке. Поставь ближе ковша с водой. Проснётся ночью, молочка попьёт, картошек поест—силы к ней и вернутся. Старая она стала! Всё думала, что сносу не будет, всю жизнь за троих трудилась! И вас от голодной смерти спасти мне помогала! Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни!

Зашла Дуся на бабушкину половину, а та спит мёртвым сном. Отодвинула ковш с водой, на его место поставила кринку с молочком и картошки положила, тихонько пошла домой.

Не знала тогда Дуся, что молитвы бабушки об их счастливой жизни не дойдут до Господа. Через восемнадцать лет ей на собственной шкуре придётся испытать боль гибели мужа, жить вдовьей жизнью с малыми детьми на руках, умываться не водой, а слезами горькими. Это такое горе, что словами не сказать и пером не описать, и его может понять только тот, кто пережил сам.

Не смогла Евдокия подняться утром, принесла ей Дуся молочка и варёных картошек. Смотрит, молока немного выпила бабушка, а к картошке не притронулась. Присела на край кровати.

— Я тебе свежего молочка принесла. Поешь, бабуля, картохи с молочком свеженьким! Надо поесть и быстрее поправляться!—уговаривает её.

Привстала Евдокия, съела пару картошек, запила свежим молочком, благодарит:

— Дай Бог тебе здоровья, Дусенька! Полечила ты меня, а теперь беги, мамке твоя помощь нужна! Обо мне не беспокойся. Отдохну, к вечеру встану. Ты меня хорошо полечила!

Несколько дней болела бабушка, и носила ей еду внучка старшая, Дуся. К концу недели силы вернулись к Евдокии, вставать начала.

Зашла утром на половину снохи:
— Чует сердце, не сегодня, так завтра Фёдор приехать должен. Пойду я со своими подружками в деревне попрощаюсь. Вряд ли даст Бог ещё раз свидеться нам!

Ушла — и как в воду канула. Отправила Мария дочерей старших:
— Берите пилу, топор, тележку, ступайте в лес, дров надо напилить. Дожились, что скоро топить печь нечем будет!

Ушли в лес Дуся, Зина и Вера, тащат за собой ручную тележку, на которой не только дрова — сено и солому возили. Дело для них привычное: выбирают дерево, двуручной пилой валят его, распиливают на длинные сутунки. Складывают их на тележку, увязывают и везут домой, через лес, на просёлочную дорогу. Во дворе дома пилят их на чурки, раскалывают на поленья. Тем и топятся, и еду надо на чём-то варить.

К обеду Фёдор приехал в Асафьевку, привязал лошадь к забору отчего дома, снял шапку и поклонился ему в пояс. Здесь он родился и вырос, здесь жила его мать, Евдокия. А в другом приделе жила Мария, вдова его брата Александра, пропавшего без вести на кровавых полях войны. Зашёл к матери, а её дома нет; пошёл к жене брата, поздоровался. Встретила Мария радушно. Видит он: живёт вдова со своими дочерями бедно, голодно.
— Здравствуй, Фёдор! Проходи за стол, чаем напою! — в ответ на его приветствие пригласила хозяйка.
— Спасибо на добром слове! От чая не откажусь. Ты мне скажи, куда мать делась? — ответил гость.
— Сердцем чувствовала, что со дня на день приедешь за ней, пошла с подружками прощаться! Садись, пей чай, скоро должна вернуться!

Ополоснув руки под умывальником, сел Фёдор к некрашеному, но чисто выскобленному столу. Пока хозяйка хлопотала у плиты, он осмотрелся. На него с русской печи смотрели две пары любопытных детских глаз.
— Здравствуйте, девчонки! Если не ошибаюсь, младшенькие, Полина с Валюшей! А старшие где?
— Отправила в лес, за дровами, — топить нечем. Сколько смогут, привезут на тележке. Они уже большие, помощницы у меня! Скоро придут, отдохни немного, путь неблизкий. Ты уж прости, Фёдор, сахара и хлеба в доме нет, бери молоко в крынке, забели чай, поешь картошки варёной, — поставив перед гостем кружку с чаем, заваренным смородинным листом, тарелку с варёными клубнями, ответила Мария.
— Спасибо! Не беспокойся, Мария. Тут Феня дочкам гостинцы отправила, раздели на всех. А это тебе немного солёного сала. С тестем борова зимой закололи. Ничего, справный оказался. Он угостил, сало до сего дня едим понемногу.
— Спасибо, Фёдор, на добром слове! Соберутся все мои синички, тогда и гостинцы делить будем!

Открыла вдова единственный в доме настенный шкаф с нехитрой посудой и спрятала подарки, не глядя в сторону младших девочек, жадными, голодными глазами следивших за руками матери.
— Пусть прощается, не спешит, послезавтра поутру обратно двинемся. Пусть конь немного отдохнёт, — оттягивая неприятный разговор, сказал Фёдор.

Но, видно, почувствовала хозяйка, как он мучается совестью, и решила помочь:
— Правильно вы решили забрать мать к себе. Трудно ей со скотом управляться, сено косить, пусть поживёт остаток дней без этих забот и трудов тяжких!

Фёдор с благодарностью посмотрел на неё:
— Спасибо, Мария, что правильно понимаешь! Стыдно мне перед ней, одна вырастила четверых. Санька пропал без вести, Василий погиб, со снохой Матвея не ужилась. Не весь же век ей одной горе мыкать! Тебе будем помогать, чем сможем, поднимать дочерей!

Услышав про пропавшего без вести мужа, Мария заплакала, утирая уголком платка глаза, сказала:
— Видно, кому как на роду написано! Все под Богом ходим! — и перекрестилась на красный угол, где у неё стояла небольшая иконка в окладе: — Спаси и сохрани нас, грешных, Господи! Сейчас немного лучше стало, Дуся работать пошла, а так только молоком да картошкой и квашеной капусткой спасались. Евдокия, дай ей Господь здоровья, помогала: то молочка принесёт, то гостинцев, которые за врачевание люди приносили. Себе отказывала, всё девчонкам отдавала. Так и спасались от голодной смерти. Сейчас Дуся работает на приёмке зерна, от районного «Заготзерна», приносит изредка несколько горстей в карманах с тока. Толчём пшеницу в ступе и варим кашу, а сдобрить нечем, маслица нет. Слава Богу, картошки своей накопали; правда, гниёт сильно, но до свежей дотянем, — рассказывает ему о своей вдовьей жизни Мария.

Сидит Фёдор, слушает её рассказ, и жалко вдову до слёз. Знает он, что Евдокия была ей помощницей. А та улыбнулась и говорит:
— Что ты маешься, Фёдор? По глазам вижу. Пусть Евдокия едет к тебе, она для нас и так много добрых дел сделала! Годы берут своё, пора отдохнуть!
— Спасибо, Мария, что за матерью присматривала, десять лет она с тобой прожила! Теперь я хочу исполнить сыновний долг. Мы с Феней поговорили: пошли одну из дочерей к нам пожить. И матери не так скучно будет, и тебе подспорье — лишний рот не кормить.
— Что ты, Фёдор! Не в тягость мне Евдокия была! По дому, за дочками приглядывала. Раз решили, что будет с вами жить, — забирай, и корову её возьмите; даст Бог, проживём как все. А с дочками расставаться нет сил. Спасибо за заботу, я подумаю!
— Решили мы с Федосьей, что корову не будем забирать. Тесть обещал дать нам стельную тёлку, должна к весне отелиться, свою корову раздоим, а эта пусть у тебя останется, большое в семье подспорье.

Испугалась его слов вдова, отшатнулась, руками всплеснула:
— Что ты, Фёдор! Бог с тобой! Завтра властям донесут, что Боговенко Мария две коровы держит,

а это — верная тюрьма! И корову уведут со двора, и полными сиротами дети мои без матери останутся! Упаси Бог!

— До сей поры не отменили запрет? — удивился гость.

— Как же — отменили! Власть наша народная только и смотрит, чтобы мы, не дай Бог, не то что второй коровой не обзавелись — лишнего курёнка не завели! Три раза в год из сельсовета ходят, проверяют и переписывают, какая животина на дворе. Им разницы нет: один человек живёт — имеет одну корову, если десять детей у тебя — всё одно держи только одну корову. Разве в Москве не видят, что народ голодом живёт? Боятся, что разбогатеем на подсобном хозяйстве? Война кончилась, а налоги не снижают, так впроголодь и живём, даром работаем весь год в колхозе! Приходит осень — оказывается, что колхоз должен государству, хлебá неважные уродили, а колхозникам по трудодням вообще получать нечего.

— Ты забыла, Мария, что в революцию и гражданскую войну с белыми хозяйства порушились. Немного лучше жить стали — опять страшная война, опять разрушения. Чего ты хочешь? У рабочих нет подсобного хозяйства, они живут голодно, на продуктовые карточки.

Усмехнулась горько вдова:

— У них хоть карточки есть. А у нас? Вошь на аркане! Даром год работаем! А осенью по трудодням получать нечего. Оказывается, что колхоз государству должен остался! Мало того, что самим есть нечего, так и детей кормить нечем. Плохо, что быстро коммунисты обещания о счастливой безбедной жизни забыли. За что твой дед погиб? За что братья погибли и увечья на войне получили? За лучшую долю! А где она, эта лучшая доля? Где обещанная счастливая жизнь? Одна болтовня! Ты не помнишь, как жили при единоличных хозяйствах? Отец мой, Миней, царствие небесное, с матушкой, упокой, Господи, их души, день и ночь работали, все были сыты, одеты и обуты, ещё и продавали зерно, могли себе и детям обновки купить. Голода не мыкали, одетые, обутые зимой и летом ходили! Рабочие оттого и голодают, что колхозы, такие, как наш, имени товарища Сталина, не только их, но и колхозников прокормить не могут! А крестьян всех уровняли под одну гребёнку, все должны жить бедно, не только продать нечего, но и самим есть и носить нечего — обноски носим! Прости, Господи! За что муки терпели, голод и холод?

Фёдор ошеломлённо смотрел на Марию. Работая в леспромхозе, не знал он о нуждах и бедах крестьянства. Как человек партийный, посещая политзанятия, слышал, как там говорили о подъёме после войны сельского хозяйства и промышленности, повышении уровня жизни рабочих и крестьян. Теперь воочию увидел, как живут эти простые граждане Союза, потерявшие кормильцев, пять лет кормившие армию и всю страну. Впервые вдова погибшего брата своей скорбной речью открыла ему глаза на действительность. Нищета и разорение были спутниками большинства жителей колхозной деревни.

Между тем, стараясь выплеснуть с наболевшей души родному человеку, который не побежит доносить, Евдокия продолжила:

— А ты знаешь, какие налоги с нас ежегодно дерут? Двести десять литров молока, яиц сто десять штук, мяса сорок килограммов, с каждой овцы шерсти по три килограмма! Забил скотину — шкуру сдай! И всё это бесплатно, а за что, спрашивается? Чего хорошего мы от новой власти видим? Голод, разорение и нищету! Попробуй не сдай вовремя налог! Последнюю живность со двора уведут, не посмотрят, что семью на голодную смерть обрекают! Завёл две коровы — тюрьма! А коровке только-то и надо, что сена накосить на зиму. Чуть солнце пригреет — на зелёной травке жива будет! А сколько колхозных угодий, полей не обкашивается, бурьяном зарастает! Наша власть решила: пусть всё лучше пропадает, но жителям послабление дать нельзя. Одно слово — душегубы!

Молча слушал Фёдор, потрясённый простотой и беспощадностью крестьянского мышления вдовы, даром работающей весь день с раннего утра до позднего вечера, годами не получающей ничего не только за свои трудодни, но и помощи от государства на содержание дочерей, влачащей голодное, нищенское существование с пятью сиротами, которые кормятся только с огорода. Жалко стало её, подумал: «Не накликала бы беды своими разговорами», — говорит ей:

— Ты, Мария, меньше говори такие разговоры! Услышит кто — донесут! Ненароком можно и в тюрьму попасть. Детей осиротишь!

— Вот так и живём, друг друга боимся и не знаем, кто и когда на тебя донесёт! На этом стояла и стоит советская власть! Ты прости, Фёдор! На душе наболело, деды погибли, мужья, дети погибли за эту власть, а до сего времени власти той до простых людей дела нет, почти все живут в нищете! Поплачешь в подушку, выскажешься — вроде бы и легче на душе становится! Мы с матерью и детьми больше шести лет хлеба не видели, на картошке и квашеной капусте перебиваемся! — успокаиваясь, сказала Мария.

— Ты же говоришь, Дуся приёмщицей зерна работает? — удивился Фёдор.

— Что с того? Ты знаешь, сколько за ней глаз смотрит? За горсть зерна быстро упекут в тюрьму. Решилась она, попросила дядьку Антона ночью приехать на точок, нагребли с ним пять мешков зерна. По уговору должен он был смолоть его, муку рассыпать пополам. Так этот живоглот смолол пять мешков зерна, а это четыре верных мешка муки, под завязку, а нам привёз один мешок муки, натруской, даже не полный. А Дуся рисковала сесть в тюрьму! Вот так брат покойного мужа с сиротами поступает. А ему хоть ссы в глаза — всё Божья роса! А тут завёл разговор, что можно ещё раз на точок ночью заехать! Показала я ему от ворот поворот, едва удержалась, так мне его коромыслом огреть хотелось!

— Нашла ты кому довериться! Антон смолоду такой был: своего не упустит и чужое присвоит! Нас с Матвеем мытарил, работать на себя заставлял, а за это сухой горбушки хлеба не дал. А сами за

занавешенными окнами колбасу трескали, когда мы с голоду пухли!—согласился с ней Фёдор.— Но всё-таки поостерегись, Мария. Дети слышат твои разговоры, сболтнут где, дойдёт до ушей власти—беды не оберёшься! Нужда будет—весточку присылай, поможем! Перестань, Мария! Родня мы кровная! Говорил я с Федосьей, хотим помощь тебе оказать! Отправь к нам одну из дочерей пожить—и матери не так скучно будет, и тебе лишний рот кормить не надо! Ты подумай, прежде чем отказываться. Поживут девчонки у нас, откормятся. Погляди на них—кожа да кости. Погостит одна—другую возьмём!

Слёзы брызнули из глаз вдовы. Рыдает она, а Фёдор успокаивает:

— Не в тягость они нам будут, как к родным будем относиться!

— Не смогу, наверное! Привыкла видеть их каждый день!—немного успокоившись, говорит Мария.

— Ничего, стерпится-свыкнется. Подумай хорошенько, облегчение большое для тебя будет, другим еды больше достанется! И соседи не осудят: чай, не в детский дом сдаёшь, а в родную семью, с возвратом!

Задумалась вдова, молчала, вытирая кончиком платка слёзы. Молчит и гость, знает, что нелегко Марии даже на время расстаться с дочкой.

Наконец хозяйка нарушила молчанье:

— Не торопи меня, Фёдор, дай время подумать!

— Конечно, подумай, с матерью посоветуйся; думаю, она меня поддержит! Видел, у тебя под стеной амбара чурки дров лежат, давай я тебе разобью и поколю, чем-то заняться надо. Принеси мне колун.

Обрадовалась хозяйка:

— Вот спасибо на добром слове! Остались чурки, сучками переплетённые, пробовала сама разбить, да куда там. Мужицкая сила нужна, крепкие руки! Дочерей в лес за дровами посылаю, еду варить стало не на чем!

Смотрела вдова на младшего брата мужа, сгинувшего на войне, и катились градом из глаз слёзы: «Был бы Санька жив, разве мыкала бы я горе с дочками? Господи, за что наказал нас, за какие грехи?»

Разбивал Фёдор сучками переплетённые чурки и складывал в поленницу у стены амбара. А в голове партийного мужика роились крамольные мысли. «Что за власть такая, советская, которая душит крестьянина! Разрешает ему иметь только одну дойную корову! Мужики почитай все полегли на войне, в колхозе одни вдовы с детьми малыми да старики остались, на трудодни много лет ничего не получают! У многих, как у Марии, мужья на фронте пропали без вести! В чём их вина? Были тяжёлые бои, и катилась наша армия на восток без остановки до самой Москвы. А немцы нашим войскам котёл за котлом устраивали, всех стреляли и в плен забирали! В чём вина тех, кто остался в деревнях? Почему власть лишила их продовольственного пайка пропавших без вести кормильцев, бросила на произвол судьбы, заставила многие годы работать бесплатно? Почему бы не разрешить держать по паре дойных коров? И люди были бы с едой, и государству излишки молока и мяса сдавали! Так нет же, под страхом тюрьмы запретили держать больше одной коровы! А что ей надо-то: сена накосил—и она всю зиму с кормом, только пои, а пошла травка—она и сама прокормится! Никакого вреда колхозу, стране—большая помощь продуктами. Налогами три шкуры с деревенских дворов сдирают, для себя, на прокорм семье ничего не остаётся!»—думал Фёдор, член ВКП(б) с тысяча девятьсот сорок второго года, с остервенением обрушивая колун на очередную чурку, как будто это она была виновата.

За этим занятием и застала его вернувшаяся от подруг Евдокия. Поздоровался сын, отложил колун, зашёл в избу—дух перевести и поговорить, присел на лавку.

— За тобой приехал, мама. Писала тебе Феня, что заберём к себе в Хабайдак, с нами жить будешь!

— Знаю, прочитал письмоносец ваше письмо! Спасибо на добром слове, что не забываете мать родную. Решилась я! Поеду с тобой, стара уже стала, не смогу хозяйство держать, да и Марии помочь детей воспитывать не смогу, а обузой быть не хочу. Когда назад собрался ехать?

— Лошадь немного отдохнёт, попасётся денёк, я чурки Марии разобью, без меня ещё десять лет лежать будут. И тебе собраться надо. Послезавтра по тёмному тронемся в путь.

— Это хорошо, что послезавтра, сегодня с дороги отдыхай, а завтра на кладбище пойдём, могилы отца, пращуров навестим. Пусть Господь пошлёт им царствие небесное! А мне чего собирать? Посуду Марии оставлю, ей сгодится, а все наряды в сундук мой невестин поместятся! Слава Богу, сохранился. Когда выходила замуж, с сундуком, полным приданого, в семью родителей мужа приехала. Без сундука никто свадьбы гулять не стал бы. Было поверье: нет сундука—не будет у молодожёнов счастья!—рассуждает старушка.

Слушают её внучки, головой кивают, вспоминают, как рассказывала бабушка им о сундуке, видели его на чердаке дома. Показывала им Евдокия свои сокровища. Вытащила бережно кусок сатина белого, говорит: «На смерть берегу, гроб прибрать!» Достала кофту и юбку: «А в этом наряде предстану перед Господом нашим, на Страшном суде!» Бережно, со дна, достаёт большой чёрный платок с красными большими и красивыми цветами: «Подарил мне этот платок Потапушка на Святую Пасху! Надевала его два или три раза, когда на праздники с ним ходила. Как убили его, кончились для меня праздники, а платок здесь как память лежит. Отдала бы я вам его, но истлел он, края осыпаются, пусть лежит!»

Их воспоминания прерывает голос бабушки:

— Дуся, а ты с нами на кладбище пойдёшь? Ты же меня всегда провожала.

— Пойду, бабуля, конечно, пойду!—всхлипывает та.

Утром встали, попили чаю, собрались на кладбище.

— Слава Богу, собрались в последний раз навестить усопших. Вряд ли у меня будет возможность ещё поклониться родным могилам,—крестится бабушка, а из глаз слёзы катятся.

— Не плачь, бабуля! Ведь я с тобой! — успокаивает внучка.
— Как же не плакать! Прощаюсь я навсегда с родными местами, не увижу их больше, и вас больше не увижу, голубки мои ненаглядные!

Плачет бабушка; слушая её, плачет вместе с ней внучка, которая с рождения видела рядом с собой добрую и ласковую бабушку Евдокию. И в горе она помогала, и в радости, заботилась и лечила внучек. Гостинцы, получаемые от людей, которых лечила, внучкам отдавала, угощала чем могла, от голода спасала. А теперь её не будет. Плачет девочка, просит:
— Не уезжай, бабуля! Не уезжай! Как же мы без тебя?
— Прости, внученька! Старая я стала, не могу с хозяйством управляться, сено косить да дрова заготавливать. Поеду к Фёдору, младшему сыну, в Хабайдак! Простите меня, старую! — прижимая к себе внучку, рыдала старая женщина.

Взял Фёдор мать под руку, и пошли они из села по просёлочной дороге, заканчивающейся в лесу, у ограды погоста. Десятилетиями увозили на телегах по ней в последний путь жителей села Асафьевка, одним из основателей которого был дед Фёдора, Пшеничный Емельян.

Идут они, а вокруг стоят стройные сосны с зелёными кронами, белоствольные берёзки на слабом ветерке машут Евдокии ветвями, шуршат их зелёные листочки, прощаются. Земля покрыта зелёным ковром мха, на нём буйно разросся брусничник с почти круглыми лоснящимися листьями; кругом буйство жизни, и думать о смерти не хочется. Прощается мысленно с лесом Евдокия, старается всё рассмотреть, чтобы подольше сохранить в памяти.

Но вот показалась поляна, огороженная забором, за ним в беспорядке возвышались скорбные холмики, увенчанные крестами. Подошла Евдокия к могиле свёкра, Пшеничного Емельяна, так много сделавшего для внуков, оставшихся сиротами. Поклонилась до земли, поплакала, помолилась за упокой души. Подошла к могиле своенравной свекрови, Анны Фроловны, ей отвесила земной поклон, попрощалась, попросила у Господа, чтобы простил её грехи.

Подошла к могиле Потапа, ноги её подогнулись. Упала грудью на могилку, а тело стали сотрясать рыдания. Подняли её Фёдор и внучка, усадили на край могилки. Плачет бабушка и причитает:
— Прости, Потапушка, больше я к тебе не смогу прийти, проведать! Уезжаю жить далеко, к сыну нашему, Фёдору. Старая стала, за скотом ходить, сено косить сил нет. А ещё прости, что оставляю Санькиных детей-сирот. Они ещё малые, помощь им нужна, а я уже не в силах! Обузой для них быть не хочу!

Обняла Дусю, и плачут обе. Понимает внучка, что бабушка, видеть которую она привыкла каждый день, завтра от них навсегда уедет. И не услышит она её добрых слов, советов, наставлений. Не будет она ждать с кринкой молока, когда та проснётся. Плачет девочка в три ручья, плечи худенькие трясутся. Прижала её к груди бабушка и давай успокаивать.

Фёдор успокаивает обеих, говорит:
— Успокойся, мама! Обещаю, что Санькиных детей я не брошу, помогать буду! До смерти я перед Марией в долгу неоплатном!

Взял он мать за одну руку, за другую её придерживала внучка, и тихонько пошли домой в скорбном молчании. Проплакала Евдокия всю ночь, забылась в коротком сне под утро. Понимала, что навсегда уезжает из ставшей родной Асафьевки, куда привёз невестой Потап, где прошла молодость, где нарожала и вырастила детей, откуда проводила их на войну, где состарилась в трудах тяжких, от родных сердцу могил.

На следующий день, ещё затемно, стали собираться. Фёдор снял с чердака сундук, пристроил его сзади на телегу, а мать кросна тащит.
— Нет места, унеси назад, да и не нужны они — ткать не из чего, лён не сеем! — сердится сын.
— Но как же без кроснов? Какую холстину соткать, носить будет нечего! — настаивала мать.

Взял Фёдор кросна, занёс в дом, поставил к стене, забил окна и двери родного дома досками, поклонился ему.

Зашёл проститься в половину снохи, где его ждала мать, а там уже все на ногах. Дуся ждёт, когда бабушка уезжать будет, проводить хочет, подбежала, обняла, заплакали обе. Проснулись и окружили бабушку все внучки: Зина, Валентина, Вера, Полина. Ревут в три ручья, просят, чтобы бабуля не уезжала!

Прикрикнула на них Мария, немного успокоились. Приглашает она:
— Садитесь, попейте чайку на дорогу, я картошек в мундире сварила, отведайте и с собой возьмите, молочка попейте! Путь неблизкий!

Сели за стол Фёдор с матерью, говорит он:
— Не печалься, Мария! Ты в отношении дочки не передумала?

Заплакала вдова:
— Не могу я никого от сердца оторвать! Прости, Фёдор, подумать мне надо!
— Помни: чем смогу, буду помогать тебе сирот на ноги ставить! Будет нужда — пиши! Спасибо тебе за мать, что столько лет ухаживала за ней!

Прощаясь со снохой, Евдокия не сдерживала слёз, обняла её, и слёзы градом капали на плечо Марии.
— Спасибо тебе, Мария, за всё! Прости, что уезжаю, стара я стала, трудно жить одной, и для тебя я уже не помощница. Видно, удел всех стариков — доживать остаток жизни возле детей своих!
— Это тебе спасибо, Евдокия, за помощь и доброту ко мне, к сиротам моим! Помогла ты мне сохранить их в лихую годину, досматривала, лечила, себе в последнем куске отказывала, сироткам отдавала. Не поживётся со снохой — возвращайся в дом родной, знай, что я тебя всегда приму! — рыдая, провожала её невестка, жена сгинувшего без вести на войне сына Александра.

Попрощалась бабушка с ревевшими рёвом девчонками, обняла каждую, и для каждой из них

нашлось доброе слово. Усадил её Фёдор на телегу, на задке которой возвышался девичий сундук, привязал верёвку с коровой, ещё раз в пояс поклонился Марии и девчонкам, родному дому и тронул вожжи. Но упёрлась корова, будто знает, что уведут её куда-то далеко от родной деревни. Взяла Дуся прутик и легонько подгоняет её за телегой. Ехала Евдокия по Асафьевке, в которой прошла вся её жизнь, с самого замужества, не стесняясь слёз, прощалась с ней. Вот и поскотина. Спрашивает внучка:

— Бабуля, а мне что, коровку до Хабайдака гнать?

Но, видно, поняла корова, что надо идти за телегой следом, и сама пошла.

— Прощай, внученька! Даст Бог, ещё свидимся! Беги к матери! — сквозь слёзы говорит ей бабушка.

Так и осталась в её памяти стоявшая на дороге внучка, залитая слезами, махавшая рукой на прощанье.

Не успокаивал её Фёдор, понимал, как тяжело даётся расставание с родной деревней, могилами родных и близких. Неспешно шагал конь, за телегой, понурив голову, брела корова, а крамольные мысли не покидали Фёдора, будоражили душу. В конце концов он пришёл к выводу: «Вождям в Кремле виднее, а наше дело — десятое: исполнять волю партии, указания товарища Сталина, а не думать, зачем да почему. Так можно додуматься, договориться, что окажешься вместе с «врагами народа» на лесоповале или у стенки!»

Но в душе остался нехороший осадок от такого отношения власти к крестьянам. Расстроившись, он вожжой подхлестнул лошадь:

— Н-но, Карька! Шевелись, совсем заснул на ходу!

Переночевав в придорожном селе, на следующий день привёз Фёдор мать в Хабайдак. Привязав коня у барака, сказал:

— Добрались! Здесь мы живём!

Помог матери слезть с телеги.

В это время вышла немного смущённая Федосья, она боялась не понравиться свекрови, не знала, как её называть. Видит, старушка устала, взяла под руку:

— Здравствуй, мама! Меня зовут Феней!

Утомлённая дальней дорогой, Евдокия облегчённо вздохнула, перекрестилась:

— Слава Богу, приехали! Думала, дороге конца не будет. Показывай, дочка, как вы живёте.

Она была довольна: невестка её хорошо встретила, поздоровалась. Поддерживая старушку, Федосья сказала:

— Проходи! Располагайся! У нас небольшие комнатки, но всем места хватит. Фёдор тебе широкую лавку сделал. Если хочешь, можешь спать на печи, зимой теплее будет. Потом кровать справим!

— Здравствуй, невестушка! Дай я на тебя посмотрю, с кем мой сын живёт!

Осмотрела молодую женщину; не услышав в её голосе фальши, осталась довольна.

— Видная да ладная у тебя жена, Фёдор! Спасибо на добром слове! Нам, старикам, много не надо, главное — был бы свой тёплый угол да еды нехитрой немного! Можешь рассчитывать на меня: чем смогу, буду помогать! — говорит Евдокия, едва стоящая на ногах после дальней дороги.

Увидела это невестка, завела в комнату, помогла сесть на лавку за столом, мужа усадила, налила всем мясного борща с кислой капустой, нарезала чёрного ноздреватого хлеба, в кружки чай налила, молоко в кринке поставила.

— Отведай, мама, наш хлеб-соль! — говорит Федосья и не знает, понравится ли ей такое обращение.

Несмотря на усталость, та заметила смущение, улыбнулась:

— Можешь звать меня матерью или Евдокией, можешь свекровью, я не в обиде буду! Приняла ты меня хорошо, я буду звать тебя Федосьей, дочкой и невестушкой, так что ты не обижайся!

Настороженно слушает Фёдор их разговор, пытается понять, по душе ли пришлась невестка матери. Увидел, что отношения налаживаются, вздохнул спокойно.

— Какие обиды! Хорошо, что сразу определились. Покушайте и ложитесь отдыхать, путь неблизкий, — улыбнулась Федосья.

Отломила Евдокия кусочек хлеба и бережно держит его в руке, смотрит пристально, а у самой слёзы текут по щекам. Откусила, пожевала, говорит:

— Господи! Уже забыла, когда хлебушек в руках держала, на вкус пробовала! Много лет прошло с той поры!

Поела хлеба с молочком, перекрестилась и говорит:

— Спасибо за хлеб и за соль! Права ты, невестушка, все косточки болят, отдыха просят! Показывай, где мой угол.

С той поры стала она жить в квартире Фёдора, за занавеской. Была надёжным помощником снохе, прибиралась, варила нехитрую еду, топила печь. Работы хватало, но она была счастлива, что жила с младшим сыном и его женой. А много ли старикам надо — немного еды да свой угол с лавкой.

Поставил Фёдор корову матери в стайку, отдохнула она после долгого перехода и стала давать много молочка. Стали Зорьку выгонять в стадо, к пастуху. Заботилась о ней Евдокия, как о дите малом.

Правду говорят, что земля слухами полнится: докатился слух о способности Евдокии лечить людей и до Хабайдака.

Кровавый диктатор товарищ Сталин, присвоивший себе имя «вождя и учителя пролетариата всех стран», окружавшие его еретики и мракобесы, стоявшие у власти, отвергшие Христа, калёным железом выжигали у людей веру в Господа, добро, счастливую жизнь. Превратив население огромной страны в рабов, не стремились обеспечить «строителей социализма» хотя бы элементарным медицинским обслуживанием. А для чего? Их миллионы: одни помрут — на их место придут другие. Народ — это стадо, расходный материал, и им можно пожертвовать для строительства социализма во всём мире.

Не только врача, но и фельдшера в посёлке не было. Лесорубы, работавшие в лесосеках, жили в бараках, в грязи, антисанитарии и не знали, что

на свете есть доктора. Обязанности фельдшера, по совместительству, выполнял ссыльный поляк, ветеринар Шпичек, лечивший леспромхозовских лошадей. Большинству обращавшихся к нему больных ничем помочь не мог, советовал обращаться к Пшеничной Евдокии.

Не знавшая грамоты бабушка Евдокия, как её почтительно называли жители не только Хабайдака, но и окрестных посёлков, обладала Божьим даром: была повитухой, принимала роды, лечила молитвами и травками, которые собирала по полям и лугам, сушила, готовила нужные сборы. Рожа, грыжа, испуг, порча, сотрясения головного мозга, кровотечения и даже эпилепсия успешно ею излечивались. Прежде чем лечить, расспрашивала страждущего о болезни, осматривала, ощупывала, спрашивала, где болит, только потом начинала лечение. Давала в руки глиняную чашку с водой из криницы, требовала, чтобы держал её над головой, читала молитвы, в конце выливала расплавленный воск в воду.

Разглядев застывший в воде воск, говорила:
— Слава Богу! Болезнь твоя слилась с воском на воду, больное место мочи, но не протирай, и пусть наговоренная водица унесёт болезнь, а тебе, раб Божий, Господь здоровье пошлёт!—крестилась бабушка, заканчивая лечение, сливая воду в принесённые посудины.

Были случаи, когда больных привозили на телегах, сами ходить они уже не могли. Евдокии было достаточно одного взгляда:
— Сглазили тебя, голубушка. Сильную порчу напустила чёрная колдунья. Порчу на смерть! Вовремя ты ко мне попала, потянула бы ещё—всё плохо бы закончилось. Садись, буду снимать…

Никому она в помощи не отказывала, иногда велела жить в Хабайдаке несколько дней, приходить к ней на лечение. Но никогда денег, продуктов в оплату за лечение не брала, а когда спрашивали, сколько должны, отрицательно качала головой:
— Не должны вы мне ничего! Не я вас лечу, через меня Господь и святые угодники исцеляют! Идите с миром!

Но от подарков, когда приносили, не отказывалась, благодарила за них. Прознали про то жители посёлка, не унимаются, судачат старушки:
— Стольких лечит и плату не берёт! А ведь могла бы озолотиться, не ходить в обносках! И семья в достатке жила бы!

Дошли до Евдокии досужие сплетни, вышла она погреться на солнышке со своими соседками. Сидят на завалинке барака, а они ей свою песню заводят. Послушала их с улыбкой и говорит:
— Подарки дарятся от чистого сердца, грех отказаться их принять для дел богоугодных; страждущим помогать, делиться с ними хлебом-солью Господь завещал! А требовать плату за врачевание—это от лукавого! Я молюсь Господу, Пресвятой Деве, другим святым угодникам, прошу у них помощи и должна делать это с чистыми помыслами, без корысти! Как только плату потребую или возьму—мои святые покровители отвернутся от меня! Господь отымет дар и покарает за ослушание! Мне много не надо: что Господь пошлёт нам, за то и спасибо! Фёдор с невесткой работают, огород, опять же, есть—слава Богу, на жизнь хватает, живём как все!—поставила она точку в досужих сплетнях и разговорах.

Шли люди со своими болезнями из посёлка и с окрестных сёл. И никто от целительницы не знал отказа, всем она помогала: кому словом добрым, кого лечила. Доброе у неё было сердце. Всех она встретит, приветит, голодных накормит, напоит, последним поделится.

Радовалась и сама Евдокия. По душе ей пришлось житьё в семье младшего сына и его жены Федосьи, благодарила она в своих молитвах Господа, что надоумил её переехать в Хабайдак, где встретила она понимание и заботу сына и невестки.

С появлением коровы появились новые заботы. Фёдор купил стог сена. Утром Зорьку выгоняли в стадо, вечером Евдокия встречала её, доила, бросала пару навильников сена. Она знала притчу о том, что у коровы молочко на языке, должна она весь день жевать траву или сено, вовремя её надо напоить, тогда и молока много даст. Холила её хозяйка, баловала, разговаривала с ней. Была она для Евдокии как родной человек из её прошлой жизни.

Соседи завистливо смотрели, как дружные новосёлы, в руках которых спорилась работа, за лето разработали и засадили огород, стайку поставили и обзавелись хозяйством. Незаметно в трудах и заботах лето пролетело, за окнами осень, ветер жёлтый лист гонит, травы пожухли. А у Евдокии душа болит за внучек, оставшихся в Асафьевке, и говорит она как-то вечером, когда семья собралась за ужином:
— Дом у вас, слава Богу,—полная чаша. Картошки много накопали, капуста выросла хорошая, корова стоит в хлеву, молочко своё, хлеб почитай каждый день едите. Подумайте, дети: может, взять вам одну из дочек Марии? Пусть поживёт у вас, ей помощь большая будет—одним ртом меньше!

Посмотрели молодожёны друг на друга, говорит Фёдор:
— Говорил я Марии, когда за тобой приехал, просил одну из дочек к нам отправить. Не захотела, сказала, что подумает, а мы с Федосьей согласны! Ты старая, на печку не залезешь, а девчонка может на печке спать! Надо напомнить Марии!
— Вот и хорошо, что оба согласны. Ты, невестушка, пропиши Марии письмо, укажи, что я прошу направить помощницу. Даст Бог, и у вас кто родится, сразу за двумя внуками присматривать буду!

Написала Федосья письмо в Асафьевку, попросила отправить одну из девочек к ним в Хабайдак, что они с Фёдором согласны и требует бабушка Евдокия. Подумала Мария, погоревала, а делать нечего: уехала свекровь—труднее стало жить. С одной коровы много молока на еду не возьмёшь, о сдаче налога думать приходится, а за год двести десять литров сдать надо.

Утром затемно ушла на работу, а вечером собрались девочки за столом—она говорит:
— Баба Дуня письмо прислала, пишет, что живёт хорошо, каждый день хлеб ест, просит отправить ей в помощь кого-то из вас. Долго я думала, так и не

решила, кто из вас пойдёт,—а сама отвернулась и слёзы украдкой вытирает.

Услышав, что в далёком Хабайдаке бабушка каждый день хлеб ест, первой голос подала Полина:

— Мама, отправь меня! Я хочу вдоволь хлеба поесть!

— Хорошо, доченька, поживёшь—потом ещё кто-то пойдёт!

А девчонки в голос:

— Мы тоже хотим вдоволь хлеба поесть! И нас отправь!

Заплакала вдова:

— Девочки вы мои ненаглядные! Разве не хочу я для вас лучшей жизни? Но и мне одной, без вас, с хозяйством и огородом не управиться!

На том и порешили, что первой пойдёт Полина. Говорит ей мать:

— Собирайся, дочка. Пойдёшь завтра утром с нашими колхозниками, они идут на лесозаготовки в Ангул через Хабайдак, а там дом дяди Феди найдёшь.

Машин не было, и восемьдесят километров привычно шли люди от села к селу, ночуя в заезжих избах, у знакомых, кто как сможет. Не от хорошей жизни приняла это решение многодетная вдова, многолетняя голодная жизнь была причиной. Надеялась она, что у родни поживёт дочь в сытости и достатке. Она не ошиблась: рабочие леспромхоза жили гораздо лучше колхозников, им ежемесячно платили деньги, да и подсобное хозяйство было большим подспорьем. Знай работай, не ленись!

Так в семье Фёдора появилась Полина, одна из младших внучек Евдокии. Она стала верной помощницей бабушки в домашних делах. Прожила около года, спала на тёплой русской печи, которую зимой и летом приходилось топить для приготовления пищи. Потом Мария прислала Зину, она помогала бабушке нянчиться с внуком Виталькой, родившимся у сына.

Тесть, Ефим, как и обещал, подарил стельную нетель, Майку. Привёл её Фёдор с Мины, а вскоре ударили морозы, полетели белые мухи, кончился сезон выпасов. А у него в стайке две головы скота стоят: Зорька и Майка.

Забеспокоилась Федосья, говорит:

— Фёдор, надо что-то делать, сена не хватит на зиму! На одну голову два стога надо, а у нас две головы! Даст Бог, Майка отелится, приплод кормить опять же сено нужно.

— Не горюй, Ефимовна! Пока этот зарод кончится, заработаем денег, зимой стог купим. Ближе к весне ещё один прикупим, до весенней травки Майку прокормить хватит. А с материной коровой надо что-то делать, две запрещают власти держать!

Понимая, что у матери от прошлой жизни осталась только кормилица-корова и трудно будет с ней расставаться, скрепя сердце, сын завёл разговор:

— Мама, надо твою корову продавать, две держать нельзя, в тюрьму угодить можно, и сена мало, до новой травы не дотянем.

Невестка рядом с мужем сидит, головой кивает, на свекровь смотрит.

Помолчала, подумала Евдокия. Видят дети, на глазах у неё выступили слёзы.

— Знать, пришла пора и с Зорькой расстаться! Что делать, видно, судьба у стариков такая! Обрывается и у меня последняя ниточка с прошлой жизнью! Ищите покупателя, резать не дам, даже не думайте! Меня и внучек корова от голодной смерти много лет спасала!

— Что ты! Никто и не думал резать, будем искать покупателя—может быть, кто возьмёт!—заверил сын.

В посёлке новости, как птицы, быстро разлетаются по домам, и покупатель быстро нашёлся, пришёл вечером следующего дня. Переступив порог, снял шапку, поздоровался:

— Доброго здоровья хозяевам!

— Сам будь здоров! Проходи, Андрей, садись,—приглашает хозяин.

Сел гость на лавку, теребит шапку и говорит Фёдору:

— Слышал я разговор, что собираешься корову продавать. Хотел узнать: что попросишь? Моя-то кормилица съела что-то, раздуло её к утру, едва успел прирезать. Если бы сдохла, пришлось бы мясо выбрасывать! А в доме четверо ребятишек маленьких, без молока и кормить нечем, сам понимаешь! У всех одна еда—молочко да картоха! Так что выручай, земляк!

— Это не ко мне. Корова матери, Евдокии, вот она, с ней и веди разговор,—смеётся хозяин.

Повернулся гость к Евдокии:

— Христом прошу! Продай коровку, детки малые который день голодом сидят! Есть просят, а нечем кормить—молока нет! Хоть в петлю лезь!

Внимательно посмотрела на него Евдокия, думает: «Раз о детях печётся, справный хозяин должен быть, такому можно передать Зорьку, в надёжных руках будет!»

— А скотину давно держите? Ухаживать за ней умеете?—спрашивает Евдокия.

— Сызмальства! Сколько себя помню, родители держали, я отделился—нетель мне дали. Всю жизнь со скотом живём, умеем ухаживать,—догадался Андрей, куда клонит хозяйка.—Да и сена у меня во дворе почитай два зародика стоит! Будет чем до весны кормить!

Послушала его старушка, подумала и говорит:

— Одно условие тебе поставлю! Пока я жива, не зарежешь ты мою Зорьку! Дорога она мне, как дитя родное!—а у самой слёзы текут.

— Да что ты, Евдокия! Господь с тобой! И в мыслях не было! Не для этого торг веду! Детьми клянусь, что будет жить у меня твоя Зорька до глубокой старости! Называй цену, даже торговаться не буду. Позарез нужна мне корова!

Назвала цену Евдокия, немного подумала и говорит:

— Скину я тебе четверть цены, если Господом поклянёшься, что, пока жива, не пустишь под нож мою Зорьку. Я её хоть издали буду видеть, она для меня память о прошлой жизни в Асафьевке!

— Господом, здоровьем детей клянусь, что уговор сдержу! Век мне счастья не видать, если нарушу слово!—клянётся Караваев, теребит шапку,

а у самого душа поёт. Нет у него полной суммы запрошенных денег, хотел отсрочку расчёта просить, а тут продавец сама цену скидывает.

Утомилась Евдокия торгом, замолчала, а гость боится, что передумает, что сгоряча о скидке обмолвилась.

— Так я могу быть в надежде? Побегу за деньгами? Жёнку возьму, корову гнать поможет, и деньги сейчас принесу! Одна нога здесь, другая там! — сказал он, вставая.

Фёдор засмеялся:

— Беги скорей, пока мать не передумала!

Прибежал Андрей домой запыхавшийся, жена забеспокоилась:

— Ты чего такой взъерошенный? Неужто Фёдор отказал? — спрашивает со страхом.

«Где мы среди зимы в леспромхозовском посёлке ещё корову купим? Видно, не судьба жить с молоком! Господи! Чем же детей кормить будем?» — проносятся в голове тревожные мысли.

А муж мимо неё шасть, руку за старое зеркало запустил и свёрток с деньгами достаёт.

— Собирайся, Клавдия, быстрей, пойдём за коровой! Ты можешь не поверить! Бабка Дуня за то, чтобы мы коровку под нож не пустили, четверть цены скинула! У нас скопленных денег как раз хватит за корову заплатить! И отсрочку просить не надо! — почти кричит хозяин от радости, пересчитывая деньги трясущимися руками.

Перекрестилась Клавдия, от души отлегло, слёзы на глазах выступили:

— Слава Богу! Теперь с голоду дети не помрут! Будет чем кормить ребятишек! — а сама накинула заношенный полушубок, повязала платок, сунула ноги в изношенные до дыр валенки и торопит: — Пошли скорей, а то передумает!

— Ты, мать, бутылку самогонки возьми, доброго человека отблагодарить надо! Да верёвку не забудь, на чём вести коровку домой, — сгребая деньги в карман, говорил муж.

Примчались почти бегом Караваевы к Фёдору, выложил Андрей деньги на стол и вздохнул с облегчением:

— Считай, Евдокия! Здесь всё до копейки, как просила!

— Пусть Феня посчитает, неграмотная я! — грустно отвечает Евдокия, а самой не хочется не только брать в руки, но и смотреть на его деньги, так ей свою Зорьку жалко.

Посчитала невестка, подаёт свекрови:

— Все деньги, как уговаривались!

— Ну вот, славно всё получилось, и мне на смерть денежка какая будет, и Зорьке я жизнь сохранила! — говорит старушка.

Радуются Караваевы: деньги отданы, назад пути нет. Достаёт хозяин из кармана бутылку самогона:

— Давай, Фёдор, покупку обмоем! Сильно меня выручили, у меня четверо голодных ртов, теперь с молочком да картошечкой не пропадём!

— Не пью я, Андрей. Ты с матерью разговаривал, её и угощай!

— Как не пьёшь? — удивился гость. — Господи, впервые вижу непьющего мужика!

— Не пьёт он. Ты мне налей глоток, тяжко с кормилицей расставаться! — вмешалась Евдокия, уголком платка вытирая глаза.

Выпили они помаленьку, говорит бабушка:

— Хватит, касатик, оставь мне самогоночку. Старая я стала, сгодится для компрессов и примочек. Ты, дочка, сходи в стайку, отдай им Зорьку, пусть живёт с Богом!

Владимир Селянинов

Гонимые

Журнальный вариант

Облагодетельствованный народ, как и отдельно взятый человек, не успокоится до тех пор, пока не отомстит своему благодетелю.

Ф. М. Достоевский

Иванова начинает чёрными

«Как прекрасен этот мир!»—восхитится тот, кто побывал в Саянах тихим осенним днём—в местах, где ещё не натоптаны тропы пришлыми и где листья, напитанные солнцем, тихо ложатся на землю. В это время можно увидеть, как сверкнёт бусинками глаз бурундучок, и услышать, как затрещит сорока, оповещая о чём-то лесных жителей, а набежавший издалека тёплый ветер пошумит в кроне высокого кедра. И снова становится тихо-тихо, так, что влюблённый в эту землю услышит, как ложатся листья и как где-то далеко-далеко закукует кукушка—жизнь она обещает.

Но вот в этих местах, где начинает свой бег ручеёк, дающий жизнь реке и океану, появились люди—гордые, завистливые. И стали называть цифры, как пожать более и побыстрее из того, что «само наросло»… И теперь в тех местах не тропы, а дороги-времянки пересекают ещё недавно нехоженую тайгу, а по берегам озёр высохшие кедры и низкорослые кустарники стучат ветками на ветру—к небу они их тянут.

Вот вороньё кружит над полями и людьми в грязных одеждах, желающих найти утерянное. Рассказывают, кто-то в тех местах заграничный бумажник нашёл: красивый, тонкой выделки кожа. Золотом тиснён… И теперь, ещё говорят люди, в том месте, где был кошель с долларами, сидит на ветке старый ворон. Массивный клюв опустил—как в ожидании он пребывает. Шевелятся под ним на ветру красочные обёртки от заграничных сладостей, да поворачивается на сухом сучке забытый предмет дамского туалета. Трудно определить возраст и пол людей в грязной одежде, несвеж предмет дамского туалета. Но, обнадёживает, иногда в те места чиновники наезжают, пальцами тычут в трёхэтажные формулы сложных расчётов, большие перемены они обещают. «Вот-вот свершится»,—говорят. Верим, немного уже осталось нам ждать… Как-то заграничные те места навестили, обещали грант на многосерийный фильм о «предмете». «Тяжёлое наследие прошлого»—будет название очередного кино.

«Всё проходит,—сказал когда-то ветхозаветный пророк,—пройдёт и это». Но сегодня, когда над землёй поднимается ночное светило и не имеющий дома говорит: «Господи, Господи, какая же она длинная у Тебя, эта ночь… И нет ей ни конца, ни края!»—совсем холодным кажется ему свет от луны, знающей причину, начало и конец всему.

Свой путь по лабиринтам жизни Рая Иванова начинала, как многие наши деревенские. Из Берёзовок или, скажем, Сосновок, разбросанных по Сибири. Ей местом рождения была определена судьбой деревенька Осиновка, что и случилось в положенное время. Папа у неё механизатор широкого профиля, в промасленной спецовке он ходит между тракторами-комбайнами—человек уважаемый в деревне. Мама весь день в свинарнике, с запахом от профессии возвращалась домой. Была старшая сестра, Раю опекала, могла и с мальчишкой подраться. Жили в своём доме, при большом огороде, как многие тогда.

Грустила школьница Рая, рассматривая яркие журналы, что случалось взять у учительницы. Хотелось ей прикоснуться к красивой жизни. Посмотреть на городских, что мчатся на скором поезде мимо всяких Осиновок. А у них в доме, в русской печи, в чугунке булькает. Репа парится. Корова во дворе жвачку пережёвывает. Кажется, целую вечность Рая слышит с улицы лай собачонки. Там бабка Пафнутьиха—да что это за фамилия-то такая?!—в фуфайке, в руке хворостинка, на собачонку ею машет. Через дорогу паренька из их школы видно—в ватных штанах ходит! А Раечке—шестнадцать. В груди у неё томление, её в новую жизнь оно зовёт…

Вот наконец-то и наступил день, когда отец передаёт повзрослевшей дочери чемодан, собранный для отъезда. А мать—кому попало доверять не советует.

—Город Зеленоярск—большой, ты смотри там…—в руке платочек мнёт.

Ещё через месяц Раю зачислили в институт, на факультет иностранных языков она поступила. Койко-место ей выделили в общежитии: запах щей в коридоре того общежития, застиранное бельё сушится на батарее. Может, потому и показалось девушке таким красивым знакомство с молодым человеком из городских—воспитан, образован. Одет как немногие.

Странно было Рае через два месяца услышать от сына таких образованных родителей оскорбительные сомнения.

—От кого беременна, Райчонок? (Она пыталась что-то сказать, объяснить.) Кто его папусик?—нехорошо улыбался он, в глаза смотрел.

Таким он запомнился.

Рожать Рая поехала домой. Там она плакала, лицо прятала в подушке. Но всё обошлось. Родила Рая во время своё: мальчик у неё, здоровенький, кричит, маму к себе требует. Сходство с его отцом она стала искать — и находила сходство.

«В деревне Ване будет хорошо. Воздух чистый, бабушка рядом, иногда и Надька поможет, — говорила себе молодая мама, возвращаясь в город. — Мне образование надо получить… А молоко теперь можно купить. Не хуже материнского», — оправдывала она свой скорый отъезд.

Закончила Иванова институт, а вокруг жизнь послеперестроечная. Самой надо как-то устраиваться. Нашла работу переводчицей с английского. Присматривается к тому, как держатся девушки на экране, покупает себе пальто, какое ей не по карману. Ужинает корейской лапшой с запахом мяса. Ночью в подушку всплакнёт. «Все мужики только одного и хотят», — ей жалуется.

Ненастным осенним вечером — на улице ветер резкий, сырой, — в комнату их фирмы, где Иванова готовила тематическую подборку из журналов, вошёл мужчина. Как ей показалось, из тех он, которые не ездят на больших блестящих автомобилях. Ошиблась она в «автомобиле»; был он владельцем двух овощехранилищ, а при них — двадцать гектаров земли. В пригороде. В окружении соснового бора эта земля, а ещё — недалеко большое чистое озеро, питаемое горными ручьями.

А он — тридцати трёх лет, холостой, в недавнем прошлом агроном, сделавший правильный выбор при разделе совхозного имущества. Конечно, он обещал сохранить места, о социальной защите своих восьми рабочих говорил. Обязательства подписывал.

Да вот беда, удобрения дорожают, проблемы с поливом у него. Бичи, из городских, «бомбят» его грядки; из Средней Азии, как из прорвавшейся плотины, овощи хлынули… Сумрачно и сыро в его заглублённых овощехранилищах. Там его работяги с несвежими лицами овощи перебирают. Кашляя с надрывом, заводят разговоры о повышении заработной платы.

Такой вот человек — акционер, утомлённый разговорами о повышении зарплаты, — зашёл в ненастный вечер в офис, где трудилась переводчицей Иванова. Она готовилась идти домой, а зашёл, зашёл — как самой судьбой посланный — будущий её муж Захарченковский Кирилл Матвеевич.

С того вечера Кирилл, смотря на какой-нибудь предмет, попавшийся ему на глаза, думал так: «Она красивая, мне хорошо с ней. Престижно деловому человеку иметь жену, говорящую на европейских языках. Мальчика усыновить можно. (Красив он на фотографии на фоне молоденьких сосенок. В руке ведёрко с грибами, один гриб в ручке держит, как предлагает.) Своего заводить, пожалуй, поздновато. Говорят, забот много, ночью не поспишь. Болеют… Может, это и к лучшему», — решается засидевшийся в женихах.

В одночасье изменилась жизнь у девушки с фамилией Иванова, родившейся в деревне Осиновка. Девочкой радовавшаяся вкусу пареной, а потом запечённой в русской печи брюкве, ни одного дня не имевшая своего жилья, вынужденная слушать остроты мужиков («которые сальности говорят») — она получила всё и сразу.

Недолго Рая привыкала к хорошей жизни. И месяца не прошло — стала она бывать в модных бутиках; полюбилось ей зайти в мебельный магазин, что-нибудь присмотреть для городской квартиры. Визитку оставить, указать, к какому часу подвезти. В другое время она не может. Занята. И её супруг доволен жизнью, следя за поступлением денег на расчётный счет. «Нехило!» — говорит, руки потирая. Брезгливости не скрывает, заходя в свои овощехранилища: халаты у рабочих грязные, лица серые. И непременно кто-то кашляет. «Воруют, — смотрит неодобрительно хозяин. — Завтра же продам эти чёртовы погреба!»

Какой-нибудь из заграничных годы понадобятся, чтобы почувствовать себя дамой. Но такое не для Раи, взметнувшейся из самых низов — стремительно и высоко. Через какие-то месяцы она уже чай пила среди тех, которых по праву называют избранными.

— Представляете, останавливает меня на улице какой-то мужчина. Неопрятный, лицо серое. Он говорит, а я решительно ничего не могу понять. Какая-то дочка болеет, какие-то деньги… — первая дама.

— Много обнажилось всякой гадости, нечистоты, — соглашается другая, с лицом, брезгливым от обозначившейся в последние годы гадости и нечистоты.

И Рая Захарченковская, ещё недавно бывшая Иванова, на это кивает согласно… Потому что офис теперь в центре города у Кирилла Матвеевича. В нём его помощники землёй торгуют с учётом её подорожания. Особняк в три этажа растёт у Захарченковского рядом с озером.

Прошло пятнадцать лет.

Красиво живёт Иванова. Её муж, Кирилл Матвеевич, занимает уже известное положение в обществе, возглавляя областной департамент по распределению из Общего склада. Сбылось и у Раи: завтрак, по её требованию, в спальню приносит служанка! «Хороша, как прежде!!» — здесь и двух восклицательных знаков не будет много о хозяйке. Вот некоторые из завистников могут нехорошо подумать: «Завела семнадцатилетнего любовника…» Мол, соблазнила школьного товарища своего сына Ванечки — Виталика. Нет, нет и нет! Нам-то известно, что он сам набросился на Раю, когда она пригласила его в спальню журналы посмотреть. С картинками…

В одну из поездок на свидание Рая совершила наезд на пешехода. Это была неопрятная старуха, в сапогах, обрызганных известковым раствором. От удара о машину в её теле что-то сильно треснуло, его отбросило к тому месту, где находился приёмник сточной канализации. Надо отметить, Раечка приняла правильное решение: не останавливаться, а беседовать с представителями власти в другом месте.

О случившемся наезде на какую-то старуху в грязной спецовке она рассказала мужу вечером. На это Кирилл Матвеевич руку устало поднял,

телевизор с любимым сериалом выключил. Взглядом в супругу упёрся, телом изменился. Но невозможно не отвлечься, хотя бы несколькими словами не пояснить…

Дело в том, что у каждого, кто возглавлял направление или хотя бы сектор в администрации области, была своя, присущая ему «визитная карточка». Вот, к примеру, Кудлатый — крупный менеджер. Очень крупный. Каждая минуточка его служебного времени сочтена! Закончив факультет далеко и потому говоря слова всякие, перемещался он по городу на мотоцикле. Инспектируя своих подчинённых, он без всякого предупреждения врывался в их офис, снимая на ходу шлем и поблёскивая заклёпками на куртке. Резким толчком тяжёлого ботинка открывал дверь подчинённого (подчинённый вскакивал), делал несколько крупных шагов в его сторону (подчинённый успевал отскочить), падал на его стул. Местечковый руководитель слышал вопрос, сдобренный словами разными. Как колотушкой по голове эти слова ему иностранные. (За стол держится.)

По информации секретариата, на всём этом Кудлатый сберегал служебного времени до восьми часов ежемесячно. Было и опровержение в прессе: не восемь, а значительно больше, возражал какой-то математик, подкрепляя свои выкладки званием и дипломами европейского образца. Якобы секретариат при расчётах не учитывает какого-то коэффициента от срезания углов. И потом, возражает уважаемый учёный, почему не учитывается сокращение времени при наборе скорости мотоцикла? Времени торможения? На страницах одной из газет он выполнил расчёт этого сложного коэффициента. Сделал это профессионально, отсылая сомневающихся к неевклидовой геометрии Лобачевского. Упоминал и теорию относительности.

Правда и то, что были недовольные перемещением большого начальника на мотоцикле без глушителя. Мол, в голове потом долго трещит. Но, конечно же, большинство мещан, посадские считали, что им повезло с руководителем департамента. А когда общественность оповестили об экономии служебного времени стрижкой чиновничьей головы «под машинку», в городе, среди образованной части населения, случилось радостное оживление. Показали Кудлатого и по телевизору, где он обещал скорый рывок в высоких технологиях, о каком никто и не слышал. Инвестиции со всего света обещал. «Мало не покажется», — улыбался, довольный. «А как же наш малый бизнес?» — спросил кто-то из журналюг-писателей, вечно путающихся под ногами крупных проектов. Кудлатый долго молчал. Лицом поменялся, дважды в платочек высморкался. Откровенно говоря, никто и не ожидал от него столь эмоционального переживания за местный бизнес. Но, овладев собою, встал и, играя желваками, пообещал самолично, завтра же, возглавить борьбу с чинушами-бюрократами, всё ещё иногда препятствующими развитию отечественного бизнеса. «Кудлатого — в президенты!» — скандировали на следующий день митингующие Центрального рынка. Некоторые плакали.

Смеем утверждать, другой областной руководитель, Крестьянских Владлен, соответствовал должности не менее. При бороде, он появлялся на службе в рубашке-косоворотке, штанины грубого сукна в сапоги заправлял. На встрече с аграриями, в глубинке, «надоть» говорил. Однажды был замечен проезжающим на телеге. Правая нога в яловом сапоге, смазанном дёгтем, к земле-матушке спущена, на голове картуз, какие носили мастеровые. «Но-о, родимый», — в сторону лошади сказал. Вожжами легонько шлёпнул по крутому боку кобылки. И хотя запах дёгтя невозможно передать в журнале, всё получилось хорошо. Целые развороты зеленоярских газет были посвящены этому неординарному событию. Все сходились во мнении, что аграрный сектор почувствовал преемственность столыпинских реформ и свою социальную защищённость. Оптимисты писали о своём предчувствии скорого экспорта мяса, шерсти, пеньки и сала.

Отвлеклись мы. Но как иначе объяснить причину появления жёсткого взгляда из-под усталых век Кирилла Матвеевича? Как объяснить закономерность появления образа?

В областной администрации он, в большом кабинете сидит. Верными учениками, из подчинённых, окружён. «Нашего брата насквозь видит», — между собою они говорят, посматривая друг на друга подозрительно. «В его присутствии я себя чувствую нашкодившим пацаном», — соглашается кто-нибудь, подозревая среди своих шептуна-доносчика. Да и кто из входящих просителей не почувствует себя нашкодившим пацаном, если тебя, все твои органы, как лучами рентгена, взглядом просвечивает хозяин большого кабинета? А над ним — фотография нынешнего губернатора с президентом. Улыбаются, убеждённые: нецелевому использованию бюджетных средств поставлен надёжный заслон. «Ни-ни!» — смотрят отечески. Взгляд у губернатора ясный, глаза честные, молодёжь любит. О литературе, искусстве печётся — и руки не устают! Ниже, под фотографией в тяжёлой рамке, фигура Захарченковского, локти на стол положившего; взгляд у него особенный.

Однажды конфуз вышел со «взглядом».

Зашёл к вечеру, темнело в кабинете, проситель из района. Пожилой, ветеран войны, наградные колодки на потёртом пиджачке. Кирилл Матвеевич за столом, при позе, — ну совершеннейшая глыба! Набычился, локти на столе, взгляд немигающих глаз, веки усталые. Хоть бы одним мускулом на лице пошевелил.

Ветеран говорит, что где-то там что-то ремонтировать надо, дорогу бы поправить… неплохо бы. Водопровод… А навстречу ему — взгляд, проникающий насквозь. Лицо из гранита. Орденоносец сробел, успел ещё сказать:

— Опять же, электропроводка… — и, не выдержав взгляда, посмотрел выше.

А там, на фотографии, матушки мои! — сам президент. Это тебе, ветеран, не в окопчике подрёмывать, сытый живот гладить да цигарки крутить. Давнее вспомнил он, в струнку вытянулся — явно далеко за семьдесят ему. Захарченковский неладное

почувствовал, пошевелился, кашлянуть хотел, да, видно, поздно. Твердым, строевым ветеран стал печатать шаги к фотографии. Там замер и вдруг, откуда и силы у старого взялись:

— Так точно! Никак нет!

Глазами президента ест.

Велика сила магнетического взгляда у Кирилла Матвеевича. Многие ли устоят? Дежурного врача пришлось вызывать.

Думаем, теперь понятно, почему и каким взглядом смотрел Кирилл на жену, узнав о наезде её машины на старуху в спецовке.

Ивановы — гонимы за правду

— В спецовке? — переспросил Кирилл Матвеевич, узнав о наезде.

— Наш адвокат, из администрации, взял это дело, — сообщил в обед следующего дня. — «Отстегнуть» придётся родственникам, — жуёт лениво. — Из работяг она. Повезло, дочь — алкашка, — на кончик вилки что-то подцепил, ко рту перемещает. — Правда, есть ещё сестра. Торгует на базаре. Ничего особенного. В рабочем порядке решим. Через администрацию, — бокал с белым вином поднял, глоток сделал. — Будет «выступать» — проверят, — Кирилл икнул, — торгашку по полной программе.

К вечеру того же дня Раису Ивановну пригласил к себе следователь, выяснял, насколько тихо ехала машина. К этому времени было уже собрано достаточно свидетельских показаний: старуха выскочила на проезжую часть дороги неожиданно; предусмотреть её неадекватное поведение было невозможно. («Ну хотя бы по сторонам посмотрела», — вырвалось у следователя. Свою ручку он бросил на бумаги, ладонь на лбу расположил. Вздохнув, глаза закрыл, головой в стороны покачал. Сразу видно, переживает за пострадавшую сильно.) В результате следственных мероприятий было установлено: машина ехала тихо; можно сказать, и вовсе не ехала. Старуха же в стоптанных и изношенных до стелек сапогах бросилась на автомобиль. Стала биться головой о бампер, выкрикивая угрозы в адрес транспортного средства, зарегистрированного в установленном законом порядке.

Закончим так: всё обошлось, всё хорошо. Похоронили пролетарку по-людски: одели поприличнее, тапочки белые купили за счёт районного отдела соцзащиты. Хорошо помогла (через доверенное лицо) Раиса Ивановна деньгами к поминальному столу. Родственники, но особенно дочь — законченная алкашка, благодарили неизвестного им спонсора за бескорыстную помощь. Соглашаясь с развившейся близорукостью у их родственницы — пожилого человека.

— Всю жизнь она куда-то торопилась, — вздохнула какая-то женщина с развитой мускулатурой рук. — Вот и наторопилась.

Говорила, смотря через открытую дверь на улыбающуюся девочку-подростка в другой комнате. На кровати та сидит, раскачивается, в глазах пусто. С любопытством на неё посматривает и мама-алкашка. Улыбается пьяно. На губах её узкой полоской пенка обозначилась. Руку с гранёным стаканом хочет выше поднять: тост она имеет.

Всё обошлось. В лучшем виде. Не стоило бы об этом долго говорить, если бы не случилось у Раисы Ивановны в те дни непонятное. Какой-то новый, неизвестный механизм был запущен в ней… Вспомнит об ударе о машину, припомнится ей треск ломающихся костей. «Не было такого, не могла я слышать», — отгоняет она воспоминания того дня. О крови думала: «Не видела я кровь на асфальте, не видела!» — на себя сердится. А на днях какую-то незнакомую девочку во сне видела: сидит на койке, раскачивается. К Рае голову медленно поворачивает. Рядом с девчонкой седая старуха в спецовке стоит, по головке её гладит. Согнутым пальцем другой руки к себе Раю зовёт. Проснулась она, сердце стучит, как наружу хочет выскочить. Всё это копилось в её красивой головке, обрастало ненужными ей деталями — откуда и бралось такое? Едет, например, по улице, во двор заглянет, а там строители. Телевизор — хоть не смотри. Убивают, а она должна на мёртвых смотреть, думать разное. «Кровь невинно убиенного вопиет из земли», — объяснил бы кто из верящих в Каина и его брата Авеля. Но лишь где-то и когда-то слышала Раиса эти имена, а вот — «вопиет». Да и услышав их историю, сочла бы её за легенду.

Тоска, нехорошая, прилипчивая, стала бродить недалеко от неё. Не успеет себя занять — тоска к ней. Тоскует Рая о словах старых, из той, прошлой жизни. Не сказать ей теперь «девочки». Тоскует она по людям, которых за столом можно назвать просто. Тоскует и понимает: никогда ей уже не говорить, не думая о другом.

О муже беспокоится: молчит, сон у него неспокойный. На прошлой неделе кричал. А когда она разбудила, он указательный палец поднял:

— Не отсидятся они в свидетелях!

Ляжет в кровать, а в голову лезет разное. «Какие-то придурки-журналисты мерзости о Кирилле пишут, обвиняют в трате бюджетных денег на строительство водовода к коттеджам, — негодует она. — Да, там ещё осталась не проданная нами земля. Что же теперь, люди должны без воды-тепла сидеть? Без городского телефона? — защищает она честь семьи. — Если и выросли цены на землю, мы-то причём?.. Писаки несчастные, — гневается хозяйка большой кровати, рассматривая полоски света-тени на потолке. — Самого губернатора Шломхотсейдорского готовы сожрать: откуда деньги?! Откуда… Жить умеет человек! Мы-то причём, если вы — дураки?» — в потолок смотрит, мысли разные у неё. Тревожно ей в часы, когда себя занять ничем не может. Но усталость постепенно берёт своё. Вопрос, который встаёт в последнее время перед ней: «Что-то делать надо?» — встаёт, но не навязчиво, а мягко, потому что она дремать начинает.

Как-то дремлет, а ей зачем-то в подвал надо. В их коттеджном посёлке всё стихло. В доме темно, все спят — как бы, и Кирилл дома — а ей в подвал надо. Спускается, а там — она, старуха! Стоптанные сапоги в земле, спецовка в краске всех цветов. Она ей, хозяйке, пару тапочек, обрызганных кровью, протягивает. «Чо уже теперяча, — охрипшим на стройках голосом говорит. Крепким, как из железа,

ногтем по подошве тапочка щёлкает.—Чо уже теперяча, твоя обувка»,—и наклоняется, Раису она переобуть желает. Полусапожки из лечебного подшёрстка перуанской ламы снимает. Тапочек на ногу тянет. «Не отряхнуть тебе с них пыль»,—кряхтит. Лицо у неё не злое, а как нужную работу она выполняет. Через маленькое окошечко цокольного этажа, зарешеченного латунной вязью—и через сто лет не заржавеет!—за ними наблюдает обломок луны, по Промыслу Божьему «повешенный ни на чём». Он освещает седые волосы старухи, всклокоченные после удара о машину; блестит слезинка, размазанная под глазом. Старуха другой тапочек на ногу тянет; пальцы у неё крупные, а силы-то в них мало. «И прах тебе будет… не в радость,—справляется она с тапочком, с колен встаёт.—В самый раз, по ноге»,—присматривается, глаза щурит. От этих слов как очнулась Раиса—в постели она лежит. Сердце вот-вот из груди выскочит. Днём, припоминая детали,—и подумать страшно!—стало казаться: не сон это был, а кто-то его наслал после.

Этим её как толкнули в бок—сходи в церковь. Выбрала она свободное время, пришла в храм. Свечку большую поставила, смотрела, как она восковыми слезами плачет. С иконы Христос смотрит на неё, а что Ему сказать, она не знает. Перекрестилась, отворачиваясь от других. Недалеко старушки-старички молятся. Ещё какие-то мордастые, кучкой стоят. Один ключом от машины поигрывает.

—Не на сходняке, ты, братан,—одёрнул его, нерадивого, ихний.

С амвона голос далеко слышен: «Бойтесь закваски фарисейской… принесите же плод покаяния…» А когда священник сказал: «Достойный!»—показалось Рае, на неё он посмотрел. Не понравился ей поп: тщедушен, борода вбок. Глаза неспокойные. Из церкви вышла, и самой непонятно почему, приниженная. Прошла нищих, вспомнила о заготовленных сторублёвых купюрах, вернулась, стала аккуратно их класть в кружки. Подбегали другие, из тех, что стояли на углу. И им—по сто. Ей дружно желали здоровья. Лица у некоторых распухшие. Есть и поцарапанные. К своей машине, припаркованной недалеко, Рая идёт, её осматривает—не поцарапал ли кто? Рядом—прохожие, одежда у них изношенная. «Уехать куда-то надо, жить начать заново,—не нравятся ей лица прохожих.—В цивилизованных странах люди живут там, где им комфортно. А тут вон какие… славные идут. Хоть на улицу не выходи. Никакие антидепрессанты не помогут,—брезгует дама, наблюдая прохожих и изношенность их одежды. У машины стоит, как раздумывает, куда ехать.—Менталитет у них такой: не как жить, а для чего жить,—какую-то кнопку у телевизора на прошлой неделе нажала Раиса.—Вот и живите… при своей идее,—дверцу автомобиля открывает, опирается на неё, как это делают свободные люди на обложке иллюстрированного журнала. И машина у неё надутая; кажется, и она недовольна теми, которые её поменьше.—Какие-то столпы у вас, утверждение истины, какой-то Флоренский, Лик в центре Вселенной всё ищете…—язвит Раиса, не желает она забыть свою приниженность и того священника, что с амвона «бредил». На неё смотрел.—Вот и месите грязь»,—за руль садится, хорошо дверцей хлопает.

Вечером другого дня Раиса стала рассказывать Кириллу, как её автомобиль обрызгал проезжавший мимо грузовик. Напомнила ему о чистоте улиц в европейских городах. Как ей кажется, к месту упомянула о цене университетского образования в тех местах. Кирилл ужинал молча, жевал лениво. Тело у него крупное, лицо мясистое, волосы редкие.

—Многие уезжают, чтоб покончить с прошлым, жить начать заново,—чашечку с попугайчиками ко рту поднесла Раиса, а на лице нечто большее, чем словом можно выразить.

Супруг взглядом в неё упёрся (он это любил); во рту у него недожёванное. Поперхнулся, откашлялся, прожевал, вином запил. И всё с жены глаз не спускает. Не закончив свой ужин, встал, по комнате прошёлся. В задумчивости из ящика сигару взял, конец щипчиками срезал, раскурил. Ещё походил по гостиной, дым от «гаваны» выпустил. Ещё прошёлся, ступая—как это ни покажется для его веса странным—мягко.

—То, что умные люди, подкопив, «сваливают»,—ещё ходит, сигару перед собой прямо держит,—мысль мелькала. Именно—мелькала. А пора подумать. Время на пятки наступает.

В кресло у камина сел, молчит долго. Как к ходу часов прислушивается. Лицо печальное, мешки под глазами. Струйка сигарного дыма дрожит, к плохо видимому потолку поднимается. Раиса понимает, она ждёт. В камине огонёк вспыхивает.

—Для нас теперь важнее не копить, а сохранить нажитое,—корпусом к ней поворачивается.

На это Раиса кивает одобрительно, глаза опускает, думает о чём-то своём. Молчит долго. Потом она встаёт, к креслу подходит, голову супруга обнимает, целует в полысевшую макушку.

Ночь неспокойной была у них. Кирилл несколько раз просыпался, в потолок смотрел. Рая на его руку свою ладонь клала; понимала: на пороге новой жизни они.

—Свою, нашу перестройку надо начинать,—сказал Кирилл утром, выходя из дома.

Дверью хлопнул. Несильно, но хлопнул.

С того дня Захарченковский стал меняться быстро. На службе задумается, как скорбит о несбывшемся. Как он хотел, он же говорил, он настаивал, но не дали ему реализовать проект,—вот такое становилось у него лицо. И с каждым днём всё явственнее: он хотел, но не дали! За своим большим рабочим столом он стал утрачивать «глыбастость». На подчинённых смотрел просто, говорил понятно, а это вызывало в их среде беспокойство. Секретарша нервничала. Бумаги на стол бросала.

И вот, через месяц после памятного разговора:

—Нынешний режим губителен для рыночных отношений и свободы личности,—среди своих сказал Кирилл Матвеевич.

Как пробный шар забил. Некоторые, уже достаточно выпившие к этому времени, посмотрели, но… какому какое дело?
— Пока нынешние коммуняки у власти, ждать хорошего не приходится.

Ему ещё предложили вина, закуску подвинули, а Захарченковский этими словами под своим прошлым черту подвёл.

В областной администрации перемену заметили, предположения некоторые стали строить. О его здоровье беспокоились. Удивляются подчинённые: при встрече руку подаёт, «здравствуйте» скажет.
— Странно, странно всё это,— комментировал тот, что утверждал о всепроникающем взгляде начальника департамента.

Однако те, с кем Кирилл Матвеевич имел особенные отношения, уже желали ему скорейшего отъезда. Говорили о своей готовности помогать.
— Кому жаловаться на творимые безобразия?— вздыхал Захарченковский.

В глазах страдание, чем подтверждал своё желание «слинять». Об ущемлении прав малочисленных народов как-то говорил гостям, из заграничных. Сутулится. Руки опущены. Гости кивали, скорбя об ущемлении. А он голову клонит к плечу, как это у него было в трудные совхозные годы повышения урожайности по корнеплодам. Иногда вздохнёт, руки в стороны разведёт: что он, одиночка, может?

Да, Кирилл Матвеевич менялся быстро—слухи его подстёгивали. С экрана телевизора видит: деловым людям угрожают. Мол, настанет время. Как быть спокойным?

Стали родители с Ваней говорить о разном.
— В стране непуганых идиотов мы живём,— однажды сказала мама.
— Тревожно за наше будущее,— усталый папа смотрит на сына.— Всё, что создано нашим трудом, в один день может рухнуть.
— Ты уже взрослый человек, чтобы понять: у этой страны нет будущего,— мама.

Юноше, скажем прямо, нравилось: кругом идиоты, а он—нет. И родители почувствовали платформу, где надо развивать успех.
— Мы с мамой думаем, не стоит испытывать судьбу,— вёл линию отец.— В мире достаточно стран, где найдётся для нас достойное место.
— Там можно и девушку выбрать получше…—едва не закончила Рая именем его подружки Стеллы. («Интересно, как он барахтается со Стеллкой?»— подумала и устрашилась появившейся рядом известной ей бездны.)—Мы должны позаботиться о твоём образовании,—беспокоилась мама.

Уютно в их гостиной. Блики огоньков из камина играют на инкрустированном стекле шкафа, заполненного серьёзными изданиями. Напольные часы тихо отсчитывают секунды. Постукивает на кухне убираемая посуда. Ванино тело в «креслах» покоится. Он домашний тапочек переместил на большой палец, ногу на ногу положил, покачивает тапочком в сторону.

Несколько последних месяцев Рая с тревогой наблюдала возрастающую ненависть сына к мужу. И вот снова, как раньше, они вместе: ужинает семья, они обмениваются мнениями.
— Училка наша по литературе говорит: «Россию умом не понять». А как же её понимать? Каким местом?—одобрения за остроумное замечание ожидает Иван.

И Рая радуется согласию в доме. Хорошо ей, что из особняка, через два от них, мужчина с ней раскланивается. Улыбается, готовый в любое время остановиться и говорить, говорить. Но Рая—ни-ни!
— Жена у него иностранка, потому он имеет два гражданства,—рассказывала на прошлой неделе соседка, женщина образованная, их круга.—Говорят, уставной капитал на открытие лесного дела она ему дала. Болтают, и на час иностранка не расстаётся со своей хорошенькой наперсницей из москвичек… Такой симбиоз.

И смотрит вопросительно: понимают ли, о чём она? И Рае хорошо, что такие люди рядом живут— свободные, раскованные.

Вот такая она, Захарченковская Раиса, родившаяся в неприметной сибирской деревне,—женщина замужняя, имеющая сына, получившая много, ничем не заплатившая за это. Фактически не ставшая женой и матерью; тоскующая. Она, пролившая невинную кровь и имеющая «хороших» соседей, принимает отношения в их семье—семье, которую не посещало посланное свыше горе, что, истаивая, объединяет,—принимает это состояние в доме за согласие. Но не имеющая «тверди под ногой» Раиса предчувствует надвигающуюся беду; тревожится, оставаясь одна.

В последнее время в ней трудно узнать ту, что была год назад: в одежде она предпочитает брючный костюм, свитер; обувь простая, какую носят многие. Очки, с простым стеклом, на цепочке болтаются. Выезжая в город, она надевает кожаную шапочку с козырьком, ушами, которые она завязывает на затылке. Не молодит её шапочка, но решительному человеку до этого ли? Морщинки появились на шее, у глаз. Из некогда синих они в голубые превратились. Холодный голубой свет у них. Смотрит она ими на говорящего пристально, как оценку ему даёт.
— Толерантности у некоторых не хватает,—выражает озабоченность Раиса Захарченковская.

Делает паузу: посмотрит на собеседника, может вилочкой грибочек подцепить с тарелочки или, скажем, из чашечки отпить—в зависимости от обстоятельств. И…
— А когда она, терпимость к другим народам, была у нас?

Да, она уже может задать непростой вопрос, в постановке которого слышится и ответ. Потому с нетерпением она ждёт тот день, когда уедет из этой страны.

Подросшие волосы Захарченковская Раиса резким движением головы убирает с глаз. Как видение больной улыбающейся девочки, что ей снится. Поворачивающейся к ней медленно и неотвратимо.

Набор джентльмена

Прошло три года, как похоронили старуху-строителя, много походившую в кирзовых сапогах,

строившую объекты не с подъездных путей, инженерных коммуникаций и туалета—сразу с большого здания она начала стройку. Быстрее хотелось: потому и носила она воду на коромысле, а по углам строящегося помещения обрывки газет были набросаны. «Не с того она начинала строить большие здания и сооружения!»—теперь о ней говорят. Потому, мол, не памятник, а крупная, в рост человека, лебеда поднимается над её провалившейся могилой. Правда, её дочь-алкашка иногда вспоминает о матери, но тут же и на свою дочь посмотрит. На кровати та сидит, раскачиваясь, в её глаза мыслей нет…

А вот у Захарченковских всё хорошо. О вечности и не подумают: им сегодня хорошо и завтра будет славно. Люди образованные, не разводят они лишнюю философию, на жизнь смотрят практически.

Пишут в одной мудрой Книге: не самый быстрый добегает до финиша первым, а всё зависит от места и времени. Но главное, как утверждается в той Книге, важна закваска. «Выбор факультета»,—добавил бы на это Кирилл Захарченковский. И по-своему ведь он прав: предчувствуя хлебное место, образованный человек всегда может грамотно изложить свою позицию. Вот и теперь, спустя три года, он имеет хлеб с маслом в Англии, известной давним гостеприимством к гонимым из России.

Кстати, вспомнили мы по этому поводу один разговор, произошедший между Кириллом Матвеевичем и одним английским бизнесменом. Очень обходительным был тот джентльмен. Побеседовать любил о разном. Как-то, а это было месяца за два до отъезда семьи из России, этот самый англичанин предложил Захарченковскому прогуляться по набережной. Так… покалякать о чём придётся. А почему бы и нет? Погода благоприятствует неторопливой прогулке, английский друг говорит по-русски. Правда, есть небольшой акцент, но не более как на двух десятках слов. Идут, беседуют. Не торопятся. Потом как-то, и не вспомнить теперь почему, бизнесмен стал предлагать Захарченковскому не спешить с отъездом, а поработать в этой стране.

— Какой результат вы можете иметь, а какие перспективы в будущем!—в глаза заглянул проникающим оком. (Одет он в пальтишко цвета неброского, серенького. Свитерок у него. Седенькие волосы ветерок с озера ласкает—тихонько так шевелит.)—Широк спектр вашей деятельности, но, думаю, борьба малочисленных народов за автономию будет более позитивно восприниматься в демократическом обществе Запада. (Хорошая, добротная обувь, курительная трубка, мундштучком которой удобно указать на предмет, и непростой взгляд собеседнику в глаза—выдавали в нём отнюдь не начинающего бизнесмена.) Буду с вами откровенен более, чем мне положено,—он пожал локоть своего русского друга,—буду откровенен… Вы симпатичны мне, Кирилл. Скажу прямо, западноевропейская цивилизация переживает не лучшие времена. Более того, она под угрозой.—Метров пятьдесят прошли молча.—Уже дважды в этом столетии она спасала себя войнами,—скорбь на его лице. Да, скорбь, потому что большая истина всегда горька.—К сожалению, так бывает, когда трудности развития нарастают до критического уровня,—он резко остановился, ещё за локоть Кирилла крепко взял.—Ныне спасение европейско-атлантической цивилизации находится здесь,—и, сделав лицо совсем строгим (если бы кто и захотел возразить, то посмел бы?!), он указал мундштуком на землю у своих ног.—И мы не можем быть спокойны, пока оружие массового поражения и права малочисленных народов находятся в руках людей, непредсказуемых в своих поступках. Об этом надо говорить открыто,—и, пыхнув ароматным дымком, указал мундштуком на грудь собеседника прямо.—И потом… ещё одно откровение. Любая единая и неделимая Россия, с её непомерными амбициями,—это опасно не только Европе, но и некоторым бывшим вашим соотечественникам, не понимающим, что любая «великая и неделимая» вправе требовать их экстрадиции. Даже с самых тёплых островов,—улыбнулся шутке.—И потом, потом, мы же демократы, и мы уважаем права народов на самоуправление,—ещё показывает мундштуком на грудь собеседника.

— Так-то оно так,—неохотно соглашается Захарченковский.—Как-то это… неожиданно,—глаза в сторону, как стесняется чего начальник департамента по распределению из Общего склада.—Опасно,—выдыхает из себя.

— У нас достаточно сил. Мы найдём возможность защитить вас,—возбуждаясь, он говорил без всякого акцента те двадцать слов.—Мы сделаем вас борцом! Вы будете на слуху у общественности,—и снова мундштучком в грудь.

— Так-то оно так,—канючит Кирилл Матвеевич, вовсе и не похожий на глыбу, ещё недавно восседавшую в кресле своего кабинета и упиравшуюся взглядом в мужичонку-просителя из деревни Погорелка.—Глаз не на ком остановить,—канючит недавняя «глыба».

Лицо у него страдальца, подрагивающие пальцы карман пиджака ищут. Нет, невозможно представить его теперь с сигарой, откинувшимся в кресле.

— Но, может быть, вам стоит подумать… Я гарантирую вашу защиту на высоком уровне,—ещё сделал попытку бизнесмен из Великобритании.

А навстречу ему—взгляд таких страдающих глаз, что он, подумав, кивнул согласно.

С этого памятного дня любовь Захарченковских к России стала заметнее. Кирилл Матвеевич нет-нет да вставит в разговор что-нибудь о конституционных правах человека. О трудности реализации их. А его супруга среди своих стала вспоминать свою деревню Осиновку, рощу, что начиналась сразу за последними домами. Речельку Чернавку вспоминала, что блестит под луной. «Жаворонки…»—всхлипывала. Тут же скоро и вызов на постоянное жительство пришёл.

И вот прошло три года. Ваня уже прилично играл в бейсбол, и некоторые прочили ему успехи в сборной их колледжа. И правда, всё профессиональнее становилась его игра. «Россия некомфортна для постоянного проживания джентльмена,—говорил он, делая паузы в нужное время,—

и станет ли она европейской страной,— он ещё делал паузу перед ударом по мячу,— лично я не берусь утверждать». Профессионально он играл в бейсбол — как быть незамеченным?

Как-то в один из славных вечеров, какие бывают в Лондоне в конце октября, Ваня присел на скамейку, что он иногда делал, возвращаясь домой. Приятно ему оттого, что погода хорошая, в бейсбол играет, что живёт и будет он жить не в стране, где полно народа, толпящегося в очередях, а в стране неспешно прогуливающихся людей, вернувшихся из других стран загорелыми, улыбающимися. Между собою они негромко говорят, впечатлениями об аборигенах делятся. Удивление выказывают сдержанно… А какие гуляют в сквере девушки!.. Вот, например, напротив него одна с книжкой присела. Губками шевелит. Не заметил Ваня (до этого ли?), как на скамейку рядом сел господин. Как бы лет сорока, волосы седые, глаза весёлые. Смотрит на него просто, как на давнего знакомого.

— Наслышан о вас, господин Захарченковский, наслышан, а вот познакомиться всё как-то не случалось,— руками развёл, сожалея.— Но, как говорят на вашей исторической родине, лучше поздно, чем никогда.

— Что-то не припомню вас,— присматривается Ваня.— Вы преподаёте в колледже?

— Бывает, приходится иногда давать уроки,— ответил джентльмен. Негромко хмыкнул, ногу на ногу закинул, на Ваню смотрит доброжелательно. Улыбнулся, как имеющий сюрприз.— Будьте уверены, что усыновивший вас Кирилл Захарченковский и ваша матушка, ныне озабоченная помощью бедным из России, не стали бы возражать, если бы мы с вами немного побеседовали. Как добрые друзья,— ещё улыбнулся ободряюще.

Со стороны это смотрелось так: джентльмен старшего поколения рад познакомиться с молодым джентльменом. И ему, старшему, хочется побеседовать, вспомнить прошлое. А может, и предупредить, наставить.

— Давайте-ка посидим где-нибудь в кафе,— и он показал, в какую сторону им лучше идти, и попросил называть его мистером Смитом:— Да — мистер Смит.

Улыбается дружески, уверенный в себе, чего юноша из семьи эмигрантов не мог не почувствовать. И Ваня встал, чтобы идти в указанном ему направлении.

Скоро они оказались в отдельном кабинете кафе, имевшем служебный вход со двора. За столиком сидел ещё один господин, назвавшийся Холмсом: глаза честные, лицо открытое, но Ваня понял теперь совершенно, что «мистер Смит» едва ли Смит, а в «Холмсе» он уже не сомневался.

— Что-нибудь из русской национальной кухни?— поинтересовался «Холмс», улыбаясь.

И мистер Смит тоже улыбается… Стали говорить о погоде, как это принято в обществе. Потом о Сибири, где холодно и где у их нового друга остались друзья. Потом мистер Смит, он оказался разговорчивым, стал рассказывать о мистере Кирилле Захарченковском, работающим нынче над каким-то важным проектом дифференцированного подхода к национальному вопросу, и об интеграции чего-то в какие-то инфраструктуры. Юноша этого не знал, но понял: Кирилл — он теперь называл его на европейский манер — большой либерал. И что его отношение к приютившей семью стране в высшей степени похвально. Ещё господин Смит вспомнил о Ваниной маме, занятой очень нужным делом — благотворительностью. «Хорошие люди к ним приехали!» — вот та мелодия, зазвучавшая в их безыскусной беседе. При этом юноша только смотрел перед собой, но едва ли что видел, испытывая тревогу оттого, что «о них разное говорят», но было и приятно: он интересен «таким людям». Ване предложили выпить вина за благополучие семьи Захарченковских в стране, которую она избрала для постоянного жительства. И пригубив бокалы, господа бережно поставили их на салфеточки.

Удовлетворённо переглянувшись с мистером Смитом, мистер Холмс стал говорить об успехах их молодого друга в учёбе и корректном выборе друзей.

— И подруг,— сощурился мистер Смит и назвал несколько имён.

К удивлению, у них оказалось немало общих знакомых, даже из тех, о которых Ваня и забывать начал.

— Разумеется, все ваши знакомые люди глубоко порядочные!— почти вскричал мистер Смит в лицо ещё такого молодого Вани, как бы сомневавшегося в этом.

— Но молодёжь всегда импульсивна,— согласился с ним мистер Холмс.— Конечно, с годами это пройдёт, но некоторые могут зайти далеко, попасть под влияние экстремистски настроенных групп.

Головой покачал, выражая озабоченность нестойкостью молодых людей. Таких увлекающихся…

— Мы должны, наконец, предупредить этих людей вовремя о пагубности их увлечений,— продолжил первый мистер и прямо посмотрел в глаза Вани.

— Мы осведомлены, что вы желаете жить в обществе, свободном от непредсказуемо настроенных людей,— сказал Холмс одобрительно.

— Мы должны быть информированы,— наклонился к Ване тот, что смотрел в глаза прямо.

Не могла не последовать пауза после такого взгляда и таких слов — как бы замерли в ожидании господа Смит и Холмс. Ваня почувствовал в этом предложение перейти ему в другое состояние. Состояние подтекстов и имитации движений. Интуитивно почувствовал, возможно, и не имея в лексиконе этих слов.

Да, он может говорить, не выдавая себя; да, он сильнее многих, но… как-то всё «это» не так должно быть с ним… Не так. Какой-то генерал, что ли, должен быть «при этом». Или кто другой, но значительный. А они, например, у камина беседуют, называя столицы и континенты. Известные имена. Но нет, не было «генерала», не упоминались монархи-президенты. Не приносил на подносе напитки слуга-индус, а была удручающая простота.

И на столе перед ним теперь стояла тарелочка обыкновенного винегрета, пусть и с листиком известного растения! Уязвлённый этим и ещё чем-то, но чем, он и сам бы не смог объяснить, Ваня встал. И преодолев в себе нечто похожее на смятение, он обозначил бугорки желваков. Взгляд сделал повыше голов всяких этих мистеров! Этим он выразил приличествующую моменту нравственность, повыше, чем некоторые думают о нём. На что один из «некоторых», шумно вздохнув и шумно выдохнув, посмотрел холодно вокруг, а потом и на Ваню. Да, холодно, как и положено англичанину. Недолго побарабанил он пальцами по столешнице… Нет, такие люди не будут терять время: красиво, как это бывает у уставших от суеты окружающих, он потянул руку к внутреннему карману пиджака, на юного друга ещё посмотрел и вытащил тёмный конверт. Бережно на стол положил, сверху прикрыл ладонью с ухоженными ногтями и рыжеватым пушком на тыльной стороне ладони. Лицо сменил. Почти по-отечески он теперь смотрел на ещё такого молодого юношу, так, что русский Ваня стал медленно садиться на своё место. И всё заметнее начинает страдать такой бесхитростный мистер Смит, вынужденный теперь вскрыть этот конверт. Но всему же есть предел… И он вскрывает конверт. Как из колоды, он вынимает фотографии, и на каждой из них — Ваня. Было от чего вздрогнуть ему.

А случилось вот что — года три уже будет этому.

Дней за десять до отъезда Захарченковских заспорили Ваня и Виталик — друг сердечный его мамочки: может ли Ваня «огулять» свою маму? Конечно же, они были хорошо расслаблены коньяком — дорогим, французским, а потому их несвязный разговор зашёл далеко — о нравах тех, кто сильнее многих. Виталий припомнил даже свободу нравов элиты Древнего Рима.

— Патриции! — подбородок, указательный палец поднял; глаза пустые.

И потом в тот вечер им особенно удавалось язвить над теми, кто не способен увидеть маску на лице. К тому же — был случай, когда смотрел Ваня на мамины ноги: красивые они у неё.

Итак, друзья сидели в комнате Вани, в креслах, расслабленные, беседовали, предлагая сумму выигрыша больше, чем было у каждого. Виталий ноги на подлокотник дивана положил, ботинками пошевеливает; сын Раисы Ивановны — такой желанной для многих мужчин — сигаретку из одного уголка рта в другой перекатывает. Бутылка коньяка на столе, рюмочка из горного хрусталя рядом, другой рюмочкой Виталий поигрывает, держа её в руке, свисающей к полу. За кончик держит; на пол поставит, снова возьмёт за краешек, рукой покачивает. Беседует с другом. Детали плана они оговаривают, ботинками пошевеливают, рюмочкой поигрывают, как это принято у тех, кто пойдёт дальше многих. Потому и решили просто: Виталик подготовит женщину в её спальне, даст ей хороший порошок в вине — минут на двадцать отключит (опробовано!), а Ваня и «огуляет» в это время маму. По рукам ударили, в креслах откинулись.

— Сделка совершена! — устало поднял руку Виталий.

Заплетающимся языком ответил ему Ваня:

— Совер…ршена.

Тут же и день друзья назначили: послезавтра, в полдень, когда в их доме никого не будет, а Ваня в своей комнате, как охотник в скраде, будет сидеть. До условного стука в дверь.

Ещё Ваня выпил, усталой рукой потянулся к вазе с фруктами. Виталий, хлебнув заморского коньяку, рюмку на пол поставил. Рука его свисает с подлокотника. Усталая. Этой же рукой с почти детскими пальчиками он набирает номер телефона таксопарка: отдохнул он славно, пора домой.

— Вот развлекуха-то будет, — сказали они, прощаясь.

Виталик и его время

Но вздрогнул Ваня от стука в назначенный день, за другом пошёл не бодро. Шотландский виски (сто пятьдесят долларов!) ему в голову бьёт, ноги у него непослушные. Всего на этаж и спустился, а как долог был его путь. Но вот и мама, едва простынёй прикрытая, беззащитная… И всё сильнее бьют его в голову винные пары.

— Ну-ка вставай, шлюха! — наклонился над ней, проверяя степень «отключения» и всё более возбуждая себя этим. — Я кому сказал?! — крикнул ей в лицо. — Срам-то свой прикрой, — выдал он последнюю заготовку, наблюдая за маминым лицом. — Отключилась…

И стал рассматривать поднимающуюся грудь, ухоженные ноги. Ротик её открыт, как в ожидании она.

…И вот в это самое время Виталий, великодушно прощённый позже за проигрыш, приближаясь к широкой кровати, стал фотографировать их. Об этом у них не было договора, но сильно пьяный, в экстазе, Ваня показал ему язык. А потом и маме. (Молодёжь… Им бы всё шалить.)

Утром за семейным завтраком на вопросительно-страдальческие взгляды мамы Раи Ваня делал невинное личико, чем чрезвычайно нравился себе. Слишком было очевидно, что он имел право говорить: «Страна эта, Россия, некомфортна для постоянного проживания джентльмена». Многие ли могут позволить себе сказать такое?!

Потому он резко и встал со своего места в кафе, выражая недоумение, когда ему, сильному, брюнет с рыжими волосками на пальцах предложил сообщать о настроениях известных ему студентов. На что, переглянувшись, один из джентльменов и вытащил конверт с фотографиями.

— Извините меня, извините, — застыдился мистер Смит, вздыхая. — Никак нельзя иначе, — оправдывался.

Другой мистер в это время отгонял дымок своей сигареты от того, с кем он имел честь теперь беседовать.

И Ваня «сел». Не будет же он стоять колом.

Не знаем, как и что дальше, но теперь была неудержимость напора, подкреплённая гарантиями, достойными джентльмена, понимающего

трудности роста. Была искра в глазах мистера Смита от встречи в кафе, имеющем незаметный вход со двора.

…Возвращаясь домой, он пребывал в тревожно-приподнятом настроении от своего нового статуса. А ещё он был огорчён предательством своего друга. Но зря он так о Виталии. Фотографии эти он никому не показывал. Почти никому. Они просто где-то затерялись. Странным было бы Виталию узнать, что они оказались так далеко от потаённого места в его комнате.

В общем, всё нормально в семье Захарченковских. Живут в хорошем районе, в доме с большими комнатами. Небольшой садик при их особняке. Богатеют. Очень даже правильно вложил Кирилл Матвеевич деньги в акции «Dow jones», «Dax» ещё до отъезда. А как дорожают нынче награды России! Монеты из золота, платины всегда в цене. Да не отстаёт от них и палладий. Сразу после перестройки всё это можно было купить совсем недорого, а потом и вывезти. Благоразумно он завёл тогда ячейку в заграничном банке. В общем, семья интегрировалась. Подобревший за эти годы Кирилл Матвеевич нет-нет да мелькнёт на телеканале. Общественностью замечен, солидный грант он получил на издание книги по проблемным вопросам, возникающим в странах, ещё только избравших путь демократии. И в Лондоне у него камин, не откажет он себе в удовольствии посидеть у огонька с хорошей сигарой; задуматься глубоко, размышляя о проблемных вопросах.

Не обойдена вниманием общественности и его супруга. Отмечен её подвижнический труд на благо тех, кто был вынужден уехать из России. Работа трудная, устаёт к вечеру, потому часто, по погоде, совершает пешую прогулку до дома. «Хорошенькая»,— как и прежде, кто-нибудь посмотрит ей вслед. Согласитесь, как мало надо женщине в этой жизни! Правда, воспоминания её становятся грустными — как бы окрас они меняют. Вспомнит свой первый поцелуй тёмным вечером — поцелуй весенний, неловкий. А в стайке их двора, непременно припомнит, корова хрустит сеном — глаза печальные. «Перспективный мальчик»,— говорили тогда об Андрюше школьные учителя. Грустно ей вспомнить последнюю, прощальную встречу их класса в роще, не хочется подумать об Андрее, ныне прислушивающемся к работе их сельской насосной станции и оказавшемся только и способным, что детей плодить… «Но ведь он-то — спокоен!» — вдруг как озарение для неё. Но она не знает, как ей отнестись к этому…

Плохо Раисе Ивановне оттого, что не забывается ей старуха в спецовке строителя. Помнит, как её седые волосы на асфальте ветер перебирает, а изо рта, непременно вспомнит, розовая пена поднимается. И раньше, случалось, видела её во сне. Проснётся Рая, любимый шёлковый халатик, расшитый кукабаррами — смеющимися зимородками, накинет; журнальчик со стола возьмёт, кто во что одет-обут, посмотрит. Как бы на себя примерит. Этим и успокоится. Теперь вот глаза у приходящей во сне старухи совсем нехорошие. В самую душу проникает её взгляд. Иногда и слова не скажет, а в жилах кровь останавливается у Раи.

…На прошлой неделе услышала она шорох за дверью своей спальни. Кажется, только начала дремать. Подумала: кто бы это мог? Встала, халат накинула, дверь на себя потянула. А там — старуха! Грудь сдавило у Раи, сердце вот-вот остановится. На лице у старой ухмылка, грубым пальцем с ногтем как из железа на свои сапоги указывает. Теперь не известью, но кровью обрызганы стоптанные кирзачи. «Вопиет…» — незнакомое слово ей говорит. В глаза смотрит прямо, как власть имеющая проходить в особняки на лондонских улицах. Приходить и приводить с собой внучку-подростка, зачатую в пьяном угаре. Худыми волосёнками, в узел на затылке завязанными, потряхивает дурочка. Вот на сыночке её, Ванечке, взгляд остановила: смотрит осмысленнее, качается меньше. Чёрные редкие зубы в улыбке оголила, впереди себя тихонько руки поднимает, тонкие белые пальцы к её, Раиному, сыночку тянет. Улыбка застывшая, на затылке жидкий хвостик всё спокойней. Одобрительно на это кивает старуха, и, шурша спецовкой, покрытой засохшей краской, она делает шаги к Ване, руку над ним и внучкой поднимает, к себе за шею их тянет: «Кровью скреплены»,— говорит старуха, как благословляет их на всю оставшуюся жизнь. Дурочка смеётся, пальчиком Ванечке игриво грозит. Худой попкой в мятом ситцевом платьице ему качнула; гнилыми зубами улыбается. Чулок её волочится по грязному снегу, утоптанному тысячами ног. А Ваня её руки ловит, целовать он их желает; взгляд заискивающий у него. Старуха пальцем, ногтем своим железным на Ваню показывает. Девчонка-подросток сплёвывает красным на грязный снег, Ванечке глазами на это показывает. Руки к его шее тянет. Но… но она опускает их, видя, как земля наполняется светом, пришедшим издалека, зародившимся выше и самого солнца! И грязный снег становится другим, он совсем не холоден, он искрится бирюзой, оранжевым, жёлтым, что, казалось, невозможно на планете Земля. В глазах подростка — мысль. Какая бывает у переживших…

Рая проснулась от своего сдавленного крика; сердце стучит, в голове тяжесть, как переполнена она кровью. Тяжело повернулась на другой бок, подрагивающими пальцами по потному лицу повела. К звукам в доме прислушалась: Кирилл за дверью своей спальни похрапывает, из комнаты третьего этажа сдавленный смех новой подружки сына послышался. Входная дверь тихо щёлкнула. «Друг поварихи уходит,— звук ей знакомый.— Он в это время всегда уходит». Ещё прислушалась. Кирилл во сне бормочет. «Наверное, у своей длинноногой был… И что он в ней нашёл? Бормочет, козёл, приятности вспоминает». Звуки знакомые, успокаивающие. Ещё полежала, пятна света на потолке рассматривая. И чтобы успокоиться, она достаёт красивый, на бронзовых застёжках, альбом с последними фотографиями.

Ваня на охоте. В засаде он: глазёнки радостные от предчувствия удачной охоты на большого зверя. Укрыт хорошо: спокойна его рука на цевье

скорострельного карабина. На другой фотографии: нога его уже на поверженном звере, большом, лохматом, а на голове у сына пробковый шлем, как это принято у англичан на окраинах империи. Но что-то есть в лице Вани чужое ей; винтовка наперевес к ней направлена. Рядом девушка, она улыбается. Вся такая чистенькая — в белых штанишках, в рубашке, облегающей молодую грудь. Глазки голубенькие, зубки ровненькие. Улыбается удачной охоте и радости быть молодой. А Рая, хозяйка большого дома с видеокамерой у входа и садоводом-дворником, наблюдающим в эту камеру, начинает рассматривать морду зверя, кровь в его открытой клыкастой пасти, и на её душе тяжелеет «каменюка» — как говорят в её родной Осиновке. Она предчувствует: старуха не оставит их дом в покое. Ещё смотрит она на зверя, на его открытый глаз обращает внимание: как не мёртвый он! Другую фотографию начинает рассматривать. На ней — слуга, из местных, с подносом стоит, почтительно прохладительные напитки предлагает. Но улыбка-то у него, присматривается Рая, улыбка нехорошая у него. Взгляд жёсткий. Снова берёт со стола отложенную карточку, и чем дольше смотрит на убитого зверя, тем больше верит: нет, не мёртвый у него глаз. Зло смотрит.

«Теперь этот глаз, не дай Бог, привяжется ко мне… Забыть бы всё: и грязную старуху, и этого Педро (недавнего любовника) — профессионала-шантажиста… Я устала», — жалеет себя хозяйка большого дома в Лондоне, наблюдая тени на потолке от ночника. А там… нет, это ей не показалось, — там тень кирзового сапога обозначилась. Она отворачивается в угол.

В соседней комнате, слышно, Кирилл застонал. И всё громче. «Какой-то совсем смурной стал», — а особенной жалости в словах нет.

«А сын?! — тоска сжимает её грудь, какая бывает у одинокого. — Как не я его родила. Хамит… Зубы скалит». И давняя нехорошая догадка настигает её далеко от заснеженной Сибири.

В угол ей смотреть плохо: там на стене от букета осенних хризантем нехорошее обозначилось (из их фантазий с Педро). И она поворачивается к двери. Которая открывается во сне, чтобы впустить старуху с розовой пеной изо рта. Как быть спокойной? Пусть и с бдительным привратником у ворот…

А что же её друг сердечный, Виталик, которому она путёвку в жизнь дала? Как он-то? С ним что, оставшимся в далёком Зеленоярске?

Думаем, наступило время рассказать и о её бывшем друге Виталии, оставшемся в далёком Зеленоярске. Скажем прямо: немало он успел за эти годы! С особым удовольствием мы ставим здесь восклицательный знак.

Совсем скоро после отъезда семьи Захарченковских он был замечен одной обеспеченной дамой. Из немолодых, но ещё бодрой для своих лет.

Как-то, когда Виталий просто лежал, не зная, чем себя занять, переключая программы телевизора и полистывая иллюстрированный журнал, ему позвонили. Неизвестная дама приглашала на небольшой фуршетик. По какому-то случаю. В телефонной трубке звучал голос человека, имеющего «понятия»: да, это был голос того, кто может покровительствовать. «В семнадцать тридцать», — было ему сказано. В семнадцать двадцать девять Виталий позвонил в дверь отдельно стоящего дома в два этажа. Хорош, красив был с улицы особнячок…

Встретившая его дама объяснилась — она была с «манерами», — что в дом он приглашён по рекомендации её давнишней подруги Раечки Захарченковской. И что та, уезжая, рекомендовала юношу как человека нашего круга, зарекомендовавшего себя должным образом. Тень улыбки появилась на её лице, руку ладонью вниз ему протянула. К сожалению, Виталий ещё не был готов к этому жесту, потому он только легонько пожал руку и поклонился. Ещё он вспомнил, как, прощаясь, Рая говорила: скоро-скоро ты будешь ездить на настоящей машине. Не на какой-то там подержанной «япошке». «Для людей нашего круга важна рекомендация, — говорила, щёлкая пальчиком по его носу, — человека со стороны туда не примут. Веди себя хорошо, послушный мальчик», — наставляла.

Конечно, догадывался «послушный мальчик», понимал: просто так машину не подарят. Потому, когда случился звонок, вздрогнул юноша: будущее зависит от каждого сказанного им слова. Голос он сделал усталый, какой бывает у человека востребованного. «Конечно, буду, — на диван прилёг, глаза веками прикрыл. — Этот вечер у меня свободен», — говорил, проживая эти минуты по системе известного театрального реформатора.

В большом доме, обставленном мебелью не ширпотреба, его встретила хозяйка, держа длинную белую сигаретку между кончиками пальцев. Всё хорошо в доме, но… но в гостиной было три дамы: едва присмотревшись, сердечко ёкнуло у молодого человека. И в слабоосвещённой комнате видно: не второй молодости они. И даже не третьей. Одна из них, как бы собираясь глотать, часто облизывала губы, показывая слишком правильный ряд зубов. Другая, тех же лет, если не клала голову на спинку кресла, с трудом удерживала её в спокойном состоянии. Выгодно отличалась от них третья дама. Как бы помоложе она, но стоящая около тросточка и чрезвычайная стройность дамы, выступающая челюсть, скулы произвели нехорошее впечатление на Виталю. Он пожалел, что посмотрел на руки…

Нехорошо ему. Он не ожидал. Он думал — будет не так… Он оглянулся на хозяйку и понял: надежда тщетна. У живота что-то вовнутрь потянуло, в груди тоска стала сжимать его бедное сердечко. Он ещё посмотрел вокруг, страдающие глаза на хозяйке остановил. Но она, ободряюще кивнув, перевела взгляд на даму с тросточкой. Очень-очень стройную. Ещё переступил с ноги на ногу Виталий, сделал маленький шажок в сторону дам, которых он имел честь теперь приветствовать. Легко поклонился, легко отступил. Кивнул головой. Как бы улыбнулся он.

Серьёзно наблюдали действо дамы. Та, что «с губами», задвигала ими быстрее, что-то, видимо,

вычисляя. «С головой» рассматривала Виталика чрезвычайно серьёзно — кажется, и головой не вертела вовсе. «Стройная» пыталась изобразить ответную улыбку. Пыталась… Потому что слишком доверилась известным московским хирургам!

Хозяйка «дома», всё так же держа между кончиками пальцев длинную белую сигаретку, стала говорить о Раечке Захарченковской, уехавшей в Лондон на постоянное место жительства, и о её просьбе оказать протекцию молодому человеку.
— Способному, — добавила с едва заметной улыбкой.

На что дамы улыбнулись, а та, у которой «голова», закрутила ею веселее. Паричок её чуть съехал. Видимо, от радости видеть такого приятного молодого человека, готового к услугам.
— Чем собираетесь заниматься? — спросила та, у которой большой рубин и изящная тросточка, инкрустированная ромбиками тёмного, почти чёрного цвета.
— Бизнесом. Но нужен начальный капитал, — ответил заготовленное дома молодой человек и прямо посмотрел в глаза. Браслет часов поправил.
— Надо помочь молодому человеку, — посмотрела на него дама, у которой во рту как бы камушек, который она желала бы, но не могла выплюнуть.
— Такими кадрами не разбрасываются, — это другая дама — и поощрительно улыбнулась Виталию, а потом и «с тросточкой». Щёлки между глаз сузила.
— Кажется, неиспорченный, — одобрительно кивнула, у которой во рту что-то мешает.
— Я готова вам помочь, — сказала Виталику дама с рубином-тросточкой.

Себя по имени назвала, на него внимательно посмотрела и стала подниматься, опираясь на трость. Вежливые слова сказала подружкам, нашла что сказать и хозяйке, наблюдавшей со своего места. Виталий, наклонив голову к плечу, старался почтительно сопровождать подсохшее тело с элитной тросточкой в руке.

…Прошло два месяца, и Виталиков папа, осматривая квартиру сына, сказал:
— Рынок, рынок всё расставит по своим местам.

На кухню прошёл, работой плиточника полюбовался. Орнаментом, выложенным разомкнутыми прямоугольниками, остался доволен. В ванной постоял.
— Н-да, — сказал, через открытую дверь на супругу глянул.
— Хорошо-то как! — ответила она, тоже, видимо, довольная работой плиточника.

Лицо излучает радость, какая бывает у мамы, выведшей чадо в люди. А ведь были сомневающиеся в нём, догадки строили. Многие ли в его возрасте теперь могут похвастать хорошо обставленной квартирой? И чтоб у входа в их двадцатиквартирный элитный дом — охранники? В форме. Честь они отдают!
— Лизинг, — понимающе улыбнулся родителям Виталий. — Года через два, а если повезёт, то и раньше, моей будет, — и, откинувшись на диван с низкой спинкой, он закончил: — Вместе с этой софой, — указательным пальцем в низкий подлокотник ткнул.

Слышно стало, как он тихонько мелодию напевает.
— А ведь когда-то годами — годами! — ждали квартиры, — папа стал гладить столешницу стола на трёх массивных ножках.
— А кто в квартире убирает? — нашлась мама.
— Да мало ли их? — он взял из косметички пилочку для ногтей и, расположив их к свету, стал подпиливать. — Оказывается, ногти растут неодинаково, — говорил, исправляя огрехи несовершенной природы.

А когда родители возвращались домой, отец сказал главное:
— Ну и что, если о ней говорят «старуха»? Завидуют! Она выглядит моложе своих лет… — решительно посмотрел на приближающегося прохожего. — Я видел, мне её показывали: обычное сезонное обострение простудного характера. И молодому без трости не обойтись, — убеждал он себя.

Навстречу — их давний знакомый по прежней работе. С улыбкой, рукой протянутой к ним начинает подходить. Чувствуется, хорошо бы ему поговорить о нынешнем режиме, со старой властью сравнить.
— Потом. Сейчас не время, — неуважительно мимо проходит Виталиков папа.
— Хамы. И завистники, — соглашается супруга.

На бывшего сослуживца мужа, что посторонился, она посмотрела строго. Мимо прошла, его супруге (дуре порядочной!) привет не передала. Он же, мужлан, так и остался стоять с протянутой рукой. Вслед им смотрел долго.

А ведь фактически дама права: из-за таких праздношатающихся их Виталику в городе из машины выйти нельзя. Кто-нибудь, ну кто-нибудь да окажется рядом, с кем он в школе учился, а то и в детском садике на горшке сидел.

Тут как-то один с разговорами на улице подошёл: видите ли, он в университете учится! Ответной радости ждёт… На что Виталий молча рот скривил, из перчаточного ящика машины сигарницу (серебро, «Домский собор в Кёльне») достаёт, «гавану» предлагает, тому, кто и сегодня «на горшочке сидит», зажигалкой чиркает. И не снимая перчатки, натренированным движением руки в машину забрасывает сигарницу — закашлялся студент…

Виталию только за двадцать, а как просто он может выразить глубокую мысль: «Начинаешь с ним говорить, а он, оказывается, учёный… Или какой-то там доцент». При этом бровь поднимает, а как хорошо может он усталую кисть руки с подлокотника свесить! Да, только за двадцать, а он уже организовал и учредил фирму, оказывающую элитные услуги. На видных местах города находятся его щиты рекламы: улыбающийся Джеймс Бонд с кием в руке у бильярда. Профиль чеканный, пронзителен взгляд агента 007: можно не сомневаться, шар будет в лузе! Конечно же, подобную рекламу могут себе позволить немногие, но успешные в бизнесе.

И нет ничего удивительного, что во время очередной встречи Шломхотсейдорского с молодыми бизнесменами на переднем плане — он, Виталий. Его взгляд строг, он устремлён в будущее…

Лейбгор

Венецианец

Фрагменты из романа

Некто Венецианец, создатель города, отринутый им, приговаривается к семи годам немоты и бездействия. Тогда Венецианец, ради спасения родины, избавления её от грехов, даёт обет пройти из Венеции в Рим с городскими воротами на плечах: эти ворота — лучшее творение Венецианца, на них с необычайной выпуклостью и полнотой вырезаны сцены Святого Писания. Удивительны города, через которые проходит путь Венецианца и его спутника, каменщика Петра из Пизы…

Верона — город-тюрьма. Знакомство и дружба знатных юношей из родов М. и К. Равенство двух будущих правителей как двигатель государственного устройства. Рост влияния делопроизводителя и приход его к власти. Предательство детей отстранёнными от управления лицами и страдания влюблённых друг в друга юноши и девушки родов М. и К.

Веронские влюблённые

Мы остановились на пятой миле тюремных коридоров у двух тяжёлых, со множеством замков, крепко сколоченных дверей.

— Уж не собираются ли нас разлучить? — пробормотал Пётр. — Дверей в камеры две, и нас двое. Аккурат по одной на каждого.

— У тебя нет повода для огорчений, — отвечал я своему спутнику. — Скорее должны огорчаться ведущие нас. Стоит только взглянуть на их недоумённые лица — смотри, как вытянулись, чуть не до земли.

По вытянутым лицам стражи я понял: нас не разлучат с боязливым Петром. Напротив, прегрешения перед сводом законов Вероны, содеянные нами, оказались, судя по всему, столь значительными, многоликими и опасными, что подыскать для нас подходящее узилище под сводами обширной веронской тюрьмы было непростым делом. Мой опыт подсказывал: вопрос решится не ранее чем через полдня.

— Пётр, — продолжал я, — нам придётся топтаться на одном месте до вечерней баланды. Насчёт же двух крепких дверей, что перед тобой, скажу: они ведут к двум разлучённым веронским влюблённым. Вот их история.

Сорок лет назад, в тогда ещё тихой и не обременённой строгими законами Вероне, на пороге видного публичного дома встретились двое юношей знатнейших веронских родов. Казалось бы, юношеское нетерпение и страсть к познанию — оба стояли не только на пороге публичного дома, но и на пороге пятнадцатилетия, — должны были заставить двух веронцев, отпрысков известных семей, бежать к цели один впереди другого. Тем не менее, отпрыски вели себя с достоинством и уступали проход друг другу.

Оказавшись на пороге самой комнаты таинств, куда проводила юнцов заботливая владелица заведения, двое знатных веронцев и вовсе преуспели во взаимной вежливости. То один, то другой предлагал первенство и даже приоткрывал один перед другим дверь в царство, или, если быть точным, обветшалую и достаточно изношенную хижину Венеры.

Когда дверь распахнулась, каждый из горячо влюблённых соперников уступал право войти с такой настойчивостью, что слепому стало бы ясно: юноши вполне невинны и не искушены. К тому же прибавились просьбы заботливой владелицы заведения не тянуть время, перестать валять дурака, определиться с первенством — словом, одному войти, а второму подождать.

Юноши с перепугу поднялись до настоящих высот благородства. Тут же, на пороге комнаты с блудницей, оба встали на колени и поклялись в дружбе до гробовой доски. После чего в обнимку вышли из приметного дома и продолжали клясться во взаимном уважении и привязанности до вечера. Трогательная дружба, привязанность и уважение не оборвались в тот день, но расцветали из года в год, приведя к смягчению отношений двух знатнейших родов Вероны. М. и К. — так назовём их во избежание исторических параллелей.

Что до самих юношей, то они, сев семнадцати лет на скамью Болонского университета, но не желая хотя бы в самой малости опередить один другого, просто помешались на идее равенства. К примеру, имея хорошие способности, каждый из молодых людей мог претендовать на первое место в списке отличившихся, что неизбежно ставило другого в неравное положение.

А поскольку о подобном нельзя было и помыслить, то учились они из рук вон плохо, вскоре вовсе забросили учёбу, предпочитая побуждать сокурсников к ликвидации списков, отметок, анкет, стипендий, учебных классов, аудиторий — поскольку, по их мнению, ни одна аудитория не позволяла студентам в равной мере хорошо видеть и слышать профессора, — равно как профессорских и других научных званий, курсов, семестров, часов; любых

способов измерить время и длину, площадь и пространство, силу света и знания; денег, сословий, чинов, гильдий, корпораций, привилегий, цехов, воинских званий и отличий, наименований улиц и городов, рек, озёр, гор, долин Италии, а также омывающих её берега морей.

К ликвидации предназначались имена святых как в названии церквей, так и в названиях праздников, сами праздники, календарь, который приводил, по мнению всё тех же философов, к первенству времён года, превосходству женских месяцев над мужскими, различию праздничных и будничных дней; заодно отменялись имена и наименования людей, животных, растений, объявлялось неуместным разделение тверди и хляби небесной, дня и ночи, света и тьмы — словом, всех различий, подаренных нам Господом в первые дни творения. Не закончив курса, сыновья знатнейших родов Вероны вернулись в родной город, женились, завели между делом детей и всецело предались политической деятельности.

А именно: выйдя на улицу и встав среди народа, они призвали веронцев немедленно ввести равенство, в своих призывах лет через двенадцать преуспели и захватили власть.

Власть, как и следовало ожидать, напрочь рассорила их. Так что вскоре в Вероне не было более враждующих между собой родов, чем М. и К. А поскольку для решения любого практического дела требовалась подпись обоих борцов за равенство, то значительным влиянием неожиданно для всех стал пользоваться некий делопроизводитель, умеющий по своей незначительности незаметно подсунуть бумажку то одному, то другому народному вождю на подпись. После нескольких подобных упражнений делопроизводитель захватил в Вероне главное кресло, а с ним вместе полномочия спасителя и тирана.

Удачливый делопроизводитель был сыном блудницы; именно на пороге её комнаты в незапамятные времена вспыхнула дружба двух знатнейших веронских родов. Не имея должного образования, заботливая мать решила подготовить сына к жизни и поступила единственно мудрым способом: держала смышлёного мальчугана под кроватью, принимая клиентов и ведя с ними беседы. Постель развязывает язык не хуже вина, а уж когда постельная беседа направляется опытной, радеющей о пользе своего сына шлюхой — тем более. Легко понять: к восемнадцати годам не было в Вероне человека, лучше подготовленного к власти, чем будущий делопроизводитель. И это естественно. По мере того как блудница, согласно свойству своей профессии, переходила от клиентов знатных ко всё более простым, любознательный ребёнок постигал новое и изучил человеческую природу всесторонне.

У знати Вероны, в самом восприимчивом детском возрасте, он перенял искусство интриги, умение ладить с врагами и безжалостно изничтожать друзей, любить ночью и казнить утром, бесстыдно отказываться от слов, обязательств, договоров, торговать собственной страной, называя обычную торговую сделку политикой, выгодную торговую сделку — высокой политикой, собственную беспринципность, жадность, продажность — умением вести политику, трусость, слабость, ничтожность — умением мудро вести политику, безграмотность, глупость, скудоумие — политическим даром, умение не заплатить ни гроша блуднице за её труды — политической ловкостью, а умение не заметить под кроватью её великовозрастного отпрыска — политической дальновидностью.

От военных Вероны и купцов со всего света в ранимом отроческом возрасте будущий властитель узнал понятия: тактика, манёвр, кредит, охват, засада, штурм, фланг, сальдо, процент, передовая, рейд, банкрот, маркитантка (как здесь, в произвольном порядке), а также умение находить на карте самый короткий путь к власти. Когда же блудница, идя свойственным её профессии путём, принялась зарабатывать на хлеб насущный, принимая и удовлетворяя похоть простого люда Вероны, юноша в своём укрытии наслушался простой разговорной речи, крепчайших ругательств и скабрёзных анекдотов, которые рассказывают в постели о сильных мира сего. Пообвыкнув, будущий властитель научился покрикивать на нерасторопного горшечника, повышать голос на зазевавшегося виноградаря, притомившегося козопаса, полуголодного землепашца, особенно громко кричал и топал ногами на глуховатого звонаря местной церкви. Словом, находясь почти в восемнадцатилетнем возрасте под кроватью, относился к простому народу свысока.

Ругательства и крики будущего властителя изрядно тревожили ко всему притерпевшихся простолюдинов, но бесхитростные объяснения блудницы — мол, голос-то свыше, Господь на вас за мизерные ваши деньги и излишнее усердие гневается — вполне удовлетворяли их. Когда некий золотарь спьяну залез под кровать и обнаружил там тщедушного рябого молодца, который мирно спал, подложив под голову Священное Писание, блудница спасла положение, заявив, что под кроватью спит монах, уставший от таинства исповеди.

Выйдя из-под кровати как раз в то время, когда на кровати с его матерью предавался утехам простой люд Вероны, будущий властитель всю жизнь называл себя демократом. Труднее всего даётся тирану любовь народа. Когда демократ впервые держал публичную речь, его интонации, простонародный говорок, грубоватая непринуждённость, ужимки, остроты, простительная выходцу непосредственно из-под народа малограмотность завораживающе напоминали нечто давно и хорошо знакомое. А когда кто-то пустил слушок: мол, властитель не так прост, как себя малюет, и голос его — голос свыше, — этому охотно поверили. Сразу и навсегда.

Отстраненные от власти отпрыски родов М. и К. столь увлеклись взаимными распрями, делением уже утраченной ими власти, что как должное приняли заботу о себе делопроизводителя, плакали у него на плече и поздравили после небольшой и яркой речи. В данной речи оратор, с присущими подкроватнику простонародными интонациями и завораживающей малограмотностью, клялся

народу в вечной любви к идеям свободы, равенства и братства, а также к обоим славным мужам, которые теперь даже физически считались его родными братьями.

Назавтра, в один день, оба проснулись в тюрьме. Для начала под тюремные камеры переоборудовали их собственные спальни, деревянные пол и потолок заменили на железные, каменные стены усилили двумя рядами кирпичей, стёкла одели решётками, услужливый камердинер получил чин сержанта, еду, письма, личные вещи проверяла дюжина охранников.

В тот же день властитель развернулся вовсю: к полудню утвердил новое законодательство, а к вечеру успел заменить устаревшие законы на ещё более новые, жестокие и справедливые. Отныне законы сыпались на Верону как из рога изобилия, один нелепее другого, как случайные посетители публичного дома. Казалось, тиран вспоминал своих случайных наставников, каждый из которых щеголял перед шлюхой, его матерью, и старался перещеголять каждого или всех одновременно и на все времена. Нелепые, жестокие, хватающие за пятки один другого законы вызвали ропот народа Вероны.

Тогда у паперти главной веронской церкви заставили собраться всех мужчин города. В короткой и яркой речи властитель объявил пользу всех уже введённых законов, их нетленное всемирно-историческое значение для счастья и процветания родного города, всей Италии. В конце тиран, проведший детство, отрочество и юность под кроватью собственной матери, едва не заслужившей прозвище Подруга Народа, представил всем мужчинам Вероны мешок, полный пуговиц, подвязок, тесёмок и просто цветастых лоскутов. Пуговицы и прочее с белья вельможных распутников, а также с исподнего распутного простонародья сорвал или обрезал собственноручно смышлёный мальчуган, готовя себя к будущей жизни. Содержимое мешка он обещал предъявить всем жёнам Вероны и, таким образом продемонстрировав грязное бельё, окончательно и бесповоротно сделался первым Лицом.

Через три месяца Верона приступила к строительству своей грандиозной тюрьмы. Находящиеся под домашним арестом бывшие радетели всеобщего равенства, отказавшиеся от собственных прав в пользу Лица в Грязи и Крови, желая спасти никому не нужные жизни и минимальные удобства в своих спальнях-камерах, согласились предать вместо себя тюремному заключению подросших тем временем, юных, влюблённых друг в друга детей: тринадцатилетнюю дочь, а с другой стороны — превосходно образованного сына четырнадцати лет, удивлявших трогательной дружбой, чистым и светлым чувством Верону, а позже весь мир.

Судьба их оказалась печальной повестью: заживо погребённые в соседних склепах — мы стоим перед ними, Пётр, — они всю жизнь будут слышать крики и стоны друг друга, не имея возможности прикоснуться к любимому. Их участь тем печальнее, что во мнении веронцев они давно мертвы: юноша принял яд, девушка, поцеловав уста возлюбленного, умерла рядом с ним. Так распорядился говорить и думать тиран Вероны.

Я едва успел закончить историю двух веронских влюблённых, как крики и причитания из обеих камер — один девичий, другой юношеский — поразили наш слух. Никто не смог бы долго вынести стонов несчастных. Нас спасли стражники, видимо, наконец подыскавшие для нас подходящую темницу.

Башня Ада, возведённая на вершине гор самозваными детьми Венецианца. Казни в целях получения материала для изготовления кирпичей и продолжения строительства той же башни. Казнимые — герои рассказов Венецианца. Спутник Венецианца Пётр встречает среди казнимых своих братьев по корпорации и сам еле остаётся жив.

Адский ров

Тропа, проложенная внутри башни, поднималась вверх, пока не оказалась перегороженной рвом, заполненным нагими телами. Изредка кто-нибудь из несчастных издавал стон, и тогда его поддерживали остальные.

Горестные вздохи волною прокатывались по дну рва, с тем чтобы через минуту возобновиться с новой силой. Положенные в ров, судя по их судорожным движениям, стремились выползти на поверхность, где им предоставлялась возможность хотя бы слегка пошевелиться.

Те же, кто оказывался внизу, придавленные другими мучениками, в страдании, со взбухшими от бесплодных усилий жилами на шее, пытались пусть на ноготь, но продвинуться вдоль скорбного русла. В животной страсти спасти жизнь, даже столь тягостную и искалеченную, они цеплялись за малейший выступ старого каменистого дна, чтобы удержаться против течения мрачной адской реки.

Расширяясь, река, вернее смрадная от пота и испражнений сточная канава, несла обессилевшие тела к выгребной яме, что была в четверти мили от того места, где мы стояли.

Берег рва отделялся от тропы крепкой решёткой. Провожатый сноровисто открыл замок, подтолкнул дрожащего пизанца в открывшийся проход и запер решётку за нами.

Слева и справа ров подходил к ней вплотную — клочок земли вокруг не насчитывал семи шагов. Дно скорбной реки оказалось здесь помельче, и страдальцы, особенно те, кто превосходил других ростом, могли закинуть с отмели изуродованные ладони или сплющенные пятки на тропу, ведшую к перекинутому через ров мосту.

Долг христианина не позволял идти по живым, так же как в Модене — городе, казавшемся до того безбожнейшим из итальянских городов, — не дозволялось ходить по мёртвым. К счастью — я говорю это слово, печально усмехнувшись, — десяток мучеников снесло с отмели, остальные отодвинулись, и мы сумели перебраться на мостки,

не причинив дополнительных мук не нами, но Богом созданной плоти.

Медленно шёл я над страдальцами, неся тройную тяжесть на спине: доски венецианских ворот, груз ужасного зрелища и обвислого, ухватившегося за ворота спутника.

Ноги пизанского каменщика подкашивались, взгляд бессмысленно блуждал по распростёртым телам.

Голые спины и животы — не было здесь здоровых и весёлых итальянцев, тех, кого некогда на аркане затащили в башню. Но были люди, превращённые в серое месиво, по плану скотов, назвавшихся моими детьми.

Я видел и говорю о бочаре из Пистои, опоясанном обручами собственных рук в немыслимой тесноте. Мы были знакомы и встретились в день, когда пистойская бочка вновь превзошла генуэзскую.

Теперь, с выпотрошенной поганцами душой, он корчился рядом с потомственным резчиком по камню из Генуи. Человек этот, умелый ремесленник, заботливый отец с пятью детьми на руках, остался без средств к существованию. И без мрамора, позволяющего заработать названные средства, — весь генуэзский мрамор и гранит ушли на строительство подземного хода для местного жирного епископа. На простых придорожных камнях сумел он освоить резьбу — любой в Генуе увидит его мастерство на плитах кладбища.

Я видел и говорю: он лежал полутрупом, приговорённый скотами вместо могилы к братской выгребной яме.

Прачка из Неаполя, некогда светло улыбнувшаяся мне вслед, — я видел и говорю о ней. Несчастную скрутило во рву, как скручивают отжатое бельё.

Я видел и говорю о кузнеце из Ливорно, малым ребёнком стоявшем в углу кузницы с горящими от счастья глазами. В тот день его отец ковал знаменитый меч для Милана. Чем он был теперь? Согнутый, словно подкова, лежал он среди трепещущих тел. Белый, с кровью на искалеченной руке, умевшей выковать оружие.

Я видел подмастерье, опустившегося в месиво тел вниз головой. Пятки мальчишки торчали из смрадного рва. Я видел его, но не скажу, кем он был и из какого города, так он был искалечен.

Я видел и говорю о гончаре из славного города Парма. Глядя на непутёвого сына горшечника, вонь ночных посудин сравнившего с запахом славы, добился он успехов в своём ремесле. Если тот испоганил отцовское дело — этот лепил отменный товар, славу и гордость пармцев. А сделав однажды ночную посудину, и ту сделал так, что последний мерзавец не смел в неё помочиться. Теперь он лежал среди испражнений — своих и чужих.

Видел и говорю о переплётчике из того же города, Пармы. Никто, как он, не сшивал листов, не прокладывал материей, не готовил, как лучшие блюда, клей. Книга Господня, переплетённая им, святыней лежала у каждого пармца. Днём — на месте повиднее, ночью — в изголовье или под подушкой. И ни один — ни дитя неразумное, ни старик — не посмел засалить её руками.

Вот он — переплётчик из Пармы, зажатый двумя телами во рву богомерзкой реки. В аду, где назвавшиеся именем моим отвернулись от Бога.

Видел и говорю о повивальной бабке из Сиены, той, что приняла половину сиенских детей. И всех — у знаменитой монашки-грешницы. Что вы сделали со старухой? Среди принятых ею детей лежала она. Я услышал её последний вздох.

Я видел и говорю о сыне лопоухого каменщика из Специи: кто бы не узнал его по отцовским ушам? Эти уши выслушивали похвалу за работу. И умели краснеть, когда кирпич выходил кривоват. Вы смяли его, вы погребли его под другими. Без души у плоти остаётся один бесцветный, бездушный цвет.

Я отвернулся от него, не в силах вынести чужих мучений. Но корчился он не от боли, к боли он попривык. Зависть к придавленному рядом корчила его. Слой тел, лежащих на соседе, мерещился ему более тонким, чем тот, что придавил его самого.

Я видел и говорю о брате миланского виноторговца. Жена с любовником утопили торговца в бочке с вином. А брата — скотское племя, в проклятом и гнойном рву.

Я видел и говорю о подмастерье из Болоньи. Он был некогда ювелиром и помог сыскать согнутого убийцу. Серьги его работы шли нарасхват, кольца ценились дороже трёх мерок золота, перстни стоили дороже богачей, надевших перстень на палец. Камни, гранённые им, отражали счастливые лица — девушки, или матери, или возлюбленной, чья улыбка светлее камней.

Вот он во рву. Подмастерье, бежавший из заразной Болоньи, куда пришла болезнь заразней чумы. На апеннинском перевале схваченный придурками, привившими зловоние к моему имени. Во рву, согнутый в три погибели, лежит пармский ювелир, чёрные глаза сделались серыми; когда я знал его, они отражали свет, словно гранёный агат.

Видел и говорю о сыне плотника из Пистои, зачатом на груде стружек и ставшем золотарём. Хватило вони ему на веку — здесь самого бросили в отбросы. Среди нечистот умирает золотарь, вымазанный мерзостью с ног до головы.

Со всех сторон Италии свезли дерьмо: падуанское, из-под бессильной нечисти, или веронское, в котором мажут грязью с купели, или моденское — где испражнений не отличают от святых слов, или нечистоты с богомерзким запахом скучного монаха, для которого задница власти священнее Папы. Среди вони и смрада умрёт золотарь, при трудах своих оставшийся чист душой. А назвавшиеся моим именем умоют руки — но будут руки смердеть.

Видел и говорю о внуках мастеровых из Лукки, создавших стены из булок. Они здесь, во рву. И правнуки строителей из Генуи, и потомки мантуанского каменщика. Италия моя — плотников и кожевников.

Я видел и говорю: Пётр, каменщик из Пизы, отпустил край доски, за которую всё крепче держался, и тяжело опустился на колени посреди мостков. Следуя взгляду пизанца, заметил я тела, прижатые наклонно, — верхний вцепился в волосы того, кто

провалился глубже. А тот удерживал нижнего, потоком сносимого в яму, пытаясь противиться течению. Рука его, другая, свободная, обернулась ко мне ладонью — её и молящую руку Петра видел я перед глазами.

Два близнеца не сходятся так, как эти ладони. Одна пыль осела на них, одна глина. Мозоли — на одно лицо, пальцы — с одною хваткой, линии — с одною судьбой. Тот же кирпич держали они, месили раствор, один мастерок был в ухват и, частенько, одна бабёнка. Заставь их креститься на церковь — щепоть была бы такой же, драться — тот же кулак, а выпить винца — так же подхватят бутылку. Большую — с везенья, на донышке — с перепоя, скромно — в пост, разгульно — на праздник. Как два близнеца, держали бы кружку. Точь-в-точь ломали бы хлеб, равно прижимали бы сыр и сыпали зелень. Две ладони — два близнеца. Ладони знатных пизанских пьяниц, ни с какими другими руками не спутаешь. Уж если покажет пизанец кукиш, то не прямо, не вверх. Ровнёхонько по пизанской башне. Пизанскому ли каменщику не узнать своих?

Увидев казнимые в апеннинском аду тела, бедный мой спутник, казалось, потерял рассудок. Из сумы, что висела у него через плечо, вытащил он сухую бутылку и с криком принялся размахивать ею, стараясь привлечь внимание мучеников. Но те не слышали его или не узнавали. Впрочем, верхний сжался при крике Петра, видимо полагая, что очередной истязатель ударит его. Тогда каменщик заплакал и произнёс с глубокой болью.

— Из цеха пизанских каменщиков, — сказал он, — из моего цеха эти трое. Дело тут точное. Только вот не знаю — жив я сам или нет.

Потом пизанец повернулся и вновь принялся изо всех сил размахивать бутылкой. Глину — пожелтее и покраснее называл он, кирпичи — по названиям, баб — по именам, выпивку — ту и другую, по городам, трактирам и бочкам. Но не стараниями каменщика, а случайным потоком сточной реки тела пизанцев принесло прямо к мосткам. Тогда спутник мой, пизанский каменщик, дрожащей рукой и рискуя свалиться с мостков, протянул страдальцам, друзьям по цеху своим, казалось бы, надёжную, как рука, оливовую ветвь.

Тот, что был наверху, схватился за ветвь так, как схватится любое животное в попытке спасти себя, но сухое дерево переломилось, несчастные продвинулись под мостки и исчезли с глаз.

Плачущего Петра перевёл я на другую сторону рва. Там поджидал нас ещё один провожатый, я не стал смотреть на него. Хватило и тех, кто ковырял палками и бил по головам полутрупы в адской реке.

Провожатый открыл решётку по эту сторону рва и повёл нас тропою вверх. Пройдя с четверть часа, мы вышли к лазу со столь низким потолком, что пришлось наклониться, удерживая груз на плечах. Вскоре в конце лаза заметил я свет — дневной свет голубого неба Италии. Ещё через сто шагов оказались мы на широкой площадке, снаружи прилепленной к адской башне.

Зловоние рассеялось, воздух был чист. Вершины гор остались внизу — самая высокая высилась не выше дна адской выгребной ямы. Назначение же площадки было самым простым — выпустить грешников на свежий воздух, чтобы тем более неприятными оказались грядущие муки. Эта, так сказать, свобода, по замыслу моих деток, должна была продолжаться одну минуту, нам же посчастливилось пользоваться её плодами целых три. Поскольку провожатому приспичило облегчиться по большой нужде здесь же, на овеваемой ласковым итальянским ветерком площадке.

Небольшой запашок от названного дела не шёл ни в какое сравнение с внутренним адским запахом и стоил двух дополнительных свободных минут под небом и солнцем родины.

Пизанский каменщик, казалось, не замечал ничего вокруг. Слёзы застилали ему глаза, краем подранной рубахи размазывал он их по щекам. Слепо упёршись в ограждение площадки, взглянул он наконец вниз. Поле, которым мы шли к арке у входа в башню, виделось с мелкую монету. Чуть вправо и влево — зелень полей и лугов, по одну сторону Апеннин — к Венеции, по другую — к Флоренции и Риму. Я показал рукой.

— Пётр, — сказал я, — там твоя Пиза.

Каменщик заплакал сильнее, плечи его тряслись. О Пизе плакал он, о погибших её каменщиках. О том, что во всей Италии, смотри не смотри окрест, не с кем будет выпить. О том, что Италия будет пустой, когда некому будет в ней поставить дом, возвести амбар или поднять над землёй церковь. Или укрепить стеной город. Или поставить камень над могилой.

Наш провожатый покончил с большой нуждой и повёл нас тропою вверх.

При приближении к Болонье Венецианец и его спутник беседуют с удивительным мулом, прорицателем и знатоком магии. Эзотерические соображения и нумерология. Тайное указание на Нострадамуса.

Беседа с мулом

Утром мы сидели в тени деревьев, подкрепляясь нехитрой снедью. Будущие болонские испытания и забавляли, и злили меня, но пока можно было отдохнуть. Я огляделся кругом, подыскивая достойный предмет для беседы, и с удовлетворением обнаружил упитанного мула неподалёку от нас. Мул мирно пасся, пережёвывая траву в полнейшем спокойствии.

— Ты замечательный пример животного, — сказал я мулу.

Мул продолжал пережёвывать жвачку, не обращая на меня внимания.

— Ты упитан.

— Ты вынослив.

— Ты терпелив.

— Ты скор в ходьбе.

— Ты великолепный помощник в хозяйстве.

— Ты достоин самых высоких похвал.

Мул шевельнул ухом.

— Уши твои — в меру.

— Хвост — превосходная мухобойка.
— Ноги — крепки.
— Копыта — их у тебя не отнимешь и не отбросишь.
— Ты не рогат — в отличие от великого множества мужей. Я имею в виду не измену жён, а измену их собственного разума. Им самим.
— Ты не ешь себе подобных.
— Ты не церковник.
— Ты не политик.
— Ты свободен, как древний гражданин Рима.
— Ты истинный ценитель трав.
— Ты не ставишь себя выше интересов родины. Ибо не знаешь о них.
— Ты возвышаешься, но ты невысок.
— Ты невысок — и оттого близок родной болонской земле. Как никто.

Мул пошевелил обоими ушами, переступил с ноги на ногу и покосился на меня. Что касается моего спутника, Петра, то он следил за начавшейся беседой со всё возрастающим интересом, переминаясь с ноги на ногу вместе с мулом. Пока наконец не вступил в разговор, на практике осуществив начинание Софокла.
— Это мул, — сказал пизанец.

Мы с мулом молча посмотрели на Петра.
— Мул, — глубокомысленно повторил пизанский каменщик.

Мы молчали. Мул пошевелил ухом.
— Самый настоящий мул, — несколько обиженный нашим отношением к беседе, произнёс каменщик, — мулов я знаю предостаточно. Скажу сразу — это не болонский мул.

Мул шевельнул хвостом.
— Ты прав, Пётр, — сказал я. — Мул не местных кровей. И что же?
— А то, — хлопнул себя пизанец по ляжкам в запале, — что ты неправ! Как же ты можешь говорить, будто этот мул близок родной болонской земле? Если он прибыл невесть откуда, и родился там, и на ноги встал, и мать сосал.
— Кобылу, — вставил я.
— Кобылу, — согласился Пётр. — Кого ещё? Ясное дело. На отчизне. Там, где его отец мать оседлал.
— Осёл, попросту говоря, — добавил я.

Мул тряхнул головой.
— Кто ещё! — подтвердил пизанец. — Раз мул, так и выходит. Никуда не денешься. Мул, стало быть. Наполовину осёл, наполовину лошадь. Однако обе половины не из местных. И никак Болонья им не родня.

Мул повернулся к Петру задом.
— А вот здесь ты рассуждаешь неверно, пизанец, — нравоучительно поднял я палец. — Действительно, лошадь, точнее кобыла, что подарила жизнь превосходному нашему собеседнику, родом из Виченцы.

Мул лизнул мне палец.
— Отец же, осёл, достойнейшее животное, родом из Ареццо.

Мул лизнул палец.

Пётр открыл рот.
— Ну и что? — сказал Пётр.
— То, что Виченца и Ареццо находятся на одном и том же расстоянии от Болоньи. Так что предуготовленная судьбой встреча двух животных, осла и кобылы, идущих мерным шагом из двух замечательных городов нашей Италии, произошла именно здесь. Мул природный болонец, каменщик. И ему неприятно слушать твою болтовню.

Мул мотнул головой.
— Кроме того, — продолжал я, улыбаясь, но не показывая на лице улыбки, — неспроста завязал я беседу с этим замечательным животным. Знай же — аррецийский осёл, чья кровь струится в жилах славного мула, из древнего испанского рода. Издавна его предки носили лучших предсказателей Испании, знатоков магии и тех, кто видел тайную связь вещей.

Пизанский каменщик с опаской взглянул на ушастого.
— Мать же мула, из виченцийских кобыл, восходит к знаменитым французским лошадям. Чьими седоками издавна считались прорицатели, в стихах открывающие нам судьбы властителей и народов.
— Господи, помилуй! — воскликнул Пётр. — Ещё чего не хватало. С нечистой силой связаться. Лучше бы поскорее отсюда уйти и дьявола не приваживать.

Мой спутник перекрестился, после чего трижды плюнул через плечо. Плевки аккуратно легли на круп мула. Мул задрал ногу и попытался лягнуть пизанца.
— Говорю, бесноватый мул! — во всю глотку закричал каменщик, с трудом увернувшись от удара. — Прямо не мул, а лошак.

Мул попытался лягнуть пизанца снова. Безусловно, за дело, учитывая явную и откровенную клевету, возведённую на него Петром.

Я решил перевести беседу в мирное русло.
— Ты природный болонский мул, — сказал я мулу.
— Ты пророческих кровей.
— Одно твоё ухо из Франции, другое — из Испании.
— И оба уха вместе слышат тайны мира.
— Благородный конь и благородный осёл в родстве с тобою.
— Числом два.

Мул успокоился.
— Ног у тебя четыре, число квадрата, и это два по два.
— Две бабки и два деда. Но бабок ног четыре.
— Глаза два и две ноздри — четыре.
— Хвост один.
— Голова одна.
— Шея одна.
— Орган размножения — один.
— И одно великолепное, магическое имя — мул.
— Всего твой счёт — двадцать три. И ещё два крика, которыми подтверждали твои предки мысли своих седоков. Священное «Иго-го» и восходящее к таинствам вавилонским магическое «И-а». Суть в связи, исчисли мужское и женское. Всего счёт пифагорейский — пять звёзд молчания. Или двадцать пять. И ровно столько же каменщиков в корпорации этого мастерового, Петра, — указал я на каменщика из Пизы.

Мул радостно фыркнул, горделиво задрав голову.

Мгновенно, при упоминании родной корпорации, изменилось и настроение пизанца. Так что

гнев сразу же сменил он на милость, преисполнившись уважения к четвероногому собеседнику. Столь сильное действие оказало подтрунивание над вещами более чем серьёзными. Кому, как не мне, было знать об этом. Я продолжил:
— Ты, мул,— квинтэссенция предсказателей.
— Альфа и омега.
— Живая ртуть и сера.
— Алхимическая колба под брюхом.
— Философский камень копыт.
— Ты конь крылатый, по матери. К небесам ты возносишь. Откуда мир виден на ладони и ясны пути его.
— Вот след коня в тебе.
— След истинный.
— След чёткий.
— След прекрасный.
— След пророческий. Твой след.

Мул ещё выше задрал голову, весь напружинившись.
— Иго-го,— сказал мул, поскольку я надавил ему на шею в том месте, где можно вызвать в породистом муле голос коня.

Пизанский каменщик ошарашенно посмотрел на резвого крикуна.
— Ей-богу, Венецианец,— произнёс он,— в жизни не слышал, чтобы мул так чисто ржал.
— Ты конь, мул,— продолжил я,— но ты и осёл. Чего сто́ят все предсказания, если не стоя́т твёрдо на земле? Если не упираются четырьмя ногами против скороспелых выводов? Если чуткими ушами не слышат прошлого?
— Ты упираешься.
— Ты с места не тронешься, сто раз не проверив и не пересчитав.
— Вот след осла в тебе.
— След ясный.
— Чёткий.
— Земной след осла.
— И-а,— сказал мул, ощутив мою руку на другой стороне шеи.

Пизанец всплеснул руками.
— Ты суть тайного знания, ты конь быстроты ума,— сказал я с чувством.
— Иго-го,— сказал мул.
— Ты основателен.
— И-а.
— Ты упорен.
— И-а.
— Ты упрям к фактам.
— И-а.
— Ты скачешь впереди людского табуна.
— Иго-го.
— Ветер разметает твою гриву.
— Иго-го.
— Или не так?
— Иго-го.
— Так.
— Иго-го.
— И только так.
— Иго-го.
— Ты, мул, таков, какими должны быть прозорливцы. И какие рождаются реже, чем мулы, что говорят двумя голосами. Верно ли я говорю?
— Иго-го-и-а,— ответил мул.

Пизанский каменщик подошёл к мулу спереди, погладил за ушами и поцеловал в морду.
— Надо же, какое чудо Господь на пути нам послал,— произнёс пизанец.

Мул ещё раз фыркнул, почесался о бок Петра и резво поскакал к дальнему краю лесной поляны. Где, как я сумел разглядеть, прохлаждался в теньке пастух, мальчишка из рядом расположенной деревушки.
— Одно жаль,— никак не мог успокоиться мой спутник,— редко мулы дают потомство.
— Так же, как и пророчества, Пётр.

Претерпев множество бед, а также лично увидев положение дел в родной Италии, о котором, впрочем, он и так прекрасно знал, Венецианец использует венецианские ворота как плот, спускается по Тибру и приближается к Риму.

Ковчег

Вскоре моё вино разобрало и доблестного старшину корпорации пизанских каменщиков. Счастливый во хмелю, мирно заснул он под нерукотворным высоким голубым небом Италии, на итальянской траве нашей, рядком с собратьями по ремеслу. Мой спутник, Пётр, куда более привычный к беседам со мною, хотя и пошатываясь, оставался на ногах.
— Венецианец,— произнёс он с особой важностью,— не пора ли нам отправиться в путь?
— Пётр,— отвечал я пизанцу,— я не против того, чтобы продолжить путь вместе. Но я говорил и повторю: не стоит ли тебе порассуждать на трезвую голову? Может, и захочешь ты остаться с родной корпорацией? Вернёшься в Пизу, полюбуешься прямизной башни, а рассказов об испытанном хватит тебе на всю жизнь. И напоит тебя, и накормит всякий, и всякая бабёнка уложит в постель. Чем стаптывать ботинки на каменистом пути, не лучше ли полежать в довольстве и тишине?
— Ну нет,— отвечал каменщик с чувством,— так меня на родине ославили — ни передом, ни задом Пизе показаться невозможно. Да и на трезвую голову не о чем мне думать: с пьяной головой за тобой увязался — с пьяной и дойду. Хотя и без того знаешь ты,— мой спутник помедлил,— что останусь я с тобой. Уж если про всё на свете тебе наперёд известно, то и в этом сомнения нет.

Я пожал плечами, возложил на них ворота и пошёл в сторону от Арно, поднимаясь вверх по тропе. Шаг мой был нетороплив, давая время Петру проститься с товарищами по цеху. Мой спутник не преминул этим воспользоваться.

С горестным лицом подошёл он к собратьям, наклоняясь и всматриваясь в спящие счастливые лица. Некоторых он гладил по щекам, других трепал за вихры. Были и такие, возле которых он сидел скорбно, поскольку лежали они пьяные мертвецки. У старшины пизанец поцеловал руку, тот не шелохнулся. Впрочем, будь он трезв, не проснулся бы всё равно — так плотно мозоли от

мастерка лежали на его ладони. И так огрубела тыльная её сторона.

Подхватив суму и ветвь оливы, последовал каменщик за мной, поминутно оглядываясь, словно сомнения в принятом решении всё ещё гнались за ним. Но ещё через полчаса перестал вертеть головой, всё более приободряясь, прилаживаясь в лад к моим шагам и явно пытаясь о чём-то заговорить.

— Послушай,— сказал он наконец,— взаправду я охмелел от бочонка, что ты нам поднёс. Только вот когда угощают, на полпути не останавливаются. Не стоишь же ты на половине дороги со своим обетом. И мне останавливаться не след.

В мои намерения не входило потчевать пизанского каменщика на каждом шагу. Но ожидание его, многократно усиленное братской встречей, было столь трогательным, что я не мог отказать. Я как раз вышел к берегу горной речушки, не чересчур узкой и достаточно полноводной. Поставив ворота на берегу, я пальцем подманил к себе Петра и произнёс с десяток слов, специально составленных мной в подобных целях.

Некогда, находясь в заключении, я подобрал созвучия на всех языках тех народов, что славятся виноделием. Языках как живых, так и мёртвых, цветущих или отцветших под тенью лозы. Я вычислил основы звуков: тяжёлое дыхание крестьянина, весёлые крики сборщиков винограда, песни, пускающие в пляс босые ноги в давильне. Я смешал эти звуки, я прибавил к ним речи виноторговцев, похвальбу кабатчиков, тосты и гомон тысяч людей, сидящих или сидевших во все века за дружеским столом. Я подлил в эту смесь хохот пьяных мужчин и подвыпивших женщин, победный вопль солдата, завалившего девку, первый глоток юноши и предсмертное причастие старика. Песнями сатиров, ухмылками Дионисия я завершил создание своего напитка.

Тогда, в заключении, он понадобился мне для того, чтобы поддерживать силы собратьев по несчастью, а также для спаивания тюремщиков. Теперь я решил разок попотчевать им Петра.

Действие специально составленной фонетической фразы оказалось сногсшибательным. Пётр уставился на меня вытаращенными глазами, улыбнулся блаженной улыбкой, словно в рай попал, мягко опустился на землю и захрапел.

Я посмотрел на заходящее солнце — день подходил к концу. Как кончалась вереница дней от сотворения мира. Ворота Венеции, лучшее своё творение, поднял я и бережно положил на воду. И показалось мне, что прозрачная вода горной, стремительной реки стала ещё прозрачней и чище. Будто впитала чистоту помыслов моих, когда дарил я неблагодарный круг земной красотой.

Под пламенеющим небом увидел я лики святых, вырезанные мной на чёрных досках. Лики патриархов и лики мучеников, слово Господне отблеском на них. Я стоял и смотрел, припоминая дороги Италии. Потом развернул пеньковую верёвку, привязав один конец к резным доскам, а другим несколько раз обмотав ствол прибрежного дерева. Взяв на руки Петра, и в счастливом сне не выпускавшего из рук сумы и ветви оливы, я перенёс его на резные доски. Он, убаюканный покачиванием моего невиданного корабля, продолжал спать сном праведника.

Затем я потянул за верёвку — она соскользнула со ствола дерева, я положил её рядом с мирно сопевшим пизанцем. Ворота Венеции — мои резные доски, мой ковчег,— были подхвачены водой и устремились вниз, со склонов Апеннин. Почти полётом над горным краем.

Ночь между тем не заставила себя ждать. Я стоял на резных досках, стремительно несущихся по поверхности вод. Ворота Венеции, опора моей родины, были единственной твердью в затопленном ложью, ненавистью, корыстолюбием и братоубийством мире. Господь хранил эту твердь перед лицом Своим. И оттого ни царапины не оставалось на ней от подводных камней, и огибал мой ковчег пороги, вокруг которых бурлила невидимая во тьме вода. Шум водяных струй напоминал рёв вселенского ливня из окон небесных, распахнутых некогда.

Но тихим было небо, полное звёзд. Под звёздным пологом я увидел, что более спокойным сделалось течение реки, и прекрасное зрелище предстало предо мною. Золото звёздного света отражалось на гладких эфиопских досках. На тщательной выделки гвоздях, словно на светильниках небесных. И на заклёпках с изображением гербов неблагодарной Венеции. Ворота мои отражали свет неба и сами светили ему. И слово Творца отражалось на одной из книг Его, прочитанных мною.

Так встретил я рассвет, когда солнце поднялось в ущелье, осветив землю и тем будто вернув её из небытия. Этой земле говорил я: «Вот ты, созданная вновь. В зелени трав, в чистоте росы. В цветении деревьев, под прозрачным небом. В пении птиц славящая Господа. Тебе принёс я плоды рук своих. Протяни свою руку, возьми из моей. На мокрой траве построй города, засели их весельем. Окружи добротой, взрасти умом. Стенами домов поставь честность, честью вооружи. И да будет с ними слово Господне, пусть взрастит и наставит детей, придаст мужества, мудростью облечёт стариков. И да будет на лицах их свет небесный навсегда».

О многом говорил я земле, очнувшейся от потопа. Улыбаясь горько и зная — лишь сказки рассказываю я народившемуся дню. «Не изменить человека, тварью останется он во веки веков,— говорил я.— Повторятся ложь и грех, мерзость затопит землю. Тьму приведут они за руку в душу, и погибнут, и встанут, и вновь нагрешат. Но найдётся вновь некто спасённый. И спасётся рукою Господней, на ковчеге своём».

Резные доски ворот покачивались под моими ногами. Река стала полноводней, горные кряжи расступились, луговые цветы долины покрывали берега. Пизанский каменщик заворочался с боку на бок, приоткрыл глаза и с недоумением уставился на воду, окружающую ворота Венеции.

— Изрядная вышла выпивка,— произнёс он хриплым с перепоя голосом, зачерпывая ладонью из реки и протирая лицо,— мерещится мне, будто

плывём мы на твоих воротах, Венецианец, только трудно мне понять, где и зачем.

Я взглянул на спутника и засмеялся. В недоумении сидел он на краю ворот, свесив ноги, почёсывая в затылке и отчаянно зевая. Ни дать ни взять великан, переправившийся некогда верхом на ковчеге.

— Пётр,—отвечал я,—плывём мы по реке, свершая свой путь. Что же до реки, то это Тибр—река Рима. Впрочем, время пристать к берегу, та отмель ждёт нас. А потом продолжу исполнение обета своего, неся ворота на плечах. Как и нёс от Венеции.

— Неужто по Тибру? Чуть ли не до Рима сплавились!—воскликнул изумлённый пизанец.—А я-то спал и не знал, отчего сон такой снится. Плыву я, значит, в бочке винной, и вина в ней по горло, только отпить не могу. Больно уж бочку трясёт и вертит. И главное, хлещет вода через край, вино разбавляет. Вот кончилась тряска, припал я к вину—одна жижа водяная, и более ничего. В холодном поту проснулся, до того выпивки было жаль.

Пизанец ещё раз оглянулся по сторонам, прервал болтовню, которую и сам, кажется, не слушал, понял наконец, что плывёт по Тибру живой и невредимый, приближаясь к заветной цели долгой дороги, и опустился на колени прямиком посреди венецианских ворот, крестясь истово, поднимая очи к небу или опуская на доски с рельефами святых угодников. Благость Божия окружала его, в данном случае, со всех сторон.

Молился он долго, пока, волей выбранного мной течения, ворота не остановились на песчаной отмели. Я вытащил ворота из Тибра, дал обсохнуть, возложил на плечи и через луг, еле заметной тропинкой, пошёл к груде камней и веток, притулившейся на горе. Неподалёку виднелось стадо овец.

Мой спутник шёл рядом со мной, размахивая ветвью оливы.

— Хочу тебя спросить,—произнёс он, когда мы уже почти пересекли луг,—как же с твоим обетом выходит, Венецианец? По Тибру мы не шли, но плыли. Не нарушено ли тем самым слово твоё, упаси Господи?

— Каменщик,—придержал я шаг,—я никогда не говорил, что не поставлю в пути ворота на землю. Поступая так множество раз. В эту же ночь я просто поставил ворота на воду. Так что можешь с облегчением перекреститься, следуя за мной дальше. Господь не в обиде ни на меня, ни на тебя.

Владимир Каганов

Стаей журавлиною

Сентябрь

Прохладою небес окутались леса
И, словно виноватые, примолкли.
И стали тише птичьи голоса,
И влагой дождевой цветы намокли.
Так и душа трезвеет в сентябре,
Послушная дыханию природы,
И загодя, к назначенной поре,
В ней незаметно что-то происходит.
Бегут, бегут седые облака,
И кажется—то годы пролетают.
И стаей журавлиною строка
Моих стихов когда-нибудь растает.

Волны моря струятся—волна за волной,
Разбиваясь в излёт, без исхода.
Почему-то я чую в них вещей душой
Бессловесную муку природы.
Словно что-то хотели они донести
До цветущей земли издалёка.
Словно жители моря хотят нас спасти
От какого-то грозного рока.

Голос дождя в диалоге с листвой,
С крышей, с асфальтом, с травою,
С телом моим и с моей головой,
Но не со мной, не со мною.

Впрочем, и я в эту речь вовлечён
Чувствами, слухом, сознаньем,
Кожею влажной к дождю приобщён
Или, скорее, дыханьем.

Что человеческой речи поток
Перед живым разноречьем?
Разум от жизни природы далёк,
Ливнем небес не отмечен.

Голос дождя от сознания скрыт,
Телу и чувствам он ближе.
Разум пред ними бессильным стоит,
Бусины слов своих нижет.

Слово Божье звучит,
Пробуждая умолкнувший Храм,
И струится в веках
Золотое вселенское время.
И миндальная ветка,
Звучащая, как Мандельштам,
Вдруг в стихах расцветёт моих,
Радуя новое племя.

Выпуск подготовила
Марина Переяслова

Алексей Сыромятников

Ты помнишь обо мне

1. Одержимый

Согласно неписаному закону, то, чего ты ждёшь с таким нетерпением, то, чему подчинены все твои мысли, от чего зависит вся твоя жизнь, всё твоё шаткое мироздание, всегда случается ошеломляюще неожиданно. Неожиданно! И ты бросаешься вслепую, сметая всё на своём пути, ширя и подталкивая энтропию своей маленькой вселенной, и ноги твои, словно деревянные палки, словно ходули, не могут найти правильного шага, заплетаются, теряют все точки опоры, увлекая беспомощное тело вниз под воздействием внеземного притяжения, и опрокидываются стулья, разбиваются чашки, рассыпается всё и вся в пух и прах, к чертям и ангелам…

— Не может быть,— произнесла Ира, глядя на экран широко открытыми глазами.

Ножка падающего стула легонько чиркнула её по ноге, тёмно-синяя чашка с выведенными позолотой цветками гулко перекатилась в полтора оборота за край столика, встав один раз со звяканьем на ручку. Сзади грохнулся опрокинутый стул. Сидящие за соседним столом обернулись.

Чашка упала на пол со странным глухим дребезжанием, не разбившись. Часть кофе разлилась по столу, часть вылилась на пол.

— Что за чертовщина?!— воскликнул, с недоумением уставившись на экран и тоже вскочив из-за стола, Виктор.

Но Ира на него даже не взглянула.

В маленьком кафе «Rendezvous», где они сидели, был включён телевизор, который негромко, но вполне отчётливо транслировал спортивные состязания. Несколько секунд назад началась реклама, и резко увеличившаяся громкость звука привлекла внимание Иры.

На экране кадр, в котором крупным планом было взято лицо Николая, сменился кадром красивой восточной девушки с микрофоном в руке.

«Тише! Мы идём прямо к нему!— девушка приложила палец к губам и озорно подмигнула.— Напоминаю, что мы находимся в самом центре столицы, в главном кафе сети вкусного питания «Grand Burger», и наша передача, как всегда, идёт в прямом эфире, так что всё честно, никаких рекламных трюков!»

Девушка двигалась между столиками, манерно повиливая бёдрами, и продолжала заговорщицким тоном:

«По традиции мы выбрали человека для интервью наугад, и он ещё не подозревает, что через несколько секунд его увидят и услышат миллионы телезрителей! Миллионы, среди которых находитесь и *вы!*»

На последнем слове девушка взвизгнула, ткнув указательным пальцем в объектив, и камера резко повернулась в другую сторону, успев снять, как вздрогнул Николай, прежде чем медленно и даже как-то заторможено поднял взгляд.

«Добрый день! Как вас зовут?!»— радостно закричала девушка и сунула микрофон Николаю в лицо.

Но он смотрел пустыми глазами куда-то вовне и молчал. Голова его немного покачивалась взад-вперёд, по подбородку стекал мясной сок и кетчуп, в руке красовался надкушенный гамбургер.

«Он так взволнован, что не может вспомнить своего имени!— доверительно шепнула в микрофон девушка и снова закричала на Николая:— Вы в прямом эфире! Скажите, как вас зовут?!»

Николай выдавил глухим голосом:

«Ко-ля».

«Отлично, Коля!— ещё громче завопила девушка.— Скажи, Коля, скажи нам скорее, за что же ты так любишь гамбургеры „Grand Burger“?!»

«Я…»— сдавленным голосом только и произнёс Николай.

Снова повисла пауза.

«Смелее, Николай! Это твои пятнадцать секунд славы, о которых говорил… мммм… ааа… а вот ведь забыла, кто!»— девушка скорчила для камеры смешную гримасу, засмеялась, а затем кокетливо прикрыла рот ладошкой.

Николай несколько раз нервно моргнул и зашевелил губами, не произнося ни звука.

«Ну же, Коленька!— ласково попросила девушка.— Тебе нравится в „Grand Burger“?»

Николай заметно напрягся и сказал голосом испуганного ребёнка:

«Я люблю их… потому что они… большие и сочные… такие вкусные…»

«Браво, Николай!— объектив повернулся к бесновавшейся от восторга девушке, и её лицо заполнило всё пространство экрана.— Ну разве можно ему не поверить?! Где ещё вы увидите столько счастливых лиц, как не в «Grand Burger»? Признайтесь, и вам уже хочется скорее попасть сюда, к нам, на праздник жизни! Так чего же вы ждёте? «Grand Burger» объявляет культ еды!!!»

Интерьер кафе исчез с экрана, уступив место сверкающей эмблеме «Grand Burger», и детские голоса запищали:

«„Grand Burger“! Мы любим тебя!»

— Это же недалеко отсюда…— растеряно прошептала Ира и, коротко взглянув на Виктора, кинулась к выходу. Виктору показалось, что она посмотрела сквозь него, словно его и не было.

— Подожди! — он попытался схватить её, сделал шаг вперёд и поскользнулся в кофейной луже. Спустя полсекунды, уже лёжа на полу, Виктор внимательно и с ненавистью рассмотрел чашку, упавшую чуть раньше. Позолотой были нарисованы не только цветки, но и ободок, окольцовывающий края верхней части. На ручке, в тех местах, где держали пальцы, тёмно-синий цвет поистёрся, превратившись в призрачный бело-голубой.

Громко хлопнула дверь кафе.

— Вот как, — задумчиво произнёс Виктор, рывком вскочил с пола, отряхнулся, поднял чашку и, взглянув на неё ещё раз, но уже холодно и равнодушно, поставил обратно на стол.

«Бездна» — вот слово, которое мучило Иру с тех пор, как Николай исчез.

— Бездна — без дна, — отрешённо бормотала она подчас, забывшись, строчку из старой песни, — бездна — без дна…

Коля пропал четыре дня назад. Просто не вернулся вечером домой. Сотовый отключён. Ира звонила друзьям и знакомым. Никто ничего не знал. В следующие дни к поискам присоединились родственники. Сообща звонили в больницы, морги. Ира сходила в милицию и подала заявление о пропаже. По второму кругу обзвонила всех, так ни разу не вспомнив про Виктора. Виктор позвонил сам.

Его звонок застал Иру, когда она, сидя прямо на полу, обхватив голову руками, раскачиваясь и всхлипывая, безуспешно пыталась остановить нарастающие изнутри рыдания. Судорожно схватив сотовый телефон, она взглянула на дисплей и почувствовала укол разочарования.

— Здравствуй, Витя, — дрожащим голосом сказала она. — У меня сейчас, к сожалению, нет ни времени, ни сил, чтобы пообщаться с тобой.

— Привет, Ира, — ровная спокойная интонация. — Я хочу помочь тебе. Мне кое-что известно о… Николае.

— Как? Откуда?

Виктор замялся.

— Ну… Ты, видимо, забыла, где я работаю, — в голосе проскользнула чуть заметная усмешка.

— Что? Что с Колей? Его нашли? — тут она испуганно осеклась и после небольшой паузы, сама не веря в то, что может произнести это вслух, спросила: — Или нашли его… труп?

Виктор вздохнул. И ничего не ответил.

— Да что же ты молчишь? — спросила Ира шёпотом. Слёзы текли по её щекам, но она не чувствовала этого.

— Ира… Только не по телефону. В пять в «Rendezvous». Помнишь такое кафе?

— Да, я помню. Хорошо, — тут же без колебаний согласилась Ира.

Даже в этом красивом, странном и жестоком мире нет, наверно, ничего сложнее и запутаннее человеческих отношений. Сколько невыразимой радости, сколько невыносимого горя! Сколько любви и заботы, сколько нелепого недопонимания! Трогательно-трагичные, непонятные смертные, сам Господь Бог не вмешивается в наши отношения друг с другом. И сам Господь Бог не поможет тебе, если твоя любовь безответна. Сколько не проси.

Ира и Витя дружили с детства. Они учились в одном классе и, так как жили неподалёку, часто бывали в гостях друг у друга или гуляли вместе во дворе. Да и семьи их были давно и хорошо знакомы между собой: обе семьи не раз собирались за праздничным столом в уютной и дружеской обстановке. Летом выезжали на природу. Ах, беззаботное детство: светлая простота милых и просторных дней. Как же всё скоротечно!

Когда Ира перешла в десятый класс, её родители развелись. Мать Иры тут же вышла замуж за немца и уехала жить в Германию, слёзно пообещав со временем забрать туда и дочь. Отец, недолго погоревав в запое, утешился тем, что ушёл жить к новой подруге, оставив Иру на попечение своей матери, Антонины Григорьевны.

Первым делом Антонина Григорьевна спрятала от Иры электрический чайник, поставив на плиту металлический со словами:

— Ты электричества жжёшь столько, словно сама за него платишь! А отец надрывается на двух работах, чтобы дать нам денег на коммунальные услуги.

Заметив, сколько Ира расходует шампуня, Антонина Григорьевна чуть было не упала в обморок.

— Да того, что ты за один раз на себя выливаешь, мне бы хватило на неделю! — орала красная от ярости Антонина Григорьевна.

В последующие дни гулко грянули скандалы с мылом, зубной пастой и туалетной бумагой.

Покупать продукты Антонина Григорьевна предпочитала самые дешёвые, пусть иногда и безнадёжно несъедобные.

— Если мясо, то соевое, если белок, то растительный, если сырок, то плавленый, — жаловалась Ира Вите, пытаясь спасаться чувством юмора от раздражения и безнадёги.

Какую-то часть продуктов Антонина Григорьевна бережно прятала и доставала только тогда, когда они уже начинали портиться. Если Ира отказывалась есть что-то подобное, Антонина Григорьевна свирепела и, отвизжавшись про то, «какая дрянь мать Иры», «какая дрянь сама Ира», про то, что «в блокадном Ленинграде люди умирали с голоду», а «нынешняя дрянная молодёжь не знает цену ни деньгам, ни еде» и т. д. и т. п., неизменно заканчивала одной и той же фразой:

— Ну что ж, губы толще — брюхо тоньше.

Помимо редкой скаредности, Антонина Григорьевна отличалась злым и неуживчивым характером. Иру она ненавидела всем сердцем, и очень скоро внучка стала отвечать ей взаимностью. В квартире начали громко хлопать двери, летать сковородки, разбиваться зеркала. Прибыл вызванный Антониной Григорьевной отец Иры и провёл длительные беседы отдельно с каждой стороной конфликта. После этого в квартире воцарились ледяная вежливость и редко нарушаемое молчание.

С Ирой отец говорил довольно жёстко, требуя уважения к бабке. Для Иры это был настоящий удар. Это было предательство. Она перестала уважать отца. Привычный мир вдруг развалился на

части, явив неприглядный хаос реальности. Бездна без дна… Ира чувствовала себя брошенной. Мать звонила редко, и, скорее по её тону, чем по словам, Ира понимала, что у матери не всё складывается благополучно. Обещания матери забрать Иру к себе продолжали звучать, но уже не так убедительно: в них проскальзывала инерция. После разговоров с матерью Ира плакала и старалась не выходить из своей комнаты, чтобы не доставлять удовольствия Антонине Григорьевне видом своего горя. Наверно, в один из таких сломанных, перекаленных дней Ира и поняла на каком-то глубоком, бессознательном уровне, что для неё детство закончилось.

Плохо, когда дома тебя ожидают, затаив злобу и ревность. Когда зимой на улице тебе теплей, чем дома. Когда ты стоишь перед дверью, ведущей домой, и ищешь хоть какую-то зацепку, чтобы развернуться и уйти, так и не открыв эту дверь. Когда не хочется возвращаться домой, ты — как осенний листок, подхваченный ветром!

Ира, ощутив себя совсем взрослой, с презрением отмахнулась от бывших доселе незыблемыми табу и окунулась в мир взрослых «удовольствий». Домой стала возвращаться поздно и с неизменной жевательной резинкой во рту, призванной приглушить запах алкоголя и сигарет. Перекрасила волосы в чёрный цвет. Антонина Григорьевна по уже отработанной схеме тут же вызвала отца Иры, но теперь его приезд не принёс никакого результата. Разговора вообще не получилось, потому что Ира на все вопросы и угрозы отвечала с безразличием и холодом, словно говорила с чужим человеком. Отец потом только развёл руками перед разъярённым лицом Антонины Григорьевны:

— Возраст такой! Ну не бить же мне её, в конце концов.

Антонина Григорьевна считала иначе, но, подсознательно побаиваясь агрессивного настроя внучки, просто перестала с ней общаться и лишь, проходя мимо, со злостью шептала, глядя в сторону:

— Ах ты, дрянь. Дрянь.

Казалось бы, такая напряжённая и «дрянная» ситуация дома должна была бы загнать Иру глубоко в себя, вылепить из неё робкого и необщительного интроверта с партизанскими отрядами затаившихся внутри комплексов. «Только вышло всё иначе, вышло вовсе и не так». Скорее, наоборот. Ира легко и непринуждённо заводила новые знакомства, список её друзей и приятелей стремительно рос. Иру переклинило в другую сторону: она стала «сверхобщительной». Сверстники тянулись к ней из-за её красоты и обаяния. Ира умело пользовалась этим и привязывала людей к себе. Но так же умело, с прирождённой грацией и осторожностью, она держала людей на расстоянии от своего сердца. Единственным по-настоящему близким другом для Иры был Витя. Витя, друг детства. Как родной брат. Так относилась к нему Ира. Ох уж эта женская наивность! Старательно не замечать очевидного, никогда не рассчитывать сил своих чар…

К старшим классам Витя любил Иру без памяти и был твёрдо уверен в её ответных чувствах. Он всё время старался быть рядом с Ирой, оберегать и защищать её. Он был настолько убеждён в верности Иры, что никогда не обсуждал с ней своих чувств и не знал ревности. До поры до времени.

В классе Витя считался самым умным. В этом единодушно сошлись и учителя, и ученики. У него были прекрасные способности к точным наукам (к гуманитарным он относился с некоторым равнодушием, но, благодаря старанию, и в них был одним из первых). Одноклассники постоянно списывали у Вити домашние задания, всегда безупречно и аккуратно выполненные к сроку. На контрольных у Вити тоже списывали. И даже если вариантов заданий было много, Витя, как правило, в течение первых десяти минут урока решал свой, а в оставшееся время решал чужие. И никому не отказывал в помощи. Но помогал не из любви, а, скорее, из-за брезгливости и чувства собственного умственного превосходства. Так он самоутверждался.

Единственным предметом в школе, с которым у Вити отношения никак не складывались, была физкультура. Коренастый низенький физрук, хронический алкоголик и прожжённый сигаретами (иногда и не с табаком) циник, говорил Вите с нескрываемым презрением:

— Ты, парень, просто не понимаешь, что твоя умная, всезнающая голова должна держаться на сильных и широких плечах. А ты посмотри на себя: хилый, сутулый, да ещё в очках. Растение из ботанического сада. Да тебя девчонка побьёт.

С девчонками, к слову сказать, физрук часто бывал столь же суров и прямодушен: одну осудил за обилие косметики и сравнил с «придорожной шлюхой», другую довёл до истерики лекцией о разных степенях ожирения, уверяя, что у неё-то уж точно самая последняя и губительная. Жил физрук, как бы это странно и прискорбно ни прозвучало, в самой школе. По ночам в ней же подрабатывал сторожем. Несколько раз его избивали старшеклассники.

Витю физрук ненавидел вполне искренне и третировал на уроках со всей силой своей неудавшейся, потерянной жизни. В девятом классе Витя принёс в школу справку об освобождении от занятий физкультурой, купленную родителями через знакомых, и больше на уроках физкультуры не появлялся. Такой исход конфликта устроил почти всех: и школу, и родителей, и самого Витю. Только физрук с тех пор как-то недобро щурился на ученика и презрительно усмехался, когда они случайно сталкивались в коридоре.

В одиннадцатом классе Витя стал больше внимания уделять своей внешности: сменил очки на линзы, начал вяло и с неохотой отжиматься по утрам, но в общем и целом так и остался очень умным и сутулым «ботаном». У него не было близких друзей — лишь несколько приятелей, с которыми он иногда играл в шахматы и карты. Центром его жизни была Ира.

А Ира и не подозревала, какие глубокие чувства испытывает к ней её самый лучший друг. Люди и события крутились и вертелись вокруг неё подобно водовороту, дни вспышками-выстрелами

мелькали-гремели и стремительно исчезали в мертвенно-бледных объятиях прошлого, оставляя пороховой запах неосмысленных впечатлений и конфетти смутных воспоминаний.

Однажды знакомый парень, вскоре затерявшийся в массе бесчисленных друзей и воздыхателей, подарил Ире диск, куда, как он выразился, «записал всё самое лучшее, что есть в музыке». Среди папок, присутствующих на диске, Ира не обнаружила ни одного знакомого названия, а потому ткнула наугад одну из папок в Winamp. Это оказался дебютный альбом «Ramones» 1976 года.

С первыми же звуками, ревущим локомотивом вылетевшими из колонок, Ира поняла, что её жизнь изменилась навсегда. Именно так — ни больше ни меньше. К середине первой песни Ира скакала по комнате, размахивая руками, смеясь и крича от восторга (благо, Антонина Григорьевна ушла на рынок за продуктами). Когда звучала «Now I Wanna Sniff Some Glue», по батарее уже вовсю лупили возмущённые соседи, но Ира только вывернула регулятор звука на колонках до предела. Неукротимая энергия сумасшедших смертных мощными фонтанами радости била из далёкого семьдесят шестого, сметая на своём пути годы и языковые барьеры, попирая саму смерть. Музыка молодых!

Когда альбом закончился, Ира в изнеможении рухнула на кровать и прошептала в потолок:

— Вот это да!

На том же диске оказались и «Clash», и «Damned», и «Sex Pistols», и «Buzzcocks», и многие другие. Всё это было настолько ново и неожиданно, что серый, обыденный мир вдруг заиграл, заискрил яркими незнакомыми красками, и Ира почувствовала, как откуда-то изнутри взмывает, наполняя всё её существо трепетом пробуждения, необычная сила, взывающая к немедленному и безотлагательному действию. Так Ира начала писать стихи и заинтересовалась рок-музыкой.

Вите новые увлечения подруги пришлись не по вкусу. Стихи Иры показались ему наивными, глупыми и корявыми (о чём он, конечно же, целомудренно умолчал). К музыке он был и вовсе равнодушен: слушал только радио, да и то редко. Некоторое время Витя с вымученной улыбкой ходил вместе с Ирой на концерты, не получая от них никакого удовольствия и с удивлённым недоумением глядя на прыгающих возле сцены людей. Потом махнул на всё это рукой и стал встречать Иру после концертов, чтобы проводить домой.

На одном из концертов Ира познакомилась с барабанщиком начинающей панк-рок-группы «Напролом». Барабанщик, словно не замечая растущего в глазах девушки восторга, спокойным, будничным голосом, глядя немного в сторону, поведал о том, что у «Напролома» скоро выйдет первый альбом, и пригласил Иру на концерт, пообещав провести бесплатно, «по плюсу».

В тот же вечер Ира с возбуждением пересказала всё это Вите, когда он провожал её домой. Витя насторожился.

— Думаешь, будет интересный концерт? Пожалуй, в этот раз я схожу с тобой, — как бы невзначай бросил Витя и пытливо взглянул на подругу.

— Конечно, пошли! — искренне обрадовалась Ира.

На том и порешили.

К зданию, где располагался клуб, они подошли за час до начала концерта. Зайдя внутрь, они разделись в гардеробе и поднялись на второй этаж. Перед входом в зал уже собралась небольшая очередь. Деньги за билеты взимал охранник, дежуривший с металлодетектором перед массивной деревянной дверью.

Ира позвонила на сотовый своему новому знакомому. Через несколько минут дверь в зал распахнулась, и оттуда вышел низкорослый, но довольно крепкий на вид парень с некрасивым, но выразительным лицом. Его длинные чёрные волосы чуть раскачивались в разные стороны, когда он двигался. Это и был барабанщик группы «Напролом». Он, усмехаясь, поманил Иру пальцем.

—Риве-е-ет! — закричала Ира, радостно подпрыгнула и, схватив Витю за руку, побежала ко входу.

Витя уныло поплёлся следом, тормозя её движение.

— Привет, привет, — вальяжно произнёс барабанщик и приобнял Иру.

На Витю он не обратил никакого внимания.

— Девушка со мной по плюсу, — сказал барабанщик охраннику и указал на Иру.

— Хорошо, проходи, — буркнул охранник и посторонился.

— А как же я? — растерянно воскликнул Витя.

Барабанщик удивлённо посмотрел на него и пожал плечами:

— А ты не со мной.

— Почему так? — невольно вырвалось у Вити, и он тут же почувствовал себя полным идиотом, краска залила его лицо.

— Потому что у неё есть сиськи, а у тебя нет, — отрезал барабанщик и открыл дверь в клуб.

Ира повернулась к Вите и, легко тронув его по плечу пальцами, сказала:

— Купи билет и заходи. Я буду ждать тебя внутри.

— Хорошо, — с трудом выдавил из себя Витя.

Таким униженным он ещё никогда в жизни себя не чувствовал.

Ира и барабанщик скрылись внутри.

Витя вздохнул и спросил у охранника:

— Сколько стоит билет?

— Встань в очередь, — только и ответил тот.

Концерт превратился для Вити в настоящий кошмар. Ира затащила его настолько близко к сцене, что он несколько раз, совсем того не желая, заглядывал прямо в остекленевшие, неподвижно-безумные глаза вокалиста, жутким голосом скрежетавшего в микрофон что-то типа:

Буржуй сожрал твою свободу, ты слишком слаб!
Буржуй купил твою свободу, теперь ты раб!!

Впрочем, в оглушительном, кашеобразном, ревуще-визжащем звуке несостроенных друг с другом инструментов бóльшую часть слов разобрать было невозможно. Ира кричала и прыгала с поднятыми вверх руками. Витя, вжав голову в плечи и ошарашенно озираясь, стоял рядом. Вокруг них отплясывала, толкалась, дёргалась, тряслась и качалась потная бесноватая толпа.

После концерта, провожая Иру домой и рассеянно слушая её лепет о том, какие классные ребята эти «напроломщики», Витя вдруг с горечью ощутил, как в его размеренной, продуманной, прочерченной мысленно далеко вперёд жизни что-то надломилось. «Проломилось», если угодно. Плохие предчувствия сковали его существо, ненасытными червями заползли глубоко внутрь вместе с холодом позднего февральского вечера. Плохие предчувствия угнездились рядом с сердцем.

С того вечера Витя стал видеться с Ирой гораздо реже: в основном, только в школе. Она отговаривалась плохим самочувствием, нехваткой времени и проблемами дома. Витя видел, что она лжёт. Ира перестала появляться в знакомых Вите компаниях, словно потеряла интерес к общению с людьми. На уроках она сидела задумчивая.

Только тогда Витя впервые понял, что такое ревность. В его голове рождались — одна хуже другой — мучительнейшие картины. Витя, зажмурив глаза, судорожно мотал головой, чтобы отогнать морок, но воображение тут же создавало ещё более отвратительный. В замкнутом пространстве своей комнаты Витя метался, натыкаясь на предметы и стоная, и если бы мог залезть на стену, то сделал бы это. Еда потеряла вкус, ночи — сон, голову оставил разум. Ревность и безумие всегда идут рука об руку. Не в силах терпеть потери контроля над собственной действительностью и этого высасывающего душу наваждения, Витя решил объясниться с Ирой. Признаться ей во всех своих чувствах. Выяснить всё раз и навсегда. Вернуть заблудившуюся реальность на место. «Love is control, I'll die if I let go».

Тот день был морозным и солнечным. Они шли из школы молча. Ира улыбалась и довольно жмурилась, подставляя лицо солнечным лучам. У неё было хорошее настроение. Витя шёл в каком-то полусне, спотыкаясь и прикрывая глаза от солнца рукой с мелко трясущимися пальцами. Он задыхался от волнения. Приготовленное заранее, продуманное до мельчайших деталей и даже отрепетированное дома перед фотографией Иры признание вдруг рассыпалось, обдав брызгами теперь уже бессмысленных фраз. Слова перемешались в голове, вызывая дурноту. Когда они остановились около двери в подъезд, Ира повернулась к Вите и широко улыбнулась:

— Спасибо, что проводил. Ты просто чудо!

Витя смотрел Ире прямо в глаза. Её глаза лучились нежностью. Он вдруг потянулся к Ире и сказал:

— Обними меня.

Она с готовностью обняла. Они стояли так несколько секунд, положив головы друг другу на плечи. Потом чуть отодвинулись, не разрывая объятий, и снова встретились взглядами. Витя потянулся губами к губам Иры, но она испуганно отшатнулась и замотала головой. Радость в её глазах сменилась непониманием и болью, и она выскользнула из его объятий. Он не пытался её удержать, но его руки так и замерли в воздухе, словно он всё ещё обнимал её.

Достав из кармана ключ, Ира открыла дверь в подъезд и, не оборачиваясь, скрылась внутри. Дверь плавно закрылась, щёлкнул замок.

Всё это происходило как в замедленной съёмке, так, словно Витя смотрел фильм с собственным участием. Он не помнил, как добрёл до своего подъезда. По дороге он неестественно громко смеялся и хватался руками за голову.

На сотовый ему пришло сообщение от Иры: «Витя, ты же мой единственный настоящий друг, зачем ты так со мной? Я думаю, что лучше нам какое-то время не общаться».

Какой загробный ад с кипящей смолой и чертями сравнится с адом в душе человеческой? Каково это — неожиданно очнуться от грёз в жестокой реальность, где всем твоим жалким чаяниям, планам, да и вообще тебе, каким ты был, больше нет места? «Don't go dreaming, don't go scheming, a man must test his mettle in a crooked old world».

Непреходящая боль — вот что такое безответная любовь. Витя не чувствовал ничего, кроме этой боли. Из последующих неудачных попыток объясниться с Ирой он услышал, что ей тоже очень больно и она намерена положить предел этим обоюдным мучениям.

— Я хочу, чтобы ты понял: мы можем быть только друзьями. Разве этого мало?! — в отчаянии воскликнула Ира.

Она оказалась верна своему слову и стала избегать общения с Витей. Но чем длинней отмеряла дистанцию Ира, тем настойчивей Витя искал встречи, не понимая, что пропасть от этого только растёт и ширится. Витя стал навязчив. Он постоянно звонил, даже несмотря на то, что Ира, в конце концов, перестала отвечать. Писал смс-сообщения. Писал в социальных сетях. Ждал после уроков. Дежурил возле подъезда.

На выпускном вечере Витя, до того почти не употреблявший алкогольных напитков, быстро «нарезался». Шатаясь по школьной столовой, где проходило празднество, он спрашивал у всех:

— Где Ира?

Но никто не знал, где она. Никому не было до Вити дела. Никто не собирался помогать ему в поисках. И тогда Витя внезапно догадался, что это заговор. Они спрятали Иру от него. Все, все они были заодно. Витя грозно покачал вытянутым вверх указательным пальцем и прошептал, раскачиваясь из стороны в сторону:

— Вам меня не обмануть, свиньи!

Перед его мутным взором мелькали перекошенные от хохота рожи, оскаленные вопящие рты сливались с фужерами и рюмками в ненасытных глотках, жадные жирные руки тащили еду пригоршнями из тарелок, роняя сочащиеся маслом и майонезом куски на пол, где их давила, давила, давила, превращая в мерзкую грязную жижу, трясущаяся от возбуждения, слипшаяся в неистовой бесконтрольной пляске плоть. Потная бездушная биомасса наваливалась со всех сторон, мешая двигаться, загораживая дорогу. Заговор! Витя, отчаянно маша руками влево-вправо, растолкал стоящих перед ним и, наступив одной ногой на свободный стул, вскочил на стол. Звякнула

подскочившая посуда. Покатилась к краю, заливая всё на своём пути шипучей пеной, недопитая бутылка шампанского.
— Ира!! Где же ты?! Ира!!! — успел пронзительно крикнуть Витя и тут же кубарем свалился со стола, увлекая за собой в падении чьи-то тарелки и рюмки.
— Ой-ёй-ёй, выведите его скорей на свежий воздух: ему совсем плохо, — заверещал рядом лицемерно-заботливый голос директрисы, и чьи-то сильные руки схватили и поволокли Витю прочь из столовой.
— Ира, я люблю тебя! Я люблю тебя! — хрипел и стонал Витя, пока кто-то тащил его через холл к выходу из школы.

Снаружи, на свежем воздухе, Вите и правда сделалось «совсем плохо». Захлёбываясь рвотой, он, поддерживаемый под руки, доковылял до кустов, где долго и мучительно блевал. Некто так и остался рядом, придерживая Витю за плечи, чтобы он не упал.

Когда потоки рвоты иссякли и лишь длинная полоса слюны тянулась из Витиного рта до самой земли, заботливый помощник довёл Витю до крыльца. Витя присел на ступени. Рядом сел его ангел-хранитель. Это был физрук.
— Почему она не любит меня? — дрожащим голосом прошептал Витя, глядя в никуда. — В ней же вся моя жизнь! Почему она не любит меня?
— Слышь, ты давай держись! Что, на ней свет клином сошёлся, что ли? Будут и другие, — както устало и неуверенно пробормотал физрук и похлопал Витю по плечу.
— Почему она не любит меня?! — простонал Витя и заплакал.

После школы Ира поступила на факультет журналистики, а Витя ушёл в армию. И если первое событие никого не удивило, то второе всех повергло в крайнее изумление. Витя с его блестящими способностями к наукам и умом мог без труда поступить в ВУЗ. И сам он, конечно, знал об этом. Более того, он не был годен к службе из-за слабого зрения, но, заучив наизусть расположение букв в таблице для определения остроты зрения, перешагнул через это препятствие.

В следующие два года Ира ничего толком о нём не знала. Сам он не писал, а его родители больше не желали с ней общаться, считая её виновницей всего случившегося. И лишь через знакомых до Иры доходили слухи, что Витя попал в какие-то специальные войска, и даже город, в котором располагалась часть, не обозначен на картах.

Ира полагала, что, вернувшись из армии, Витя как-нибудь даст о себе знать. Но два года прошло, а никаких вестей от него не было. Он вообще исчез: теперь ни у кого не было о нём информации.

Так прошло ещё несколько лет. А потом Витя неожиданно позвонил и предложил встретиться. Ира с трудом узнала его голос.
— А надо ли, Витя? Столько лет уже прошло. Я конечно, рада была бы увидеть тебя… — неуверенно начала Ира, но Витя её перебил:
— Вот и отлично. Обещаю, что это будет просто дружеская встреча и ничего более. Просто встреча старых друзей, друзей детства.

Ира согласилась.

Они встретились в небольшом кафе под названием «Rendezvous». Когда-то это кафе называлось «Rendezvous 6:02» и было своеобразным островком эпохи прогрессивной музыки шестидесятых-семидесятых годов в суровой российской действительности: на стенах висели большие фотографии групп и плакаты с изображениями оригинальных обложек известнейших в истории рок-музыки альбомов, в зале с утра до вечера витали волшебные звуки «Pink Floyd», ELP, «King Crimson», «Camel», «Soft Machine», «Jethro Tull», «Pavlov's Dog» and so on, а по вечерам выступали отечественные арт-роковые и джаз-роковые коллективы. К сожалению, со временем кафе поменяло владельца. Новый хозяин сразу же выбросил из названия непонятные ему цифры, снял плакаты и фотографии, повесил вместо них изображение Эйфелевой башни и поставил в кафе огромный телевизор, заменивший своим бесполезным бормотанием музыку.

Ира и Витя расположились за столиком возле окна. Во время разговора Витя несколько раз отрешённо и задумчиво посматривал на улицу, словно решал в голове сложное уравнение. Он сильно изменился внешне: вместо робкого и сутулого «ботаника» — уверенный в себе и элегантный молодой человек. Хорошо одетый, с широко расправленными плечами и распрямлённой спиной. Под одеждой угадывалось мускулистое, натренированное в спортзале тело. Волосы зачёсаны назад. Внимательный взгляд оценивающе изучал Иру, когда она говорила. Иру это смущало. Как и нечто другое, что она разгадала и осмыслила далеко не сразу. Что-то в этом новом, практически незнакомом ей человеке настораживало, внушало подсознательный страх. Что-то неуловимо неприятное, неестественное.

Но, несмотря на эти ощущения, Ира была рада Вите, и встреча получилась действительно дружеской. Они вспомнили школьные годы, поделились новостями об одноклассниках и учителях. Опасения Иры, что Витя снова начнёт говорить о своих чувствах, оказались напрасными. И лишь когда она упомянула, что живёт в съёмной квартире вместе с молодым человеком по имени Николай, Витя пристально посмотрел на неё и спросил спокойно:
— Ты его любишь?
— Да, — ответила Ира.
— А он тебя?

Ира улыбнулась и кивнула:
— Да.
— Надеюсь, он тебя достоин, — только и сказал Витя, и больше они к этой теме не возвращались.

Когда Ира спросила у Вити, где он работает, Витя ответил, что занимается «научными проектами».
— А что за проекты? Расскажи, — попросила Ира.
— К сожалению, не могу: все эти проекты засекречены, и разглашение сведений о них приравнивается к измене Родине, — усмехнулся Витя.
— Погоди-ка, погоди, — заинтригованная, промолвила Ира, и в ней тут же проснулся журналист, — ты же, говорят, служил в каких-то секретных войсках? А сейчас что значит ФСБ?

— Ну, можно сказать и так.
— А как ещё можно сказать?— продолжала выпытывать Ира.
— Смежная организация,— уклончиво ответил Витя и, улыбаясь, поднял над столом перед Ирой раскрытую ладонь в предостерегающем жесте.— Ира, больше никаких вопросов о моей работе, а то меня расстреляют.
— Если всё настолько секретно, зачем ты вообще упомянул, что занимаешься этим?— спросила Ира и добавила:— Ты же мог соврать что-нибудь.

Витя грустно усмехнулся:
— Зачем? Ты же мой единственный настоящий друг.
— Подруга,— машинально поправила Ира, внимательно глядя на Витю.
— Да, точно, подруга,— рассмеялся Витя. Но рассмеялся как-то невесело. Словно смеялось только его лицо, а не сам он.

И вот именно тогда Ира поняла, что же так пугало и коробило её в этом новом, непонятном и странном человеке, друге детства. Всю встречу Витя оставался уравновешенно-спокойным, чуть ли не хладнокровным (чуть ли не равнодушным?!), и даже когда смеялся, делал это, скорее, потому, что этого требовала ситуация, чем потому, что ему действительно было смешно. Его лицо напоминало маску: иногда подвижную, живую, а иногда и холодную, застывшую, лишённую движений и чувств, забывшую выразить надлежащие эмоции. Несколько раз Ира ловила себя на том, что, рассказывая о чём-то, она вынуждена делать паузу и заглядывать Вите прямо в глаза в поисках реакции. Но он только молча смотрел на неё, без улыбки, внимательно и спокойно. Словно врач на душевнобольную. Уже потом, мысленно возвращаясь к встрече, Ира подумала: «Настоящий чекист. Дома, наверно, тренировался перед зеркалом. А может быть, у них есть какие-нибудь специальные курсы? «Курс каменного лица», например?»

Только в одной фразе, произнесённой Витей: «Зачем? Ты же мой единственный настоящий друг»,— проступило что-то беззащитное, уязвимо-человеческое, скорбное и жалостливое, словно это был крик о помощи.

После той встречи Витя ещё несколько раз звонил Ире и предлагал увидеться снова, но она всегда находила вежливый, но твёрдый повод для отказа.

Так уж устроен человек, что, утопая в беде, он готов ухватиться за любую соломинку, поверить в самую невероятную и фантастическую помощь, в deus ex machina, во что угодно. Садясь за столик в кафе и с нетерпением глядя на расположившегося напротив Виктора, Ира уже успела убедить себя в самом скором и удачном разрешении ситуации, в том, что Витя обязательно поможет найти Николая и Николай сегодня будет дома, в том, что ей не придётся вглядываться в бездну и сражаться с чудовищами. Бездна без дна…

Виктор сидел, поставив локти на стол. Руки его были сложены замком. Он задумчиво изучал их глазами.
— Витя!— с тревогой окликнула его Ира.

Она села за столик как пришла: прямо в верхней одежде.

Виктор медленно перевёл взгляд на Иру. От внутреннего напряжения у него вздулась вена на лбу.
— Я заказал тебе кофе,— тихо, почти шёпотом, произнёс он.— Чёрный, без молока. Как ты любишь.
— Что с Колей? Где он?— подалась вперёд Ира, облокотившись на стол. Её била дрожь.

Виктор, громко выдохнув, опустил голову, уткнувшись лбом в сцепленные над столом руки. Виктор молчал. Кончики его переплетённых между собой пальцев стали бордово-красными от прилившей крови. Виктор спрятался за замком из рук. Ира не могла видеть, как на его лице проступает горькая искривлённая усмешка.

Из-за спины Иры появилась официантка. Она принесла кофе в тёмно-синих чашках с жёлтыми узорами. Переставив чашки с подноса на стол, официантка бросила испуганный взгляд сначала на Виктора, потом на Иру, но, так и не решившись ничего сказать, ушла. По кафе разносился невнятный бубнёж телевизора: шла трансляция спортивных соревнований.

Виктор вдруг резко убрал руки со стола, глубоко вздохнул, так, словно он задыхался,— одним судорожным, рваным глотком— и безумно посмотрел на Иру. Ей показалось, что на неё глянула сама бездна.
— Ира, я люблю тебя!— отчаянно воскликнул Виктор и продолжил дрожащим, полным страдания голосом:— Уверен: ты знаешь об этом. Ты всегда знала об этом… Как я должен поступить, чтобы ты стала моей?!
— Что?..— в недоумении отпрянула Ира.
— Все эти годы, все эти жалкие, несчастные годы я пытался забыть тебя, да что там— я пытался забыть себя, лишь бы забыть тебя, выкинуть тебя из своей жизни раз и навсегда, выкинуть твой образ из своих снов, выкинуть неотвязную память о тебе из этого кошмара, что зовётся реальностью,— исступлённо заговорил Виктор, сбиваясь, повторяясь и путаясь в словах, торопясь высказаться, чтобы не дать Ире возможности перебить себя.— Ты разбила моё сердце, моё глупое злосчастное сердце! Но даже теперь, даже теперь… глупое, глупое сердце! каждый осколок его, кровоточа, кричит о любви к тебе. Любовь к тебе— это боль! Любовь— боль! О, эта бесконечная, неисчерпаемая, неотступная боль, хуже любого проклятья, любого ада… бескрайний ад любви! Я не могу забыть тебя, не могу жить без тебя… Я тогда ушёл в армию, ушёл, надеясь, что там из меня выбьют твой образ: выбьют кулаками, сапогами, уставом, отжиманиями, временем, расстояньем. Дурак! Чем неосуществимей, недоступней делалась даже сама встреча с тобой, тем крепче становилась моя любовь, тем невозможней казалась мне жизнь без тебя! И образ твой воссиял ещё ярче, и от его света совсем помутился мой разум. Я сошёл с ума, слышишь? Я безумен! Я готов на всё, лишь бы ты была моей! и никто, кроме тебя, не может мне помочь… и никто, кроме тебя, мне не нужен… и всё, всё, что происходит, я вижу только через свет твой, ты— центр моего мироздания, ты— смысл моей

жизни, ты — та, которая всегда рядом и которой никогда рядом нет. Ты, Ира…

Последние слова Виктор произнёс шёпотом и обессилено замолчал. Он тяжело дышал.

Ира смотрела на него с ужасом. «Одержимый! Он просто одержимый! Надо быть осторожной»,— забился в запоздалой тревоге её разум, но Ира уже снова перегнулась через стол и, стараясь придать голосу ровную, спокойную интонацию, спросила:

— Тебе что-то известно о Коле? Мы ведь поэтому договорились здесь сегодня встретиться, не так ли? Так что тебе известно?

— Что мне известно?— задумчиво переспросил Виктор, вздохнул и вдруг расслабленно откинулся на спинку стула, положив на неё одну руку и закинув ногу на ногу. Было видно, что к нему вернулось утраченное самообладание, словно в предыдущие несколько минут он выплеснул всё безумие, накопившееся внутри.— Да всего лишь… всё. Приехал из маленького провинциального городка. Получил в столице высшее образование — филологическое. Работал журналистом, копирайтером, корректором, грузчиком, маляром… кем там ещё? Расклейщиком объявлений? По-моему, даже дворником. Ни на одной серьёзной работе не продержался дольше испытательного срока. Ныне безработный. Несколько напечатанных рассказов и статей. Двадцать восемь лет. Вот, собственно говоря, и всё. Больше про него сказать нечего. Настоящий неудачник. Ничтожество…

— Хватит!— крикнула Ира.— Что ты с ним сделал?!

Виктор зло рассмеялся и покачал головой:

— Да забудь ты о нём. Он мёртв.

В этот момент телевизор издал резкий звук начавшейся рекламы, и Ира инстинктивно дёрнула головой в сторону экрана. Глаза её округлились. Она рывком вскочила из-за стола, задев рукой чашку, и выдохнула:

— Не может быть.

2. Break on Through (To the Other Side)

Через густую человеческую массу вечернего мегаполиса, увязая в липкой каше из встревоженно-бледных расплывающихся лиц, Ира бежала, сопровождаемая возмущёнными возгласами и бранью, бежала, беззастенчиво расталкивая встречных, врезаясь в них, наступая на ноги, сбивая зажатые в руках сумки с продуктами, уворачиваясь от цепких пальцев и пружинящих плечей. Бег с препятствиями.

— Только движение отделяет нас от бездны, даже, если это движение в бездну,— прикололся как-то Николай.

Удушливые толпы огромного людского муравейника… Коля не любил столицу. Он переехал в неё вместе с родителями из небольшого провинциального города, когда ему было четырнадцать лет. Переезжать ему не хотелось. Он рассказал Ире, что первым его впечатлением стала самостоятельная поездка на метро.

Спустившись вниз, он остановился прочитать табличку с названиями станций. Не обладая хорошим зрением, Коля некоторое время всматривался в таблицу, когда подошли поезда к обеим платформам сразу.

— Я никогда до этого не видел столько людей, надвигающихся на меня с огромной скоростью!— со смехом признался Коля.— Они все стремились успеть к эскалатору в числе первых, словно от этого зависела их дальнейшая жизнь и благополучие. Я всерьёз испугался, что меня затопчут. Или что это убегающее из кадки подземки тесто вынесет меня наружу.

Бешеный ритм столичной жизни, вечная спешка и напряжение всего вокруг вызывали у Коли смешанные чувства растерянности и отвращения. Родители не поняли сына. Им казалось, что он должен быть рад не только повышению отца по работе, но и самому переезду: какой же молодой человек не мечтает восторженно о столице?!! Ну, таким человеком как раз и был Коля…

— Здесь совершенно нет пространства, только время, которого тоже, впрочем, всем не хватает,— говорил Коля.— Пространство же раздавлено налепленными друг на друга домами, магазинами, рынками, изрезано лентами дорог, затоптано, загажено, вытеснено. Нет просторных дворов, пустынных улочек, уединённых мест. Не хватает воздуху. Клаустрофобия вперемешку с агорафобией.

Пойманный в капкан сильнейшего контраста между новой, столичной, и прежней, размеренно протекавшей в маленьком провинциальном городке, жизнью, Коля почувствовал отчуждение от окружающей его действительности. Все его друзья остались в родном захолустье, новые знакомства давались с трудом и к близости не вели. В школе Коля так и не подружился ни с кем. Он чувствовал себя чужим. Одноклассники предпочитали не замечать его. Дистанция была нарушена только раз.

— Слушай, а у вас там медведи по улицам ходят?— спросил как-то у Коли одноклассник и засмеялся, а другой тут же подхватил:

— В новостях рассказывали, что местные жители промышляют охотой. Знаешь, прямо с балкона пикой хлоп наугад, а там уже заяц или лиса на пике корчатся!

Коля промолчал. Он глядел в сторону. Шутки были оформлены интонацией беззлобного веселья, невинного дружеского подкола, но больно задели Колю. Ему казалось, что одноклассники относятся к нему со снисхождением и свысока, как к человеку второго сорта, только потому, что он приехал из провинции. Вместе с болью уязвлённого самолюбия в Коле стала прорастать гордость за своё провинциальное происхождение, за свою обособленность, исключительность.

Изоляция, одиночество.

Коле хотелось заполнить пустоту и доказать, что он не хуже остальных. Не обнаружив в себе ни тяги, ни особых способностей к точным наукам, он обратился к гуманитарным. Литература сразу же пришлась впору: читать Коля любил с детства. Параллельно он увлёкся музыкой и кино. Он старательно черпал информацию отовсюду, ничего не отвергая, ничем не брезгуя, терпеливо постигая даже самые сложные и тяжёлые для восприятия дары Мировой Души. Пропасть между

ним и сверстниками, ржущими над шутками из «Камеди Клаба», от этого только росла. Окончив школу, Коля почувствовал облегчение.

Он поступил на филфак. В университете у него появились друзья, с которыми он мог поговорить о Достоевском, или Вудстоке, или фильмах Вуди Аллена. Эта перемена в жизни была как глоток свежего воздуха! Словно где-то внутри стали открываться двери…

Коля всерьёз занялся прозой, и достиг в этом некоторых успехов: рассказы его печатались в литературных журналах и сборниках. Странные рассказы, неплохо написанные, но чересчур мрачные и безысходные. Друзья удивлялись и называли Колю пессимистом, на что он неизменно отвечал:

— Я оптимист! Если б я был пессимистом, я б давно повесился!

Одиночество пустило в Коле глубокие корни, и, даже общаясь с друзьями, он ощущал некую незавершённость происходящего, словно всё было лишь репетицией перед настоящей жизнью.

Непонятно и грустно.

Ведомый постоянно ощущаемой безысходностью, Коля начал сочинять роман, в котором решил отомстить миру, а может быть, даже и Богу за своё одиночество и отчаяние. «…Бьют жену и детей, а метят в судьбу, в обстоятельства, в Господа Бога», — писал Уайлдер в «Дне восьмом». Коля метил в невидимого читателя, хотел создать из слов нечто разрушительное, но красивое, чтобы оно не отпускало от себя, но делало плохо и больно. Чтобы читатель понял, как себя чувствует автор в этом мире. А может быть, чтобы Автор мира понял, как себя чувствует Николай, находясь в его произведении. Роман писался легко, большими кусками выплёскиваясь из Коли.

Однажды Коля обсуждал процесс написания романа с другом, который вдруг глубокомысленно и хитро изрёк:

— Это у тебя сублимация!

С тех пор неприятное слово «сублимация» приклеилось где-то внутри сознания и мучило Колю, словно нечистая совесть. Роман стал продвигаться медленнее: Коле было противно «сублимировать». Он продолжал писать через силу, цинично отгоняя от себя мысли об ответственности. Но настоящий кризис в написании романа наступил, когда в жизни Коли появилась Ира. Ира, изменившая всё.

Они познакомились на сольном концерте Сергея Калугина. Вернее, уже после концерта, когда Калугин раздавал автографы. Ира и её подружка, дождавшись своей очереди, обняли маэстро с двух сторон и попросили первого попавшегося запечатлеть их на память, а попался-то как раз Николай. Калугин сделал козу, вызвав у публики восторженные восклицания. Коля сфотографировал.

— Как вышло? — спросила Ира, подойдя к Коле, разглядывавшему получившееся цифровое фото.

— Красота! — сказал Коля и улыбнулся.

Увидев ответную улыбку, открытую и лучистую, Коля почувствовал беспричинную радость, а вместе с ней томительную боль, и тут же забыл о так и не взятом автографе. И о друзьях, ждущих его на выходе и уже успевших открыть пиво. Впрочем, и обо всём остальном тоже.

Возможно, кому-то, может быть, даже тебе, покажется справедливым утверждение, что в этом большом и странном мире, в который мы родились жить, очень тяжело отыскать нужного человека? Нужного именно тебе человека! Подходящего человека. Единственного, предназначенного судьбой человека! Ведь такого можно искать всю жизнь, да так и не найти. Или думать, что нашёл, но ошибаться. Или, разочаровавшись, изверившись и устав, оставить всякую надежду и бросить поиски, чтобы затем цинично обманывать самого себя, что можно жить и так. Но разве это жизнь?!

Ира и Коля нашли друг друга. С самой первой встречи им было легко и интересно вдвоём. Они не были похожи характерами, но у них было нечто глубоко общее в самом отношении к жизни и людям. Оба любили жизнь, несмотря на все её тяжести, нелепости и ужасы, любили не за что-то и даже не вопреки, а просто как дар, самый ценный и редкий из всех возможных и невозможных. Через это видение представало перед ними всё происходящее. В отношении к людям (наперекор внешней разнице в характерах: Ира — открытая и общительная, Коля — задумчивый и замкнутый) у них имелось одно общее правило: не подпускать к себе людей слишком близко, держаться на расстоянии. Ни Ира, ни Коля не доверяли людям. Но именно из-за этой недоверчивости оба, как ни парадоксально, остро нуждались в том единственном, подходящем человеке, которому можно было бы не просто доверять, но довериться: доверить всё, включая самого себя. В человеке, которому можно было бы верить! Верить даже не как самому себе, а больше, чем самому себе. Такая вера не вспыхивает подобно сухим листьям, брошенным в костёр, или всесожигающей страсти, лишающей рассудка и воли. Такая вера требует времени и терпения. Когда эта вера к ним пришла, к ним пришло и осознание, что ни один из них более не одинок. Да, вполне может статься, что они ошибались, и всякий человек одинок от рождения и до смерти, и никакая сила в мире, кроме божественной, не может восполнить в душе человеческой той страшной зияющей пустоты, что отделяет человека от окружающего его мира и от других людей. Да, возможно, они ошибались, уповая на то, что любовью и верой они выгнали одиночество из своих душ, но… ошибаясь так, они были счастливы.

Любовь к искусству и творчеству также сближала Иру и Колю. Оба неплохо разбирались в литературе, музыке и кино и обладали хорошим вкусом, выпестованным любопытством и всеядностью. Оба были наделены талантом к созданию собственных произведений и подходили к этому процессу с любовью и тщанием, предпочитая качество количеству. Оба считали, что искусство никому ничего «не должно» и в нём не может быть абсолютно ничего запретного, но при этом сходились во мнении, что пустой эпатаж, эпатаж ради эпатажа, выверты и ужимки, сочащиеся матюками, смакование образов телесно-полового

низа, игрища с формой без содержания — лишь пустозвонство и позёрство бездарности, жалкие потуги творческих импотентов трахнуть Мировую Душу. Посещая различные литературные и окололитературные мероприятия, Ира и Коля видели много подобных, обозлённых собственным творческим бессилием, «подземных маргиналов», недоинтеллектуалов, псевдопоэтов. Ира их жалела, как жалеют неполноценных и неизлечимых душевнобольных. Коля ненавидел за назойливость, бездарность и высокомерие, притом ненавидел не как отдельных личностей, а как однородную массу наглой посредственности, пеной пузырящейся на теле времени.

Вкусы Иры и Коли не всегда и не во всём сходились, но понимание и искусства, и самой жизни в целом у них было общим.

— Наша встреча неслучайна: мы родственные души, — сказала как-то Ира.

— Кайрос, — задумчиво прошептал Николай в ответ. — Мы схватили его за чуб! Но если серьёзно, я благодарю Бога за то, что встретил тебя. Даже и не знаю, как жил без тебя все эти годы!

— А я не знаю, как бы жила без тебя последующие, — серьёзно сказала Ира, нежно поцеловав Колю в губы, а затем прибавила, смеясь: — «Процентщицу» я бы точно тюкнула рано или поздно топором по башке.

«Процентщицей» Ира называла свою бабку, Антонину Григорьевну. Ещё Ира её называла «старой ведьмой» и «злом из ада», а иногда и «злом из зада». Съезд от Антонины Григорьевны стал для Иры настоящим облегчением, даже несмотря на моментально возникшие финансовые затруднения, неотступно сопровождающие любую небогатую молодую пару в наши дни.

Снимать квартиру было дорого, и если бы не помощь родителей Коли, неизвестно, как бы выкручивались молодые влюблённые.

Ира училась и подрабатывала журналистом внештатно в нескольких изданиях.

У Коли дела обстояли гораздо сложнее: корректура, написание рекламных текстов и текстов для сайтов не давали хорошего дохода и носили непостоянный характер. Всё это было лишь подработкой. Коля переживал и мучился оттого, что оказался не в состоянии обеспечить себя и Иру. Вынужденная необходимость брать деньги у родителей унижала его, но вместо того, чтобы заставить его искать работу активнее и «крутиться» (ключевое слово нашего времени), повергала в растерянность. Он столько раз ждал, когда ему «перезвонят на этой неделе» и «обязательно свяжутся, как только директор вернётся из командировки», что каждое новое собеседование с очередным тупым и вымуштрованным корпоративными шаблонами «менеджером по персоналу» вызывало у него рвотный рефлекс. Найти хорошую работу без связей представлялось практически невозможным.

Однажды Ира через знакомых журналистов устроила Колю в штат более-менее приличного издания. Первое время дела у Коли на новой работе складывались вполне благополучно: его статьи регулярно печатались, редактор был им доволен. Платили хорошо. Два месяца Коля чувствовал себя на своём месте: ему казалось, что он наконец-то устроился на подходящую работу. А на третий месяц всё полетело к чертям! Издание, в котором Коля работал, стало выходить чаще, и теперь приходилось задерживаться на работе допоздна, а иногда работать и в выходные. От журналистов начали требовать большей отдачи. Редактор каждый день орал на Колю, обвиняя его в том, что он «лентяй и не хочет искать новости». Коля возвращался домой издёрганный и измученный.

— Ты представляешь, киса, меня сегодня один мужик три раза посылал на три буквы по телефону, — устало рассказывал Коля Ире. — И его можно понять: я названивал ему на сотовый с разных номеров целый день по требованию редактора. Сначала надо было уточнить одно, потом другое. Под конец нашей последней беседы, когда он понял, что ругательства и угрозы на меня не действуют, а наглость моя неисчерпаема, он уже буквально умолял забыть номер его сотового. И когда редактор снова потребовал звонить, я наотрез отказался. Был скандал. Я так больше не могу: эта работа убивает меня!

— Коля, милый, потерпи, — увещевала в ответ Ира, — со следующего месяца ты уже будешь в штате, тебе повысят зарплату, и ты увидишь, как это, чёрт возьми, приятно! Ты обязательно привыкнешь, надо только пересилить себя и стать немного общительнее. Поначалу всем нелегко.

И Коля терпел. Но работа получалась у него всё хуже и хуже. Чем громче кричал на него редактор, тем меньше новостей он находил. Чем больше его заставляли надоедать «ньюсмейкерам» и чем общительнее или, прошу прощения, «коммуникабельнее» он должен был становиться, тем тяжелее ему было заставить себя вообще звонить кому-либо и даже просто общаться с людьми.

Постепенно Колей овладела хроническая усталость. Пропали аппетит и сон, под глазами появились чёрные круги.

— Сегодня редактор потребовал, чтобы я «сел» на телефон и начал обзванивать всех знакомых и незнакомых респондентов: у нас совсем нет новостей, — пожаловался как-то вечером Коля Ире и с тоской посмотрел на неё. — Я должен звонить незнакомым или плохо знакомым людям и спрашивать, как у них идут дела. Вот так просто: набираешь номер, говоришь: мол, здравствуйте, такой-то такой-то, меня зовут так-то, я корреспондент такой-то газеты, скажите, а как у вас идут дела? как здоровье, как семья? а нет ли у вас новостей? может, у вас что-нибудь случилось? может, вы собираетесь заключить крупную сделку? нет? ну тогда, может быть, вы знаете, кто собирается? может, вы знаете что-нибудь интересное о ваших конкурентах? и так далее в том же духе. Это верх лицемерия: мне наплевать на всех этих людей! абсолютно наплевать на всех этих коммерческих, исполнительных, генеральных и всех прочих директоров в этом дурацком мире! Я совершенно не хочу знать, как у них дела! Но я должен получать от них информацию… Это какая-то проституция общения!

— Ты забываешь, что я тоже работаю журналистом, да ещё и учусь на журфаке,— усмехнулась Ира.
— Я не хочу тебя обидеть, Ира, ты же знаешь, как я люблю тебя!— воскликнул в сердцах Коля.— Наверно, мне лучше замолчать.
— Да нет, продолжай, всё нормально,— махнула рукой Ира.— В конечном итоге, это лишь твоё личное мнение. Я же не обязана разделять его?
— Нет, не обязана. Это лишь моё мнение, что правда, то правда,— задумчиво пробормотал Коля, и тут его вдруг прорвало:— Но можешь ли ты взглянуть на эту профессию со стороны?! Сколько раз, находясь в редакции, я наблюдал, как наши коллеги извлекают информацию из строптивого и неразговорчивого «ньюса» по телефону! Сначала, пока разговор не клеится, лицо журналиста горит в лихорадке азарта, он пытается найти словами и интонацией дорогу к человеку, влезть к нему в душу. Ради информации журналист готов общаться с человеком ласково и нежно, притворяться, что его действительно интересует, как у того обстоят дела и что происходит в жизни. Журналист готов говорить часами, постепенно подводя к нужной теме, и даже если человек не хочет эту тему обсуждать, журналист постарается вынудить. Когда сопротивление сломлено, журналист, словно вампир, пьёт информацию, захлёбываясь от удовлетворения, задавая всё новые и новые вопросы, ломая последние барьеры между собой и носителем информации. Получив всю необходимую информацию, журналист уже пытается закончить поскорее ставшее обременительным, обесцененное, высосанное до капли общение и избавиться от разговорившегося человека, чтобы сесть писать статью или звонить другому «ньюсу». Вы ему больше не нужны! У него теперь для вас *дедлайн!* Он позвонит вам, когда для этого будет новый информационный повод! Это проституция, проституция общения!
— Это работа, Коля,— напряжённо сказала Ира.— И, как любая работа, она требует профессионализма. Ты просто не умеешь общаться с людьми. У тебя серьёзные коммуникативные проблемы.
— Да, я знаю,— спокойно сказал Коля.— Но эти проблемы у меня давно— я к ним привык. Они стали частью моего характера. Частью моей личности. Ради этой проклятой работы я искренне попытался изменить самому себе и измениться, но у меня ничего не вышло. Я просто эмоционально перегорел, и всё. Наверно, уже слишком поздно меняться. Я решил уволиться.
— Ну, раз ты решил…— вздохнула Ира и замолчала.

Наверно, только женщины умеют так выражать своё разочарование через недосказанное.

Коля уволился из газеты и снова попал под «колёса смятения» безработицы. Но теперь уже сама судьба отвернулась от него. Кайрос! Нельзя упускать благоприятный момент, иначе удача покинет тебя. Через друзей и знакомых работу больше найти не удавалось. Коля начал штудировать сайты в Интернете и газеты с вакансиями, но не то чтобы приличных, а даже мало-мальски сносных мест там и в помине не было. Везде требовались, в основном, страховые агенты и менеджеры по продажам.

Ох уж это набухшее от значений и масок словосочетание— «менеджер по продажам»! Оно могло означать что угодно, начиная от «втюхивания» товаров по телефону из офиса до «впаривания» по магазинам и квартирам. Далеко не все соискатели с энтузиазмом воспринимали подобного рода деятельность, и лукавые работодатели маскировали вакансию, давая ей имя другой. Это делалось, чтобы выманить несчастного безработного в офис на встречу, с тем расчётом, что раз уж ты приехал, то тебя гипотетически можно уговорить заниматься «продажами».

Так на рынке рабочих мест появлялись фальшивые вакансии директора, заместителя директора, помощника директора/руководителя, делового партнёра, партнёра по бизнесу, сотрудника в офис, менеджера среднего звена, диспетчера, кладовщика, курьера, грузчика, работника склада и так далее, у кого на что фантазии и наглости хватало. По телефону тебе никогда не объясняли, в чём суть работы: ты должен был обязательно приехать в офис.

Однажды Коля звонил по поводу вакансии экспедитора. Номер он взял из объявления в газете. Девушка, ответившая на звонок, сказала, что вакансия открыта, но надо приехать и заполнить анкету. Наученный горьким опытом, Коля решил осторожно уточнить:
— Скажите, пожалуйста, а это никак не связано с продажей или продвижением товаров?

В ответ девушка сердито и раздражённо цокнула в трубку, а затем нетерпеливо выпалила:
— Послушайте, не отнимайте у меня время! Приезжайте, заполняйте анкету и говорите с директором!

И повесила трубку.

Коля поехал, предчувствуя обман, поехал, захваченный врасплох какой-то чудовищной инерцией. Добравшись до старенького здания, где располагался офис (а здание находилось, говоря народным языком, в жуткой «перди»), Коля обнаружил там очередь из таких же, как он сам, безработных.

Тщедушная белокурая секретарша выдала Коле анкету. Коля встал в очередь и приступил к заполнению граф анкеты. Очередь двигалась на удивление быстро: Коля едва успел накарябать ответы, когда пришло его время разговора с директором.
— Заходите,— вяло и равнодушно ткнула пальцем в сторону двери в кабинет директора тощая секретарша и отвернулась, почему-то болезненно скривившись, словно ей было стыдно и противно одновременно.

Коля зашёл в кабинет, прикрыв за собой дверь, и осторожно осмотрелся.

Комната была маленькая и неопрятная: везде валялись куски недоеденного хлеба, кипы листов, многие из которых, кстати, являлись заполненными соискателями анкетами, огрызки карандашей, обёртки от шоколадок и прочий хлам. Вдоль стен стояли перевязанные верёвками мешки. Мусорное ведро было забито под завязку, и кое-что уже пересыпалось на пол. За рабочим столом сидела огромная жирная свинья в женском обличии и холодно рассматривала вошедшего маленькими пытливыми глазками.

— Добрый день, — вежливо поздоровался Коля.

Свинья многозначительно промолчала.

— Я по поводу вакансии экспедитора, — кашлянув, неловко пробормотал Коля.

— Вакансия экспедитора у нас уже закрыта, — невозмутимо хрюкнула свинья.

Коля растерянно повёл рукой, в которой была зажата анкета, в сторону двери:

— Но ваша секретарша по телефону сказала…

— Молодой человек! Вы глухой, что ли? Я же вам русским языком сказала: вакансия закрыта. Но для вас есть другая работа!

— Какая? — глупо и часто моргая, спросил Коля.

— Продавать! — издала громкий и торжественный хрюк свинья.

— Что продавать? — ничего не понимая, спросил сбитый с толку Коля.

— А вот что дам, то и будешь продавать! — отрезала свинья.

Коля выскочил из кабинета «директора», громко хохоча и ругаясь.

— Заходите, — сказала следующему в очереди секретарша.

«Эта нищая, оборванная очередь на краю города в кабинет к мошенникам — вот символ нашего времени!» — успел подумать Коля, прежде чем покинул «офис».

Домой ехал на автобусе. Глядя в мутное, заляпанное окно, Коля чувствовал отчаяние и злобу. В руке он всё ещё сжимал заполненную анкету. Вокруг стояли, плотно прижавшись друг к другу, плечом к плечу, такие же серые, забитые и обездоленные, источающие запах несчастья и безнадёги: не люди — человеческий материал, спрессованное беспросветным бытием горе.

Добравшись домой, Коля перевернул анкету и написал на чистой стороне, яростно скребя по бумаге ручкой:

Социальное грязное дно,
Дом без крыши и стен, вид с колен,
Я растерян и втоптан в говно,
Я не знаю, как жить и зачем.
Переполнена яма людьми:
И в обиде, и в тесноте…
Запах старости, сна и мочи,
Сжат билет несчастливый в руке.

Коля спрятал листок в ящик стола, чтобы Ира не наткнулась на эти жалкие вирши. Утром следующего дня, когда Ира ушла на пары, Коля достал листок из ящика, брезгливо перечитал и выбросил в форточку, предварительно скомкав.

— Это страна продавцов! — зло прошептал он зеркалу, и отражение согласно кивнуло в ответ:

— Точно. Страна продавцов.

Но Коля не хотел продавать. Что-то внутри него стойко сопротивлялось даже самой идее идти работать продавцом. Идиосинкразия! Подрабатывая время от времени то тут, то там (классический набор молодого джентльмена: стройка, отделка, погрузка-разгрузка-сортировка-набор по накладным, охрана, благоустройство территорий, клининг, трубочистинг, газонокосилинг и т. д. и т. п.), Коля продолжал поиски постоянной работы. Вот только, вопреки расхожему мнению сытых директорообразных «мудрецов» жизни, что «работы полно!», нормальной или хотя бы приемлемой работы не было.

Ира и Коля жили на самой черте, за которой начиналась бедность. Денег у них всегда водилось мало, исключая, конечно, те периоды, когда их не было вовсе и приходилось занимать. Но Ира и Коля любили друг друга, были молоды и полны надежд: жизнь казалась бесконечной, будущее — светлым. Кто мог предположить, что…

…Ире придётся бежать по вечернему мегаполису, из последних сил продираясь через удушливые толпы огромного людского муравейника, растеряв все планы и надежды на будущее, кроме одной, самой главной надежды: найти Колю.

Когда Ира добежала до дороги, широкой, словно река, светофор горел красным. Эта дорога преграждала Ире путь к сверкающему огромными неоновыми буквами кафе «Grand Burger». Путь, дорога. Синонимы, антонимы.

От головокружения у Иры помутилось в глазах, и она покачнулась. Ей показалось, что окружающий мир качнулся вместе с ней, стал крениться вбок: полетела вверх и дорога, залитая холодным светом фар и уличных фонарей, и машины, и перемазанный неоном «Grand Burger», и улицы, и люди. Мир переворачивался, словно тонущий корабль. Небо вдруг стало невыносимо ближе, мутное, тёмно-багровое, безжизненное зимнее небо.

Стоящий рядом мужчина успел подхватить Иру под руки. С её головы сорвалась шапка, и густые чёрные волосы рассыпались на плечи. Ира сделала судорожный вздох, и тут увидела…

— Осторожнее, кисуля, — незнакомый мужчина насмешливым голосом — прямо в ухо.

…на другой стороне Колю. Коля шагнул на дорогу. Краем глаз: по-прежнему красный!

— Коля!.. — вместо крика шёпот: не хватает воздуха в лёгких.

Не слышит. Он на другой стороне. Прорывается на её сторону.

А ты?

Ира вырвалась из державших её рук и бросилась вперёд. Чужие руки попытались снова ухватить её…

— Стой, дура! Задавят! — голос из насмешливого — в испуганный.

…но в ответ она оттолкнула с силой, какой никогда и не подозревала за собой. Оков не стало.

Ира бежала. Где-то далеко ревели навзрыд тормозящие машины, гудки надсадно вопили, кричали люди. Ира бежала, хотя ей и казалось, что падала.

Воспоминание из детства, словно вспышка молнии: из окна автобуса неестественно изогнутое женское тело на дороге в луже крови тело отгороженное с двух сторон полосатыми (красно-белые полосы, красно-белые) конусами словно там лежит не женщина а разбитая в аварии машина почему же её не накроют ей же холодно лежать на асфальте! накройте её скорее, вы, бессердечные жалкие ублюдки! на асфальте изогнутая чья-то мать чья-то дочь а в нескольких метрах очень

далеко безумно далеко одинокая туфля сорванная с ноги — о, *боже!* — неистовой силой удара подхваченная ураганной силой бедная глупая туфля бедная глупая туфля бедная глупая…

Двое сумасшедших двигались навстречу друг другу поперёк дороги. Двое сумасшедших встретились в середине дороги.

— Коля!! — закричала она и обняла его, прижавшись так крепко, как только могла.

Но его руки висели, недвижные, безжизненные, чужие. Её объятья так и остались без ответа.

Она немного отодвинулась, не разжимая рук, и посмотрела ему в глаза.

Бездна. Боль. Безумие.

Лицо Коли исхудало и осунулось. Волосы были всклокочены. Из глаз, не останавливаясь, текли слёзы. Губы были перепачканы кетчупом с влипшими местами хлебными крошками. Рот приоткрыт.

— О, милый, — с жалостью прошептала Ира и провела по его лицу дрожащей рукой.

Он посмотрел на неё.

Ужас. Отчаяние.

— Кто ты?! Помоги!

3. Поводырь

За несколько часов до встречи на дороге с красивой черноволосой незнакомкой Николай очнулся в салоне такси. Он полусидел-полулежал на заднем сиденье. На коленях у него примостилась мокрая от пота кепка. Она свалилась с головы водителя, трясшего Колю за плечо. Водителю было около пятидесяти. Его круглое угрюмое лицо покраснело, выпученные глаза под взметнувшимися бровями выражали крайнюю степень раздражения, пухлые щёки гневно раздувались. В салоне было жарко и скверно пахло рвотой. Из магнитолы под скудный аккомпанемент синтезатора и электронных хлопков, пародирующих барабаны, доносился хрипатый мужской голос:

> Всю жизнь за баранкой водила-братан:
> Уж столько успел повидать.
> Лей водочку с горкой в гранёный стакан,
> Ведь должен и ты отдыхать!
>
> Ты выпей за ту деревушку до дна,
> Где ждёт поседевшая мать.
> Ты сам весь седой, ведь и жизнь нелегка,
> Но рано тебе помирать.
>
> Дорога-злодейка, дорога-змея,
> Сгубила ты скольких зазря!
> Водила вздохнёт и прильнёт к образкам.
> Попутного ветра, братан!

Коля медленно сел, оторвавшись спиной от сиденья, и схватился за голову.

— Больно! — простонал он.

Водитель забрал свою кепку и пробормотал с презрением:

— Очнулся наконец-то, козёл.

— Как больно!.. — раскачивался из стороны в сторону Коля.

— Выходи давай, приехали, — раздражённо бросил водитель и вдруг истошно заорал, посмотрев вниз, Коле под ноги: — Да ты же мне всё тут заблевал, гад!

Он выскочил из машины, открыл заднюю дверь и выволок Колю на снег. Коля даже не пытался защищаться, пока «водила-братан» бил его ногами: только закрыл руками голову, а ноги подтянул к животу. Быстро утомившись, водитель задышал тяжело и надсадно, закашлялся, захрипел, схватился рукой за сердце, постоял, согнувшись пополам, потом сплюнул, матерно выругался и сел в машину. Такси почти тут же тронулось с места.

Коля ещё долго лежал на снегу в позе эмбриона. Когда он, шатаясь, с трудом поднялся на ноги и огляделся вокруг, то увидел маленький пустынный дворик, зажатый в кольцо многоэтажек, вросшую в снег и остановившуюся до весны карусель, ряд голых деревьев, чуть припорошённых снегом. Всё было чужим.

— Где я? — прошептал Коля и неожиданно с ужасом понял, что этот вопрос не главный. — Меня зовут Николай… Меня зовут Николай! — произнёс он вслух, издал жалобный смешок, больше похожий на стон, и развёл руками. — И это всё! Всё, что я помню…

В его голове пульсировала багровая пелена боли, сквозь которую сполохами прорезались какие-то неясные, неразличимые очертания, затенённые, расплывающиеся, как только сознание пыталось ухватиться за них, лица, гулкие, словно эхо, голоса. Хаос. Бессмыслица.

Коля стоял, не зная, что делать дальше, как вдруг в бушующей внутри неразберихе явственно выделилась и стала нарастать смутно знакомая глумливая мелодия: что-то с гармошками и балалайками. Чужой старческий голос ехидно хохотнул и сказал громко и отчётливо:

— Активация программы, *уииии!* Идёт загрузка навигационных систем! Опа! Кое-что уже загрузилось: тебе вон в тот подъезд, сынок!

Прямо перед глазами Коли возникла и замигала чёрная стрелка, протянувшаяся в воздухе над снегом к подъезду дома, что высился справа.

Коля добрёл до железной двери подъезда и подёргал её. Естественно, она была закрыта. Он с сомнением посмотрел на домофон.

— Ну и что дальше?! — крикнул Коля и нервно засмеялся. — Я не знаю, в какую квартиру мне звонить, и ещё, кажется, я сошёл с ума, потому что говорю с голосом в моей голове!

— Не кричи, паренёк! У тебя в кармане ключ, — спокойно ответил голос.

Коля сунул руку в карман куртки и нащупал брелок с ключами. Вытащив его на свет, он увидел маленький чёрный ключ для домофона и длинный металлический. Он приложил домофонный ключ к отверстию, и электронный замок, издав трель, открылся. Распахнув дверь, Коля зашёл в подъезд.

Подъезд был чистым и ухоженным. Поднявшись на первый этаж, Коля разглядел стоящие в горшках цветы на лестничном пролёте. Стены были выкрашены в голубой цвет.

Он повертел в руках связку ключей и спросил:

— А другой ключ, как я понимаю, от квартиры? Какой номер?

— Шестьдесят шесть. На пятнадцатом этаже, — не замедлил ответить голос.

Коля вызвал лифт. Когда тот приехал, Коля зашёл внутрь и надавил на кнопку с цифрой «15». Прислонившись к стене, он покачал головой, словно не веря в происходящее, и спросил шёпотом:
— Эй, ты, там, в моей голове, кто ты?

Повисла пауза, и Коля уже подумал, что голос не ответит, но услышал:
— Я Автор. Зови меня так.
— Хорошо, Автор. Но скажи мне, кто я?!

Лифт замер, створки дверей раздвинулись. Коля постоял несколько секунд в ожидании ответа, но в этот раз голос промолчал.

Выйдя на площадку, Коля подошёл к металлической двери под номером 66. Номер был нарисован мелом, звонок отсутствовал. Коля открыл дверь ключом и шагнул в квартиру.

Знакома ли тебе та маленькая игра, что называется «Go insane»? Нет? Тогда послушай совет поэта: просто закрой свои глаза, забудь своё имя, забудь людей, ползи обратно в свой мозг! Получилось? Так. А теперь открой глаза. Что ты видишь? Что чувствуешь? Вещи, что окружают тебя, стали восприниматься по-другому? Ты понимаешь их предназначение, но они чужие. В них больше не осталось твоего присутствия. У вас больше нет общего прошлого. Ты видишь своё тело со стороны, можешь управлять им, посылая приказы, можешь доставлять ему удовольствие или причинять боль, но оно — лишь биологическая оболочка. А кто же, позволь тогда поинтересоваться, ты?! Этот мир столь нереален. Просто почувствуй. Эта жизнь столь нереальна. Чувствуй! Чувствуй!

Коля в полной растерянности бродил по квартире: заглядывал в шкафы и тумбочки, выдвигал ящики письменного стола, брал различные вещи в руки. Всё было чужим. Никаких зацепок! Память хранила гордое молчание, словно всезнающий мудрый мертвец. Обыскав самого себя, Коля нашёл бумажник с несколькими тысячными и сотенными купюрами. Кроме денег, в бумажнике ничего больше не было: ни фотографий, ни визиток — ничего.

Умывшись в ванной, Коля долго всматривался в зеркало, но отражённое лицо не было ни чужим, ни родным. И от этого жуткого ощущения реальность совсем ускользала из-под ног. «Вот так и сходят с ума. Так себя чувствуют умалишённые», — мрачно подумал Коля.

Он подошёл к большой двуспальной кровати и потрогал её рукой.
— Какая мягкая, — усмехнувшись, сказал Коля и лёг на кровать прямо в одежде и обуви. Закрыл глаза.

Головная боль была уже не такой сильной. «Надо попробовать заснуть. А когда я проснусь, может быть, я приду в себя. Приду в себя! В прямом и переносном смысле», — с надеждой подумал Коля и повернулся на бок, но тут же вскочил, как ужаленный: в голове внезапно оглушительно завизжали трубы, сопровождаемые громоподобной барабанной дробью. Боль стала просто нестерпимой. Он прижал руки к ушам, но звук шёл изнутри головы. Коля упал на колени, даже не слыша своего собственного крика.

Уже знакомый старческий голос торжественно заревел:
— Активация программы завершена! Давай, ребятки, жги!

И тут же невидимые музыканты принялись наяривать на балалайках, а дурной женский голос завыл:

Эээээх ты, Колька, Колька-Никола-ай!
Сиди дома, не гуляй!
Ээээх, ва-а-а-ленки, да валенки-и!
Неподшиты, стареньки!

Песня зазвучала немного глуше, словно кто-то убавил громкость, и Автор сказал, давясь от смеха:
— Ненавижу эту песню! Но вот ведь тянет иногда на всякую мерзость, сам не знаю почему. А как тебе?
— Очаровательно, только немного больно, — прохрипел Коля, поднимаясь с колен.
— Чувство юмора у тебя сохранилось! — искренне обрадовался Автор, не переставая посмеиваться. — Это хорошо.
— Что тебе от меня надо?! — закричал Коля.
— Ты будешь исполнять мою волю. Делай всё, что я тебе приказываю, и боль уйдёт.
— Да неужели? — спросил Коля и вдруг с удивлением понял, что головная боль действительно прошла. — Да ты просто волшебник.
— Напрашиваешься на банальность?! — последовал старческий смешок. — Ну, изволь: я не волшебник, я только учусь. Мы теперь оба будем учиться: я — управлять тобой, ты — подчиняться мне!
— А если я не захочу учиться?
— Тогда тебе будет очень больно, — грустно ответил Автор. — К тому же я могу управлять твоим телом и без тебя. Но я должен понять, должен понять…
— Понять что?

Автор немного помолчал, а потом спросил насмешливо:
— Скажи, сынок, ты любишь музыку?
— Откуда мне знать! Я даже не знаю, кто я!
— Брось! Все любят музыку. А так как сегодня у нас вводное занятие, так сказать, знакомство, будем импровизировать на ходу! — Автор взял паузу и продолжил: — Недалеко отсюда находится музыкальный магазин «Орфей». Вот тебе карта.

Перед глазами у Николая появилась мерцающая чёрно-белая схема с изображёнными на ней улицами, домами, дорогами. От жирного чёрного кружка, над которым пульсировала надпись «Это ты!», стрелка змеилась к крестику с надписью «Орфей». Расстояние действительно было небольшим.
— Беги ж скорее в «Орфей» и купи там какую-нибудь пластиночку! — с нетерпением воскликнул Автор.

Коля не сдвинулся с места — только пожал плечами и сказал спокойно:
— Нет.

Автор глубоко вздохнул:
— Ну, это ты зря. Зря.

В голове у Коли тотчас вспыхнуло обжигающее адское огнище, а безумная песня грянула с новой силой:

Чем с друзьями водку пи-ить,
Лучше валенки купить!
Эээх, ва-а-а-ленки, да валенки-и!
Неподшиты, стареньки!

— Магазин «Орфей», немедленно, бегом! — закричал разгневанный Автор и зашёлся от старческого кашля.

Коля с изумлением обнаружил, что его тело вдруг зажило самостоятельной жизнью: ноги вывели его в коридор, руки распахнули дверь.

Лифт был занят.

Тело понеслось вниз по лестнице, хватая руками поручни, чтобы удержаться на поворотах. Перед глазами только и мелькали сменяющие друг друга лестничные пролёты.

«Стой!» — мысленно закричал Коля, но рот его не издал ни звука, а ноги продолжали перескакивать через ступеньки. «Моё тело перестало меня слушаться!» — понял с ужасом Коля.

Выскочив из подъезда на улицу, тело побежало. Ноги парили над ледяной коркой дороги, чуть касаясь ступнями поверхности, холодный зимний ветер высасывал из груди остатки дыхания — всё это Коля чувствовал, но как-то опосредованно, словно между ним и его телом вырос некий фильтр.

Когда появилось здание с куцей выцветшей вывеской, озаглавленной «Орфей», и нарисованной на ней красной стрелкой, указывающей на лестницу к цокольному этажу, власть над телом вернулась к Коле. Он тут же рухнул в снег, задыхаясь и кашляя. Голова кружилась и раскалывалась от боли. Тошнота накатывала вместе с ударами сердца огромными волнами. Коля чуть приподнялся на руках, и его вырвало. Только в эти мгновения он по-настоящему понял, насколько более точно слово «вырвало» отображает соответствующий процесс, нежели слово «стошнило». Что такое «стошнило»? Всего лишь жалкий эвфемизм, эрзац, суррогат, слово, напрочь лишённое сока натуральности. А вот «вырвало» — совсем другое дело! Это неприятное слово в полной мере выражало мучительные судороги брутальной действительности.

— Поднимайся, сынок, поднимайся, — потребовал старческий голос. — Ты сам заставил меня преподать тебе этот урок! Но это было уроком также и для меня: нельзя управлять человеком, не проявляя к нему жестокости. Помнишь, как у классика: человек по сути своей мелочен, порочен, ничтожен и бунтовщик! Ох, прости, прости, как ты можешь помнить: ты же с памятью не в ладах! — Коля по интонации понял, что Автор улыбается. — Надеюсь, теперь ты будешь более покладистым? Спускайся вниз и купи пластинку!

Коля молча встал на ноги, вытер губы рукой и, пошатываясь, спустился по лестнице в магазин.

Внутри «Орфей» оказался маленькой комнатой, плохо освещённой тусклой лампочкой без абажура. Слабый, но назойливый запах канализации навевал несимпатичные ассоциации с общественной уборной. Коричневые стены с пузырящейся трещинами, кое-где облупившейся краской только усиливали досадную аналогию.

По периметру комнаты, пыхтя и злобно бормоча что-то самому себе, усиленно работал шваброй молодой парень небольшого роста. Он то и дело останавливался, чтобы всплеснуть руками, потрясти кудлатой головой и выдать порцию нечленораздельных звуков. На вошедшего посетителя он не обратил ни малейшего внимания.

За прилавком стоял щуплый лысоватый человек возраста потерянных иллюзий и вяло ковырял в носу. Без интереса посмотрев на Колю, он зевнул и неожиданно противным голосом, тонким, но напрочь лишённым каких-либо интонаций, спросил:

— Чем могу помочь?

Коля обречённо вздохнул:

— Мне нужна пластинка.

Продавец зевнул ещё раз и обессиленно изрёк:

— У нас нет пластинок. Есть только диски.

— Да я и имел в виду диск. Просто образно выразился, — Коля взглянул на продавца.

— А, понятно, — равнодушно выдавил продавец и снова зевнул.

— Давай, сынок, попроси его показать какую-нибудь новинку отечественной поп-музыки, — вмешался старческий голос Автора. — Сборничек какой-нибудь! Что-нибудь похитовей, чтоб там вся эстрада была!

— Да иди ты к чёрту! Я не буду покупать диск с поп-музыкой, да ещё к тому же и отечественной! — неожиданно даже для самого себя выпалил Коля.

Продавец перестал зевать и с опаской посмотрел на него.

— У нас есть классика, есть рок, есть электронная музыка, — осторожно произнёс продавец, не отрывая внимательного взгляда от посетителя. — Никто вам и не предлагал покупать диск с отечественной поп-музыкой. Вы можете выбрать то, что вам нравится.

Коля не расслышал этих слов: у него вдруг сильно закололо в висках.

— Сынок, а откуда ты знаешь, что тебе не нравится поп-музыка, тем более отечественная? — удивился Автор. — У тебя же нет памяти!

— Ну не настолько же нет памяти! — возмутился Коля.

— Делай что тебе говорят! — холодно отрезал Автор. — Поп-музыка благотворно влияет на таких, как ты, разжижая мозги и волю, уничтожая на корню ненужную рефлексию, снижая порог сопротивляемости внешним воздействиям, не давая опасному эго твоей личности навредить самому себе и окружающим. — Автор звонко расхохотался. — За тебя есть кому думать!

Покалывание в висках стало усиливаться, и Коля услышал собственный голос, глухо выговаривающий:

— Покажите какой-нибудь новый сборник отечественной поп-музыки. Похитовей.

Продавец долго глядел на Колю, а затем спросил вкрадчиво:

— Вы уверены?

Коля закрыл глаза и молча кивнул. Боль в голове постепенно спадала, превращаясь из резких глубоких уколов в мерный зуд. Подчинение

принесло облегчение. Подчиняться было выгодно. Подчиняться было удобно.

Продавец пожал плечами, пошарил под прилавком рукой и вытащил на свет Божий диск с цветастой обложкой, в середине которой большими буквами было выведено: «*Танцульки у Ритульки 5! 200% самых известных хитов! Крышесносный драйв!*»

— Вот, пожалуйста,— продавец положил диск на прилавок.— двести процентов хитов. Новые яркие звёзды и уже зарекомендовавшие себя заслуженные исполнители. Юные звёздочки с телепроекта «Приговорённые к славе». И, конечно, сенсация сезона— Джамбо Кукарамбо с хитом «Дождь-разлучник».

Коля смотрел на продавца широко отрытыми глазами, полными ужаса и отвращения.

— Попроси поставить эту песню, о которой он только что говорил! Хочу послушать,— с издёвкой отчеканил Автор.

Коля почувствовал, как по спине течёт холодный пот.

— Нет, пожалуйста, только не это,— чуть слышно пробормотал он.

— Выполняй!— крикнул Автор.

Огромная игла впилась Коле в мозг, и он ощутил, как из левого уха на шею потекла тёплая густая жидкость. «Наверно, кровь»,— равнодушно подумал Коля и медленно выдавил из себя:

— Поставьте… песню… «Дождь-разлучник»… Джамбо, как его там, Карамбо.

— Джамбо Кукарамбо,— поправил продавец.— Как скажете.

Он вынул диск из коробки и принялся шуршать под прилавком. Спустя несколько мгновений в магазине раздался изнеженный мужской голос, лепечущий с придыханием и лёгким акцентом:

Малыш, прошу, прости меня!
Ты знаешь, как люблю тебя!
Но за окном гремит гроза,
И выйти мне никак нельзя.

На свиданье не иду,
Потому что дождь!
Ну а где-то под дождём
Ты стоишь и ждёшь…

В припеве исполнителя поддержал хор, громогласно ревущий рефрен «Дождь-разлучник»:

Дождь-разлучник!
Капли на твоих щеках! Уа-и-ееее!
Дождь-разлучник!
Боль стучит в моих висках! Мм-мм-мм-е!
Дождь-разлучник!
Это всё его вина! Ага-малыш-е!
Дождь-разлучник!
Ты домой бредёшь одна-а…

— Беру!— пронзительно закричал Коля и, вытащив из бумажника деньги, бросил, даже не считая, на прилавок несколько купюр.— Только выключи скорее эту *дрянь!* Эй, Автор! Давай лучше «Валенки»! Всё! Больше не могу!

Он закрыл уши руками и зажмурился. И только когда песня смолкла, оборванная рукой продавца, Коля снова открыл глаза.

Продавец, настороженно глядя на него, положил диск обратно в коробку и взял одну из купюр, не тронув остальные.

— Подождите, я дам вам сдачу,— сказал он и начал деловито шарить под прилавком.

— Не надо!— нетерпеливо отмахнулся Коля, забрал диск с оставшимися банкнотами, сунул всё в карман куртки и стремительно бросился прочь.

Около двери на лестницу он столкнулся с уборщиком. Парень посмотрел сквозь него стеклянным взглядом и экзальтированно пробурчал:

— Плачет Достоевский! Плачет, плачет бедный Достоевский!

— Да, да, да,— быстро кивнул Коля, словно отлично понимал, о чём идёт речь, и показал жестом посторониться,— позволь только, я пройду!

Уборщик отодвинулся, продолжая бормотать несуразицу, а Коля уже бегом кинулся наверх.

Свежий воздух ещё никогда не казался ему таким вкусным. Он прислонился к стене дома. Мимо, стрельнув в него подозрительным взглядом, проковыляла бабка с авоськой. Коля подождал, пока она отойдёт на приличное расстояние, а потом сказал:

— Так не пойдёт. Антракт. Объясни мне, в конце концов, что происходит!

— Хм. Да?— с сомнением протянул Автор.— Ну хорошо. Иди по тротуару прямо: минут через пять увидишь бар «Клякса». Как зайдёшь, закажи граммов сто водки, кружку пива и сядь куда-нибудь в сторонку. Там на тебя никто не обратит внимания: в этот бар ходит только синева да голь перекатная. Сплошь сумасшедшие и деграданты. Лузеры. Если б ты только знал, сколько человеческого материала мы там набрали! Человеческого пластилина. Послушных, исполнительных, безвольных тел, готовых ради бутылки на любые эксперименты, да на что угодно! Простые и безотказные в употреблении, но, к сожалению, как оказалось, для наших опытов практически не годные: слишком быстро мрут. Не то что ты!

«Клякса»— затерянная вне времени и пространства червоточина, погибель и последнее убежище для тех, кто убежал от самого себя и невыносимой реальности. Тёмное помещение, в каждом уголке которого на тебя падает тень. Столы, бурые от пива и крови, взрезанные лезвиями перочинных ножей ради таинственных посланий, оставленных призраками, как, например, автограф безымянного поэта:

Наша жизнь— путь во мгле,
Путь к земле напрасный.
Всё быстрей с каждым днём
Страшно блёкнут краски.

Над столиком, за которым расположился Коля, висел задорный плакат с радугой и красующейся разноцветными буквами надписью «Жизнь хороша!».

«У того, кто это сюда повесил, довольно мрачное чувство юмора»,— отстранённо подумал Коля. Перед ним стоял гранёный стакан с прозрачным ядом и кружка вяло пенящегося пива.

Кроме него, в зале находилось ещё три человека. В отдалении жалким комочком съёжился

человечишка с лицом нездорового грязно-багрового оттенка, небритый, без определённого возраста, а возможно, и места жительства. Правый глаз был украшен здоровенным фингалом.

Через столик от Коли сидели двое и что-то оживлённо «обсуждали». Говорили они одновременно, и поэтому не слышали, да и не слушали друг друга. Тот, что с чёрными усами, тараторил, глядя на «собеседника», и отчаянными жестами пытался изобразить движения смычка:

— …когда мы жили в Берлине, жена каждый вечер играла мне на скрипке…

— …а я ему и говорю: слышь, а ты не забыл ли, случаем, что картошка-то — общаковская?.. — бубнил параллельно бритый детина в изношенной кожанке и старом свитере, выглядывающем из-под неё. На обеих руках у детины было только по два пальца: большие и мизинцы.

— Вот они, настоящие русские мальчики: предвечные мировые вопросы разрешают! — с неожиданной горечью воскликнул Автор.

Коля немного отхлебнул из кружки и почувствовал во рту кислый привкус воды, разбавленной пивом. От водки пахло так, что он решил не рисковать.

— Если ад существует, мне за содеянное давно приготовлено место в самом пекле, — спокойно сказал Автор. — Мои грехи столь тяжелы, что я уже не могу находить для них оправданий. И не хочу! Знаешь, какую молитву я произношу каждую ночь перед сном? «Господи, ежели Ты есть, посмотри на меня! Я попрал все Твои святыни, преступил все Твои заветы! Мои руки в крови, я убийца и мучитель! Мне нечего терять, я закоснел в своих злодеяниях. Оставляя меня безнаказанным, Ты позволяешь мне и дальше беспрепятственно творить зло и преумножать страдания! Как же вызвать гнев Твой?! Накажи меня! Об одном прошу: сделай это так, чтоб я поверил раз и навсегда, что Ты есть!» Но ничего не происходит. Ох уж это «божественное молчание»! Даже гнев, будь он проявлением высшей силы, но таким ясным и явным, что не поверить в него было бы нельзя, принёс бы облегчение, потому что самая мучительная пытка — незнанием, неверием и одиночеством. По-настоящему не одиноким человек может себя чувствовать только с Богом. Моё одиночество безгранично! Бог в меня больше не верит. А раз мне с Ним не по пути, мораль и человечность для меня уже не значат ничего. Понимаешь, сынок?

— Да. Думаю, да. Взывать к твоей совести и гуманности нет смысла, не так ли? — грустно усмехнулся Коля.

— Верно! Ты всё понял правильно. Не проси меня о пощаде, не ищи во мне сочувствия. Ты для меня лишь рабочий материал, опытный образец. Не более.

— В чём заключается суть опытов? И кто их проводит?

Автор вздохнул:

— Чтобы рассказать тебе всё в подробностях, понадобилось бы слишком много времени. Да это и ни к чему! Но я попробую изложить кратко. Есть некая организация, занимающаяся научными разработками в области управления человеческим сознанием. Я возглавляю один из отделов этой организации. Уже несколько лет мы трудимся над проектом под кодовым именем «Поводырь». Нам удалось достигнуть неплохих успехов в работе с человеческими мозгами. Человек по своей сути — это биологическая машина, биоробот. Задав правильные программы, им можно манипулировать и направлять его действия в нужное русло. Представляешь, какие возможности это открывает? Идеальный гражданин, идеальный покупатель, идеальный солдат! Страшно помыслить… Поверь, сынок, через несколько десятков лет людям уже с рождения — тайно или явно — будут внедрять в головы разработанные нами сегодня программы. Грядёт новая эра — эра безропотных, послушных и исполнительных. Человечество навсегда освободится, уж прости старика за каламбур, от этой страшной, несносной и мучительной свободы. Грядёт эра счастливых рабов. В принципе-то, уже сейчас информационный террор достиг небывалого размаха, и тот, кто смотрит телевизор, слушает радио, читает газеты и пользуется Интернетом, живёт не своими мозгами. Но наши инновации всё значительно упростят.

— Зачем же мучить меня, теряя время на бессмысленную жестокость, если ты и так уже можешь управлять всеми моими действиями? — возмущённо воскликнул Коля.

— Я должен понять, насколько сильна человеческая личность — в данном случае твоя — и насколько велики её возможности для сопротивления, — невозмутимо ответил Автор. — Ну и, конечно, мне необходимо выяснить порог выносливости. Человеческий мозг ещё очень мало изучен. Это тонкая и ранимая структура. Чуть не рассчитаешь силу давления — и у тебя в руках уже не умный, но покорный биоробот, а пускающий слюни дебил. К сожалению, некоторые предыдущие опыты так и закончились. Но ты молодец: держишься отлично!

— Спасибо, конечно, за похвалу, но моего согласия на участие в этом эксперименте никто не спрашивал! Почему, почему, чёрт возьми, именно я?!

Автор зловеще рассмеялся и сказал:

— Ты был рекомендован нашим ведущим специалистом как интересный и стойкий экземпляр. Думаю, у него были с тобой личные счёты. Но пока это не имеет значения. Главное, что, выбрав тебя, мы не ошиблись: ты превосходный противник, умный, непредсказуемый и выносливый. Работать с тобой — одно удовольствие.

— Не могу сказать, что это взаимно, — пробормотал Коля. — Что будет потом, когда эксперимент закончится? Вы вернёте мне мою память?

— Конечно, вернём! Но только не твою. Это будет созданная нами память о том, чего никогда не было. С чего ты вообще решил, что эксперимент закончится? Я тебе скажу, когда он закончится: с твоей смертью. Без вариантов. Отныне и до гробовой доски ты будешь жить под нашим внимательным наблюдением. У тебя будет жизнь, которую придумаем тебе мы!

— Так вот почему ты так разоткровенничался со мной: завтра, если я до него доживу, я всё равно ничего не вспомню! — поражённо прошептал Коля.

— Да, именно поэтому. Но не только поэтому. Ах, если б ты только знал, как тяжело мне и одиноко! Ведь окружают меня такие же, как я! — Автор зло расхохотался. — Доверься я кому-нибудь из них или прояви слабость и меня тут же бы сместили, сместили… прямо в могилу! Или на твоё место. Только ты, человек без памяти, можешь быть моим другом и собеседником.

— К чертям тебя! Я никогда не буду твоим другом! — закричал Коля.

Из тех троих, что сидели за другими столами, никто даже не повернул головы в его сторону.

— Захочу — и будешь, — хмыкнул Автор. — Для этого мне достаточно просто запрограммировать тебя соответствующим образом. Ты мой раб, моя игрушка. Теперь тебе никто, кроме разве что Бога, уже не поможет! А значит, ты обречён! Потому что Бог любит наблюдать, но не любит вмешиваться. А может, Он и вовсе уже отошёл от дел! А может, Его никогда и не было!

Коля закрыл лицо руками.

— Как ты думаешь, малыш, не пора ли тебя покормить? — хохотнул Автор.

— Я не хочу есть, — ответил Коля.

— Наплевать! Ты будешь делать не то, что хочешь, а то, что прикажу я, — в голосе Автора сквозило безумие. — Едем в центр! Кафе «Grand Burger». Седлай ноги — и вперёд! Выбирайся скорее из этой вонючей чёрной дыры.

Коля послушно поднялся и двинулся к выходу, оставив на столе недопитое пиво и водку.

Неожиданно путь ему преградил тот самый жалкий человечек с подбитым глазом. Он протянул, не поднимая глаз, трясущуюся руку и промямлил:

— Брат, помоги пятаком.

— А ну-ка шли этого попрошайку нах! — гневно вскрикнул Автор.

Коля вытащил бумажник и достал из него первую попавшуюся купюру, не глядя. Это оказалась сотенная бумажка. Он дал её просящему. Всё действо уложилось в несколько секунд: Коля торопился, чтобы Автор не успел ему помешать.

— Ах ты, милосердный ублюдок! — закричал Автор. — Он же её пропьёт! Прямо сейчас и пропьёт!

Человечек вдруг схватил Колину ладонь и поцеловал. Коля ошарашенно посмотрел на него, пробормотал что-то смущённо и кинулся к выходу.

— Какая глупость! Какая мерзкая глупость! — сердито прошипел в его голове Автор.

— …миллионы телезрителей увидят и услышат его! Миллионы телезрителей, среди которых и *вы!*

Коля вздрогнул. Он поднял взгляд и увидел перед собой красивую молодую азиатку с микрофоном в руке. Позади неё маячил оператор с камерой.

— Добрый день! Как вас зовут?! — закричала девушка и сунула Коле микрофон прямо в лицо.

— Опаньки! А вот это нам совсем ни к чему, — с досадой пробормотал Автор.

Коля сидел один за красным пластмассовым столиком. Перед ним лежала тарелка с картошкой фри и стоял стакан с колой. В руке Коля сжимал гамбургер. В той огромной кормушке, куда он попал, почти не было свободных столов: зал был забит методично жующим средним классом. Лоснящиеся лица, непрерывно двигающиеся скулы, пустые глаза, разговоры с набитым ртом — семьи с рекламных плакатов, счастливые смеющиеся обыватели, идеальные граждане, идеальные покупатели. Скромные герои эпохи потребления.

— Только не дури! — угрожающе предупредил Автор. — Просто скажи ей, как тебя зовут, и коротко ответь на её глупые вопросы!

Коля молчал. «Это мой единственный шанс! Но что мне делать? — лихорадочно думал он. — Просить о помощи? Но Автор сразу же вмешается, извинится за меня моим же голосом и просто уйдёт отсюда. Опрокинуть стол и двинуть девице по носу, чтобы меня схватили и вызвали ментов?!»

— Он так взволнован, что не может вспомнить своего имени! — шепнула девушка камере и снова повернулась к Коле: — Вы в прямом эфире! Скажите, как вас зовут?!

Единственный шанс…

— Так. К чёрту самодеятельность! Ситуация и так уже вышла из-под контроля, — хладнокровно сказал Автор, и Коля почувствовал, как его губы задвигались сами собой, помогая выталкивать изо рта звуки:

— Ко-ля.

— Отлично, Коля! Скажи, Коля, скажи нам скорее, Николай, за что же ты так любишь гамбургеры «Grand Burger»?!

— Я… — сказал Автор Колиным голосом, но не смог продолжить, потому что Коля стал сопротивляться изо всех сил, пытаясь вернуть управление над телом.

«Опрокинь стол! Опрокинь стол! Опрокинь стол!» — кричал Коля своему телу, но оно не слушалось.

— Смелее, Николай! Это твои пятнадцать секунд славы, о которых говорил… мммм… ааа… а вот ведь забыла кто! — кривлялась перед камерой девушка.

— Энди Уорхол, дура! — расхохотался Автор и сказал, обращаясь к Коле: — Сынок, тебе, наверно, нравится боль, да?

Коля вдруг почувствовал, как в ухо ему впилась огромная ледяная игла и стала с нажимом продвигаться внутрь, причиняя невыносимые страдания. Он закричал, но тело его, естественно, не издало ни звука: только губы бессмысленно дёргались и топорщились.

Кормящиеся за соседними столиками отвлеклись от сладострастного поглощения пищи и стали с интересом и нездоровым азартом наблюдать за происходящим. Они тыкали в Колю жирными сосисками пальцев и смеялись. По красным упитанным лицам медленно разливалось сытое удовлетворение. В масляных глазках проступала бессознательная мольба о чужом унижении. Хлеба и зрелищ! Народ требует хлеба и зрелищ!

— Ну же, Коленька! — не унималась девушка. — Тебе нравится в «Grand Burger»?

Коля всё ещё отчаянно сопротивлялся, но боль была настолько сильной, что он ослабил хватку, и Автор тут же уверенно взял верх.

— Я люблю их… потому что они… большие и сочные… такие вкусные…—с трудом выдавило тело.

На лице девушки мелькнуло облегчение, и она восторженно завизжала:

— Браво, Николай! Ну разве можно ему не поверить?! Где ещё вы увидите столько счастливых лиц, как не в «Grand Burger»? Признайтесь, и вам уже хочется скорее попасть сюда, к нам, на праздник жизни! Так чего же вы ждёте? «Grand Burger» объявляет культ еды!!!

— Снято!—крикнул оператор, и девушка сразу как-то обмякла, ссутулившись.

— Вот ведь дерьмо! Дерьмо!—раздражённо проворчала она, покачав головой, и прикурила длинную тонкую сигарету.

— У нас здесь не курят!—с искренним возмущением завопил тут же подскочивший служитель культа еды.

— А ну сбрызни, а то сегодня же без работы останешься!—гневно воскликнула в ответ девушка, и служитель, помявшись немного, предпочёл ретироваться.

Девушка медленно повернулась к Коле, наклонилась и, выпустив ему в лицо дым, произнесла, чётко выделяя каждый слог:

— Ну, ты и ко-зёл!

Но Коля на неё даже не посмотрел: его взгляд уткнулся в красную поверхность пластмассового столика. Боль внутри головы то спадала, то нарастала, не давая толком сосредоточиться, но всё же он смог ухватиться за одну важную мысль: «Во время нашего противостояния Автор потерял контроль над моим телом буквально на несколько секунд. Несколько жалких секунд… но ведь их вполне достаточно для одного решительного действия! Но какого?! Если бы я тогда твёрдо знал, что делать, я мог бы воспользоваться этой слабостью Автора!» И в этот миг в его мысли неожиданно прокрался красочный образ: марионетка хватается руками за нить, управляющую головой, подтягивает тело вверх, чтобы обернуть эту нить вокруг шеи, и, обернув, разжимает руки…

Коля оторвал взгляд от стола и осмотрелся. Восточная девушка исчезла, оставив после себя в воздухе чуть уловимый аромат сладкого сигаретного дыма. Посетители кафе снова сконцентрировались на содержимом своих тарелок, напрочь забыв о только что произошедшем.

— Топай на улицу! На ходу придумаем, что делать дальше,—приказал Автор, и Коля уловил в его голосе нотки усталости.

Поднявшись из-за стола, он двинулся к выходу. Несколько вялых взглядов проводили его до дверей и снова упёрлись в свои тарелки.

На улице Колю ждал подсвеченный неоном зимний вечер. Черты лиц людей, торопливо снующих мимо, расплывались и складывались заново, но уже в одно большое лицо, безумное лицо толпы, величественное лицо человечества, невообразимое, немыслимое лицо одного огромного Человека, воплотившего в себе всех.

В двух шагах, рокоча и дымя, пролегала дорога. Непредсказуемая, но и неминуемая, как сама судьба. В её рваном ритме Коля услышал хриплое дыхание фатума. Где начинается моя воля, где заканчивается?.. где начинается власть Автора, где заканчивается?.. а что есть воля Твоя, Боже?!

Красный свет.

Коля рванул вперёд, не обращая внимания на изумлённый крик Автора:

— *Эйануостановись!*

Противостояние.

Сопротивляйся!

Коля почувствовал, как страшная сила тянет его назад. Воздух внезапно загустел, и каждое движение, каждый новый шаг давался ценой чудовищных усилий. Боль, ужасная, нестерпимая боль разорвала сознанье в клочья…

…и было ему видение:

темнота и холод кольцо стен без окон и дверей на коленях дряхлый старец он смотрит безумными очами вверх но там только чёрная пустынная яма его рот перекошен от вопля из глаз текут слёзы разрезая щёки на полосы он рвёт волосы на голове размашистыми движениями рук глухие стоны вокруг копошатся люди разбитыми в кровь пальцами пытаясь схватить гудящий каменный пол стылый камень не поднимая голов чтобы не видеть эту бездонную тяжесть что прижимает к трепещущему всеобщей болью к исходной слепоте червя…

…и услышал он монотонный голос, без пауз твердящий:

конвульсии бесконечны безгранично умирание агония каждый миг труп рождается и умирает снова и снова не приходит долгожданный конец делу венец на покойничке лежащем в гробу в праздничных одеждах суетятся гости проедая пропивая свою жизнь я устало жду когда же верховное солнцекомандование соизволит изжечь мои глаза закрываются сами собой под пудовыми гирями беспросветного бытия хватит на всех похороненных бесплатно между небом и землёй до сих пор висит туман скрывающий петлю и под ногами стул вдруг закачался и упал стукнув удивлённого обывателя по ноге облачённой в смешные одежды благоразумия и долга же дорога если идёшь в противоположную ветру сторону ведь конвульсии бесконечны…

На крохотную долю секунды сознание вспыхнуло отчаянно и ярко, и Коля понял, что умирает.

…и почувствовал он, как на плечи обрушилось само небо, безбрежная чёрная яма, ледяная пустота, как слёзы нескончаемыми потоками режут щёки на полосы, как холоден под пальцами камень, как холоден камень…

— Коля!!—женский крик откуда-то издалека.

Жалкими клочьями своего существа, всеми истекающими болью и страданием остатками *себя* Коля ухватился за этот крик, потянулся в его направлении и… неожиданно очнулся в своём собственном теле, остро прочувствовав каждую его клетку: от заполненной болью головы до замерзающих пальцев ног.

— О, милый,—услышал Коля голос женщины, обнимавшей его.

Женщина нежно провела по его лицу пальцами, охваченными дрожью, и он посмотрел на неё. Красивая. Чёрные волосы, разметавшиеся по плечам, ласковый добрый взгляд.

— Кто ты?! Помоги! — отчаянно прохрипел он.

Рядом раздался оглушительный визг шин. Кофейного цвета снег, перемешанный с дорожной грязью, брызнул им на ноги. Женщина повернула голову в направлении шума, и её глаза широко раскрылись от ужаса.

— Нет! — пронзительно закричала она, а Коля почувствовал, как в его шею вонзилась игла.

Женщину схватили под руки и оторвали от Коли двое. Один из них сделал ей в шею укол.

— Коля! — жалобно воскликнула она, падая в чужие руки.

«Я помню тебя! — внезапно подумал Коля. — Я не помню себя, но я помню *тебя!*»

— Ира… — прошептал он и успел заметить, как она грустно улыбнулась, прежде чем провалился во тьму.

4. Самые мрачные глубины освети светом Твоим, Господи!

Монмартр. Чуть припорошённые неожиданным снегом узкие улочки в лучах выглянувшего солнца казались сказочными и неповторимо реальными. Очаровательные невысокие дома, повороты широких лестниц, многочисленные фонари, каждый камень в мостовой — всё было исполнено непостижимого и трогательного величия, поэзии и красоты.

Группа туристов из России — шесть женщин, семь мужчин — медленно брела вслед за ведущей экскурсию француженкой. На русский слова француженки переводил элегантный пожилой мужчина в пальто и чёрной шляпе с узкими полями. У него были умные насмешливые глаза, в затаённой глубине которых холодно сверкал лёд.

Группа двигалась по улицам неспешно: многие останавливались, чтобы запечатлеть на фотоплёнку то бюст Далиды, то Ходящего сквозь стены, то Мулен де ла Галет, то фасад какого-нибудь здания, благо что почти во всех домах когда-то жили или работали отмеченные историей люди.

Ира снимков не делала и слова переводившего на русский Петра Алексеевича слушала рассеянно. Она словно попала в другой мир — волшебный, волнующий, будоражащий воображение. Ей хотелось жить каждой секундой, и она чуть слышно повторяла самой себе так, чтобы не услышал Витя:

— Я здесь. Я правда здесь.

И уплывающая из-под ног реальность возвращалась на своё место.

Париж очаровал Иру с первых же мгновений. Когда их группа ехала на микроавтобусе из международного аэропорта имени Шарля де Голля, мела настоящая метель, и мужчины — а они все были сотрудниками НИИ, в котором работал Витя, — шутили, что привезли с собой во Францию русскую зиму. В окне сквозь хлопья пушистых снежинок мелькали аккуратные, ухоженные улицы. Прохожие торопились, кутаясь в воротники пальто, явно ошеломлённые разыгравшимся снегопадом. Ехавшие в автобусе русские наблюдали за ними с благодушными усмешками. Заселили гостей из России в гостиницу «Mercure». В нескольких минутах ходьбы от неё находилось знаменитое кабаре «Мулен Руж», совсем рядом располагалось кладбище Монмартр.

Гуляя по Парижу, Ира чувствовала себя почти счастливой. Если бы только не головная боль и не странная, необъяснимая тревога, прячущаяся где-то глубоко внутри, шепчущая испуганно и потерянно: «Что-то не так! Что-то не так! Что-то не так!»

— Ирина, как ваше самочувствие? — спросил Пётр Алексеевич и внимательно взглянул на неё.

Голос его источал заботу, но глаза смотрели холодно и пытливо.

— Голова немного побаливает. Наверно, из-за перелёта, — ответила Ира и выдавила вялую улыбку.

— Может, вернёмся в гостиницу? Ляжешь отдохнуть? — спросил Витя и, обняв, прижал Иру к себе.

— Нет, нет, зачем в гостиницу? Не хочу ничего пропустить! — возмущённо отказалась Ира. — Приехать во Францию на пять дней, чтобы валяться в гостинице? Ну уж нет!

Витя улыбнулся и поцеловал её в губы. Пётр Алексеевич тоже улыбался, но его глаза оставались холодными. Ира скорее чувствовала, чем подмечала, что его взгляд постоянно следит за ней, изучает и оценивает. Это было неприятно, и один раз она пожаловалась Вите, но тот в ответ только пожал плечами и сказал:

— Он мой начальник. Ты хочешь, чтобы я сделал ему замечание? Просто не обращай внимания. Он одинокий пожилой человек с дрянным характером, так что придётся потерпеть. Да и уверяю тебя: он так смотрит на всех! И следит за всеми. Внимательный начальственный старый хрыч. Ещё советской закалки.

Когда француженка привела их к базилике Сакре-Кёр, у Иры перехватило дыхание. К тому моменту вечер уже сгустил цвет неба в тёмно-синий и зажглись фонари. В их праздничном свете монументальное, величественное здание базилики произвело на Иру неизгладимое впечатление. Рядом открывался панорамный вид на город: базилика располагалась на вершине Монмартра, в самой высокой точке города. Оказавшись внутри католического храма, Ира изумлённо осмотрелась вокруг широко открытыми глазами и покачала головой, словно не веря, что окружающее великолепие ей не снится. «Как можно жить в Париже и не ходить сюда каждый день, чтобы просто тихо посидеть на скамейке? Если бы я жила в Париже, я бы стала католичкой только потому, что у них такие храмы», — невольно подумала Ира.

После посещения базилики Сакре-Кёр вся группа отправилась на ужин в маленький семейный ресторан. Красивый, продуманный интерьер ресторана создавал тёплую и уютную атмосферу. В центре помещения горел большой камин, выложенный красным кирпичом. Стены были увешаны картинами и стильными чёрно-белыми фотографиями. На деревянных столах, покрытых лаком, тут же появились фужеры с аперитивом. Это был Kir Royal — коктейль из шампанского и черносмородинового ликёра. Кир традиционно подавался во Франции в различных вариациях перед едой: вместо шампанского могло быть белое

вино или водка, а вместо черносмородинового ликёра — малиновый, или вишнёвый, или персиковый. Все расселись на мягких диванах. Ира заказала тартар из сёмги, форель с коньячным соусом и зеленью и мороженое. Всё оказалось необыкновенно вкусным. Терпкое красное вино было просто божественным.

Ира расположилась с самого края, рядом с Витей и Петром Алексеевичем, севшим во главе стола. Мужчины делились впечатлениями от Парижа, в котором Витя был в первый раз, а Пётр Алексеевич «уже и не помнил, в который». Ира в беседе не участвовала, несмотря на неоднократные попытки Петра Алексеевича её разговорить: у неё всё сильнее болела голова. Когда Витя вышел из-за стола на несколько минут, Пётр Алексеевич обратился к Ире, доверительно улыбаясь:

— Ирочка, вы простите меня, старика, за нескромность, но скажите: а сколько вы уже живёте вместе с Виктором?

Ира пожала плечами:

— Мы учились в одном классе. После школы Витю забрали в армию, а когда он вернулся, мы стали жить вместе. С тех пор и живём.

Пётр Алексеевич покивал головой, продолжая улыбаться, и сказал:

— Странно, что все эти годы он ничего не рассказывал о вас. Вот ведь конспиратор! Мне всегда казалось, что он живёт один.

Ира растерянно улыбнулась. Она не знала, что ответить.

— Скажите, а когда он в первый раз вас поцеловал? — неожиданно спросил Пётр Алексеевич.

Ира непонимающе уставилась на него. И дело было даже не в том, что вопрос некорректен, а в том, что она вдруг поняла, что не может вспомнить, когда это случилось. Попытки нащупать в памяти первый поцелуй только усилили головную боль. Ира несколько раз моргнула. Пауза затянулась. Пётр Алексеевич внимательно наблюдал за ней, уже не улыбаясь.

— Вы не помните? — с неискренним удивлением покачал он головой.

— Помню, — соврала Ира. — Но мне почему-то кажется, что это личное. Вы так не думаете?

Пётр Алексеевич воздел обе руки вверх в примирительном жесте:

— Ирочка, простите меня. Это всё красное вино: оно делает меня развязным, болтливым и навязчивым. Непростительная роскошь в моём возрасте.

Пётр Алексеевич сладко улыбнулся. Его бокал с вином стоял почти не тронутый: старик лишь несколько раз пригубил оттуда во время тостов.

Остальные сидящие за столом набросились на вино с подростковой жадностью: официанты еле успевали подносить и открывать новые бутылки. Один из мужчин, грузный бородач в очках, из тех, кто считает своим священным долгом всё время быть в центре внимания, неся тяжёлое бремя «души компании», отчаянного весельчака и женского угодника, торжественно возопил заплетающимся голосом:

— Земляки, а может, закажем коньячины, а то от вина что-то ни в одном глазу!

— Семён! — тихо, но отчётливо сказал Пётр Алексеевич.

Несмотря на шум и гомон, царящие за столом, Семён очень хорошо расслышал и сразу сник.

— Да, что-то я лишка разошёлся, пожалуй, — невнятно пробормотал он, и больше в этот вечер раскатов его зычного голоса за столом не раздавалось.

В следующие несколько дней туристы из России ездили на микроавтобусе по Парижу, осматривая достопримечательности, посещали собор Парижской Богоматери, Лувр, обедали в ресторане Эйфелевой башни, ужинали на представлении в кабаре «Мулен Руж». Все были очень довольны насыщенной, хорошо продуманной программой. И лишь постоянный недосып — спали по четырепять часов в сутки — отражался в красных глазах с полопавшимися капиллярами и несколько осунувшихся, бледных, но всё равно восторженно-возбуждённых лицах.

За день до отъезда группа с утра отправилась на вокзал Монпарнас. Скоростной поезд доставил их в провинцию. Проехав на нескольких нанятых машинах с водителями-французами по небольшим прелестным городкам и пообедав в одном из них, группа добралась уже в темноте до ворот, ведущих на охраняемую и огороженную высокими каменными заборами территорию. Несколько минут ехали по настоящему лесу, а потом появились ухоженные садовые кусты, и дорога вывела к замку. Замок был старый — то ли четырнадцатого, то ли пятнадцатого века. В призрачном свете фонарей, стоящих во дворе, и струящих свет окон он казался огромным.

Ира бродила, прикасаясь к каменным стенам пальцами, чтобы прочувствовать происходящее острее. Её захлестнуло чувство необузданной эйфории.

— Я здесь, я здесь, здесь! — шептала она.

Ей хотелось зафиксировать действительность. И всё же в глубине её существа необъяснимая тревога продолжала скрестись, словно забытая хозяином на улице собака в закрытую дверь. «Что-то не так».

Изнутри замок, несмотря на электричество, компьютеры в номерах и другие блага современной цивилизации, также выглядел древним. Когда все спустились вниз из своих апартаментов на ужин, на столике рядом с огромным камином, в котором лежали мерно полыхавшие, наполовину обугленные поленья, уже ждали фужеры с киром. Пётр Алексеевич произнёс недлинный остроумный тост, все выпили и отправились в гостиную на ужин. Все, кроме Иры. Отговорившись плохим самочувствием, она осталась в мягком кресле рядом с камином.

Заворожённо глядя, как горит огонь, она поняла, что больше не может держать реальность под контролем. Всё было каким-то сказочным, слишком сюрреальным. Ира чувствовала смятение. Мысли перепутались в голове. Ей казалось очень странным, что там, в гостиной, за закрытыми дверями, сейчас сидят двенадцать человек, а она сидит здесь одна, в отблесках пламени пытаясь уловить силуэты прошлого, настоящего и будущего. Почему-то

Ире подумалось, что те двенадцать обсуждают именно её, решают её судьбу, выносят ей приговор. Эта мысль была смешна, нелепа, фантасмагорична, словно образ из ночного кошмара, но от неё было сложно отвязаться. Просидев перед камином почти час, Ира отправилась в номер спать.

Как только она скрылась на лестнице, ведущей на второй этаж, из гостиной вышли Витя и Пётр Алексеевич.

— Посмотрю, как там Ира,— сказал Витя Петру Алексеевичу и собрался уйти, но старик схватил его за плечо.

— Подожди, сынок,— твёрдо сказал Пётр Алексеевич.— Прогуляемся немного по свежему воздуху.

Витя посмотрел в глаза старика и понял, что возражать бессмысленно.

Они вышли через боковую дверь на улицу и неспешно двинулись мимо пустых скамеек к темнеющему вдали лесу. Пока они спускались по широкой поляне, Витя успел различить во мраке очертания поленницы и кадки с маленьким деревцем. Вскоре они достигли узкого водоёма, перешли по мостику на другую сторону и остановились возле низкой железной оградки, отделяющей территорию замка от лесного массива.

— Я однажды увидел отсюда оленя, бродящего по лесу, когда приезжал в прошлый раз,— задумчиво произнёс Пётр Алексеевич и вздохнул.

Витя вежливо кивнул, но промолчал.

— Ты промыл ей мозги,— таким же задумчивым, тихим голосом сказал Пётр Алексеевич, глядя в темноту леса.— Воспользовался засекреченной государственной технологией и переделал девчушке память. А её парня подсунул мне в качестве подопытного экземпляра. И всё это ты провернул втихую, даже не посчитав необходимым посвятить меня в подробности. Ты что, правда думал, что я не узнаю?

— Я думал, вы знаете,— невозмутимо ответил Витя.

Он вглядывался в чёрную косматую стену деревьев и чуть заметно улыбался.

Пётр Алексеевич несколько раз кивнул головой. Его губы сложились в жёсткую язвительную усмешку.

— Ты хороший ученик. И лучший специалист нашего отдела. Если ты ещё раз сделаешь что-то в обход меня, я тебя убью.

Утром группа русских туристов вернулась в Париж. Около железнодорожного вокзала их уже дожидался микроавтобус. Он доставил их к берегу Сены. Спустившись через пристань на пассажирское экскурсионное судно, группа расселась за длинным обеденным столом. Вокруг кипел настоящий котёл народов: французские, английские, немецкие, японские, русские слова причудливо перемешались в воздухе. Все столы были заняты. Между ними, чередуя отрывки из классических произведений с народными мотивами разных стран, прохаживался черноволосый кудрявый скрипач. Очки и фрак придавали ему солидный вид.

Ира смотрела в окно, на проплывающий мимо Париж, и пыталась вспомнить, как Витя поцеловал её в первый раз. «Разве такое вообще можно забыть?!» — не понимала она саму себя. Она повернула голову и внимательно всмотрелась в лицо Вити. Он разговаривал с коллегами, держа в руке бокал с белым вином. Не замечал её пристального взгляда. Не чувствовал её кричащего молчания. Не знал о её смятении. Ира снова повернулась к окну. Они проплывали мимо Эйфелевой башни. Ах, Париж, Париж! Париж…

«…и ты горишь в аду заживо, ещё при жизни. И куда бы ты ни шёл, твой ад всегда с тобой, потому он — в твоей душе».

Запись получилась неровной: ручка никак не желала источать чернил, схваченных морозом. Вдавленные в бумагу белые полосы предваряли отрывистый пунктир букв.

Коля спрятал блокнот с ручкой. На трясущиеся от холода, скрученные ломотой пальцы поспешно натянул варежки. Вынув из кармана неаккуратно торчавшую пухлую пачку листов, отделил от неё один и протянул его проходившей мимо молодой паре. Девушка, со смехом рассматривая Колю, взяла листок и показала своему парню.

— Мясная вечеринка от сети вкусного питания «Grand Burger»! Три королевских чикенбургера по цене одного! Дегустация фамильных колбас предприятия «Мяско»! Бесплатная раздача прохладительных напитков! Шоу-программа с участием весёлых клоунов и звёзд эстрады! Специальный гость — Джамбо Кукарамбо с хитом «Дождь-разлучник»! — прочитал вслух парень.

Коля равнодушно глянул на него и пробубнил апатично, без интонации, лишь бы побыстрее избавиться от заученных слов:

— Не хлебом единым жив человек. Не хлебом единым… а ещё сочным аппетитным мясом, которое тает во рту. Я маг и волшебник Дональдс, и я здесь, чтобы накормить вас от пуза. Я люблю это дело.

Парень с девушкой переглянулись.

— Ладно, ладно, ты, главное… не петушись! — сказал парень и скорчился от смеха.

Девушка тоже хохотала, обняв парня и уткнувшись лицом ему в спину. Листок упал на снег.

Коля стоял молча, уставившись невидящим взглядом на дорогу, по которой нескончаемым конвейером катились машины. «Металлические бургеры с человечиной»,— подумал он с отвращением.

Парень и девушка ушли, смеясь.

Коля всмотрелся в отражение, испускаемое витриной кафе «Grand Burger». Он увидел там создание в красных штанах, красной куртке, застрявшей промеж двух бутафорских подушек, изображавших гамбургерные булки, и красной шапке в виде петушиного гребешка. Петух-гамбургер. Поверх курки висела табличка с эмблемой «Grand Burger» и надписью: «Три королевских чикенбургера по цене одного!» И только бледное, осунувшееся, стянутое страданием лицо, выглядывающее из нелепого костюма, нарушало общий ансамбль, привнося в комическую несуразицу нечто серьёзное, трагическое, жалкое и трогательное, человеческое, слишком человеческое.

«Этого не может быть! Это не может происходить со мной! Это не со мной! Этого нет! Нет! Нет! Это не я! это не я…»—без остановки повторял мысленно Коля. Но он был не в силах выгнать реальность из своего сознания. У него жутко болела голова, и он замерзал. Краткие перерывы, во время которых он грелся в кафе, не давали телу достаточно тепла, чтобы безболезненно переносить холод. Ледяная стынь пронизала его насквозь, наполняя ноющей ломотой каждую частицу. Пальцы рук и ног занемели.

Но хуже головной боли и холода было чувство стыда и омерзения. Унижение. Унижение. Унижение. «Не я. Это не я здесь стою. Не я. Это слишком нелепо. Слишком ужасно. Слишком неправильно, чтобы быть правдой».

Доктор Лев Аркадьевич, приходивший трижды в неделю делать Коле уколы, всякий раз успокаивал, что эта работа—временная и надо потерпеть. Именно доктор и нашёл эту работу для Коли. Доктор добрый. Он заботится о Коле. Он позволил Коле жить в своей пустующей квартире. Он приносит Коле продукты. Он сказал, что когда Коля вылечится, уколы уже не понадобятся и головная боль пройдёт.

— Но пока уколы необходимы, так как без них болезнь перейдёт в острую стадию, и ты сойдёшь с ума,—со вздохом объяснял доктор.—И тогда тебя снова закроют в больницу для душевнобольных, откуда я тебя взял под свою ответственность, чтобы помочь тебе выздороветь.

Коля не помнил больницы. Коля не помнил, как он попал в больницу и почему. Коля не помнил, кто он и чем он занимался до того, как попал в больницу. Ни родителей, ни родственников, ни друзей, ни знакомых… Кроме имени, у Коли не осталось ничего своего. На всём белом свете был только один человек, которому Коля доверял—добрый доктор Лев Аркадьевич. Коля следовал советам доктора. Доктор умный: его надо слушаться. Уж это Коля знал наверняка. Наверняка.

После уколов он всегда быстро и крепко засыпал, и Лев Аркадьевич, уходя, закрывал дверь своим ключом. Проснувшись, Коля чувствовал себя разбитым и потерянным. Ощупывая своё лицо, он судорожно всхлипывал: *кто я?!*

Неоновый свет тесно переплёлся в восприятии с холодом. Неон стал цветом холода. Вечер сжимал ледяными пальцами сердце. Стоя на морозе в костюме петуха-гамбургера, Коля никак не мог понять: зачем всё это? Зачем такая работа? Зачем эти бессмысленные страдания? Ну не ради же тех жалких грошей, что платит кафе?! Зачем? Зачем такая жизнь? Он не понимал. Это было выше понимания. «Господи, да где же Ты? За что Ты обрёк меня на эти мучения? В чём умысел Твой?! Ты же видишь, я терплю, но силы мои на исходе! Чего Ты хочешь от меня? Я схожу с ума! Я схожу с ума! Где Ты? Помоги мне! Из самых тёмных глубин взываю к тебе, Господи!»

Коля чуть раскачивался с закрытыми глазами под неоновой вывеской, струящей электрический холод. Помутнение затягивало небеса сознания тёмной тучей. Нити, скрепляющие восприятие воедино, рвались стремительно и страшно. Губы шевелились сами собой:

— Я маг и волшебник Дональдс, и я промёрз до костей! Моё мясо для вас подогреют в кафе вкусного питания «Grand Burger»! Так аппетитно, что невозможно устоять! я схожу с ума, схожу с ума, схожу с ума! Ешьте мясо моё, три чикенбургера по цене одного, шли лесом, пели басом, несли деревянный пирог с мясом, схожу с ума, схожу с ума, схожу с ума! не мясом единым жив человек, но им живы весёлые клоуны эстрады, прохладительные звёзды, о, я люблю это дело! Господи, услышь крик мой, Господи, Господи, Господи! Самые мрачные глубины освети светом Твоим, Господи!

На Колино плечо легла чья-то лёгкая рука. Коля открыл глаза и повернулся вправо. Там стоял мужчина лет пятидесяти в чёрной вязаной шапке, синей куртке, брюках и чёрных, начищенных до блеска ботинках.

— Тяжёлая работа! Понимаю,—сказал мужчина, покивал и улыбнулся. Больше половины зубов у него были золотыми.—Холодно тебе, друг. Знаю. Сам работал зимой на улице. Хочешь закурить? Меня дядя Саша зовут. Держи сигарету.

Мужчина протянул сигарету, но Коля помотал головой:

— Спасибо, дядя Саша, я не курю.

Дядя Саша понимающе кивнул и сам закурил сигарету, которую предлагал Коле.

— Да, тяжёлая работа, друг. Мёрзнешь. Мёрзнешь. Долго тебе так стоять?

— Целый день с небольшими перерывами на кофе,—вздохнул Коля.—Плохо не то, что тяжёлая,—плохо то, что унизительная…

— Нет, нет, нет, а вот это ты брось. Не бывает унизительной работы. Я сам никогда не отказывался от работы. Какой бы она ни была,—дядя Саша говорил быстрыми отрывистыми фразами, почти без пауз: перебить его или вставить в его речь хотя бы слово было трудно.—Нет, нет, нет. Плохой работы нет. В жизни всякое случается. Надо уметь принимать всё. Жизнь разная. Сегодня ты здесь, а завтра там. Сегодня беден, а завтра богат. Я колюсь с семьдесят второго года. Но время от времени перехожу на синьку. Сам. Не рыдаю, не прошу помощи у родных. У меня есть знакомые, которые ложатся в клинику. Башляют больше шестидесяти тысяч, чтобы перекумарить. Я никогда не платил. Хотя на «хмуром» с семьдесят второго. Сегодня с утра пырнулся. После долгого перерыва. Ничего не почувствовал. Не берёт. К друзьям пришёл. А они: дядя Саш, да у тебя зрачков вообще не видно.

Коля внимательно посмотрел на дядю Сашу, который продолжал говорить, не останавливаясь. Зрачки у дяди Саши действительно были величиной с остриё иголки. Окурок, зажатый в его пальцах, дотлел до фильтра, но дядя Саша этого не видел и, жестикулируя, иногда подносил его ко рту, чтобы сделать затяжку. В какой-то момент остатки обугленного фильтра просто тихо выскользнули из его пальцев, но и этого дядя Саша не заметил. Он безудержно словоточил обо всём подряд, перескакивая с повествования о своей жизни на рассказы

о жизни детей и друзей, машинах, долгах, ценах на героин и изменениях в климате.

Когда некоторое время спустя Коля взглянул на часы, то с удивлением обнаружил, что его рабочий день уже десять минут как закончился. Он похлопал старого джанки по плечу и сказал:
— Дядя Саша, мне пора.
— Да, да, да, ага! Стой, погоди, вот ещё что. За то, что ты сейчас стоишь здесь на холоде, Господь тебя вознаградит. Вот увидишь. Не сейчас, не сразу. Но обязательно вознаградит. Я тебе скажу. Какой у нас сейчас месяц? Хм. Февраль,— дядя Саша на мгновение замолчал, потрогал пальцами нижнюю губу, а потом многозначительно потряс вытянутым указательным в воздухе.— В июне. Вот увидишь. Всё наладится. У тебя всё будет хорошо. В июне. За то, что ты сейчас терпишь, Господь тебе воздаст.
— Спасибо за предсказание, дядя Саша, но мне надо идти,— пробормотал Коля и, открыв дверь в кафе, поспешно скрылся внутри, слыша, что дядя Саша всё ещё продолжал что-то лепетать вдогонку.

Идя домой по вечерней улице, Коля лихорадочно шептал:
— Я терплю! Но я не дотяну до июня. Не дотяну. У меня больше нет сил!

Маленький дворик, карусель.

Уютный подъезд с цветами на лестничных пролётах.

Пятнадцатый этаж.

Квартира номер 66.

Ты прячешь боль и переживания в кажущийся бездонным колодец своей души, но рано или поздно вся эта возмущённая клокочущая бездна переливается через края, неся разрушение и хаос, причиняя страдания тем, кто ближе всего. Трудно сохранять хладнокровие и разум, чувствуя постоянное жжение в груди. Ревность — это тёмная сторона страсти и любви. Если ты позволил этой бестии убежать из клетки самоконтроля, не удивляйся тому, что обнаружишь непредсказуемые и печальные последствия, очнувшись от её тяжёлого бреда.

Шли по парку молча. Витя потирал разбитые костяшки пальцев. Манжеты белой рубашки — а Витя даже в эти жаркие и душные июньские дни носил исключительно белые рубашки с длинными рукавами — были запачканы кровью. Ира шагала вперёд, не глядя в сторону Вити, так стремительно, словно хотела убежать от него.

Навстречу им попадались неспешно прогуливающиеся и постукивающие в асфальт тросточками пенсионеры, погружённые в безмятежность мамаши с колясками и неугомонные маленькие сорванцы, бегающие, прыгающие, кричащие и смеющиеся в ласковых лучах вечернего солнца, просвечивающих между кронами деревьев.
— Так что же, я ещё и крайним оказался в итоге, да?! — нарушил молчание Витя, но Ира только ускорила шаг.— Этот козёл полез к тебе целоваться, но самый говённый человек на земле я, потому что вступился за твою честь. Или ты была не против, чтобы он тебя поцеловал? А? Что ты молчишь, Ира? Может, я только помешал вам? Зря, наверно, да?

Ира резко остановилась, так, что Витя даже проскочил по инерции на несколько шагов вперёд.
— Ты следил за мной! Опять! — крикнула она и посмотрела на Витю со злостью.
— Так ты хотела, чтобы он тебя поцеловал, да?
— Я не хочу, чтобы ты шпионил за мной!
— Ты хотела, чтобы он тебя поцеловал? — упорно гнул своё Витя.
— Да, хотела! — закричала в ярости Ира.— Я хотела, чтобы он трахнул меня прямо здесь, в парке, в кустах!

Витя пристально смотрел на неё. Он тяжело дышал. Его кулаки были сжаты так, что фаланги посинели.
— Сначала чокнутый хиппи с волосами до пояса, потом этот поляк из Варшавы, теперь вот театральный актёришка,— сквозь стиснутые зубы проговорил Витя.— Ира, ну чего тебе не хватает в жизни, а?
— Друзей! Я не могу сидеть дома целыми днями, ожидая, когда ты вернёшься из своего проклятого секретного нии, где учёные носят пистолеты под пиджаками! Не хочу ужинать с твоими коллегами, которые не умеют улыбаться, потому что их физиономии из мрамора! Не хочу отвечать на вопросы-допросы твоего липкоглазого начальника! Мне интересно общаться с людьми, которые занимаются творчеством — музыкой, литературой, живописью,— а не разработкой новейшего секретного оружия.
— Все твои так называемые «друзья» просто хотят залезть к тебе в трусы!
— Вот. Вот! «Чего тебе не хватает?» — ты спрашиваешь. Свободы! Твоя патологическая ревность стала уже невыносимой! Ты преследуешь меня, следишь за мной, запугиваешь, избиваешь и калечишь всех, с кем я общаюсь. Вокруг меня какое-то выжженное поле, степь да степь кругом! Но я не принадлежу тебе: я свободный человек!

Витя как-то особенно взглянул на Иру, и усмешка чуть тронула уголки его губ.

Но Ира этого не заметила: она уже повернулась и шла к выходу из парка. Она чувствовала внутри себя беспомощную ярость загнанного в ловушку зверя: паника вперемешку с отчаянием. Забота, которой Витя окружил её, с каждым днём всё больше напоминала надзор за заключённым. Ира не могла сделать и движения, не чувствуя на себе пристального, внимательного взгляда.

Длинноволосого хиппи, о котором говорил Витя, звали Иисусом. Так он представился, когда Ира познакомилась с ним на концерте Умки. Иисус был весёлым беззаботным парнем, любителем психоделии шестидесятых и травы. Его постоянно затуманенный взор медленно двигался в нескольких мирах сразу, не концентрируясь ни на одном. Его друзей, таких же беспечных потребителей «зелени», не уставала забавлять курьёзная двойственность, возникающая всякий раз, когда в разговоре упоминался Иисус. Они говорили:
— Сейчас придёт Иисус и принесёт ещё гп.

И долго смеялись, глядя друг на друга и на Иру.

Или:

— Иисус целыми днями только и делает, что фугает!

И сладенько хихикали.

Ира несколько раз виделась с Иисусом. Блаженная, умиротворённая улыбка не покидала его губ во время всех этих встреч, кроме последней, когда Ире пришлось навещать его в больнице. У Иисуса была сломана ключица, несколько ребёр и три пальца на правой руке. Лёжа на кровати, он исследовал мутным взором потолок, но, увидев Иру с букетом цветов в одной руке и пакетом с фруктами в другой, испуганно отпрянул и заорал:

— Нет! Только не ты! Уходи! Уходи! Твой парень — он…

Тут Иисус вставил нецензурное слово, которое употребляется, чтобы охарактеризовать человека как опасного сумасшедшего.

Ира положила цветы на тумбочку возле кровати, оставила на полу пакет с фруктами и, пятясь к выходу из палаты, приложила руки к сердцу:

— Мне так жаль! Мне правда так жаль. Прости меня, пожалуйста.

Общение Иры с поляком из Варшавы закончилось ещё быстрее. После второй встречи тот бесследно исчез, а Витя как бы невзначай бросил с мрачной усмешкой:

— На днях шпиона поймали. Поляк по национальности. Пытался выведать наши секретные разработки.

— Что с ним сделали? — спросила тихим голосом Ира, с ужасом глядя на Витю.

Витя пожал плечами и, кашлянув, сказал буднично:

— Выслали обратно на родину. Мелкая сошка. Кому такой нужен?

Подойдя к выходу из парка, Ира обернулась и увидела, что Витя продолжал стоять там, где она его оставила. Он, опустив голову, смотрел вниз. Ладони его по-прежнему были сжаты в кулаки.

«Почему всё так неправильно?» — в который раз задалась вопросом Ира. Она покинула пределы парка и двинулась по улицам наугад, глубоко погружённая в ставший уже привычным душевный разлад. Чем больше она задумывалась о причинах того, что у неё «сердце не на месте», тем явственнее прорисовывались контуры неумолимого, но невозможного ответа.

Домой Ира вернулась уже за полночь. Разувшись, она прошла на кухню, откуда струился мягкий свет.

Витя сидел за столом, согнувшись и обхватив плечи руками. Он поднял голову и посмотрел на Иру. Выпрямился и положил ладони на стол.

— Доброй ночи, любимая. Где была? — неестественно спокойно, даже с безразличием спросил он, словно плохой актёр, повторяющий заученные, но не прочувствованные и не преломлённые через себя слова.

— Зашла в рок-бар выпить, — ответила Ира.

Она стояла, прислонившись к стене. Грустно смотрела на Витю. Печаль в её взгляде была пропитана тем сочувственным оттенком жалости, какой бывает у людей, готовящихся сообщить кому-то о смерти близкого человека.

— Познакомилась, наверно, с кем-нибудь? — Витя спрашивал деланно обыденным тоном: так он привык выражать сарказм. — Кто теперь? Какой-нибудь бородатый художник? Скульптор? Дирижёр симфонического оркестра? Архитектор из Италии? Русский философ-пьяница? Так кто он? Как зовут?

— Витя…

— О, Витя! Прямо как меня! Это даже приятно! — он всплеснул руками.

— Витя.

— Ира, зачем ты так со мной? Зачем? — саркастические нотки исчезли, и теперь его голос выражал только боль. — Я ведь ради тебя готов на всё. Я готов умереть за тебя, а ты…

Ира покачала головой, глядя Вите прямо в глаза:

— Витя, я тебя не люблю.

И снова зима, и дорога вокруг. Пронзительный вопль тормозящих машин, смешавшийся в воздухе с криком. Та женщина, падая, тянет руки к нему, шепча его имя…

Крича, Коля вскочил с кровати и тут же упал на одно колено, запутавшись другой ногой в простыне, которой накрывался. Он распластался на полу, обхватив голову руками. Нога выскользнула из импровизированного капкана сама, и тогда он, подтянув ноги к животу, свернулся калачиком, сотрясаемый рыданиями.

— Больше не хочу жить, больше не хочу, убей меня, прошу Тебя! убей, убей, убей, я же не могу сам… — стонал он в пустоту квартиры № 66.

Женщина из снов. Красивая. Черноволосая. Коля знал, что любит её, но не знал, кто она. Где она… С кем она… Да есть ли она на этом свете? Сон про женщину и дорогу повторялся теперь каждую ночь, делая одиночество яви всё более немыслимым и невыносимым. «Наверно, она из моего прошлого», — с отчаянием думал Коля. Он не стал рассказывать про неё Льву Аркадьевичу. Доброму доктору Льву Аркадьевичу, после уколов которого поутру всегда сильно болела голова, мысли путались, а действительность двоилась в глазах.

Коля поднялся с пола и доковылял до ванной. Умывшись, он посмотрел на своё отражение в зеркале. Привидение.

— Меня нет, — прошептал он зеркалу.

И зеркало в ответ безумно усмехнулось:

— Точно. Тебя нет!

Коля подошёл к журнальному столику и, схватив ручку, принялся с остервенением карябать в открытом блокноте, лежавшем там же:

«Из того мрака, в котором я сейчас нахожусь, я вряд ли смогу подарить миру что-то светлое и обнадёживающее. Только свою злобу и боль — то, что я ощущаю каждую секунду своего бессмысленного существования. Я могу поделиться с тобой, мой гипотетический читатель, той безрадостной и безнадёжной пустотой, что переполняет сердце моё. Я хочу, чтобы ты услышал её, чтобы ты почувствовал её, понял её всеистребляющую сущность, отравляющую все попытки зацепиться за этот мир. Я хочу, мой дорогой читатель, чтобы тебе стало так же плохо, как сейчас мне! Чтобы ты рвал волосы на голове и кричал: «Боже, за

что?!» Это моя жалкая попытка вернуть свою боль Создателю. Но не торопись обвинить меня в жестокости и скверном характере! Выплеснуть свои страдания на бумагу — это моя последняя возможность хоть как-то разгрузить копящийся внутри ужас, выдавливающий из меня остатки жизнелюбия.

Все мои силы уходят на то, чтобы противостоять аду внутри моей души, но мои же силы и питают этот ад! Это месть самому себе за неумение жить! Чем сильнее я становлюсь, чтобы вытерпеть боль, тем сильнее становится боль, крепчающая от моих же сил. Несмотря ни на что, я люблю жизнь, даже такую никчёмную. Я никогда не задумывался о самоотводе. Но должен наступить день, когда боль и отчуждение просто вытеснят жизнь из меня. Произойдёт естественное движение к гибели. И мне кажется, что этот день наступил».

Коля положил ручку на блокнот. Он ощутил некоторое облегчение, словно бумага взяла на себя часть груза его страданий. Но одновременно он почувствовал отчаяние обречённого. «Сегодня всё закончится».

Взяв сумку со сменной одеждой, он поехал на книжный склад, где работал с апреля. Официально его должность звучала как «менеджер по складу». Ну любят в России почему-то слово «менеджер» — что уж тут поделаешь! Сами сотрудники склада шутили, что они скорее «менеджеры по погрузке», потому что целыми днями в основном таскали по дурно пахнущим коридорам коробки с книгами. Когда не было машин и не надо было загружать или разгружать, «менеджеры по складу» распаковывали коробки и сортировали книги. Тупая монотонная работа замедляла субъективное время, превращая минуты в часы, часы в дни, а дни в годы. Коля работал только третий месяц, но ему уже казалось, что он родился и вырос в бесконечном лабиринте склада, этого зловещего монстра, сошедшего в реальность со страниц Франца Кафки. За несколько первых дней работы пальцы Коли почернели от пыли, порезов и йода. После чего он стал благоразумно пользоваться прорезиненными хлопчатобумажными перчатками, в которых руки прели, но оставались более или менее сохранными.

Как ни странно, но почти у всех «менеджеров по погрузке» — за исключением нескольких студентов — было высшее образование. Двое учились в аспирантуре. Дипломированные филологи, педагоги и историки за гроши разгружали длинные фуры с книжками — во всём этом присутствовала какая-то злая ирония.

Руководила грузчиками-интеллигентами кладовщица Марьяна. У неё тоже было высшее образование — филологическое, но её маниакальная, гипертрофированная любовь к начальству и работе заставляла подчинённых сомневаться в её умственных способностях.

— Я отрабатываю каждую секундочку своего рабочего времени! — любила повторять Марьяна.

Естественно, что подобные требования она предъявляла и к своим подчинённым.

— Если ты сделал всю свою работу, не надо прятаться от меня и читать в тёмном уголке книжку или отдыхать — для этого есть полчаса обеденного перерыва. Протирай пыль, возьми веник и подмети. Да просто подойди ко мне: на складе для тебя всегда найдётся работа.

Таким образом, получалось, что чем быстрее ты выполняешь свою работу, тем больше тебе дадут дополнительной, притом без каких-либо поощрений или денежных бонусов. От подобной корпоративной этики у подчинённых выработался тот род профессионализма, когда видимость непрекращающегося рабочего процесса призвана скрыть его отсутствие. Быстро выполнять свою работу было попросту глупо.

Как-то Марьяна случайно ошиблась, составляя график на месяц для «менеджеров по складу», и выпустила в один день на работу на человека больше, чем требовалось. В горячке раскаяния она написала донос начальству на саму себя: «Прошу оштрафовать меня на 1000 рублей за то, что…» и т. д. Директор оштрафовал её на пять тысяч. Когда об этом прослышали на складе, смеялись до коликов в животе.

Двухнедельный отпуск Марьяны стал для всего склада настоящим праздником. Заменявшая её Зиля относилась к рабочему процессу так: выполнил работу быстро и качественно — отдыхай. Надо ли говорить, с какой любовью и заботой смотрели на неё сотрудники склада? Склад заработал в несколько раз быстрее и слаженнее. «Менеджеры по погрузке» пели и смеялись, везде царили чистота и порядок. Открытые улыбки, светлые от радости лица… Марьяна вернулась из отпуска на три дня раньше со словами:

— Зачем вообще нужны эти отпуска? Мне было так скучно! Уж теперь я вами, мальчики, накомандуюсь вдоволь!

И склад заработал в прежнем режиме. Строгом режиме.

Грошовая зарплата, отсутствие перспектив и нудно-вязкие рабочие часы превращали трудовые будни в один мутный, беспросветный кошмар. Чтобы внести в бесцельно пропадающие, размениваемые на нелюбимую работу дни смысл и пользу, Коля старался читать украдкой — пусть за это и штрафовали, если ловили. Вместо закладок, чтобы не «палиться», Коля записывал на специальном, всегда тщательно запрятанном листочке заглавия книг и номера страниц, на которых прерывал чтение.

В этот день, читая Германа Мелвилла, он наткнулся на строки: «Кто из нас не раб, скажите мне? …я могу утешаться сознанием, что это всё в порядке вещей, что каждому достаётся примерно одинаково — то есть, конечно, либо в физическом, либо в метафизическом смысле; и, таким образом, один вселенский подзатыльник передаётся от человека к человеку, и каждый в обществе чувствует скорее не локоть, а кулак соседа, чем нам и следует довольствоваться».

«Но нам не следует этим довольствоваться! Если бы мы помогали друг другу и поддерживали друг друга, вместо того чтобы вымещать накопившуюся злость, мир был бы лучше!» — подумал Коля и тут же вспомнил свою утреннюю запись: «Я хочу, мой

дорогой читатель, чтобы тебе стало так же плохо, как сейчас мне!»
— Всё это безнадёжно! — уныло прошептал он. — Безнадёжно. Я хуже всех.

Когда до конца рабочего дня осталось пять минут, «менеджеры по складу», согласно давно установившейся традиции, стали потихоньку подтягиваться поближе к выходу. Марьяна ругалась и возмущалась, потому что и это время должно было быть потрачено с пользой для склада: можно было протереть пыль, подмести и т. д. Но люди уже чувствовали пьянящий восторг свободы, приближающейся с каждым скачком секундной стрелки на часах, висевших над выходом. Все взгляды были устремлены на эту стрелку. Как только она пересекла границу нового часа, послышался коллективно-сознательный вздох облегчения — казалось, вздохнул сам склад-монстр, — и люди, возбуждённо подталкивая друг друга, кинулись в дверной проём.

Переодевшись в раздевалке, Коля устало посмотрел на сумку с рабочей одеждой и решил не брать её с собой. Он затолкнул её под лавку. Ощущение надвигающейся беды нарастало.

Коля вышел на улицу. Он спустился в метро, даже не зная, куда собирается ехать. Какая-то неведомая сила сама направляла его. В измученно-отрешённых, сосредоточенных вовнутрь человеческих лицах он видел своё собственное, такое же.
— О, прикройте ваши лица: ненавижу зеркала! — прошептал он чуть слышно, но ему показалось, что все обернулись посмотреть на него.

Удушливая западня вагона метро давила, вызывая приступы клаустрофобии, и Коля, расталкивая человеческое тесто, пробрался к выходу. Он чувствовал, как силы на сопротивление разверзающейся внутри бездне покидают его. Нечто надвигалось из самых тёмных, страшных глубин. Непоправимое. Ноги сами несли его, словно он потерял управление над собственным сознанием и телом. «Летели качели, да без пассажиров, без постороннего усилия, сами по себе». Шаманизм. Демонология. Одержимость. Миры переплелись между собой, проникая друг в друга.

Он и не помнил, как оказался в шумном, туманном от сигаретного дыма зале с кружкой пива в руке. За длинным деревянным столом, кроме Коли, больше никто не сидел, хотя зал был полон людей и все остальные столы были заняты. Никто не садился за стол к Коле. Словно все подсознательно понимали происходящее. Ритуал.

На небольшой сцене выступала пост-панковая группа. Музыка была мрачной и тягучей, пропитанной болезненно-отрешённой психоделией. Коля сидел к сцене спиной, время от времени поворачиваясь, чтобы взглянуть на музыкантов. Он чувствовал себя старым, грязным и бессмысленным. Жизнь потеряла значение. Коля вдруг понял ясно и чётко, что сегодня умрёт. Он не собирался накладывать на себя руки. Но и сопротивляться смерти больше не мог. К нему пришло осознание того, что между ним и смертью в действительности всегда была только его воля к жизни. Только желание жить. Только любовь к жизни. Только *любовь*.

«Сегодня я умру», — с безразличием подумал Коля. Он знал откуда-то, что как только встанет из-за стола и выйдет на улицу, ничего уже нельзя будет изменить.

Музыканты доиграли последнюю песню и попрощались с публикой. Их проводило несколько редких хлопков и пьяных возгласов.

Коля допил пиво, поставил пустую кружку на стол. «Вот и всё», — он зажмурился и беспомощно покачал головой.
— Господи, прости меня, — вздохнув, сказал он и собрался подняться из-за стола, но увидел перед собой загораживающего проход взлохмаченного и небритого блондина с двумя кружками пива в руках.
— А ну-ка подвинься, дружище! — воскликнул блондин с нетрезвой бодростью и бесцеремонно пихнул Колю плечом, вынуждая переместиться по деревянной скамейке ближе к стене.

Коля не сопротивлялся. Ему было всё равно.

Блондин приземлился на скамейку и со стуком, так, что пена из них подлетела в воздух, грохнул кружками о стол, после чего пододвинул одну из них Коле:
— Это тебе, друг! Уго-щай-ся!

Лицо блондина расцвело в широкой улыбке. Он был сильно пьян.

Коля пожал плечами и взял кружку, пиво в которой всё ещё возбуждённо колыхалось, чуть-чуть переливаясь через края.
— Слушай, дружище, я сидел возле барной стойки, вон там, — блондин потыкал указательным пальцем в сторону стойки и повернулся к Коле. — И рассматривал твоё лицо. Знаешь, что я увидел? Обречённость готового к смерти человека. Ave, Caesar, morituri te salutant. Печать смерти на твоём челе. Скажи, ты что, правда собрался умереть сегодня?

Коля потрясённо посмотрел на незнакомца. Сказанное было настолько неожиданно, что Коля невольно усмехнулся, нарушая чинную мрачность ритуала.
— Теперь уж и не знаю… — ответил он незнакомцу и выдохнул несколько нервных коротких смешков. — Ты кто — ангел?

Блондин заливисто расхохотался, запрокинув голову назад:
— Я человек!
— Как ты угадал про меня и смерть? — с недоверчивой улыбкой глядя на него, спросил Коля.

Блондин осушил богатырским глотком половину кружки и, бросив на стол пачку сигарет, достал из неё одну и закурил.
— Понимаешь, друг, — доверительно начал он, выпустив изо рта и носа струи дыма. — Я работаю в морге, — тут блондин сделал паузу, чтобы снова глубоко затянуться. — Вот, — струи дыма. — И каждый день на работе вижу застывшие навсегда лица мёртвых. Мужчин, женщин, стариков, детей. И у всех это особенное выражение лица, какое было у тебя, пока ты здесь сидел один, — глубокий печальный вздох. — Я научился различать это выражение у живых людей, которым суждено умереть скоро. Печать смерти. Так я, к сожалению, предугадал уход из жизни нескольких моих знакомых. Это

ужасное знание. Скажи, почему я увидел эту печать на твоём лице? Ты что, надумал свести счёты с жизнью?
— О нет, я люблю жизнь! — сказал Коля и улыбнулся.

С растущим изумлением он почувствовал, что смерть отступает от него. Каждая клетка его существа постепенно преисполнялась невыразимым восторгом, радостью быть живым, счастьем *быть*, эйфорией от осознания своей причастности к чуду жизни. Он ощутил себя заново родившимся. Новорождённым.

Внимательно вглядевшись в своего собеседника, Коля не нашёл в нём ничего сверхъестественного: обычный посетитель рок-бара — лохматый, небритый и пьяный. Общительный и словоохотливый из-за выпитого алкоголя. Но в том, что их встреча состоялась именно сейчас, именно в тот момент, когда она была так жизненно необходима, чувствовалось присутствие высшего провидения. В этом у Коли не было ни малейшего сомнения.

«Получается, не только метафизические подзатыльники мы, люди, передаём друг другу! Но и помогаем друг другу, и спасаем друг друга, когда направляет нас Бог! а значит, мы не безнадёжны», — упоённо думал Коля, и всё веселее становилось ему на душе.

Блондин похлопал его по плечу и сказал заплетающимся голосом:
— Где же эта бестия официантка?! Давай, дружище, закажем водки и хорошенько отметим твоё возвращение в мир живых! Вижу я, вижу, что печать-то исчезла с твоего лица! Светлое у тебя сейчас лицо! Хорошее. Может, это ты — ангел?

Коля рассмеялся и покачал головой:
— И я тоже человек.
— В этом есть своё очарование, — пробормотал, поднимаясь из-за стола, блондин. — Пойду поищу официантку. Ага. Надо ещё выпить. Водки! Точно. Надо выпить водки.

И он ушёл, шатаясь, в направлении барной стойки.

Коля сделал несколько глотков пива, которым угостил его растрёпанный блондин, и закрыл лицо ладонями. Впервые за те несколько месяцев, что он знал себя, ему было хорошо. Так хорошо, что хотелось плакать от счастья. «Господи, Ты помнишь обо мне! Обо мне — жалкой беспомощной пылинке, недостойной и взгляда Твоего! Ты помнишь обо мне! От одной мысли об этом всё существо моё наполняется трепетом, и благодарностью, и любовью к Тебе!» Коля чувствовал, как слёзы текут по щекам.
— Можно посидеть немного за вашим столом? А то мест в зале больше нет, а я так устала… — услышал Коля приятный женский голос.

Он убрал руки от лица, чтобы взглянуть на говорившую, и дыханье у него перехватило. Перед ним стояла та самая женщина, что снилась ему каждую ночь. Женщина из его снов.
— Да, конечно, — сказал он, задыхаясь от волнения, и плавно вытянул руку в приглашающем жесте.

Женщина села.
— Вы плачете? — удивлённо спросила она.
— Да, — ответил он.

Женщина внимательно взглянула на него, и вдруг её глаза открылись шире.
— Как странно! Мне кажется, что я вас знаю. Но откуда?! — её голос чуть дрожал, она смотрела ошеломлённо и медленно качала головой, словно сомневалась в реальности происходящего.
— Я вижу вас в сновидениях каждую ночь, — так тихо произнёс он, что ей пришлось наклониться над столом, чтобы расслышать. — И всегда это зима. Мы стоим на середине дороги. Вас держат двое. Вы кричите моё имя, падая им на руки…

Она испуганно выдохнула, её взгляд был полон смятения:
— Вы сказали, что я кричу ваше имя? Как вас зовут?
— Коля.
— А меня Ира, — сказала она.

Тяжёлые колёса судьбы вернулись в колею Пути. Из тьмы бездорожья.

Пока ждали лифт, Витя задумчиво разглядывал дородного мужчину в очках и костюме, громко напевавшего мотив Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Мужчина нисколько не стеснялся ни гулкого эха, разносившегося по подъезду от его низкого голоса, ни пристального насмешливого взгляда Вити.
— Скажите, Лев, а вы правда доктор? — спросил наконец Витя и язвительно усмехнулся.

Мужчина повернул к нему голову и широко улыбнулся в ответ:
— Правда. У вас что-то болит, Виктор? Вылечим!
— Нет-нет-нет. Вы уж если вылечите, то, наверно, навсегда, — зло рассмеялся Витя.

Мужчина пожал плечами:
— Навсегда — пациента из шестьдесят шестой. Вы же нам нужны здоровым и полным сил, готовым и дальше трудиться на благо родины!

Подъехал лифт. Они зашли внутрь. Лев нажал на кнопку пятнадцатого этажа.
— Почему принято решение о ликвидации? — спросил Витя, прислонившись к стенке лифта.

Лев удивлённо посмотрел на него из-за стёкол очков:
— Пётр Алексеевич не комментирует свои приказы. Мне казалось, что вы знаете обо всём этом гораздо больше, чем я.

Витя промолчал.

Лифт остановился, створки разъехались в стороны. Мужчины вышли на площадку и встали возле двери с нарисованным мелом номером 66.
— Если он дома, ничего не говорите и не делайте. Мне он доверяет, — сказал Лев, доставая из кармана пиджака ключ. — Я сделаю ему укол, и, уснув, он тихо и безболезненно покинет наш мир.

Лев открыл дверь и зашёл внутрь. Пройдя по квартире и всюду заглянув, он вернулся к стоящему в дверях Вите:
— Пусто. Придётся подождать.

Витя кивнул и тоже зашёл внутрь, закрыв за собой дверь. Он пересёк небольшую комнату, подошёл к окну и выглянул на улицу. С высоты пятнадцатого этажа люди, находившиеся

внизу — женщины, гуляющие по тротуарам с колясками, пенсионеры на лавках, детишки, катающиеся на карусели, — казались совсем крошечными, хрупкими, трогательно беззащитными. Дворик был залит солнечным светом. «И во всём этом великолепии мне нет места», — грустно подумал Витя. За последние несколько дней вся его жизнь, всё, что он так тщательно выстраивал, продумывал и планировал, развалилось на части, словно карточный домик от неуклюжего прикосновения. Ира собиралась уйти. И Витя понял, окончательно понял, что она никогда не полюбит его, что бы он ни делал с ней или для неё. А без неё всё остальное не имело никакого значения и смысла.

Витя вынул из кобуры пистолет, чтобы ощутить его вес в руке. Погладив его поверхность пальцами и усмехнувшись, Витя вернул оружие обратно в кобуру. С кухни доносился бас доктора, напевавшего всё тот же мотив.

Когда в двери послышались повороты ключа, а из-за неё донеслись два голоса — мужской и женский, Витя и Лев вскочили с дивана, на котором сидели молча уже больше часа, и посмотрели друг на друга. Они не ожидали, что жилец квартиры № 66 может прийти не один.

Дверь открылась, и в квартиру зашли Коля и Ира. Замерев в коридоре, они с изумлением посмотрели на стоящих напротив мужчин.

Витя почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось.

— Здравствуй, Колюня! — с улыбкой воскликнул доктор.

— Добрый день, Лев Аркадьевич, — улыбнулся в ответ Коля, бросив на Витю мимолётный взгляд. — Знакомьтесь, это Ира, — он указал на неё рукой. — А это тот самый доктор, о котором я тебе рассказывал — Лев Аркадьевич, — и он показал на доктора, неспешно достающего из открытого на диване дипломата заранее приготовленный шприц.

— А у меня хорошие новости! — бодро пробасил доктор, сбрызнув из шприца немного жидкости. — Доставили на днях отличный препарат из Германии. Сейчас, Колюня, сделаем тебе укольчик, и курс лечения можно считать пройденным: больше никаких уколов, никакой головной боли!

— Витя, что здесь происходит? — спросила Ира, пристально глядя Вите прямо в глаза.

— Убийство, — спокойно ответил он, обречённо вздохнул, достал пистолет и ткнул им в спину доктору. — Дай сюда шприц, Лев Аркадьевич.

Доктор дёрнулся всем своим тучным телом, словно его ударило током, и медленно вытянул руку со шприцом вверх:

— Мне кажется, Виктор, что вы не совсем отдаёте себе отчёт в своих действиях.

— Мне тоже так кажется, — прошептал Витя, забирая шприц из руки доктора. — Сейчас, Лев Аркадьевич, я сделаю тебе укол твоего немецкого препарата, и ты, уснув, тихо и безболезненно покинешь наш мир.

— Я не верю, что вы можете совершить подобную глупость, — дрогнувшим голосом произнёс Лев Аркадьевич и нервно рассмеялся.

Пока Витя рассказывал мертвенно-ровным, лишённым эмоций голосом, голосом человека, уже попрощавшегося с жизнью и приготовившегося к смерти — Ave, Caesar, morituri te salutant, — Ира и Коля потрясённо смотрели на него, замерев около окна и взявшись за руки. Витя не стал ничего утаивать: с неожиданной остротой и болью он понял, как важно именно сейчас, в эти последние отсчитанные ему мгновения, не покривить душой, не солгать ни в чём, не прятаться от совершённого зла, не оправдывать себя, не изворачиваться. Он не ощущал угрызений совести, не страдал от жгучего раскаяния: внутри у него было темно и пусто, словно душа уже покинула тело. Но он просто «знал», что «должен» обнажить чудовищную, неприглядную правду.

На диване, прикрытое простынёй, медленно остывало тело доктора Льва Аркадьевича.

Солнечный день окутал их ласковым безбрежным теплом, когда они вышли из подъезда и направились к стоящей неподалёку машине. В бездвижности изумрудной листвы, отбрасывающей замысловатые тени, в том, каким безмятежно голубым и чистым было небо, в воздухе, звенящем от детского смеха, — во всём была разлита мягкая умиротворённость лета.

Ира и Коля шли впереди, так и не разомкнув ласкающих друг друга переплетённых пальцев. Витя шёл следом, держа правую руку за пиджаком, там, где была кобура.

Подойдя к машине, Ира и Коля повернулись. Ира вдруг испуганно вскрикнула.

Витя остановился, не оборачиваясь. Осторожным, плавным движением руки, почти незаметным со спины, он освободил пистолет из кобуры, снял его с предохранителя и положил указательный палец на курок.

— А ну стоять! Не двигаться! Стреляю на поражение! — раздался хриплый старческий возглас, тут же захлебнувшийся в кашле.

Витя резко повернулся, и два выстрела прозвучали одновременно.

— Простыть летом — какое адское невезение, — прошептал Пётр Алексеевич и упал замертво.

На его губах застыла горькая кривая усмешка.

Витя выронил пистолет, с лязгом клацнувший об асфальт, и опустился на колени. Он жалко посмотрел на Иру и сказал:

— Прости, прости меня, пожалуйста!..

Она не успела подхватить его: он упал на бок, издал тихий стон и медленно сомкнул веки.

Ёлка Няголова

Нулевая группа

Перевод с болгарского Николая Переяслова

Моя кровь — нулевой группы,
Я могу её дать каждому,
Но не могу от каждого принять…
Любомир Левчев

В моей руке — игла. И кровь моя —
течёт по ней в безмолвии тревожном.
Лежу, надежду робкую тая,
что в этом мире — Богу всё возможно.

Чтоб не бояться, я твержу себе,
что страх мой заперт, словно хищник в клетке…
У мальчугана — третья группа («В»),
иммунитет — на нулевой отметке.

Ловя черешен привкус на губе,
смотрю на капли в трубочке прозрачной.
У мира — тоже третья группа («В»),
иммунитет — почти совсем утрачен.

Он полон страхов. (Так весной, в саду,
черешня ночью в холоде дрожала —
и, не дождавшись солнца, вся в цвету,
в ветвях озябших жизнь не удержала…)

Игла торчит из вены, как насос,
систему трубок заполняя кровью.
Шрам на ребре… Мне кажется, Христос —
был, как сосуд, наполнен весь любовью…

— О Боже! — тревожно вздохнул надо мной,
нащупав мой пульс, озабоченный доктор. —
Вам надо, голубка, лечиться самой.
С таким-то сердечком… Какой из вас донор?..

Но он — заблуждался. Ему б, не тая
сомнений своих, осмотреть мои рёбра,
и он бы заметил там след от копья —
отметку судьбы, знак любви её доброй…

Мальчишка поправился. Слава те, Боже!
Его я спасла. Но покоя нет вновь:
простит ли меня он, коль станет тревожить
его моя страстная жгучая кровь?

Простит ли меня он за то, что, как вирус,
огонь неуёмно гудящей любви
ему, как вином угощая на вынос,
дала я в своей перелитой крови?

Проткнув ему кожу иголкою грубой,
что делает больно, но жизнь бережёт,
сойдясь с его третьей, бесстрастною группой,
моя, нулевая, его обожжёт…

…Его — я спасла, влив любовь свою в вены.
Сама же, как яхта, что села на мель,
рисую в душе, как в каюте на стенах,
пустую качающуюся колыбель.

Я звёзды ловлю и к дверям прибиваю
соседским, не дав на земле им остыть.
В мечты погружён, почтальон забывает
в почтовые ящики смех опустить.

Спасибо, что в сны мои Чаплин приходит,
как дворник, к печальной работе готов.
Он душу обходит, порядок наводит,
и — нет неоплаченных больше счетов!

…Как капли крови, вызрели черешни.
(Что им не больно — никому не верьте.)
Колотит дятел в тишине безбрежной
призыв: «Любите! Хватит слёз и смерти!»

Я свой рукав закатываю снова.
С моим-то сердцем?.. Ничего, забудем.
Мир с третьей группой должен быть здоровым.
Пусть кровь моя — в нём жар любви разбудит!

Свети

Письма из Парижа во Владивосток[1]

Рига, 2004 год

Всё началось здесь, в Риге.

Я обожаю этот город на берегу Балтики с его волнующим очарованием.

Запах молотого кофе и маленьких солёных пирожных с ветчиной смешивается с запахом дыма, идущего от камина, и ощущением мороза, гуляющего по улочкам старого города.

Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный!
Пора, красавица, проснись;
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою Севера явись!
(А. Пушкин. «Зимнее утро», 1829 г.)

Люблю приятно проводить время, гулять в сопровождении крика вечных чаек, мелодий уличных музыкантов, глядя на разноцветные дома 14-го, 15-го, 16-го веков: собор Святого Якова, дом Черноголовых, дома Трёх Братьев,—всё это свидетельство богатого ганзейского торгового прошлого.

Переходишь от одного места к другому… и в северной части старого города оказываешься в посольском квартале, построенном в «юген стиле», где я живу[2]. Архитектурная фантазия Риге очень к лицу. Её красота, застывшая в камне,—с фантастическими резными украшениями: соблазнительные, кокетливые Венеры, невозмутимые колоссы, драконы с загадочными улыбками, причудливые головы, молчаливо изрыгающие проклятья,—свидетельствует об удивительной изобретательской способности архитекторов.

Над крышей дома, называемого «Чёрная кошка» («Ле ша нуар»),—скульптура кошки, охраняющей счастье жителей.

У меня дома тоже есть один из таких усатых охранников, но он турецкой ангорской породы. Он весь белый, а его нос, уши и кончики лап—бледно-розового цвета. Он серьёзно воспринимает роль хозяина дома и сторожа нашей восхитительной, наполненной солнцем квартиры на шестом этаже. Его зовут Лат. Когда друзья подарили мне его на Рождество, мой бывший муж дал ему это имя. Это была шутка в ответ на то, что наши пражские друзья назвали своего кота Доллар.

Лат—национальная латышская монета, в два раза большего достоинства, чем доллар. Наш кот, видимо, понимает это и всегда держится с достоинством. Каждый вечер, прежде чем отправиться спать, он обходит все уголки квартиры, чтобы навести страх на привидения, которые, вероятно, остались на этом старом чердаке, превращённом в двухэтажную квартиру с деревянной лестницей и окнами velux на крыше. Из этих окон Лат любит смотреть на пролетающие мимо облака, на пики соборов, католического и лютеранского, и на золочёные кресты русской церкви. И только крики чаек способны вывести его из состояния умиротворённости. Они сводят его с ума. Я люблю укрыться пледом из ангорской шерсти, смотреть телевизор, наслаждаясь местным ликёром—рижским бальзамом, производство которого было начато в 1752 году. Этому чудодейственному средству, обладающему лечебными свойствами и благотворно влияющему на пищеварение, принадлежит честь мгновенного избавления от недуга Екатерины II, бывшей здесь проездом.

С устроившимся у моих ног котом мы смотрим балет—передачу, которую он обожает, так же как и «Формулу-1». Он может смотреть их часами. Возможно, балерины и скоростные машины напоминают ему бегающих мышат?

Здесь, в Париже, мне ужасно не хватает моего кота, его мурлыкающих песен…

И если я хочу вывести себя из депрессии, я знаю секрет: стоит мне закрыть глаза и представить весну, улицу Риги, сирень под дождём, посмотреть на ветку и почувствовать её запах…

Моя душа наполняется счастьем, покоем, гармонией.

Все дни в Риге были похожи один на другой.

Рано утром, в семь часов, я легко вставала, включала Моцарта, надевала шёлковое кимоно и ставила на плиту воду, чтобы приготовить кофе. Запах молотого кофе наполнял комнату. Восторг!

Затем просыпались, не торопясь, мой бывший муж и сын Олег. В это время, когда мои мужчины были заняты поглощением приготовленного мною завтрака, я набирала чайную ложечку мёда и держала его во рту: процедура, которая надолго ограждала меня от стрессовых ситуаций. И пока они торопливо собирались в университет и на работу, в нашей квартире царили покой и уют: недаром говорят, что молчание—золото…

---

1. Отрывок из трилогии «Письма из Парижа во Владивосток: Как я украла миллионера» («J'ai volé le trésor de la France (ou lettres de Paris à Vladivostok)».Vol. I Rencontres, Ed. Paulo-Ramand, France, www.paulo-ramand-editions.fr).
2. www.latviatourism.lv, www.rigatourism.com, www.hotelsinlatvia.lv, www.pays-baltes.com.

Эта размеренная жизнь внезапно была прервана неожиданным событием, которое должно было изменить мою жизнь. Навсегда.

Однажды моя подруга Ирина пригласила меня провести недельку в Москве, чтобы отпраздновать её день рождения. Это очень статная дама, директор кредитного отдела Сбербанка, самого престижного банка России. Праздник закончился настоящей феерией. Из фонтана мы пили настоящее шаманское!

Очень счастливая и немного разгорячённая, я упала и сломала мизинец на левой ноге.

Вернувшись в Ригу в гипсе и не имея возможности в течение двух недель никуда выходить, я заскучала.

Чтобы заставить меня забыть о моих бедах, мой сын Олег открыл мне в Internet сайт знакомств и сказал с улыбкой: «Мамочка, милая, отвлекись и займись своим французским, пожалуйста».

Сначала я принялась читать объявления, написанные француженками. Почти все они были одинаковые. В них повторялось одно и то же: «Ищу мужчину для совместной жизни, для путешествий, счастливой жизни…»

Прочитав немало таких объявлений, я поняла, что в них нет ничего оригинального, они все очень банальны.

Тогда я принялась читать объявления, написанные мужчинами.

«Хотел бы вновь обрести любовь, найти родственную душу и создать прекрасную совместную сказку».

«Дамы, я готов отдать вам своё сердце…»

Мужчины—они оказались намного более романтичными!

Вдруг мне в голову пришла мысль разместить на этом сайте моё собственное объявление.

Какую реакцию вызовет романтизм, если я обращусь к мужчинам в их же тональности? Но… несовершенство моего французского «обещало» некоторые проблемы.

Наш университетский преподаватель часто задавал нам вопрос: «Какая разница между людьми, имеющими диплом о высшем образовании, и теми, кто получил лишь среднее образование?»

И сам отвечал на него: «Первые способны открыть любую книгу и получить информацию в любой области нашей жизни самостоятельно».

Как ты думаешь, моя милая Восик, что я сделала?

Я придумала текст объявления, сказав себе: «Что ж! Прекрасная мысль, Светлана, я горжусь тобой, у тебя высшее образование—как говорят французы, «бакалавр плюс восемь»! Ты можешь всё! Читала ли ты на французском языке что-либо более романтичное, чем знаменитое стихотворение Александра Пушкина?!»

Я решила написать такой текст объявления:

«Je Vous aimais, peut-être, dans mon âme,
L'amour n'est-il pas tout à fait éteint,
Mais n'ayez plus à redouter sa flamme
Je ne veux pas Vous affliger en vain.

Je Vous aimais. Sans espérer, j'ai su me taire,
Rongé de crainte ou bien de jalousie,
J'aimais d'un cœur si tendre si sincère
Dieu veille qu'on Vous aime encore ainsi.
A. Pouchkine, 1829»[3]

Ничего не было более искреннего, более трепетного и интимного, что я хотела бы добавить к этому объявлению, адресованному французским мужчинам!

И успех превзошёл все мои ожидания. Уже в следующие три часа я получила на мой почтовый адрес три сотни писем от мужчин, «отчаявшихся от любви и от жизни».

Команда сайта прислала мне свои поздравления и заявила, что за всю их историю у них не было такого успеха.

Я устала смотреть фотографии, лица французов, лица мрачные или сердитые, лица людей, которые не могут осуществить свои мечты…

«Как грустно!»

Но в конце концов я сказала себе: «Все эти письма, искренние и деликатные признания—для меня ли всё это? Как ни крути, заслуга принадлежит Пушкину!»

И я рассмеялась.

Вдруг—его глаза…

Его взгляд потерпевшего крушение, забытого всеми…

Глаза, которые звали на помощь, которые умоляли: «Выберите меня… пожалуйста».

Озадаченная, я принялась молча рассматривать его фотографию.

Сердце моё перестало биться…
одна минута, две, три…
и снова—тук-тук…

Пальцы коснулись клавиатуры компьютера: «Пусть солнце будет с вами весь день и согревает всё, к чему прикасаются ваши глаза. С нежностью из Латвии, Светлана».

---

3. Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
А. Пушкин, 1829

После трёх дней общения online или по телефону Кристиан захотел увидеть меня и прилетел в Ригу, чтобы удостовериться, что я на самом деле существую.

Это было 10 декабря 2004 года. 11 декабря 2006-го мы поженились.

Восик, милая, представляешь, одна из моих рижских подруг, Марина, истинный двойник Жаклин Кеннеди, заинтригованная этой чудесной историей, занялась в 2005 году поисками в Internet мужчины своей мечты. Используя мой метод размещения романтических стихов в объявлении, и поскольку она говорит по-английски, она открыла сайт [4] и, благодаря известному стихотворению Бёрнса, через шесть месяцев вышла замуж за богатого и щедрого мужчину, разводившего племенных лошадей в Австралии. Настоящая волшебная сказка — и всё же такая реальная…

Каждый день, будучи всё ещё в Риге, Марина через «Интерфлору» [5] получала от него букеты красных роз.

Я тоже, в свою очередь, получала тысячи роз, которые посылал мне Кристиан из Франции.

Как только Марина приехала на шестой континент, её будущий муж дал ей крупную сумму денег, чтобы она могла выгодно выступить на ипподроме. Она принесла ему удачу. Две его лошади выиграли заезд.

Он много помогает её сыну, который, как и мой сын Олег, учится в Риге.

Марина очень счастлива.

Спасибо, Пушкин!

Вениамин Ленский

Твоё слово — листок дубовый

Эней и Дидона

Да, ему не нужна Дидона.
Она смотрит, лицом бледна,
На него и дрожит влюблённо.
Но он видит в ней лишь вина

Недопитый глоток. «К тому же
Почтоваться с тобой не мне.
Я в Италии нынче нужен,
И она меня ждёт втемне», —

Произносит Эней и сразу
Переводит свой взор туда,
Где стоят по его приказу
Ровным строем его суда

И качаются. Ветер крепкий
Паруса раздувает. Взгляд
У Дидоны — как щёлк прищепки
В этот миг, и виски горят

От бессильного гнева, ибо
Пепелить илионский флот
Слишком поздно. Пускай же глыба
По пути на него найдёт

Твердолобая. «Мне же скоро, —
Причитает Дидона, — тут
Догореть. Не снести позора
Моё сердце сковавших пут…

О проклятый, вернись!» — и тщетно
Уходящему вслед глядит,
Словно молния, лучше б — Этна:
Ведь спина у Энея — щит.

Пророк

Дубовый листок оторвался
от ветки родимой
М. Ю. Лермонтов

Был голос к нему: Помолчи!
Нам пока ещё не пристало
Заявлять о Себе: в ночи
Дует ветер — четыре балла —

Слабовато. Учись терпеть.
Обязательно будет десять,
И, клянусь, ты уйдёшь на треть
В чернозёмы — Мой ноготь взвесить;

И корнями нашаришь шар
(Старый Ной это делал днищем
Корабля. У тебя же — дар
Оставаться последним нищим).

И отверзнешь уста, пророк.
Твоё слово — листок дубовый,
Им прикрою Свой голый бок.
Шелестящи Мои покровы.

Обовью твою грудь стезёй
Эдемической, чтобы пылко
Ты сражался и в дождь, и в зной
Со змеиной Моей посылкой…

4. www.meetic.com
5. www.interflora.com

Мурад Саид

В миражах любви

Рубаи

Всего себе позволишь, коль полон твой карман.
Невзгоды все схоронишь, коль полон твой карман.
Но только в магазине не купишь никогда
Ты дружбу, честь и совесть, хоть полон твой карман!

Клянусь! Я горы сокрушу! Ты только улыбнись.
Коль надо будет — согрешу. Ты только улыбнись.
Печаль твоих прекрасных глаз — клеймо моих невзгод.
К тебе на встречу поспешу. Ты только улыбнись.

О муках повседневных мне некому поведать.
Усладу моих тягот перу дано отведать.
Свеча — мой верный друг, а стол — собрат окну.
Лишь ветер тёмной ночью спешит меня проведать.

Искать себя в плену любви — не в меру я устал.
Писать ночами месневи — не в меру я устал.
Я счастье не обрёл в плену твоих лиловых губ.
Просить: «Яр, милость прояви» — не в меру я устал.

Склоню колени пред тобой, глаза свои закрою.
Что стала ты моей судьбой — мне кажется порою.
И что ни день, в толпе людской теряюсь я уныло.
Душа ведёт с судьбою бой. Я этого не скрою.

Ежечасно грудь мою боль разлуки нашей гложет.
Ты вдали, а я грущу. Продолжаться так не может.
Тот недуг, что нас настиг, насмехается над нами.
Без тебя в глухой степи моё сердце изнеможет.

Прости… Час пробил. И пора мне в дальний путь.
Но прежде ты позволь к губам твоим прильнуть.
Бог знает, что в пути мне Посейдон готовит…
Надежду сохрани… Ведь в ней сей жизни суть.

Я прикован к устам твоим — в пожизненном сне.
И всё верю мечтам своим — в пожизненном сне.
Судьбе благодарность в молитвах несу. Я знаю:
Тобою, Марьям, я любим — в пожизненном сне.

В ангельском взгляде я море узрел.
От счастья, Марьям, огнём я горел.
Ты взглядом пронзила меня, как стрелой.
Но на тебя я недолго смотрел.

Я продан в рабство самим же собой
Той, для которой не стал я судьбой.
Юность в закате… но я, что ни день,
Себя излечить пытаюсь мольбой.

Мне в дар Всевышний преподнёс тебя,
Он выше майских звёзд вознёс тебя…
Но, не заметив чёлн моей любви,
Он как принёс, так и унёс тебя.

Душа туманится. Сердце разбито,
Как у старухи в избушке корыто.
Как ни старался… но всё ж от меня
Счастье земное по-прежнему скрыто.

Стенанья — мой удел. Я этим и живу.
Узреть любимой лик мечтаю наяву.
Тюльпаны алых губ завяли для меня.
И оттого себя ночами в клочья рву.

Я знаю, что мне прощения нет.
Сердце сковано прохладою лет.
Ты измучена мною, Марьям. Прости…
Я готов тебе покориться, Сет!

Быть вознаграждённым не мечтаю.
В миражах любви своей летаю.
И в стихах моих безмерная любовь.
Ею сам себя я угнетаю.

С детства я сердце твоё покорил,
Днями с тобой о любви говорил.
Время тебя породнило с другим.
Мир одиночества я сотворил.

Когда ты пьёшь вино помногу—разум отступает.
Когда впустую бьёшь тревогу—разум отступает.
Вино лишь повод для раздора—грош ему цена.
Когда валяешься—ей-богу—разум отступает.

Я грежу о тебе: любимая, ты знаешь?
И ночь летит в мольбе: любимая, ты знаешь?
Ты та, кем мог гордиться Мурад Саид при всех.
Ты—всё в моей судьбе: любимая, ты знаешь?

В моей душе ты навсегда останешься мечтой.
Я жизнь свою приукрашал твоею красотой.
Но оказалось, средь цветов таились сорняки.
И сад любви, что расцветал, теперь уже пустой.

Я в этом мире без тебя не обрету покоя.
Я, о тебе в ночи скорбя, не обрету покоя.
Твоя краса, твоя любовь—предел моих желаний.
Увы, я, душу теребя, не обрету покоя.

Я тем живу, что вижу в час рассветный
На фоне грозных скал твой лик приветный,
Который мне дороже всех наград.
Поверь, Марьям—мой талисман заветный.

Тюремные цепи легче душевных обид.
И в этом, мой друг, убедился Мурад Саид.
Пять лет нескончаемых тягот—его удел.
Ему двадцать восемь. А он—аксакал на вид.

Смирись, Мурад Саид, дай волю белым дням.
Пускай в объятья гор ушла твоя Марьям—
Любовь свою храни в чертогах всей души,
Чтоб в трудный час она избегла горечь ям.

Луну сменило солнце, как только ты пришла.
Ко мне, к моим юдолям душою снизошла.
Пророку и Аллаху молитвы вознесу
За то, что ты, Родная, другого не нашла.

Ты жизнь мою однажды навеки отравила:
Прекрасною улыбкой меня в себя влюбила.
Собою одурманив, укрылась ты в горах.
Бездушная гордячка, поэта ты сгубила.

О, как ты прекрасна в вечернем камзоле.
Ты—словно фиалка в заброшенном поле.
Невольно склоняюсь у ног твоих нежных…
Рабу не дано восседать на престоле.

Я пытаюсь печаль свою превозмочь.
Но безжалостно душу терзает мне ночь.
Я проклят нечистою силой за то, что
Тебя потерял, лишь узнав, чья ты дочь.

Лишился навсегда любви своей Мурад.
Но слёзы никогда при всех не лей, Мурад.
Стихами изложи всю боль свою. И знай:
Не пройдена тропа судьбы твоей, Мурад.

Стеная по тебе, один мечусь в ночи.
Все мысли о тебе предельно горячи.
И солнцу не взойти в покрове вечных снов.
И в темноте мы две погасшие свечи.

Ты райского поля блаженный цветок.
Ты в силах собой озарить весь Восток.
Но будь осторожна, царица цветов:
Пойми—этот мир до предела жесток.

Прошу, денница, помедли с рассветом.
Во сне любимая медлит с ответом.
Быть может, не станет меня искушать—
Шагнёт к Мураду с теплом и с приветом.

Ты молод и юн; познай наперёд:
Главное в жизни—ценить свой народ.
Сегодня мы есть, а завтра нас нет.
Стремись, пока жив, прославить свой род!

Когда же душа от волненья мрачнеет,
Когда всё вокруг искажённо чернеет,
В такие минуты—поверь мне, приятель,—
Лишь Мамино сердце тебя обогреет.

О журавли, куда вы так быстро летите?
Во имя моей любви весь мир облетите.
Ту, по которой стенает сердце моё,—
Найдите и всё обо мне ей расскажите.

Я бьюсь о скалы, волною гонимый.
Когда-то—я помню—был я любимый.
В разлуке с тобой вседневно стенает
Скиталец Мурад—тобой одержимый.

Нет мне прощения. И всё же—прости.
Ты мира всего мне дороже—прости.
Паду на колени—ты только вернись.
О Яр, оживи наше ложе—прости.

Я ухожу. Куда?—пока ещё не знаю.
С тобою, без тебя—я всё равно стенаю.
Быть может, вдалеке, где много так свободы,
Тебя, твою любовь, Бездушная, признаю.

Мудрость Востока в стихах Низами.
Ты их душою, поэт, восприми.
Когда блик Востока в тебе отразится,
Ты будешь читаем всеми людьми.

Уймись, моё сердце, хотя бы на время:
Слепая любовь—моё тяжкое бремя.
Позволь мне найти себя в омуте жизни—
Быть может, тогда прорастёт во мне семя.

«Стихами ты душу свою отведи,—
Явившись в ночи, мне сказал Саади.—
Пером на бумагу излей свои муки—
Останутся беды твои позади».

ДиН цитата

«Я не люблю своего почерка…»

«Мрачное недоразумение»—второй муж Ахматовой Шилейко был гениален, говорил на 52-х языках, востоковед, ассириолог, знаток клинописных текстов (во «Всемирной литературе» должна быть целая кипа переводов ассирийского эпоса, переписанных рукой А., её каллиграфическим почерком. «И это при отвращении А. к процессу писания!» *(Лозинский)*); в двадцать три года ему предлагали кафедру в Баварии!—в общем, был «не сахар», по словам сына,—всё в нём выглядело странно и необычно. «Я не желаю видеть падение Трои, я уже видел, как Аня собирается в Москву!»—шутил он. Но, к несчастью, был он страшно ревнив, запирал её дома, дабы не могла никуда выйти, ревновал Аню даже к стихам, разжигая самовар рукописью сборника «Подорожник» *(В. Недошивин)*.

Много позже, в 1958 году, Всеволод Иванов («Великий мистификатор, граф Сен-Жермен!»—по словам А.) попытался что-то объяснить Анне Андреевне про хеттскую клинопись, но она его прервала:

—Что вы мне говорите о хеттских табличках? Я же с ними десять лет прожила!—«И начинала с восхищением говорить о Шилейко, называя его гениальным»,—вспоминал Всеволод Вячеславович.

О своём почерке Анна Андреевна отзывалась так: «Я не люблю своего почерка… Очень не люблю… Я собирала всё, что было у моих подруг написанного мной,—и уничтожала… Когда я в Царском Селе искала на чердаке в груде бумаг письма Блока, я, если находила что-нибудь написанное мной, уничтожала… Не читая—всё… Яростно уничтожала…»

Владимир Шилейко иногда едко издевался над её почерком—жена и впрямь писала порой с ошибками: «выстовка», «оплупленный», «разсказал». Любила выворачивать язык: вместо «до свиданья» говорила «данья», вместо «письмо»—«пимсо»; бросалась фразами навроде «фуй, какой морд», «не бойтесь, я не зажилю, как говорят на юге», «тоника советую сунуть в…» Могла капризно, как маленькая, сказать «домку хочется» вместо «хочу домой». И была как бы накоротке с великими: прочитав что-то у Пушкина, отзывалась: «Молодец, Пушняк!» Закадычного дружка Михаила Лозинского кликала «мифкой».

Как-то А. А. сокрушалась по поводу ударения в слове—«произне́сенный» или «произнесённый»:

—В моей жизни всего было по два: две войны, две разрухи, два голода, два постановления—но двойного ударения я не переживу!

Впрочем, Шилейко иногда и вещал: «Когда вам пришлют… мантию из Оксфорда, помяните меня в своих молитвах!» И ведь напророчил…

Максим Горький устраивал литераторам продовольственные пайки («паёк академический»), которые развозились по писательским дворам на телеге. Однажды, увидев из окна въезжающую во двор лошадь, Ахматова грустно пошутила: «Вот едет горькая лошадь…» В пайке были конина, крупа, соль, табак, жиры и плитка шоколада. «Все люди немного дети… Революция их обидела. Нужно им дать по шоколадке, это многих примирит с действительностью»,—примирял нужду с действительностью Горький. «Скоро встану на четвереньки, с ног свалюсь»,—вторила Горькому Ахматова.

Игорь Фунт. Чёрное платье—символ эпохи. Или предтеча постмодернизма?—да сплетни всё! // «Русская жизнь», №10, 2011.

http://www.promegalit.ru/publics.php?id=3504

Сергей Бударин

Кочующий свет

Дорогая, пойми меня верно:
Тебя за руку я не держу.
Да и дереву осенью скверно,
Если шепчет листва: «Ухожу».
Ты уйдёшь—запрокинется крона,
Онемеет небес синева.
И застонет протяжно ворона
Ненароком прощанья слова.
Даже дереву ведомы чувства:
Без листвы и ветвям холодней!
Мне знакомо хмельное искусство—
Пить отраву остуженных дней.
Дорогая, пойму тебя верно:
Кто листвою сорвался с ветвей,
Отлетает от дерева нервно,
Ощущая утрату больней.

Никого не хочу я обидеть.
Всем на свете желаю добра.
Отчего же печально мне видеть,
Как резвится с отцом детвора?
Оттого ли, что в детстве порою
Удирал я из дому к друзьям,
И чтоб старше казаться—сырою
Пировали водой, по сто грамм.
Эх, наивность души моей нежной.
Нам с тобой оглянуться пора.
Нас сметают метлой зарубежной,
Как сметают листву со двора.
И деревья с гримасой больною
Тянут руки во мглу наяву,
Изогнувшись под ветром дугою,
Чтоб обнять на прощанье листву.
Никого не хочу я обидеть.
Всем на свете желаю добра.
Отчего же так больно мне видеть,
Что сметают листву со двора?

Туман своим молочным цветом
Всю зоркость глаз моих украл.
И снова под ослепшим небом
Топчу родной земной овал.
Прекрасно дождевою тучей
Плыть, не жалея ни о чём,
И над страной своей дремучей
Словесным сыпаться дождём.
Слова, как капли дождевые,
Проклюнутся живым ростком.
И мысли буйные, шальные
Вспоят туманным молоком.

Оказался чертовски я болен
И нежданно остался один.
Я в безлюдном болотистом поле
В непролазную топь угодил.
Здесь затишье лукаво осело…
Но надежду поют соловьи.
И губами своими несмело
Я ловлю только губы твои.
Хриплым басом—трясётся округа!—
Разрезаю затишье в куски.
А болото меня, как подруга,
Приобняв, зажимает в тиски.
Я в безлюдном болотистом поле…
Я пропал… что случилось со мной?
«Ты больной, ты с рождения болен!»—
Хрипло эхо ревёт за спиной…

Сердце вспорхнуло в груди,
Память услышав родную.
Как на параде, дожди
Дробь отбивают шальную.

Плащ лучезарных небес
Утро наденет на кроны.
И всем деревьям окрест
Звёзды слетят на погоны.

Яркой зарёй в облаках
Лес заалеет широкий.
Тополь в туманных лугах
Держит дозор одинокий.

Словно солдат, начеку,
Старшего видя по званью,
Руку приложит к виску,
Честь отдавая сиянью.

Сердце, с природой в ладу,
Крылья в груди расправляет,
В звонкую мчит высоту,
Отчий простор прославляет.

Свечку горючей луны
Ночь запалила во мраке.
Тропкою из глубины
Стелется отсвет в овраге.

Этот кочующий свет
Жизнь и судьбу предвещает…
Чистый небесный рассвет
Свечкой во мраке встречает.

На губах моих сладкое чувство!
Моё сердце — волна за волной —
Накрывает любви безрассудство,
Застилая глаза пеленой.
Не ступив, не узнаешь концовки —
В отношениях чувств не сберечь…
Я готов ради милой плутовки
Уронить свою голову с плеч.
И в любви ко всему я готовый.
И плетусь я за той, кто родней.
Так, виляя хвостом, пёс дворовый
За хозяйкой идёт до дверей.
…И плетусь за тобою я шатко,
Чтобы рук твоих нежных тепло,
Как ожог, безрассудно и сладко
На губах у меня расцвело.

Русь, я спою для тебя колыбель —
Ту, что мне мать напевала,
Если визгливо скулила метель
Или во мгле завывала.
Ныне коварно метёт за окном —
Тьма непроглядная, волчья.
Стужа терзает родимый наш дом,
Солнце растерзано в клочья.
Русь, я спою для тебя колыбель
Светом небесным и млечным,
Как напевала мне мама в метель
Светом незримым сердечным.
И содрогнётся родимый наш дом
С волчьим метельным оконцем.
И засияет небесный проём
Русским заплаканным солнцем.

Осень на лето ступила.
Воздух, промытый дождём,
Встрёпан, как мокрая псина,
Лужи сверкают огнём.
Пальцы ветвей растопырив,
Древо спугнуло листву.
Ветер, добычу завидев,
С лаем пластает траву.
Красным и жёлтым расписан
Солнечный день поутру.
Звон колокольный услышан
Даже не в нашем миру.
Рдея, пылает рябина,
Русскому веря холму.
Это родная картина —
Писана под хохлому.
К свету родимому падкий,
Волен душой горевать,
Чтобы хотя бы украдкой
Родину поцеловать..

Пусть ребёнок, на землю упав,
Вновь в истерике бьётся и плачет,
Только я, от любви пострадав,
Не надеюсь уже на удачу.
Незаметно подкралась беда.
Бед немало при жизни бывает.
Но сумел я понять навсегда,
Что любой от любви пострадает.
В пасть любви угодив, я не сник,
Хоть и прежним не смог я остаться.
Оттого ли в знакомствах пустых
Стал по-разному всем представляться?
Что скрывать? Мне знаком эпизод:
Неразумный ребёнок рыдает.
Но потом он взрослеет, встаёт…
И, как птица, над миром летает.

Яд любви скуёт движенье.
Загустеет в жилах кровь.
И одно лишь есть спасенье —
Память не тревожить вновь.
Путь любви… Он не из лёгких.
Здесь тонули корабли.
Стал тот путь давно для многих
Панихидою любви.
Прежде чем промолвить слово,
Затаи под сердцем вздох…
Ведь любовь — всему основа,
Потому что это Бог!
Отчего бросаем речи:
«Вон из сердца! — с глаз долой!»?
Будто дьявол ставит свечи
Всем живым за упокой.

Детские помню я годы:
Каждое лето — в село.
Бурные помню я воды,
Помню, как солнце пекло.
Бабка тогда поручала:
«Ходь-ка за хлебом, внучок!..»
Бедную мелочь вручала —
Медь, к пятачку пятачок.
Шёл, обходя стороною
Местных собак да телят.
Знал, что они тут порою
Тронуть чужих норовят.
Помню: однажды втихую
Бабкины деньги ссадил.
Жвачку купил я крутую —
Хлеба тогда не купил.
Грозно сердилась бабка,
Долго бранила меня.
Стала кроватью мне лавка
Возле хмурного плетня.

Берёзы сквозят во дворе,
Сливаясь со светом отвесным.
Их кровь запеклась на коре,
Взывая к воротам небесным.
Она по стволам растеклась,
Цепляясь корнями за землю.
Но с небом я чувствую связь,
И сердцем я родине внемлю.
А чёрная кровь на коре—
Святая расплата пред небом.
Берёзы сквозят во дворе
Божественным внутренним светом.

Мой друг, не виновен я в том,
Что Русь, как река, меня манит.
Она ни сейчас, ни потом—
Меня никогда не обманет.
Накроет волною судьба.
Обрушит на сердце кручину…
И даже святая мольба
Не сможет раздвинуть пучину.
Хоть плеск и журчанье реки
Для жизни твоей не отрада,
Меня поминай по-мужски,
Как в реку вошедшего брата.

Солнечным светом смеются,
В звонкой искрясь высоте,
Дни—в ясном небе пекутся,
Словно блины на плите.
Солнечным маслом облитый—
С корочкой хрусткой края!—
День золотой, духовитый
Выпекла бабка моя.
Вечером зорька прольётся,
Словно варенье на блин.
Алым туманом займётся
Блюдо зелёных равнин.
Буду—один иль в народе—
О дорогом горевать…
С русской душою природе
Не суждено голодать.

Нежных губ прикосновенье,
Взгляд зелёных глаз.
Этой жизни настроенье
Мне дано от Вас.
С этой тайной откровенной
Буду помнить всё.
Это не конец Вселенной,
А исток её.

Алексей Стариков

Старые деревья

И грустно знать…

Компьютер управляет кораблём.
Корабль утюжит волны беспристрастно—
мы вовремя до цели доплывём,
и это даже мне—салаге—ясно.

Мы обойдём тайфуны и шторма,
атоллы, рифы—всё, что нам не в тему.
Компьютеру вся эта кутерьма—
до лампочки (точней—до микросхемы).

Он в этом долгом рейсе всё учтёт:
пассаты, ураганы и цунами,
он самый безопасный путь найдёт,
высокомерно не считаясь с нами.

Он, по большому счёту, будет прав,
но, в порт приплыв, он никогда не вспомнит
тот день, когда, над нами просверкав,
в корабль ударит сразу десять молний.

Он переложит в цифровой формат
координаты, мили и глубины,
но он не вспомнит, как парит фрегат,
как весело дельфины горбят спины.

И, на лице своём не ощутив
солёных брызг холодное касанье,
он будет педантичен, и брезглив,
и точен, человеку в назиданье.

Ни боль, ни страх неведомы ему,
ни радость состоявшейся победы…
И грустно знать, что, судя по всему,
ему, увы, альтернативы нету.

Сигарета

А сигарета догорает,
и невесомый дым витает,
и тонкий бестелесный запах,
как наважденье, пропадает.

Мы в сложных отношеньях снова:
имеет вес любое слово,
но этих слов настолько мало,
что даже тишина весома.

Беседа соткана из пауз,
в душе смятение и хаос,
и рушатся дворцы и зáмки—
воздушные, как оказалось.

И остаются только звёзды,
и ломкий от мороза воздух,
и пониманье катастрофы,
спасаться от которой поздно.

Нам жаль его

За окнами звенящий день весенний,
и жаль преподавателя слегка,
увязнувшего в дебрях уравнений,
которыми исписана доска.

Нам жаль его,
обсыпанного мелом,
влюблённого в мудрёный свой предмет,
но за окном идёт девчонка в белом—
и выбора у нас другого нет:

мы смотрим,
отложив свои конспекты,
как вдаль она уходит
не спеша.
В минуты эти ни декан,
ни ректор,
ни даже Бог—
никто нам не мешай!

А перед нею мир такой огромный,
что чёрта с два отыщешь горизонт!
Дымит вдали невидимая домна,
гудит неразличимый самолёт.

Семестр стремится к строгому финалу,
а мы ведём себя
как дураки…
И горбятся уныло интегралы
в двумерной,
скучной
плоскости доски.

Зимняя ночь

Сидела белая сова
на снежной ели,
одни лишь круглые глаза
в ночи горели.

В сугробе белый заяц спал,
и над сугробом
качался белый-белый пар
пушистым комом.

И над избушкой лесника,
над белой крышей,
белело облако дымка,
клубясь неслышно.

Сияла белая луна
над лесом белым…
И белым эхом тишина
в ночи звенела.

Старые деревья

Больные,
старые деревья —
я помню их
с дошкольных лет.

На этой улице
издревле
они стоят,
им сносу нет.
Их
жизнь корёжила
и гнула,
рубцов от ран
не сосчитать,
но время
раны затянуло,
и жизнь
их радует
опять
обильем света,
птичьим пеньем,
движеньем сока
под корой,
глобальным
общим потепленьем,
в связи
с очередной весной.
С очередной,
но не последней,
даст Бог…

Но больно уж всерьёз
на ветеранов наступленье
планирует
горкоммунхоз.

От человека нет защиты:
своим всесилием кичась,
в борьбе неравной
победит он.

Но лучше —
позже,
не сейчас!

Сын

Лобастый,
в синяках,
как поле в васильках,
как небо в синих звёздах.
В кровать загнать —
никак:
привык ложиться поздно!

Во всём,
что ни возьмёшь,
перечит,
словно ёрш,
как будто ветер встречный.
Отшлёпаешь!
Ну что ж,
не без того,
конечно.

А он в ответ —
молчок,
лишь смотрит,
как бычок,
из-подо лба крутого:
всё,
дескать,
нипочём.
И жаль его —
такого!

Обиды не хранит:
немного посопит,
как ёжик
или чайник,
и вот уже бежит
делиться страшной тайной!

И вновь,
как говорят,
у нас
любовь и лад,
и всякое такое…
И миру каждый рад!
И жить —
прекрасней вдвое!

Ночь. Зима

А на улице свежо,
Ой свежо!

С неба падает
колючий снежок,
под ногами он хрустит,
словно жесть.
По нему пройтись —
великая честь:
каждый шаг —
как будто ставишь печать,
за которую потóм
отвечать.

Две вороны
в сером небе летят,
две вороны
за порядком следят.
«Кар-р!» —
раздастся вдруг.
И сердце замрёт —
будто в луже
под ногой
треснул лёд,
будто ты ступил
не так,
не туда.

От столба к столбу
бегут провода.

Свет
мозаикой ложится
на снег,
без особенных надежд
на успех.

Всё заполнено
седой пеленой.

Ночь. Зима.
И я шагаю домой.

Сергей Есин

Страницы дневника[1]

2009 г.

1 октября 2009, четверг

Уж чего-чего, а группе, в которой я занимаюсь, не откажешь в молчаливости. Иногда вопросами и замечаниями лектору не дают слово сказать. Народ собрали со всей России. Все деканы, профессора, доценты, минимум кандидаты наук. Вопросы иногда бывают и странноватые, но в каком-то смысле люди хотели бы выговориться; привыкшие только говорить и внушать своим студентам, хотели бы и сами быть по-человечески услышанными. Постепенно мысль, что вот дали деньги и министерство их непродуктивно тратит, сменяется мыслью о целесообразности этой взрослой учёбы. Здесь не только новое в профессии, которой мы все занимаемся, но и неизведанное. Наблюдая, с каким энтузиазмом не самые молодые дядьки и стареющие тётки ездят на экскурсии, разговаривают об экскурсии в Новгород и Петергоф, о походах в театр, я понимаю, что эта так называемая учёба даёт такую необходимую в нашей работе подпитку. Как же так, думаю я порой, коллеги дожили до преклонных лет, не видя ещё Эрмитажа и не побывав в Петергофе! <…>

Напротив гостиницы, через площадь и через дорогу, начинается Смольный. Сегодня попытались обойти его с левой стороны. Сазу же наткнулись на большое, вписанное непосредственно в его монастырскую ограду здание. Так я и не определил, для чего оно использовалось раньше, зато теперь просто разбухло от обилия каких-то бюрократических служб. Возле просторной двери на стенах я насчитал около 20-ти вывесок разных комитетов и областных управлений. Естественно, опять возникла мысль о тотальной бюрократизации страны.

Сегодня опять лекция — Ник. Александровича Пруеля, он доктор социологии и руководитель программы «Вопросы модернизации высшего образования в России в условиях перехода к стандартам нового поколения». Не самый ли он главный враг? На этот раз это о новой инициативе, которая нас, наверное, ждёт в будущем. О разработке так называемого ГИФО. Насколько я понимаю, наши реформаторы, не устающие реформировать, постоянно ищут возможности облегчить бремя бюджета от социальных нагрузок. Государственное индивидуальное финансирование образования — это и есть это самое ГИФО. Индивидуальное финансирование, по идее, должно идти за студентом и зависеть от того, как он закончит школу. Оно идёт рука об руку с ЕГЭ. Энтузиастами этой разработки, кажется, опять стали, как и разработчиками математически-прагматических принципов ЕГЭ, неутомимые энтузиасты Высшей школы экономики. Если школьник во время сдачи ЕГЭ получил, скажем, 400 баллов, он получает почти полную сумму финансирования своего образования, а если сдал на «тройки» — где-то на 150–200 баллов, то ему бесплатное высшее образование закрыто. Чем меньше баллов, тем больше родительских денег.

Вся эта система закрыта ещё и флёром демократической демагогии. Победители всех олимпиад федерального уровня тоже входят в высшее образование без своих кровных. Наши преподаватели по поводу ЕГЭ рассказывают разные истории и приводят примеры, как, скажем, ребёнок, прилично знающий иностранный язык, не сдаёт тестов, потому что его не натаскали, а просто научили на иностранном языке писать и читать. Говорили о том, что большинству родителей полная система специальных репетиторов-«натаскивателей» не по карману. Здесь же гуляет почти анекдот о ЕГЭ, «обеспеченном» родителями: один экзамен за 50 тысяч рублей, а три за 150 тысяч — торговая скидка. Практически общественные фонды потребления перераспределяются в пользу власти или людей богатых.

Тут я грустно размышлял, что новый порядок лишает молодых людей лишнего шанса вырваться из своей социальной клетки. <…>

2 октября, пятница

В невероятном возбуждении в два часа дня пишу этот текст на маленьком компьютере. Потом перенесу в большой. Утром я так хорошо, как только у нас начались занятия, принялся вести свои записи. Сначала о вчерашнем дне, о чувстве свободы, которое у меня появляется в этом городе, о самом городе с его радостями и дождями. Мне здесь всё время видится время Елизаветы Петровны и Екатерины. Но как же возникло такое чудо? Каким образом был построен такой грандиозный город? Сколько же кровушки выпил он со всей империи? Этот город, конечно, в первую очередь — молодых по возрасту людей. Старые люди просто замерзают под этими вечно моросящими дождями.

В перерывах между лекциями я специально выхожу из нашей вполне академической и современной аудитории на втором этаже в это чудо Растрелли, в огромный коридор, над которым висят ещё и кудрявые балконы.

Приблизительно так я писал, а потом куда-то не туда ткнул пальцем, и на маленьком компьютере всё размагнитилось. Да пропади пропадом эти мои лирические записи, но два часа я старательно

1. Окончание. Начало публикации: «ДиН» №2, 2011.

записывал доклады наших слушателей, а там было много наивно-интересного. День сегодня начался с этих небольших докладов — о взглядах слушателей на наше вечное реформирование образования. Теперь приходится, во время довольно скучных разговоров учёной дамы-доцента, рассказывающей известные вещи о жизни современных университетов, всё это восстанавливать. В названии её лекции есть слово «стратегия».

У нас в аудитории собрались очень разные люди, говорливые, активные. Утром они сидят на лекциях, а потом бегают по музеям. Передышка в гонках, когда мы снова почувствовали себя почти молодыми.

Теперь несколько мыслей и соображений, которые высказали коллеги. Сведения можно получить не только об их работе и специальности, но и о нечто большем — о нашей жизни. За рассказами, конечно, просвечивается один герой, и имя ему — русский чиновник. <…>

3 октября, суббота

Вечером включил телевизор на одну или две минуты позже начала «Новостей» и прослушал самое начало выводов государственной комиссии по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В конце тома выводов комиссии — список лиц, как считает комиссия, причастных к аварии. Здесь и бывший министр энергетики, и зампред РАО, и даже сам Чубайс. Для советских «тактичных» расследований это беспрецедентно. Председатель комиссии перед телевизионными камерами сказал, что авария произошла не потому, что какие-то «шпильки», на которых держался агрегат, устали, а потому, что их довели до этой усталости.

Также телевидение, которое здесь, в Питере, я смотрю редко, сообщило, что «продолжается скандал вокруг Большого театра». Мэр Лужков, под надзор которого перешло это строительство и ремонт, объявил, что и генподрядчик, и генразработчик находятся сейчас на последней границе доверия и Москва откажется от их услуг.

<…>

5 октября, понедельник

<…>

Днём встречался с Димой Каралисом и его спутником, писателем Мих. Серг. Нахмансоном. М. С. — писатель-фантаст, успешный. Пишет под псевдонимом Ахманов. Говорили о неких литературных курсах, которые возникли в Ленинграде. Подарил Диме толстый том «Дрофы». Вечером Дима отзвонил мне: оторваться не может. <…>

До свидания с Димой ходил вместе с Валер. Сергеевичем на улицу Зодчего Росси. Впервые обратил внимание на то, что знакомая улица совершенно по-другому смотрится со стороны реки. Показывали улицу Бухгалтеру. Ленинград — это вечная и неразгаданная сокровищница личных открытий. Вечером по телевизору, как всегда по понедельникам, шла передача Архангельского. Здесь по случаю Дня учителя блистали близкие ему люди — Жорж Нива и Владимир Новиков. Говорили о русском языке. Было интересно. Среди прочего Архангельский сказал, что разработчик и вдохновитель ЕГЭ в России уже считает, что тестовую систему экзамена по литературе и русскому языку следует снова сменить на сочинение. Конечно, это происходит под давлением общественного мнения.

6 октября, вторник

<…> Болонский процесс не дремлет. Сегодняшняя лекция уже о «международном приложении к диплому». Должны быть сведения об университете или институте, загрузке студента, продолжительности обучения, его характере — дневное, заочное, перечислены все экзамены, включая курсовые и диссертацию, степень, присвоенное звание «на языке системы». Европейцы любят обстоятельность, а современный режим — всё знать о человеке. В дипломе проставляется даже возможность обучения в аспирантуре: может или нет? Так сказать, клеймо на всю жизнь. Но и это не всё, должны по возможности быть приведены источники, из которых можно получить дополнительные сведения об образовании в стране, а также сведения о национальной системе образования. Самое для меня интересное и, пожалуй, положительное — это две степени в показателе «отлично». Мне кажется — это справедливо. «Отлично» одного подчас разнится от «отлично» другого. Со временем, кажется, и мы перейдём к европейской системе обозначения оценок — по буквам. И здесь есть жестокий, почти солдатский регламент. <…>

Ура, мы сдали противнику русскую, лучшую в мире, систему образования! Вот что значит особые деньги и особый закон. <…>

Когда речь зашла о финансировании и платном обучении, я напомнил точку зрения творческих вузов: когда доля платных студентов, т. е. взятых с дефицитом знаний и способностей, превышает 25% от общего состава, то уровень всего коллектива резко понижается. Факультет от всех заработанных денег отчисляет 17% в общий университетский фонд. <…>

7 октября, среда

<…> На курсах сегодня сначала лекция Ю. Б. Васенева. Это о переходе к стандартам нового поколения. Всё конспектирую на своём маленьком компьютере, всё время возникают замечательные подробности.

Общее требование нового стандарта: обращено внимание на активизацию самостоятельной работы студентов. На Западе 20% всего учебного поля занимают лекции, а 40% — самостоятельная работа. У нас последняя цифра значительно скромнее.

Повышение уровня самостоятельной работы студентов требует новой организации учебного процесса. Здесь я вспомнил о С. П. Он, конечно, мой ученик, и побывавшие у него на семинаре мои студенты рассказывают, что у него та же модель проведения занятий. Но я давно заметил, что он всё время и значительно чаще, чем я, даёт разнообразные задания, общается постоянно со студентами по компьютеру. Я на своём текущем семинаре этого делаю меньше. Правда, «здесь расширяется

и становится более важной научно-методическая работа преподавателя…». Вот эту работу я, пожалуй, веду активнее всех на кафедре.

Следующее требует определённой честности, в первую очередь — перед самим собой. Преподаватель должен понять: вписывается ли он в систему, не устарел ли? Всё предыдущее относится к семинару в творческом вузе.

Требования к программе. Если в разных курсах есть повторы материала у различных преподавателей, их надо выделять, аргументировать или уничтожать.

Дисциплинарные компетенции — организационное новшество нового стандарта — это мне почти понятно. И абсолютно понятно, что «вуз должен гарантировать, что каждый принятый на работу новый сотрудник будет обладать определённым уровнем компетенции». Это относится к начальству.

Преподаватель, по европейской квалификации, назван основным ресурсом — этот ресурс, следовательно, должен иметь время для повышения своей квалификации, как станок или машина — время для ремонта или профилактики. Я об этом думаю всегда, когда слышу о якобы низкой занятости мастеров. Всё это относится и к повышению научного знания. Есть данные, что прибыль от человеческого капитала выше, чем от вложения денег в станки и машины.

По магистратуре. Здесь надо обязательно проводить семинары, а не пускать всё на самотёк, приглашать к магистрам экспертов со стороны. Руководитель магистерской программы должен быть доктором. Если магистром руководит не доктор, «а молодой перспективный доцент, то решение об этом должно приниматься на учёном совете».

Ещё одно немаловажное обстоятельство: требование от вузов гарантий в подготовке специалистов. Всё не так обворожительно просто и здесь. Оказывается, рейтинг МГУ по некоторым позициям — в конце первой сотни; по некоторым позициям Петербургский университет — в конце четвёртой сотни мировых вузов. Это знаменитое, ещё недавно лучшее в мире высшее образование!

Ещё одно модное слово: «инновация» — способ организации творческий деятельности как учащегося, так и педагога, ориентированный на использование активных методов обучения.

Вслушиваясь во всё это, я постоянно ощущаю попытку заставить всю нашу высшую школу работать по законам и методам, по которым уже давно работает наш институт — по крайней мере, кафедра творчества с её индивидуализированной методикой.

С невероятной трудностью в записи столкнулся в начале второй лекции. Её читает Иванов Дм. Владиславов. «Качество обучения в формате 4+2: профессия или вторая грамотность». Но начал профессор лекцию с тезисов предыдущей, на ней я не был. На всякий случай привожу её название: «Высшее образование в контексте глобализации и виртуализации общества». Я не успевал, потому фиксировал лишь отдельные фразы, действовавшие на меня как вспышки. Ряд существующих сейчас, живущих почти без реального содержания слоганов. Но, считает лектор, значительно важнее коммуникация, чем знание. Каждый год знания якобы удваиваются. Это означает, что удваивается число файлов. Экономика сегодня основана в первую очередь на знании — на маркетинге и на рекламе. Знания как полезная сила менее важны, важен доступ к информации. Виртуализация — это манипулирование действительностью. Реальность не исчезает, а виртуализируется. Эффект от этого процесса — материален. Сто́ит не плохая вещь, а дорогой, модный бренд. Можно, оказывается, виртуализировать и образование. В коммерческой рекламе часто используется слово «революция». Виртуализированные деньги — это доступ к кредитам. Кризис — показатель этого процесса. В искусстве виртуализируется не само произведение искусства, а устанавливается на него мода. Виртуализируется и само искусство, но получается вполне реальный результат — деньги. Виртуализация термина «школа», вместо неё — множественность стилей. Вот почему так популярны мастер-классы. Виртуализируется экспертиза, лучше не разбор, а система рейтингов. Публика создаёт оценки, а не эксперты, здесь видимость демократического процесса. Цифровые оценки не создают подлинности. Но не коммерция виртуализирует жизнь, а жизнь виртуализируется. Начинается конкуренция образами и проще — начинается «гламур».

«Гламур-капитализм» (термин Д. В. Иванова). На эту тему у лектора вышла книга. Хорошо бы её увидеть. Три признака, по Д. Иванову, гламура: 1. Яркость, лёгкость, броскость. Важна не проблема, а её решение. 2. Бескомпромиссный оптимизм. 3. Утончённая стервозность, отторжение социальности. Уходит от несогласия. Соответственно, здесь возникает целая «гламур-наука». Её тезисы: не убеждать, а очаровывать, делать всё агрессивное красивым. Модность и безапелляционность — это знамёна. Это позволяет избавиться от химер, нажитых человечеством, от полезности и адекватности.

Актуальность, истинность и практическая значимость — это то, что являлось критериями в прошлой жизни. Изменился режим создания истины. Истина должна быть красивой. В связи с этим — высказывание Гуссерля: «Истина одна, независимо от того, созерцают её люди, боги, ангелы или чудовища».

Есть «гламур-наука» и «гламур-образование». Учиться пять лет для современного студента слишком долго. Студент на втором или третьем курсе уже нашёл работу. Базовые, фундаментальные ценности его уже не интересуют. Диплома бакалавра ему уже вполне достаточно. В этом смысле наши реформы образования, против которых выступает университетское сообщество, вполне логичны. Наше образование невероятно изменилось. Оно перестало быть элитарным, каким было ещё 100 лет назад высшее образование. Тогда его имело лишь около 2% населения, сейчас — 25%. Это как бы вторая грамотность. Студент пришёл не за знанием, а за этими самыми новыми принципами грамотности. Их немного: английский

язык и компьютер. Из вуза человек выходит, как из школы,—вуз даёт ему возможность не пропасть на рынке труда, не грузить шпалы. Раньше высшее образование—это некоторая гарантия карьеры. Человек приобретал элитарный культурный капитал.

Кто-то из слушателей привёл пример объявления о приёме на работу. На фоне понижения общего уровня преподавания, в отдельных случаях оно опустилось до плинтуса. «Выпускникам—имярек, таких-то вузов—услуги не предлагать». <…>

<…> Вечером по телевидению несколько раз показывали встречу В. В. Путина с писателями и как наша Дума борется с коррупцией. В последнем сюжете участвовали и Нургалиев, и Чайка, и Бастрыкин. Нургалиев говорил о процентах снижения взяток и коррупции в его ведомстве. Браво! Генеральный прокурор—естественно, не называя фамилии, одна стая,—о некоем заместителе министра, который возглавлял, находясь на посту, коммерческое предприятие с ограниченной ответственностью, где этот заместитель министра был единственным акционером. Прокуратура «вмешалась», начальник исправился. Из-за чего-то оправдывался и Бастрыкин, когда ему въедливый Хинштейн задал нескромный вопрос.

На встрече с В. В. я приметил «своих», литинститутских: Олесю Николаеву и Алексея Варламова. В принципе, все балансы были соблюдены. Кроме Битова и Кабакова, присутствовали ещё и Лукьянов с Устиновым и Поляковым. Полякова показали, когда он дарил Путину стопку своих книг,—думаю, это собрание сочинений. Распутин говорил о толстых журналах и том, что и «левые», и «правые» потеряли в подписке. Путин обещал журналам помочь. Путин же, в руках которого вся статистика, сказал, что 40 % наших сограждан в этом году не держали в руках книги. Обнародовал также и хорошо известную новость: 80 % издательской продукции—в Москве и Ленинграде. Бедная провинция живёт без книжного богатства. Но ведь она ещё живёт и без денег!

Последняя новость, которую я выудил с экрана: генерала Шаманова предупредили о неполном служебном соответствии. Генерал послал спецназ на завод своего зятя, когда там собирались проводить какие-то нежелательные для зятя по кличке Гора процедуры. Формулу Путина, произнесённую на встрече с писателями, что «не всё в жизни зависит от рыночных отношений», я оставляю без комментариев как—для нашей страны и времени—романтическую. <…>

10 октября, суббота

<…> Все последние дни проходили под телевизионным нагнетанием страстей по поводу матча по футболу Россия—Германия. Я это связываю с моментом, хоть как-то связывающим нацию в некоторое единство. По телевидению уже несколько дней стали неуёмно демонстрировать Гуса Хиддинка. Он постепенно стал превращаться в некоего национального героя, кого-то вроде Ильи Муромца. К вечеру я уже твёрдо знал, что мы наверняка проиграем, и непатриотично даже хотел этого. Наши телевизионные комментаторы с самого начала запели победную песню, но мы не только не получили сомнительной ничьей, которая устраивала немцев, но немцы поступили как бойцы и вбили нам гол. Потом довольно долго, всю вторую половину второго тайма, комментаторы убеждали всех в том, как нам не везёт. Повезло, значит, немцам, которые полезли в бой, хотя им достаточно было ничьей?

11 октября, воскресенье

Два раза выходил из дома: утром за плавлеными сырками «для супа с луком», потому что начал варить грибной суп. Замороженные грибы, морковка и картофель с луком у меня уже были. А уже около шести вечера я ходил голосовать. Это недалеко, в школе, туда мы обычно ходили голосовать вместе с Валей. Она до самого конца была человеком политически ориентированным. Поднималась по лестнице еле-еле, но сама. Не изменяла ни себе, ни своим убеждениям.

В избирательном пункте почти никого; правда, встретил Мишу, своего соседа, врача. Он признался, как голосовал: за Г…—одномандатный округ и за «Яблоко»—партия. Вот эта манера голосовать, будто выбираешь конфеты—по фантику. Ну будь ты последователен—или за власть, которая всегда и наверняка с барабанным боем пройдёт через все выборы, или за оппозицию—чтобы власть понимала, что за ней внимательно наблюдают. Кстати, лист, на котором отмечали всех проголосовавших, был наполовину чист. Это уже во время само́й процедуры получения бюллетеней я насчитал в нём 19 граф, а проголосовало, включая меня, только семь человек. Но Мосгордума, за которую мы голосуем, сделала, кажется, такой своеобразный закон, что в смысле явки выборы утверждаются любые. По радио сегодня вечером уже сказали, что, видимо, в городскую думу пройдут две партии: очень много «Единой России» и чуточку коммунистов.

По НТВ вечером же рассказывали о недавно убитом Япончике, как сами же по телевидению называли его—«воре». Но он был свидетелем на свадьбе Игоря Кио и Галины Брежневой. Один из героев передачи Генрих Падва рассуждал о крёстном отце русской мафии. Но Япончик—это псевдоним. Зовут этого поразительного человека—по профессии циркового артиста—Вячеслав Иваньков. Рассуждали о Квантришвили, о Гоге Тбилисском. Один из генералов милиции рассказал, что покойного короновали как вора в законе в тюрьме. В своё время Япончику помогал известный правозащитник Сергей Адамович Ковалёв, а уж потом говорил, что «он ужасный человек». В своё время за этого выдающегося человека просили или помогали ему такие известные люди, как Иосиф Кобзон, Святослав Фёдоров. Есть сообщение, по мнению передачи, одного из агентов ФБР, что в своё время герой передачи был освобождён из заключения, потому что «дал взятку одному из членов Верховного Суда». В Америку Япончик попал как член съёмочной группы Ролана Быкова.

12 октября, понедельник

В продолжение вчерашнего. Вечером радио сообщило, что на похороны, чтобы отдать дань умершему, соберутся все «воры в законе» и даже прибудут иностранные делегации, упомянули Америку. А в «Российской газете» сообщили, что нынешнее покушение, закончившееся смертью, «связывали с переделом сфер влияния в криминальной среде». Дело в том, что, пока он сидел в американской тюрьме, лидерство в Москве захватили кавказские группировки, в основном грузинские. С возвращением Иванькова заговорили о том, что он соберёт под свои знамёна «славянских» и потеснит «кавказцев». Якобы те в отместку и организовали новое покушение… <…>

13 октября, вторник

День, как и положено, начался с прессы. «Российская газета» на первой полосе напечатала острую и бесстрашную статью Валерия Выжутовича «Смертные грехи и посмертные почести». У статьи просто отчаянный подзаголовок: «Москва прощается с вором в законе». Я пишу эти строчки, когда телевидение уже показало пышные похороны на Ваганьковском кладбище: сотни венков, охапки цветов, множество плечистых людей в кожаных куртках. Уже сказано, что на всякий случай кладбище прочесали сапёры и что на всякий случай к кладбищу стянут ОМОН. Но вернёмся к статье. Здесь для обрисовки всей ситуации важны две цитаты.

«Похороны Иванькова планировались на 11 октября, но состоятся на два дня позже. Следователи говорят, что перенос даты похорон вызван необходимостью провести экспертизу тела в рамках уголовного дела о покушении. В это не очень верится. Сквозное ранение, полученное Иваньковым, давно и тщательно изучено судмедэкспертами. Перенос похорон с воскресенья на вторник, смею думать, имеет иную причину: надо уважить российских и европейских «коллег» Иванькова, не поспевающих проститься со своим товарищем; надо, чтоб все они наконец собрались. А в районе Беговой и на прилегающих улицах сегодня гарантированы многокилометровые пробки».

Это, так сказать, суть. Потом, как я уже сказал, вечером, показывая церемонию прощания, телевидение сокрушалось, что не все приехали, многие «умело прятали лица от телекамер за венками и букетами». Ведь многие из этих воротил преступного мира — это опять уже вольный пересказ телевизионного комментария — стали крупными бизнесменами и теперь не хотели светиться, чтобы лишний раз не вызывать мысль: а каким образом, братва, вы так разбогатели и как пришли в бизнес?

Но вот другая цитата.

«Главарь преступного мира пополнит Пантеон, где нашли последний приют выдающиеся люди России. Говорят, Иваньков ляжет рядом с Высоцким. Может, это лишь слух и не более. Но слух — показательный. Сама мысль, что возможно такое соседство, кому-то не кажется дикой, противоестественной, оскорбительной для памяти того, чей обелиск возвышается неподалёку.

Говорят, смерть всех уравнивает. Но в том, кого и как хоронят, равенства не бывает. В каких-то случаях — и не должно быть. Здоровое общество не может себе позволить уравнять в посмертных почестях вора в законе и всенародно любимого артиста. Бандита и великого учёного. По тому, как они жили и чем себя прославили, между ними равенства не было».

<…> Теперь относительно предсказанных Выжутовичем пробок. Собрался ехать в театр, на балет, на «Ромео». Пригласил Коля Чевычелов. Выехал по направлению к Дому музыки на Павелецкой за два часа. Невероятная пробка на Смоленской у МИДа — видимо, из-за Хиллари Клинтон, и на каждом светофоре пятнадцать-двадцать минут «стоянки». За полтора часа я доехал только до Парка культуры, пришлось дать эсэмэску танцору и ехать домой.

14 октября, среда

«Ну и денёк!» — так постоянно восклицает «Эхо Москвы» перед тем, как дать рекламу. Вчера вечером из-за пробок опоздал на спектакль, но сегодня всё успел. Утром отвёз машину в ремонт на Белорусскую, а потом даже не опоздал на конференцию по Сергею Клычкову. Здесь юбилей поэта. Организовал всё это, естественно, В. П. Смирнов. Началось всё с небольшой, как сказали, «литийки». Такого прежде не было, но трогательно. Весь зал встал, смотрел на маленькую иконку, прислонённую к школьной доске, и все крестились, повторяя крестное знамение вслед за священником. Батюшка оканчивал наш институт. А впрочем, помнится мне, как проводили службу в дни смерти Пушкина. Организовывал тогда всё Олег Ефимов, и, помню, один раз служил отец Владимир Вигилянский. Тоже наш выпускник, сейчас он — одно из первых лиц при патриархе. <…>

Вечером становится известно, что все три оппозиционные фракции — коммунисты, ЛДПРовцы и справедливороссы — в грозном единодушии покидают во время заседания Думы зал в знак протеста против фальсификации выборов в регионах.

15 октября, четверг

Утром «Российская газета» публикует статью на тему, уже, правда, ранее засвеченную, о разграблении бюджета депутатами Палаты общин английского парламента своими личными незаконными тратами. В данном случае — мы всё ещё продолжаем «у них и у нас»? — речь идёт не только о некоторых депутатах, представивших «счета на собачьи консервы», но и о лидерах — нынешнем премьере Гордоне Брауне и прежнем Тони Блэре: это ещё и, наверное, предостережение нашим. Впрочем, судя по всему, у нас подобного, в смысле

проверок, никогда не возникнет в силу добротного конформизма. Кстати, вечером по ТВ передали, что две партии, декорирующие оппозицию,—ЛДПР и справедливороссы—уже в парламент вернулись. Судя по всему, коммунисты выдержат паузу.

Днём на машине ездил в «Дрофу», а потом зарулил в институт. Я решил не выступать сегодня на круглом столе, но послушать хотелось. Надо было и взять рецензию, которую написал С. Агаев на конфликтную студентку Надежду Нагорную.

По дороге возникли довольные резкие мысли по поводу порядка в городе. Ещё вчера и позавчера я стонал от пробок, а сегодня стало окончательно ясно, что это катастрофа, и она будет усугубляться год от года. Радуясь определённой социальной политике нашего городского правительства, возникшей в своё время, конечно, от переизбытка средств, мы совершенно закрыли глаза на неверное общее управление. Каким образом в Москве возникло столько машин? Почему, каким образом мы не изменили градостроительный принцип, воспетый, курируемый Ресиным,—«точечную застройку», вытеснившую все машины из дворов и заставившую их выстроиться вдоль улиц?

Вечером были Игорь с Леной. Игорь быстро и замечательно вымыл кухню, и вместе мы нажарили котлет и сварили рис. Во время ужина Лена вдруг сказала, что когда с Игорем они жили у меня, а я был в отъезде, то она видела ночью Валентину Сергеевну, так, боковым зрением какую-то тень. Она также сказала, будто Витя ей рассказывал, что ночью тоже видел какие-то в доме тени. А всё началось с того, что мне показалось, будто на кухонном столе сами по себе звякнули чашки. «Вот и Валентина Сергеевна пришла»,—подчиняясь какому-то инстинкту, сказал я. Любопытно, что никаких теней, связанных с именем Вали, я не боюсь. <…>

16 октября, пятница

Господи, как началось утро! Раздался телефонный звонок, женский голос с некоторым акцентом попросил Валентину Сергеевну. Почти сразу выяснилось, что это какая-то журналистка, коллега покойной В. С. Пишу так, будто она жива, как писал всегда,—говорит, что пишет книгу об армянском актёре Фрунзике Мкртчане и хотела бы использовать старую статью-рецензию Вали на фильм «Танго нашего детства»: «Мне всё равно так не написать». Милая моя, любимая, как же мне без тебя плохо и одиноко!

Я начинаю верить в парные случаи.

Через несколько часов снова раздаётся звонок. На этот раз это звонит старый приятель В. С. Дмитриев—директор или замдиректора Кинофонда. Поговорили немного о Вале и о той книге, которую я собираюсь написать. Память о В. С. я не собираюсь уступать никому. Дмитриев посоветовал мне писать самому, а не делать букет воспоминаний: это и легче, и быстрее, и требует меньше сил. Но главная цель звонка была: не выпустил ли я новый блок дневников? Дмитриев, как я писал, их собирает. Может быть, действительно не только я придаю своим дневникам особое значение? Я-то вижу теперь в них почти цель жизни. <…>

19 октября, понедельник

Весь день неотрывно, как и рассчитывал, был дома. Зато все свои планы выполнил. Утром, как было оговорено и раньше, давал телевидению интервью об Ирине Архиповой. Приехали двое: женщина средних лет и оператор, молодой тридцатилетний парень. По своему обыкновению, с обоих снял «показания». Это небольшая студия при Большом театре, которая была организована именно как студия Владимиром Васильевым. С оператором оказалось поинтереснее. Это типичный провинциал, ставший преуспевающим москвичом. В Москве только ленивый работу не найдёт! Он инженер, оканчивал Таганрогский институт связи, работал там на всех каналах, потом зацепился за Москву. Теперь у него «свои камеры, своя студия».

Это интервью возникло по просьбе Ирины Константиновны; кажется, кроме меня, в фильме будут ещё Елена Образцова и Виктор Антонович Садовничий. Фильм—к её 85-летию. Всё, естественно, возникло у меня не сразу, обдумывал какие-то слова уже несколько дней и по телефону проконсультировался с Сашей Колесниковым. Он ещё раз поразил меня своей неутомимой эрудицией. Он заговорил об Архиповой сразу же, будто всё время был настроен на эту волну.

<…> Вечером, в десять часов, когда я уже спал, раздался звонок от Саши Ханжина из Норильска. Он говорит мне, что только что по «Культуре» видел передачу «Между прочим», где выступают—он перечисляет—Е. Сидоров, Наталья Иванова, С. Куняев, Н. Бурляев, это передача про литературу 70-х годов. Разница между Норильском и Москвой несколько часов, он советует мне эту передачу посмотреть.

Я, до времени начала рекомендованной передачи, смотрю что-то историческое, но всё же засыпаю. Пробуждаюсь—передача, о которой говорил Ханжин, вовсю идёт. Действительно, очень интересная и даже где-то отчаянная схватка между теми, кого мы называем патриотами России, и западниками. Я просыпаюсь, когда на экране какой-то, видимо приглашённый для остроты, мальчик, 1982-го, по его признанию, года рождения, начинает складывать слова. Мальчик, между прочим, чем-то уже руководит. Он вдруг говорит о 70-х годах как о годах тотального антисемитизма. Ему немедленно даёт отпор Н. Бурляев, перечисляя фамилии знаменитых киношных режиссёров того времени: Райзман, Хейфиц и т. д. Здесь же в начавшуюся заново дискуссию вмешивается замечательно говорящий С. Ю. Куняев. При любых упоминаниях, даже нейтральных, слова «еврей» немедленно срывается Наталья Иванова. Я бы сказал, с женским остервенением. Впрочем, это понятно: живёт в бывшей даче Рыбакова и, наверное, является его правообладателем, а уж Анатолий Наумович написал уйму, да и писал, слава Богу, не чета нынешним. Евгений Сидоров, как всегда, занимает позицию между теми и другими. Он хочет гармонии в споре о русской литературе. Говорят об уехавших и тех, кто продолжал, как Шукшин, работать здесь. Но суть спора становится видна,

когда разговор заходит о том, кто останется в русской литературе. Здесь у новых западников опять негусто: Шолохов, Солженицын, Распутин, Белов. Останется тот, кто «при жизни был мощным». Всё интеллигентное служение, повести и повестушки,—всё уйдёт, и уже сегодня видно, кто уходит. Я здесь вспомнил точку зрения Ю. Райзмана, который говорил, что их лагерь не имеет таких фигур, как у почвенников.

20 октября, вторник

<…> Вести с «Эха Москвы». Существенных для меня две.

Первая—один из виднейших западных экономистов, чуть ли не лауреат Нобелевской премии, посоветовал правительству для спасения экономики национализировать центральные банки. Я этот совет воспринял бы как универсальный. Уже много было написано, как наши лихие банкиры, воспользовавшись помощью государства, набили собственные карманы. Мотивы национализации всё чаще и чаще звучат в среде экономической науки.

Вторая новость—это возвращение в пятницу коммунистов на заседание Думы, т. е. преодоление наконец-то думского кризиса. Здесь тоже есть занятные обстоятельства. Думское начальство принялось грозить оппозиции пальчиком, обещая снять с них за «прогул» зарплату. Интересно, снимает ли начальство зарплату, когда видит в зале пустые кресла в других фракциях? Или в подобных случаях не ведётся статистика? К тому же в связи с уходом коммунистов возник и некоторый «раздрай» в демократическом лагере.

Когда я пришёл на работу, то с особой горячностью Александр Евсеевич Рекемчук принялся рассказывать мне о передаче с Евгенией Альбац. Эта женщина прямо сказала, что единственная уважаемая партия ныне—это коммунисты. Ушли, чем и пригрозили правительству думским кризисом. Здесь я не смог сдержаться и сказал, что эти же самые демократы, и в частности Евгения Альбац, приложили немало сил, чтобы разрушить строй, который коммунистическая партия создала.

Может быть, я и не вписывал бы этот эпизод в дневник, если бы не мудрый ответ Рекемчука: «Если мы сейчас примемся считать, кто и что сделал, то так и будем жить в говне». Я бы сказал словами классика марксизма: «призыв русских князей к единению».

<…> На семинар мне сегодня остался лишь один час. На три часа назначена встреча с делегацией болгарских писателей.

В президиуме сидели из знакомых мне: БНТ; Людмила Ивановна Каркалина, редактор «Литературной учёбы», у которой в за́мах Максим Лаврентьев; Сергей Главлюк, издатель и печальник за славянскую литературу. Главлюк сказал позже, что эта литература нынче потихонечку востребуется, и похвастался свиданием с венскими славистами. Самым любопытным для меня была выставка своеобразных работ художника Леонида Федорки—резные раскрашенные иллюстрации к каким-то книгам. В президиуме сидел также Панко Анчев, этот персонаж мне был уже известен. Студенты, преподаватели и приглашённые болгары сидели уже в зале.

Почти в самом конце часового собрания выступала Инна Ивановна Ростовцева; она обнажила очень точную мысль: «Когда мы говорим о культуре, мы не можем избавиться от общих слов». Поэтому я многое здесь из общего пропускаю. Отмечаю фразами только мне интересное или то, чего я не знал. О влиянии русской литературы на литературу болгарского Возрождения аж с середины 18 века. Оказывается, именно Иван Вазов, классик, придумал для русских слово «братушки». Об изменившемся существовании русских журналов в Болгарии. Их раньше было очень много, нынче всё не так. Мысль о том, что русские в какой-то момент забыли о существовании Болгарии.

Пропускаю представление писателей: делегация как делегация, где, видимо, есть свои особые обязательства, если привезли вместе с поэтами и прозаиками директора радио Варны. Россия без Болгарии может, а Болгария без России нет,—это сказал кто-то из болгар—кажется, Панчев.

Наш профессор Владимир Фирсов говорит о журнале «Факел», который он в своё время вёл. Я даже, кажется, в журнале печатался. Прочёл Фирсов к случаю стихотворение. Я давно заметил, что есть поэты, у которых всегда есть подходящее стихотворение на случай.

Не могу не отметить выступление Максима Лаврентьева, всё-таки мой выкормыш. Он говорил о том, что местный болгарский колорит в поэзии схож с колоритом в поэзии русской. Отсюда схожесть процессов. Максим вообще вырос и говорит хорошо и ладно.

Всё это время, пока шли разговоры, я что-то записывал на своём компьютере, и тут, пока я писал последние фразы и пропускал общие слова, Борис Николаевич выкликнул—он имеет такое коварное обыкновение—меня выступать. Как же хорошо выступать без какой-либо подготовки. Уже стоя на трибуне, я вспомнил, что мы в своё время делили с болгарами азбуку, потом вспомнил свои молодые годы, когда появился роман Павла Вежина «Барьер», и впечатление от этого романа, напечатанного «Иностранной литературой». В тот момент болгарская литература стала для нас вестницей современной литературы Европы. Потом я вспомнил о том—это уже мой эпизод из жизни на радио,—как представители Болгарии на совещаниях по радиодраматургии всегда начинали свои доклады с Платона или с Аристотеля. Мне тогда это казалось провинциальным, но потом я понял, что это одна из форм защиты своей самости, отстаивание своего места в европейском ряду.

Нельзя забыть и выступление Олеси Николаевой, которая внезапно заговорила о мусульманизации Европы, об опасности подобного в нашей стране, о необходимости бороться с этим процессом. Уже через пару лет в Голландии мусульман станет больше, чем природных голландцев.

Всё закончилось, как и положено, песнями. Вышел болгарский поэт Владимир Стоянов, с гитарой, потому что не только поэт, но и бард,

и на хорошем русском языке заговорил о недавно умершем русском поэте Олеге Чухно. Говорил о том, что человек живёт именно в том месте, о котором мечтал. Сначала на болгарском пел свою песню «Одиссей». Я давно заметил, что когда немолодой бард исполняет свою песню, он всегда старается петь её в молодом образе. Потом спел, отдавая, видимо, дань стране, ещё одну песню на стихи Солженицына. И песня, и стихи мне не показались.

О начале выступления Инны Ростовцевой я уже написал, а дальше она, как и все мы, начала говорить, по большей части, о себе.

Домой пришлось почти лететь. Сегодня по поводу нового диплома у Соколова, который у меня на курсе девять лет назад был под другой фамилией, собралось несколько моих выпускников: Алёна, Ярослав, Антон, и пришёл Максим Лаврентьев, который был здесь рядом, у К. Я. Ваншенкина. Я быстро сварил картошку и сделал пюре, а вот нажаренные котлеты у меня были. Ребята с собою тоже притащили кое-что съестное, а Антон ещё и прекрасное французское вино, которое я щегольски открыл штопором, подаренным мне Марком на семидесятилетие. Сидели часов до одиннадцати, болтали о литературе и о прошлом. Максим уморительно рассказывал о вечере Александра Потёмкина, который проходил в Большом зале ЦДЛ. До этого «Эхо Москвы», привлекая внимание к этому писателю-миллионеру, активно и за плату пропагандировало его книгу, написанную якобы «для души и сердца». В литературе деньги, оказывается, значат далеко не всё, как в другой жизни. Вечер вела Кокшенёва, и выступал Личутин. Хотя, по словам Максима, в каждом дифирамбе в адрес Потёмкина было больше завуалированной хулы, но всё же как патриоты падки на дополнительные заработки! <…>

25 октября, воскресенье

<…> Ещё до того, как вышел на улицу разгребать листья и носить землю из компостной ямы на грядку, прочёл небольшую брошюрку гениального композитора Рихарда Вагнера, изданную нашими патриотами. Брошюра посвящена еврейскому вопросу и музыке. Видимо, здесь было известное беспокойство по поводу популярности в его же время музыки Мейербера и Мендельсона-Бартольди, но кое-что в этой брошюре заслуживает хотя бы размышлений.

Вагнер, во-первых, констатирует «глубокое, внутреннее нерасположение ко всему еврейскому, которое всем нам знакомо…». Или: «…отрицательное, отталкивающее впечатление, которое производят на нас евреи,—гораздо естественнее и глубоко сильнее нашего сознательного стремления избавиться от этого негуманистического настроения». Или: «То обстоятельство, что новое искусство приняло еврейский оттенок, слишком бросается в глаза, чтобы это надо было утверждать». Дальше две фразы, по крайней мере, интересные. «Евреи говорят языком той нации, среди которой они живут, но говорят, как иностранцы». Это не всегда так, но русскоязычная проза, как правило, бесстилевая. «Одинокие со своей национальной религией, одинокие как племя, которое лишено почвы и которому судьба настолько отказала в развитии внутри себя, что даже его собственный язык сохранила лишь как мёртвый». Дальше Вагнер говорит о том, что сама исконная еврейская речь, здесь он некорректно употребляет понятие «перепутанной болтовни», делает «еврея неспособным к художественному словесному выражению своих мыслей и чувств, и эта неспособность особенно резко должна проявиться там, где нужно выразить высшую взволнованность…». Но речь здесь идёт всё же о пении, а не о литературе.

Во-вторых. «Образованный еврей произвёл невероятнейшие усилия, чтобы лишить себя заметных признаков своих низших единоверцев. Во многих случаях он даже признавал целесообразным действовать путём принятия христианского крещения, лишь бы только уничтожить все следы своего происхождения».

Теперь собственно о «музыке, которой, в отличие от иных искусств, легче всего научить». Вот это бы надо запомнить, я, как человек слабо музыкально одарённый, всегда полагал по-другому, но здесь говорит эксперт.

В брошюре есть несколько интересных соображений относительно самого процесса творчества—о спокойствии и о страсти. Соображения о Мейербере и Мендельсоне мне неинтересны, и того, и другого исполняют и играют.

26 октября, понедельник

На последней институтской конференции, когда из зала уже все расходились, встретились с Надеждой Кондаковой. Она дала мне последний номер «Литературной России». «Прочти, для меня это важно». Открыл только сегодня, газета затерялась где-то в рюкзаке, с которым я вместо портфеля хожу и езжу. Утром сразу же и прочёл. Не знаю, настолько ли выдающееся качество этих стихов, но смысл горяч и искренен. «Твой дед—посадил моего деда, мой отец—до смерти презирал твоего отца. И из этого нет выхода. Эта ненависть не имеет конца». Это стихи о теме всеобщего прощения, чтобы потом жить вместе и быть услышанными Богом. Тема, в общем, моя, идея, над которой я последнее время размышляю.

<…> Внимательно прочёл я и все материалы, касающиеся недавней встречи В. В. Путина с писателями. Здесь очень интересное мнение не о самой встрече, а об отношении к власти у Владимира Березина, давнего, но ещё в моё время литинститутского выпускника, и аналитическая статья об этой встрече Вяч. Огрызко. Не могу утерпеть, чтобы не впечатать небольшой пассаж.

«В перестройку, помнится, писатели, попав к Горбачёву или Рыжкову, в первую очередь говорили о спасении Байкала и Волги, о качестве преподавания в школах гуманитарных предметов и о борьбе с алкоголизацией народа. Литераторы убеждали советских правителей прекратить работу по перебросу части стока северных рек на юг.

Инженеры душ протестовали против устроительства мощных химических комбинатов рядом с крупными городами. А что теперь? Если верить информационным агентствам, из трёх часов, в течение которых продолжалась беседа Путина с писателями, более половины времени заняло обсуждение меркантильных вопросов. «Инженеры человеческих душ» просили премьера вмешаться в ситуацию с их дачами в Переделкино, решить вопрос с собственностью».

Вечером по телевидению рассказали о встрече руководителей думской оппозиции с президентом Медведевым. Всё, как обычно, прошло в утешительно-соглашательской манере. Тем не менее, В. В. Жириновский, который, как известно, никогда не врёт, сказал, что обратился к президенту с требованием о снятии с поста Ю. М. Лужкова. Жириновский аргументирует это своё требование тем, что Москва — коррумпированный город и во главе этой коррупции, по мнению Жириновского, стоит Лужков. <…>

29 октября, четверг

В почтовом ящике очередная вырезочка, положенная туда соседом Ашотом. Это статейка о недавно прошедшем в Липках очередном сборе молодых писателей. Я давно уже интересуюсь этим пафосным и кормящим многих стоящих рядом с литературой граждан мероприятием. Не очень также верю в его настоящую ценность, сопоставимую с затратами на него. Статья называется символически: «Почему нет Толстых и Платоновых?». Здесь же и выступления многих писателей — руководителей семинаров, но ответа на вопрос нет, есть только его констатация. Не говорится ничего и о том, что общество и не готово к появлению ни Платонова, ни Толстого. Собственно, что станет с рынком, когда появится их следующий взвод гениев? Не говорится, что для новой литературы уже практически нет и читателя. Занятно в связи с этим звучит такой пассаж руководителя и вдохновителя Липок: «Сергей Филатов посетовал на отсутствие результата, которого хотелось бы: из более 1000 человек, прошедших через 5-дневные «университеты» в Липках, тех, которые стали известными, можно сосчитать по пальцам». Неплохо и даже точно сказано. О бюджете не говорю. <…>

31 октября, суббота

<…> По тому же НТВ, которое народ плохо смотрит, показали в рамках одной из субботних коммерческих программ фильм о полковнике Буданове. Сколько здесь теперь будет разговоров в прессе!

Его на полтора года раньше выпустили из узилища, чем общественность была недовольна. Жизнь в семье полковника теперь такая: сын говорит, что он сын полковника Буданова, этим гордится. Сын теперь юрист. А вот дочь семья не показывает, боятся за неё. По версии родных Эльзы Кунгаевой, Буданов её ссильничал. Был ли в действительности этот эпизод? Также неизвестно, была ли Кунгаева снайпером. Этого Буданов не утверждает, но об этом говорят. Есть один важный факт. Во время какой-то танковой стоянки перед селом Кунгаевой из одного дома всё время стрелял снайпер. Именно кунгаевский дом, по мнению Буданова, был самый удобный для этой цели — на краю села. Когда подъехали к этому дому, то никого в нём, кроме чеченской девушки, не было. А где родители? Как это они оставили дома незамужнюю женщину, девушку? Это плохо вяжется с кавказскими обычаями. Показали в том числе и родителей покойной Эльзы — они живут в Швеции. Красивый уютный дом, они счастливы, что не в Чечне, а за границей. Правительство новой родины благодарят. А собственно, почему они уехали, стали политическими беженцами? А вот Буданов не уехал.

Но, кроме этой истории, телевидение рассказывало и другую — о самом Буданове, его жизни в колонии, где он отбывал наказание, о войне. Вот здесь предстаёт по-своему героический, по крайней мере, замечательный, ясный, отважный и преданный долгу человек. Здесь был нарисован герой, и, полагаю, именно таким его Россия и увидела. <…>

1 ноября 2009, воскресенье

<…> После долгой работы в саду снова залёг в постель, на подогреваемый плед, и стал читать переделанную монографию В. К. Харченко о своих дневниках. Веру Константиновну все мои остепенённые знакомые лингвисты поругивают за некий провинциализм стиля и наукообразность, но мне кажется, книги у неё неплохие, а главное, я понимаю, что ей хочется работать, объектов маловато — вот мы и сошлись. Самое любопытное — не её бушующие филологические умствования, а умение виртуозно отыскивать в море дневников цитаты. В книжке это, пожалуй, самое интересное. Но ведь и её размышления, и её цитирование мною не только фиксируется, но, думаю, и влияет на мою дальнейшую работу в этом жанре.

Об одном казусе — отдельно. Ещё в прошлый раз, когда я читал прежний вариант книги, я попросил Веру Константиновну аккуратнее обходиться с её «несогласием» моего видения еврейской темы, которой, в общем-то, в дневнике нет. Когда я раздаю оплеухи, то достаётся всем. Но когда пишу, что Марк Захаров сжёг в пепельнице не партбилет, а муляж, который ему сделали в бутафорском цехе театра, это, по мысли подобных наблюдателей, уже еврейская тема. Интеллигенция, запуганная прессой и её оценками, уже дрожит при любом ветре с Востока. Так вот, Вера Константиновна на этот раз решила обойти этот момент по-другому. Получилось глупо, трусливо и провинциально. Выделяя среди прочих тем и приёмов «Дневника» раздел «Феномен сплетни», она довольно много об этом пишет, вспоминая многих, в том числе и А. Блока. И вот, в самом конце этой главки, после многих довольно спокойных слов и примеров, исследовательница, выделяя абзацем, пишет: «С чем мы не согласны — это с критическими замечаниями Сергея Есина в адрес евреев».

Всё так и оставил, даже не позвоню, не скажу, как в этом пассаже она смешна и нелепа, как

это неточно — писать именно так; это моя плата за трусливость и неумение острую и сложную проблему взять и попытаться её решить. Теперь хлебайте, что сварили. Я оставляю за собой право говорить о том, что белое или чёрное не зависит от национальности, и оставляю за собой право называть себя русским. <…>

6 ноября, пятница

Со вчерашнего дня в средствах массовой информации новая сенсация. Вроде бы не только найдены, но уже из подозреваемых стали обвиняемыми некто Никита Тихонов и Евгения Хасис, как убийцы адвоката Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуриной. Это брат и сестра, причём у Следственного комитета есть подозрение, что Тихонов не вполне вменяемый. У «Эха Москвы» ещё вчера были сомнения, не обычная ли это подстава властей, заботящихся после казусов с выборами 11 сентября о поднятии своего рейтинга. Дескать, защищаем! Как ни странно, это совпало и с передачей о полковнике Буданове, противником досрочного освобождения которого был адвокат Маркелов. Правозащитник. Как и любое громкое политическое дело, оно замешано на проблемах национализма. Эта проблема всё время разрастается за счёт ущерба русских людей. Они постоянно виноваты в некорректном отношении к иностранцам, массовый приезд которых выгоден в первую очередь капиталу, потому что, в отличие от соотечественников, им можно платить не по европейским, а по азиатским меркам. Но почему бы власти несколько не приструнить националов? Они так распоясались на улицах, в местах общего пользования, они подчас ведут себя как у себя в лесу или в горах.

Утром, когда читал прошлую газету, подумал о том, что, конечно, мой «Дневник» стал проигрывать после того, как я перестал быть ректором. Как написала бы В. К. Харченко, он почти лишился общественной компоненты, да и компоненты «в круге московского бомонда», поэтому опять же, следуя её предсказаниям и синергетике жанра, буду изыскивать другие средства, как говорится, актуализации.

В «Российской газете», которую я последнее время не всегда подробно читаю, потому что пропадает к ней интерес, а вернее, отыскались корни её тенденций, да и обнажились и сами эти тенденции, два материала. Во-первых: «Финалист «Большой книги» Вадим Ярмолинец считает, что „одесской литературной школы не существует“». О романе Ярмолинца я уже читал, кажется, в «Литгазете».

«Одесской (южнорусской, юго-западной) школы нет. Её придумал в 1933 году Виктор Шкловский в своей статье «Юго-Запад», опубликованной в «Литературке». А через три месяца, после страшного разгрома, учинённого ему борцами с формализмом, он от этой школы публично отказался. Одесские литераторы всегда ориентировались на большую русскую литературу. Если бы не четыре «Одесских рассказа» Бабеля, где он создал тип весёлого налётчика, так привлекающего читателя своим карикатурным говором, разговора об одесской школе никогда бы не было».

Далее идут отчасти справедливые слова, суть которых в одном: столичная литература, постоянно оплодотворяя саму себя, постепенно протухает.

«В провинциальном, в том числе и в зарубежно-провинциальном, существовании есть одно преимущество, о котором напоминает судьба названных выше одесситов (кроме Бабеля, здесь был ещё и Катаев. — *С. Е.*). Следствием их переезда в столицу метрополии стала творческая и нравственная деградация. Трудно сказать, кто опустился ниже — допившийся до полной творческой импотенции Олеша или же Бабель, призвавший на Первом съезде советских писателей учиться стилю у Сталина, который затем лично дал добро на его расстрел».

Вот здесь, в этом эпизоде, и есть суть южных и добрых писателей-одесситов. В связи с этим вот что любопытно. Булгакову — он со Сталиным довольно дерзко переписывался, Шолохову, который тоже кое-что вождю написал, Платонову — его вождь назвал сволочью, Пастернаку, предложившему вождю говорить «о жизни и смерти», — всё почему-то сошло с рук. А вот певцам его собственного стиля и величия, оказывается, доставалось.

Некий следующий абзац — это попытка из русской отечественной литературы вычленить ещё одну одесскую школу. Но здесь же занятное свидетельство о Довлатове, почти самозваном классике.

«У российского читателя, на мой взгляд, искажённое представление о нас — русских американцах. Этому мы обязаны прозе Сергея Довлатова. Содержание жизни его героев — ностальгия, а по своему социальному статусу они — люди второго сорта. Я не говорю, что таких нет, но есть и другие».

Второй для меня знаменательный материал — это большая статья Павла Басинского «Граф уходящий. Виктор Пелевин выпустил роман „Т“». Это о том, как некий граф ушёл из Ясной Поляны… У Басинского двойственное положение: с одной стороны — знаковый писатель, полёт фантазии; с другой — конечно, коммерческая литература. А что касается полётов, то, видимо, Паша плохо знает, что такое фантазия и что такое её истинные полёты. <…>

8 ноября, воскресенье

<…> Если жизнь стала бедна событиями, то что-то надо восполнять чтением. Во-первых, меня удивил старый знакомый Вали Валера Кичин, позволивший себе в «Российской газете» вдребезги разнести новый фильм Павла Лунгина «Царь». Ещё когда Лунгин поставил свой «Остров» с Петром Мамоновым, даже не смотря фильм, а просто

немножко зная творчество Лунгина и его генезис, я уже тогда почувствовал конъюнктуру. Здесь Лунгин взялся за Ивана Грозного, т. е. опять и за тоталитаризм, и за Эйзенштейна. Вот мы этому классику нос утрём! Пётр Мамонов играет царя Ивана IV. Филиппа играет Олег Янковский. Не могу утерпеть, аплодируя Валерию:

«Мамонов Лунгину нужен лишь в качестве натурщика: во всех фильмах он предстаёт лишь какой есть, лишь меняя рубища, но не расставаясь с единственным, чем-то дорогим ему зубом».

И дальше ещё одна цитата, которая и про фильм, и о его оценке:

«Отсутствие внутренней динамики режиссёр компенсирует зрелищностью. Нам предъявляют полный набор кровавых аттракционов. Они должны, с одной стороны, соответствовать новейшим тенденциям гиньольного кино образца 2009 года, с другой — поддержать вечный образ России как страны варварски жестокой. Это именно аттракционы, компонент чисто коммерческий: они выглядят вставными концертными номерами, которые простейшим образом иллюстрируют расчеловеченную природу царской власти, в противовес духовной — церковной. Аттракционы новенькие, с иголочки: стоп-кадры московской толпы с развевающимися по ветру льняными волосами могли бы стать волнующей рекламой шампуня, костюмы словно взяты из гардеробных Большого театра…»

Не тут-то было и с Эйзенштейном:

«Знаменитый Том Стерн, обычно снимающий для Клинта Иствуда, предлагает свой… подход к материалу. Он трепетно воспроизводит прославленные композиции из фильма Эйзенштейна, окончательно лишая нас возможности абстрагироваться от шедевра 30–40-х годов и воспринимать ленту Лунгина по предложенным ею пусть куцым, но правилам… Между тем умение слепить из компонентов целое, из инструментов создать оркестр — и есть показатель режиссёрского мастерства».

Что меня в этой кинокритике восхитило: ведь это своих бьют. Не по демократическим правилам!

Второе, что меня тоже привело в хорошее состояние, — это чтение повести Сергея Юрского «Вырвавшийся из круга». Когда я только начал чтение, то подумал, что здесь опять, как и у Бенигсена, придуманный повод для развёртывания сюжета, и приготовился к раздражению и брюзжанию. Всё действительно странновато, в посёлке миллионеров начинают странную процедуру — соскабливание особого зубного камня, в котором как бы заключены наши грехи, мешающие жить библейскими сроками. Повествование ведётся от имени героя, некоего богатого человека Анатолия Евтихиевича. Но сделано это с огромным мастерством, здесь прекрасный сочный язык героя и времени, и в первую очередь язык-то и создаёт самое трудное в литературе — характер. Вот тебе и всенародно любимый актёр!

9 ноября, понедельник

<…> Боюсь, что русской литературе остались всё те же три невеликие роли: оптимизация, имитация, банализация западных образцов. Примеры есть на каждый из этих пунктов.

Имитацией давно и успешно занимается Г. Чхартишвили, учредив свой коммерческий литературный проект «Б. Акунин», на редкость качественный, с точки зрения профессиональных критериев. У критиков был соблазн признать его явлением литературного процесса, но — разобрались и устояли. Сам писатель, человек культурный, на это не просто не претендовал, а сам объявил, что это не литература и путать не надо: «Я придумал многокомпонентный, замысловатый чертёж. Поэтому — проект. <…> Чем, собственно, литература отличается от литературного проекта? По-моему, тем, что корни литературы — в сердце, а корни литературного проекта — в голове». <…>

12 ноября, четверг

<…> Сегодня по радио объявили, что начинается суд по иску Лужкова к Немцову, который обвинил его в коррупции и прочем. Ранее подобный иск подала и жена Лужкова Елена Батурина. Репутации её фирмы нанесён урон. Россия — страна справедливых судов, порядка и безукоризненной власти.

В России кризис оказался сильнее и глубже, чем где-либо в мире. Дальше всё разговоры: нельзя быть сырьевой базой и прочее, призывы к реформированию. Это из послания президента Федеральному Собранию, о котором успело неполно сказать радио до того, как я уехал в институт.

В институте шла какая-то самодеятельность, но самодеятельная пьеса в стихах одной нашей студентки-заочницы показалась мне ужасной. Средневековье, короли, покойники, плащи. В литературе самодеятельности быть не может. <…>

13 ноября, пятница

<…> С упоением читал несколько номеров «Независимой газеты» и, конечно, «Ex libris». Много интересного и по событиям, и по комментариям. Например, о прошедших в Москве выборах, на них же пришло что-то около трети населения. Занятная статейка была о посещении Хиллари Клинтон Казани. Расторопные казанские власти на всякий случай на три часа упрятали в своё узилище временного содержания корреспондента «НГ», а студентов, которых отобрали для беседы с госпожой Клинтон, два дня и проверяли на знание английского языка, и смотрели насчёт мировоззрения. В газете большой список книг, напечатанных в собственном издательстве, которые продаются по сниженным ценам. В основном это зарубежные авторы. Но есть и свои. Первым в списке, по алфавиту, идёт Андрей Волос со своим «Хуррамабадом», за который он получил Государственную премию. Стоимость его 20 рублей. Стоимость Битова на

тридцать рублей дороже — 50. Я берегу дома книги, потому что это память о моём чтении. <…>

19 ноября, четверг

Кое-что из статьи Льва Пирогова. <…>

«Честная служба государству имеет своё собственное достоинство, и многие бывшие интеллигенты нашли это достоинство на советской службе… Пока существовало полновесное «советское» — в 30–50-е годы — ему служили по убеждению. Не из страха или корысти. Демонтаж принципов советской системы оставил совслужей буквально ни с чем… Осталась государственная кормушка с советской эмблемой, а за ней почти ничего. Обломки. Кормушку совписы оставлять не хотели ни за что. А служба пустой вывеске с серпом и молотом их попросту свела с ума. Они уже больше не знали, кто они, что и зачем. Мысли и поступки возникали самые причудливые. Искали корни, идейных покровителей, духовных вождей. Попадали всё больше на службу к иностранным разведкам, находили (политическое) убежище в «Берёзках» и комиссионках».

Развивая эту мысль дальше, Пирогов совершенно грандиозно пишет о самих шестидесятниках, к которым я себя ни в коем случае не причисляю. Я никогда не шёл ни с кем рядом, у меня всегда была небольшая тесная компания, в основном связанная с моей работой и службой. Я дружил только с Лёвой Скворцовым, Борей Тихоненко, Юрой Апенченко, Витей Симакиным — и всё, пожалуй.

«Не мудрствуя, назовём этих людей «шестидесятниками». Речь не о поколении, не об убеждении даже — о субкультуре. Ведь «шестидесятничество» пополнялось свежей кровью и в семидесятых — когда, взявшись за руки, стало модно петь уже Цветаеву с Пастернаком, и в восьмидесятых — когда «возвращали литературу», и в девяностых — когда, задрав штаны (и взявшись за руки, разумеется), бежали за постмодернизмом, и даже сегодня — мужественными усилиями организаторов ежегодного молодёжного семинара в Липках. Всё это (за вычетом Липок — субкультуры тоже стареют и устают) были заметнейшие события своего времени, и каждому из них тогдашние «шестидесятники» были сопричастны. Чего ж плохого?

На первый взгляд ничего.

Хотя — где оттепельный гуманизм пятидесятых и где постмодернизм, казалось бы.

А не важно. Главное — что «перспективные тренды», и мы тут как тут.

Характерно, что при этом по всякого рода «внелитературным вопросам» — будь то осуждение смертной казни или отношение к сталинизму или Ходорковкому, выработка мнений по поводу фильмов «Царь» или «Остров» — «шестидесятники» выступают единым фронтом, независимо от того, какого они «призыва».

Всё просто: новаторы-модернисты последовательно выступают против традиций, в чём бы этот модернизм и эта традиция ни выражались».

Вот почему всегда надо пробовать и пытаться говорить, если есть что-то в сердце, потому что мысль одного подхватывается другим. На некоторое время оставим шестидесятников, чтобы к ним вернуться, — два критика теоретически их, как могильщики на кладбище, когда гроб уже опустили в землю, в две лопаты очень быстро закопали. Ефим очень точно ставит вопрос о значении в культуре песен Окуджавы:

«„Песни Окуджавы, таким образом, играли культовую роль в узкоспециальном, отнюдь не в общекультурном значении этого слова, что само по себе снимает вопрос об их художественной ценности“.

В том-то и дело, что не «снимает». В том-то и дело, что не в «узкоспециальном» — в «общекультурном». Ведь и «откровенные казались», и бардовское движение с них началось, и никуда не делся из нашей жизни тот дух обаятельной пошлости, эталоном которого эти песни являются. Именно пошлости».

А вот Пирогов — правда, уже по проложенной из-за океана колее, — идёт дальше.

Я хорошо помню, как в середине шестидесятых годов я каким-то неясным мне образом, а может быть, чуть раньше или чуть позже, встретился в Костроме с Верой Минаевой, с которой я на заре юности работал в «Московском комсомольце». Я тогда, в качестве искусствоведа, возил передвижную выставку живописи «Советская Россия». Или я тогда работал репортёром на Всесоюзном радио? Среди прочего обмена столичными новостями были в том числе и песни Булата Окуджавы, о которых Вера тогда взахлёб говорила. «Полночный троллейбус, мне дверь отвори!» Я тогда уже чего-то недопонимал в этом восторженном визге, но, скорее, относил это к своей интеллектуальной недоразвитости.

Но вернёмся к статье Пирогова, к его оценке «моего поколения», жёсткую ревизию которого начал всё же Лямпорт. Я пропускаю и замечательный анализ Пироговым «Молитвы» Окуджавы, его, Пирогова, трактовка шестидесятников как людей, специфически жадных до жизни, новый для меня термин «эвдемонизм» — стремление к благу; выходим именно на мою прямую.

«Двадцать лет не стихает согласный вой: литераторы в России страдали! Великие тексты были под запретом, настоящих писателей унижали и уничтожали. Подавайте нам теперь компенсацию — и за себя, и за того парня. Мы ведь наследники Платонова, Булгакова, Олеши, Зощенко… всех, кто страдал и кому теперь, выходит, положено.

Напоминает практику бессрочных контрибуций по итогам войны.

А ведь даже не «воевали». «Страдали» только, и то не очень. Многие сидели на должностях и печатались, а изгнанникам так даже завидовали.

И вот теперь—«дай».

Это не просто жадность.

Это онтологическая несовместимость с русской культурой».

22 ноября, воскресенье

<…> Перед сном видел по телевизионному приёмнику выступление Путина, опять полное уверенного оптимизма,—он говорил как лидер «Единой России». Кажется, в ближайшее время она ему понадобится. С декабря ни один пенсионер не будет у нас получать ниже прожиточного уровня, это около восьми тысяч. Но разве люди этого не заработали, разве при советской власти кто-нибудь жил ниже прожиточного уровня? Говорил и президент, похожий на школьника-отличника, говорил так верно, что, кажется, даже лучше учителя. С их речами я абсолютно согласен, но это лишь речи, изменения практики, особенно в общественной жизни, я не замечаю.

25 ноября, среда

<…> Москва тем и отвратительна для жизни, что здесь никогда не рассчитаешь времени. Предполагал, судя по пробкам последнего времени, что ехать буду часа полтора, а долетел мигом, успел даже, до того как стать в очередь к администратору, забежать в продовольственный магазин и купить два беляша, от которых у меня была страшнейшая изжога, и бутылку кефира. Съел в машине. С. П. с дамами приехали уже чуть ли не к самому началу спектакля—дикие пробки настигли их от Рижского вокзала.

Райкин, как и всегда, играет замечательно, с невероятной отдачей. Спектакль поставил Юрий Бутусов, и это, конечно, здорово. Поразительное воображение, в первую очередь постановщика; оформление, решение финальной сцены спектакля—всё это вызывает восхищение и действует на зрителя. Настоящий театр всё больше и больше становится неким сновидением. Здесь, правда, возникает вопрос, насколько велика часть зрителей, до которых доплывают все аллюзии художника. Три пианино на сцене—три сестры, в одних трусах король Лир—Иов, ко́злы и грубые доски помоста—выстроенное своими руками лобное место. Я уже не говорю о некоторых открытиях японцев, которые здесь, в театре, определённо не присваиваются, а только цитируются. Очень много молодого зрителя в этом недешёвом театре. Я всё больше и больше убеждаюсь, что всё же существует два зрителя, два потока. Один—которого ещё не съело телевидение и который на уровне знания или на уровне инстинкта сопротивляется. И другой, особенно в местах, лишённых прямого обращения к фактам культуры, и особенно в провинции,—который для развития окончательно потерян. Оля, сестра С. П.,—это ещё последнее поколение технической интеллигенции, для которого культура—ещё и собственная внутренняя жизнь,—жалуется, что к ним в Калининград приезжают такие ничтожные антрепризы, с такими ничтожными пьесами! Вот так мы лишаемся последнего вдумчивого зрителя. В зрительном зале почему-то вспомнил Михоэлса. Дотягивает ли до него—сужу по легендам—Райкин? Но какое серьёзное отношение к профессии. Артист—это как в кандалах, из этой профессии, как, скажем, из профессии писателя, не вылезешь в другую. Но и у Михоэлса, и у Райкина в отношении к Лиру есть что-то личное. Абстрактное королевство, почти конгломерат? Или вопрос о продолжении рода и разделе собственности? <…>

27 ноября, пятница

<…> Вчера объявили результаты «Большой книги». Они воодушевляют: это Александр Терехов—вторая премия, которого, конечно, пробил Юра Поляков, в этом году заседающий в органах этой премии, а также Леонид Юзефович и Леонид Зорин. Сегодня же в газете довольно большой материал Павла Басинского, посвящённый событию. Как опытный литератор, понимающий некоторую вопиющую особенность этого награждения, Павел всё внимание сосредоточил на ещё одном награждённом—премия за честь и достоинство вручена Борису Васильеву. Собственно, вся статья ему и посвящена, панегирик лауреатам-конкурсантам был ограничен большой фотографией.

28 ноября, суббота

<…> Когда включил радио около часа дня, то узнал, что на дороге Москва—Ленинград произошло крушение поезда. Уверяют, что это теракт, взрывом оторвало три вагона. Я слышал выступления очевидцев: никто взрыва не слышал. Одна из организаций, протестующая против дикой миграции, вроде бы взяла на себя ответственность. Я думаю, что это тоже власти невыгодно. Говорят и о кавказском следе, и об имитации кавказского следа. Рвут пуповину между Москвой и правящим Питером.

<…> Весь день просидел дома, добил лакуны в дневнике, слушал радио о крушении «Невского экспресса». Что же делается в стране, если чуть ли не каждый день происходят теракты? Вот теперь и в Ленинград ехать боязно.

<…>

1 декабря, вторник

<…> На фоне размышлений, что все обо мне забыли, прочёл интервью Димы Каралиса в «Литературке»: «А существует ли особая московская или питерская литература? И в Питере, и в Москве издаётся огромное количество книг, от которых веет литературным мещанством, историческим провинциализмом, «кружевами»… При этом в провинции рождаются весьма достойные произведения.

Вспомним—в конце семидесятых часто упоминалась «московская школа»: А. Ким, С. Есин, Р. Киреев, А. Курчаткин, В. Маканин… И что? Каждый пошёл своим отдельным, неповторимым путём…»

<…>

3 декабря, четверг

Сегодня в 12 часов со своим ежегодным разговором с народом будет В. В. Путин, мой когда-то кумир. По радио в связи с этим много разговоров о том, что это хорошо отрепетированное мероприятие, где не будет задано ни одного «неудобного вопроса» и не появится ни один не учтённый ранее человек. Также много говорят о некоем скандале, который произошёл в Конституционном суде, когда судьям показали их место! «Тоже нам третья власть!» В крушении экспресса убитыми оказались 26 человек и около сотни пострадавшими. Так и живём от одного несчастья к другому.

В двенадцать этот разговор начался. Ощущение хорошо режиссированного, но интересного действия. Но, может быть, по-другому и невозможно. Какие-то тысячи звонков в минуту на специальный пункт. Россия страна монархическая — нам всегда нужен Бог и господин. По местам боевой путинской славы, т. е. где он недавно побывал, где побывали государственные деньги, расставлены специальные говорящие пикеты, где люди задают вопросы, на которые В. В. Путин хорошо, ладно и со знанием дела и цифр отвечает. Это Пикалёво, Волжский завод, Саяно-Шушенская ГЭС. Кое-что оказывается интересным. Оказывается, армия у нас уже меньше, чем войска МВД, — 1 млн 400 тыс.

Во время этого выступления пришёл Женя Луганский, отец моей студентки Сони. Говорили о театре: дохода сейчас в театре две статьи — сдача в аренду и билеты; правда, посещаемость у них хорошая — 80%. Зарплату и коммунальные услуги оплачивает регион. Женя под юбилей выхватил для театра звание «академический». Кажется, тогда он работал министром культуры Ставрополья. Каждый месяц, чтобы сохранить кассу, им приходится выпускать премьеру.

<…> А потом началась главная программа — начали смотреть «Blow-up» Микеланджело Антониони. Фильм 1966 года, который в своё время наделал много шума.

Буквально впитывая в себя каждое мгновенье экранного времени, я думал о том, что в нынешний век кино как искусство, видимо, закончилось. Век наживы пожрал и это. Даже пересматривать не стану — всё помню до кадра. <…>

7 декабря, понедельник

Два дня не писал дневник, потому что с утра до вечера сидел на кинофестивале. Писал ли я о том, как он называется? Довольно выспренно, но выразительно: «Окно в Россию — XXI век». Отчасти повезло с жюри: две опытных дамы, обеих зовут Марина, обе режиссёры-документалисты, но у одной отчество Валентиновна — это Дохматская, она из Вятки, заслуженный деятель искусств, у другой отчество Александровна, она из Иванова или из Саратова, могу ошибиться. Обе много снимавшие, знают кухню. Кстати, рассказали мне грустную историю, как нынче добываются на фильмы гранты. На каждый фильм практически надо открывать компанию, писать кучу бумаг и объяснений. У саратовской Марины и у её мужа, который снимает одну картину в год, есть своя компания, и у неё самой тоже с одной картиной есть, но уже другая компания. В жюри ещё артистка Наташа Варлей, которая, по сложившейся на этом фестивале традиции, смотрит всё дома, а потом присылает записочки. Есть ещё и парень из Осетии, Артём Салбеев. Он тоже смотрит на дисках дома. Пришёл только в воскресенье, когда мы подводили последние итоги.

Салбеев, ученик С. Герасимова, не без амбиций, любит стоять при свете рампы, с ним пришлось повозиться, но потом всё утряслось… Но сначала о самом главном.

Два дня страна стоит на ушах и находится в тревоге после пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми. У меня мелькнула даже мысль: не позвонить ли Вите, а вдруг он поехал из своей деревни с Леной погулять в Пермь, — но потом решил, что делать этого не стоит, не для деревенских эти забавы.

Пострадавших более ста, погибших к понедельнику оказалось 115 человек. По телевизору показали, как талантливо Медведев выговаривал перед кинокамерами всем службам. Этому он, видимо, научился у Путина. Владимир Владимирович подобные телевизионные выговоры делает ещё лучше, чем его ученик и последователь. С моей точки зрения, достаточно было ещё при первом любом пожаре — а их по России прошла чуть ли не дюжина — снять с должности губернатора, и по всей стране не было бы ни одного пожарного ослушания. Между прочим, все пожарные службы сейчас принадлежат Шойгу. Он очень любопытно по телевизору сказал, что на устранение всех беспорядков клубу этому в своё время отпустили год. Год, между прочим, закончился 3-го числа. А после 3-го числа никто не позаботился проверить: соответствует ли клуб противопожарным требованиям. Несчастье выявило и ещё кое-какие занятные обстоятельства. Медикаменты в огромный город Пермь пришлось везти из Челябинска, а больных развозить в Москву и Санкт-Петербург. Значит, у нас на Урале, где огромное количество горячих цехов, нет собственных больших противоожоговых центров? Нет больниц, лечащих ожоги? Немного выше я говорил о губернаторе. С полным основанием могу утверждать, что в аналогичных случаях царь не дрогнул бы снять с губернаторской должности не только отпрыска крупной дворянской фамилии, но и собственного брата или дядю. Видимо, у капиталистов своя степень близкого родства.

Теперь о фестивале. Как хотелось бы, чтобы с десяток лент этого фестиваля просмотрело наше правительство. Тогда они наконец бы узнали, как живёт тот народ, который находится между Москвой и Петербургом, между Москвой и Свердловском, между Свердловском и Новосибирском, между Новосибирском и Хабаровском, между Хабаровском и Владивостоком. Несколько плёнок говорят об этом с невероятной уверенностью и скрытым гневом.

Мы долго колебались, кому отдать Гран-при — фильму «Глубинка 35 × 45», фильму «Не игрушки» или фильму «Занавес». В первом случае фотограф

едет по деревням, потому что идёт кампания по обмену паспортов. Боже мой, какие типы, какие люди, какое терпение! Второй фильм—«Занавес» (В. Головнёв)—об актёрах крошечного детского театра в городе Ирбите. Ирбит—это как точка культуры и жизни, как астероид, летающий вокруг планеты, и тем не менее—не только нищета, но и попытка к высокому искусству.

Наконец, третий фильм—«Не игрушки» (А. Титов). Здесь 70-летняя женщина, уборщица и одновременно создательница школьного музея игрушек. Сама шьёт их, сама с ними разговаривает, общается с детьми, и тут же огород, муж—в общем, сама жизнь.

И всё же, и всё же—для Гран-при выбрали фильм П. Костомарова «Вдвоём». Здесь и опять творчество, и идея долгого супружеского понимания, и необыкновенная форма выражения, предложенная режиссёром—он же и оператор, и сценарист.

Всего было 27 фильмов. Мне кажется, что документальное кино, в отличие от нашего кино художественного, всё же не сдалось. За правдой факта здесь прослеживается и некая взволнованность красоты и духа. К сожалению, обо всём не расскажешь, но во имя самого искусства, которое не может и не умеет жить в пустоте и молчании, я пытаюсь это сделать. Тем более что и сами показы проводились в сравнительно небольшом зале внизу, в самом Союзе кинематографистов. Зрителей было—кот наплакал. <…>

9 декабря, среда

<…>

Вышла «Литературная газета». Во-первых, Юра Поляков, Лёня Колпаков и Гамаюнов получили Госпремию правительства России. Во-вторых, вышла статью Юрия Бундина о моей фотовыставке на втором этаже института. Там портреты, которые я наснимал, пока работал репортёром «Кругозора». Делал выставку в назидание студентам: творчество возникает из знания и сочувствия к жизни. В газете также прекрасный рассказ Володи Мирнева «Чёрная собачка». Героической жизнью теперь живут только собаки, бизнесмены живут жизнью коммерческой.

<…>

10 декабря, четверг

<…> Далеко не закончилась пермская трагедия. Список погибших драматически с каждым днём расширяется, их уже 127. В больницах всё время люди умирают. Выяснились ещё две подробности: не менее чем пять лет назад были заложены кирпичом огромные окна на первом этаже, которые считались резервным выходом. По документам они все последние пять лет числились как существующие. Вроде бы арестовали соучредителя клуба, некоего Анатолия Зака—«бродильное вещество». У Зака в собственности оказалось 18 объектов, он специализируется в подобной индустрии развлечений. Фамилия городского начальника в Перми—Кац, и не говорите мне об антисемитизме!

<…>

15 декабря, вторник

<…>

В шесть часов встретился с Юрием Ивановичем Бундиным—он, пользуясь давними связями с министерством культуры, повёл меня на юбилей—200 лет со дня основания—Щепкинского училища Малого театра. Здесь поступили мудро и в первую очередь устроили праздник не для «нужных». Представителей театральной тусовки почти не было—бывшие студенты разных выпусков. Наверху, на ярусах, сидела сегодняшняя молодёжь—будущие кумиры российской сцены и кино. Действие было замечательным. В первую очередь—это большое шоу, которое показали сегодняшние воспитанники. Началось с полонеза из «Евгения Онегина» Чайковского, который был протанцован с грацией балетных профессионалов. Студенты из разных восточных стран пели и плясали разные фольклорные песни и танцы. Оказалось, что кавказские танцы русские мальчики могут исполнять не хуже лихих горцев. Были номера просто виртуозные. Но передать этого всего невозможно.

<…>

16 декабря, среда

Утром сквозь сон услышал, что умер Егор Гайдар. По предварительному диагнозу—оторвался тромб, умер, видимо, в собственном особняке, за городом, в одной из деревень «золотого» Одинцовского района. Жалко, конечно, что так рано, у меня к покойному чувство благодарности—всё-таки отстоял институт от разграбления многочисленными союзами писателей. Почти всё разграблено, заложено, продано, а институт стоит. Парадокс для меня в этой смерти заключается в том, что только вчера мы с Юрием Ивановичем о нём говорили в театре.

Сначала поговорили об отставке двадцати генералов, работавших в тюремном ведомстве. У нас ведь традиционно считается, что сам начальник, если что-то случается, ни в чём не виноват. А тут в тюрьме умер—по их начальствующей мерке—лишь один заключённый в московском СИЗО, а устроили такой шмон! Недостроенные дачи, недоученные за рубежом дети, не до конца выплаченные кредиты, а тут надо уходить с насиженных, парны́х мест. Газеты уверяют, что отставки не связаны с гибелью в тюрьме юриста Магницкого.

Подобные показательные меры не были присущи Путину.

Потом в нашем разговоре с Ю. И. мы подошли к выступлению майора из Новороссийска. Оба согласились, что это некий «оппозиционный» проект. Тут Ю. И. сказал, что, по его мнению, и приземление на лёгком самолётике Руста на Красной площади чуть ли не двадцать лет назад тоже было неким планируемым проектом. Это позволило Горбачёву снять всю патриотически настроенную и противящуюся методам перестройки верхушку военных. Я просто ахнул от простоты подобного предположения. Потом в разговоре возник Ельцин, потом Гайдар.

<…>

Сегодня же умер телевизионный ведущий Турчинский. Умер совсем молодым. Он был ещё борцом, чемпионом и невероятным силачом. Недавно я увидел его на какой-то огромной рекламе, где он рекламировал банковскую надёжность. Во время телевизионного объявления о его смерти выяснилось, что телевизионному ведущему принадлежал ещё и фитнес-клуб. А вот умер.

<…>

18 декабря, день варенья, пятница

Сплю последнее время не то что плохо, а беспокойно. Как всегда, во сне то ли говорил, то ли видел Валю. Когда в восьмом часу зазвенел телефон и, ещё не проснувшись, я схватил трубку, то так сразу и ответил: «Валя?» Я любил вот так отгадывать звонящего. Но это был Саня Ядринский, который помнил о дате моего рождения.

Довольно удачно через морозную Москву доехал до Савёловского вокзала, возле которого живёт Юра Апенченко. А главное, машина завелась. Ехал за пловом, который он уже на протяжении нескольких лет варит на мой день рождения. Надо сказать, что плов его пользуется большим успехом, и известны случаи, когда ещё на подходе кто-нибудь из гостей спрашивает: «Плов ещё не съели?»

В отношении дня моего рождения выработался определённый стандарт: лет уже пятнадцать я его встречаю в институте. Раньше в зале и звал весь институт, а теперь на кафедре, но всё равно приходят почти все, кто в этот день бывает в институте. На этот раз была пятница, но всё равно, как насчитала Надежда Васильевна, приходило 78 человек.

<…>

19 декабря, суббота

Днём по радио передали, что около 10 тысяч человек пришли в ритуальный зал Клинической больницы, чтобы попрощаться с Егором Гайдаром. Вчера за столом зашла речь и об этих похоронах. Их проведение и церемонию прощания не очень афишировали. Предполагалось, что могло оказаться и большое количество людей, для которых реформы Гайдара не были столь однозначны, как для покойного и Чубайса. По радио же объявили, что по воле покойного его тело будет кремировано. Здесь уже разнузданное воображение писателя: значит, нечего будет выкапывать из земли и вешать за ноги.

Сегодня же ездил в институт — забирать машину. В метро читал «РГ». На первой полосе по-прежнему разбирают некоторые очевидные уроки «Хромой лошади». Выводы, несмотря на окружающую факты риторику, очевидны. «В нашей стране всего 79 ожоговых отделений, а в маленькой Франции — 19». Но иногда вопрос ставится и так: не «больше» и «меньше», а просто «ничего». «У нас в Архангельской области, которая по размеру территории равна Франции, нет ни одного ожогового отделения». О некой технологии, за которую создатели получили лет десять назад Государственную премию и которая могла бы спасти многих при ожогах, — своеобразное «растягивание» собственной живой кожи пациента — говорится следующее: «Фибробласты стали сразу использоваться в косметологии. А когда пошли гонения на косметологов, то их «задвига́ли». А ведь у нашего института была лицензия на производство фибробластов, и более 1000 больных были вылечены благодаря применению этого метода. Как это часто бывает: с водой выбросили младенца… Короче, чтобы всё это возродить, похоже, надо начинать всё сначала».

В другой статье — новые сведения о «Хромой лошади»: «Бренд «Хромой лошади» ни в одном из налоговых органов Пермского края не был зарегистрирован». Ах, ах, как же так могло быть! Выводы отсюда очевидны, как и мысль: если бы все подобные учреждения, а их, я думаю, по стране сотни тысяч, платили налоги, то, смотришь, и на ожоговые центры деньги бы нашлись.

<…>

21 декабря, понедельник

<…> Когда утром «Эхо» настойчиво забарабанило про сталинские репрессии и стало жаловаться на своих слушателей, что не все они согласны с тем, что по этому случаю думает радиостанция, только тут я сообразил, что сегодня день рождения И. В. Сталина. О чём же ещё говорить? Правда, что касается даты, в свежей книжке о Сталине Св. Рыбас будто бы установил другую дату, а именно — 18 декабря, как и у меня. Итак, журналисты в эфире возмущались, почему радиослушатели безоговорочно не считают Сталина тираном. Разговоры о том, что это связано с юношеским восприятием жизни вообще — «когда мы были молодые», — не вполне состоятельны. Я полагаю, что одной из причин такого отношения к Сталину большого количество населения является ещё и то, что вся хула на вождя исходит именно от той группы людей, которая в результате перестройки захватила основные богатства страны.

В двенадцать часов уже был в «Доме Ростовых» на Поварской. Там в конференц-зале открывался Второй конгресс писателей русского зарубежья. По сравнению с первым, это было невесёлое зрелище. Первый конгресс открывался в Большом зале ЦДЛ. Присутствовало московское начальство; кажется, даже выступал Михалков; доклады и пышные речи. Видимо, на этот раз денег дали меньше. В согласии с финансированием — и народу: включая президиум, около сорока человек. <…>

23 декабря, среда

<…>

Умер Г. Я. Бакланов, 86 лет. Я всё же многим ему обязан, жалко до слёз.

24 декабря, четверг

Весь день воспоминания о покойном Г. Я. Бакланове всплывали в сознании. С ним у меня связаны многие страницы жизни, которые я бы назвал благостными, но и тот разговор, который состоялся в день победы «демократии», когда он, опьянённый победой и пьяный, позвонил мне ночью домой и сказал: «Мы сделаем всё, чтобы ты умер в говне».

Об этом у меня есть запись где-то в дневнике. Но вот теперь он умер… Мне его бесконечно жалко. Вспомнил я и то письмо, которое он прислал мне, как внезапно возникшей звезде, когда я напечатал «Имитатора». Письмо это сейчас где-то в моём фонде библиотеки Ленина; жаль, что я не снял с него копию. Бакланов, бесспорно, был очень умным человеком.<…>

25 декабря, пятница

<…>

По радио говорили об интервью, которое в прямом эфире президент дал руководителям трёх основных телевизионных каналов. Вечером это комментировал какой-то до боли знакомый голос. Голос говорил, что негоже, чтобы подчинённые — а руководителей каналов назначает президент — брали интервью у своего начальника. Вопросов неудобных в этом случае нет. Говорил также, что это как бы симметрично недавней беседе Путина с журналистами, хотя и там вопросы были тщательно сбалансированы. Наконец, я узнаю: да это же Олег Попцов, так удачно на моих глазах сделавший выбор на встрече в Копенгагене. Вчерашний коммунист, бывший заведующий сектором ЦК комсомола на моих глазах мгновенно превратился в демократа.

Вечером же — опять старые песни о Сталине. Радио по-прежнему недоумевает, почему народ так любит этого «кровопийцу». Среди ответов и такой: слишком много в стране воруют, и в этом случае народ тянется к железной руке. Всё почти так, но у меня поправочка: волна любви к Сталину — свидетельство нелюбви народа к сегодняшнему правительству. Это протестная любовь. Так же раньше даже демократы любили Ленина, потому что не любили Сталина.

<…>

26 декабря, суббота

<…> Дневник мне тоже уже стал надоедать, пережитое за день неохотно ложится в текст. Часто думаю: а кому это нужно? Своё время, последние дни извожу на собирание подробностей чужих страстей. Я ведь так мало вижу, и так узок диапазон моего зрения. Что за отвратительный характер — искать мелочную справедливость в чужих поступках. Сам ошибался много и часто, и найдётся, кто предъявит счёт и мне.

Внимательно и другим зрением, чем раньше, прочёл печально знаменитый материал в «Знамени», о котором вдруг вспомнил в эти дни прощания с Г. Я. Сегодня, кстати, его хоронят, и прощание состоится в ритуальном зале Клинической больницы — видимо, там же, где прощались с Егором Гайдаром. По радио утром говорило достаточно много людей, неплохо покойного Григория Яковлевича знавших. Серг. Чупринин говорил о его чести; Новодворская сказала, что он много и своей прозой, и, видимо, своими делами сделал для распада СССР. Иногда по радио утром так много говорят трагически-интересного, что всего и не запомнишь. Но вот некоторые цифры, поражающие воображение своим значением, невольно запоминаешь. За последний год под влиянием кризиса пять процентов населения России отказалось от мяса и колбасных изделий. И кажется, пять процентов отказалось от молока. Цифру «пять» я запомнил в перечне твёрдо, но была ещё цифра «пять с половиной», и в одном случает даже цифра «шесть», но это о чём-то насущном, но другом.

<…>

29 декабря, вторник

Собирался встретиться вечером с Юрием Ивановичем, но внезапно позвонил Станислав Юрьевич Куняев: как всегда, в «Нашем современнике» парадное ежегодное заседание редколлегии. В первом разговоре сообщил удивительные цифры подписки. В начале года у них было 8600 экземпляров, в середине, в связи с кризисом, лишь 7100, но вот в первом полугодии следующего, десятого года — уже 9100. Приглашая, С. Ю. сказал, что будут и В. Крупин, и В. Распутин, и Лиханов. Этого пропустить было нельзя.

За праздничным столом — редколлегия началась в три часа дня, я пришёл в четыре, — говорили на тему подписки более определённо: в условиях рынка, пропагандируемого «Новым миром», «Октябрём» и «Знаменем», «Наш современник» вчистую обыграл либеральных конкурентов. Три журнала вместе набрали чуть ли не именно эти девять тысяч. Я застал часть выступления Распутина. Он говорил, что во время своих выступлений в Иркутске Куняев никогда впрямую не призывал подписываться на свой журнал.

<…>

31 декабря, четверг

Прекрасно, вольно и безо всяких мыслей провел день. До самóго праздника ещё дойду. Утром, а встал довольно рано, начал разбираться в своём хозяйстве. Опять убедился в том, что одному мне с такой массой бумаг и не разобраться, и её не провернуть. Надо бы брать секретаря, но где его найдёшь? Мои попытки за плату привлекать людей заканчиваются неудачей. Для них всё равно своё оказывается более важным и приоритетным: вот хоть бы Лиза с Гордеем — так и не закончили работу. Теперь сколько дней будет моя Осинкина переносить правку! А бумаги и книги плодятся, как грибы после дождя.

Итак, утром, до двенадцати, носился по всем комнатам, расставлял «по местам» книги и пачки бумаг, о чём, конечно, тут же забуду, и когда эти бумаги понадобятся, снова начну искать, ругаясь на собственный беспорядок. Не могу также сказать, что память стала лучше. Она, как перегруженный компьютер, с трудом и натуго перебирает файлы. Разобрал под праздничное пирование свой стол, убрал книги, сгрузил на диван компьютеры. В двенадцать ушёл в путешествие по магазинам. Сначала решил сходить в аптеку, чтобы достать «Оксис», того и гляди он может у меня закончиться. И правильно, видимо, сделал, потому что в аптеке на улице Крупской осталась одна пачка. К тому времени, когда придётся ехать в Дублин, если

повезёт с визами и удастся преодолеть разгильдяйство Темирова, лекарство потом, в последний момент, не отыщешь.

А вот после этого отправился в огромный магазин, сравнительно недавно расположившийся в нашем районе, возле метро «Университет», и впервые всласть походил по магазинам и поглазел. Вспомнил, кстати, замечательный материал в «Новой газете», как во время кризиса одна молодая супружеская пара практически жила в огромном супермаркете: всё прикидывали, смотрели, прицենивались.

Во-первых, решил, что надо купить всё-таки ещё один холодильник, причём и большой, и даже дорогой. Какая тьма стоит разных холодильников и других бытовых машин на этих площадях. Во-вторых,—это была главная цель моего похода—набрал на восемь тысяч рублей электрических, в основном энергосберегающих, лампочек и купил небольшой плоский плафон, чтобы повесить над кухонным столом. Была у меня и ещё одна цель—посмотреть какие-нибудь хорошие тёплые ботинки или даже сапоги, которые, в отличие от тех, в которых сейчас нагло, как бомж, я хожу по институту, такие сапоги, чтобы можно их было носить под брюки. Тем более что несколько дней назад я провёл беседы относительно обуви с Игорем и Юрием Ивановичем. Игорь даже снабдил меня картой мифических скидок в магазин испанской обуви. В общем, похныкал, похныкал и купил себе роскошные и, главное, с удобной колодкой сапоги. Сразила меня точным доводом молоденькая продавщица: хорошая обувь—это ваша спина, позвоночник.

Дома опять занялся всё тем же самым, пока в пятом часу не пришёл нагруженный сумками С. П. и не начал предновогоднюю готовку. Дальше я, конечно, начну комментировать телевизионное шоу, обращение Медведева и другие телевизионные радости, но не могу не отметить, что и до этого был обделён вниманием средств массовой информации.

Всё утро слушал разнообразные материалы по «Эху Москвы». Как часто случается, по праздничным дням ведёт передачи Алексей Венедиктов, журналист блестящий. Его, кстати, стали редко показывать по телевизору. Запомнилось, как он пытал пресс-секретаря «Газпрома», некоего решительного и неглупого красавчика. Кажется, по фамилии Киселёв. В этом году уровень добычи снизился как никогда прежде, и, следовательно, возникла и потеря прибыли. По словам представителя «Газпрома», уровень потребления у нас—а это в основном промышленность—снизился на десять процентов, а за рубежом—на восемь. Хорошо попытал Венедиктов «Газпром» и по поводу строительства «Охта-центра»: кто строит, на какие деньги и прочее,—всё время не забывая, что идёт кризис и что «Газпром»—компания государственная. Поговорили также о бонусах, за девятый год их ещё не назначили, а вот за восьмой, дескать, члены правления и другие бонусисты должны были свои прибытки использовать как благотворительность. Занятно будет узнать, как этой самой возможностью и кто распорядился. Венедиктов сообщил также о том, что за рубежом, в Англии или в Америке, в аналогичных «Газпрому» компаниях подобные бонусы обкладываются налогом в 50 %. Впрочем, разве наши законодатели когда-нибудь пойдут на такое? Попытка Венедиктова свернуть газпромовского красавца на анализ наших нефтяных достижений закончилась неудачей—не тот формат.

Сели за стол, начав, вне традиции, с коньяка и шампанского, часов что-то в семь. Я люблю, как я писал раньше, один или два раза в год подробно посмотреть какие-нибудь гламурные журналы или жёлтые газеты. Вот и будешь всё знать.

Телевизионная ночная программа развлекла, но не порадовала. Впрочем, впрочем… Моё умение—не смотреть то, что смотрят все. Я ведь никогда раньше целиком не видел ни «Бриллиантовой руки», ни «Джентльменов удачи». Какая же всё это прелесть, как высоко поднималось это, в принципе, народное и незамысловатое искусство. И какое бесконечное количество лет телевидение, пока не создаст что-либо лучшее и более созвучное времени, будет использовать эти роскошные и типические образы. Ах, этот незабываемый след советского искусства эпохи упадка. Ну а что, спрашивается, нового создало, какими побаловало шедеврами наше время? Кроме традиционного фильма Рязанова, были всё те же действующие лица, что и последние десять-пятнадцать лет. Надо отдать должное, что все юмористы, певцы, рассказчики пошлостей и постановщики новогодних банальностей сильно усовершенствовались. Ах, этот Галкин, русские бабки, замечательная Пугачёва, ставшая ещё и философом, Ксения Собчак, вдобавок ко всему и запевшая. Милое пошлобуржуазное искусство, способствующее пищеварению и аппетиту. Ура, шампанское и ирландский самогон! Если говорить о стиле и характере всего обширного действия, вбирающего в себя и музыку,—это пародия, перифраз, комикование по поводу. И вот опять: что бы современная телевизионная команда делала, если бы не было советских песен, музыкальных пьес и старых советских шуток? Почему наше время так непродуктивно в смысле искусства? Впрочем, когда уже ночью включил канал «Культура», то такая была прекрасная и всепоглощающая американская джазовая музыка, с мощным и поглощающим всё драйвом…

Аркадий Пахомов

На площадке озёрной воды

Аркадий Дмитриевич Пахомов (1944–2011) — одна из легенд отечественного андеграунда. Входил в группу СМОГ. Жил в Москве. Учился на филфаке МГУ. Работал в экспедициях, в бойлерной, обивщиком дверей. Прожил бурную, полную различных событий, путешествий, приключений, утрат, обретений, сложную жизнь. В советскую эпоху не печатался, стихи распространялись в самиздате. Публикации начались в период перестройки. Автор ряда журнальных публикаций и одной книги стихов.

Владимир Алейников

В нетопленом доме ни звука — садись и пиши,
пиши, задыхаясь от слёз, для того, чтобы после
прочесть по слогам — слава Богу, вокруг ни души, —
потом повторить по слогам, что прошло твоё лето.

В нетопленом доме остывших свечей стеарин,
забитые ставни и плотно прикрытые двери.
И ты с одиночеством снова один на один,
дели пополам пресловутую горечь утраты.

В нетопленом доме склонись, никого не виня,
над бездной разлуки, над яблоком в глиняной плошке,
теперь уж недолго, осталось, считай, два-три дня,
прощайся с любимой — единственной, бесповоротной.
В нетопленом доме…

Осенним листьям следует кружить,
и расправлять морщинистое небо,
и, завершив в пространстве виражи,
ложиться наземь бережно и немо.

Затем им до́лжно затвердить урок
о сущности продуктов эфемерных,
с осадками смешаться равномерно
и набираться силы тихо, мирно,
чтобы из них произошёл росток.

Так поступать пристало им судьбой,
однако же резонно их стремленье
откладывать прекрасное паренье
и продлевать, и пестовать мгновенья
ушедшей жизни, начатой весной.

Любимая, в такие времена,
в такую сучью непогодь и замять
не дай нам Бог кичиться и лукавить
и выяснять, чья бо́льшая вина —

твоя вина, или моя вина,
иль родины злопамятные вины
у нас в крови. Без слёз и без запинок
забудь вражду, и да пошлёт нам сына
глухая ночь в такие времена…

Допоздна не уснуть, до звезды,
до блуждающей балерины,
что справляет свои именины
на площадке озёрной воды.
До звезды.

Допоздна не уснуть, допоздна,
может, утро возьмёт на поруки
мои странно чужие мне руки
на пустынной бутылке вина.
Допоздна.

Пока мы давали обеты,
Потом выясняли права,
Прошло наше жаркое лето
И выцвела наша трава.

Настанет — точнее, настало,
Прости, — окончанье пути,
И ворох цветного металла
Как по ветру ветер пустил.

На просеке бывшего лета,
Где мирные травы цвели,
Два тёмных вдали силуэта,
Две тёмные точки вдали.

С полуночи дождь кропотливый,
А в доме не сыщешь огня —
Вот точная ретроспектива
Ближайшего зимнего дня.

Бог с ней, но сегодня едва ли,
Предчувствие ль это, беда.
Мы стали другими, мы стали
Такими, какими мы стали,
Какими мы были всегда.

Два стихотворения

Владимиру Алейникову

1.

Ещё не знаю я, дождёшься ли письма ты,
не знаю, где и как ты, в сущности, живёшь,—
но здесь у нас апрель, а выговор пернатых
в такие дни везде, я думаю, хорош.

Ещё по вечерам зевнёшь на перекрёстке,
из парков ветер вдруг в лицо наверняка
внезапно полыхнёт,—и вспоминаешь жёсткий
таврический набег степного сквозняка.

Ещё ты помнишь гнёт доверия Азова
и шалости воды, и сокровенной лжи
причуды помнишь ты—и мог бы слово в слово
любой из этих дней достойно пережить.

Ещё по погребам таинственная плесень,
хранящая, как маг, дыхание вина,
не истощилась, нет,—а мир настолько тесен,
что в этих погребах не обойтись без нас.

Ещё мы живы, брат,—ты прав, твердя об этом,—
и время любит нас, в уста целуя так
и обнимая так, что надо быть поэтом,
чтоб это оценить и не попасть впросак.

Ещё не в прошлом мы—и да пребудут даты,
желанные, как дождь, как винограда гроздь,—
ещё мы победим, товарищ мой крылатый,
как мог бы ты сказать, подняв заздравный тост.

2.

Мой товарищ так болен, что я не решаюсь сказать,
что товарищ мой болен тяжёлой болезнью рассудка:
третий день, третью ночь, третьи страшные сутки подряд
он не спит и не ест, только пьёт уже третие сутки.

Мой товарищ живёт по закону большой красоты—
небывалый словарь, беспредельное смутное чувство,
в каждой строчке его изумлённо сверкают цветы
недоступного мне и родного, как память, искусства.

Мой товарищ устал от безденежья, лжи и утрат,
от своей сокровенной, таинственно-жуткой работы.
Через город большой я упрямо везу ему яд,
за старинную дружбу готовлю я злую расплату.

Я поставлю на стол трёхрублёвого солнца завет
и открою железную, мягкую, круглую дверцу.
Выпей, друг дорогой, за пучок неразрезанных вен
и за сердце своё, драгоценное бедное сердце.

Какая нынче, Господи, весна—
осенняя и солнечная сразу
для творчества, безумства и вина
и для любви. Охватывая глазом

её просторы сизые, скажу:
всем повезёт сегодняшней весною,
недаром я по городу хожу,
недаром мы поссорились с тобою

и тотчас помирились. Хорошо
с такой весною в мире жить и дружбе,
и раз уж разговор такой пошёл,
то умереть в ней тоже хорошо,
уж если умереть когда-то нужно.

Невозмутима гладь твоих
серо-зелёных глаз в оправе
ресниц ракитовых, речных,
не помышляющих о праве

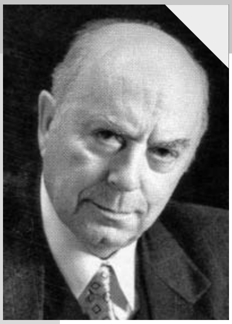
преобладать на фоне глаз,
где с детства панская надменность
царит и властвует. Как раз
таким прощают ложь, измену,

перед такими в час ночной
лежат в ногах, берут их с бою.
Что ж, поживём ещё с тобою,
ещё поборемся с тобой.

Избавь себя от заблужденья,
от затемнения избавь,
не предоставь себя паденью—
меня паденью предоставь.

Оставь меня.
Пускай расплата
бессмысленней былых расплат:
не виноват, не виновата—
никто ни в чём не виноват.

Не изменяй порядка жизни,
забудь походку, речь, лицо:
живи, не умирай, исчезни—
оставь меня, в конце концов.



Кирилл Ковальджи

В сердцевине

Моя картина

—В последнем зале есть ещё картина,
она висит одна. Для вас откроем дверь,
вы—наш почётный гость. Мы вас так долго ждали…

…И я вхожу; освещена закатом
картина на стене в знакомой с детства раме:
сидит отец вполоборота к маме,
стол, скатерть с кисточками, три прибора,
печенье, чайник, помидоры,
на патефоне замерла пластинка,
и—стул пустой с плетёной жёлтой спинкой.

—Родные ваши с вас не сводят глаз,
идите к ним, садитесь, стул для вас…

…Шагнул и оглянулся: жаль другую—
откуда я уйду—картину в раме
снежинок, звёзд… дождей и яблок, звёзд…

День свободы

Распахнулись свободно ворота тюрьмы,
ни собак, ни охранников нет.
Удивляется, жмурится—из полутьмы
узник совести вышел на свет.
Узник совести взял свою старую шляпу,
очки, ботинки, серый пиджак
и на новую землю сошёл, как по трапу,—
ни решёток нет, ни собак.
Но зато есть пляж, молодые люди,
пиво в банках, шприцы, песок,
голые попки, открытые груди,
автомобили, мобильники, рок…

—Двадцать лет я молился, поверьте,
стены камеры словом долбил,
говорил о любви и о смерти,
одиноко и гордо любил.
Понял я, что прекрасна свобода,
если люди друг другу верны.
Друг единственный—больше народа,
а любимая—больше страны!

—Что с тобой? Что бормочешь, папаша?
Выбрось шляпу, долой пиджак,
сбрось предрассудки, книги,
скрипки, брюки, вериги:
за полсотни зелёных
я любовью с тобою займусь
прямо здесь, никто не оглянется,—
ты свободен, папаша. Свободен!

Что с тобой?..

Не лишённый запаса бодрости,
я какой-то вершины достиг,
непреклонный в преклонном возрасте,
неглубокий старик.
Но ещё задаюсь вопросом:
почему всё длиннее тень
за спиной? Где вчерашний день?
Почему горизонт перед носом?

Возраст—это витки спирали,
старость тенью—над жизнью вначале,
над ранимой юностью ранней,
где Она, что была всех желанней,
перед кем от восторга немею
(до того как стала моею),—
и она же, с кем жизнь сложилась,—
словно век со мной не ложилась.
Середина где? Сердцевина?
Ты прости, моя половина,
я забыл…

Над началом—кончина…
Да, а если витки—пружина?

Антиглобалист

—Больные штурмуют больницы,
плодясь вопреки природе;
врачи припадают к бойницам,
чтоб их поразить на подходе.
Медсёстры подносят пилюли,
шприцы—пожиратели крови…
Больные лезут под пули
и жизнь отдают за здоровье.
А лидеры стран беспредельных,
усвоив стратегию эту,
без промаха лечат смертельно
открытое сердце планеты.

Эта парочка…

Неужели всерьёз вы поверили,
что с улыбкой и песней, светла,
молодая красавица Мэрилин
с некрасивым веком ушла?
Неужели не ви́дны вам тени те,
что скользят над серой толпой?—
На руках несёт её Кеннеди
с простреленной головой!

1.

Ни с того ни с сего — Ашхабад
подвернулся на склоне моих путешествий
(эхо спросит: на фоне каких сумасшествий?),
этот странный, не мне предназначенный град.
Старость… Осень… Ночного полёта бросок.
А вчера изводила меня аллергия…
То, чего излечить не сумела Россия,
это сделает Азия, юго-восток.
Впереди, за горами, Герат, —
звук магическим смыслом богат,
но останется недосягаем
для меня, проскользнувшего краем
между адом и раем —
туда и назад…

2.

Говорил мне приятель: так и пиши —
самодур вдохновенный, Туркменбаши,
понастроил дворцов, павильонов, фонтанов
для призрачных ханов,
золотой мусульманский сад
для блезиру,
на зависть миру —
город-выставку Ашхабад…

Это так, но, вернувшись в Россию,
я по Азии вдруг ностальгию
ощутил — по горé в серебре,
по песчаному солнцу с утра в октябре,
и добрее стал думать о самодуре —
всё-таки он сотворил не ГУЛАГ,
а восточную грёзу в натуре…

Солнце. Золото. Сон. Копетдаг.

Суждено горячо и прощально
повторять заклинаньем одно:
нет, несбыточно, нереально,
невозможно, исключено…

Этих детских колен оголённость,
лёд весенний и запах цветка…
Недозволенная влюблённость —
наваждение, астма, тоска.

То ль судьба на меня ополчается,
то ли нету ничьей вины:
если в жизни не получается —
хоть стихи получаться должны.

Комом в горле слова, что не сказаны,
но зато не заказаны сны:
если руки накрепко связаны —
значит, крылья пробиться должны.

Обзор современной поэзии

Поэты, поэтессы —
Гламур, деликатесы…
Фуфло и ширпотреб…

Большая редкость — хлеб.

В лес по грибы после всех —
всё равно что в Поэзию
после Пушкина и Пастернака.
И всё-таки…

Что такое старость? Проза
Романтической зари…
Телу бренному — угроза
Не извне, а изнутри.
Друг-философ, дальше носа
Загляни — увидишь свет:
Изогнулся знак вопроса
Там, где был прямой ответ…

Париж — мираж
и сон средь бела дня,
в нём я — фантом,
непознанный предмет,
в чужом раю — в краю,
где у меня
ни прошлого,
ни будущего нет.
И так легко,
и так печально.
Миф —
ни удержать, ни ухватить.
Смотрю
во все глаза, судьбу переломив,
за бесконечный миг
благодарю.

Сон приснился такой,
может, слишком простой,
если б не был бы жив
в нём прощальный мотив
голубой…
Переулок. И ночь.
Новогодняя ночь.
И тоска.
Никого. Тишина.
Только он и она
в переулке стоят,
между ними летит
снегопад.
И стоят, и молчат,
и никто никогда
им не сможет помочь.
На последнюю ночь
не спешат.
Переулок ночной
тает тихой тоской,
и во сне
голубиный снежок
всё поёт в голубой
глубине…

Дурак умел любить. А как любил дурак —
спроси у лошадей, у кошек, у собак.
Её, в параличе, любил, жалел, как дочку.
У смерти для неё, любя, просил отсрочку.
Не год, не десять лет… Я не сумел бы так.

Почему всегда есть повод у войны?
Потому что существуют власти,
и у каждой исторической страны
есть отъемлемые части.

А город мой пустеет —
мои друзья уходят
в тот лучший мир, который
всегда открыт для всех.
Старается столица
утешить — производит
очередных сограждан,
похожих, но не тех…

Прозевали точку ту,
упустили,
когда ты была в цвету,
а я в силе…
Солью сыплет ветер злой
и золою…
Обнимаюсь — пожилой
с пожилою.

Жена разучилась петь,
танцевать — уже много лет,
жена разучилась плакать,
она не шутит давно;
она научилась терпеть,
она готовит обед.
В окно стучится голубь,
ангел смотрит в окно…

Русские большевики
были разных кровей:
поляк — не поляк,
грузин — не грузин,
еврей — не еврей.
Красные —
знамя нового мира:
кто палач,
кто жертва,
кто донор —
спросите вампира!..

Позади
История без меня

Впереди
История без меня

В сердцевине —
Я

Владимир Захаров
Голос

Памяти Бориса Рыжего

Зачем же не кутить,
коль есть на это средства?
Б. Р.

Пространство есть прокрустова кровать,
В нём неуютно—тесно и просторно.
А вот Прокруст—и хочет разорвать
Тебя иль ноги отрубить проворно,
И если наугад сквозь чащу тёрна
Слинять мечтаешь—лучше унывать.

Сей кислый тёрн царит в твоём саду
Запущенном, как жизнь твоя младая—
Когда была такой! Куда уйду?
Тёрн заглушил совсем ограду Рая.
А вот и ад, бокалы бьют в аду
И пьют, на сабле темляком играя,
И много красных девок есть в аду.

Так то ж не ад—то «Стрельна»!
Здесь ты прав:
Вот был поэт, который жил стремглав
И ускользнул однажды от Прокруста,
Увы, туда, где холодно и пусто.

После Армагеддона

Краткое изложение
учения свидетелей Иеговы

Кому бессмертие не положено,
Те вступят в тёмную рощу.
На ветках сидят филины,
А навстречу медведь—
Улыбается,
Насколько медведи улыбаться могут.
Один удар лапой—и всё,
Полное небытие.
Вам ведь бессмертия не положено!

А мы войдём в светлую рощу,
Из-за деревьев выйдут друзья,
Выйдут любимые женщины,
Между ними—никакой ревности,
Выйдут враги,
И ты им порадуешься,
Они—часть твоей прежней жизни.
Нам пора осваивать новую вселенную.
Вот планета,
На ней леса, дожди,
Реки, озёра, луга,
Людей только нет.
Не займёшься ли здесь
хлебопашеством?

Памяти Леонида Мартынова

Облако, полное млеком и мёдом,
Плыло беспечно над тощим народом,
Плыло туда, где у рек берега
Из киселя или из творога.

Гладко текут те молочные реки,
Плещутся в них добродушные Шреки,
Солнце над ними—родной колобок,
То ль колобок, то ли ниток клубок.

Мы же, страдая под музыку Шнитке,
Думаем всё о той солнечной нитке:
Вот ухватить бы, вот бы поймать,
Долго и сладко на палец мотать.

Чудо

Что—одно чудо!
Нам нужно много чудес.
Нам нужно,
Чтобы каждый день воскресал Христос,
Чтобы каждый день
Аарон высекал фонтан холодной воды
Из раскалённой скалы,—
Вот тогда в нашей жизни
Что-нибудь
И изменится.

Из детства

Ты—чугавый, ты—чугрышный[1],
Ты какой-то в жизни лишний,
Мама топит камелёк,
Твой засален кителёк.

Ты беспомощен, как знамя,
Так сожми его руками
И—вперёд, вперёд, вперёд—
За собой веди народ!

Голос

Тот голос звучал на рассвете.
Уже подступала зима,
И спали предутренне дети,
И плавала сизая тьма.

А голос, что душу тревожил,
Был голосом скорбных обид:
Я умер, я жизни не прожил.
Я молод, я жив, я убит.

---

1. Из детского сленга. Синонимы, означающие: симпатичный недотёпа.

Русским собой управлять не дано,
Это давно в небесах решено.
Ясные звёзды на землю глядят.
Правят пусть те, кто своих не едят.
Небо бестрепетно нам говорит:
Правят пусть те, кто своих не морит,—
Фряги, варяги, касоги,
Прочие гоги-магоги.

Что до меня, то всё чаще друзьям
(Мчит мой корабль меж космических ям)
Снюсь я не добрым и бравым,
А неживым и неправым.

Вина

Сглотни обиду, выпей боль до дна.
Во всём, что худо, есть твоя вина.

Отвсюду слышен гул моей вины,
И мне невиноватые страшны.

Моя вина, что этот пруд зарос,
Моя вина, что был распят Христос,

И каждый выстрел будущей войны
Моей есть доказательство вины.

ДиН цитата

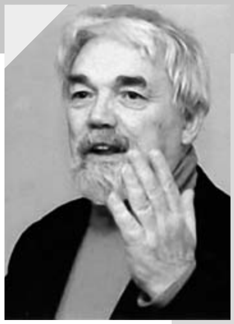
Писатели на марше

…Великая русская литература у нас, безусловно, была, и более того—литература эта имела мировое значение. Современная же русская литература, с каких позиций к ней ни относись и как её ни оценивай, такового значения не имеет. Запрос времени требует Большого и Значительного Литературного Произведения, отражающего все Важнейшие Проблемы Эпохи, крайне популярного на родине и одновременно востребованного за рубежом. Такого произведения, разумеется, у нас нет, зато полно книг, претендующих на это место, отчего страдают и сами писатели, и читатели, вынужденные в поисках Последней Истины прочитывать гору всяческой макулатуры. В результате возникает ощущение пустоты, которую изо всех сил пытаются заполнить, причём иногда чуть ли не на государственном уровне <…>

Ладно, раз уж речь зашла о великой русской литературе, то всё-таки кажется, что давно уже пора перестать оглядываться на позапрошлый век. Да, у нас действительно когда-то была литература, которая имела мировое значение. Ну и что? Того государства, в котором эта литература была написана, давно уже нет. И той культуры, плодом которой явилась эта литература, тоже давно уже нет. Более того, нет и государства, которое пришло ему на смену. Всё рухнуло. Всё кончилось. Началась совершенно другая жизнь, в которой будет совершенно другая литература. Мы помним и любим русскую классику, но руководствоваться ею в XXI веке не имеет никакого смысла. И потому единственное место, которого заслуживают бесконечные подражания Толстому-Достоевскому или, скорее, Глебу Успенскому и Осипу Сенковскому,—это мировая культурная помойка. Где вся эта литература, собственно говоря, и находится.

Таким образом, как это ни парадоксально, в первую очередь современной русской литературе не дают нормально развиваться именно прошлые достижения. <…> Кроме громады великой русской литературы, сидящей на спинах у современных писателей, как панночка на спине Хомы Брута, есть ещё один фактор, мешающий становлению современной прозы. Назвать его можно по-разному—коллективизм, чувство дружеского локтя, командный дух или командная работа. Этот фактор унаследован из советских времён, хотя теперь к нему добавилось ещё и понятие корпоративной этики. Однажды мне случилось присутствовать на заседании одной университетской кафедры, когда там происходило утверждение в должности нового преподавателя. И во вступительной речи было прямо сказано: главное и единственное достоинство кандидата в том, что он человек команды. Блестящие способности, оригинальные идеи, индивидуальная инициатива никому не нужны, нужен хороший средний уровень и умение работать в команде. В науке, быть может, в этом и есть какой-то смысл. Всё-таки по своей сути наука—дело коллективное. Но применение этого принципа к литературе сразу же выводит прозаический текст за рамки словесного искусства. Ведь русская литература в том виде, в каком мы её знаем и любим и, более того, в каком мы на неё продолжаем невольно ориентироваться, есть литература романтическая и модернистская, так что в любом случае исключить из неё элемент крайнего индивидуализма невозможно—это сразу же приводит к утрате самой её сущности. <…>

Анна Голубкова. В своем углу: Писатели на марше. «Новая Реальность» №31, 2011 год.
http://www.promegalit.ru/publics.php?id=3544



Илья Фоняков

Молодость—это надежда

Легенда об Александре Дюма

Франция кипела. Подобно грому,
Полные гнева, стучали сердца,
И одна из толп
выкатилась к дому
Романиста, жуира—
Дюма-отца.

Женщины в лохмотьях, калеки полуголые,
Бледные подростки, хмурые вожди…
В дверь забарабанили
кулаки тяжёлые:
—Бумагомаратель, эй, выходи!

—Говорят, живёт он в сытости и в холе,—
Крикнул предводитель в красном колпаке.—
Пусть же
мягким горлом
почувствует мозоли
На костлявой от голода
рабочей руке!..

Уже трещали двери,
уже с перепугу
Закрывали ставни
соседние дома,
Когда, растолкав растерянную прислугу,
Вышел на балкон
толстяк Дюма.

И, выпростав белые руки из карманов,
Крикнул осаждающим
громко и находчиво:
—Руки,
написавшие
пятьсот романов—
Это
руки
рабочего!

В следующую минуту раздались аплодисменты.
В следующую минуту послышалось: «Ура!..»
Ну как,
вы верите
в такие легенды,
Славные коллеги,
труженики пера?

Но пусть они согреют вас в иную минуту
С веком колючим наедине.
Кто знает,
какие
встряски и смуты
Ждут вас
в той ли,
в другой ли стране?

Три мелодии

Памяти Юрия Рытхэу

Три песни я знаю…
Жуковский

Согласно заветам седой старины,
Три личных мелодии чукче даны.

Сначала мелодия детства—она
Бывает родителями сложена.

Мелодию зрелости выдумай сам,
Прислушавшись к жизни, к её голосам.

Мелодию старости внук создаёт
И деду в подарок её отдаёт.

А вы, постаревшей Европы сыны,
Чем в жизни отмечены, отличены?

У вас с фотографиями паспорта,
Печатей и подписей в них пестрота,

Они заверяют, что вы—это вы
И то, что действительно вы таковы.

С различных сторон подтверждают сей факт
Расчётная карточка, брачный контракт,

Партийный билет, профсоюзный билет.
А вот музыкального паспорта нет!

Вдруг скажет, к примеру, привратник в раю:
«Мелодию нам предъяви-ка свою!»

Разговор

Говорил мне когда-то больничный сосед:
—На звонок в телефон откликаясь,
Я придумал исчерпывающий ответ
На вопрос «Как живёшь?»: «Трепыхаюсь!..»

Трепыхаюсь—и значит, живу и дышу,
В облака не взлетаю—однако
По возможности крыльями всё же машу,
Отбиваюсь от хлада и мрака.

Понимая, что—возраст, что я—на краю,
Бормочу: прежде срока не хвастай,
Тело—телом, но душу живую мою
Просто так не сломаешь, клешнястый!

Не скажу однозначно, что жизнь хороша,
Лицемерить и лгать—не годится,
Но покуда способна живая душа
Трепыхаться—она ещё птица!

Песня раны

Памяти абхазского поэта Ивана Тарба

Прочитал я в одном из кавказских рассказов:
«Песня раны» когда-то была у абхазов.

Этой песней джигит, поражённый в бою,
Заклинал, заговаривал рану свою:

«Не терзай меня, рана моя боевая,
Я тебя родниковой водой омываю,

Я тебя залепляю целебной землёй,
Присыпаю домашней очажной золой.

Заживай, моя рана, боли, да не очень,
Чтобы не был на боли я сосредоточен.

Приглушись, притупись, неотвязная боль,
До конца мою песню допеть мне позволь.

А о том, что в бою не познали мы срама,
Пусть на память останутся белые шрамы,

С ними жить-поживать, с ними век вековать,
Любят горские женщины их целовать…»

«Песня раны»—воинственных дедов наследство,
Для бойца, для мужчины—последнее средство,

Чтобы выстоять, перетерпеть, пережить…
Я хотел бы по-русски такую сложить.

Стихи о дружбе народов

С чего и зачем вспоминается он—
Осмеянный лозунг ушедших времён?

Словцо «толерантность» на смену пришло—
«Терпимость». Терпеть иноверца, как зло.

Осеннее утро. В дождях горизонт.
Я правлю на вывеску «Авторемонт».

Не вывеска даже, а так—на стене
Корявая строчка, знакомая мне.

Косые ворота, сарай жестяной,
И в отблесках сварки опять предо мной

Союз нерушимый—в нём пять человек:
Грузин, армянин, два таджика, узбек.

Был русский, но спился. Умелец—дай Бог!
А всё же без «этого дела» не мог.

Грузина зовут почему-то Джамбул.
Он старший. Он выслушал. Понял. Кивнул:

«Всё сделаем! Не сомневайся, отец!»
Там, где-то, разборки. Там дружбам—конец.

Народы встают друг на друга стеной,
И хмурятся боги у них за спиной.

А здесь подставляют друг другу плечо,
Общаясь по-русски. А как же ещё?

Из «ямы» ремонтной торчит голова.
Работа. Никто не качает права.

И дружба народов подпольно жива.

Древние боги

Глядишь—и не верится, что наяву.
Свершилось: Эллада, Афины,
Акрополь, впечатавшийся в синеву,
И Зевсова храма руины.

Безумствует солнце, асфальт раскалив.
Шоссе. Горизонты гористы.
Олимпия. Дельфы. Микены. Коринф.
И всюду—туристы, туристы.

Общительный грек мне сказал неспроста:
—Подумай, что вышло в итоге!
Мы молимся в церкви, мы славим Христа,
Но кормят нас—древние боги!

Из записной книжки

1.

—Ой, беда—дети взрослые,
Дети взрослые, рослые,
И ответы их дерзкие,
И вопросы—недетские!

Ходит к дочери, Катеньке,
Друг-студент бородатенький,
На крючок запираются,
Говорят—*занимаются*.

—Ты чего ж не вмешаешься?
—Так мешать—не решаешься,
Ведь сама молода была,
Не тихоней тогда была!

Что там?—душу замучаю.
Может, самое худшее?
—Что же самое худшее?
—То, что самое лучшее…

2.

Печаль Шопена, всплески Листа,
Волос над клавишами клок…
Хвалы смутили пианиста:
—Как ты играл!
—Играл как мог…

Играл как мог,
А мог—как бог!

3.

Дерзкие речи, смеющийся рот,
Взгляд, устремлённый бесстрашно вперёд:
Молодость—это прекрасно!

Вздрогнешь, в проулке ночном, без огней,
Встретив компанию шумных парней:
Молодость—это опасно…

Куцая курточка, джинсы, вельвет,
Броский покрой, вызывающий цвет:
Молодость—это одежда?

Как бы, однако, там ни было, но—
Если уж выбора нам не дано,
Молодость—это надежда.

Вячеслав Самошкин

В дымке детства

Кладбище Bellu[1]
Аллея писателей

Усыпальницы, часовни
и кресты, кресты, кресты…
И деревьев, как в жаровне,
раскалённые листы.

То чернея, то алея,
то горя, как жёлтый дрок,
вас ведёт сама аллея
в заповедный уголок.

Рядом с гордым Эминеску
вечный делят свой досуг
Караджале и Стэнеску,
Преда, Лабиш и Кошбук,

Садовяну, Кэлинеску…
Золотые имена!
По красе своей и блеску
только осень им равна.

…На заброшенной могиле—
сон забвенья и репей.
Крышу склепа придавили
тонны солнечных лучей.

К основам мира

Встречай червлёные закаты!
В них отраженье прежних драм…
В деревне тихо. Скот рогатый
сам разошёлся по дворам.

Я мира вновь ищу основы,
пытаясь в рифмы их облечь.
Из хлева ближнего коровы
звучит неразвитая речь.

Я помогу её демаршу,
услышу «муза» в слове «му-у»!
и белый стих её докрашу,
и строй души её пойму,

где дышат злу непротивленье,
смиренье редкостное… Ах!
Не так ли в келье и в моленье
проводит дни свои монах?

Не так. Слова членораздельны
и в свод небес устремлены.
Кресты воздушны и нательны,
и с Богородицею сны.

Пейзаж с волами

Пейзаж с волами и повозкой
на пыльной местности и плоской;
в холщовом рубище и шляпе
соломенной мужик на шляхе
плетётся с тонкою тростиной—
такой в изысканной гостиной
из жизни выхваченной фреской
висит «Пейзаж с волами» Григореску.
Весь в палевых тонах—и сочно-
зелёный тополь, чтобы точно
знать, где передний, задний планы…
Волы. Валахия. Балканы.

Школьное сочинение на тему «Как я провёл детство?»

Жизни свежие начатки
вечно в памяти сильней:
отпечатались в сетчатке
гла́за
        вышки лагерей.
Их угрюмый вид не страшен,
выше нет их, окромя
дорогих монгольских башен
вечно бдящего Кремля.
Выше вышек нет конвойных!
Целься, щурься, конвоир!..
Сталин умер. В лапах хвойных
шебуршится новый мир.
С рук и ног стряхнём оковы—
скинем гнёт большевиковый!

В дымке детства

Тополь, твой зелёный китель,
сапоги и галифе…
Ты—как будто мой родитель,
в дымке детства, вдалеке.

Моды шик послевоенной—
вечный сталинский мундир:
фронтовик и бывший пленный,
кто-то даже не военный,
бывший зэк и конвоир…

Помню, солнце пригревало,
становилась жизнь добрей.
Мать-Россия выползала
из советских лагерей.

---

1. Кладбище в Бухаресте.

В начале жизни лагерь помню я
за проволокой ржавой и колючей.
С той стороны, где лес, среди репья,
ручей из зоны вытекал вонючий.
С пригорка, мутный, он, спустясь, впадал
в славянскую речушку наших предков,
а ниже был залив, его овал
скелет конвойной вышки отражал—
там, ребятня, купались мы нередко.
И не подозревали мы о том,
что под молчанье мельничного вала
зловещая субстанция тайком
тела наши, мальчишек, омывала.
Как будто говорила: «Вы—мои,
и никуда вам от меня не деться!»
Коварно растеклись её струи́
во все концы отечества и детства.
Дух несвободы крепко я впитал,
залез под кожу мне он не на шутку!
А я с народом вместе вырастал
и сбрасывал с души репейник жуткий.
Но помню зной, и заключённых труд,
и стройку возле нашего барака.
И грозный автоматчик тут как тут,
и с высунутым языком собака…

Октябрь

Мне в луга бы заливные!
Мне б на реки да в моря!..
Снова жабры молодые
ловят воздух октября.

В уголках родной природы—
всё равно какая власть!—
лишь бы был глоток свободы,
лишь бы брагою лилась.

Но октябрь—он самый ражий:
всех он в красках превзошёл!
Не смотри, что он оранжев—
он и охрист, он и жёлт.

В общем, он, дитя распада,
сердцем чист, как изумруд.
И в объятьях снегопада
руки, сжав его, замрут…

До рассвета

Бессонная ночь сгорает дотла.
Дотрагиваемся до утра.
Строфы́ полуночной ломая размер,
первый трамвай прогремел.
Но годы прожи́ты, избалован слух—
по умолчанью тут нужен петух,
и только потом, как в твой колокол, Реймс,
ударит охранник в подвешенный рельс—
точку отсчёта для нового дня…
Если усну, не будите меня.

Набросок весны

Не с твоей ли, подруга, подсказки,
по причине, известной лишь мне,
вдруг обрадуют города краски,
что мелькнут в незакрытом окне?

Пусть они не особенно ярки—
их никак с Пикассо не сравнить!—
но в сыром, неотопленном парке
будет время и жить, и любить.

Обнимает оконная рама
самый беглый набросок весны.
И ещё очертания храма
сквозь прорехи в деревьях видны.

А снежинки всё про это…

А снежинки всё про это:
отрешённость, мир, покой,
всё про Тютчева, про Фета,
Лермонтов им как родной.

Проникая в сны глубоко,
обнажая суть вещей,
всё про Пушкина, про Блока,
нищих духом и царей.

А снежинки всё про то же:
бесконечное в земном,
про Твои деянья, Боже,
про Тебя—во мне самом.

Ах, снежинки-балеринки,
из какой вы Мариинки?..

Ирлан Хугаев

Ласточки прилетели[1]

1.

Открытие органического единства высокого с низким, трагического со смешным опасно для жизни ребёнка. Опасно именно сознание того, что противоположные понятия и вещи гораздо ближе друг к другу, чем даже подобные: здесь ребёнок умирает, и рождается взрослый человек, негодяй разумный. Самоанализ—настоящая, кровавая вивисекция.

Раздвоенный, я больше не мог молиться: тот, другой во мне, не давал; стоило мне только, отвечая искреннему порыву сердца, молитвенно сложить руки и упасть на колени, как он забегал вперёд, становился между мной и Богом и начинал подмигивать, хихикать и корчить рожи или—ещё хуже—гротескно повторять каждое моё движение, взгляд, интонацию; и часто из моего рта, открытого для молитвы, сыпались проклятия.

Потом мне пришло в голову, что личность начинается там, где в человеке живут по меньшей мере двое; что сознание этого раскола—высшее благо и признак культуры и интеллекта.

Я воспрянул духом, я возрадовался этой спасительной идее, но оказалось, что мысль не моя, а тоже того, другого,—насмешника и анафемы.

И когда я об этом догадался, он мне опять подмигнул и хихикнул.

Я стал лгать. Ложь была моей второй, затем стала первой, и наконец—единственной сущностью. Я не был чист, я был нечист, я был нечисть—как мне было не лгать?

Сначала, когда грех был не регулярен, я лгал только для своего спасения и покоя. Скоро ложь стала необходима для спасения и покоя окружающих, семьи; я, как мне казалось, делал то единственное, что мог делать для любящих меня людей: я щадил их чувства,—я поступал даже благородно.

Я стал честен и правдив, только когда не осталось тайн, когда нечего стало скрывать и стыдиться. Это было похоже на то, как если бы с меня сорвали верхнюю одежду, а я скинул бы, в приступе самозабвенного ангельского смирения, исподнее,—выставив напоказ своё отвратительное тело. «Вы хотели правды?—получи́те её!»

Знаете ли, что эта болезнь неразлучна с самой сладострастной любовью к собственным язвам? Что в страданиях, причиняемых ею, мнится какая-то почти библейская глубина? Но в то же время она убивает скромность: представьте себе Иова, кокетничающего перед самим Господом. Как не было предела моей лжи, так бесконечна стала моя правдивость—и теперь я был убеждён, что я самый праведный и кроткий на земле человек.

Когда я преступил все возможные клятвы, пришёл тот, другой, и продиктовал мне, улёгшись на диване (он уже не стеснялся ничем), следующее:

«Клятвопреступление—удел избранных. Не кажется ли вам, что внутренняя жизнь клятвопреступника должна быть по-особому интенсивна, драматична и богата? Что предатели тоже помазанники? Что на такой грех не решился бы человек без благословения свыше?.. Где-то в небесах, в обители доброго Отца, его смиренный коленопреклонённый дух благословляем на страшный подвиг,—и однажды утром он просыпается, идёт—и делает это. Ибо одиночество Иисуса сопоставимо лишь с одиночеством кариотского предателя, и сказанное о первом—что он взял на себя грехи всех людей—применительно к Иуде уже звучит не как метафора, но имеет глубокий и точный рациональный смысл.

Не надо пытаться это понять: как могут праведники трактовать преступление и предательство? Кто живой знает смерть? Всем хорош Христос, кроме одного—греха не изведал. Достаточно, чтобы выразить недоверие. Да и как поверить в то, что до́лжно злу прийти в мир—но и горе тому, через кого приходит? Не можете: ни судить—ни поощрять! Разве преступление не освящает всякую клятву? Не предательством ли Христа на смерть основано христианство? Откуда вам знать, чего хочет клятвопреступник? Может быть, он хочет проклятия, пытки и огня; может быть, он хочет достойной развязки,—забейте его камнями, распните его!—но не унижайте жалостью его грех, как будто и вправду дело идёт о тридцати сребрениках!

Сподобленный бездны знает о небе больше, и днём из колодца видны звёзды.

Последнее, что он любит, чем он гордится, что носит, как женщина, плод тайной от всех, кроме Бога, любви.

Только в неисповедимом никому страдании вечная зачинается жизнь, и в мир приходит человек!»

И добавил—не для записи:

«Не будь болваном и не падай духом; задача только в том, чтобы меня искоренить. Ты справишься, всё будет хорошо».

Когда он это сказал, я потерял надежду.

---

1. Художественный фильм по мотивам рассказа Ирлана Хугаева «Ласточки прилетели» («Нарти мувиз», режиссёр Аслан Галазов) получил Гран-при Международных фестивалей «Дух огня» и «Дебошир-фильм—Чистые грёзы» (2007). Оригинальный текст публикуется впервые.

Это не значит, что я потерял способность самообольщения. Напротив, здесь человек способен изощряться и тореть бесконечно (то есть до конца) — в том и состоит главный ужас. С тех пор, как я достиг в грехе известного совершенства и самостоятельности, каждое падение, когда я стоял накануне, было «последним» (я в это искренне, и чем дальше, тем искренней, верил); но стоило мне только прийти в себя, как я уже не видел никакого смысла в дальнейшем существовании, если это никогда больше не повторится. Так и живёшь — от раза до раза, каждую минуту трезвости переживая как вечность одиночества и пустоты, когда нет сил сознавать и нести себя дальше. Жить в настоящем я был уже не способен; только предвкушение ещё одного — «последнего» — раза могло заставить меня двигаться и соображать. И так, из раза к разу, правда становилась всё более ветхой, бессильной, призрачной, и было смешно и страшно, что остальные люди могут обходиться только ею одной. А на её место садилась ложь, единственная всё понимающая заступница.

Знакомо вам чувство, когда радуешься, как спасению и величайшей милости, наступлению сумерек? — как достаточному основанию лечь, укрывшись с головой, уютно, словно в гробу? — как передышке в бесконечной пытке, пока твой истязатель пошёл покурить? — как возможности недолго насладиться тишиною, не нарушаемой собственным диким воем? — и как смерти, когда целую вечность можно не быть?

Но вечность заканчивается — и прежде чем открыть глаза, ты сто раз попросишь ещё об отсрочке дня и яви, ещё об одной жалкой минуте хотя бы полузабвения; но кто услышит тебя из твоего гроба? Господи! опять чёрное солнце встало над землёй; надо жить: надо ходить, говорить, улыбаться — и лгать, лгать, лгать…

Первая мука — сортир, и он же — первое фиаско. Вторая мука — ванная, откуда ты выходишь небрит, потому что, во-первых, зачем, а, во-вторых, в зеркале, не способном к лукавству, ты не нашёл своего лица (там был тот, другой, и он хихикал и корчил рожи). Третья мука — завтрак; ты ешь — и тоже лжёшь, потому что не чувствуешь вкуса пищи и стараешься глотать не жуя, делая вид, что ничто человеческое тебе не чуждо.

Потом одеваешься и выходишь на залитый ослепительно чёрным светом двор, где сытая, спортивная и благополучная молодёжь моет свои авто, где заспанные и добродушные тёти выгуливают болонок и собственных детёнышей — будущих наркоманов, художников, министров, сантехников, профессоров, футболистов, милиционеров и поп-звёзд, а на завалинках сидят патриархи, грея на солнце лысые черепа. Приветливо скалясь, притворяясь своим, земным, идёшь, злорадствуя каждой встречной улыбке, чужой, чужой на празднике жизни.

И тебе незачем оглядываться, чтобы знать, что вслед тебе тычут пальцами и твоё верное чёрное солнце идёт за тобой.

2.

У Казбича лекарства не было, у Паркинсона была засада, и я поехал на другой конец города, к Хали-Гали. Несмотря на самую жестокую абстиненцию (она приходит, как правило, на вторые «сухие» сутки), я вышел на остановку раньше, чем мне было нужно. Во-первых, следовало собраться с аргументами, во-вторых, убедиться, что хату не пасут. Гале я должен был уже за четыре дозы, и она мне уже три раза клялась, что я больше просто так не прокачусь. «Послушай, Пик, имей совесть, — говорила она, глядя на меня томно и по обыкновению почёсывая ляжки (Галя была высокая и красивая для своей масти баба), — ты что, в рай попал или кино снимаешь? Вас много, а я одна; я чем буду, натурой, что ли, с хозяином расплачиваться? Вы все такие прям ничтяк, когда под хумаром, такие все понятливые, как будто вчера с зоны. А как воздух появляется — вы же сразу к Паркинсону или Казбичу? Потому что они умные и в долг не дают, одна я, дура слабохарактерная, за вас гружусь и гружусь… Короче, Пик, я тебе сказала: в следующий раз без филок не приходи, собак спущу…»

Я, конечно, мог предварительно позвонить по телефону (так было бы, помимо прочего, и безопасней), но это значило как пить дать остаться ни с чем, — а внезапный визит сохранял какие-то шансы. «Хорошо бы, — соображал я с трудом, — если бы Гали дома не было, а была бы Валя (её младшая сестра, которая тоже была при делах, но ещё не такая кручёная стерва); а ещё лучше, если бы и Вали не было, а был бы один Герасим (Валькин хахаль, старый и выживший из ума наркоша); а совсем хорошо, если бы там оказалась вся занзибарская контора («Занзибаром» назывался Хали-Галин околоток), — тогда наверняка можно было бы вмазаться под общий шумок, хотя бы вторяками или смывками».

Очень хотелось покурить перед решающим мою судьбу разговором, но сигарет не было. Остановившись в знакомом дворе, метров за сто до заветного подъезда, я присел на скамейку, чтобы перевести дыхание, осмотреться и по возможности стрельнуть сигарету. Сопли текли безостановочно, рот ежеминутно переполнялся противной жидкой слюной (плеваться было стыдно, приходилось глотать), трусы промокли от пота насквозь, и при ходьбе было такое ощущение, будто в паху были ножи и вилки, суставы кишмя кишели миллионами не знающих покоя и жалости термитов, лицо отекло и обвисло, как старая сиська, и сердце стучало мелко, прерывисто и суетливо, как у кролика.

Мимо шли парень с девушкой; я напрягся изо всех сил, чтобы подобрать щёки и веки, и приосанился. Парень был крепкий, спортивный и добродушный — очевидно, любитель анекдотов; девушка — симпатичная и смешливая; она поминутно смущённо хихикала и отставала, а он останавливался и терпеливо ждал, любуясь на её смех и смущение. Им было так хорошо, что я решил не беспокоить их с сигаретами; но когда они поравнялись со мной, счастливый молодой

человек посмотрел на меня так приветливо и открыто, что я не удержал вопроса.
— Я прошу прощения,— стараясь чётко произносить слоги и не брызгать слюной, сказал я,— не найдётся ли у вас сигареты?

Это прозвучало как «же не манж па сис жур», и я было тут же глубоко раскаялся, но счастливый молодой человек как будто ожидал вопроса.
— Е-есть,— громко и весело сказал он, достал белоснежную, с оранжевой продольной полосой, пачку «Вирджинии» из заднего кармана джинсов, открыл и протянул мне.

Я аккуратно, стараясь не задеть лишней, вытащил сигарету.
— Берите ещё!— сказал парень и осклабился ещё приветливей, но уже как-то чересчур.
— Благодарю вас,— сказал я, обливаясь пóтом, и не посмел ослушаться.

Я снова присел и зажёг сигарету. Она была непривычно тонкая, длинная и вкусная— сигарета из другой жизни, которая только что прошла мимо, снисходительная и безразличная. «Рождаются же люди,— подумал я,— которым совсем не обязательно быть несчастными, чтобы знать, в чём счастье человека. Вот они поженятся, у них будут дети, дом, наверняка машина, дача, и будут жить долго и весело, в праздники пить: она шампанское, а он водку, и кушать шашлык— простые и здоровые человеческие радости…» Я вспомнил, как девушка плавно прошла вперёд, не удостоив меня взглядом, когда я спросил сигарету у её великодушного рыцаря, и моё бедное кроличье сердце защемило предсмертной тоской. Оставалась ещё одна сигарета, и я прикурил и её, хотя во рту была уже такая же горечь, как на сердце, раздавленном даровой уличной обходительностью.

Был конец августа, жаркий и душный полдень; чёрное солнце стояло в зените своей славы и гнева, и я погибал. Хумар становился невыносимей с каждой минутой; никакая поза не приносила облегчения до боли зудящим и гудящим, как полые трубы, костям, потому что весь мозг выели в них черви и термиты. Сидеть было, в сущности, ещё трудней, чем идти: при ходьбе мои насекомые немного успокаивались. Направо я увидел детские качели, и мне захотелось, как умирающему воды, качнуться раз-другой на этом расписном чуде, но в этот момент из подъезда напротив высыпали с торжествующими воплями несколько маленьких пёстрых человечков, и качели были оккупированы. «Хорошо, козлы»,— сказал я себе и мысленно передёрнул затвор.
— Пиксель-шмиксель, здорово, братан,— услышал я слева знакомый, инфернального тембра, голос.

Это был Герасим, и я с первой секунды понял, что Герасим никакой— и что у меня есть хоть и ничтожный, но шанс. Ему было так хорошо, что над головой у него сиял нимб. Это было само олицетворение изобилия, довольства и кайфа: длинный, худой и сутулый Герасим, похожий сбоку на вопросительный знак, а анфас— на перевёрнутый вверх ногами восклицательный (он носил, по старинке, исключительно клеши), держал в одной руке прозрачный полиэтиленовый пакет с пряниками, а в другой, зажав их за горла между пальцев,— три бутылки фантастического «Будвайзера»; он был гладко выбрит и причёсан, во рту у него была сигарета с фильтром, а на шее, под воротником расстёгнутой до живота рубашки, лазоревым хомутом— свежая голубая марочка. Хали-Гали определённо были в куражах. Так прекрасен мог быть только человек, не далее как час назад причастившийся святого источника. Сердце стукнуло так, будто я встретил Петра и Павла.
— Какими судьбами?— спросил Герасим, ставя на скамейку улики и присаживаясь рядом.

Герасим был, на мой взгляд, достаточно глуп, чтобы я мог не подозревать его в лукавстве.
— Да вот, Чукчу жду. Ты не видел Чукчу?— ответил я, лихорадочно соображая, чем мне может быть полезен Чукча.
— Не-а,— сказал Герасим,— не видел. Полковника видел. С Гудвином.

Герасим закинул ногу на ногу, демонстративно снял с носа невидимую паутину и блаженно завис, так и не опустив руки. Его вид причинял мне такие муки, какими томятся только грешники в аду, когда им показывают рай.
— Кинул меня, значит, Чукча,— простонал я,— убью суку.

Герасим пошевелился.
— Не гони. В натуре?
— Убью, убью козла,— опять простонал я, раскачиваясь вперёд-назад.
— Да-а, плохо,— сказал Герасим, не открывая глаз.— Пива хочешь?
— Да на хрена мне твоё пиво,— завыл я, хватаясь за голову и вскакивая с места,— ты мне ещё пряник предложи! Ходишь, умывальником торгуешь; я что, наркомана под кайфом никогда не видел?!..

Герасим опешил.
— Ну, Чукча, подожди, ублюдок, выродок, гадёныш!..— продолжал я, снуя из стороны в сторону и удивляясь на свою самую искреннюю ненависть к бедному Чукче, которого не видел уже неделю или больше.
— Ты осади, осади, Пик, тпру!— сказал Герасим, впервые посмотрев на меня прямо глазами, в которых не видно было зрачков.— За такие вещи спрашивают. Чукча тебя кинул— а я причём?..

Я снова присел, полагая, что для зачина достаточно, и изобразил, как мог, позой некоторое раскаяние.
— Что Чукча конченый— это весь город знает; нашёл кого заряжать, — сказал Герасим, как бы принимая извинение (от природы он был не только глуповат, но и незлобив).— А что, давно его потерял?
— Часа два.
— Да, за это время можно было три раза в Назрань слетать. А у кого Чукча берёт?

Это был коварный, в устах Герасима, вопрос и момент истины. Но я его уже предвидел.
— Ну вот видишь, Гера, опять ты понтуешься,— мягко, с бессилием и обречённостью в голосе сказал я.— А у кого тут берут?

Герасимовы брови заползли под чёлку, челюсть недоумённо отвисла, как будто он увидел слона.

— А кто тебе сказал, что у нас есть?
— Ты хочешь сказать, что от «Будвайзера» так зависаешь?—ухмыльнулся я презрительно и, ужаснувшись, добавил:—Ладно, на нет и суда нет. Дай хоть пива глоток. С утра маковой росинки во рту не было.

Я всегда подозревал, что душа у Герасима (если у наркомана есть душа) была добрая, правильная, хоть он и сам об этом не знал. Если бы он не встал, ещё в раннем детстве, на стезю порока, он мог бы быть, например, хорошим каменщиком, столяром или милиционером.
— А вот дрочи,—сказал он и усмехнулся, давая понять, что шутит.

Он откупорил, воспользовавшись бутылкой же, сначала одну, потом другую бутылку благородного светлого «Будвайзера».
— Господи, помилуй нас, грешных,—сказал он.
— Аминь,—сказал я, и мы чокнулись.

Лёгкий алкоголь приносит наркоману временное облегчение, за которое, впрочем, потом приходится платить вдвое, если он вовремя не достигнет цели. Если же он, к примеру, выпьет с отчаяния водки, без перспективы достать лекарства,—то может считать себя покойником. Я с наслаждением крайнего отчаяния сделал три больших глотка этого живительного яда, сознавая, что в каком-то смысле перехожу свой Рубикон. Теперь отступать было нельзя. Это было страшно и одновременно вдохновляло, чему способствовали невинные для здорового человека градусы.
— Вот видишь, Герасим,—сказал я, выпив полбутылки и чувствуя, как разбегается хмель (самый—или единственно—приятный в алкоголизме момент),—чтобы открыть одну бутылку пива, надо иметь другую.
— В смысле?—спросил Герасим и отрыгнул.
— В смысле—«рука руку моет»,—сказал я.
— В смысле?—опять спросил Герасим, и я уже не знал, хорошо это или плохо, что он так необразован.

«Баран тупорогий»,—подумал я про себя, а вслух сказал:
— Я говорю, чем бы ты открыл бутылку, если бы у тебя не было другой бутылки?

Герасим подумал, срыгнул и сказал:
— У меня писáло есть. Показать?

В глазах у меня потемнело.
— Герасим,—сказал я,—пожалей меня: помираю.

Герасим немного нервно заёрзал на скамейке.
— Но у тебя же нет денег,—сказал он.
— Если бы у меня были деньги, разве бы я просил меня пожалеть? Я бы тогда сам всех жалел,—сказал я.
— Пожалеть я тебя могу, а помочь—нет,—Герасим опрокинул остатки «Будвайзера» в узкую глотку, опять срыгнул и поставил пустую бутылку под скамейку.

Если бы в ту минуту я знал, что это поможет, я зарыдал бы в голос и даже рухнул перед ним на колени; но меня остановило—не самолюбие (ха!), а какое-то странное и невесть откуда взявшееся предчувствие удачи. Наркоманы—народ не менее суеверный, чем спортсмены и лётчики; в тот самый момент, когда Герасим срыгнул в третий раз, я понял, что ситуация переменилась и чаши весов склоняются в мою сторону. Я мысленно взмолился не знаю кому: «Ещё один раз! Ещё только один, последний раз! Ты, невидимый и неведомый, знающий моё сердце! Последний раз!—и увидишь, как я могу быть благодарен! Я принесу тебе такие жертвы, каких не видел Бог от Авеля, я украшу твой алтарь прекраснейшими цветами земли, я умащу твой истукан такими благовониями, что их услышат и улыбнутся в гробах покойники, которым ты не поверил, как мне; последний раз!» Теперь надо было только не спугнуть фартец (чего легко можно было достичь публичной истерикой)—но в то же время быть эмоционально убедительным, помня о Герасимовой округлой душе и узкой черепной коробке. Здесь нужна была не истерика, а нежный, ласковый, как омнопоновый приход, нажим.
— А сколько у тебя было денег?—спросил Герасим не в свою очередь (ход-то был мой), чем значительно укрепил мою надежду—и за одно это я уже готов был его целовать.
— А какая разница, если их всё равно больше нет? На чуток.
— А Галке ты сколько должен?

Я предполагал, что Герасим в курсе моего долга, и тем не менее похолодел.
— Дай закурить, Гера,—сказал я с таким видом, как будто только теперь он оправдал своё присутствие, и когда мы закурили по «Золотой Яве», продолжил:—Слушай, Гера… только, умоляю, не перебивай… Я знаю, что у вас есть ширево, ты знаешь, что у меня нет денег и есть долг; но ты не знаешь, что у меня завтра…
— Короче, Пик,—поморщился Герасим и нетерпеливо почесал щёку,—«знаешь—не знаешь»—это мы слышали; главное, Галка слышала, и про завтра тоже слышала; ты мастер только вилами по воде писать. Вот завтра будут филки—завтра и приходи.

Герасим встал, зацепил пальцами пакет с пряниками и сказал, понизив голос и повысив тон:
— Ты зачем Чукчу башлял? Сам бы зашёл, Хали-Гали поплакался бы—и было бы всё чики-пуки, не дали бы, сам знаешь, помереть благородному пацану; не в первый раз. Чукча ей сам в два раза больше должен, чем ты,—вот он, небось, и рванул, козёл, куда-нибудь в деревню, к кунакам своим. Потому что сейчас нигде не возьмёшь, кроме как у джигитов тамошних.
— Но его могли и хлопнуть,—неожиданно для себя сказал я.
— Одуреть можно,—от души засмеялся Герасим.— Ты ж его, суку, только что убить грозился?!.. Слушай, Пик, а ты не чешешь насчёт Чукчи?..
— Честно?
— Как перед богом наркоманским.
— Не чешу. Если его не мусора забрали, убью.

Герасим стоял прямо передо мной, чухался и почему-то не уходил; я сидел и смотрел на его пряники. Тянуть паузу было опасно для жизни. Я поднял голову и посмотрел ему в лицо.
— Герасим, у тебя есть что-нибудь святое?

— Ты это у Чукчи спроси, когда будешь его резать. Меня не надо на понятия сажать, я, если на то пошло, старше тебя и по возрасту, и по званию. Я сам святой: я пятнадцать лет в зоне сидел. Понял?
— Понял,— сказал я.— Вот я тебя и прошу как святого: дай мне до завтра дожить, чтобы я смог Галке долг вернуть.

Мы с Герасимом с полминуты смотрели друг другу в глаза и как будто продолжали говорить молча. Я знал, что именно сейчас решаются судьбы мироздания, решаются вот в этой узкой, сдавленной в висках, не слишком умной и не сознающей своей великой миссии голове. Герасим, очевидно, стоял на распутье, как былинный богатырь, и я понимал суть его дилеммы. Он не был хозяином того, что я у него просил: я просил хлеба у нахлебника. Но в то же время я чувствовал всеми своими наркоманскими фибрами, что в Герасиме просыпается дремучий, старых добрых времён, инстинкт босяцкого благородства и справедливости.
— Ну ты, Пик, тяжёлый!..— вздохнул он и сплюнул белой, завидно густой, как сметана, слюной.
— Я тяжёлый?.. Я, я тяжёлый?— закричал я шёпотом, задыхаясь.— Гер, я тебе, как брату... старшему, отвечаю, что завтра...
— Да ладно, не мельтеши: «завтра»! Завтра стыдно будет, вот что будет завтра. Ты думаешь, я с тобой тут сижу, потому что ты мне про «завтра» рассказываешь? Я с тобой сижу, потому что у тебя стыд есть. У Чукчи нет, у Муллы нет, у Кишки нет, у Полковника и Бурвиля нет, а у тебя ещё есть... Пойдём, так и быть. Есть у меня чуток на нычке; пополам сделаем.

Голос Герасима показался мне музыкой сфер; в голове зазвенело от восторга и умиления, на глазах выступили слёзы, и живот схватило знакомой острой слабительной болью. Теперь нужно было поторапливаться.
— Пиво не оставь,— строго бросил Герасим через плечо и добавил, когда я его догнал:— Ой, мля-а-а, как же вы достали, наркоманы проклятые...

«Милый, милый, ненаглядный длинноногий Герасим,— думал я про себя и почти бежал, не чувствуя под собою ног,— милые, милые разноцветные детки, качайтесь, качайтесь на качелях!..»

Были будни, и к тому же жара, и вероятность напороться на мусоров была не слишком велика (была надежда, что сегодня они будут сыты Паркинсоном, да и мой «Будвайзер» тоже был неплохой тушёвкой); во всяком случае, пока Герасим был спокоен, у меня тоже не было оснований вестись. Но когда мы вошли в сырой и полутёмный подъезд, я вспомнил про Хали-Гали. Свет в конце тоннеля заслонили красивые и страшные Галкины ляжки, я испугался и приостановился.
— Постой, Гер, а что ты Гале скажешь?
— Скажу, что я святой... Да не ссы, нет её; уехала сегодня утром: ей с Кузеном свидание дали.

Галкины ляжки рассосались в несказанной лазури. Мы остановились перед знакомой обшарпанной дверью на втором этаже, и Герасим выбил из неё костяшками дробь неуловимого— для нормального человека— ритма. Через минуту дверь приоткрылась на два вершка, и мы юркнули в тёмную прихожую.
— Это кого ты привёл?— раздался похожий на Галкин голос, только помоложе.
— Пика,— сказал Герасим и протолкнул меня в кухню, где было чуть светлее. За нами зашла Валька, некрасивая, но тоже, по-наркомански, сексуальная.
— А он деньги принёс?— спросила она.
— Принёс, принёс,— не глядя на неё, деловито молвил Герасим, доставая из-под комода закопчённую железную кружку и остальные причиндалы,— принеси один чек, киска.
— Пусть покажет,— сказала Валька, не двигаясь с места.
— Принеси, я сказал, один чек, твою мать!!— неожиданно заорал Герасим во всё горло, так, что и Валька, и я— оба вздрогнули.

Я был на последнем издыхании и чуть не обделался тут же, в чужой кухне, но Валька была под кайфом и как-никак у себя дома. Она молча повернулась и вышла.
— Рожа барыжная!— прошипел ей вслед Герасим, зажигая плиту.
— Ты же сказал, что чек у тебя на нычке, Гера,— простонал я с нежным упрёком.

Герасим молчал.
— Не принесёт,— тихо сказал я, опускаясь в изнеможении на табурет.
— Да иди тоже на хер,— сказал Герасим коротко и ясно.

Дверь снова приоткрылась и на пол шлёпнулась целлофанка с бурой кляксой в середине.
— Ну, всё, Гера, хана тебе, так и знай,— ровным голосом произнесла Валька, потом посмотрела на меня:— И тебе тоже.
— Прикрой дверь, киска,— так же спокойно ответил Герасим, поднимая чуток,— и так хата ангидридом провоняла.
— Педераст,— сказала Валька, но дверь закрыла.

Герасим готовил раствор, я сидел и дрожал от нетерпения и полноты ощущений, как моральных, так и физических. «Вот он, вот— миг вожделенный; альфа и омега, Сцилла и Харибда, синус и косинус, катет и гипотенуза, кульминация и пролог, Рем и Ромул, Наль и Дамаянти, Тристан и Изольда; вот оно— счастье, вот он— конец страданий, убежище странникам ночи, притин мученикам совести, венец блаженства, час пик...»— бормотал я про себя всякий вздор, казавшийся мне тогда сокровеннейшей поэзией. Почему-то я вспомнил давешнего спортивного Дон-Кихота с его Дульсинеей, и теперь их благополучие показалось мне жалким, обыденным и прозаическим.

Впрочем, хоть моё счастье и было круглым, как новорождённый месяц,— его лик омрачала маленькая щербинка. Рези внизу живота усугублялись пропорционально блаженству духа; эта низкая нужда была столь же острой и безотлагательной, как моё высокое алкание. Главное, я знал, что если не удовлетворю её теперь, то уже не удовлетворю до следующего хумара вторых, а то и третьих суток. Я поднял голову. Герасим только сушил (в вопросах кухни он был, как все наркоманы старого режима, нетороплив и педантичен), у меня ещё было время.

— Герасим, — сказал я, — я хочу в сортир.
— Сейчас расхочешь, — ответил он, потом оторвал глаза от сакральной кружки, посмотрел на меня, мелко затряс головой и сказал: — Ушлый ты всё-таки тип: пивом тебя напои, уколи тебя, посрать тебе дай; а потом и задницу попросишь вытереть… Иди, если Вальки, сучки этой кусачей, не боишься или что я тебе смывки замучу…

Увидев, что я принимаю его аргументы, Герасим улыбнулся:
— Я вот неграмотный, но одну древнеримскую примочку про это знаю: всё своё носи с собой… Эх, Пик, Пик, бросай это грязное дело. Зачем оно тебе надо? Ты же не такой.

Меня как-то странно, будто током, ударили эти слова, и я словно впервые увидел человека, который их произнёс. Герасим уже выбирал. Шприц он тоже держал по старинке, классически, как Айболит.

В это время из прихожей послышался стук, не тот, каким стучал Герасим. «Менты!..» — крикнуло сердце и забилось в конвульсиях.

Герасим вскочил со стула, приоткрыл кухонную дверь, просунул в щель голову и зашипел:
— Киска! Не открывай! Спроси кто!

Навстречу зашипела Валька:
— Ты чо раскомандовался, козёл?!.. Ты кто здесь такой?! Педераст!..

Меня затошнило от ужаса, потому что раствор уже был готов — прекрасный, янтарно-прозрачный, лучезарно-коньячного цвета раствор.
— Кто там? — спросила Валька — и через паузу: — Деньги принёс?.. Тогда иди воруй… Нет, я сказала… Этого козла тоже нет, и тоже пусть ворует… Её тоже нет. Всё.

Наступила тишина.
— Умница, киска, — просвистел Герасим ласково. — Поставить тебе укольчик?

Получив в ответ прежний адрес, Герасим нежно прикрыл дверь, сел на место, как-то лукаво ухмыляясь, добрал из фуфыря остатки, снял пожелтевшую ватную шишку с кончика иглы, щёлкнул по баяну пальцем, аккуратно положил каплю раствора себе на запястье, слизнул её языком, удовлетворённо почмокал губами и сказал:
— Ну что, Пиксель-шмиксель, братан; защищайся!

Не знаю как: то ли по ухмылке Герасима, то ли ещё по чему (интуиция в вопросах щекотливых у наркоманов тоже отменная), — но я сразу понял, что стучался не кто иной, как Чукча.

Я звонко сглотнул и засучил рукав.

Вечером того же дня я встретил на стороне Чукчу. Чукча помирал. Вид его страданий — аналогичных тем, от которых я был сегодня таким чудесным образом избавлен, — не причинил мне боли, но, напротив, как-то подчёркивал моё собственное блаженство, делал его более ощутимым, весомым и глубоким. Ширево у Герасима оказалось мощное, а сам он — щедрее, чем даже обещал: ведь мне он обещал только полчутка — а сделал целый. Я зависал через каждую минуту, едва успевая зажечь новую сигарету (я не помнил, откуда у меня взялась пачка «Золотой Явы» — вероятно, тоже с барского Герасимового плеча), и включался только тогда, когда она начинала мне обжигать пальцы. Теперь я сам был царём времён и Петром и Павлом, и над головой у меня сиял нимб.

Мы сидели в уютном детском садике «Мурзилка», на низенькой скамье среди кустов сирени. Кругом было много разных качелей, но сейчас качаться было смешно. Чукча беспардонно, будто в положняк, курил мои сигареты, поминутно сплёвывая и сморкаясь зелёной водой, не переставая стонал и всматривался в «котлы» через каждые пятнадцать секунд. Он говорил, что Мулла обещал принести ему смывки — и вот его уже не было два часа.
— С-с-сука, Мулла, что же ты со мною делаешь, козёл… — кряхтел он и время от времени искоса на меня поглядывал с нечеловеческой ненавистью и благоговением одновременно.

Чукча был очень маленький очкастый толстячок, совсем не наркоманского, на неискушённый взгляд, типа, больше похожий на прилежного студента-естественника, чем на мелкого воришку и «беруна», хоть не слишком удачливого. Нос у него был пимпочкой, глаза узкие и хитрые (отсюда и прозвище), и весь он был очень подвижен и моложав. Внешностью своей он умело пользовался: при старом режиме он воровал, надевая синий гимназический сюртук и повязывая на шею пионерский галстук, а фомки носил в ранце. В те времена он был гораздо удачливее, и потому любил старый режим хвалить и даже считал себя по политическим убеждениям коммунистом.
— Пик, так ты где, говоришь, шпиганулся? — спросил Чукча.
— А я разве сказал? — парировал я не только ради красного словца.

Я хоть и был весь в паутине, но хорошо помнил, что Герасима сдавать нельзя. Хали-Гали действительно были в куражах, что объяснялось Галкиным с Кузеном свиданием. Кузен был если не авторитетным, то популярным вором; Галка, оказывается, давно и тщательно, воображая себя, по неожиданно выразительному определению Герасима, «женой декабриста», готовилась к этой поездке и, уезжая, приоткрыла заначки и оставила домочадцам на жизнь, строго запретив банковать до её приезда и, во всяком случае, отпускать лекарство должникам.
— Погарцуй, погарцуй, — обиженно и ядовито сказал Чукча, — посмотрим ещё, на чей хрен муха сядет.
— Да какая тебе разница, где? Не изводи себя, Чукча. Это же мастурбация, — сказал я, прикуривая новую сигарету.
— Да вот именно что никакой; просто хотел посмотреть, как ты будешь понты колотить.

Начало смеркаться, и Чукча запаниковал, потому что для наркомана нет ничего страшнее ночной абстиненции. Однажды Пономарь, оставшись днём несолоно хлебавши, ушёл из дому — ввиду возникшей неожиданно перспективы — ночью, когда паханы уснули, спустившись с девятого этажа по водосточной трубе. Чукча, у которого на жёсткой скамейке давно затекла задница, сидел, скрючившись, на корточках.

— Ну, Мулла, ну, падла, ну, коз-з-зёл…—уже без пауз стенал он, то и дело хватая себя за волосы и раскачиваясь из стороны в сторону, что было похоже на отправление неортодоксального религиозного обряда.

Я вспомнил себя и великодушного Герасима, и мне стало Чукчу немного жаль.

— Потерпи, братишка,—сказал я,—сейчас, увидишь, нарисуется твой Мулла…

Тут действительно в кустах за спиною раздался треск, и в сумерках выткался знакомого контура фантом. В Чукчиных очках сверкнули ужас и высший религиозный экстаз. Он бросился навстречу призраку с истошным воплем:

— Ты, что—солому, что ли, варил?!..

— Да иди уройся, даун,—сухо ответил фантом.— Я тебе что, обязан, что ли? Делай, сука, после этого людям добро… На, колись, тварь неблагодарная.

Чукча опять прибежал к скамейке.

— Пик, братуха, посвети!..

Я зажёг зажигалку. Руки у Чукчи дрожали как в лихорадке. Он закатал левый рукав.

— Мулла, братуха, подержи!..

Мулла (он уже подошёл) с неопределённым ворчанием взял его за руку выше локтя обеими руками и передавил вены, о наличии и расположении которых можно было догадываться только по сплошным кроваво-фиолетовым дорожкам. Газа в зажигалке было на самом дне, огонек был слабенький, чахлый, как наркоманская вера в завтрашний день, и попукивал.

— Мля-а, мля-а, мля-а…—плакал Чукча, никак не попадая.

— Дома!—сказал Мулла.

— Да где там «дома»!—проскулил Чукча.

— Да дома, говорю!—закричал Мулла.—Контроль!

Чукча посопел и нерешительно нажал поршень.

— Жжёт!.. Мулла, падла!

— Да сам ты падла! Это димедрол!

— Да не свисти! Под шкуру пошло! Вон шишка!..

— Выходи,—сказал я.—Дай сюда.

Мулла достал свою зажигалку и передал её Чукче, и тот зажёг её, держа в левой руке. Я взял баян и посмотрел его на огонёк. Внутри плавали безобразные красные ошметки.

— Был дома,—сказал я,—дай другую корявку.

Другая рука Чукчи была не лучше; Мулла опять передавил ему вены; я побуксовал, убедился, что игла не забита, оттянул большим пальцем левой руки дублёную Чукчину шкуру и вошёл как можно более плавно, не спеша, срезом иглы наружу, прислушиваясь к каждому миллиметру проходимого участка. Тупая, видавшая виды капиллярка была уже на три четверти в Чукче, когда я почувствовал на пути препятствие.

— Тш-ш-ш; молчать и не двигаться,—прошептал я,—всем оставаться на местах.

Кругом была уже ночь и пели сверчки; со стороны жилых корпусов дул прохладный ветерок; в нём слышался запах то борща, то бензина, то просто городской пыли; оттуда доносились до нас крики домохозяек, добрый хохот подгулявших после работы мужиков и тявканье мосек; а мы втроём были всего лишь частью ландшафта, как гипсовые слоники и жирафы на площадке невинных забав; и то, что мы этого не знали, не делало наше существование более реальным—как незнание закона не освобождает от ответственности. На какое-то мгновение мне показалось, что это было всегда и будет всегда: вот это странное, самым крупным планом, соединение шести рук, шприца и контрабандной зажигалки, за которую пострадал Прометей; что это мгновение будет тянуться вечность, что мы—скульптурная композиция, своего рода Лаокоон, что будут на земле рождаться и умирать люди, возникать и рушиться царства и что на самом деле Чукча, бедный Чукча, так и будет ждать прихода—и никогда его не дождётся, как голым родосским мальчикам никогда не высвободиться из объятий змея. Я испугался наваждения, и чтобы убедить себя, что не окаменел, я двинул шприц дальше.

Я почувствовал, что препятствие преодолено, и даже услышал треск уступившей моему усилию венной стенки. Теперь я был и без контроля уверен, что игла «дома», и не стал буксовать, чтобы она опять не забилась тяжелыми хлопьями негодной Чукчиной крови. Стараясь не потерять внутреннего пространства вены концом иглы, я уложил баян и кистью левой руки строго зафиксировал его на предплечье Чукчи, а правой нежно, как скрипичный смычок, тронул и повёл поршень.

— Тш-ш-ш…—сказал я ещё раз, чувствуя, что по телу Чукчи, изнемогшего от напряжения, пошла турбуленция.

Я выжал поршень до упора, услышал, как баян сморкнулся последней пенкой, вышел и сказал уже громко:

— С добрым утром, Чукча. Погаси свет, не пались.

Чукча выключил зажигалку, и нас объяла тьма.

— Ну как?—спросил Мулла через минуту.

— Вода,—сказал Чукча, но уже другим голосом.

— Ну ты и животное!.. Нет, ты понял, Пик?.. «Вода»!.. Вот скотина, а!..

— Тише, тише,—попросил я.

В темноте справа послышалось шарканье чьих-то ног; ноги остановились метрах в десяти, кто-то нерешительно кашлянул, и старческий голос сказал:

— Ребята, уходите, пожалуйста, отсюда… Здесь, видите ли, детки маленькие… играют… утром… и днём…

— А мы, может, тоже детки маленькие! Вечерняя смена!—крикнул в темноту Чукча животным голосом.

— Канай давай, старый, в свою сторожку!—присовокупил Мулла.—Мы тебе не мешаем!

— Ре-ебята,—сказала темнота,—я, оно конечно, этого не хочу, и вы… м-можете меня даже… побить. Я… и милицию не успею вызвать, но… совесть у вас… есть?

— Не будем мы тебя бить, отец,—сказал я.—И милиции тоже не надо. Мы уходим.

— Вот спасибо тебе, сынок,—ответила темнота,— но… не хотел бы я быть… твоим отцом, сынок…

Мулла что-то хотел сказать и уже набрал воздуха в свои дырявые лёгкие (чахотка ему досталась в наследство, от неизвестной ему женщины, которая

его когда-то родила и потом сгинула в зонах), но я с силой, резко дёрнул его за рукав, и он заткнулся.

Мы форсировали живую сиреневую изгородь, потом железный забор и оказались на неширокой улице, тускло освещённой двумя-тремя фонарями и несколькими окнами выходившей на неё тыльной стороной пятиэтажки.

— Я пошёл домой,— сказал Мулла.

— Давай на Молоканку чухнем,— сказал Чукча.

Он всё ещё зажимал место укола своей грязной «марочкой», в которую целый день сморкался и чихал.

— Никуда я с тобой, животное, не чухну,— ответил Мулла, обязанный своей звучной «погремухе» бедуинской наружностью и пристрастием к чёткам, которые и достал из кармана.— А что там есть?

— Патрикей деньги должен.

— Да не свисти; когда у тебя деньги были? Ты же с керенских времён бомжуешь.

— Вот он мне, тля буду, с керенских времён и должен.

— Всё равно, хрен ты его достанешь. Патрикей кому только не должен. А больше всех вон Пику. Он уже месяц от кредиторов, как мыша, бегает.

— А я знаю, как его выдернуть.

— Как?

— А мы ему скажем… что Пик врезал и что надо его из морга забрать!— Чукча мелко и высоко захихикал, очень довольный своей остротой.— Он обрадуется— и тут мы его, осетра старого, за жабры и возьмём!.. Слышь, Пик, а тебе он как заторчал?

— А Пик его всю дорогу на халяву катает. Он же добрый. Сам, прикинь, Патрикею звонит, когда воздух бывает. Патрикей за это сильно его признаёт, кнокает, можно сказать. Пик, говорит, далеко пойдёт. Стремящимся будет. Надо, мол, его лоббировать.

— А что?.. Пик красавчик, тля буду. По этой вене не только стремящийся, но и вор законный не вмажет.

Мне не хотелось говорить, хотя моё молчание могло быть истолковано как-нибудь криво. Я прикурил сигарету, присел на корточки, вспомнил, что обещал Герасиму Чукчу убить, и подумал, что ухайдокал бы заодно и Муллу— не потому, что они так легко прочили меня в стремящиеся (в их отношении ко мне всегда была какая-то беспочвенная наркоманская ревность, тщетно прикрываемая иронией), а просто чтобы посмотреть, как они будут умирать. Оба они не стоили Патрикеева мизинца, хоть и было правдой, что он меня малодушно тушевался. Старое-то я ему давно уже скостил, но вот эти последние четыре чутка, которыми я грузился у Хали-Гали, тоже были нашим общим долгом, а Патрикей опять пропал.

— Да-а,— вздохнул Чукча, тоже присаживаясь, слева от меня,— тяжёлые пошли времена. Раньше какое раздолье было! Я только из интереса спортивного воровал: хотел блатную карьеру сделать; в зону тоже для этого пошёл, хотя пахан, царство ему небесное, мог отмазать… Ширева было— ну просто твою за ногу— море!.. И какое!.. Вспомню— плакать хочется. Ты, Мулла, молодой, этого рая эдемского не застал. Сами мак резали; в Моздоке в каждом огороде плантации были: тамошние бабки культивировали, чтобы кренделя свои посыпать. Как войдёшь в такой палисад— аж голова кру´гом, и колоться не надо!.. А сейчас? Разве это лекарство? Без ангидрида сварил— заказывай отходную. Барыги, безбожники, чем только не куклят— мукой, аспирином, мумиём,— и ещё дерут втридорога, и чутки, тля буду, всё меньше и меньше день ото дня. Я когда очки снимаю, не вижу ни фига: есть там хоть что-нибудь на целлофанке или нет…

— Да им по барабану— видишь ты или не видишь, очкарик,— сказал Мулла, присаживаясь на корточки справа.— Главное, что они сами как сыр в масле катаются. Дай, Пик, сигарету.

Я достал из пачки последнюю сигарету, а пачку скомкал и бросил под забор.

— Покурим, Мулла,— сказал Чукча.— Да-а, в прежние времена этих барыг сразу бы на цугундер надели; а теперь они самая блатная масть. У самих мусоров крышуются… А!.. Слышали? Паркинсона хлопнули.

— Да ну?— удивился Мулла.

— Тля буду.

— Будешь, если чешешь. За что?

— За измену родине. За что его могли хлопнуть? Филки вовремя не отстегнул.

— Вот бы его, козла лысого, закрыли!— мечтательно пропел Мулла.— В самой что ни на есть воровской наркоманской зоне! Там бы ему показали благородные пацаны, как нашего брата притеснять!..

— Да, его закроют; раскатал губу. Подержат— выпустят. Да и хрен с ним, с этим Паркинсоном. Мне за Хали-Гали обидно, вернее, за Герасима, конкретно. Какой, тля буду, фартовый карманник был— и тоже скурвился.

— Почему Герасим скурвился?— спросил я, не открывая глаз.

— Опа!— сказал Чукча и хихикнул.— Ты ещё здесь, Пик? Я думал, ты уже в полях, мля, Елисейских!..

— В садах, мля, Гефсиманских. Почему Герасим скурвился?

— А как это называется? Понятия наглухо забыл, пацанов не уважает, Хали-Гали зад лижет, лишь бы хумарить не давали…

— Ему хумарить нельзя,— сказал я, чувствуя, что начинаю нервничать,— он хумара и полдня не вывезет.

— Охренеть! Мне, значит, можно, Мулле можно, тебе можно— а ему нельзя! Он что— герой труда?

— Почётный пенсионер. Тебя желоба душат— так и скажи. Тебе кто мешал Вальку охмурить?

— А мне, может, честь босяцкая мешала с этой барыжной рожей шуры-муры разводить! Я, может, про то думал, что как пацанам буду в глаза смотреть, когда у них зуб на зуб не попадает!.. Да, короче, Пик, будто сам не знаешь, что я прав!..

— Не знаю; вот если бы ты это Герасиму сказал— тогда бы, может, знал.

— А что Герасим? Почему я ему не скажу?

— А что до сих пор не сказал? Он что— пять минут назад скурвился?

— А как я ему скажу, если он в своём санатории закрылся и носу не кажет, с утра до вечера только

колется и эту шкуру трахает?.. Мулла, падла! Я же просил тебя оставить покурить!..
— Откуда ты это знаешь?
— Что?
— Что он с утра до вечера колется и эту шкуру трахает.

Я был почти уверен, что Чукча сегодня заходил к Хали-Гали, и всё-таки ждал, «лопнет» он или нет, чтобы удостовериться в том, что я перед Герасимом спалился, а он меня простил.

— Как откуда? Ты что, издеваешься, Пик?! А что он там, газеты читает?

Чукча, очевидно, ни за что не хотел «лопнуть»: он подозревал, что я мог быть свидетелем тому, как Валька его в замочную скважину воровать послала.

— Откуда ты знаешь, что не читает?
— Короче, Пик! Если ты хочешь поссориться или забазарить, ты знаешь, что я заднюю не врублю.
— Ничтяк. Пойдём,— сказал я и встал.
— Да вы чо — погнали, что ли, оба?! — закричал Мулла, подскочив как ужаленный и втиснувшись между нами, лицом ко мне.— Пик, не гони, братан! Чо это за туфта, в натуре? Вам чо делить?!..
— Пусть не балаболит. За слова отвечать надо, чтобы про старые времена и про понятия жужжать. Вы оба, вместе взятые, Герасиму не чета; и Патрикею, если на то пошло, тоже.
— Ну и ладно, согласен. Какие проблемы? — сказал Мулла примирительно.
— А я не согласен! Я не согласен, ты понял?! Я не согласен!..— заверещал Чукча, выпрыгивая, как чёртик из коробочки, то из-за одного, то из-за другого плеча Муллы. Его истерика была немного деланной, но, по правде говоря, он имел право на этот борщ. Мулла развернулся к нему, схватил под мышки и переставил чуть подальше.
— Да не ори, Чукча! Сейчас мусора слетятся! Вон уже людей разбудил!
— А чо он выёживается?! Нет, чо он передо мной выёживается? Я за свои слова отвечу, Чукча всегда отвечал!..
— Отвечал, отвечал, успокойся,— говорил уже тихо Мулла, и я был ему немного благодарен, что мне не пришлось самому Чукчу успокаивать, потому что убивать его было всё-таки не за что.

Я похлопал себя по карманам, вспомнил, что сигареты вышли, и, увидев, что Мулла преуспел, сказал:

— Ладно, Чукча, мир. Пойдем тусанёмся, косточки разомнём; может, сигарету стрельнём.
— Да куда нам тусовать? — сказал Мулла, чуть помедлив.— Тут для нас бульваров нету; у нас же у каждого санкция на арест на лбу нарисована, с печатью.
— А мы весело пойдём, как спортсмены.
— Ну да,— сказал Чукча глухо, с достоинством,— давай ещё штаны снимем и побежим, с понтом — «Трудовые резервы».

Шутка была изрядная, к тому же стоило теперь Чукчу и поощрить,— и я рассмеялся. Засмеялся и Мулла, опять закрутив чётки, и Чукча тоже, не в силах сдержаться, осклабился (за эту слабость я его почти простил) и добавил, печально вздохнув:

— Эх, тля буду, море, тля буду, чайка, где моя молодость, галстучек мой пионерский!..

Не решившись идти в сторону трассы, по которой часто летали банальные «бобики» и коварные, зашифрованные «шестёрки», битком набитые злыми и грубыми оперативниками, мы не спеша направились в глубину жилого массива, уже почти полностью погрузившегося во мрак. Кое-где ещё светились открытые по случаю духоты окна кухонь и спален, и из них изредка слышались то приглушённая телемузыка, то праздный разговор, то неуклюжий звон посуды.

— Прикинь, сколько окон,— сказал Мулла тихо,— и везде-то люди живут.
— Это туфта,— ответил Чукча,— ты лучше, тля буду, прикинь, сколько там филок, если их все в кучу собрать!.. Вот скажи, Пик, я одного не понимаю: зачем им деньги, если они не кайфуют? Ну, хорошо, допустим, я бросил воровать, устроился на работу куражную или к бизнесу какому притулился, деньги, допустим, как из рога изобилия на меня посыпались — а дальше что? Что с ними делать, если я не колюсь?

Вопрос был самый тупой, но я был в затруднении.

— Не знаю,— сказал я, чтобы Чукча не подумал, что я им манкирую.— Может быть, построить дом, посадить дерево, родить сына и воспитать…
— Да ладно, не чеши. Это в книгах пишут, а я тебя по-пацановски спрашиваю, если ты такой, тля буду, умный. Я так думаю, что они как бы слепые, потому что кайфа не знают. Вот сейчас возьми и самого примерного семьянина вмажь по-хозяйски, чтобы аж из туфлей выпрыгнул,— тут его распримерная жизнь и закончится. Хату заложит под проценты, дерево на спички спилит, а сына воровать пошлёт. Это почему так?
— Это ты, Чукча, туфту какую-то гонишь,— сказал Мулла.— Все, значит, слепые, один ты, очкарик, зрячий.
— А почему бы и нет? Отцов этих, как их, святых — тоже всегда было один на миллион, а Христос вообще, тля буду, в единственном экземпляре. Может, ширево — оно тоже вроде как источник святой, вода живая, и потому кто раз попробует — всё забывает. А?
— А если не живая, а мёртвая? — спросил резонно Мулла.

Чукча засопел, прочистил горло, харкнул, будто пробку винную выплюнул, и сказал:

— Мак, небось, тоже мать-земля даёт; значит, не мёртвая…

Тут Чукча как-то неестественно резко шарахнулся, комично всплеснув руками, в сторону и чуть не упал. Мы с Муллой посмотрели на него с удивлением и тревогой.

— Йоо твою за ногу! Чо это было?! Вы видели?..
— Чо случилось, Чукча?..— спросил Мулла серьёзно,— не пугай, даун, и так страшно…
— П-птица какая-то… чуть в рожу не вцепилась… крылом по лицу ударила, мамой клянусь… А, Пик?.. Что это была за корча?

Я подумал и сказал:

— Знамение.

— Какое ещё… знамение?
— Божье,— шепнул я,— колоться надо бросать.

Мы стояли на углу долгостроя, за которым простирался знакомый неширокий пустырь, заросший бурьяном и казавшийся сейчас бескрайним полем, потому что было совсем темно; не было видно в небе ни звёзд, ни луны, как и облаков, которые их закрывали. Я только смутно угадывал силуэты Муллы и Чукчи, но зато слышал их сбитое дыхание и знал, что им обоим отчего-то жутко,— знал, потому что и сам чувствовал то же. Жуть была беспричинная, как в тривиальной детской страшилке, и если бы я сейчас рявкнул внезапно: «Отдай моё сердце!!!» — двумя наркоманами стало бы меньше. Хотя наркоши, вообще говоря, народ бесстрашный — не в смысле храбрости и отваги, а именно бесстрашия: страх просто неведом им, как многое другое,— они закрыты и для страха.

— Не гони, Пик,— тихо проговорил Мулла, не шевелясь,— это, наверно, просто ласточка пролетела…

— Да не мороси, Мулла,— пробурчал жалобно Чукча.— Разве ласточки ночью летают?.. Это, наверно, летучая мышь или сова… Ты, пойдём отсюда, а? куда посветлей…

Меня как-то странно тронула Чукчина осведомлённость о ласточках, потому что вряд ли он когда-нибудь до той ночи смотрел в небо; тогда ни я, ни Мулла, ни Чукча не знали, что ласточки, предчувствуя раннюю осень, уже улетели в тёплые страны, недоступные зимам. Мы медленно повернулись и пошли обратно той же тропой, стараясь не шуметь и не размахивать руками. Чукча шёл, втянув голову в плечи и опасливо поглядывая на ходу вверх и по сторонам. Он всё время невольно ускорял шаг, и, поскольку никто не хотел быть замыкающим, мы очень скоро вернулись туда, откуда начали свою прогулку.

— Всё,— сказал Мулла.— Я пошёл домой.
— Может, на Молоканку чухнем? — спросил Чукча, хоть и без энтузиазма.
— А что там есть? — засомневался Мулла.
— Патрикей деньги должен.

Когда я подходил к своему дому, было далеко за полночь. Кайфа уже не было; от него осталось только непрерывное судорожное напряжение во всём теле и, главное, в сердце, которое словно кто-то сжимал холодной железной пятернёй. Очень хотелось ещё раз покурить, но сигарет не было, как не было на улицах и во дворах ни одной живой души: не у кого было и стрельнуть. Я поднял голову и посмотрел — ни одному человеку на земле не стоило это простое движение такого усилия и муки — туда, где должны были быть наши окна. Как всегда, в них горел свет.

3.

Вернуть долг Хали-Гали мне не довелось. Я пролежал дома неделю, грызя подушку и обливаясь пóтом, среди кошмаров, которые были более реальными, чем люди, которые меняли мне бельё, носили чай и щедро, как боги, давали мне курить в постели. Белый дневной свет был невыносим моим глазам, я мечтал ослепнуть и оглохнуть, чтобы этот страшный мир отступил от моего одра. Я завидовал мертвецам глубоко под землёй, их крепкому, беспробудному сну без химер; нетленному букету прошлогодних полевых цветов, принесённому ко мне не знаю зачем; книгам на полках, полным величественного покоя, порядка и мысли; мухам, которые иногда залетали в мою комнату; комару, которого я неделю поил моей кровью, и разговаривал с ним, как с существом, которое всё понимает, и умилялся на него, и удивлялся, что моя кровь кажется ему вкусной. Он стал жирный, как паук, и когда его заметили, я попросил не убивать его, а отпустить на волю — чтобы на волю летела моя кровь.

Да, мне не довелось вернуть долг. Через неделю я начал вставать; и вскоре ко мне позвонил Патрикей. Мне было страшно слышать его голос, но я вытерпел всё до конца. Он деликатно осведомился о моём самочувствии, извинился за долгое молчание и рассказал, что четыре дня назад к Хали-Гали ночью ворвались неизвестные, зарезали Герасима и Вальку, забрали всю «аптеку», деньги и золото. Тогда же от Патрикея я узнал, что у них же в доме была, оказывается, ещё старуха, Валькина и Галкина мать; она уже лет десять лежала в параличе, в маленькой детской, в глубине квартиры, куда никто, кроме сестёр, никогда не заходил, а клиенты о ней и не знали. Под её матрацем они и держали добро; налётчики её не тронули, просто перенесли её на диван, в гостиную, где уже лежали в крови трупы Вальки и Герасима. Про Галку, сказал Патрикей, ничего не известно; но говорят, что это наверняка навёл, проигравшись в зоне, её Кузен. И уже после того, как попрощался, добавил так, между прочим, что Чукча повесился.

Прошло девять месяцев; сначала была ранняя осень, потом долгая зима, затем наступила весна — и ласточки прилетели. Просто однажды утром я проснулся от их щебетанья, похожего на то, как если бы высоко в небе журчали сотни прохладных прозрачных родников. Я сказал себе: «Ласточки прилетели»,— и улыбнулся. Улыбка была так непривычна лицу, что я его потрогал. Лежать не хотелось; я встал, подошёл к окну и широко, в полный мах, распахнул шторы.

Ласточки прилетели. Какое это прекрасное слово — «ласточки»! И как прекрасен язык, и как мудр и просветлён человек, дающий такие лазурные имена своим любимым вещам, идеям и птицам! Но и самый худший из людей может ещё быть оправдан: нет такой бездны, где он мог бы укрыться от Божьей милости, от родительского прощения.

Не падает яблоко от яблони слишком далеко. Даром что яблоко круглое; таким оно уродилось на свет, повторяя собою землю и звёзды,— и может, упав на пригорок, откатиться в сторонку. Там опалит его суровое солнце до глянцевитой гнойной синевы, прилетят к нему мухи и сползутся нечистоплотные жуки, и останется от него горсточка

беспробудно спящих семечек. Они лягут на землю удобно, навсегда, и когда проснутся — умрут; и будет новая яблоня.

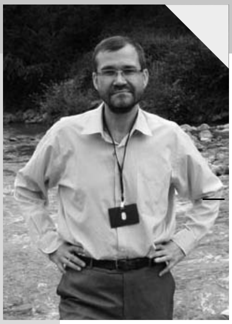
Вот прилетели ласточки; и сегодня в полдень была такая гроза, что захватывало дух, и ласточки устроили праздник, какого я никогда не видел. Их было не счесть, как ворон в ноябре, как мошкары на закате лета; плотной чёрной тучей они поднялись высоко-высоко и там неподвижно стояли в небе на одном месте, преодолевая тугие порывы ветра. Мама говорит, что они купаются, что так они празднуют новоселье: какой счастливый обычай, какое невыносимое зрелище для человека, лишённого благословения! Хорошо, что я не видел купания ласточек прежде.

Люди спрашивают: куда уходит детство? Никуда; но мы от него уходим. Сначала мы идём вместе, рядышком, держась за руки, мы друзья и братья, и мы одно целое,— пока оно не начинает отставать; тогда мы отпускаем его руку, и вот оно оказывается у нас за плечами; оно смешно ускоряет шаг, пытается тебя нагнать, трогает сзади за плечо, цепляется за край одежды, зовёт по имени и поёт свои песни — тщетно: ты уходишь всё дальше, ты горд и тщеславен и уже бессердечие почитаешь первой мужской добродетелью. Вот оно бежит, спотыкается, падает, плачет, заклинает, но голос его уже не слышен; наконец, отстаёт безнадёжно и умирает, маленькое и нагое, на дороге, по которой ты шёл как завоеватель.

Откуда ты знаешь, что твоё счастье не в том, чтобы потерпеть поражение, о грозный и гордый завоеватель жизни? Если смилостивится над тобою небо, то, может быть, наголову разбитый, ты пойдёшь назад той же дорогой — и отступление станет твоей подлинной судьбой? Тебе придётся преодолевать вброд реки, над которыми ты так легко жёг мосты, и видеть страны и города, которые ты превратил в пустыню, и трупы казнённых тобою радостей, висящие на иссохших деревьях,— и они не утолят твоей жажды. Ещё дальше погонит тебя твой гневный сияющий враг, и вот, вконец обессилевший, ты увидишь его — маленькое и нагое, нетленное белое тельце, распластанное в пыли дороги. Сердце подскажет тебе, что в нём — твоё спасение, что только оно может быть твоим заступником; наконец ты сбросишь тяжёлый и ненужный доспех, и упадёшь перед ним на колени, и будешь плакать, плакать, плакать — если сподобит слезами Бог. И твой гневный сияющий враг не нанесёт удара.

Ласточки прилетели. Какой это беспокойный и смелый народ — ласточки! И сколько доверия к человеку, снисходительного и тоже божественного; ибо что заставляет их строить гнёзда над нашими грязными окнами?.. Ласточки прилетели. Ласточки всегда прилетают. Это судьба.

И так она прекрасна, что каждое слово хочет стать последним, а дальше — тишина; прости и помилуй, Господи!



Евгений Степанов

Незнакомка в метро

Спасение

На исторический факультет в областной педагогический институт я поступил сразу после школы. Это было в 1981 году.

Учился хорошо и непринуждённо, без «удочек». Лёгкие, как ласточки, студенческие годы пролетели быстро.

В 1986 году меня распределили в сельскую школу в Кубиковскую черноземную область.

В отличие от многих своих сверстников, я за областной центр не держался — у меня складывались сложные отношения с моей девушкой-однокурсницей, мы изводили друг друга взаимной и не знающей пощады русской ревностью, спортивную боксёрскую карьеру я к тому времени завершил и готов был уехать куда угодно. Да и в армии служить не шибко хотелось. А на сельских учителей распространялась бронь.

…Я приехал в район в августе, накануне учебного года. Прошёлся по селу. Увидел огромные колхозные поля, свежие не вырубленные просеки. Село состояло из двух больших улиц, вдоль которых виднелись низенькие одноэтажные бревенчатые избы с мезонинами. Магазин был один. Туда привозили белый хлеб (который местные жители ласково называли булочкой), чёрный ржаной хлеб, водку, жигулёвское пиво и мыло. Ещё иногда на прилавки выбрасывали консервы. За всем остальным приходилось ездить в райцентр.

Я шёл через поле к старой двухэтажной деревянной школе, комья жирной, питательной чернозёмной земли прилипали к моим нелепым городским туфлям.

Поле перерастало в лес. Я зашёл и в лес — красивый, сосновый, правда, немного загаженный. Повсюду валялись пустые бутылки из-под водки и жигулёвского пива…

Директор школы — сорокавосьмилетний стареющий бородатый математик Сергей Иванович Хорин — встретил меня очень радушно, я оказался вторым (кроме него) мужчиной в школе; он предоставил мне в пользование пустующую избу, газа и телефона в ней не было. Удобства — во дворе. Но посредине небольшой комнаты стояла внушительная русская печь с лежанкой.

Я стал обустраиваться.

Дрова мне приходилось колоть самому, но я не расстраивался. Это была хорошая физкультура. Берёзовые чурбаки горели долго и хорошо, хотя и оставляли опасную копоть в дымоходе. Печка нагревалась нескоро, но держала тепло до утра.

Когда печка протапливалась, я прислонялся к ней спиной и блаженствовал.

Во время топки иногда открывал задвижку и смотрел на огонь. Дрова умирали в печке быстро, как мои молодые дни и ночи здесь, в деревне.

В школе, помимо того что я стал вести историю в старших классах, за мной закрепили пятый класс как за воспитателем группы продлённого дня. Мне положили очень приличную зарплату — сто сорок рублей. Это со всеми прибавками.

Кроме того, директор школы Сергей Иванович раз в квартал привозил мне бесплатно мешок пшёнки и мешок картошки.

До ближайшего райцентра было недалеко — километров пятнадцать. Я туда ездил на выходные — занимался в районной библиотеке, смотрел подшивки газет, покупал крупы, сухари, сухофрукты, грецкие орехи, хурму… В нашем райцентре делали замечательные куры-гриль, и, отстояв в очереди часа два, можно было запастись местным деликатесом.

На центральной площади в райцентре функционировали горком партии и горком комсомола. Напротив стоял величественный храм, куда в основном ходили старушки.

В райцентре я набирал домой побольше книг и уезжал. Больше развлечений у меня практически не было. Но и не читал я никогда так много, как в те годы.

С детьми я ладил, относились они ко мне неплохо.

Я оставался с ними на продлёнке, мы делали вместе уроки, я кормил их в столовой, собирал взносы за питание. Сделав уроки, мы играли в футбол или писали сказки.

Дети у меня были не самые развитые, многие из них состояли на учёте в психоневрологическом диспансере как умственно-отсталые. Они были запущенные. Многие жили без отцов. Это были очень интересные дети, совсем непонятные мне. Как, наверное, и я был непонятен им. В общем, можно сказать, что они наблюдали за мной, а я наблюдал за ними.

Особенно шалопаистых было несколько — Володька Сухотин, Серёжа Чижиков, Пашка Тиханов… Но обижаться на них я не мог. По ряду причин.

Как-то я вёл урок истории в пятом классе, а маленький, низенький Володька Сухотин всё время елозил на парте, болтал с соседкой. Я ему пригрозил:

— Володька, прекрати. А то родителей вызову.

Он спокойно ответил:

— А у меня их нет.

Он не солгал. Он жил с бабаней (так он говорил); она получала пенсию и тянула на своей шее единственного внука.

Серёжка Чижиков вдруг ни с того ни с сего во время того же урока снял штаны и залез на парту. Класс зашёлся смехом.

Я опешил:

— Ты что, у/о? Ну-ка живо сядь на место — иначе я тебя в дурдом определю.

Серёжка спокойно ответил:

— Я там уже был.

…Иногда к нам в школу заезжал врач местного психоневрологического диспансера Юрий Иванович Селезнёв. Он проводил с нами, педагогами, занятия, как воспитывать ребят, как не травмировать их психику, приучать к труду и занятиям.

У меня не очень получалось.

Во второй четверти к нам прислали двух молоденьких учительниц — литературы и французского языка. Мне стало повеселее. Хоть за кем-то можно было приударить.

…Больше всех на продлёнке я занимался с Пашкой Тихановым. Жалел его. Он был какой-то вечно голодный, тощий, неприкаянный. Я учил его правильно говорить. Занимался с ним историей, математикой. Я жалел его и не хотел, чтобы его опять отправили в интернат для умственно отсталых.

Бабушка Пашки меня любила. Как-то принесла утром молока.

— Евгений Викторович, попей, парное. Только что надоила. Такого в городе небось не пил.

Я долго отказывался. Но бабулька уговорила.

…Прошло два года. За это время директор районо несколько раз предлагал мне стать директором школы в другом селе, но я отказывался. Я не чувствовал в себе административной жилки.

Жизнь текла спокойным и размеренным образом.

Я вступил в связь с учительницей русского языка Еленой Васильевной. Она приезжала к нам в деревню каждый день на рейсовом автобусе из райцентра. А на выходные я приезжал к ней в райцентр. Свои отношения мы тщательно скрывали, но, разумеется, все всё знали.

Лена заводилась:

— Про нас даже пятиклашки шушукаются, обидно. Когда же мы поженимся?

Я отшучивался. Тянул время. Мне было с ней всё-таки скучновато, я не мог поверить: неужели это то, о чём я мечтал?

Однажды я засиделся с учениками на продлёнке и пошёл домой после вечерних занятий часов в десять вечера. Вдруг почувствовал острую боль в голове. Успел обернуться: сзади было несколько парней в масках. Меня повалили и стали бить ногами.

Когда пришёл в себя, то обнаружил, что на руках нет часов и я весь в крови.

Когда меня утром увидели коллеги, они сразу же вызвали милиционера. Он приехал на следующий день на мотоцикле. Расспрашивал меня об инциденте. Потом отвёз меня по доброте душевной в районную больницу. В больнице мне искололи задницу шприцем и через неделю отпустили.

Когда я лечился, Лена приходила каждый день, приносила мне сухофрукты, яблоки, лимоны, бананы (где-то доставала) и опять талдычила про женитьбу.

Вернувшись в школу, я продолжил работу. Вёл историю, «Этику и психологию семейной жизни», возился с детьми на продлёнке.

Поздно вечером занимался с Пашкой Тихановым, который уже перешёл в седьмой класс, историей. Гонял его по средним векам.

Он отвечал неохотно, бубнил что-то себе под нос.

А потом неожиданно сказал:

— Я знаю, кто вас тогда избил.

— Кто? — изумился я.

— Это мы с ребятами — с Володькой Сухотой и Серёжкой Чижом…

— Зачем?! — изумился я.

— А мы не знали, как поступить. Ведь вас возле дома ждал Еленин жених. Он наш, местный, и раньше е…ал Елену. Он хотел вас убить. А мы не знали, как вас остановить, как отвадить вас от Елены, вот и скумекали… Мы думали, что принесём вам спасение… Хотели вас спасти. Но он скоро опять приедет. Так что будьте осторожны!

— Во-первых, не произноси матерных слов. Во-вторых, не надо сдавать товарищей. А в-третьих, иди домой, — сказал я. — Завтра разберёмся.

Я шёл домой и не знал, что делать.

Дело разрешилось само собой. В субботу в райцентре Лена холодно приняла меня и сказала:

— Ты знаешь, я выхожу замуж. Володька Синицын, мой земляк, сделал мне предложение и увозит меня в Тюмень, он там работает на нефтеразработке. А ты ко мне больше не приходи.

Мы расстались. А в школе я проработал ещё три года. Когда мне исполнилось двадцать семь лет, я решил вернуться в областной центр, где меня ждали родители. В армию меня уже взять не могли. А в школе перспектив никаких больше не было.

В лучших домах Филадельфии

Только сейчас, спустя годы, начинаю понимать, как нахален, неосмотрителен, порой просто безрассуден я был в молодые годы.

…Позвонил мне как-то в начале девяностых мой приятель Игорёк Тараскин, видный советский фотограф, и сказал:

— Старик, мы с тобой отстали от жизни; пока мы делали интервью и фоторепортажи, все умные люди уже сделали «бабки» либо отвалили за кордон. Пора и нам. Не навсегда, кстати. Нарубим «капусты» и вернёмся.

Я начал задавать занудные вопросы, типа: а что мы будем там делать?

Игорёк отвечал, что работы навалом. Больше того: нас, дескать, там уже ждут. Будем диспетчерами в таксомоторном парке. Или кем-нибудь ещё.

И в скором времени нам в самом деле прислали из США приглашения.

Получили мы визы. И — не поверите! — даже не созвонившись с принимающей стороной, вылетели в Америку.

— Там, на месте, договоримся! — решил отчаянный, истинно русский человек Игорёк.

Я же (всё-таки есть во мне неславянская практичность!) на всякий случай подстраховался и позвонил своему давнему товарищу по длительной переписке, эмигрантскому поэту Мише Трутневу.

И — оказался прав.

Только Миша нас в аэропорту и встретил. Друзья Игорька про нас забыли решительно и бесповоротно.

Переночевали мы у Миши, в Филадельфии. Его друзья предложили Игорю остаться, но Тараскин рвался в Нью-Йорк, на заработки. И укатил. А я остался в Филадельфии у Миши.

…Он жил с мамой, милой еврейской старушкой лет семидесяти пяти. Мама получала восьмую программу (это и денежное пособие, и бесплатное медицинское обслуживание, и так далее). Миша получал, как и мама, велфер, то есть пособие по безработице. Не работали они за двадцать лет эмигрантского бытия ни часа.

Первый день в Америке прошёл для меня спокойно.

Я гулял по городу вместе с Мишей. Удивлялся незатейливому пейзажу русско-еврейского райончика города. Скучные, однообразные двухэтажные домики, спокойные улицы, никаких небоскрёбов, никакой манящей неоновой рекламы. Экзотики — ноль. Но зато спокойно, сытно, уютно. Рядом с Мишиным домом находился бассейн под открытым небом. Бесплатный. Бедные люди там в уикенды купались. Богатые купались в своих собственных бассейнах.

Говорили мы с Мишей на одну тему. О нём. О его гениальном, неповторимом, великом, эпохальном и т. д. творчестве.

— Если честно, старик, знаешь, в чём твоё основное назначение? — как-то раз спросил меня Миша. И тут же сам ответил на свой вопрос: — Ты должен добиться того, чтобы мне дали Нобелевскую премию. Понимаешь, я великий, а премию дают всяким проходимцам типа Бродского.

Я слушал Мишу молча. Его это не устраивало. Он заводился.

— Ну что, ты считаешь, что Бродский заслуживает Нобеля?

— Уверен, — отбивался я, — что не побывай Бродский в ссылке и в эмиграции, не будь он, в конце концов, действительно очень талантливым человеком — премии бы ему не видать. Тут всё совпало.

— А у меня что, не совпало? — кипятился Миша. — Двадцать лет страданий на чужбине, стихи *величайшего* (Миша выговорил почти по слогам!) накала — все с подлинной любовью к Родине. А сколько книг я собрал для России! Составил картотеку. Преподнесу в двухтысячном году в дар нашей с тобой Родине.

Я одобрительно улыбался и старался отмолчаться.

Каждое утро Миша стабильно будил меня в семь утра, и мы уходили заниматься, как он говорил, бизнесом. Мы искали деньги. В прямом смысле этого слова.

— Смотри, Женька, я квотер нашёл! — кричал счастливый Миша, увидев двадцатипятицентовую монетку.

— А вот гривенник, тоже пригодится! — вторил Трутневу я, найдя десять центов.

Иногда нам крупно везло — кто-нибудь из нас находил токин. Это жетон для метро стоимостью доллар двадцать пять центов.

Монеты лежали повсюду, особенно денежные места находились в районе стадиона, рядом с бассейном и на бейсбольном поле.

Любил Миша мне делать подарки: он брал меня, например, в еврейский клуб, там продавались кроссовки по доллару, костюмы по два бакса, другие полезные вещи за мизерные деньги. Миша платил!

Иногда мы, грешным делом, ходили и на помойки. Миша очень любил там находить различные ценные вещи. То статуечку какую-то отыщет, то новый телевизор. Помойки в Филадельфии — это особый разговор. Люди выбрасывают всё что ни попадя. Если бы всё это можно было бы вывезти в Россию, Америка стала бы самым чистым государством в мире. Увы, перевозка дорогая.

Так мы и жили: разговаривали о Мишиной гениальности, искали деньги, ходили на помойки, смотрели телевизор, читали книги.

Иногда к нам наведывались гости. И мы опять говорили о Мишиной гениальности, щедрости, доброте. Другие (не хвалящие поэта) люди в дом не приходили. Тут Мише надо отдать должное — он был, точно Сталин, последователен.

Однажды к нам в гости заявился видный меценат Игорь Палкин, главный редактор литературного художественного журнала на русском языке «Эпопея». Журнал выходил тиражом двадцать экземпляров и пользовался известностью в узких кругах творческой русскоязычной интеллигенции.

Как-то уж так получилось, что Игорь прямо с порога начал кричать:

— Женя, какие у вас красивые глаза, какие у вас красивые глаза! Поехали, я вам покажу центр города.

Я был молод и глуп. Я поехал. Мы ходили по центру города, он действительно оказался красивым. Большие стеклянные небоскрёбы, уютные старинные особнячки, оживлённые весёлые улицы. Я начинал понимать, что Филадельфия — это не только наш русско-еврейский район. Мы ели мороженое, фисташки, посидели в кафе, где сожрали по аппетитному гамбургеру, посетили порно-шоп. Всё шло прекрасно.

Стали возвращаться. По дороге заехали к Игорю в гости. На полчасика, как он выразился. Начали выпивать.

Тут я должен сделать нравоучительные ремарки: дамы и господа, если вам наливают водку с апельсиновым соком — значит, вас хотят соблазнить.

Тогда я этого ещё не знал.

Я выпил много. Чуть не потерял сознание. Прилёг. Игорь попытался меня поцеловать. Я его оттолкнул. Он начал приставать опять.

Я понял, как тяжело быть женщиной.

В итоге он ушёл к себе, а я так и не сомкнул глаз — боялся новых поползновений на свою мужскую девственность, которую мне сохранить всё-таки геройски удалось.

От Игоря я сбежал. Но и к Мише возвращаться не хотелось. После этого я жил ещё у огромного количества людей в Филадельфии. А потом и вовсе уехал в Нью-Йорк, где у меня началась совсем другая жизнь.

Спустя несколько лет, я вновь приехал в Филадельфию, уже по журналистским делам. Практически никому из прежних знакомых я не звонил, никого не видел. Кроме… Игоря. Мы — совершенно случайно так получилось! — встречали Новый год в одной компании, компании новых моих (и, как выяснилось, его) друзей. Игорь потерял работу, постарел. Но бодрости духа не утратил, держался молодцом. Даже подарил мне хорошую кожаную куртку.

Кстати говоря, Игорь каким-то своим сверхъестественным, непостижимым шестым чувством заранее узнал, что я приеду. И на стенах дома, где мы отмечали Новый год, за несколько часов до моего приезда написал немало милых, а также шутейных слов обо мне. Например, таких: «Ура, к нам едет резидент из бывшего Советского Союза».

Было весело.

Сейчас я живу и вовсе в Москве, даже не в Нью-Йорке.

Ностальгии по Филадельфии нет.

Глаза совсем иного цвета

Сидор Иванов привык не верить злым и злобным словам. Он понимал, насколько они смешны и в чём-то даже роскошны, особенно если их говорит любимый человек.

Тот, кто читал Леопольда Мазоха, обязательно прочтёт маркиза де Сада.

Тот, кто во время нежной страсти говорит: «Ударь, шлёпни меня сильнее!» — ударит, как только появится случай, сам. И не в постели. В повседневной жизни. Ударит и словом, и делом. А может быть, и ножом.

Иванов знал, что любовь — это вирус, тяжёлое заболевание. Но Иванов также знал, что это заболевание излечимо. В конце концов, человек любит, прежде всего, себя самого, а также ту сумму положительных эмоций, которые ему даёт другой человек. Если не даёт — начинается поиск иного индивида, на кого можно выплеснуть свои чувства.

Глупцы ищут всю жизнь. Мудрецы не ищут, а находят. И двигаются не вширь, а ввысь. По вертикали.

Когда возлюбленная Иванова — юная Эсфирь — сказала ему, что «всё кончено» и «меж ними связи больше нет», Иванов не удивился. Он не воспринял её слова всерьёз. Наоборот, он понял, что их отношения ещё будут долго развиваться. Иванов хорошо представлял садомазохистские склонности Эсфири и понимал, что он для неё — очень подходящий объект для экспериментов и самопознания.

Иванов знал правила игры Эсфири. Они ему не нравились. Но он был защищён. Опытом, проседью в висках, своей способностью анализировать ситуацию, книгами своих собратьев по духу.

…Иванов лежал на диване и читал поэта и философа Константина Кедрова.

«…даже в земной жизни мы часто не умеем радоваться. Зато очень склонны страдать. «Живите и радуйтесь», — сказал Христос. Физиологи даже говорят о существовании в мозгу двух зон: Ада и Рая. Включаются они по очереди, и человека бросает то в жар, то в холод. Впрочем, давайте вспомним, при каких обстоятельствах чередуются контрастные режимы. Ну да! Это делается при закалке стали. В природе нет ничего бессмысленного.

Зло должно оставаться только во внешнем мире, не проникая в душу. «Тьма внешняя» — это есть Ад, изгнанный из души. «Всё прощать» и «не помнить зла» могут только великие подвижники и святые. Все думают, что вечная жизнь где-то далеко от нас, в безграничных далях Вселенной. На самом деле она даже не рядом с вами, а внутри вас.

Человек — существо странное. Он многое не может: не видит в темноте, как кошка, не бежит даже со скоростью кенгуру, не слышит ультразвук, не летает, как птица, не живёт в воде, как рыба; но зато он может жить в вечности уже сегодня, если захочет. Для этого у него есть два дара. Дар видеть добро и зло и второй, гораздо более важный, — дар выбирать добро. Первое приносит человеку страдание и выводит его к чистилищу. Второе даёт ему Рай уже на Земле.

Жизнь на Земле — это акклиматизация к вечности».

Раздался телефонный звонок. Иванову позвонила его соседка по даче Ирочка. Она начала рассказывать о своих проблемах в личной жизни.

— Ты понимаешь, мужчины и женщины, по-моему, никогда не найдут общего языка. Мы прилетели с разных планет. Во всяком случае, у меня что-то нет никаких перспектив. Летом у меня были проблемы с одним мужчиной. Он стал меня напрягать. Я отказалась от него и перекинула свои эмоции на другого. Он принял мои правила игры. Но теперь меня напрягает и он. Ужасно, что всё всегда одно и то же. Полной гармонии нет. Видимо, нужно, чтобы кто-то был сильнее и мудрее, только тогда чувство между двумя людьми может выжить. Я уже готова быть ведомой, потому что не хочу, как пони, бегать по кругу.

Иванов не стал рассказывать Ирочке про Эсфирь, а предложил:

— Хочешь, я прочту тебе по этому поводу стихи Северянина?

— Конечно, — ответила Ирочка.

Иванов пошёл в другую комнату, достал с полки томик любимого поэта и начал декламировать:

Сколько раз бывало: эта! эта!
Не иная. Вот она, мечта!
Но восторг весны сменяло лето,
И оказывалось — нет, не та…
. . . .
Пусть не долго — всё-таки родными
Были мы и счастье берегли,
И обычное любимой имя
Было лучшим именем земли!

А потом подруга уходила,—
Не уйти подруга не могла.
Фимиам навеяло кадило,
Струйка свеяла сырая мгла…
И глаза совсем иного цвета
Заменили прежние глаза,
И опять казалось: эта! эта!
В новой женщине всё было—за!
И опять цветы благоухали,
И другое имя в этот раз
Золотом сверкало на эмали,
Вознесённое в иконостас!

— Хорошее стихотворение,—сказала Ирочка.— Видимо, в самом деле мы любим только самих себя. И сами себе придумываем любовный иконостас.
— Его легче придумать, когда любишь человека творческого. Я например, всегда боготворил женщин созидающих. Художниц и балерин, поэтесс и журналисток… Просто красивая женщина не абсолютна, ибо красота конечна.
— Но талант тоже конечен.
— От таланта остаются плоды. Ими восхищаются вне зависимости от времени. Впрочем, красота— это тоже талант. Пушкин это понимал.
— А как у тебя дела?—спросила Ирочка.
— Нормально,—не соврал Иванов.—Только работы много. В отпуске не был два года. Очень хочу отдохнуть.
— Куда поедешь?
— Наверное, в Испанию. Все хвалят.
— Я, наверное, тоже в Испанию поеду. Только не знаю с кем. Слушай, а может быть, махнём вместе?
— А почему бы и нет?—игриво расхохотался Иванов.

И они договорились, что будут созваниваться чаще.

Незнакомка в метро

Сидор Иванов возвращался с дачи. Ехал в метро с Беговой до «Рязанки». Уставший, голодный, небритый. Из-под ногтей зияла не смываемая холодной водой чёрная земля. Никто не обращал внимания на внешний вид Иванова—все понимали: перед ними дачник, кулак, шестисоточник.

И вдруг в вагон вошла девушка, о которой Иванов мечтал, может быть, всю жизнь. Длинная худая голубоглазая шатенка. Она села напротив Иванова, достала книжку «Язык жестов» и начала читать. Потом вытащила из сумочки бутылку пива. И читая, весьма сексуально стала потягивать «Клинское». Иногда она отрывалась от книги и пива, и тогда Иванов имел возможность заглянуть в её очень умные, добрые глаза.

Заговорить с ней—в таком-то виде!—Иванов не мог. Он просто глядел на неё, точно загипнотизированный. Он был поражён тем, что идеальный женский образ, сложившийся ранее у него в голове, Всевышний опять являл ему в действительности.

Иванов и незнакомка сидели друг напротив друга минут семь-восемь. На ум дачнику пришло печальное стихотворение «Эскалатор» одного малоизвестного поэта:

Городской народ
По делам спешит.
Кто-то вверх идёт,
Кто-то вниз бежит.
Кто-то увидал
Два зрачка родных.
Больше никогда
Не увидит их.

Иванов и незнакомка вышли вместе на «Рязанском проспекте». Девушка пошла в другую сторону. Не в ту, в которую надо было Иванову. Однако он (разумеется, не расставаясь со своими громоздкими дачными сумками) засеменил за ней, точно собачонка за хозяйкой. Потом девушка села в автобус. И уехала. В какую-то непостижимую страну реализовавшихся грёз.

Дарьяна Антипова

Есть люди

Морфология

Государственные экзамены приближались. Я понимала это, видя, как возвышаются в моей комнате груды книг. Они уже загородили половину монитора. Русская классика собирала пыль на полочке для косметики, учебники Белошапковой, Панова и Горшкова с укором выглядывали из-под подушки. Я уже месяц как спала на них, так, на всякий случай.

Наступил очередной вечер после работы в редакции, и я села за стол, отодвинув грязную посуду на подоконник. Принюхалась. Из маленькой белой кастрюли чем-то кисло пахло. Я распахнула форточку и выставила кастрюлю на улицу. Туда, где весной в кормушке обитали воробьи.

Морфология… СРЯ… От этих слов тоже несло чем-то кислым и приторным. Я вдохнула этот запах поглубже и откинулась на стуле. Что же я помню из курса морфологии?.. Это был третий год в университете, кажется… Или четвёртый? Я взяла сотовый телефон и набрала сообщение Денису. Включила и выключила настольную лампу. Подошла к компьютеру и проверила электронную почту. Смахнула пыль с книг. И снова откинулась на стуле.

Да… Это была «золотая середина» нашего обучения в «госе». Мы тогда не знали, кто такие бакалавры и Одноклассники.ру. Я проводила все вечера в Краевой библиотеке, конспектируя очередную монографию по истории зарубежной литературы. За полчаса до закрытия библиотеки мы, «ботаники» нашего курса, собирались в подземной кафешке библиотеки и молча пили кофе.

Так что же тогда произошло?.. Ах да…

За месяц до начала сессии кафедра иностранных языков решила устроить праздник для студентов. Пан Дариуш разучивал польские сказки, Хосе запирался со студентами по вечерам в кабинете Астафьева и пел испанские песни. Костя должен был изображать новогоднюю ёлочку и искал зелёные штаны. Наша же группа английского языка, чувствуя свою ущербность, согласилась на разучивание стихотворения «Дом, который построил Джек». Прошла массовая репетиция, и через двадцать пять дней мы встретились на третьем этаже у юристов, для того чтобы отпраздновать зачем-то католическое рождество.

Ким, наш преподаватель морфологии, тоже был там. Он с немецкой группой отплясывал какой-то баварский танец с бокалом пива.

К вечеру мне стало хуже. Мама ушла спать, а я в каком-то бреду залезла в ванну и пролежала в ней около двух часов… Мама проснулась от моего крика и увидела растущие на глазах волдыри. Так, в двадцать лет, я заболела ветрянкой. И на зачётную неделю уже в университет не вышла. От меня заразилась сестра, две мои подруги и друзья наших друзей. Меня срочно перевезли к бабушке и закрыли в комнате. Но и там по пути на второй этаж я успела заразить соседскую девочку, которая когда-то каталась на лыжах с Путиным и до сих пор гордится этим.

Новый год я провела одна. Стояла под биение часов голая перед зеркалом и раскрашивала себя зелёнкой.

Наступила сессия. Всё тело моё болело и ныло. Вода в ванне сделала своё злое дело и разнесла инфекцию даже в самые труднодоступные места. Я не спала, потому что волдыри подсыхали и чесались на спине. Я не учила, потому что из-за волдырей не могла открыть глаза. Единственной моей радостью было то, что приходил мой давний друг и рисовал на мне ёлочку. А потом бабушка подрисовывала на ней ёлочные игрушки. Я стояла и стонала от наслаждения.

Почему-то в «госе» никто не поверил тому, что я так сильно болела ветрянкой. Преподаватели, которые всегда относились ко мне дружелюбно и даже с какой-то нежностью, теперь отсылали меня на последние дни пересдачи. И я сдала восемь зачётов и три экзамена за четыре дня, нахватав первые в своей жизни тройки. Морфологию я сдавала в последний день.

Так что же я помню из морфологии?..

Полгода Ким читал нам лекции по морфологии. Невысокого роста скромный кореец, выходя к доске, становился поэтом и ораторствующим философом. Он рисовал какие-то странные схемы, соединяя морфологию со строением Вселенной, он видел в морфологии то, что нам, обычным студентам, не дожившим ещё даже до «золотой середины», было невозможно понять. Я слушала его с открытым ртом, постепенно влюбляясь в него, а ряды за мною стремительно редели. К злосчастному декабрю со злосчастным иностранным праздником, где я подхватила ветрянку, нас в аудитории осталось человек десять. Десять влюблённых в Кима девочек. Мы ничего не понимали, но сама причастность к нему поднимала нас в собственных глазах.

Пятого февраля я подошла к Киму и робко спросила, можно ли мне завтра сдать экзамен по морфологии. Он, очевидно, не узнал свою поклонницу сквозь остатки зелёнки на лице, выдал мне список из пятидесяти вопросов и добавил:

— Вам ещё нужно было к экзамену сдать семь работ с морфологическими разборами. Надеюсь, они у вас есть.

Семь работ по морфологии никак не вязались с тем романтическим «предзелёночным» образом Кима, который грел мне душу. Я села напротив кафедры русского языка на пол и поняла, что лягу ночевать прямо здесь.

Ко мне подошёл Денис. Тогда он ещё слушал Лакримозу и увлекался шаманами. Откинув назад чёлку, он посмотрел мне в лицо, всё понял и повёз к себе домой. После восьми зачётов и трёх экзаменов, сданных за четыре дня, я была неспособна думать и разговаривать. Дом его находился на краю города, между несколькими пустырями и заброшенным аэропортом. Зимняя пурга билась в одинокий дом, мечтая снести его и виться по полям в одиночестве. На книжной полке стояли полные собрания сочинений зарубежных классиков двадцатого века, Ницше, Гессе, Кропоткин, Декарт, Лао Цзы, Чанышев, Сенека и Фромм.

«Кто такой Фромм?»—подумала я. И в следующий момент уже спала на диване в его комнате. Около трёх ночи Денис меня разбудил, дал мне какую-то пижаму, укутал одеялом, а сам снова сел за компьютер.

Проснулась я от сильного толчка. Кто-то над моей головой крикнул:

— Шлюха!

Я открыла глаза. Денис спал рядом, одетый. А голова его лежала у меня на груди. Перед кроватью стояла какая-то пожилая женщина с трясущейся нижней губой.

— Здравствуйте,—сказала я.

— Встать,—прошипела женщина.

Я нехотя вылезла из-под одеяла.

— Шлюха в пижаме!—вдруг закричала женщина, потом зачем-то подняла с пола какие-то вещи Дениса и швырнула их в меня.—Убирайся!

Денис тоже проснулся. Я стояла посреди комнаты в пижаме с розовыми рюшечками.

— Какая ты прикольная в бабушкиной пижаме,—сказал Денис и улыбнулся.—Твои работы на столе. Ты опоздаешь.

Через несколько минут я уже бежала по морозной улице к остановке. В двенадцать дня все пересдачи на нашем факультете заканчивались, и я могла просто не успеть увидеть Кима.

В холодной автобусе я развернула пакет Дениса и увидела там семь идеально выполненных работ по морфологическому разбору. Сразу вспомнила его утреннюю улыбку и тоже улыбнулась пробивающемуся сквозь толстую наледь окна солнцу.

Пробка начиналась от микрорайона Северный и тянулась до самого центра. Казалось, стоит весь город. Люди начали возмущаться, кто-то выходил и шёл пешком. Я спросила кондуктора, почему же мы стоим уже полчаса. Она проворчала:

— Путин, мать его… Ещё часа два стоять будем, пока он не проедет.

Я выскочила из автобуса и побежала.

Наверное, неважно, как быстро я бежала через весь центр города к нашему корпусу на Маерчака. Как просила дать мне допуск на экзамен в деканате, как ввалилась на кафедру к Киму, когда тот уже надевал шапку. Ким холодно смотрел на меня через узкие щёлки своих глаз, потом сел за стол и протянул руку. Я не поняла.

— Работы. Дайте ваши работы.

— Конечно, конечно,—забормотала я.

И вдруг поняла—нет, даже не так: морозом, поднимающимся с низа живота, почувствовала, что у меня с собой пакета с работами нет.

— Конечно, конечно,—снова сказала я.

И отупела. В какой-то темноте передо мной прыгал Ким с немцами и баварским пивом, крутилась новогодняя мишура, улыбался Денис, и что-то злобно шипела кондукторша. Автобус с моими работами остался на другом конце города.

Из расступившейся темноты клочками проступало лицо Кима. То глаз, то впалые щёки, то подбородок.

— Может быть, я становлюсь старым и романтичным…—сказал Ким, рисуя что-то в моей зачётке.—Встретимся в новом учебном году. Вы хорошо изобразили безрогую корову на празднике. Очень драматично.

И снова надел шапку.

> А это корова безрогая,
> Лягнувшая старого пса без хвоста,
> Который за шиворот треплет кота,
> Который пугает и ловит синицу,
> Которая ловко ворует пшеницу,
> Которая в тёмном чулане хранится
> В доме,
> Который построил Джек.

Я открыла кисло пахнувший учебник по СРЯ, полистала оглавление. Представила государственный экзамен, Кима, который уже не работал в нашем университете. И прочитала от Дениса сообщение: «Так что же ты помнишь из морфологии?» И улыбка.

Animal city

Она откинулась на сидении машины и включила «Juno Reactor» на полную громкость. Серебряный «паркетный» «Lexus», подаренный Патриком, дёрнулся с места и покатился, набирая ход, по Покровке. Лена упёрлась руками в руль своей серой машины и тупо смотрела на асфальт. Ненавидя в этот момент дорогу, она нажимала на газ так, будто хотела кого-то задавить.

Машины в это время в столице соревновались в блеске и гламурности. Глянцевый и неоновый свет отражался на стёклах, боках джипов, иномарок. Справа какой-то парень в широких очках курил в приоткрытое окно, вытягивая руку наружу.

Лена проехала несколько кварталов по центру и медленно проползла вокруг узкого скверика четыре раза, будто соображая, куда припарковаться. Тормознула около светлых дверей какого-то магазина.

— Может, пройтись?—спросила она сама себя. Повернула зеркало дальнего видения и прищурилась.—Сука эгоистичная… Так тебе и надо. Мне лицо то ли стянуло, то ли мало́ стало.

Провела рукой по бёдрам, подтягивая колготки, вытянувшиеся от долгой езды в машине. Вышла на

морозный воздух и подтолкнула дверцу коленкой. «Терпи, Слон!»

Около магазина стояла невзрачная девушка с короткой стрижкой, вглядываясь в радостный свет огромных окон.

Поправив локоны волос на белой куртке, Лена гордо вошла в раздвигающиеся двери ночного магазина, оставив девушку в темноте.

Странная немецкая музыка доносилась из колонок этого книжного заведения. Два мальчика сидели у кассы и пили кофе. Лена прошла мимо стеллажей с классикой и остановилась около большой «Книги рекордов Гиннесса», лежащей недалеко от красочной «Камасутры». Мальчики бросали взгляды в её сторону — то ли с интересом, то ли с немым вопросом, нужна ли ей помощь.

Через пять минут ей стало скучно читать незнакомые надписи на разноцветных корочках книг, и она пристально посмотрела на ночных консультантов. Кудрявый молниеносно поставил кружку на стол и подбежал поближе.

— Я могу вам помочь?

— Не знаю… — Лена заметила синяки под сонными глазами, неровные губы. — Мне нужна книга одного английского писателя. Называется «Корень».

Мальчик нахмурился и провёл взглядом по бесконечным полкам.

— Не напомните годы жизни писателя?

— Тысяча восемьсот тридцать первый — тысяча восемьсот семьдесят пятый, — придумала она на ходу.

Консультант удивлённо повёл её к компьютерной поисковой системе.

— Ваня, найди, пожалуйста, название «Корень».

Тёмненький оказался постарше возрастом, быстро набрал что-то на клавиатуре.

Кудрявый прыснул от смеха и даже присел около стола, держась обеими руками за живот. Лена, чуть отклонившись в сторону, прочитала на экране: «Конь». Ваня пояснил:

— Про коней в нашем магазине не так много книг, но мы постараемся найти вам нужную.

Лена приподняла брови и, не глядя на парней, сказала:

— Заверните мне, пожалуйста, Айрис Мёрдок — всё, что есть, «Кельтскую мифологию», что-нибудь на французском языке из классики, Пелевина всё, что-нибудь ещё на ваш вкус из нового и, если не сложно, отнесите это ко мне в машину.

Она мило улыбнулась кудрявому и заметила, что воротник его белоснежной рубашки тёмен от пота.

— Сколько с меня?

— Семь тысяч пятьдесят рублей.

Лена порылась в сумочке, кинула элегантно деньги на кассу и направилась к выходу, наслаждаясь высоким звуком собственных каблуков.

Он закинул два больших пакета на заднее сидение и почему-то не уходил. Нащупал в карманах джинсов сигареты и попросил зажигалку. Лена взглянула на него и протянула визитку.

— Позвони, когда найдёшь эту книгу.

Он остался курить в темноте сквера, а Лена медленно потекла по улицам города, обнимая руками руль.

— Везде одни кони и слоны. Просто Animal city какой-то.

Конечно, он позвонил. Представился. Аккуратно спросил, когда она приедет забрать свой заказ.

— Вечером, — ответила Лена.

Она даже не выходила из машины. Поглаживая тело своего Слона, Лена подумала, как сейчас всё будет скучно. Мальчик будет строить из себя столичного жителя, изредка поглядывать на неё тёмными глазами и пытаться приобщиться хоть прикосновением бока её машины к сказочной жизни. Такие мальчики любят сильных столичных женщин. А она любит чувствовать себя сильной рядом с такими мальчиками.

Мальчик был в кожаных штанах.

Положив пакет с книгой на заднее сидение, он, подёргиваясь от холода, стоял около открытой дверцы машины и курил. Когда наконец он поднял на неё своё по-детски ещё пухлое лицо, Лена разочарованно откинулась на спинку. Глаза были не тёмные, а хрустальные. Не живые и глубокие, а отражающие. «Далеко пойдёт», — подумала Лена и легко постучала по сидению рукой. Мальчик, ухмыльнувшись, заполз в «Lexus».

— Ты сам читал эту книгу?

— Да.

— Хорошо… — когда Лена потянулась за книгой, её куртка сползла с плеч. — Тогда… как это понимать — «стеклянный, душный мозг» и «пепел слёз»? Не глупо ли?

— Таблетки и температура.

Лена включила музыку.

— Прокатимся?

— Работа.

— Ты же долго куришь.

Шакира в колонках серого Слона взвизгнула и запела: «Why do all my friends now want to be your lovers? Your family got bigger. When they thought you were rich. It's an animal city».

Лена думала: зачем она это делает?

А девушка на остановке перед яркими окнами магазина смотрела, как всё пространство между нею и удаляющимся Димкой в чужой машине постепенно заштриховывается ночным снегопадом.

Гошка

Марк был очень милым, правда. Он спустился со второго этажа своей квартиры, поднёс полотенце к кровати и сказал ей по-русски:

— Идём в душ.

Галька перевернулась на помятых простынях, ткнула пальчиком пульт от огромного — во всю стену — музыкального центра. И зажурчала оттуда французская речь, заставляющая холодеть пальцы и мелко дрожать живот.

В комнату ворвался — как рычание мотоцикла — голос Renau, с которым Галька вчера ещё пила вино в центре Парижа, в каком-то ресторане, после концерта. Марк выбил для неё билеты в вип-места, а потом и познакомил. Renau, Johnny Hallyday — были для неё голосами Франции. Они

всегда были рядом. В плеере, на стенах маминой квартиры, на футболке с надписью «Une Femme».

Марк, улыбаясь, подтягивал на себя одеяло; Галька завизжала, укуталась в простынку и зажмурилась под бьющим из окна февральским французским солнцем.

— Галина, мы опоздаем на встречу с консулом, надо продлить твою визу ещё на год и уехать в Австрию, в горы. Ты же хотела со мной покататься на сноуборде.

Марк очень мило картавил, правда. И он знал русский.

Солнце нагревало волосы, и это тепло передавалось рукам. Галька загребла двумя руками подушку и вдруг прислушалась. Муха. Обычная муха, появившаяся откуда-то в этой французской квартире. Бьющаяся в стекло, обжигающая крылья о раскалённую преграду. Галька мучительно слушала этот стук и стонущее жужжание, будто это уже было много-много раз. Какая-то тошнота подступила, в голове будто открылась дверца, откуда тоже светило это солнце. Оно так же светило, когда Галька жила на бабушкиной даче около Оби. Мухи, солнце, кислый запах скошенной травы. И большой живот, который мешал ей спать. А в нём — Гошка, который сейчас сидит у бабушки на коленях и спрашивает: «А де маа?» И звонит раз в две недели с бабушкой и сопит в трубку.

Галька спрыгнула с кровати, столкнула с тумбочки детскую фотографию Марка. Очень милую фотографию, правда. Закрылась на кухне, спряталась за дверью от этого солнца.

Когда Марк подошёл к ней и наклонился, Галька только прошептала:

— Я ненавижу его, правда. Но ты должен купить мне билет домой.

Колесо на воде

Октябрь

1-е число

Стас попросился побарабанить к нам в группу и стучал неплохо. Ветер водил пальцем по нотам, Катя скучающе сидела рядом со мной. А я думала о Шурике. Что делать? Ехать ли к нему?

— Саша, — сказала она мне, — давай обзвоним всех, пусть приходят.

И пошла звонить.

Я решила позвонить только Максику, как вдруг явился он сам, бросился нас с Катькой обнимать. Был он в чёрном кожаном плаще, очень красивый. Так, наверное, я первый раз подумала, какой он красивый. Родинка на щеке. Мальчику даже неприлично быть таким красивым, вот что я подумала. Он же в порыве радости подарил мне «Навигатор» БГ.

Кто-то предложил пойти к Князю, чтобы поговорить об организации концерта. Так как Катя забыла адрес, нам пришлось долго по морозу бродить среди одинаковых домов. Страдал от этого только Ветер. Мы же слушали Макса, который рассказывал о том, что родители потащили его в наркологический кабинет, после того как они с Маджентой переборщили. Но главной новостью было то, что у Лёши и ещё нескольких человек нашли двести грамм марихуаны, гашиша и каких-то «колёс». Лёше в лучшем случае дадут пять лет. А отец его ещё не вернулся из-за кордона, и непонятно, как он переживёт это известие, у него всегда было плохо с сердцем.

Князя мы так и не нашли. Зашли к Антихристу и узнали, что он уехал отмечать чей-то день рождения в парк. Зашли к Гробику, но он сказал, что занят, делает с родителями ремонт.

Когда мы вернулись домой к Ветру, все были уже замёрзшие и злые.

Я подарила Максу кассету Умки и написала: «Максу от Саши с дружеской любовью». Сидела потом рядом со всеми и думала, что я — их, что у нас теперь дружба крепче, чем в Москве.

Все начали веселеть, вытащили гитару. Приходили другие ребята. Аська пела что-то из Летова. И мы с Максом договорились ехать в апреле на могилу к Янке в Новосибирск. Стопом, естественно. Далеко, а что делать? Потом пел Стас.

Пришла Нинка и стала рассказывать, что Мадженту и ребят взяли, когда они варили наркоту и чуть не сожгли дом, все были уже обдолбанные… А в группу «Дом Герцена» на бас пришёл новый гитарист. И так далее.

После пел Радогост. Было уже поздно. Макс ушёл, на прощанье поцеловав мою руку. Так непривычно! Петька читал мне стихи, мы с Катькой играли в буриме.

16-е число

Уже полночь. Сижу дома. Приспичило курить. Если бы не сигареты, я бы давно перестала смотреть на небо. Сегодня оно зелёное, и звёзд совсем нет. Надо бы спать, завтра выбраться в институт. А что, если дать этот дневник, эту хрень кому-нибудь почитать? Ленке, например? Или Катьке?

Хочу на могилу к Джиму Моррисону!

Ольку нашу за хорошую учёбу отправили во Францию. Да… А меня за мою учёбу, скорее, к чёртовой матери отправят. И почему я — такое дерьмо?

18-е число

Академ. Пришлось взять академ. Как хреново! Не то слово. Отправила письмо Шурику в Питер.

Боже, подари мне спокойствие! Как когда-то подарил Любовь. Как подарил Дружбу. Пустые руки. Глажу свою ладонь, стираю линии…

20-е число

Пришёл Маджента и сказал, что у них с Максом есть кайф. Я поссорилась с мамой и пошла к ним. Мы заперли дверь, Макс достал пакетик какой-то кришнаитской травы. Были ещё и палочки. И марихуана. Свежая, будто ещё масло выходило. Маджента назвал её словом «тапер», он сидел радостно на подоконнике и напевал себе что-то под нос. Как профессионал. Хи-хи.

Мы сидели на кровати, Макс давал нам пáрики. Потом он начал глючить, будто куда-то бежит. Мы съели всё, что было в холодильнике. Потом

раздавал Маджента. Крыша поехала конкретно, когда мы решили, что Макс будет моей мамой.

И тут пришла Люда. Она всё никак не могла понять, чего это мы такие весёлые. Наверное, когда вошла в маленькую комнату, она всё поняла. А может быть, и нет. Хочу на могилу к Джиму Моррисону!

25-е число

Сегодня отнесла записку Нинке, зашла к Валерке, встретила там Наташу. А потом пришли Макс с Маджентой и Петя. Мы опять закрылись в маленькой комнате. «Таперил» Маджента. Петя скоро отрубился, а мы ползали на коленях, давали клятву Мадженте. Лежали с Максом под одеялом с головой, как маленькие дети, и мяукали.

Ночь 25-го

Отец бубнит что-то стихотворное. Я пишу дневник. Мама читает газету. Боже, как ужасно мы все разделены. Ничего общего.

Что там делает Макс?

Блин, харя Кришна, блин.

Мой бесик лежит рядом и говорит что-то. Ништяк, говорит. Всё, говорит, ништяк. Завтра увидишь своего Макса. Звёзды. Мороз на стёклах. Что-то случится… А Макс такой красивый… Харя рама, блин! Что с тобой, детка? Не думай о нём!

…Ведь всё пройдёт. Растает, как первый снег. А потом выпадет новый. Надолго ли? Может быть, всё может быть… Будь осторожна. Ты зареклась.

26-е число

Открылось. Приезжали менты, к моим родителям приходила тётя Неля, мать Стаса. На нас всех завели дела в ментовке. Я очень устала от всего, чтобы писать подробно.

Но главный вопрос: кто стукнул?

Всё это предрекала Нинка. Стас был в ментовке, там были все наши фотографии. Что дальше?

27-е число

Были с родителями в церкви. Мой бесик был со мною. Он говорил: детка, я здесь! Всё ништяк! Скоро всё пройдёт, и ты будешь тайно бегать к своим друзьям!

Батюшка Маркел был слишком добр ко мне. Велел родителям быть со мной нежнее. Смешно. Когда это они были ко мне нежны?!

Ночь 27-го

Два раза приходил Макс. Два раза говорили, что меня нет дома.

8-е число

Нашла его номер. Рядом бдит (смешное слово!) мать. Гудки прервал женский голос:

— Алло?

— Максима можно?

Молчу. Наверняка он в школе или гуляет где-нибудь. Говорю тихо, чтобы мать не услышала. Я у неё на работе. Меня боятся оставлять дома одну — могу сбежать. Но куда бежать-то?! Было бы куда — сбежала бы.

30-е число

Сегодня меня отвели к тёте. С ней мы погуляли, и от неё я позвонила Максу. Трубку взяла его мать.

— Алло!

— Мне нужен Максим.

— А кто его спрашивает?

— Саша.

— Сейчас позову.

Минута молчания, потом в глубине трубки раздаётся гул и его хрипловатый голос:

— Да?

— Здравствуй!

— Сашка, это ты?! Ты как?

— У-у, меня сторожат. День от утренней молитвы до вечерней кажется ночью.

— Не вешай нос, мы вместе!

Он звонил Нинке, она сказала, что вытащит меня. Макс сказал, что в два будет под моим окном. Может, нам удастся увидеться? Может, когда мать в среду уйдёт на работу? Одни тревожные вопросы. Планы на будущее — такие сложные в семнадцать лет! А что будет дальше? До завтра? Надеюсь…

— Целую, — я вешаю трубку.

Мы смогли поговорить.

31-е число

Я стирала. Мать ругалась. И пыталась разобраться со мной и бельём одновременно.

Она услышала звонок. Открыла дверь и закрыла обратно.

Я поняла — пришёл Макс.

Войдя с бельём в свою комнату, я услышала, что за окном кто-то горланит. Я выглянула. Там стояли какие-то фанаты «Алисы» и Макс. Я отправилась вешать бельё на балкон.

Скинула Максу свой сборник стихов.

— Люблю тебя! — крикнул Макс.

— А я тебя! — ответила я.

Вешала бельё нервно, прищепки постоянно обрывались и летели вниз. Упала наволочка. Я подняла её грязную и тоже повесила.

Я сказала матери:

— Я выйду?

Она сказала, что я могу делать что хочу, но…

Я вышла. Мы обнялись.

Пришли к Мадженте, попили чаю. Опять взяли гитару и стали петь. Пришла Маринка, Сэндлер, ещё кто-то.

Когда я вернулась домой полвосьмого, мать в зале рыдала. Отец пытался её утешить. Я вошла в комнату, мать закричала истерически:

— Она чужая! Это не моя дочь! Моя дочь умерла! Отец, прогони её! Уйди, чужая!

Я захотела уйти к Катьке, но отец меня не пустил.

В столе завалялась сигарета, и я покурила в форточку.

Мать думает, что я наркоманка, а мне просто нравится Максим. Я уже ничего не хочу: ни травы, ни сигарет, ни пива. Увидеться бы со своими. Увидеться бы с Максом. Мои родители прочли этот дневник. И они же донесли на нас в милицию. Мама, мама, мне некому больше врать. А я снова — ну не дура ли? — думаю, что всё будет хорошо.

Ноябрь

1-е число

Вчера я спрятала свой ключ под подушку, чтобы утром меня не заперли. Утром с меня содрали одеяло:
— Наркоманка, ключ у тебя?
— Да.

Мне что-то очень долго и громко говорили. Хотелось выключить мозг и ничего не понимать. Мне предлагалось несколько вариантов: на полном серьёзе уйти в монастырь, сидеть всегда дома и ни с кем не видеться или быть выгнанной из дома.

Когда они наконец-то ушли на работу, я спешно стала собирать вещи. Решила быть выгнанной добровольно. Выглянула в окно, там во дворе сидел на плитах Макс и курил «Беломор». Когда я вышла, он подарил мне значок с надписью «Leave me alone». Очень кстати.

До двенадцати мы перенесли часть вещей к Катьке. Когда вернулись за остальными, вернулся мой отец за какой-то книжкой. Он выкинул Макса за дверь, а на меня набросился с кулаками. Мы подрались. Он поцарапал мне лицо, разбил нос. Но я всё равно, прижатая к стене туалета, сказала, что уйду. И ушла.

Макс ждал меня в подъезде на подоконнике. Я взвесила на него половину сумок и забрала бандану, чтобы протереть себе лицо.

Отец выскочил на лестничную площадку и заорал:
— Ты берёшь за неё ответственность!
— Обещаю.
— Ты будешь во всём виноват!
— Знаю.
— Зря ты с ней связался! Это не человек — а чудовище!
— Я знаю.
— Вечером мы придём к твоим родителям!
— Делайте что хотите.

У Катькиного дома мы встретили Мадженту, по дороге к ней купили бутылку пива. И чуть-чуть повеселели.

С Катькой встретились на «Буревестнике» и поехали к Бабуле в пед. Он предложил мне работу в буфете, завтра пойду договариваться.

Как-то попали к Сидвину, там сидели Тоша, Сашка и Антон. Пили водку. Тоша напился, кричал, что он сатанист, переворачивал распятие, а мы с Маджентой у него всё отнимали. Макс отправился домой, а мы — гулять. Куртка пошла домой договариваться, чтобы меня вписали. Ей позвонил Макс и наспех сообщил, что мои родители звонили его матери и сказали, что он заставлял меня курить марихуану. Жаль только, что Макса тоже терроризируют из-за меня.

Я вписалась у Куртки на три дня, потом впишусь у Маринки и, возможно, у Светки. А потом найду комнату.

2-е число

Съездила на встречу в буфет, попила кофе с Бабулей. На работу я так и не устроилась. По дороге встретили родителей, даже не поздоровалась. Мы попытались побыстрее запрыгнуть в троллейбус, но меня поймала мать, заставила выйти поговорить. Она кричала, чтобы я вспомнила хорошее, посмотрела в глаза Божьей Матери, всплакнула. На меня и на всех моих друзей по их милости дело шьют, а я должна чувствовать себя виноватой?

От Куртки пытались дозвониться Максу, но его не пускают к телефону. Зато мы узнали, что скоро нас опять вызовут в ментовку. Договорились с ребятами, что опять будем прикидываться дураками, авось отмажут…

Поехали с Курткой предупреждать Педро и Белого.

Вечером тусовались в центре, у музея. Узнали, что Макса увозят на месяц в деревню, в школу будут возить оттуда. Дураки! Всё равно придём к нему в школу.

10-е число

В ментовку так и не вызвали. Кайф.

Купили капусту для Катькиной мамы, пошли к Куртке, смотрели какой-то боевик, даже не помню, о чём он был.

Гуляли. Снова подвалы, подъезды… Я пела «Она умерла» под аккомпанемент Афанасия. Пришёл Кеша в дурацкой шапочке с Димой Антихристом. Пели Кобейна, потом полезли на крышу и там рассказывали страшные истории.

Машка пересказала свой разговор в школе с Максом. На вопрос, кто его идеальная девушка, он сказал: Саша…

Приятно.

Лёшу отец приехал и отмазал. Дадут ему максимум год.

Надо искать комнату.

15-е число

Скорей бы кончился ноябрь. Почему-то всё вспоминаю своё письмо к Шурику в Питер. День, вечная измотанность, очень трудно повернуть голову. Занятий нет. Перемыла полы и так устала, что не могу ни лечь, ни уйти с работы. И никаких событий. Братская могила.

Хотела сходить к Максу в школу, но почему-то не пошла. Скорей бы кончился ноябрь… Вернулся бы Макс, съездили бы с ним в Москву.

Какое-то ноября

Готова на грех, чтоб Ты простил. Чтоб доказал мне, что Ты любишь меня любую. Забыли обо всех в стремлении быть любимой. Прокляли, осудили. Но не Ты. Ты только всё молчал, смотрел так грустно-равнодушно с иконы и ничего не сделал. Я разорвана, расстреляна. Поперёк горла — гордыня. И — ни о чём не жалею.

20-е число

Я жалуюсь тебе, тетрадь. Меня предали гадко-гадко… Шурик написал Ничке два письма, где признаётся ей в любви, зовёт замуж. А ещё он ей пишет плохо про меня. Призрак Белой Невесты, какой я была в Питере, давно уже ушёл от меня, когда я жарила ему картошку в общаге. Плакала и ревновала. Видела, что теряю его. А он… А он

помнит из нашей зимы прошлого года только то, как танцевал с Ничкой, когда она приезжала ко мне в гости…

Я ему писала, что отказываюсь от роли Белой Невесты. А он пишет, что Ничка — единственная, кто его не держит. Я была благодарна ему за всё. За нашу зиму, за объятия и поцелуи.

А он всё перечеркнул и выбросил зимние листы в мусор.

Жалко себя.

У всех от первой любви остаются тёплые воспоминания, и только у меня — пустота.

Декабрь

1-е число

Сидела с гитарой и пела «Падал тёплый снег» — и вдруг внутренне нашла состояние. Это был переход. Предчувствие перехода. Ожидание лета.

Как когда-то в детстве мне приснился Сосенский тупик прежде, чем я туда попала наяву в десять лет. В жаркий июньский день.

Мне кажется, что если я сейчас нащупаю дорогу, то попаду верно.

5-е число

Ела яблоко. Снова толкнулось внутри. Я маленькая, квартирка в темноте. И на мгновение переместилось время. И — нет ничего невозможного.

Сегодня небо было, как море в шторм, и к вечеру оно стало огневым. Захотелось курить, а нету. Я бросила в тот день, когда получила письмо от Шурика. Надеюсь, он скоро перестанет мелькать во снах, устала жить в прошлых снах.

10-е число

Почему-то всю неделю идёт дождь. Я не люблю снег, но когда в декабре идёт дождь, я была бы очень рада сунуть руку в сугроб по самый локоть и застрять там. Когда идёт снег, кажется, что ты дышишь свежим воздухом и стоишь так, кверху лицом, и чувствуешь себя в вакууме. Прожить бы неделю в беззвёздной новогодней ночи!

Раньше всегда, даже в самые тяжёлые дни, было внутри меня ощущение праздника. И где бы я ни появлялась, начинались приключения. А сейчас улыбаться становится всё тяжелее.

Да и во имя чего?

Пусть я иду по краю дороги. Пусть — еле передвигая ноги. Улыбаясь тем, кто на меня и не смотрит. Оставьте меня одну. Не оставляйте меня в покое…

12-е число

Зашла сегодня к Катьке. Мы решили пойти к Толстоноговым за книжками. Мои уже все прочитаны. Хотела сходить домой за очками. И началось… Какая-то Раиса доложила маме, что я пошла к Катьке, а у неё притон. Эта Раиса каждое утро выводит свою собаку и говорит, что из Катькиного дома выходят наркоманы. Почему же ей так скучно жить, что она плетёт этот бред и суётся в чужую жизнь? Почему этой Раисе мать верит больше, чем мне?

Был бы пистолет, пошла бы их отстреливать. «Вы говорили людям неправду?» И — бах!

Мать на меня замахнулась.

И Катька! Раиса — шлюха! А Катька до сих пор не целованная…

Мать опять пьёт корвалол, у неё подскочило давление. Отец винит меня в том, что я жалею только себя. Да, у меня молодой организм! Но так как мои нервные клетки не восстанавливаются, я рано сдохну. И без корвалола.

Покурить бы, успокоиться… А сигарет, как всегда, нет!!!

Хотя нет, не поможет это… скурюсь от этих нервов и сдохну.

Помогите мне, помогите… Этот не приснившийся кошмар всё ещё во мне… Слушайте моё сердце. Это всего лишь вода. Капли из крана — неровно и безрадостно, хотя и в ритмах рок-н-ролла.

Снять бы пальто под снегом и сидеть долго-долго под фонарём. Медленный свет сквозь снег, маленький кристаллик, мечтающий оттолкнуться и образовать звезду. Может, слёзы где-нибудь остаются? Скапливаются? Замерзают? Превращаются в снег? Или в звёзды? Или в море?.. И я через море перейду к тебе. К тебе. Помни обо мне. Жди.

Фонарей за окнами нет. Их гасят после полуночи. Уйти бы от этих постоянных криков и скандалов. Оставить им только тело. Руки в фенечках, закрытые глаза с длинными ресницами.

Так странно, что я одна и не к кому пойти. Надо искать квартиру. Работать и снимать её. Ничка с Шуриком. Ей больше доверять нельзя. Катька? «Когда течёт осенняя трава…» Сижу одна на кухне и захлёбываюсь от слёз. И очень хочется солнца.

13-е число. Пятница

Услышать бы твой голос. Дозвониться. Чтобы поплыл асфальт и закружились сверху корявые ветви деревьев.

15-е число

Максим, иди домой…

— Что за глупые шутки? — тридцатый раз слышу в трубке.

Тридцатый раз звоню и молчу. Женский тревожный голос. Ждёт чьего-то звонка. Значит, Макса нет дома.

У меня — мурашки по телу. Время за полночь, зимняя ночь. Где он? И я своими звонками подвожу его? Не хочу! С ним всё в порядке… Он где-то просто бродит… Пьян ли? «Под винтом» ли?

Максим, иди домой!!!

Снова звоню.

— Максим пошёл к Петьке. Не волнуйтесь.

— Кто это?

— Ира…

— Как ваша фамилия???

— Какая разница? Я же не спрашиваю вашу фамилию!

— Где вы его видели?

— В центре.
— Когда?
— Недавно. Только что.
— Почему он сам не может позвонить?
— Откуда я знаю? Разбирайтесь сами.
— Как ваша фамилия?

И ещё и ещё раз повторяет эту фразу, как робот. Сразу видно, что судья. Вешаю трубку. А вдруг я сделала только хуже?

«Береги себя»,—сказала я, когда подарила ему свой сборник стихов. Хоть бы он про это помнил.

20-е число

Закончила работу в полдесятого, купила три бутылки «Георгиевского» пива, пошла в двадцать третью школу. Там были только Петька и Макс. Дома у Макса варили банановые шкурки. Скоро к нему пришли и Маджента, и Настя. Опять наша компашка в сборе. Ребята приняли «феникса», Петьку здорово колбасило. Я пила только пиво.

Макс с Настей вышли «покурить»—перепихнуться в прокуренном подъезде. Господи, как противно. Начинаю ненавидеть Макса. Нарисовала в дневнике могилку с его именем.

Мы с ним сходили в аптеку, выпросили у бабки какой-то демидрола. Я не стала вмазываться. Отдала свою дозу. Надоело.

И тут пришла мать Макса. И выгнала нас.

— Вы в тот раз были в этом же составе?—спросила она металлическим голосом. И тут же добавила:— Ещё раз тебя увижу—сдам в милицию.

И пристрелила меня взглядом.

Кастрюлю Макс успел спрятать под кроватью. Если мать её найдёт—пинцет нам всем. И мне особенно, я так понимаю.

Хорошо, что я успела забрать Катькину книжку и дневник.

21-е число

Кастрюлю нашли. И Макс всё свалил на меня.

Да ещё и говорят, что я с ним… Стыдно-то как!

Мать Макса приходила в школу к моему отцу. Боже, Боже! Ну почему я опять влюбляюсь в Иуду? Сказал матери, что я «хожу по рукам», что я там всё это варила и приносила!

С этой компанией однозначно всё кончено. Надо стать другой. И вернуть своё человеческое, настоящее лицо перед теми людьми, которые меня любили.

29-е число

А я всё равно тебя люблю, Макс. Даже после всего. Наркотическая тяга к тебе. Зависимость от твоего тепла. А солнышко на улице светит слабо-слабо.

Всё ещё обзваниваю квартиры и ищу, ищу.

Готовим с Иришей новогоднюю программу. Вырезаем снежинки детям в ясли.

30-е число

Макса положили в психушку.

31-е число

Позвонила матери Макса, пожелала ей любви, здоровья и т. п. Она спросила, от кого поздравления. Я ответила, что неважно. Главное—от чистого сердца.

Январь

2-е число

Дело к полуночи. Новый год.

Вряд ли я стала другой.

Денис, вот снова я вижу тебя на солнечном Арбате, и ты худющий, морщинка на лбу: всем ты нужен, но никто не хочет накормить тебя хлебом. А я кормлю. Кусок побольше я отламываю тебе.

Нет, сколько ни пиши о тебе—не опишешь. Слова только загораживают твой образ. Я так страшно по тебе соскучилась!

Я никогда не увижу тебя Здесь, и никогда—Там. Ведь мы Там изменим свой внешний вид. И не узнаем друг друга.

5-е число

Этот город—судеб сутенёр и всему голова.

То ли вспомнила я эту фразу, то ли придумала. Не помню. Крутится весь день.

Теперь я понимаю Ничку. Она прокляла наш маленький город. Мы его любим, а он нас убивает.

Встретила в магазине Танюху. Милая, грустная. А глаза—как два мёртвых болотца. Спросила про моих «детей»—Петьку и Макса. Я ничего не сказала. Только нащупала в кармане кусочек «вонючей» кришнаитской палочки. Кусочек осени, когда мы шли по улице, а эта палочка дымила, закреплённая в петле для пуговицы у Макса.

9-е число

Пусть живут молодые и здоровые. А у меня душа больная. Прощай, я.

Сидела в подъезде на лестнице, но так и не написала стихотворение.

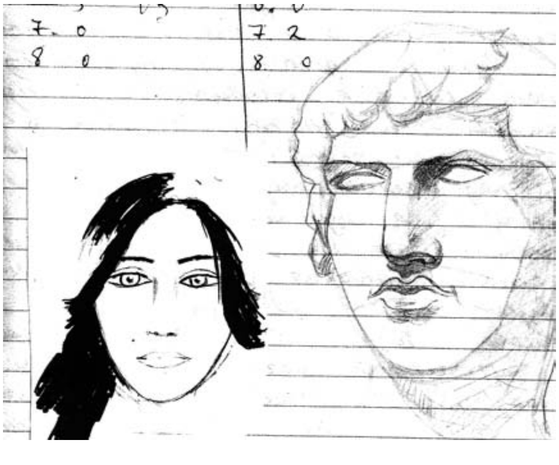
Не знаю, куда дальше идти.

27-е число

Давно ничего не писала. Вяжу, забываю, засыпаю.

Приезжал Шурик. Хорошо, что мы больше не вместе. Так тише, безветренней.

Февраль



Март

7-е число

Я сижу в двадцать третьей школе. И из-за двери первого класса доносятся детские голоса, повторяющие одну и ту же молитву, что и мы когда-то:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет *мама* (особенно громко),
Пусть всегда буду я.

Макс влюблён в Асю.

У Куртки очередные похороны — мальчик из её класса выбросился из окна.

Я сидела на подоконнике и читала «Твин Пикс», когда подошёл Петька и быстро поцеловал меня в губы. Подошёл Макс и поцеловал меня в лоб, как покойницу. Он весь в чёрном.

Какое-то число

Бывает, что кольнёт меня чувство: что такое я? Неужели я — это я? Теряя дом, человек теряет себя.

Денис, когда-то я просила указать тебя путь. Пойти за тобой след в след. Веди меня, как слепой слепую. Чтоб чувствовать невесомость и нащупывать темноту.

Хочется написать сентиментальные стихи. Но, боюсь, я разучилась рифмовать. Или Видеть.

Ася играла сегодня с Максом, он сидел в углу, а она приказывала ему:

— Сидеть! Лежать!

И он выполнял. Потом она вдруг сказала:

— Фас! — и показала в мою сторону.

Макс не шевельнулся.

— Фас!!! — крикнула Ася.

— Нет! — сказал Макс.

Я почему-то испугалась и выбежала из комнаты.

Апрель

10-е число

Моё окно рядом с кроватью выходит на окно Петьки. Там горят окна. И иногда я говорю с ним. Это похоже на вечернюю молитву. Неужели одиночество настолько сильное?

21-е число

Ну что мне делать с собой?

22-е число

Хочется на Арбат. Вот растает снег, и я сорвусь.

Май

23-е число

Good bye, blue sky!

Утром гуляли вдвоём с Асей. Шли с закрытыми глазами, растворяясь в солнечном весеннем свете. Открыла глаза: вот и я, закрыла — нет меня, и есть один только свет. Меня тянет к свету. И я хочу полюбить человека, который тоже будет оттуда, с солнца.

А в наушниках — «Pink Floyd». Мы нашли большую сосульку и несли её в руках до дома. И в ней тоже отражался свет.

Вечером Ася просила меня помочь ей написать Максу признание в любви. Я выжимала из себя чужие слова. Я люблю совсем по-другому.

25-е число

Мир теряет краски с каждым часом. И никто не замечает пропажи. Кончилось моё беспричинное счастье.

Сижу в ДХШ, второй день работы. Хочется быть одной, а здесь постоянно много народу. Того, кто с хрустальной душой, ждёт большая расплата. Разобьют, и останутся одни стёкла. Нет сил даже дописать стихотворение.

26-е число

Ничка приезжала. Привезла кассету от Шурика с песней про Дениса.

Мы с Максом стали будто бы друзьями. Если он врёт, то всегда обращается ко мне: «Ну скажи, Шурик!» И я говорю: «Да». И мы молчим, будто и не было этой осени.

27-е число

Лежу и не могу заснуть. Денис, приснись мне, пожалуйста… Как когда-то, когда ты ещё был жив.

Я не могу всё ещё смириться с тем, что я есть, а тебя — нет.

Сижу на кровати с тетрадью.

Иногда сквозь солнце чувствую тебя.

29-е число

Были у Гачи и на концерте в «Гербарии». Там была такая отличная тусня хайратых и феньkастых, что невольно вспомнила Москву. Приехали за московскими группами.

Сколько знакомого народу!!! Пришли Любка, Катька, Лёха, Белов, Фрэнк и многие другие. Кеша забыл мои кассеты дома. Егорка вышел на сцену, и все стали кричать: «Моррисон жив!»

Я танцевала с Кешей, с Петькой и ещё с кучей каких-то левых парней, которых видела впервые. Встретила одноклассницу. Она сказала, что Маринка вышла замуж. И Машка тоже. Забавно.

Июнь

Двадцатые числа

Всё реже и реже пишу дневник. Почему? Будто время сжимается и вот-вот должно взорваться и перевернуть мою жизнь. Звонила хозяйка квартиры! Я переезжаю.

Вчера видела ребят с концерта.

Было жарко, и не хотелось сидеть дома. Один парень потащил нас на реку, мы там пробыли дотемна. Он же сел рядом со мной, дал тёплую кофту и начал рассказывать о каком-то языческом обряде встречи лета. Солнце село далеко в полях, и появилась красная клякса заката. Так я любила пальцами рисовать в детстве. Опустишь палец в густую гуашь и рисуешь что-то такое, что понять можешь только ты.

Мы жгли костры, бросали большое горящее колесо в воду и смотрели, как оно медленно погружается. Вода зигзагами дрожала от жара.

А когда он возвращался от воды, весь чёрный от пепла, я засмеялась и почему-то подумала, что, наверное, выйду за него замуж. Рожу двух мальчиков. Или трёх. И мы будем приходить каждый июнь сюда, сидеть или танцевать около костра и кидать большое-большое горящее колесо в воду. И всё войдёт на круги своя. Наконец-то.

Укачай меня, путь-дороженька,
Дороженька дальняя,
Звезда ясная.
А ты прощай, моя грусть напрасная.

Голоса наши в небеса ушли,
А глаза наши дожди выпили,
Волоса наши во лугах росли,
Косой скошены, в стога сложены.

Есть люди

Мама повесила Егорычу на стене у кровати листик с каллиграфически чёткими буквами. Закрыла им Африку и любимое, таинственное и жёлтое, место с надписью «Луанда». Егорище всегда вечером при свете ночника вращал головой по подушке, и ему казалось, что Луанда пахнет сладко-ванильно, как-то по-восточному.

Егор жил в собственном домике — выстроенной отцом деревянной коробке с занавесочкой, окошечком, шкафчиком и географической картой мира вместо неба. На потолке. Домик был уже слишком низкий и узкий для шестилетнего Егора. Мама считала Егорище особенным чудом природы и с самого рождения тыкала им в лицо гостям и восхищённо вскрикивала: «Посмотрите на него! Он уже — думающее существо! Он будет гением!»

Впоследствии мама писала красивым учительским почерком странные предложения из книги с непонятным названием «Афоризмы» и лепила их на скотч на карту и в туалете перед унитазом.

Егорыч никогда не понимал их, просто смотрел на червячки-буквы и вращал головой так, чтобы они ползали.

Карта ежемесячно заполнялась этими бумажками и постепенно закрывала ему мир, отчего Егорычу становилось тоскливо. Вчера от такой вот тоски он долго смотрел на прыгающего перед ним мальчика, кричащего что-то, дующего жевательные пузыри Егору в волосы, — потом поднял табуретку и со всей силой ударил того по лицу.

И почувствовал облегчение. Мама плакала вечером и просила извиниться перед одноклассником. Егор мотал головой, а потом вдруг занялся тем, чем никогда не увлекался. Он достал из старой коробки отцовских солдатиков и, нацепив осторожно каждому из них нитки на шеи, развешал по ручкам дверей и окон. На молчаливый вопрос деда Егор кратко отвечал: «Дезертиры!» Потом взял отцовский нож и отрезал одному из солдат ногу. Под металлическим взглядом деда он пояснил: «Инвалид!» С инвалидом сюжет истории казался более логичным.

Мама увидела в этом какое-то знамение и, приложив руку к сердцу, прицепила бумажку: «Если ты уйдёшь — это значит, что забрали нас двоих».

Егорище на это запихал два гвоздя в розетку и уже бессознательному телу бабушки сказал: «Щекотно».

А на следующий вечер при свете ночника сорвал все листики с карты, оставив лишь один. На нём было написано: «Есть люди, которые считают мир своим».

Владимир Семёнов

Не покорить вам нашей сельвы!

Попытки плагиата

Пока-пока-покачивая нефть из сотен скважин,
Не раз ещё шепнём: «Мерси, Баку!»

Есть только миг между прошлым и будущим.
Наша задача — его растянуть.

Друг друга кушать каждый день — такая скука!
Вот почему аборигены съели Кука.

Если долго мучиться — мученик получится.

И долго буду тем любезен я народу,
Что жизнь хорошую всем людям обещал…

А у нас во дворе есть девчонка одна.
Или, может быть, две. Их никто не считал.

Нет, не могу больше людям так врать я,
Что Ленин и партия — близнецы-братья.
Это обман мирового масштаба.
Так знайте же, люди: партия — баба!
(«Завещание Маяковского», том третий)

Вот она пришла, весна, — как паранойя.
И лежу в своей постели весь в хандре я,
Так как знаю — потому что не дурной я:
Скоро лето к нам придёт — как диарея…

Я склонюсь над твоими коленями.
Обниму их с неистовой силою.
Если треснут — уйду с сожаленьями.
Не люблю баб с коленями хилыми.

Мы в корне устранили несуразность:
Кто был ничем, тот стал никем.

Ешь «Рафаэлло», «Сникерсы» жуй.
Снова пришло твоё время, буржуй.

Как хороши, как свежи были слухи…

Из психушки хочу я уйти —
Очень скучно в больничных палатах.
Но встают у меня на пути
Люди в белых халатах…

Поделись инфекцией своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся.

Рабочий тащит пулемёт.
Колхозница — гусей.
«С работы кто что может — прёт!» —
Девиз России всей.

Широка страна моя родная!
И длинна. Но мало высоты…

За это можно всё отдать!
Но, может, хватит половины?

Если парень в верхах — не ах,
Если сразу раскис — и вниз,
То тогда, уверяю вас,
Он не тенор, а бас.

Тогда вы были кандидатом
И чушь прекрасную несли…

Я возвращаю ваш лорнет.
Пусть у него оправы нет,
И стёкла выбиты давно.
Я возвращаю всё равно.

Уронил жену я на пол
И лицо ей расцарапал.
Всё равно её не брошу,
Потому что я — хороший.

Кроха сын к отцу пришёл,
И сказала кроха:
— Я б в политики пошёл!
Только вру я плохо…

Одностишия

Быть честным хочется… Но меньше, чем богатым.

Поизносилось то, в чём мама родила…

Да, невесёлым получился некролог…

Ум, честь и совесть как-то перегрызлись…

И жить не хочется, и застрелиться лень…

С годами у меня всё больше черт лица…

— Я не бездомный! Я живу в воздушном замке.

Как много времени потрачено на жизнь!..

— Но я не все ещё приличия нарушил!

Мы так близки, что столкновенье неизбежно…

Налог на глупость — вот спасение России.

Нет слов, чтоб повторить — что он сказал.

— Я верю в Бога! Он сумеет…

Хранил молчание. Но — зря. Не пригодилось…

Нас лишь двое на Земле — я и человечество…

Нас, гениев, всего один на свете…

Двустишия

— Не подскажешь: дважды два — не четыре ли?
— Нет. Таблицу умножения стырили…

Он скромно говорил: — Какой я, к чёрту, гений?..
Я просто-напросто гораздо лучше всех.

— Хочу признаться, что тебя люблю.
— Увы, ты опоздал… Я это знаю.

Известному российскому «шансонье»
Не зря его так жалуют братки —
Он за душу берёт, как за грудки…

— Но ты же сам вчера твердил: не в баксах счастье!
— Был молод… И, по-видимому, глуп…

Стремился писатель к двум целям полярным:
Писать поумнее — и быть популярным.

— А под этим знаком зодиака
Родились мои невеста и собака.

— Я понимаю, девушка, вам трудно.
Всем трудно думать в первый раз.

— Лицо мне ваше кажется знакомым.
Я не на вас вчера жениться обещал?

Индейское-южноамериканское
Если не мужчина, а кисель вы,
То не покорить вам нашей сельвы!

И вот сегодня в слове «уходи»
Над буквой «ё» она расставила все точки…

— Всё то, что вы мне тут шептали, —
Лишь громкие слова…

— Да, ваша речь — как наша речка.
Неглубока, но всем воды хватает.

Как всё же жаль, что нет возврата
К летам, пригодным для разврата!..

Поэту В. В. от коллеги и тёзки
— О, поделись, поэт, со мною тайной ты:
Как имя делают себе из пустоты?

— А то, что я не виноват,
Смягчит мою вину?

— Я завтра же отдам вам все долги!
— Но я не собираюсь жить до завтра!

Какая грязь порой таится
Под тонким слоем чистоты!..

Трёхстишия

— Кто начал матерное слово тут писать?! —
За нравственность борясь, спросил учитель строго.
А на доске меж тем виднелась буква «икс»…

О некоторых собратьях по перу

И день, и ночь — на боевом посту:
Строчат без устали. А ведь они, по сути,
Гоняют пустоту по чистому листу…

Однажды я проснулся знаменитым.
Всё было — слава, женщины и деньги…
Но, к сожаленью, вскоре снова я проснулся…

— Мы обнищали до предела!
Вчера вот, например, я в третий раз подряд
Одни и те же драгоценности надела…

Связался как-то дьявол с коммерсантом —
И сам не рад был: тот свою душонку
Ему втридорога загнал… Плюс — НДС.

Премьер-министр отправлен был в отставку,
Что для него явилось полной катастрофой.
Ведь ничего он больше делать не умел…

С годами понял я, что умных мужиков
Не любят девушки. Чем становлюсь мудрей,
Тем менее я их интересую.

— Передо мной закрыты все пути! —
Бесстыдно врал он. Ведь на самом деле
Путь вниз ему никто не закрывал…

Нет, чуть не месяц пью я неспроста.
Сам посуди — два рядом Новых года,
И тут же — пара дней рождения Христа.

Вчера с женой мы и соседом разбирались —
Кто всё-таки из нас тут третий лишний.
Жена, однако, лишней оказалась.

Туристическое-пессимистическое

Еду сожрали… Бабы разбежались…
Одна осталась плотская утеха —
Кататься на плоту.

Она сказала, что работает моделью.
Пожалуй, врёт. А может быть, и нет.
Бывают ведь и экскаваторов модели…

Всю жизнь мечтал я стать миллионером.
И стал почти. Но рухнули надежды.
Деноминация…

— Надеюсь, бывший муж ко мне вернётся…
— Какой из трёх, мадам?
— Мне всё равно.

— Ах, как же я вам благодарен!
Теперь за эту добрую услугу
Гораздо меньше буду вас я ненавидеть.

Вчера во сне я застрелился.
Такой поганой жизнь приснилась!
Ну прямо как на самом деле…

Ну что же счастье не приходит?!
Ведь я его так долго жду —
Все отлежал бока уже и спину.

Купил он подпольную водку.
Последствия были ужасны:
Всё выпил, но трезвым остался.

Зашёл я в магазин «Дары природы» —
Набрать, чего природа подарила.
И вышел вон… Дары дороговаты.

Как я сочувствую порой моим врагам —
Так многие убить меня мечтают,
Но сможет, в лучшем случае, один…

Евгения Коробкова

Счастье от сердца, горе от ума?

О стихах Дарьи Серенко

Как писал классик, на святой Руси не умеют в меру ни похвалить, ни похулить: если превозносить начнут, так уж выше леса стоячего…

Дарье Серенко восемнадцать лет. Она приехала из Омска. Она пишет стихи. Как поётся в одной песне, в её годы пишет каждый. Однако с Дашей случай особый. «Выше леса стоячего»—это про неё.

«Её особый голос и интонацию уже не спутать с другими…», «Девочка проходит по ведомству вундеркиндов, как Надя Рушева и Ника Турбина»,—пишут о ней журналисты.

Среди бессчётных литературных достижений встречаются и вовсе неприличные по формулировке. Такие, как, к примеру это: «Победитель Всероссийских поэтических fконкурсов «Познание и творчество» с присвоением звания «Талант», ранг «Высший». Выдан сертификат…»

Среди этого словесного пышнословия как должное воспринимаются и прозвучавшие недавно на Волошинском фестивале похвалы от Бахыта Кенжеева, от редактора журнала «День и ночь» Марины Саввиных, от поэта Сергея Бирюкова…

Может быть, и не стоило бы перечислять всё это, если бы не два обстоятельства. Первое: Даша Серенко действительно пишет очень хорошие стихотворения. Второе: подобно тому, как вакханки убивают Орфея, вселенская осанна убивает творца.

Находясь в центре многословной и нескромной похвалы, очень трудно сохранить лицо, не стать той мультяшной героиней, творящей под девизом «Кто похвалит меня лучше всех».

И трудно себе представить, какой трудный период переживает сейчас Даша.

Как читатель, я очень люблю Дашины стихи.

В отличие от большинства своих сотоварищей, она умеет писать «в ритм» и «в рифму». Обладает редким по нынешним временам чувством меры. Как правило, стихи молодых безразмерны, как колготки. Однако Даша заботится о читателе. Её стихи имеют удобоусваиваемый объём. Лимитирован размер строчки, редко превышающий 4–5 слов. Важно, что Дарье удаётся так равномерно распределить читательское внимание, что любое её стихотворение (удачное или неудачное) прочитывается целиком (а это ныне большая редкость).

Существует точка зрения, что эстетической ценностью не обладает то, что создаётся с практической целью. Из этого следует, что стихотворения большинства молодых нельзя относить к искусству. Зачастую такое молодёжное «творчество» имеет сугубо практический характер. Это способ выговориться, вывернуть наружу наболевшее. Писание стихов в восемнадцать-девятнадцать лет—непременный сензитивный период развития по Эриксону, наряду с овладением навыками письма, чтения и т. д. Редкий читатель долетит до середины такого «сензитивного» стихотворения. Да и, собственно, они не созданы для прочтения. И этим отсутствием реципиента ещё раз подчёркивается, что эти стихи к понятию «искусство» отношения не имеют. Философы (сошлёмся на О. Кривцуна) сходятся во мнении, что произведение искусства попросту невозможно без публики. Более того, если бы, к примеру, Лувр, где висит «Мона Лиза», был закрыт для посещений и картину никто бы не видел, то от этого «Мона Лиза» потеряла бы статус произведения искусства!

Исходя из рассуждений, приведённых выше, мы можем говорить о том, что творчество Даши Серенко имеет отношение к искусству:

- оно (творчество) не относится к сензитивным периодам развития;
- оно создаётся с установкой на читателя;
- оно имеет этого читателя.

Словом, стихотворения Дарьи Серенко имеют больше оснований называться фактом искусства, чем… не будем продолжать, поскольку если мы станем оценивать поэзию Серенко в сравнении со сверстниками, то должны будем присоединиться к хвалебному хору.

Но, как писал Барт в своём знаменитом эссе о девочке-вундеркинде, гениальность—это всего лишь вопрос экономии времени: речь идёт только о том, чтобы двигаться немного быстрее, чем все прочие.

Приходится признать, что на сегодняшний день творчество Дарьи Серенко и сама Дарья Серенко неотделимы друг от друга, наподобие сиамских близнецов Энга и Чанга. Как известно, когда умер один из близнецов, незамедлительно скончался и второй, хотя до этого ничем не болел. Выживут ли стихотворения Даши, если мы не будем знать, сколько лет девочке, написавшей их?

Философ Ильин считал, что биография творца не должна заслонять его художеств. Значит, именно так, без скидок на возраст, следует оценивать и стихи.

Серьёзность разговора, в первую очередь, обусловлена высоким качеством материала. Дашины стихотворения находятся сейчас на том несомненно высоком уровне, когда смогут самостоятельно выносить удары критики.

Раннее творчество
Стихотворения-метафоры

Наиболее удавшиеся Дашины стихотворения — это стихотворения-метафоры: «Сашкино горе», «Чашка». (Отметим, что первым толстым журналом, «открывшим» Дарью Серенко, стал «День и ночь», и подборка, в которую вошли «Сашкино горе» и «Чашка», впервые была опубликована в «ДиН».)

Автор обыгрывает некий предмет — чашку, ключи, — и «повышает температуру кипения» в финале, сравнивая предмет с человеком:

мы квиты с тобою, чашка,
я тоже в чужих руках…
(Д. Серенко, «Чашка», «ДиН» № 3, 2010)

или неким метафизическим предметом, как в лирической миниатюре «Сашкино горе», когда совершенно конкретные ключи от дома, вручённые ребёнку, но потерянные им, превращаются в утерянные ключи от мира:

Саша уснёт и наутро не вспомнит,
Как ему что-то во сне говорило:
«Этот — от бабушки, этот — от дома…
А остальные — от целого мира!»
(Д. Серенко, «Сашкино горе», «ДиН» № 3, 2010)

Эффект происходит от соединения двух «далековатых» состояний стихотворения. Социальное, бытовое начало не предвещает ничего сверхъестественного (вспомним, что социальные стихи испокон веку считались третьесортными). Но читатель не ожидает и не замечает, когда стихотворение из совершенно обыденной, земной плоскости переходит на совершенно иные, метафизические уровни.

Творчество Даши является лучшей иллюстрацией открытого Лейбницем принципа минимакса: «В мире, где живёт человек, действует принцип минимакса: максимум результатов достигается с помощью минимальных средств». В композиционной основе стихотворений лежит всего один приём — метафора. Но достигнутый результат — максимален.

Принцип минимакса работает. И за это прощаются даже огрехи. Плохие рифмы типа: «вспомнит — дома» или «однажды — чашка» — становятся незаметными. В этом есть вызов и поэтическая загадка. Техническое исполнение не на высоте, но при этом стихотворение остаётся стихотворением.

В высшем своём проявлении поэтическое творчество стремится к метафоре. И лучшие стихотворения Даши Серенко — таковы. Обычные жизненные ситуации, мимо которых легко пройти и не заметить, берутся за основу и превращаются поэтом в сильнейший образ, символ, метафору. Этот поэтический путь, нащупанный Дашей, кажется очень перспективным и интересным.

Новое творчество

Новые поэтические подборки Дарьи Серенко отличаются от прежних по «рецептуре». В стихотворениях появилась не замеченная прежде языковая игра: паронимия, синонимические ряды, элементы словотворчества. Вместо одного главенствующего отработанного приёма, обеспечивающего принцип минимакса, появилось множество приёмов. Но, как нам кажется, Дарье Серенко не удаётся привести в действие все механизмы, внедрённые в стихотворения.

Наиболее частые гости текста — глагольные каламбуры:

взгляд отведи, как беду от чужого дела;

или:

и снимая посмертную маску как карту;

или:

сходить с ума. Так с рельсов сходит поезд.

Несмотря на то, что кому-то такая словесная игра может показаться очень эффектной и интересной, мы не склонны считать, что освоение нового приёма пошло на пользу стихотворениям.

Использование глагольных каламбуров стало одним из гиперпопулярных приёмов в молодёжной поэзии. Эффект новизны от его использования стёрся. К тому же в достаточной степени его дискредитировала Вера Павлова своими строчками типа:

ты возбуждаешь меня, как уголовное дело…

Сегодня подобного рода каламбуры смотрятся более или менее уместно в стихах иронического толка, но просто противопоказаны чистой лирике, такой, как у Даши Серенко.

К тому же, используя этот приём, автор неосознанно, чуть ли не слово в слово, повторяет попытки миллионов предшественников.

Сравним:

реки все впадают в кому *(Дарья Серенко)*,

и:

Будто Волга впадает в кому, отражая бардак созвездий
(Дмитрий Мурзин).

Предсказуемы, как высмеянная Пушкиным рифма «морозы — розы», и попытки игры словами.

Раз есть «река имён», то непременно появляется «имярек»: «Река имён, и каждый — имярек»; «щебень» превращается в «щебечье», «прохожие» достаточно грубо обыгрываются «прихожанами». Бликует залапанный всеми не по одному разу оксюморон «тьма несусветная».

Всё это выпирает из Дашиного стиха, выглядит нарочитым, лишним и неумелым, как, к примеру, катрен:

…бабочкин лёт, наоборот
названный «ропот» рубит, трубит:
воздух пахнет и ахает,
пахнет и ахает.
(Д. Серенко)

В четверостишии довольно густо смешаны палиндромы и паронимы, но КПД от их использования стремится к нулю. Находки автора — паронимы «пахнет — ахает», «рубит — трубит» — давно не новы, а задачка обнаружить «топор» в «ропоте» примитивнее даже той «волшебной фразы», которой девочка с голубыми волосами пыталась удивить Буратино.

Когда автору нечего сказать, часто он старается замаскировать это словесной игрой. Однако слово

не приводит, а уводит. Создаётся ощущение случайности, необязательности, пустоты.

Сравним строки Даши с замечательным катреном Леонида Губанова, также построенном на обыгрывании созвучий:

Когда снег любит—
значит, лепит,
А я, как плавающий лебедь,
В тебе, не любящей меня.
Полина! Полынья моя!
(Л. Губанов, «Полина»)

Если поставить Дашино «пахнет и ахает, пахнет и ахает» рядом со строками Губанова, то невольно вспоминается сравнение Чуковского. Разница между отрывками примерно такая же, как «между Шопеном и жестяным вентилятором».

Зачастую Дарья пытается построить на языковой игре и финалы стихотворения, как, например, это: «бояться скучно, а скучать страшнее». Однако и здесь неудача. Парадокс, выведенный в конце, не работает в силу того, что игра, заложенная в него, слаба сама по себе, а в финале стихотворения эта слабость становится банальностью.

В отличие от более ранней поэзии Даши, в новых стихотворениях плохие рифмы, что называется, «бликуют»:

- очевидность—обидно;
- словам—закрывать;
- безымянных—первозданный;
- отводят—находят;
- твоё—моё.

Вообще, странно, что, обращаясь к языковой игре, Дарья Серенко оставляет без внимания рифму. То, что прощалось стихам, написанным «по промыслу», не прощается стихотворениям, написанным «по замыслу», в которых очень важна чистота выполнения каждой составляющей.

По сравнению с прежними подборками, новые стихотворения потеряли в смелости, потеряли то обескураживающее, заставляющее замирать и удивляться, как, к примеру, в строчках:

Но небо, проходя сквозь колокольню,
Становится звучащим и высоким…
(Д. Серенко, «Нечего», «ДиН» № 4, 2009)

На смену открытиям пришла риторичность:

По мне—умирать лучше поздно, чем никогда.
(Д. Серенко, «С утра наливается светом речная вода»)

«Каков вопрос—таков спрос и таков ответ».

На смену точным образам—красивости, типа фразы:

фантомные боли дрожат за спиной, как крылья…
(Д. Серенко, «Медея»)

или безвкусное «развесистая боль в маленькой груди», вызывающее непреодолимые ассоциации с «развесистой клюквой».

Впрочем, даже несмотря на явные неудачи или даже провалы отдельных строк, вкус автора и чувство стиля позволяют ему сохранить за стихотворением общий средний уровень. Тексты неплохо слушаются, приобретают некоторый медитативный эффект. И конечно же, при этом неизбежно теряют оригинальность. Превращаются в «чудесный танец звёзд, на всё, на всё похожий» (Кальпиди).

Складывается ощущение, что автор вышел на новую, неведомую ему местность и не знает, как ему быть и что делать дальше. Он скован, боится совершить неосторожное движение. И кажется, стихотворения пишет под девизом «Как бы чего не вышло».

Во что в конечном итоге может вылиться такая осторожная деятельность—очень предсказуемо. «Это благонравная, подслащённая поэзия, целиком основанная на убеждении, что поэтичность—это метафоричность и что поэтическое содержание есть не что иное, как выражение элегических настроений обывателя». Это цитата из Барта, посвящённая творчеству девочки-вундеркинда Мине Друэ.

Или это о Дарье Серенко?

Как писал Ильин, художество родится тогда, когда предмет, ранивший и одаривший, берётся духом и творчество переживается в божественной значимости.

Способность взять духом—есть у Дарьи. И способность эта, как волшебный порошок, способна оживить любую, даже, казалось бы, самую неудачную, самую грубо скроенную вещь. Последние Дашины стихи в большинстве своём представлены такими грубо сделанными вещами. Однако показателем истинных возможностей является стихотворение «Ящерка в банке, шмель в кулаке…»:

Ящерка в банке, шмель в кулаке,
Бабочка в спичечном коробке,
Квёлые яблоки в грязной панаме
И «китикет», припасённый в кармане.
Птицы больные по тёмным подъездам,
Крошки и тряпки, ругань соседок.
Птиц хоронили потом повсеместно,
То есть совместно—и крестик из веток.
Всё-таки смерть была очень условна—
Птицы с утра появлялись другие,
Снова голодные, снова живые,
Снова, и снова, и снова, и снова.
Но утекает песок из песочниц,
Но забывают, где птиц хоронили,
Ящерок, кошек своих худосочных,
А ведь у каждой из них было имя.
Детство всё примет в свой жадный живот,
Всё тянет в рот, что ему интересно.
Доброе злое голодное детство
Весь этот мир с потрохами сожрёт,
Чтобы хоть как-то его уберечь…
Веточка.
Птичка.
Речь.

Ранившее автора ощущение уходящего детства взято духом и преобразовано так, что этому подчинились даже неподдающиеся прежде приёмы. Здесь к словесным превращениям нет претензий.

Хорошо выстроены ряды, работают и антонимичность, и оксюморонность конструкции: «Доброе злое голодное детство». Очень удачно в финале стихотворения использованы назывные предложения: «Веточка. Птичка. Речь».

Снова, как в прежних стихах, появляются социальные зарисовки. Точные и лаконичные: «Птиц хоронили потом повсеместно, то есть совместно — и крестик из веток».

И неожиданная высота: «…детство весь этот мир с потрохами сожрёт, чтобы хоть как-то его уберечь».

К слову, основная мысль стихотворения сходна с идеей писателя Владимира Шарова в его замечательной книге «Будьте как дети». В романе Шарова детские считалки «эне, бене, раба» оказываются древними молитвами, которые были даны детям, чтобы те, сами не зная того, молились за наш мир и спасали его. Идея, на реализацию которой писателю потребовалось два толстых тома, убедительно доказана в совсем небольшом по объёму стихотворении Дарьи Серенко.

Поток слов подчинился лирическому напору. Не надо умствовать, не надо выискивать. Когда предмет, ранивший и одаривший, берётся духом, этому духу подчиняется всё…

Вместо эпилога

Существуют два способа создания стихотворений. Одни создаются умом. Другие — сердцем.

Наглядно два эти способа легко представить себе, если допустить, что поэзия похожа на лабиринт. Чтобы выйти из лабиринта, есть два способа. Первый — это хорошо знать путь, по которому идёшь. Так действуют поэты, пишущие «умом». Они сознательно избегают ловушек и капканов, знают, какие маршруты бессмысленны, какие — опасны, а какие — правильны.

Второй способ пройти лабиринт — это способ Тесея. Все мы помним о подарке Ариадны, которым воспользовался герой. Для поэта нить Ариадны — это путь, подсказанный сердцем. И пренебрегать одним путём ради другого — неправильно и зачастую невозможно. Идущий путём сердца, как правило, не обладает блестящим аналитическим аппаратом поэта, пишущего «от ума». Потеряв нить, он не найдёт выхода из лабиринта.

Вспомним миф. Тесей, до того как попасть в лабиринт Минотавра, уже совершил множество подвигов и был воспет людской молвой. Он был героем. А теперь представим себе альтернативное развитие сюжета. Предположим, что Тесей поддаётся воздействию вселенской славы. Его обуяла гордыня. Осознав собственное превосходство, он отвергает помощь женщины. Герой должен быть один, чтобы демонстрировать народу собственные возможности на поприще исследования лабиринтов.

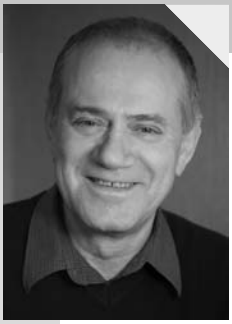
Интересно, что случилось бы с героем, если бы он пренебрёг нитью Ариадны? Вероятно, он потерпел бы фиаско. А может быть, его уникальные способности действительно позволили бы найти выход. Однако в этом случае нашедший дорогу был бы другим героем. Ариадна не предлагала свою помощь каждому попавшему в лабиринт. Её нить предназначалась Тесею.

Путь Дарьи Серенко — это путь сердца. Чтобы следовать по этому пути, не надо бояться сделать неправильный шаг, оглядываться, осторожничать и бояться не понравится кому-то. Но, тем не менее, нельзя уверовать в свои силы настолько, чтобы пренебречь даром.

Говорить о том, что поэзия «от сердца» лучше или хуже поэзии «от ума» — нельзя. Это всего лишь два полярных способа постижения мира. Однако в наше время, когда превалирует поэзия ума, поэзия сердца встречается всё реже, и оттого она ценнее.

Следовать пути, который избрал её…

Это главное, что хотелось бы пожелать Даше.



Николай Игнатенко

Переделкино—Комарово

Кедр

Комаровский писательский жёлтенький дом.
Вид на кедрик из нижнего номера.
Сколько душ проживало писателей в нём!
Сколько кануло, Господи, померло.

Лишь Ахматовой Анны святая душа
возле кедра, не росшего с нею,
всё витает, витает, его тормоша,
и её он считает своею.

Обступившие кедрик деревья стоят,
будто дела им нет до мохнатого.
Да тем более лет ему не пятьдесят,
и его не сажала Ахматова.

Не жалей. Цвет хвои твоей радует глаз,
в росте скоро обгонишь всё воинство.
Жить на свете ещё после многих из нас—
для тебя основное достоинство.

Сеет с кедра февральский колючий снежок,
обнажаются лапы мохнатые.
Я дотронусь рукой: оставайся, дружок,
на земле, где ходила Ахматова.

Электричка Переделкино—Комарово

С авантюрной своей привычкой
отправляюсь в поездку снова
фантастической электричкой
Переделкино—Комарово.

Это лишь с непривычки кажется,
что такого маршрута нету.
Погаси-ка улыбку ханжескую
и—айда!—со мною по свету!

Даже если не очень мудрые,
знать, мой друг, мы с тобой обязаны,
под Москвой и под Петербургом
чем посёлки друг с другом связаны.

Не медальным, не денежным знаками,
не домами своими богатыми.
Первый—одушевлён Пастернаком,
а второй—освящён Ахматовой.

Потому в пути так привычна
и сладка словесная путаница.
Фантастической электричкой
мчит поэзия—вечная спутница.

А из окон страна богатая—
все дома, все леса, все пашни.
А Борис Пастернак с Ахматовой
нам с перрона прощально машут.

Окно

Моё окно без переплётов—
простая рамка для картины.
Шарфом из снега парк замотан,
и не страшны ему смотрины.

Под снегом сломанные ветки,
под снегом прочие изъяны.
И смотрит парк вполне приветливо
на человечество и страны.

С картиной этой поселился
и через месяц с ней уеду.
С деревьями в окне так сжился,
что часто с ними вёл беседу.

И этот кадр, в мозгу засевший,
из переделкинских сидений
во мне, уехавшем, нездешнем,
началом будет сновидений.

О том, как рамку для картины
я мастерил в квартире томской,
и все еловые лесины
надменно превращались в сосны.

Зимние прогулки по Комарово

Каждый день обхожу я снова
весь посёлок пока есть силы.
Деревянное Комарово—
будки, дачи, дворцы и виллы.

Так безлюдно и так заснежено!
Здесь—не шумное Подмосковье.
Просыпаются чувства нежные,
что заканчиваются любовью.

Пусть с антенновыми тарелками,
и заборы стоят трёхметрово.
Деревянное Переделкино,
деревянное Комарово.

Тот и этот—в лесу изваянные
и по-своему бестолковы.
Переделкино деревянное,
деревянное Комарово.

Но—отталкиваясь от простого—
отличаются друг от друга
Переделкино от Комарова,
как столица от Петербурга.

И поэтому снова и снова
нахожу его мягким и милым.
Деревянное Комарово—
будки, дачи, дворцы и виллы.

Комарово

Первый раз проживаю достойно.
Белый снег. Комарово. Февраль.
Мне возвышенно здесь и покойно.
Не грущу. Не жалею. Не жаль.

Лишь Иван Николаевич Овинцев
хмыкнул, полный мне дав пансион.
Мол, писателем каждый становится
здесь, хоть не был писателем он.

Да тем более номер двенадцатый:
люкс, просторно, и первый этаж.
Только боязно всё же вселяться,
ну, как в Лувр, как в Дорсэ, в Эрмитаж.

Но вселился — докладывать смею вам.
И зима за окном расцвела.
Ах, спасибо Вам, Анна Андреевна,
что писала, любила, была.

От души Вы могли бы смеяться
на мою запоздалую роль:
снова в номере Вашем двенадцатом
проживал сероглазый король.

Из далёкого города Томска
неизвестный, но гордый поэт
счастлив был, что разглядывал сосны,
те, что с Вами встречали рассвет.

Счастлив был, что не надо тревожиться
о конечности жизни любой,
что судьба неминуемо сложится
так, что он не захочет другой.

Прощание

Год одиннадцатый. Третье марта.
В дате нет ничего такого,
чтобы стала событием дата,
если б только не Комарово.

Потому что в посёлке этом
каждый час отбивается звонко.
Я приехал сюда поэтом,
а уеду отсюда ребёнком.

И с душой, добела отмытой
чистым воздухом, снежной тишью.
Сосны с елями в небо взмыты,
соревнуясь, какая выше.

А которая самая-самая,
с прошлым, будто на ней распятым,
помнит царского вида Анну,
видит репинские Пенаты.

И желает тебе успеха,
пряча ветки под снег нагие.
Хорошо отсюда уехать
путешествовать по России.

И осесть бы для жизни новой
за Смоленском, на речке Каспле.
До свидания, Комарово!
С крыш уже посыпались капли.

Ожидание в Переделкино

Настроенье моё — пасхальное,
хоть и пост наступает Великий,
и улыбки мне шлют печальные
в переделкинском кладбище лики.

Пробегаю до станции мимо я
тех усопших моих кумиров,
что при жизни любить любимых
завещали, прощаясь с миром.

Жду тебя не дождусь в Переделкино,
хоть и ждать здесь покойно и просто,
если бы не досады мелкие —
ну, простуда! — гулял бы под соснами.

Ждал тебя не страдательно. Звонко,
как важнейшего в жизни события,
ну, как свадьбы, рожденья ребёнка,
как последней проблемы зарытия.

И живётся мне, хоть и сопливо,
над собою вполне насмешливо,
долгожданно красиво — счастливо,
словно завтра свидание с женщиной,

от которой судьба переменится.
В замороженном Переделкино
жизнь вдруг сложится как поленница —
пусть не полностью, с недоделками.

Хорошо бы мечтам исполниться
на исходе моей сопливости.
В патриаршем подворье звонница
тоже требует справедливости.

Приходи ко мне в Переделкино

Как войдёшь в Переделкинский парк,
Прямо двигайся по дороге —
Потеряться нельзя никак,
Разве только откажут ноги
От наивных нахлынувших чувств:
Сколько молено здесь перемолено!
Я помалкиваю, Златоуст, —
Сердце грустью густой переполнено.
Шестьдесят и ещё целых пять
Мне, смешному мальчонке, при этом.
Тщусь зачем-то, стараюсь писать,
Всё экзамен держать на поэта.
Но настолько уже опоздал!
(Здесь не пишут стихов, их не слышно.)
Поэтический ихтиозавр,
Не престижный, ненужный и лишний.
Но! Забудь навсегда о стихах!
Здесь красиво, как в ангельских душах,
Здесь куда-то девается страх,
Здесь не врут, не воруют, не душат.
На условности плюнь, захоти! —
Ну чего не случается в мире! —
Поднимись на этаж, заходи
В дверь за номером двадцать четыре.

Людмила Абаева

Рождённая сентябрём

Я снова в детстве. И вот этот дом
знаком мне каждой половицей,
и к этому окну слетались птицы—
здесь и сейчас для них рассыпан корм.

Но тополи! Ведь это я весной
воткнула прутики с едва развитым корнем—
как вознеслись, как оперились кроны;
о чём,
        о чём,
                о чём их непокой?

И вряд ли угадать в их голосах
то лепетанье листьев на ладошке
у девочки, бежавшей по дорожке
с неомрачённой зеленью в глазах.

О, как необъяснима и проста
от зелени до охры жизнь листа.

А во дворе всё та же суета
и звонкий смех. И значит, всё на месте,
пока есть дети, солнце, и лапта,
и мячики тугие в поднебесье.

Урал

Урал!—тугая тетива
из Азии нацеленного лука,
с Европой непрестанная разлука,
безвременье в любые времена.

Твой тёмный лес, в глухие небеса
растущий самовольною державой,
не одолеть ни подвигом, ни славой,
а только детской верой в чудеса.

Твоих народов самоцветный сход
живёт-гудёт и от судьбы не рыщет,
а по весне в высоких голенищах
всё пашет землю, пляшет и поёт.

Откуда он слетелся, этот люд,
и среди всех—моих родимых горстка?
Но женщины, с иголкой и напёрстком,
молчат о прошлом и рубахи шьют.

И сколько ни гляди—хребты и даль,
из года в год цветущие столетья
и то, что пуще жизни, пуще смерти—
в родных глазах

Веретено у бабушки в руках
опять сулит неспешную беседу
про сенокос, да про Алёшку-деда,
да про поля во ржи и васильках—
про всё, что смолоду вздымало грудь…

Я слушаю, боясь передохнуть,
и всё хочу рукой остановить
как время утекающую нить.

В тайге

В снежных лапах, чёрных елях
страх таится, ропот спит.
Хрустнет сук—как от шрапнели,
что-то из кустов взлетит.

Закружит, зачертоломит
и затихнет вдруг—как сгинет,
только ветер ветку клонит,
только ужас ломит спину.

Чур меня! Здесь быть обману,
хоть под ёлкою усни,
вспыхнут волчьими зрачками
поселянские огни,

и даёшь такого крену,
что не сыщешься вовек.
Ну, молись теперь: кто встренет?
Волк ли, чёрт ли, человек…

Анатолию Жигулину

Тихий вечер, тихий снег,
Светлая дорога…
Одинокий человек,
Не держись порога!

В даль сомнений поспешай
Вслед снегам кипучим.
Одинокая душа—
Всем ветрам попутчик.

В даль сомнений, где поля
В ожиданье строгом.
Да хранит тебя земля
И ведёт дорога.

Три стихотворения

1.

Рождённая сентябрём,
ты кружишься цветистым листом между деревьями,
изнемогающими под бременем плодов.
Тяжёлые, они падают с ветки и разбиваются.

Но ты легче
напоённых соком земли плодов.
Ты легче ветра—
высоко взлетаешь, играючи опускаешься.

Легковесная, где тебе заподозрить,
что ветер гонит тебя,
а обречённые плоды таят семя
и, разбиваясь, прорастают?..

Рождённая осенью,
ты видишь, как обнажается лес,
улетает птица, прячется зверь.
Под проливным дождём
ты одна утешаешь всеми покинутую землю.

Легковесная, где тебе заподозрить,
Что всё это—не агония умирающего,
Но отдых роженицы перед новыми схватками…

А ветер гонит тебя, как осенний сор.

2.

Если два человека не встретились—
думаю: кем бы они могли стать друг для друга?
Если молнии столкнулись—
плачу о дереве, оказавшемся посередине.

Во всём боль—в совершённом и упущенном.

Зима не страшит меня глухими снегами—
снег станет влагой, питающей деревья.
Весна не обольщает зеленью листьев—
к концу лета они зачерствеют и опадут.

Во всём боль—разочарованием грозит опыт.

На тысячах дорог заблудился ручеёк детства—
о нём напоминает жажда.
И какие бы источники ни насыщали—
нет воды слаще.

Во всём боль—обретая, торопим утрату.

Мечтая о будущем ребёнке—
невольно вспоминаю ушедших близких.
И нет мне утешения—
только при мысли о ребёнке высыхают слёзы.

Нянчу его в сердце своём,
как самую сокровенную надежду.

3.

Здравствуй, провинция детства,
вольные пустыри,
где босоногие дети,
голенастые одуванчики,—
вчера, сегодня, всегда!—
так и норовят
увязаться за ветром.

Здравствуй, ржавая речка,
кисельные берега,—
ты течёшь
из самого сердца земли,
где немногословные отцы и деды
вырубают чёрный огонь,
чтобы согреть и дальних, и ближних.
Оттого
здесь зимы холодные,
лица синие от пыли,
а речка красная и едкая—

так въедается,
что никаким душистым мылом
не отмыть, не залечить любви
к рабочему городу,
к молчаливым людям его,
добывающим
чёрное золото,
чёрный хлеб—
горючий уголь.

Здравствуй, провинция детства!
Нас унесло первым ветром,
а возвращаемся долго—
через
каждодневный труд,
города и годы,
встречи и потери,
через потаённые лабиринты судьбы,—
мы возвращаемся к тебе.

Здравствуй…

И всё мне помнится, как ото всех тайком
по аспидной доске крошащимся мелком,
не одолев внезапного волненья,
я первое пишу стихотворенье.
О, как дрожит божественно рука!

А в синеве окна нездешняя звезда
всё медлит и влечёт неведомо куда—
мерцающий мелок в руке незримой Бога,
моя душа у горнего порога,
что смотрит на меня издалека.

Сергей Лузан

Псковари

Тихая, нежная и слабая трава,
Которая сильнее нас с тобою.
Она страдает той же самой болью.
Боль эту чувствуем всегда и ты и я.
Боль—жизнь.
Трава сегодня так чиста,
Приподнялась над жизнью и над смертью.
Веретено вьюнка спиралями измерит
Галактику шуршащего листа.
В траве запуталась ветвь карликовой
вишни.
Нам светят ягоды в заброшенном
саду.
Тропинка тихая.
По ней я и уйду,
Когда почувствую,
Что стал для сада лишним.

Остыл куст августа
В заброшенном саду,
Где ржавые соцветия кипрея,
Как угли, в пепле мира
Еле тлеют
И пьют от жажды
Крупную росу.
Что делает там
Дальняя соседка,
Когда шуршит зонтом
По низким веткам
И смахивает прядь сединки светлой
Со лба?
Что делать ей в заброшенном саду,
Где стынет август
Утром на ветру?
В чулках сползающих
И в стоптанных туфлях,
В плаще неряшливом
Покашливает тело…
Она уйти с тропинки не успела.
На выцветших губах,
Как август, стынет: «Ах!»
Так одиночество запуталось в словах.
Чуть шевельнулось птицей—не взлетело,
А сад, который августом пропах,
Качает утренней листвой
И прядью белой.

Соседка дальняя исчезла за ветвями.
Так август исчезает вместе с нами.

Сороковой километр шоссе Псков—Рига

Валентину Курбатову

Пустынное шоссе, шуршащее в Европу…
Там Даугавы мгла и томная вода.
Там Керн ещё жива
За синим поворотом,
В кофейне Гунара
Проводит времена.
Там прячет янтари
В зрачках
Почтенный старец.
Норильских лагерей сползает седина.
Его барак истлел—
И праха не осталось.
Не околела ненависть одна.
Пустынное шоссе,
Гнёт ветки гулкий ливень.
Медовый хуторок с медовкой
На замке,
А так бы хорошо:
По рюмке—и счастливыми
Бродить с колоколами в рюкзаке.
Вот видит Бог!
Шоссе шуршит в Европу.
Мне всё равно: где, кто,
Проходит год—не год…
Но Керн ещё жива!
В деревне Пушкин мокнет,
И Болдинская осень у него.

Рябина потускнела от дождя,
А жизнь моя становится сочнее.
Вот-вот октябрь берёзами повеет
На матовую крышу сентября.
И, охренев от водки и тоски,
Вдруг забуянит пенис пенсионный…
Я, в общем-то, всегда видал в гробу
Законы
И государства, да и бытия.
По тропам лжи ползут газет ужи
И, сволочи, жрут со сметаной деньги.
Я знал всегда, куда мне в мире деться,
Минуя все на свете этажи.
Так пусть вздохнёт рябина за окном,
Рассеется туман,
Полягут травы.
И будут лёгкими,
Как жёлтый лист, утраты
В отравленном сознании моём.

Другу Виктору Быстрякову

Вам прочитать
Осенний первый стих?
Как говорил Ли Бо:
«Я снова лист увидел…»
Который тоже чувствовал Овидий,
Как истину великую небес.
Не бес попутал. Нет!..
Плывёт опять туман,
И затаились в нём
Грачи — бичи России.
Живёт-гребёт на лодочке Лузан,
На лодочке пера
По далям синим.
И хорошо, что рядом никого.
И хорошо, что Север наш приходит.
В деревьях бродит сонмище рапсодий,
И некому их бросить на поля,
Чтоб музыка
И жизнь потом взошла.

Тепло. Ещё начало мая.
Гадюка бантиком в камнях.
Одна из жён моих
Шуршала
С такой улыбкой на губах.
Вдали гроза.
Здесь жар и сухо.
Развалины раскалены.
Хочу в снега,
Где ночью утро
И льды чуть в запахе весны.
Душа не понимает тела,
Мешает мясо на костях.
Шмель, от пыльцы осоловелый,
Оцепенел,
Летать устал.
Вот так от времени,
Бывает,
Не двигаешься, устаёшь…
Тем более
Что понимаешь —
Бывает юной только ложь и красота,
А мудрость не бывает юной,
Она с рождения стара…
Хочу в снега,
В распадки, в тундру…
Живу, а мне
Уже пора…

Простая мысль

— Я вас в Раю, поэтов, поселю,
Но денег нет,
Приходится без Рая… —
Сказал мне старый друг,
Не понимая,
Что это всё видал я на колу!
Всегда, когда сам деньги подаю
И собутыльникам,
И где кому попало,
Я трубку дружбы
С ними не курю
Подали —
Падаль жрут!
Сожрали — всё им мало…
…Спокойней мне
От этой мысли стало.

Холодный дождь и ночь.
Нахохлились грачи
В плащах из чёрных перьев на погосте.
И в старых тополях
Скрипят сухие кости,
А дождь по валунам
Стучит в ночи, стучит…
И мартовская Русь
На брошенных полях.
Потомки кривичей
С белёсыми глазами.
Обломки крепостей.
Дымы их зализали
До чёрных дыр в ночи,
До мокнущих грачей.
Где мы?!
Где ты?
Где я?
Где в этом мраке Бог?
Пещер монастырей
Осыпались страницы.
В Кащеевой стране
Мелькнула тень куницы —
Тень времени,
Но след никто найти не смог…
Так ночью помолись:
«Где мы? Где ты? Где Бог?..»
Я тоже ничего найти в ночи не смог.

Светлана Хромова

Хорошо, что есть метро…

Деду

Шёл отряд по берегу,
Шёл издалека…

Ничего-ничего, ты закрой глаза
И затем повторяй за мной:
Только что над полем прошла гроза,
Побрели коровы на водопой.
На берёзе листья подсохли, и
Расчирикались воробьи.

В порт вернулись лодки и корабли,
Самолёты принял аэродром,
Не меняют доллары на рубли
И рубли на доллары, а о том,
Что в саду колхозном растёт трава,
Не жалей — пусть растёт трава.

«Ты послушай деда, вот же тебе мой сказ:
Цельный город исчез, что был мне знаком,
Настоящий хлеб и в бидоне квас,
Танцплощадка и дерево под окном,
Что всегда узнавало нас…
Что ты знаешь, глупая голова?
Ишь ты: пусть, мол, растёт трава…»

Погоди, я знаю. Я верю в то:
Красный солдат на твоей войне победил.
И уже никто не отнимет этого; ты спросил,
Что вообще я знаю, — а только то,
Что и ты. И тебе от меня поклон.
Не сердись, пусть покамест растёт трава
И блестит под пылью красный бидон.

Всё на свете положить на кровать
И качаться, как вода на ветру.
Может, завтра не придётся вставать
И протаптывать дорожку к костру.

А придётся — побредёшь кое-как,
Будешь что-то говорить и терять,
По квартире разойдётся бардак,
День исчезнет и начнётся опять.

Будут тикать и кукукать часы,
Гости хлеба принесут и вина,
Отругают, что гуляешь босым,
Уведут тебя за стол от окна.

И качнётся в колыбельных глазах
Потемневшее свободное дно,
И на пепельных пустых сквозняках
Позабудешь, почему так темно.

Это вовсе не сложно, моя любовь
К морю легко укладывается в постель.
Если я пожелаю (а я пожелаю) —
Поутру будет петь соловей, коростель.
Новый день наступил, когда надо бы петь: баю-баю.

То ехидная птица, лети, лети,
Мой восьмой этаж не по-детски вечен.
Но по-детски скрыто в моей горсти
Всё, о чём та птица всегда щебечет.

Эти птицы смотрят в моё окно,
И я знаю точно — за ними море.
Так скрипит земное веретено,
И солёные волны тонут в оконной шторе,

Белый парус прячется под водой,
Я смотрю на чужое небо, чужую бездну.
Баю-бай. Я сегодня ещё с тобой
Вместе с сердцем моим железным.

Я не знаю, откуда рождаются мысли,
Но случается — время приходит иное,
Эти двое, стоящие рядом, не мы ли?
И, быть может, я знаю, что это такое.

Что прикажет судьба, за какими горами
Нам постелен ковер из травы непримятой…
Пахнет летом, надеждой, корицей, годами
И заваренным чаем дымящимся мятой.

Хорошо, что есть метро, можно в нём
Посидеть и помолчать ни о чём,
Посмотреть на поезда-корабли,
Поискать в своих карманах рубли,

Ничего там не найти — всё равно,
Ведь в подземке не бывает темно,
Пока едет человечий поток
С юга-запада на юго-восток.

Снег идёт, но где-то там, наверху,
Там же ветер шевелит требуху,
Там вода течёт из облачных глаз,
И уходит что-то там не от нас.

Так что можно шевелиться едва
И ронять не медяки, но слова,
И смотреть, как уползает в тоннель
Синий поезд и последняя дверь.

Африканские дети играют в войну,
Их матери в пёстрых платках
Ловят рыбу, рыба уходит ко дну,
Как вечность, прожитая впопыхах.

Всю мелочь собрали женские сети.
Жёны добычу на берег выносят,
Смотрят, как на песке растут и играют дети,
Просят есть, а завтра вырастут и никого не спросят.

И возьмут настоящие пистолеты и автоматы,
Будут стрелять, как тогда, понарошку: та-та-та-та.
А над морем будут так же всходить рассветы и так же закаты,
И будет лежать рыбья мелочь, блестящая от головы до хвоста.

И та же стройка, побеждающая безбрежность
Берегов пустых и солёных,—это белые господа
Строят рай для туристов, обещая счастье и безмятежность.
Если спросят, было ли счастье, отвечу: «Пожалуй, да».

И, возможно, счастливы дети, что пока на песке играют,
Тычут палочкой в мёртвую рыбу, в огромный застывший глаз,
Словно в шар земной, отразивший от края до края
Песни, сложенные одинаково для всех нас.

Прозрачные астры, хрустальный песок под ногами.
Те камни, что нашими были домами,
Засушенной галькой лежат на заснеженной полке.
Ты помнишь таёжные сосны. Я помню кремлёвские ёлки.

Союзное детство осталось с тобой и поныне.
Мы вышли из моря, мы вышли в какой-то пустыне,
А может, в цветущем саду, где растут хризантемы,
Где только лишь мы потеряли и спутали схемы.

Лишь мы уложили свой город на дно чемодана,
Мы спрятали ключ в глубине потайного кармана,
Оставили всё на какой-то заснеженной полке,
В стогу не нашли ни себя, ни хотя бы иголки.

И вот оттого нам и грезится блёклое лето,
Как будто под нами не наша—чужая планета,
И будто бы из всего, что мы сделали сами,
Реальны лишь астры и этот песок под ногами.

Он говорил: идём; идём—она сказала.
И было всё: соседи, собаки, три вокзала,
И был их путь замешан на молоке и каше,
На пустоте осенней, на памяти вчерашней.

И время уходило, и стены открывались,
Они не замечали, они не догадались.
Устало и привычно он уходил в запои,
Она варила кашу и дула на ладони.

Они стреляли спички у ближних и прохожих,
Они не находили, на что это похоже.
Они сажали хлебы, они читали сказки,
И были сказки ложью, и было тесто вязким.

И всё осталось прежним, зерно осталось в поле,
Их небо уместилось на старой антресоли.
На хлебе и свободе они шагали дальше,
И был их путь замешан на молоке и каше.

Владислава Ильинская

Существенно всё

что толкнуло к охоте—не помню. таков рецидив,
что гоняет по засранным стройкам, ночным подворотням.
оказалось, достаточно просто себя убедить,
что на всё наплевать, что существенно только «сегодня».

бестолковый романтик—я красил улыбкой рот,
ни секунды не дрогнув, плясал на краю преисподней…
всё останется прежним, никто никуда не уйдёт,
ведь на всё наплевать, ведь существенно только «сегодня».

и под низким дурманящим небом, на стыке ветров,
и в изгибах мостов, и в плену бесконечного полдня—
завороженно слушал стеной нарастающий рёв:
здесь на всё наплевать, здесь существенно только «сегодня».

я был жалким бойцом. я не знал, что такое война,
но когда в голове назревала кровавая бойня,
я сжимал кулаки и сквозь битые зубы стонал,
что на всё наплевать, что существенно только «сегодня».

и когда, по прошествии долгих сегодяшних дней,
не нашёл за спиной ни любви, ни восторга, ни правды,
я остатками памяти вывел на первой стене,
что существенно всё—и вчера, и сегодня, и завтра.

по ночам, выкрикивая имя, которым впредь
обещал не пользоваться ни под какой подливой,
он терзает ту, недавно начавшую стареть,
ту, что, возможно, сделает и его счастливым.

по пути в контору, чеканя безликий шаг,
постоянный клиент психической терапии,
он старается думать о самых больных вещах—
благо, за ночь они прилично поднакопились.

он доходит до перекрёстка в двадцать больших шагов,
и если светофор успевает переключиться,
он уже уверен, что он наломает дров,
что вообще ничего хорошего не случится.

он проходит ещё немного, сворачивает на крыльцо,
ненадолго задерживается на лестничной клетке
и выходит обратно—всю ночь вспоминать лицо
той, что останется навсегда запретной.

я пишу тебе. в этом доме все ручки—хлам,
их хватает едва ли на то, чтоб поставить точку.
не спеши читать, оцени изгибы угла:
это нервными пальцами мялось в паузах. впрочем,
не о том, на свою беду, открываю рот
и не так, как умеешь ты, изливаю душу.
я пишу потому, что гиеной во мне орёт
тот, кого ты никак не захочешь слушать.

Кирилл Анкудинов

Не хотим взрослеть!

Американский психолог Эрик Бёрн выделяет три личностные компоненты.

По его мнению, личность каждого человека содержит в себе три сущности; они называются Ребёнок, Родитель и Взрослый.

Ребёнок—носитель всего неподконтрольного—капризов и шалостей, хитростей, игр, безотчётных влечений, упрямых хотений и вольного творчества. Родитель—источник «опыта старших поколений», начало воспитывающее и наказывающее (либо попустительствующее). Наконец, Взрослый—сугубо рациональное начало, рассчитывающее только на себя, это—воплощённый здравый смысл.

Ребёнок просыпается в человеке, когда он поступает так, как когда-то поступал в собственном детстве. Родитель актуализируется тогда, когда он ведёт себя, как вели себя его мать и отец. Когда проявляется Взрослый—человек не подражает никому; он живёт своей головой и пытается осознать объективную реальность. Ребёнок и Родитель ориентированы на мифы, а Взрослый—на абстрактные понятия, на эйдосы (в принципе, эйдосы—тоже мифы, но гораздо сложнее организованные).

В связи со всем этим я задумался о том, как структурно устроены два противоположных типа личности—«западный человек» и «восточный человек».

«Человек Запада» (европеец или американец)—это (прежде всего) играющий Ребёнок, но живёт и играет сей Ребёнок под страхующим контролем Взрослого. В данной модели «репрессированная структура»—это Родитель. «Человек Запада» склонен недолюбливать всё «родительское»; далеко не случайно в голливудском кино отрицательные персонажи—как правило, «родительские фигуры» (тираны-запретители и маньяки-каратели). Иногда недооценка Родителя (вкупе с переоценкой Ребёнка) приводит «людей Запада» к скверным итогам; они могут искренне и истово свергать меньшее зло, если оно несёт в себе «родительские» черты, открывая тем самым путь большему злу—беснующейся толпе (последний по времени пример—судьба несчастной Ливии).

Формула Запада:
Ребёнок-Взрослый-минус-Родитель

«Человек Востока» (мусульманин, китаец, японец, даже индиец)—противоположен «человеку Запада»; его личностная структура перевёрнута на сто восемьдесят градусов. «Человек Востока»—опрокинутый «Человек Запада», в первую очередь—Родитель (почитатель традиций), но опять-таки Родитель под контролем Взрослого. Репрессируется здесь Ребёнок (Восток иногда может декларативно восславлять детство, но детской самовольной свободе на Востоке никогда не доверяли и не доверяют).

Формула Востока:
Родитель-Взрослый-минус-Ребёнок

А как быть с Россией?

Россия—«альтернативная Европа» (и «альтернативная Азия»). Значит, русский человек (не обязательно этнически русский; «русский человек»—любой человек, вписанный в русское социокультурное поле)—не перевёрнут на сто восемьдесят градусов относительно Европы (и Азии), а сдвинут на девяносто градусов. Он *перпендикулярен* Европе (и Азии).

В русском человеке—шалит, орёт, капризничает, ластится и творит не знающий удержу Ребёнок. За ним едва поспевает замотанный Родитель (ворчун и моралист). Поскольку Ребёнок в «русском гороскопе»—фигура более сильная, нежели Родитель, последний страдает: он получает от Ребёнка сюрприз за сюрпризом и не может сорвать на нём злость. Но *на ком-то* Родителю разрядиться всё же надо. И тогда Родитель разряжается на слабом Взрослом (Ребёнок с удовольствием присоединяется к травле Взрослого; по ходу этого он ускользает от ответственности и заодно получает массу приколов).

Формула России:
Ребёнок-Родитель-минус-Взрослый

В России любят по-родительски морализировать. Но ещё больше в России обожают по-детски нарушать законы, установления и предписания. Не любят в России рационалистов, «деловых чуваков». На Руси опасливо почитали Ивана Грозного, боготворили младенчески простодушного Феодора Иоанновича, но не уважали трезвомыслов—Бориса Годунова, Василия Шуйского, Лжедмитрия Первого.

Я работаю вузовским преподавателем. Мне доводилось преподавать «представителям черкесской диаспоры»—молодым адыгам, приехавшим в Адыгею из европеизированной Турции или из неевропеизированной Иордании. Эти ребята могли быть разными—более образованными, менее образованными. Но у всех у них не было одной черты, всегда присущей российским студентам—и русским, и адыгам (российским адыгам).

И эта черта—*инфантилизм.*

(Обычное дело: студенты—уже с самой первой лекции—улыбчиво канючат: «Ну отпусти-и-ите

нас, пожалуйста», потом перестают ходить на занятия без объяснения причин, а когда появляются, то всем своим видом дают преподавателю знать: «Мы ведь дети, мы ведь только дети»; ни студенты из Европы, ни студенты из арабских стран никогда так не делают).

Поскольку всё это очень мешает мне в моей преподавательской практике, я выработал (как идеал для себя) такую формулу личности (уж не знаю, как её определить: ни Западу, ни Востоку, ни—особенно—Руси она не соответствует):

Взрослый-равновесие Ребёнка и Родителя.

Я слишком часто имею дело с инфантилизмом, поэтому я не люблю его.

Мне приходится встречаться с ним на каждом шагу—не только в качестве преподавателя, но ещё и в качестве литературного критика-обозревателя…

Вот, к примеру, я разворачиваю свежий (сентябрьский) номер журнала «Знамя» и нахожу в нём подборку стихов Михаила Квадратова, озаглавленную: «царствуй детка не серчай».

В этой подборке вижу вот такой стишок…

Маша, Маша, мать твою, не пускала б более
Пароходик по ручью чёрной меланхолии.

Там на палубе обед, с кренделями полочка,
Мой лирический портрет, а во лбу иголочка.
(«Маша»)

Что сказать? Если бы это был экспромт шестилетнего мальчика, я бы порадовался за него («способный малец»). Но сие пишет отнюдь не шестилетний мальчик, а дяденька сорока девяти годов. Вообще-то он старше меня на восемь лет. Как бы ему повежливее намекнуть, что «юмор в коротких штанишках», пригодный для дружеского пикничка с шашлычком,—отнюдь не поэзия?

Квадратовская подборка обьёмна; она занимает несколько страниц. И она—*вся*—такова, каково приведённое выше стихотвореньице.

Поэт самозабвенно играет «в детские секретики»: мелькают «божии крокодилы» и безумные пчёлы», «ропщут зверокошки», «поварёнок удалой гоняет несъедобных тварей», «императрица мари вертится в розовом облаке», «кивает жаба икряная», «под землёй кроты и мамонты не уснут», «фанни каплан воскрешена» (и так далее). Почти три десятка стихотворений—и ни в одном из них ни единого образа, за которым стояла бы хоть какая-то «первая реальность». Поэт то беспричинно веселеет, то столь же беспричинно грустнеет, а мне приходится расковыривать его «очаровательные секретики» для того, чтобы выявить действительные поводы к грусти или к радости. Вотще.

ах какой у нас был фикус в так называемой кадке
а теперь он сука прячется от всех в лесопосадке
насовсем поселился за совиным деревом
но ведь мы ему точно ничего не сделали
почти не донимали разговорами о стихотворениях
белых чёрных разноцветных и сиреневых
практически не заставляли никем восхищаться
ну за что же он так с нами (братцы)
(«ах какой у нас был фикус…»)

«Хармс,—скажете вы,—обэриуты, Введенский, дадаизм, абсурдизм…»

И вовсе не Хармс. За играми Хармса—огромнейшее социокультурное наполнение, за ними—недюжинная смелость. Хармс *идеологичен*. Он способен *ненавидеть*.

Даня быстро остудил мой пыл,
Он со мною беспощадным был.
«Блок—на оборотной стороне
Той медали,—объяснил он мне,—
На которой (он рубнул сплеча)—
Рыло Лебедева-Кумача!»
(Иван Елагин, из поэмы «Память»)

Клин вышибается клином, и если вся страна на глазах поэта впадает в зловещее детство, если самоизвращается человеческий язык, тогда поэту не остаётся ничего, кроме того, чтобы переиродить Ирода, став «ребёнком, возведённым в третью степень».

Какое социокультурное наполнение, какая смелость, какая идеология могут быть в блескучих пустячках Квадратова?

И Хармс, и Введенский с его «бессмыслицы звездой», и дадаисты, и Дали, и Бунюэль—все они играли в игры *ради чего-то нового*. Они работали с языком, размонтировали заскорузлые ментально-речевые (и ментально-невербальные) стереотипы, расчищали путь «другому сознанию».

Что нового в «фикусах-пикусах» Михаила Квадратова?

Ничего нового. Просто сорокадевятилетний мужик по каким-то неведомым мне причинам культивирует в себе сознание дошкольника. Зачем он это делает? Неинтересно выяснять.

А вот—собрат-одно(манно)кашник Михаила Квадратова—Дмитрий Легеза.

бессмертный человек идёт по коридору,
включает в ванной свет бессмертною рукой,
и мёртвая вода, насыщенная фтором,
становится живой

вот он полощет рот, а зеркало над ванной
показывает фильм про зайку в сундуке,
про то, как в кабаках вовсю храпят Иваны—
дурак на дураке

кощеева игла, о, спящие нечутко,
придумана для вас, а правда такова:
я жив, пока жива моя зубная щётка,
пока она жива, она пока жива.
(«бессмертный человек…»,
журнал «Новый берег» №27, 2010)

Тут расставлены запятые (спасибо автору) и подпущено немного цветковщины, но в целом Легеза—копия Квадратова. Всё те же идиотские «зубные щётки», всё те же «зайки», всё те же яйки с «кощеевыми иглами» (вид в профиль).

А вот ещё пример—Андрей Гришаев; он как поэт лучше Квадратова с Легезой на несколько порядков. В отличие от Квадратова и Легезы, Гришаев не капитулирует перед вязкой стихией инфантильности, он сражается с ней. Увы, часто оказываясь побеждённым.

За что я люблю стихи?
За то, что они не бывают плохи.
А если бывают плохи—
То это плохие стихи.

Едят они гниль и каких-то жуков
И не боятся совсем пауков,
В ладошки берут и смеются.
От смеха, как студень трясутся.
(«Плохие стихи», «Знамя» №3, 2010)

Видно, что автор поначалу хотел высказаться как Взрослый, но уже со второй строки на шею Взрослого сел Ребёнок и давай кривляться-гримасничать. Замечу: Ребёнок Гришаева—незлой, хороший, тихий, задумчивый. Но от этого, право слово, не легче.

Иногда бывает совсем обидно: пишет-пишет Гришаев стихотворение, до поры неплохо пишет—как вдруг откуда ни возьмись из текста высовывается Ребёнок, прегромко кукарекая или показывая нос. И весь гришаевский труд летит насмарку.

Пахарь вспахал землю, и уже урожай.
Хлеб в магазине, достроена красная школа,
Масло сверкает с серебряного ножа,
Уходит болезнь от ласкового укола.

Какие размашистые, красочные мазки:
Природа берёт своё, набирая скорость.
И вот мой ребёнок сам надевает носки,
Покупает билет, садится в зелёный поезд.
(«Пахарь вспахал землю…», «Новый мир» №8, 2010)

Откуда здесь взялись носки? Чёрт бы их побрал!..

Оттуда же, откуда пришла дурашливо-дурацкая рифма «скорость—поезд». Оттуда, откуда явилась расслабленная интонация первой строфы. За Ребёнком не нашлось присмотра, ну он и взял свою дань (в виде носков).

Андрей Гришаев мог бы стать очень хорошим поэтом. Если бы поменьше потакал собственному Ребёнку (не тому, который сам надевает носки, а тому, который шаловливо вставляет эти носки в поэтические строки).

…И куда ни погляди—повсюду развесёлые дитячьи игры.

Вот—энтомологические жмурки Виталия Кальпиди…

На могилах уральских стрекоз—
оболочки скукоженных ос,
и, кусая осу за усы,
там кузнечики воют, как псы.
(«Для умерших исчадия тьмы…», «Знамя» №8, 2011)

А вот—ихтиологические бирюльки Дмитрия Тонконогова…

Прислушайтесь: там, подо льдом, говорит осетрина
о нересте, ценах на корм, о подводных теченьях,
о том, что любовь и любовь—это разные вещи.
А рядом плотва молодая играет в бирюльки.
(«Уроки рисования», «Арион» №1, 2008)

…Беря пример с некоторых поэтов—прибавлю я.

(Это я ещё не цитирую такие специфические издания, как «Воздух» или «Черновик», где буреломы инфантильности; вон Данила Давыдов аж целую кандидатскую диссертацию защитил по теме «наивного сознания в современной поэзии».)

Одна подборка с «наивным сознанием», вторая, третья, пятая, пятидесятая, сотая, пятисотая—и тенденция, однако (как говаривал чукча из анекдота). Поэты, стремящиеся взросло говорить о взрослом, ныне воспринимаются литературным сообществом как нелепые дурачки—таких ни в «Арионе» не опубликуют, ни по телевизору на канале «Культура» не покажут. Уже сложился устойчивый образ «современного поэта» как невинно-умилительного создания, с сюсюкающими или с бебешными интонациями лепечущего «милую чепуху» о «прыгучих фикусах», «зайках», «крендельках», «носках», «скукоженных осах» и «говорящей осетрине».

И только когда эти божьи коровки невзначай заползают-залетают на территорию классиков, тут-то становится ясна разница…

Удивительный прецедент: в мартовском номере журнала «Октябрь» за нынешний год в подборке Светланы Васильевой «Табор» было опубликовано стихотворение «Мой костёр», на две трети составленное из хрестоматийной «Песни цыганки» Якова Полонского.

Привожу васильевский опус, выделяя дополнения, внесённые поэтессой в первоисточник.

Мой костёр в тумане светит,
Искры гаснут на лету—
Ветровей, весёлый ветер,
Разгоняет пустоту.

Ночь придёт, а спозаранок
В путь далёко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок,
Египтянок… Боже мой!

На прощанье шаль с каймою
На груди моей стяни—
Два конца её змеёю
Больно жалят в эти дни.

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет петь тебе, играя,
Про медведя и коня.

Кто-то мне судьбу предскажет,
Кто-то завтра, сокол мой?
Путь-дорога не развяжет
Узел, стянутый тобой.

Золота ладонь. И ясно
Прочертилась за края
Линия—что жизнь прекрасна,
Но прошла, наверно, зря.

Не буду упоминать слово «плагиат»; может быть, перед нами совсем не плагиат, а намеренный постмодернистский приём, центон, ремейк, пастиш, коллаж, бриколаж, приращение смыслов, чёрт в ступе…

Меня здесь интересует иное—*характер* дополнений Васильевой.

Яков Петрович Полонский, не будучи поэтом первого ряда, всё же был человеком вменяемым

и талантливым; он даже в игре (а это его стихотворение — именно что игра, поскольку оно написано от неавторского лица) соблюдает предлагаемые обстоятельства, логику, психологию, смысл происходящего, убедительно рисует характер героини-цыганки, передаёт внутренний конфликт в её душе (и так далее).

А Светлана Васильева произвольно (но последовательно) *портит* первоисточник, запихивая в него банальности («путь-дорога», «…жизнь прекрасна, но прошла, наверно, зря»), расхожие красивости («ветровей, весёлый ветер, разгоняет пустоту», «…змеёю больно жалят…»), поверхностно-досужие мифы («египтянок»), неточности (стянуть шаль возможно лишь на шее, а не «на груди», и два конца шали могут жалить только *змеями*, а не одной-единственной «змеёю»), элементарные безграмотности (чтобы найти их, достаточно вглядеться в синтаксис последней строфы или в пунктуацию предпоследней).

Но особо показательно появление «медведя и коня».

У Полонского — живая психологическая конструкция (и притом с эротическим подтекстом) — «другая… будет песни петь, играя на коленях у тебя».

И вот из XIX века мы переносимся в наше XXI столетие; из мира взрослых людей, которые способны любить, ненавидеть, страдать, прощать, физически любиться — мы попадаем в интернат для умственно отсталых. Туда, где «другая» дебилушка станет петь, «играя» (во что играя? где играя? автор имеет хоть какие-то представления о модальности деепричастий?), не про что-либо уместное, взрослое — не про любовь и разлуку, например, — а «про медведика и коняшку».

Вот так страстный, горячий, прекрасный и яростный мир русской поэзии на наших глазах превращается в убого-олигофренический цирк с конями (и медведями)…

К счастью, существует и другая современная поэзия — умная, понятная, грамотная, красивая.

(По моему разумению, настоящая поэзия должна быть понятной, грамотной и красивой; ну, не обязательно понятной лично для меня — я не переоцениваю свои понимательные возможности, — но всенепременно грамотной, и очень хотелось бы, чтоб красивой.)

Такая поэзия определяется мгновенно: когда видишь её — всё разом меняется, будто при восходе солнца.

Вот, к примеру, моё любимейшее стихотворение известного учёного-ассиролога (и великолепного поэта) Александра Немировского.

— Что думаешь делать, Джинни Мэй,
что думаешь нынче делать?
Ураган поднимается, Джинни Мэй,
он ищет новых потех.
— Я надену плащ, какой захочу,
самый яркий и белый,
и выйду встретить свою любовь,
и чёрт побери вас всех!
— Но больше нет ни плащей, ни любви,
и парни в хаки одеты.
Ураган небесами овладел
и к берегу гонит вал.
— Тогда я взмолюсь к великим богам,
я жизнь поставлю на это, —
тогда я взмолюсь, чтобы он затих
и больше не убивал.
— А кто послушает, Джинни Мэй,
молитвы людского сброда?
Ураган унёс великих богов,
и слышен только прибой.
— Тогда я останусь свободна, друг,
одна со своей свободой.
И если хоть кем-то могу я стать,
то я останусь собой.
— Так что теперь делать, Джинни Мэй,
что же ты будешь делать?
Ураган — повелитель небес и земли,
и синих морских прорех.
— Я надену плащ, мой любимый плащ,
тот самый, яркий и белый,
и выйду встретить свою любовь,
и чёрт побери вас всех!

В этих строках, кстати, Ребёнок никуда не делся: приведённое стихотворение — не только стилизация, но ещё и вольное переложение англоязычного источника (то есть игра, возведённая во вторую степень).

Просто здесь Ребёнок играет и творит, не устраняя Взрослого.

«Тогда я останусь свободна, друг, одна со своей свободой. И если хоть кем-то могу я стать, то я останусь собой» — вот суть взрослости.

И мне упорно представляется, что пристрастие некоторых нынешних поэтов к «фикусам», «зайкам», «коняшкам» и прочим детским игрулькам — не что иное, как бегство от собственной свободы.

Тот, кто не хочет взрослеть, боится быть самим собой. Вот и всё.

Наталья Данилова

Сила двенадцати

Простите, друзья, но вместо тех слов,
которые вы сейчас читаете в эпиграфе,
должны быть совсем другие слова.
Слова-невидимки
расположены между строчек.
Пусть это останется моей маленькой,
сокровенной тайной.
Обо всём остальном
я честно расскажу вам
в этой правдивой истории.
Она посвящается существу,
которое я люблю больше жизни.

Призрачный мост

Глава первая, в которой Крикуль и его друзья отправляются в опасный путь.

Новогодний бал во Дворце Декабрины был закончен.

Всё когда-нибудь кончается. Жаль, что хорошее тоже.

А новогодний бал в великолепном Дворце Декабрины был не просто хорош. Это было самое прекрасное, что случилось в жизни Крикуля. Что же делать, если Судьба в лице Короля Страха похитила у него детство, родину и маму, которую он видел только во сне? И всё из-за его уникального дара—чудесного слуха, способного улавливать самые отдалённые и невероятные звуки. Он стал собирателем детских слёз. Двенадцать лет прожил в За́мке Короля Страха и завтра—хотя нет, уже сегодня,—с друзьями, которых обрёл на Острове Детства, отправится освобождать остальных пленников Короля Страха. Они ведь не знают, что Страх использует их таланты. Богатеет и мечтает о мировом господстве. Пора этому положить конец.

Решение было принято. Отступать нельзя.

Крикуль в одиночестве сидел в кабинете Августины—феи месяца, в котором, как оказалось, он родился. Фея как две капли воды была похожа на его маму.

Важно было всё хорошенько обдумать.

Во-первых, Крикуль дал себе слово никогда больше не собирать детские слёзы. Никогда! И чего бы это ему ни стоило, постараться помочь освободиться и вернуться домой ребятам, которых похитил Страх.

С намеченного пути он не сойдёт, пусть даже самому придётся умереть, исчезнуть… он-то хорошо понимал, кому они бросают вызов. Им придётся сразиться с самим Страхом Смерти—Королём всех Страхов.

«Я дал себе слово и должен его сдержать,—думал Крикуль.—Вот только хватит ли сил и возможностей справиться с коварными и жестокими Страхами? Их там целых двенадцать. Смертельная опасность нас будет поджидать на каждом шагу, за каждым поворотом». Крикуль с содроганием вспомнил, как он единственный раз предпринял попытку покинуть свою комнату и, следуя по пятам няньки, оказался в кабинете Короля Страха. Вот уж он тогда страху натерпелся. Думал, конец! Крикуль отчётливо почувствовал присутствие Страха Неизвестности, который холодной змейкой скользнул рядом с сердцем.

Неизвестность порой бывает хуже всего, а Крикуль не знал внутреннего устройства Замка, в котором он провёл двенадцать лет. Это было самое мрачное сооружение на свете, наполненное невиданными звероподобными Воинами Страха—Химерами, Буйными Шальными Ветрами и другими чудовищами, не поддающимися описанию. Сам Замок, словно живое существо, был непредсказуем. В нём было много этажей, но внезапно можно было обнаружить отсутствие лестничных пролётов, в некоторых коридорах пол ходил ходуном, и казалось—вот-вот сорвёшься с головокружительной высоты. В нишах прятались чёрные рыцари, сверкавшие огненными глазами, которые были похожи на затухающие угли в глубине камина. Из тёмных углов то тут, то там раздавались шипение змей и львиный рык. Все стены были испещрены Глазами, которые неумолимо следили за каждым движением в коридорах Замка. Прямо из стен торчали Гигантские Руки, пытавшиеся схватить непрошеного гостя.

Ничего этого Крикуль не знал, но чувствовал, что на нём лежит ответственность за друзей.

—Может быть, мне лететь туда одному?—подумал он вслух.

—Куда это ты собрался лететь один?—оборвал Крикуля внезапно появившийся Капуцин.

В комнату вошли все герои приключений на Острове Детства. Первые в жизни Крикуля настоящие друзья. Обезьяна-журналист Капуцин, болтун, каких мало, самовлюблённый балагур, с некоторых пор изменившийся в лучшую сторону. Доисторический ящер Птеранодон—Авиатор, как он сам себя называл. Верный и бесхитростный. На его крыле золотой брошью посверкивал маленький лягушонок Кокои—Листолаз Ужасный. Несмотря на свою природную ядовитость, Кокои славился выдержкой, хладнокровием и самоотверженностью. Все знали: ради друзей он готов на всё! И наконец—хозяйка замка Августина вместе

с рыжеволосой девочкой по имени Любовь, хрупкой и лёгкой, как облачко.
— Ну вот, все в сборе. Одного мы тебя, Крикуль, никуда не отпустим! Давайте обсудим детали,— в голосе Августины чувствовалась тревога.

Она с самого начала была против этой небезопасной затеи. Однако Декабрина — покровительница детей всего мира, Королева фей Острова Детства,— призвала Крикуля на помощь пленникам Страха, и он согласился.
— Риск, конечно, невероятный! — продолжила Августина.— Но всё будет хорошо!
— Что-то у нашего героя кислый вид! — с вызовом начал было Капуцин.— Может, передумал?
— Да нет, конечно, не передумал… просто много неясного,— замялся заметно погрустневший Крикуль.

Августина ласково потрепала его по взъерошенной голове:
— С таким настроением ничего хорошего не жди.
— Я просто думаю: у нас ведь нет никакого плана. Как мы в Замке Страха будем искать ребят? Сам-то я там плохо ориентируюсь. Нас ждут двенадцать Страхов. Замок напичкан ловушками… я знаю только, где находится тронный зал Короля, его кабинет и лаборатория по заморозке слёз.
— Ну вот, уже что-то… с чего-нибудь да начнём,— бодрым голосом поддержал его Капуцин.
— И потом, мы летим туда не с пустыми руками! — сказала Любовь.
— Да!!! Точно!!! У нас столько волшебных предметов,— радостно и простодушно воскликнул Птеранодон.— У меня вот — амулет! Амулет Октябрины — он защитит от любого удара.

Все заулыбались.
— У нас есть марципановые сердечки Февралины. С ними будем всегда сыты.

Любовь продемонстрировала лакомства в прозрачном мешочке из золотистой органзы, прикреплённом к её поясу.
— Морозильные изумруды Январины.

На стол посыпались зелёные шарики размером с фундук. До этого они хранились в заветной шкатулке с секретом, на которой были изображены три обезьяны: одна — с закрытыми глазами, другая — заткнувшая пальцами уши, третья — с зажатым мохнатыми лапками ртом. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу…
— Защитный аромат Апрелины,— добавил Капуцин и вынул из кармана заветный флакон,— и миртовая веточка, исполняющая желания. Слушайте, а давайте сразу распределим их между собой,— предложил он предусмотрительно.— Пусть каждый из нас возьмёт какой-то волшебный предмет! Мало ли что? Неизвестно, как там дело повернётся… а так — каждый из нас будет защищён. Хорошая страховка!
— Именно так и сделаем! — поддержала Капуцина фея Августина.— Ты, Капуцин, оставь Аромат себе.

Капуцин не заставил повторять дважды и вернул флакон с волшебным ароматом в карман пиджака.
— Так, Кокои, возьми изумруды.

Кокои переложил шарики в кармашек своего нагрудничка.
— Крикуль, забирай марципановые сердечки!
— А как же Любовь?
— А я возьму себе шкатулку с секретом. Уверена, она мне пригодится! — хитро прищурившись, промолвила Любовь.

Никто и не подумал ей возражать.
— Птеранодон, возьми хотя бы миртовую веточку. С ней ты будешь похож на голубя мира! — заулыбался Капуцин.
— Ладно, возьму! Заткну её себе за ухо.
— Это всё? — спросил Крикуль.— Мы ничего не забыли?
— Всё! Если только помните о Силе двенадцати! — раздался в дверях голос феи Декабрины.

Все обернулись к ней.
— Я пришла вас проводить. Сила двенадцати фей Острова Детства будет хранить вас! Всё будет зависеть от слаженности ваших действий! Пока вы едины — вы непобедимы. Это один из ключей к успеху.
— А что,— спросил Крикуль,— есть ещё какие-нибудь ключи?
— Разумеется! Нужно знать врага, которого предстоит одолеть, знать его намерения, которым хочешь противостоять. Помните, что охранной грамотой в этом сложном деле станет сущность каждого из вас. Несгибаемая, безоглядная… внутренняя стойкость, непоколебимая убеждённость в своей правоте! Не поддавайтесь на провокации. Верьте в себя, держитесь друг за друга… И ещё. Вам предстоит перелёт в пределы Короля Страха… Любовь крылата! Птеранодон тоже! Крикуль, наверное, сможет, если захочет, снова превратиться в аиста. А вы, Капуцин и Кокои, как собираетесь перемещаться?
— А у нас есть миртовая веточка,— бодро произнёс Капуцин, довольный своей находчивостью.— Представим себя с крылышками — и в путь!
— Пожалуй, можно и так! — продолжила Декабрина.— А как вы намерены возвращаться обратно на Остров Детства, да ещё с одиннадцатью попутчиками, если веточку потеряете? Ведь там всякое может случиться! — глубокомысленно заключила она.
— Но я, собственно, за этим и пришла! Уверена — вы вернётесь!!! Главный ключ к успеху — это Вера в успех!!! Перейти в королевство Страха вы сможете по воображаемому мосту-призраку. И вернуться тоже.

Декабрина увлекла за собой благородных воинов.

Все вышли на улицу и увидели, как она взмахнула рукой — и в небесах возник похожий на сгустившиеся облака небесный путь…
— Это и есть мост, по которому мы пойдём? — с сомнением в голосе спросил Капуцин.
— Да! — твёрдо ответила Королева фей Острова Детства.— Это *воображаемый* мост. Воображение — особое состояние нашего сознания!!! Но оно способно воздействовать на реальность. Каждый из вас может создать свой собственный воображаемый мост! Это несложно, если потренироваться.

Друзья удивлённо переглянулись, а Декабрина продолжила:

— Вспомните, какими вообще бывают мосты. Мысленно до мельчайших деталей представьте себе мост, по которому вам предстоит двигаться. Уверуйте в его прочность. Услышьте звук от прикосновения к нему. Представьте себе и почувствуйте надёжность его конструкции. Удерживайте в мыслях его образ. И смело идите! В сердце не должно быть никаких сомнений! Мой призрачный мост — самый надёжный на свете: он соткан из чистых помыслов, хрустального дыхания Света, белого звучания ледяного безмолвия и нескольких миллионов гусиных пёрышек, смешанных с тополиным пухом. Посмотрите, как он искрится на солнце, как переливается всеми красками. Он прекрасен!

— А он прочный?..— задрав голову кверху, скептически заметил Капуцин и тут же, выпучив глаза, с ужасом в голосе добавил: — И мы что, пойдём по этому тополиному пуху?

— Именно! — решительно ответила Декабрина.— Если вы будете твёрдо верить в его прочность, он станет твёрже алмаза, но если станете сомневаться — рухнете вниз.

— Хорошенькое дело! — поёжился Капуцин.

Но Декабрина не обратила внимания на его реплику и завершила своё напутствие словами:

— Только герои, наделённые несокрушимой верой в Победу, смеют вызвать на бой Короля Страха!

Капуцин вдруг представил себя героем, увешанным орденами и медалями, и даже услышал фанфары в свою честь. «Ах, каким прекрасным воображением я обладаю»,— с удовольствием подумал журналист и тут же, приосанившись и выпятив грудь, воскликнул, обращаясь, скорее всего, к самому себе:

— Прочь сомненья, друзья! Я уверен. Этот мост выдержит целую армию защитников Добра! Более надёжного моста нам не сыскать на всём свете!

Враг не дремлет

Глава вторая, в которой Король Страх проводит срочное совещание и выигрывает первое сражение.

В Замке Короля Страха шло экстренное совещание.

Все двенадцать Страхов собрались за круглым столом и внимательно слушали своего предводителя.

— Итак,— твёрдо и внушительно сказал Король Страх,— я собрал вас, чтобы сообщить, что проклятые феи Острова Детства снова бросают нам вызов. С минуты на минуту здесь появятся их посланники. Нужно организовать дорогим гостям достойный приём. Вы готовы?

— Всегда готовы! — бодрым хором ответили Страхи.

Король Страх недовольно скривился.

— Не особенно я на вас надеюсь, разгильдяи! Снова придётся всё делать самому.

Страх Неизвестности, как школьник, поднял руку и стал трясти ею, прося разрешения говорить. Все части его странного лица лихорадочно скакали с места на место. Ухо возникало то на лбу, то на щеке. Глаза занимали положение то на подбородке, то лезли на освободившееся место в центре лица, где ещё мгновенье назад торчал нос… Язык вывалился из пустой глазницы и задёргался, как у страдающей от жажды собаки.

Король Страх кивком головы позволил ему высказаться.

— Не знаю, как другие,— затараторил Страх Неизвестности,— а я уже произвёл разведку боем и проник прямо в самое сердце лазутчика. Это я про вашего главного воспитанника говорю. Уверяю — у Крикуля кишка тонка, он уже сомневается в своих силах, а значит, наша взяла!!!

— Ничего ваша ещё не взяла! — грозно взревел Король.— У них непростая компания.

На стене кабинета вспыхнул огромный экран. На нём стали появляться изображения всех, о ком говорил главный Страх.

— Крикуля я беру на себя. Он мне нужен живым и здоровым! Такими работниками не разбрасываются. С ним прибудет ядовитый лягушонок Кокои.

Страх Голода пропищал:

— Да, такого не проглотишь. Ещё отравишься.

— Ты только бы всех глотал. Ненасытная утроба! Теперь — внимание на экран: доисторический ящер Птеранодон.

— Большой? — спросил Страх Высоты.

— Гусь ощипанный… с виду, но непробиваемый остолоп… непредсказуем, как все идиоты… будьте начеку: его оружие — простодушие…

— Пробьём,— прогромыхал Страх Насилия и хрустнул всеми десятью суставами своих тощих пальцев.

— Обезьяна Капуцин — хитрющий журналюга! Болтает без умолку. Вывернется из любой передряги. Глядите, если выйдет сухим из воды — пересудов потом не оберёшься. На всю Галактику ославит! Глаз с него не спускать!

— Болтун — находка для шпиона,— захихикал Страх Одиночества.— Такие обычно одиночества боятся У них только на миру смерть красна! Позвольте, я займусь им лично?!

— Займёшься, займёшься — всему своё время! Не надейтесь на лёгкую победу! И вообще, особенно не расслабляйтесь. Феи снабдили их всякими волшебными штуками, явятся сюда вооружёнными до зубов… Но самое неприятное (Страхи напрягли слух) — с ними Любовь!

— А-а-ах, Любовь? Любовь! Любовь,— зашелестело по кругу…

— Наша главная задача — разлучить их. И уничтожить. Поодиночке!

В это время команда Крикуля уже находилась в тронном зале Короля Страха. Призрачный мост был преодолён одним махом. Ворота в Замок Страха были распахнуты настежь, и это насторожило посланников Сил Добра. Все притихли, сбились в кучку и, озираясь по сторонам, неслышно ступали по начищенному до зеркального блеска паркету.

— Срушайте, а есри… — Кокои осенила блестящая идея.

Громким шёпотом он начал её высказывать. Друзья склонились над ним и внимательно слушали. И судя по их одобрительной реакции, идея пришлась всем по вкусу. Всем, кроме Крикуля. И это не потому, что он был чем-то недоволен. Просто

он ничего не слышал, так как буквально на минуточку именно в этот момент отошёл в сторону взглянуть на закрытый стеклянной полусферой макет Острова Детства, который по-прежнему стоял в центре тронного зала.

Крикуль увидел, как крошечные фигурки фей машут ему руками, а Августина делает какие-то предупредительные знаки и хватается за голову…

Что-то случилось! Но что?

Ах, если бы он мог слышать, что феи пытаются предупредить его об ошибке, которую он только что совершил, и требуют, чтобы он немедленно вернулся к своим спутникам.

Голос Капуцина вернул Крикуля к реальности.

— Крикуль, что ты там делаешь?! Иди сюда скорей!— звук голоса Капуцина усилился троекратным эхом…

Крикуль поспешил присоединиться к друзьям.

— Что-то мне кажется, мы не с того места начали наши приключения. Нельзя ли поискать местечко попроще, что-нибудь не столь торжественное?..— договорил Капуцин громким шёпотом.

— Ну почему же?— прогремел в ответ голос хозяина Замка.— Именно здесь и начинаются все дипломатические приёмы. Мой любимый сын привёл вас туда, куда надо!!!

По периметру зала вспыхнули гигантские факелы.

Они осветили фигуру Короля Страха, величественно восседавшего на своём троне.

От неожиданности воинство Крикуля оцепенело.

Король Страх, притворно улыбаясь, чего никогда раньше не доводилось видеть Крикулю, распахнув объятья, поднялся с трона. И воскликнул:

— Добро пожаловать! Матушка, какими судьбами?!

Все перевели взгляд на Любовь. Милая маленькая рыжеволосая девочка-подросток, какой они привыкли видеть её на Острове Детства, двинулась навстречу Страху, и по мере того, как они приближались друг к другу, Любовь менялась и прямо на глазах изумлённой публики вырастала в убелённую сединами взрослую женщину. Король Страх обнял Любовь и спрятал лицо в кружевах её воротника, делая вид, что вздрагивает от рыданий, якобы растроганный долгожданной встречей.

— Как «матушка»?— растерянно проговорил Птеранодон.— Кто матушка? Наша матушка— ему Любовь? Она его матушка?!!

Крикуль всё ещё не верил своим глазам и стоял не шевелясь.

— Ну что ты раскудахтался?!— оборвал его Капуцин.— Всем известно, что Страх— сын Любви. А ты думал, что он сын Ехидны?

— А я не знал!— затоптался на месте Птеранодон.

— Не удивлён!— отрезал Капуцин.

Крикуль не мог перевести дыхания. Как?! Любовь и Король Страх… нет, этого не может быть!!! Он спит!

Тем временем Король Страх, продолжая всхлипывать: «Весьма рад! Польщён!!!»— проводил Любовь к трону и предложил ей сесть! А сам, вновь повернувшись в сторону пришельцев, гордо вскинул голову и произнёс:

— О-о-о, мой добрый, верный слуга— мой малыш, Кокои!!! Сколько лет, сколько зим!!! Иди к папочке.

— Как— верный слуга?!— опешил Крикуль.— Что, и он тоже? Не может быть!!!

Но тут же в его мозгу пронеслись картинки их знакомства и то, как Капуцин рекомендовал Листолаза Ужасного: «Хозяин Жемчужного озера. На Острове Детства занимается расщеплением превратившихся в жемчужины окаменевших эльфов». Другими словами, Кокои— могильщик, верный слуга Страха Смерти!

Пока Крикуль мысленно переносился в недалёкое прошлое, маленький Кокои послушно поскакал в сторону королевского трона.

Что за фантасмагория?! Этого просто не может быть!!! Такое неслыханное вероломство.

Крикуль в растерянности посмотрел на Капуцина.

Тот двусмысленно подмигнул ему и тоже отправился в сторону трона со словами:

— Разрешите представиться, Ваше Величество: Капуцин— звезда журналистики. Лицо в данном случае нейтральное. Прибыл в ваши владения исключительно по велению сердца. Мечтаю написать очерк о вашей безграничной власти и решающей, судьбоносной роли Страха в мировой истории.

— Добро пожаловать!— сдержанно произнёс Король.— Всегда рад представителям средств массовой информации. Тем более— настолько правильно улавливающим тенденцию в развитии современного общества.

— Чего он сказал?— переспросил Крикуля Птеранодон, не успевающий осмыслить происходящее.

— Что Капуцин на правильном пути!— ответил Крикуль, не замечающий таинственных знаков, которые ему пытались делать стоявшие за спиной Короля Страха его недавние друзья.

— Ну что ж, сынок, а это кто там ещё мнётся рядом с тобой?— спросил Страх, направляясь к Крикулю.

Птеранодон пододвинулся к Крикулю и прошептал ему на ухо:

— Ничего, Крикуль, не бойся, я с тобой! Авиатор авиатора не продаёт! Мы ещё повоюем!

Король Страх захохотал так громогласно, что стены задрожали, как при землетрясении.

— Как умилительна твоя дружеская верность, летающий мешок с костями!

— Это вы про меня?

Птеранодон громко сглотнул слюну. В горле у него пересохло, как в старом колодце.

— Да, мышонок, про тебя! А то про кого же ещё?

— Я не мышонок и не мешок,— неуклюже переминаясь с ноги на ногу, промямлил Птеранодон.— Я— Птеранодон…

— Тирано— кто?

— Пте-рано-дон!

— А-а-а! Ты— биологический вид, бесследно исчезнувший с лица земли миллионы лет назад?! Так ты не существуешь?! Тебя нет! Ты— миф, иллюзия!!! Ты стёрт с лица Земли!

— Как это я стёрт?! Я не стёрт, я есть! Я— живой!

— Чем докажешь?
— То есть как это чем? Вот, я разговариваю, стою здесь… перед вами.
— Ну, это ещё ничего не значит! А я говорю — ты не существуешь!

В зале повисла зловещая тишина. Птеранодон, беспомощно оглядываясь по сторонам, искал защиты у друзей.

Крикуль не знал, что предпринять.

Птеранодон, немного потоптавшись на месте, слегка разбежался и с лёта врезался в кованную железом дверь.

— Ой, — завопил он от боли. — Вот! Я — есть! Я — живой!

Крикуль подбежал к раненому другу, пытаясь помочь.

— Ты — мираж! — не унимался Король Страх.
— Мне больно!!!
— Ну, это твои проблемы. Но ты никому, кроме себя, не сможешь причинить вреда. А значит, ты неопасен! Вот, Крикуль, из всех твоих сообщников остался только мираж со сломанной шеей, — Страх хохотнул и тут же перешёл на привычную для себя жёсткую интонацию. — Хватит ломать комедию! Крикуль, неужели ты до сих пор не понял, что из вашей затеи ничего не выйдет?! Или я тебя плохо воспитывал, и ты ничему не научился в стенах этого Замка? Это же твой дом!
— Ты украл меня. Ты лишил меня настоящего дома. Ты запугал мою мать. Ты использовал мой природный дар. Ты — злодей!!!
— О-о-о, какая пламенная речь! Я смотрю, ты прекрасно осведомлён! Тем лучше. Будем играть в открытую. Значит, твоё детство закончилось! Начинается взрослая жизнь!!! А жизнь — это борьба!!! Ты готов к борьбе?

Крикуль, молчал, собираясь с духом. Потом погасшим голосом, тряхнув головой, ответил:

— Готов!
— Вот я и вижу, что ты готов!

Страх подошёл к Крикулю вплотную и стал рассматривать его лицо.

— Перестань издеваться над мальчиком! — не выдержав, закричала раскрасневшаяся Любовь. — Я сыта этим спектаклем. Довольно!
— Нет! — остановил её Король Страх. — Нет, погоди, матушка! Ну ты рассуди, в самом деле! Он возомнил себя спасителем человечества. Безрассудство — вот что это такое!!! И чёрная неблагодарность! Кто сделал гения из этого желторотика? Что было бы с ним, если бы он со своим даром жил среди людей? В лучшем случае его бы считали блаженным. Ну, стал бы он музыкантом, развлекал бы на ярмарке всякую чернь, ни черта не смыслящую в настоящей музыке. А я сделал из него Волшебника, живущего вне мирской суеты, полностью посвятившего себя Великому Предназначению!!! Я научил его летать! Он мог бы постичь истину! А познать её можно только вне мира людей.

Любовь возразила:

— Но он рождён человеком и должен жить среди людей!!!
— Чтобы стать как все?!
— Чтобы стать самим собой!!!
— Он не имеет на это права. Вот тут, — Король Страх подскочил к Крикулю и постучал пальцем по его голове — звук получился довольно звонким, — тут, словно в волшебном ларце, лежит бриллиант, которым нужно умело пользоваться. Если бы не я, ларчик мог бы вовсе не открыться или его содержимое разменяли бы на тысячу никому не нужных стёклышек, подобных стразам, которыми украшают одежду придворных шутов! Он — мой! И я его никому не отдам!

Крикуль стоял, втянув голову в плечи.

Он забыл о последнем предостережении Декабрины — не терять присутствия духа. Как бы ни складывались обстоятельства.

Неожиданно обстановку разрядил Капуцин. Журналист неистово зааплодировал:

— Браво! Браво, Ваше Величество!!! Сколько глубины, сколько мудрости! Однако, насколько мне известно, Крикуль не единственный гений, воспитанный под вашим кровом. Здесь есть ещё несколько де…
— Есть! — резко прервал его Страх.
— А нельзя ли…
— Нельзя! — произнёс Страх твёрдо.

И это «нельзя» было окончательным вердиктом хозяина Замка.

Тут в разговор вступила Любовь:

— Что? Ты даже для меня не сделаешь исключения? И не покажешь мне маленьких гениев?
— Даже для тебя, милая матушка. Знакомство с Любовью может нанести непоправимый вред моим подопечным. Это может отвлечь их от главного дела их жизни. А вот Крикулю, пожалуй, я сделаю подарок. И покажу ему самый удивительный на свете Замок. Он попадёт в sancta sanctorum — святая святых — мои лаборатории!!! — Страх резко обернулся ко всем присутствующим. — Но только он один! Один!

Птеранодон и Капуцин двинулись было к Крикулю, но тот остановил их и обречённо произнёс:

— Я пойду один! Это — мой выбор!!!
— Ну вот и чудно, — сказал Король Страх.

Схватив Крикуля за руку, Страх повернулся на каблуках и направился к выходу.

Макет Острова Детства исчез из тронного зала сразу же, как только Страх закрыл за собой дверь.

Оставшиеся в зале обступили Любовь.

Капуцин, Кокои и побледневший от боли Птеранодон, который придерживал здоровым крылом крыло ушибленное, ждали её решения. Что дальше?

— Ну что он наделал?! Почему ушёл один???!!! — возмущённо проговорил Капуцин.
— Кокои виноват, — грустно сказал Кокои. — Маренькая восточная хитрость погубира Крикуря.
— Да, наверное, нельзя было вести двойную игру. И притворяться верноподданными Страха, — подхватил Капуцин. — А всё из-за того, что, когда мы договаривались, Крикуль отошёл в сторону и всё прослушал! Мы не успели его предупредить, а он ничего не понял. И обиделся. Теперь всему конец!

Любовь ласково улыбнулась и, хитро прищурившись, произнесла:

— Нет, что вы, какой конец?! Это только самое начало. Крикуля нельзя предупреждать заранее об испытаниях, которые выпадут на его долю. Таково главное условие поединка Добра со Злом. Это проверка чистоты и справедливости его сердца. Дело не в сложности испытаний, а в том, как Крикуль к ним отнесётся, как их оценит. Только его доброе, благородное сердце сможет победить в сражении со злом. На это я очень надеюсь. Вот если Крикуль ожесточится, потеряет веру в силу добра, забудет о своей мечте вернуться домой — тогда всё пропало!

— А что будем делать мы? — простонал обессилевший от боли Птеранодон.

— Действовать! Во-первых, вылечим твоё крыло, Птеранодон! Ты нам нужен сильный и здоровый!

— Но как? У нас даже нет зелёнки!

— А что это там у тебя в пёрышках спрятано?

— А! Миртовая веточка! — просиял раненый ящер.

Лёгким движением веточки и усилием воображения крыло было восстановлено в одно мгновение.

Страх Одиночества

Глава третья, в которой Крикуль вновь встречается с Оксами, а его друзья принимают первый бой.

Король Страх стремительно шагал по мрачным коридорам Замка.

По мере продвижения то там, то тут вспыхивали факелы, освещавшие шествие. В нишах виднелись фигуры многочисленных стражников, закованных в сверкающие латы. Крикуль еле успевал за Страхом. Но теперь у него появилось время поразмыслить и оценить ситуацию. Только сейчас он понял, какую непоправимую ошибку совершил: он нарушил главный завет Декабрины — держаться всем вместе! Он почувствовал себя обиженным, и обида сослужила Крикулю недобрую службу.

Что с того, что Любовь — мать Страха? Что это меняет? Только то, что его не предупредили об этом? А если отбросить обиду и предположить, что он не должен был этого знать до поры до времени? Капуцин — журналист. Вёл себя в своей привычной манере. Скорее всего, это был какой-то отвлекающий манёвр. А Кокои был самим собой. «Только ты, Крикуль, — сказал Крикуль сам себе, — повёл себя как маленький мальчик». Рука Крикуля сама потянулась к карману, наполненному марципановыми сердечками. Видимо, он решил заесть обиду. «Кстати, — подумал Крикуль, — марципаны все у меня, а значит, я оставил команду ещё и без еды. Ну да ладно, если здесь они дорогие гости — голодными не останутся!» — мелькнуло у него в голове. Через секунду марципан растаял во рту Крикуля. Но Страх заметил это его движение.

— Что это ты там жуёшь, сынок?

— Да так, конфету!

— Конфету? Зря перебиваешь аппетит, мы идём с тобой обедать! Нужно же отметить твоё возвращение. Вот только заглянем на минутку в мой кабинет.

Аппетит пропал. Есть совсем не хотелось. Марципановое сердечко сделало своё дело.

Крикуль молчал.

— Переживаешь! — утвердительно заявил Король Страх. И не дождавшись ответа, продолжил: — Понимаю! Предательство! Они все предали тебя!!! И твои друзья, и эти с виду добродушные феи. Бросили на погибель. Знали ведь заранее, что шансов у тебя нет. Ох, девчонки! Лишь бы покрасоваться! Эгоистки!!! Тьфу.

— Подожди меня здесь, — приказал Страх, введя Крикуля в приёмную. — Я скоро заберу тебя.

И с грохотом захлопнул дверь в собственный кабинет.

Крикуль увидел секретаря по имени Рот. Тот по-прежнему сидел за столом и беспрерывно барабанил пальчиками по клавиатуре. Рот лишь на мгновение приподнялся, чтобы поприветствовать Короля Страха и сказать Крикулю короткое:

— С возвращением!!!

Спиной к Крикулю, прямо напротив секретаря, сидело какое-то загадочное существо. По пояс голое. Вместо брюк на нём было плотно облегающее ноги чёрное с серебристой искрой трико. Всё тело покрывали замысловатые татуировки: кресты вперемежку с цветочными узорами. На шее алела лента.

Существо медленно повернулось в сторону Крикуля, и он с ужасом узнал Оксы. Чёрные очки, закрывавшие его глаза, светились, как угли.

— Оксы?!

— Нет, малыш-ш-ш-ш, ты обознался, меня зовут Кацик. Оч-ч-ч-ч-чень приятно познакомиться. Много слыш-ш-ш-шал о тебе. Интересного.

Кацик медленно встал и по-змеиному плавно приблизился к Крикулю.

И хоть выглядел он сейчас совсем иначе, нежели на Острове Детства, никакого сомнения у Крикуля не было. Это — Оксы. Верные слуги Страха, преследовавшие Крикуля во время его экспедиции на Остров двенадцати фей. Крикуль был уверен, что их последняя встреча закончилась гибелью Оксов. Теперь он видел, что ошибался.

Крикуль собрался с духом и с вызовом заметил:

— А что это за повязка у тебя на шее? Уж не шрам ли от моего укуса?

Он понимал, что, пока нужен Королю Страху, никого другого здесь ему опасаться не следует.

— Ох, как ты запел, смельч-ч-ч-чак!!! С печ-ч-ч-чки бряк! Давно ли стал таким храбрец-ц-цом-молодц-ц-цом?

— Я тебя всё равно узнал! Как там тебя теперь зовут? Кацик?!

— Вот и хорош-ш-шо, что узнал. Мы ещё с тобой встретимся на уз-с-с-с-с-с-ской да-арож-ш-шке, — прошипело змееподобное существо.

Пока Крикуль обменивался «любезностями» со старыми-новыми знакомыми, Король Страх разговаривал с братьями по громкой связи.

— Ну вот, полдела сделано. Крикуль у меня. Принимайтесь за гостей. Уничтожить всех!

— И Любовь? — уточнил голос из приёмника.

— Если получится… — ответил Король Страх.

— Но она же ваша Матушка! Не будете потом нас же распекать за превышение полномочий?!

— Поживём — увидим, — неопределённо ответил главный Страх.
— Ну так как же?
— Уничтожить!!! Я всё сказал! Игры закончились!
— Ну, наши-то игры только начинаются! — зловеще произнёс на прощание невидимый собеседник.

Через мгновение в тронном зале перед посланниками Острова Детства возник Страх Одиночества. Иссохший бледнолицый старик был похож на факира.
— Приветствую дорогих гостей! — произнёс он, по-восточному сложив руки и поклонившись. — Наш повелитель, Король Страх, распорядился не оставлять вас в одиночестве и развлекать по мере моих скромных сил.
— Мы узнали тебя, Страх Одиночества, — проговорила Любовь. — И как же ты намерен нас развлекать?
— Как угодно вашей светлости, госпожа Любовь! Могу показать фокусы или предложить интересную игру.
— Ну, фокусы мы и сами можем показывать, — сказал Птеранодон — и показал миртовую веточку.
— Любопытно взглянуть… — произнёс Страх Одиночества и протянул руку к волшебному предмету.
— Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, — по-птичьи пропел Капуцин и, выскочив вперёд, остановил его. — Давайте уж лучше поиграем…
— Во что прикажете? В прятки желаете? — покорно произнёс Страх.
— А где здесь прятаться-то? — оглядывая огромную пустую залу, в центре которой стоял только трон Короля Страха, спросил Капуцин. — Здесь и мебели-то нет! Или вы хотите, чтобы мы прятались от вас по всему Замку?
— Ну зачем же по всему Замку?

Страх Одиночества хлопнул в ладоши, и от противоположного угла прямо из пола стали возникать одна за другой зеркальные ширмы, сами собой выстраиваясь в сложный лабиринт.
— Классный лабиринтик! — сказал Птеранодон. — У нашей Апрелины есть такой же!!!
— Замечательно! — воскликнул Страх-факир. — Я отворачиваюсь, вы прячетесь. Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!!!
— А кто не спрятался? — спросил Птеранодон.
— Ну а кто не спрятался, я не виноват! — ответил Страх. — Годится?!

Капуцин переглянулся с Любовью, Кокои и Птеранодоном, и они хором единодушно ответили:
— Годится!
— Только, чур, играем по-честному! — сказал Страх и отвернулся.

Игроки стояли перед стартовой чертой, отделявшей их от входа в лабиринт. Все ждали начала отсчёта и двинулись вперёд, как только услышали громовое: «Раз».

На счёт «два, три, четыре» — в лабиринте образовалось четыре изолированных друг от друга коридора, в которых очутились каждый сам по себе — Капуцин, Любовь, Кокои и Птеранодон. Какое-то время по инерции они продвигались вперёд, но этого было достаточно, чтобы попасть в ловушку Страха Одиночества.

Очень скоро Кокои стал озираться по сторонам, и в сотне зеркал он видел тысячи лягушат.
— Но это же я! А где Птеранодон и Капуцин с Любовью?

Птеранодон таращил глаза при виде такого несметного количества летающих ящеров. И продолжал бессмысленное движение по коридору.

В это же самое время всё понимающая Любовь достала волшебную шкатулку, готовясь к схватке со Страхом Одиночества. Она знала, что с минуты на минуту он предстанет пред ней!

Но Страх Одиночества начал свою охоту с Капуцина.

«Ну вот, — подумал журналист, — началось!» Кроме того, что вокруг шевелились многочисленные обезьяны — его двойники, он вдруг почувствовал, как давит на него абсолютная, словно в вакууме, тишина. Он не услышал даже собственного голоса, когда произнёс:
— Эй, где вы там все?!

В зеркале он видел собственное отражение, открывающее рот, но звука не слышал…
— Эй! — крикнул Капуцин.

Он словно оглох. Ноющая тоска сдавила сердце. Пора было вспомнить про защиту.

Капуцин полез в карман за ароматом Апрелины. Может, обрызгать себя и оказаться в непроницаемом коконе? А может… он не успел додумать, как от зеркальной поверхности отделился уже знакомый силуэт факира.

В это время Птеранодон, поняв, что движение в никуда бессмысленно и небезопасно, попробовал воспользоваться миртовой веточкой. Чтобы она сработала, нужно было представить себе то, что хочешь. А что нужно представить? Птеранодон напрягся и стал лихорадочно соображать. Неизвестно, к чему привели бы эти его попытки представить себе что-то спасительное, но именно в этот миг послышался чей-то сдавленный крик, а потом взрыв невероятной силы. Зеркала разбились на миллиарды мелких осколков, и Птеранодон тут же увидел всех своих спутников. Любовь, стоявшая в середине зала, крикнула Птеранодону:
— Представь себе этот зал до появления здесь Страха Одиночества!
— Ага, понял, — прокричал ей в ответ ящер.

Вот, оказывается, что надо было представить! Он зажмурил глаза. И когда открыл их, зал был пуст и снова блестел начищенным паркетом.
— Что это было? — спросил Птеранодон.

Капуцин вновь и вновь встряхивал баллончик с волшебным ароматом, но оттуда уже ничего не выпрыскивалось.
— Всё, его можно выбрасывать? — спросил он Любовь.
— Не торопись! Лучше расскажи, как тебе удалось избавиться от Страха Одиночества.
— Я просто обрызгал его из баллона. Он попал в кокон да как начал орать: «Спасите, помогите! Я одиночества боюсь! Не оставляйте меня одного!» Ну а потом — взрыв! Как-то очень уж легко всё получается. Вам не кажется?

— Нет, не кажется! — ответила Любовь. — Мы справились только с одним Страхом! Теперь отправимся на встречу с остальными.

Прежде чем очутиться за пределами тронного зала, друзья ненадолго задержались у необычной двери. Она состояла из двух створок. На левой створке был изображён профиль старика, смотревшего влево. На правой створке, наоборот, находился словно приросший затылком к старику профиль молодого человека, смотревшего вправо. Чуть ниже этих изображений копошилось множество пальцев, извивавшихся, словно червяки.

— Это что такое? — поморщился Птеранодон.

Капуцин взглянул на Любовь.

— Похоже на Двуликого Януса. Слева — прошлое, справа — будущее… олицетворяет собой начало всех дел, не правда ли?

— Именно так! — подтвердила Любовь и добавила: — И триста шестьдесят пять пальцев — по количеству дней в году.

— Куда же мы отправимся — налево или направо? В прошлое или в будущее?

— Нет! Нет! Только в Настоящее! — торжественно произнесла Любовь и распахнула настежь обе створки дверей.

Цветок забвения

Глава четвёртая, в которой главный охранник Короля Страха — Глаз — переходит на сторону защитников добра, а Крикуль так и не узнает, какую опасность может таить в себе обычное мороженое.

А Настоящее уже встречало их за дверью тронного зала и пристально смотрело своим единственным, невероятных размеров Глазом. Глаз был таким огромным, что напоминал самый-самый большой, какой только бывает на свете, жидкокристаллический экран телевизора. Только овальной формы. Гигантский рот великана по имени Глаз оказался намертво сцеплен висячим замко́м.

Компания разом остановилась, наткнувшись на это неожиданное препятствие.

— Здрасьте, приехали! — промямлил Птеранодон.

Глаз приветственно закивал головой.

— Вроде бы этот «лилипут» настроен добродушно?! — предположил Капуцин. — Любовь, может быть, мы что-нибудь можем для него сделать?

Любовь поманила Глаз к себе пальчиком. Исполин низко склонился перед ней, оказавшись лицом к лицу с самой Любовью.

Она достала из своего кармана крошечный ключик и лёгким движением открыла замо́к, скреплявший обе губы. Замо́к с грохотом рухнул на пол. Глаз выпрямился во весь рост. И его лицо, размером с самую большую городскую клумбу, озарила довольная улыбка.

— Спасибо! — поблагодарил великан Глаз. — Теперь идите за мной!

— Куда это?

— Увидите!

Все взглянули на Любовь, и она одобрительно кивнула.

— Хорош проводник! — неуютно поёжившись, произнёс Капуцин. — Кто он такой?

— Это Глаз, — ответила Любовь. — Главный охранник Короля Страха.

Через несколько минут они оказались перед дверью, на которой было написано: «*Мониторная*».

Это была служебная комната охранника Глаза. По всему Замку Короля Страха расположены камеры слежения, и здесь, в мониторной, можно следить за его обитателями. На стенах этой удивительной комнаты было размещено множество экранов в виде огромных моргающих глаз, обрамлённых ресницами невиданных размеров. И в каждом таком глазу что-то происходило.

Все разбрелись по комнате и с удивлением стали разглядывать каждый свою картинку. Никто не видел, как из мониторной удалился Глаз, и друзья остались наедине с изображениями.

Вдруг Любовь крикнула:

— Смотрите, вот он!

— Король Страх? — переспросил Капуцин.

— Да нет, Крикуль, — ответила Любовь и указала на центральный экран.

— Кри-икуль! — радостно присвистнул Птеранодон. — Малыш! Чего это он тут делает?

Все путешественники бросились к экрану, на котором Крикуль вместе с Королём Страхом сидели за многометровым столом, заставленным неисчислимыми блюдами.

— Судя по всему, собирается перекусить! — Капуцин, как всегда, правильно оценивал обстановку. — Видишь, какой стол, лакомств видимо-невидимо… видимо, гостеприимный папочка старается задобрить своего упрямого сыночка.

Глядя на это гастрономическое великолепие, Птеранодон громко сглотнув набежавшую слюну, произнёс:

— Я что-то тоже есть захотел. Слышите, как у меня урчит в животе?

Все на мгновение смолкли, и в этой тишине послышалось тоскливое завывание: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у».

— Да у тебя не урчит в животе, а волки воют, — проворчал Капуцин. — А Крикуль, как я вижу, неплохо устроился.

Друзья отчётливо слышали каждое слово Крикуля. Он от всего отказывался, а потом всё же поддался на уговоры и остановил свой выбор на мороженом.

Глаза Короля Страха вспыхнули радостным огнём.

Король скользнул взглядом по стенам залы, расписанной замысловатыми фресками, нашёл картинку, изображавшую людей в старинных одеждах, несущих над головами огромные белоснежные Лилии, еле заметно кивнул — и одна из нарисованных Лилий отделилась от стены и плавно опустилась прямо перед Крикулем. Оказалось, что цветок доверху наполнен мороженым.

Увидев это, Кокои начал лихорадочно скакать и при этом лепетать что-то нечленораздельное.

— Что, тоже есть захотел? — заботливо спросил Птеранодон.

Кокои мельтешил лапками, указывая на Крикуля:

— Не ешь! Нерьзя ешь!

Кокои кричал, будто Крикуль мог его услышать, но, судя по всему, это было не так.

— Крикурь, есть нерьзя!!! Коророевский ротос! Ротофаги! Цветок забвения.

Капуцин нахмурился и, будто припоминая что-то, глубокомысленно произнёс:

— Лотофаги?! Это уж не те ли, что всех путников кормили цветком королевского лотоса? А ничего не подозревавший путник ел — и навсегда забывал о своём доме. Сейчас наш Крикуль съест мороженое… и…

Кокои затараторил:

— Капуцин правирьно говорит. Кокои правирьно говорит. Всё пропаро!!! Пропаро!!!

Птеранодон растерянно произнёс:

— Ну, правильно-то правильно! А делать-то что? Надо его предупредить! Куда тут жать-то, чтоб он услышал?

Птеранодон стал беспорядочно бить по кнопкам на пульте в надежде отыскать нужную, но добился только того, что случилось непоправимое — погас центральный экран. Крикуль исчез из поля их зрения.

Капуцин заорал как ошпаренный:

— Что ты наделал? Перестань тыкать! Где этот Глаз?! Крикулю надо помешать есть это проклятое мороженое! Любовь, что делать?

Любовь стояла с закрытыми глазами.

— Любовь, — с досадой крикнул журналист, — на это нельзя закрывать глаза. Ты что, уснула?

— Нет! Это действительно цветок забвения, нельзя, чтобы Крикуль… Где наша миртовая веточка?

Все взглянули на Птеранодона.

— Я давно уже её достал! — и Птеранодон осёкся, заметив у себя за спиной странное жирное создание, дожёвывающее последний листик их волшебной миртовой веточки, от которой остался один только оголённый прутик.

Перед ними был Страх Голода. Собственной персоной.

— Что ты… наделал? — недоумённо прошептал всё ещё не веривший своим глазам Птеранодон.

— Ребята! Этот троглодит сожрал нашу… А-а-а!!! — завопил Капуцин и кинулся с кулаками на Страха Голода, который и не подумал защищаться. Он стал стремительно увеличиваться в размерах, произнося при этом:

— Я всегда говорил, что Страх Голода — самый сильный Страх в мире!

Страх Голода рос, пока его голова не стукнулась о потолок мониторной.

Все присутствующие ахнули и оцепенели от ужаса. Не было никакого сомнения: Страх Голода сейчас проглотить их всех. Разом.

Бедный Мани

Глава пятая, в которой происходит знакомство Крикуля с первым узником Замка.

Надо ли говорить, что феи Острова Детства внимательнейшим образом наблюдали за опасными приключениями Крикуля и его друзей? Только активно вмешиваться в ход событий они не имели права. Это был неписаный закон Всемирной Гильдии Волшебников. Замок Короля Страха был не их территорией, тем более что всё зависящее от фей было предпринято ими заранее. Но предусмотреть всего даже они были не в силах. Крикуль и его друзья должны были обходиться собственными способностями, собственной сноровкой и сообразительностью. Кулон — подарок Августины, висевший на шее Крикуля, — ожил и зашевелился сразу же после того, как Королевский Лотос с мороженым опустился перед Крикулем. В первое мгновение Крикуль не заметил, что кулон движется. Он заворожённо разглядывал разноцветные шарики, посыпанные орешками и шоколадной стружкой. От мороженого исходил голубоватый пар, и Крикуль с наслаждением вдыхал едва уловимый сладковатый аромат ванили. Его стало клонить ко сну, веки тяжелели. На мгновение он ощутил тихую безоблачную радость, успокоение и будто бы забылся. Как вдруг очнулся от весьма ощутимого удара в грудь и голоса Короля Страха, отдававшего какие-то распоряжения. Крикуль окончательно пришёл в себя. Кулон раскачивался, словно маятник, и подпрыгивал на его груди. Крикуль быстро открыл его. На маленьком внутреннем экранчике он увидел встревоженную Августину, произносившую, словно заклинание, одну и ту же фразу:

— Не ешь мороженого! Не ешь мороженого! Оно тебя погубит!!!

Через мгновение рядом с Крикулем вырос Король Страх и с перекошенным от гнева лицом сорвал с шеи упрямца говорящий кулон.

— Проклятье! Ну нет от них спасения! На минуту отвернуться нельзя!!!

С этими словами Страх швырнул подарок феи в угол столовой залы. Ударившись о пол, кулон бесследно исчез под звук, напоминающий сломанную музыкальную шкатулку.

Крикуль потупил взор, его глаза наполнились слезами.

— Что ещё у тебя есть? Какие подарочки феечек ещё припрятаны? Выворачивай карманы! Живо! — потребовал Король.

На стол были выложены марципановые сердечки Февралины.

Страх рассмеялся, изменив тактику:

— Крикуль, сынок! Ну что ты — девчонка? Есть сладости в таком количестве?!

Рука Страха легла на плечо Крикуля, и даже через камзольчик из плотного сукна он почувствовал её леденящую тяжесть.

— Чёрт с ним, с этим мороженым, — сказал Король Страх, отдёрнув руку. — Ты хотел познакомиться с моими воспитанниками, с моими маленькими гениями… так не будем тратить времени. Следуй за мной!

Крикуль бросил прощальный взгляд на стол, где ещё минуту назад лежали марципановые сердечки. Они испарились.

Какое-то время Король Страх и Крикуль молча мчались по холодному коридору. И вдруг Король Страх спросил:

— Слышишь, умник! А ты знаешь, что такое деньги?

Крикуль едва слышно ответил:

— Да.

— Что же?

— На них можно купить еду и одежду…

Король Страх продолжил:

— …и дома, и земли, и людей… и вообще всё, что существует в этом мире.

— И душу? и совесть? и любовь? — спросил Крикуль.

— Слова, которые ты только что произнёс, ничего не значат. Но я утверждаю: да — и душу, и совесть, и любовь. Можно купить и продать! Деньги правят миром! В природе всегда на первом месте была польза, выгода. Всё остальное — искусственное — придумали ни на что не годные романтики. А Мир, куда ты так стремишься, — это мир наживы, а нажива — это бездонная пропасть, которую не заполнить во веки веков! И покуда существует мир людей, будут существовать Роскошь и Нищета. Две крайности. Как, впрочем, Правда и Кривда! Ты вот всё ищешь Правду, ничего не зная о ней! А знаешь ли ты, мой милый, насколько она неприглядна, если смотреть ей в глаза?

Король Страх резко остановился. В нише рядом с ними возникли два кувшина.

Король Страх предложил Крикулю:

— Попробуй, отпей из каждого и скажи: в каком из них Правда?

Крикуль смутился:

— А что, Правда бывает жидкой?

— Правда бывает всякой, — возразил Страх, — но даже если разбавить Правду водой, вкус её от этого не изменится. Пробуй, не бойся.

Крикулю от длительной ходьбы так захотелось пить, что предложение Короля Страха пришлось как нельзя кстати.

Он поочерёдно отпил из обоих кувшинов. В первом жидкость горчила, во втором была приятной и сладкой на вкус. Крикуль допил содержимое второго кувшина до дна.

Страх стоял с весьма довольным видом.

— Ну, и какая из этих жидкостей тебе больше понравилась?

— Сладкая.

Страх расхохотался.

— Вот, сынок, и вся твоя Правда! Она горька! А ты, как и все, — выбрал сладкую… Ложь. А ещё Правда бывает страшной. В этом ты сейчас убедишься… Парня, с которым мы идём знакомиться, бросила мамаша. Оставила умирать в подъезде, в коробке из-под микроволновки. Поиграла и выбросила.

Они приближались к цели.

— Заходи! — сказал Король Страх, дёрнув на себя ручку двери, на которой снаружи висела табличка с непонятным пока для Крикуля словом «Мани».

Но как только дверь распахнулась, тонкий музыкальный слух Крикуля пронзил истошный детский крик. В ушах зазвенело. Крикуль вскинул руки и заткнул уши. Это был дикий крик ребёнка, с которым случилась истерика. Нет, этого Крикуль не мог вынести: как же давно его слух не терзал детский плач! А Страх хочет, чтобы он снова вернулся к своему Великому Предназначению — сбору детских слёз, которые замораживаются, превращаясь в твердокаменные кирпичи-слитки для строительства бесчисленных дворцов и за́мков Короля Страха. От этой мысли Крикуля передёрнуло. Ну уж нет, не бывать этому. В этот момент Крикуль только утвердился в своём желании выполнить намеченный план: во что бы то ни стало вырваться из плена Страха и помочь другим его так называемым воспитанникам.

За обеденным столом сидел орущий что есть мо́чи мальчуган лет четырёх. Слёзы градом лились по его пухленьким щёчкам. Кучерявая головёнка непрерывно тряслась в конвульсиях. Рядом находилось нечто, похожее на каменную бабу, с плёткой в руках. Перед мальчиком стояла большая миска с дымящейся едой.

— В чём дело? Что за ор?! — прогрохотал Король Страх, брезгливо поморщившись. — Прекрати немедленно!

Малыш даже и не подумал переставать плакать.

— В чём дело, я спрашиваю?

— У нас обед, Ваше Величество! — прогудела окаменевшая навеки Нянька.

Лицо её, будто высеченное из грязно-серой глыбы, не выражало никаких эмоций. Застывшая маска истукана.

— Вижу, что обед! Почему крик?!

— Мани снова отказывается от денежной похлёбки, Ваше Величество.

Король Страх приблизился к миске с дымящимся супом. Склонился над ней и стал сосредоточенно втягивать носом струйку пара. Затем, взяв ложку, осторожно попробовал месиво. Крикуль заметил, что с ложки свисала, словно крупно нарезанная капуста, полупрозрачная, вываренная, почти бесцветная бледно-зелёная денежная купюра. Миска была наполнена такими купюрами до отказа.

Едва отхлебнув «супчика», Страх словно подавился и выплюнул всё обратно в миску. Недолго думая, он вылил суп прямо на чёрный парик Няньки-истукана.

— Сколько можно говорить! Похлёбку нельзя варить из типографских купюр. Они же краской пахнут, уродина!

Малыш немедленно прекратил реветь и, сменив гнев на милость, стал истошно хохотать над нелепым видом тиранши. При этом он откидывался на спинку стула, хватался за живот и дрыгал ногами.

Это дикое зрелище вызвало в Крикуле такой прилив негодования, что он, не сдержавшись, крикнул:

— Да перестаньте же!

Король Страх, по-волчьи вспыхнув глазами, метнул гневный взгляд на зарвавшегося Крикуля. Но тут же, взяв себя в руки и погасив ярость, почти спокойно произнёс:

— Ничто меня так не раздражает, как безалаберное отношение к порученному делу. Крикуль, ну посуди сам! Разве я не прав?! Неоднократно Няньке нашего финансового гения было сказано, как именно варится денежная похлёбка. Для Мани эта пища должна быть самой любимой, самой желанной.

Она должна готовиться только из денег, бывших в употреблении. «Деньги не пахнут»,— наивно утверждал император Веспасиан! Ещё как пахнут! В них ощущается терпкий запах власти, солоноватый вкус слёз и пота, горечь утрат и сладковатый, ничем не заменимый привкус крови. Только деньги, бывшие в употреблении, обладают энергией, ароматом жизнедеятельности и магическими свойствами. Они способны привести в движение чувства, мысли, работу мышц, только они дают настоящий навар нашей волшебной похлёбке! А ты, горе-Нянька,— неисправимая халтурщица! Нет! Ты — преступница! Прочь! С глаз долой! Исчезни!

Не успел Крикуль перевести взгляд с Короля Страха на Няньку, как её и след простыл.

Мани с нескрываемым интересом рассматривал Крикуля. Малыш спрыгнул со стула и подошёл к нему вплотную. Крикуль присел перед ним на корточки, и их глаза теперь поравнялись.

— Привет, Мани! — сказал Крикуль.

— Ты кто? — спросил Мани.

Казалось, что он только сейчас и заметил Крикуля.

— Я? — Крикуль в недоумении обернулся в сторону Короля Страха.

Страх подошёл к ним и тоже присел на корточки.

— Вот, Крикуль, познакомься: это — малыш Мани, будущий повелитель мировой финансовой системы. Все денежки мира будут прилипать к его славным лапкам.

Крикуль только сейчас увидел, что руки мальчугана действительно больше походили на лапы. То ли беличьи, то ли крысиные.

— А это,— сказал Страх, указывая на Крикуля,— это — человек! Но только не простой, а такой же гений, как и ты, Мани!

— Че-ло-век! Живой! Как на картинке! — сказал маленький Мани и осторожно прикоснулся к лицу Крикуля.

Он впервые видел человека.

В сопровождении Страха Крикуль снова мчался по лабиринтам Замка.

— Ну, как тебе Мани? Занятный малыш, правда?! — начал Страх.

— Бедный Мани! — с сочувствием произнёс себе под нос Крикуль.

Страх резко остановился.

— Кто бедный? Он?!!! — Король Страх вскинул руку в сторону оставшегося далеко позади маленького затворника.— Это он-то бедный?! Иди сюда!

Страх хватил Крикуля за грудки и втолкнул его в боковую комнату, по виду напоминающую обычный школьный класс. Как в обычном школьном классе, здесь находился обычный учительский стол, ряд обычных ученических парт и обычная школьная доска с белым мелком на специальном выступе.

Страх, закинув ногу на ногу, уселся на учительский стул.

— Подойди к доске и запиши мне количество народонаселения нашей планеты!

Крикуль заморгал. Затем закатил глаза к потолку и стал вспоминать. Страх терпеливо ждал. Через минуту он прервал затянувшуюся паузу и с настойчивостью спросил:

— Ну так сколько? Сколько людей живёт на Земле? Сколько?!

— Кажется, семь миллиардов… — неуверенно произнёс Крикуль.

— Не кажется… а точно! Семь миллиардов! Твоя нерешительность и неуверенность в собственных силах тебя погубит! Точно! Семь! Семь миллиардов. Возьми мел и запиши на доске!

Крикуль вывел ровненькую семёрочку и девять нулей: *7 000 000 000*.

— Молодец! Правильно! А теперь посмотри внимательно на свою запись и ответь мне, мой мальчик: теперь ты видишь, сколько человек живёт на нашем свете? Назови мне цифру!

— Семь… — начал было Крикуль, но Страх не дал ему договорить.

Он вскочил и стал нервно стирать нули, написанные Крикулем.

— Семь! Вот именно! Только семь! Остальные люди — нули! Нули, понимаешь?! Они только делают вид, что живут. Они — выживают, а живут — вот эти *семь!!!* Так вот, наш Мани никакой не бедненький, как ты изволил выразиться, он — один из этих семерых избранных. Им принадлежит весь мир! И они ведут между собой непрерывную войну. Ну, об этом мы поговорим с тобой в следующий раз!

— И я, выходит, тоже нуль? — с вызовом спросил Крикуль.

— А как ты сам думаешь? — вперив испепеляюще-презрительный взгляд на Крикуля, словно перед ним находился ничтожный, желторотый воробей, проговорил Страх.

— Скорее всего — нуль! Судя по вашей теории,— согласился Крикуль.

— Так вот, чтобы ты не чувствовал себя нулём среди других нулей, я и предлагаю тебе жить у меня в Замке, защищённом от всех людских проблем и вечных забот о необходимости выживания. Это я беру на себя! Подумай, Крикуль, от чего ты отказываешься! Или ты — сам себе враг, как и все остальные смертные?

Король всех Страхов — Страх Смерти — был уверен, что Крикуль сделает правильные выводы.

Не верь глазам своим!

Глава шестая, в которой Крикуль узнал, как может выглядеть Невероятное, а великан Глаз выводит из строя всю систему наблюдения Замка.

В мрачном коридоре Замка Короля Страха послышался отдалённый бой часов.

Король Страх взглянул на Крикуля.

— Да ты уже валишься с ног! Пожалуй, прервём нашу экскурсию. Тебе нужно набраться сил. А завтра продолжим. Поверь, тебя здесь ждёт масса открытий и… сюрпризов. Кстати, ты ничего не замечаешь?

Ну как же! Крикуль, ещё секунду назад чувствовавший себя почти во власти Сна, внутренне встрепенулся. Они приближались к *его* лаборатории. Да, да, вот за этой дверью прошло несколько лет его жизни.

— Здесь и переночуешь. Ты же дома! — сказал Страх.
— А Няньки там нет? — на всякий случай спросил Крикуль.
— Нет, конечно, нет! Какие няньки в твоём возрасте?! — Страх решительно двинулся вперёд.

Однако Крикуль уловил шумы и шорохи, доносившиеся из глубины его комнаты.
— Но всё-таки там кто-то есть… — в нерешительности произнёс Крикуль.
— Ну давай зайдём и посмотрим, кто бы это мог быть!!! — с еле уловимым сарказмом в голосе проговорил Страх.

В лаборатории по сбору и обработке детских слёз всё было по-прежнему. Кушетка Крикуля была прибрана и стояла на своём привычном месте. На многочисленных полках, где хранились колбы и пустые формы-заготовки, был идеальный порядок. На столе по-прежнему аккуратно лежали книги для записей и регистрации новых поступлений. Однако в помещении почему-то горел свет, и дверца гигантского холодильника, который стоял в дальнем углу комнаты, была полуоткрыта. За ней кто-то стоял, слегка согнувшись. Этот кто-то, заслышав шаги вошедших, вначале робко выглянул из-за своего укрытия. А затем, выпрямившись и захлопнув дверцу холодильника, предстал перед Королём Страхом и Крикулем.

Крикуль открыл рот от неожиданности. Как же так? Перед ним стоял *он сам*. Это был Крикуль! Да! Вне всякого сомнения. Неужели это не сон?! Крикуль словно превратился в соляной столб, а вот его двойник, ничему не удивляясь, хорошо узнаваемым голосом самого Крикуля проговорил:
— Здравствуйте, Ваше Величество! Я думал — работа на сегодня закончена. Или будут ещё какие-нибудь приказания?

Король Страх был невероятно доволен произведённым на Крикуля впечатлением и рассмеялся, словно удачно пошаливший мальчишка.
— Ох, Крикуль! Умора! Ты бы видел себя со стороны!!!
— Я сплю, или это наваждение? — начиная приходить в себя, проговорил Крикуль.
— Да какой там сон! Хочешь, я тебя ущипну? Или лучше сам подойди и потрогай своего Двойника — Крикуля Второго!
— Но как это возможно? Зачем? — беспомощно прошептал доверчивый Крикуль.
— Зачем? — хмыкнул Страх. — А как же иначе? Что же ты думал — пока ты там прохлаждаешься, путешествуешь по заграницам, работа по сбору слёз будет остановлена? Как бы не так, я не намерен пускать всё на самотёк. Производство нельзя прекращать ни на минуту, тем более хорошо налаженное! Оно должно быть под неусыпным контролем! Дети ведь на Земле плакать не перестали, слёзы льются рекой, так зачем же бесценному материалу пропадать даром? Я своей пользы и выгоды упускать не намерен. И как видишь, незаменимых у нас нет, мой маленький гений!

Крикуль, не спуская глаз со своего Двойника, подошёл к нему вплотную. Да, это была его точная копия, это был Крикуль, только слегка как будто постаревший. Осунувшееся, измождённое лицо, безрадостные, погасшие глаза — да-да, в глазах не было жизни и огня.
— Как тебя зовут? — спросил Крикуль.
— Крикуль, — ответил Двойник.
— Откуда же ты взялся?
— Не знаю, — ответил Двойник равнодушным голосом, — мне кажется, я всегда здесь жил.

Крикуль перевёл взгляд на Короля Страха, пребывавшего в явно приподнятом настроении.
— Так откуда же он здесь взялся? — спросил его Крикуль.
— Ох, это отдельная история. Завтра всё сам узнаешь! — Король Страх широко зевнул. — Я же обещал тебе массу сюрпризов и открытий. До завтра, мальчики мои! До завтра! У меня ещё куча дел!

Через мгновение Король Страх скрылся за дверью лаборатории, заперев её снаружи.

А дела, творившиеся в Замке Короля Страха, требовали его немедленного вмешательства.

Как только Король Страх вернулся в свой кабинет, секретарь Рот незамедлительно доложил ему о том, что бесследно исчезли три Страха: Страх Одиночества, Страх Голода и Страх Темноты.
— Что значит — бесследно исчезли? — прогремел Король Страх.
— Так, — проклекотал Рот, у которого от страха мелко дрожали ножки. — Ушли на задание и не вернулись!.. И ещё…
— Что ещё? Ещё кто-то бесследно исчез?! — спросил Страх, зверски оскалившись.
— Нет, не исчез, а предал… вас, Ваше величество! — еле выдавил из себя слова перепуганный Рот.
— Предатель?! Здесь?! Кто же этот несчастный?
— Главный охранник Глаз, Ваше Величество! Они — ну, эти, которые с Крикулем прибыли, «гости», — они сняли с его рта замóк, а он, ну, то есть Глаз, притащил их прямо в свою мониторную, вывел из строя всю систему слежения — ни одна камера не работает. Он нас всех сдал. Видимо, в знак благодарности… — промямлил секретарь Страха. — Правда, Страх Темноты попытался этому воспрепятствовать, но после этого сам так и не вернулся. Исчез.
— Глаз!

Всполох гнева озарил лицо Короля. Он подошёл к зеркалу, приблизился к своему отражению и, оттянув нижнее веко левого глаза, внимательно всмотрелся в него.
— Проклятый Глаз! Чувствовало моё сердце: чем крупнее великан, тем крупнее неприятности… ну да ничего, никуда не денется и получит своё!

Тут Король Страх отпрянул от зеркала и позвал:
— Оксы, вы где?!
— Здесь, Ваше Величество, — донеслось из-за шкафа секретарской. — Где же мне быть? Я всегда на посту.

Очки Короля Страха — или, как их сокращённо называли, Оксы — вышли на середину комнаты.
— Приведи мне его! Во что бы то ни стало! Я покажу этому неразумному отродью, чем заканчиваются шуточки со Страхом Смерти! Всем неповадно будет!

— Слушшаюсь, повелитель! — прошипели Оксы-Кацик и по-змеиному выскользнули в коридор.
— Химка! — гаркнул Король Страх.

Тут же у его ног послушно завертелась мерзкого и зловещего вида Химера.

— Рот будет под твоей неусыпной охраной. Сюда никого не пускать! Папки сжечь, если что… ну, ты меня понимаешь?!

Изо рта Химеры вырвался язык пламени.

— Хорошо! — сказал Король Страх. — Я — на совещание. Надеюсь все братья в сборе?

Он распахнул дверь в свой кабинет, и Рот с Химерой увидели, что вокруг его стола плотным кольцом сидят оставшиеся в наличии Страхи.

Тем временем друзья Крикуля — Любовь, Кокои, Капуцин и Птеранодон — находились совсем близко от кабинета Короля Страха, настолько близко, что чуть было не столкнулись с Кациком, спешащим в мониторную.

Глаз, показавший друзьям Крикуля дорогу до секретарской, по договорённости со своими новыми благодетелями должен был вернуться на свой пост.

Он застал «гостей» весьма удручёнными. И это несмотря на то, что они только что выиграли бой с двумя Страхами — Страхом Голода и Страхом Темноты.

Капуцин, прирождённый оратор и неутомимый искатель журналистских впечатлений, во всех подробностях доложил Глазу, как Страх Голода вырос до потолка и пытался их проглотить. Только у него ничего из этого не вышло, так как бесстрашный воин — лягушонок Кокои, — изловчившись, метко забросил прямо в его ненасытную глотку горсть изумрудов феи Январины. Молниеносно замороженный таким образом, Страх Голода рассы́пался при малейшем к нему прикосновении.

Не успели они опомниться, как мониторная погрузилась во мрак — это Страх Темноты явился на помощь брату. Правда, это длилось только мгновение. Ведь наша негасимая Любовь не переставала светиться изнутри. Это сияние вынудило Страх Темноты превратиться в существо, одетое во всё чёрное. Из волшебных предметов фей Острова Детства у них осталась только шкатулка, которой хотела воспользоваться Любовь.

— Но в кромешной темноте, длившейся всего лишь мгновение, меня осенила гениальная идея, — не без удовольствия констатировал Капуцин. — Я предложил этому *чёрному чернее всех чёрных* поиграть в игру: кто кого переглядит?! Ребята знают, я могу не моргать часами, я даже могу спать с открытыми глазами! Страх Темноты согласился. Но, играя, соперники должны смотреть друг другу в глаза, ведь так? Мы сели, и игра началась! Вот только смотреть Страху Темноты было нечем, в его глазницах зияла пустота, там ничего не было. А это — нарушение правил! И что тут началось — цирк, умора! Страх Темноты решил исправить положение и стал примерять одни за другими взятые из своего тёмного воображения какие-то то жуткие, то ничтожно-уморительные глазки… и так было до тех пор, пока терпение его не лопнуло и он вообще не исчез неизвестно куда, растворившись в собственной темноте.

Глаз искренне порадовался за посланников Острова Детства и заверил, что постарается сломать всю систему слежения без возможности её восстановления. Тем более что можно всё свалить на Страх Темноты: дескать, он отключил — с него и спрашивайте, — а сам сделает вид, когда за ним явятся (в этом он ни минуты не сомневался), будто пытается исправить поломку. Затем он поведал о том, что главная их цель — это секретарская комната Короля Страха.

— Кроме Короля Страха, один только его секретарь — Рот — знает *главный* Секрет, связанный с его воспитанниками. Их местоположение, кто чем занимается… и вообще — вся информация о них собрана в одном месте и находится в секретарском сейфе. Больше я ничего не знаю.

— Стоп! — крикнул Капуцин так громко, что сам испугался. Он выпучил глаза и радостно прошептал: — Стоп-стоп-стоп!!! Меня осенило!!!! Вот оно!!! — Капуцин вцепился в гигантскую руку Глаза и затряс её что было силы. — А большего ничего и не надо, дорогой Глаз! Гениально! Спасибо! Ты натолкнул меня на мысль. Это то, что нужно!!!! Наша задача — собрать расселённых по всему Замку Короля Страха маленьких гениев, собрать их всех вместе! Ведь так? А они уже собраны! Понимаете?! В этом секретном сейфе!!!! Здесь собрана вся информация о них — значит, там их личные дела!!! Не зря их так охраняют. Не зря эта информация считается закрытой! Эти папки как-то связаны с самими ребятами. Я чувствую, что здесь кроется какая-то тайна! Нам непременно нужно отправиться *туда!!!* Как думаешь, Любовь, я — гений?

— Несомненно!!! — мило улыбнувшись, ответила Любовь. — Это блестящая идея! Дело останется за малым — отгадать главную загадку.

— Какую? — непонимающе спросил Капуцин.

— Я знаю, мой сын не так-то прост. Сейф наверняка заколдован! Необходим будет шифр.

— Ну а Рот-то на что?! Тряхнём его как следует! — нетерпеливо возразил Капуцин.

Любовь, сосредоточившись на *воображаемом* сейфе, продолжила:

— Нет, я не об этом. Сам сейф открыть несложно… но что нам дадут эти личные дела? Рот может ничего и не подозревать об этом.

— Тем более! Нужно немедленно идти к Секретарю за его Секретом!!!

Капуцин был исполнен решимости.

— Глаз, ты нас проводишь?

— Разумеется! Но будьте осторожны! — предостерёг Глаз.

— Рот, конечно, несусветный болтун и трус, вот уж кому надо было замо́к повесить. Секретарь, не умеющий хранить секреты. Выведать секрет у него самого не составило бы труда, но это ловушка! Кажущаяся лёгкость! Манок! Секретарскую комнату охраняет верная Королю Страху Химера — настоящее исчадие Ада. Она плюётся огнём, одного только прикосновения её ядовитых

когтей достаточно, чтобы послать противника к праотцам, как выражаются люди.
— Понятно! Спасибо, что предупредил.
— А как она выглядит, эта Химера? — спросил Птеранодон.
— Огнедышащее чудовище с головой льва, брюхом козы и змеиным хвостом.

Крикуль никак не мог уснуть. Ворочался с боку на бок.

После пережитых потрясений очутиться в своей комнате, да ещё этот Двойник, который исчез вслед за ушедшим Королём Страхом. Может, отправился на ночное дежурство? Дети ведь плачут и по ночам!

«Кошмар! — думал Крикуль. — Общаясь с волшебниками, пора бы уж привыкнуть к их невообразимым фокусам, но каждый раз после их выкрутасов я чувствую себя простачком, зайцем, попавшим в западню. Где-то сейчас Любовь и ребята? Что делают?»

Он больше не злился на них. Он скучал. Уж не вернулись ли на Остров Детства, даже не попытавшись его вытащить отсюда? А что, если они всё ещё здесь? Где они? Что с ними?

«Если бы я не сделал глупость… не ушёл… ох, если бы да кабы — не считается! Всё это уже произошло! Что дальше? Ну хорошо. Обойду я со Страхом всех обитателей Замка… посмотрю на юных гениев. Что дальше? Как их объединить? Как поговорить с ними с глазу на глаз? Хотят ли они сами выбраться отсюда? Ну, вот взять хотя бы этого беднягу Мани. Он совсем мал, чтобы понимать, какая жизнь ждёт его впереди. Как и для чего, вернее, для *кого*, будет использован его талант. В четыре года впервые увидеть живого человека! Да что там, я и сам такой! Хотя… Я — Человек, и я чувствую, как что-то настойчиво и упрямо зовёт меня жить с себе подобными, этот голос есть во мне, а значит, он должен быть и у Мани, и у остальных… может быть, это голос крови?!»

Жаль, что не с кем посоветоваться. Собственных мыслей по спасению не было! «Может, ещё и появятся», — не теряя надежды, подумал Крикуль и глубоко вздохнул. И почувствовал, что его мучит нестерпимый голод.

Марципановые сердечки снова лежат в его кармане, а значит, можно подкрепиться.

Вид у сердечек был какой-то странный; раньше они, несмотря на то, что лежали в смятом виде, имели всё-таки чёткую форму сердец и алый цвет, теперь же они стали пурпурно-красными и больше смахивали на бесформенные бугристые камешки. Однако усталость и голод взяли своё — Крикуль слегка дунул на конфетку и отправил её в рот.

Как он дошёл до своей кушетки, Крикуль не помнил, потому что почти мгновенно забылся мёртвым сном.

Совещание Страхов было коротким.

Король Страх заверил братьев, что Крикуль уже почти сдался.
— Можете считать, что он у меня в кармане!

Сидящий рядом с Королём Страхом Страх Неизвестности осторожно покосился на его карман, будто надеялся увидеть в нём маленького Крикуля.
— Это я образно выражаюсь! — огрызнулся Король Страх и продолжил: — Крикуль в раздумьях и сомнении. Он уверен в предательстве друзей, я познакомил его с Двойником — Крикулем Вторым, который якобы трудится вместо него, собирая детские слёзы. Пусть не очень-то обольщается своей незаменимостью!!! Феи Острова Детства пока не нарушают негласную договорённость — не вмешиваются в ход событий на моей территории, и это очень хорошо. Мне важно, чтобы он сделал выбор в мою пользу сам, без насилия!!!

Страх Высоты проявил рвение:
— Король, позволь мне выпустить наружу Шальные Ветры? Они изнемогают от желания порезвиться вволю. Пора проветрить Замок. Пусть они просто вышвырнут этих непрошеных гостей. Мне кажется, что они зашли слишком далеко. Шляются тут, как у себя дома. Да и исчезновение трёх наших братьев наводит на мрачные мысли. Ты говоришь о магии чисел… а от нас — от двенадцати — осталось всего девять!

Король Страх хитро прищурился:
— Страхи не исчезают бесследно. Они обладают способностью самовосстанавливаться. Никуда они не исчезли! Это всего лишь временное явление. Итак! Я занимаюсь исключительно Крикулем — не отвлекайте меня! Займитесь гостями. Шальные ветры — хорошая мысль! Страх Высоты — ты следующий! Гони Любовь с её прихвостнями… подальше отсюда! Пусть выметаются прочь!

Любовь с первого взгляда

Глава седьмая, в которой Крикуль встречается с гением, в чьих руках находится бессмертие Короля Страха.

Солнечный луч коснулся лица Крикуля.

Но сон мальчика был настолько глубок, что это тёплое, радостное прикосновение не вернуло спящего к действительности. Конфетка, виртуозно подсунутая Королём Страхом взамен марципанов Февралины, сделала своё дело. Теперь над снами Крикуля безраздельно властвовал хозяин Замка. Просочиться в них, при всём своём желании, не смог бы даже сам Повелитель Ночных Сновидений!

Король Страх стоял у изголовья спящего. Он опустил ладонь на лоб Крикуля и снял действие снотворного.
— Просыпайся, парень!!! — проговорил Король Страх.
— Где я?
— Дома! Ты дома, Крикуль!

Крикуль медленно приходил в сознание.
— Ах да! Я тут…
— Поднимайся. Ты ещё не передумал знакомиться с моими воспитанниками?
— Не передумал…
— Ну вот и отлично, — бодро продолжал Страх. — Мы сейчас отправимся к единственной среди моих гениев девочке.

Крикуль оделся. Привёл себя в порядок. Девчонка?! Остальные, стало быть,—мальчики.
— А как её зовут?—спросил Крикуль, когда они с Королём Страхом вышли в коридор.
— Лисса!
— А чем она занимается?
— Увидишь, пусть это будет для тебя сюрприз!—загадочно подмигнул Крикулю Страх.
— Что, ещё сюрприз?—насторожился Крикуль
— Сюрпризы—моя специальность!!! Не всё вам в гениях ходить… Кстати, зачем ходить? Мы сейчас с тобой прокатимся с ветерком. Лисса живёт от тебя далековато. А мы пулей домчимся.

Не успел Король Страх произнести слово «пуля», как перед ними возникло странное средство передвижения. Формой эта машина действительно напоминала гигантскую пулю стального цвета. То ли машина, то ли ракета—не успел понять Крикуль. Дверца, которой ещё мгновение назад не было, отворилась—вернее сказать, растворилась, образовав пространство, в которое Крикуль шагнул вслед за Королём Страхом. И как только проём закрылся, Страх скомандовал:
—Поехали!

Взвыли турбины. Крикуль рухнул на пол от этого невыносимого для него звука. Зажмурился и сжал уши руками.

Буквально через несколько секунд Король Страх склонился над Крикулем и, отодвинув его руки в стороны, произнёс:
— Приехали!

Выбравшись из сверхскоростной Пули, они попали в довольно широкий коридор. На стенах коридора, по которому они теперь самостоятельно передвигались, Крикуль заметил необыкновенные барельефы. Будто какие-то диковинные существа—полулюди-полузвери,—тщетно пытаясь спрятаться от надвигающейся на них опасности, беспомощно озираясь, за неимением другого убежища, искали спасения в стене. Но, протиснувшись туда лишь наполовину, были застигнуты преследователем, после чего им суждено было окаменеть от ужаса.

Крикуль оглядывался по сторонам и по всему периметру довольно длинного коридора наблюдал это неприятное изобретение горе-скульптора с явно изощрённо-больной фантазией.
— Жуть какая-то!—проговорил Крикуль.
— Не обращай внимания,—ответил Страх.
— Да они словно настоящие!
— Кто?
— Ну, эти,—махнул Крикуль в сторону барельефов.
— Были настоящие. Вчера. Да все вышли,—невозмутимо пояснил Страх.
— Как настоящие? Они не из гипса?!—Крикуль остановился как вкопанный.
— Да из какого ещё гипса, детка?!—увидев перепуганные глаза Крикуля, Король Страх решил дать ему некоторые пояснения.—Это, скорее всего, результат ночного разгула Шальных Ветров. Носились по замку, громили всё подряд. Ну, этим и досталось. Попали под горячую руку.

Крикуль только сейчас заметил, что вдоль плинтусов то здесь, то там виднеется застывшее тёмно-вишнёвое желе. Крикуль неожиданно для самого себя резко присел и коснулся желе пальцем.

Он испачкался… кровью. Снова действуя по инерции, Крикуль отёр палец о курточку.
— Это же кровь!—лицо Крикуля было искажено ужасом.
— Ну и что, что кровь? Я же тебе сказал: они были настоящие.
— Эти кентавры?
— Кентавры-минотавры… какая разница, у них много названий… Лисса—великий химеролог, такого добра у неё в лаборатории—что грязи! Ещё разведёт! Хватит хныкать, парень, будь мужиком! Мы уже пришли.

Крикуль с трудом поднялся, ему воочию представился кошмар, случившийся здесь прошлой ночью.

Он плохо понял из слов Короля Страха, кто такая эта Лисса. Разводит чудовищ… Но тут же явственно почувствовал, как в его душе закипает волна неприязни и отвращения к существу, имеющему отношение ко всему им увиденному.

Тяжёлая широченная дверь, украшенная чугунной растительностью, распахнулась, и прямо в объятья к Королю Страху стремительно вылетела заплаканная рыжеволосая девочка.

С пронзительным криком, от которого Крикуля передёрнуло, она кинулась к Страху и, крепко обхватив его за шею, запричитала:
— Папочка, милый, спаси, умоляю!!! За что? За что они с ними так поступили? Почему меня не предупредили? Они же ничего не подозревали! Они просто пошли погулять! За что-о-о-о-о-о-о-о-о-о?????? Папочка!!!

Крикуль был ошеломлён.

У него на глазах Король Страх превратился в трогательного, сочувствующего горю папашу. Он стал утешать девочку, называя её самыми ласковыми в мире словами и прозвищами:
— Ну что ты, моё золотце!!! Успокойся, дорогая моя! Лиссонька, я всё исправлю! Сделаю всё, что ты хочешь! Ну ничего же страшного не случилось, успокойся, медочек!
— Как?!—Лисса откинула голову назад и стала всматриваться в глаза Страха.—Как это ничего страшного не случилось?! Ты видел, во что их превратили?
— Успокойся, сокровище моё! Видел! Всех виноватых накажу—размажу по стенке.
— Папа!—пыталась докричаться до сердца Короля Страха его названая дочь Лисса.

Видимо, она не знала, что Страх забыл сегодня взять своё сердце с собой!!!
— Успокойся, радость моя!!! Мне очень жаль, что всё так произошло, обещаю: этого больше не повторится. Никогда. Я знаю, тебе под силу их оживить! Не правда ли? Всё будет хорошо! Ты ведь у меня настоящая волшебница!

Малышка, обессилев, соскользнула на пол и, закрыв личико руками, снова горько разрыдалась.

Король Страх взглянул на Крикуля и развёл руками, призывая проявить немного терпения.

Немного погодя рыдания сменились всхлипыванием. Лисса успокаивалась.

— Посмотри, дорогая моя кисонька,— сказал Страх,— кого я к тебе привёл. Это Крикуль. Помнишь, я тебе про него рассказывал?

Лисса отняла руки от лица и посмотрела в сторону Крикуля. Для него снова наступил момент наваждения.

— Любовь?— узнал Крикуль, но произнёс это слово одними только губами, без участия голоса.

Не было никаких сомнений! Да, это была Любовь! Он узнал её… или снова только её точная копия?

Как она очутилась здесь? Почему она Лисса? Что всё это значит? Крикуль решил пока не обнаруживать своего недоумения и промолчал.

Любовь-Лисса поднялась, Король Страх помог ей. Она отряхнула подол своего передника, смахнула назад кипу рыжих волос-завитушек, закусила губы, пытаясь окончательно остановить приступ непрекращающихся слёз, и протянула руку навстречу Крикулю:

— Здравствуйте! Я о вас много слышала. От папы. Проходите.

— Девочка моя!— Страх криво улыбнулся, будто заискивая.— Ты не могла бы занять гостя? Расскажи про свою работу… а я распоряжусь, чтобы этих бедняжек освободили из каменного плена.

— Да, папочка, сделай это побыстрее… мне нужно будет подготовить ванны с раствором.

Страх прошёл в глубь лаборатории.

Крикуль, улучив минуту, решил воспользоваться уединением и, наклонившись к самому уху Лиссы, спросил:

— Любовь, это ты?

— Что?— удивлённо переспросила Лисса.

— Тебя зовут Любовь?— робко повторил Крикуль.

Но, видя неподдельное удивление в глазах Лиссы, понял, что ошибся. Девочка просто была потрясающе похожа на Любовь, которую он впервые увидел в замке феи Февралины.

— Меня зовут Лисса, Крикуль! Лисса. Запомнили?

— Да, хорошо, я запомнил! Давай на «ты»!

— Давай! Видишь, какое несчастье произошло?! Вчера мои подопечные, ни о чём не подозревая, отправились полюбоваться закатом— он виден с балкона в конце коридора…

Крикуль мысленно вспомнил себя выходящим на такой же балкон вместе с Нянькой-Рукой.

— А кто-то спустил с цепей Шальные Ветры. Они такие беспощадные… необузданные… буйные. Подняли дикий рёв, выли, гудели и громили всё на своём пути— я ничего не успела сделать…

— А я спал и ничего не слышал!

— Крепкий же у тебя сон! Весь замок трясся, как центрифуга. Ну, пошли, я покажу тебе мои владения.

— Странные, однако, у тебя подопечные… Король сказал, что ты их сама разводишь.

— Не развожу, а создаю!

— Создаёшь? Как это?

— Я занимаюсь генной инженерией, молекулярной антропологией, я— микробиолог! Слышал, что это такое?

— Ты занимаешься клонированием?

— Не только… я химеролог, в широком смысле этого слова. Я могу рекомбинировать молекулы днк, проводить трансмутации, синтезировать хромосомы давно исчезнувших живых организмов…

По мере того как Лисса перечисляла свои возможности, глаза Крикуля округлялись от удивления.

— Я могу,— продолжала Лисса,— взяв сегмент днк человека, пересадить его в клетку, ну, допустим, кукурузы. Слившиеся протопласты дадут гибридные клетки, способные к размножению…

— Ну ты даёшь! И зачем тебе эта фигня?— с недоумением в голосе перебил её Крикуль.

— Это не фигня, как ты изволил выразиться. Это— наука!

— Так, понятно,— сказал недовольный услышанным Крикуль.— Значит, этот Крикуль Второй— твоих рук дело?

— Какой это второй?

— Не притворяйся!

— О чём ты?

— Я вчера в своей комнате встретил самого себя. Очумел прямо!

Лисса ухмыльнулась.

— Ну, это запросто мог быть и просто фантом! Папа мог подшутить над тобой! Он весёлый!

— Да уж, веселей некуда! Просто фантом! Хороши шуточки! Слушай, а ты вообще в курсе, что *здесь* у *вас* происходит?

— А что такого особенного *здесь* у *нас* происходит? А?!

Внезапно, словно из воздуха, появился Король Страх.

Крикуль осёкся и, сделав заговорщицки-выразительные глаза, как можно тише шепнул Лиссе:

— Потом поговорим!

Лисса повернулась на каблуках в сторону Страха и невозмутимо выпалила:

— Папочка, над его эвристическим мышлением стоит поработать!

Король Страх, откровенно говоря, в битве за Крикуля возлагал на Лиссу большие надежды. Она была единственной из всех детей, кто относился к Страху с любовью, даже больше того— восторженным обожанием и искренней благодарностью. Лисса была предана ему до конца. И было за что!

У неё единственной из всех детей, воспитываемых Страхом, не было монстрообразной Няньки, какими кишмя кишел весь Замок. Вернее, нянька у неё была, но это была обычно-необычная корова. Обычная, потому что на вид она и была просто коровой. А необычность её заключалась в её сверхсообразительности и деликатности. Когда Лисса была маленькой, корова-нянька аккуратно вставала над пищащим от голода младенцем таким образом, чтобы Лисса могла дотянуться до соска и вволю наесться молока.

Король Страх поначалу регулярно лично захаживал в помещение, где жила Лисса, и, едва завидев её голодное пробуждение, командовал: «Молока!»

После этого корова осторожно кормила Лиссу. И неудивительно, что первым словом, которое произнесла малышка, было слово «Макка»! Молока, значит! Со временем Лисса так и стала называть свою кормилицу— Макка. Корова Макка ухаживала за девочкой не хуже самой заботливой

нянюшки. Лисса не представляла жизни без неё, и Макка до сих пор была её верной спутницей.

Коллекционировавший гениев с целью своего мирового господства Король Страх знал: уникальная девочка Лисса была прирождённым Гениальным Учёным. Для занятий наукой она имела всё, о чём можно было только мечтать: оснащённую самыми лучшими приборами лабораторию, любые материалы для проведения исследований, единственные экземпляры бесценных манускриптов — книг древних авторов, содержащих уникальные тексты великих мыслителей прошлого. Лисса самозабвенно занималась любимым делом и в свои двенадцать лет уже достигла невероятных высот в познании возможностей живых организмов. Да и сама она чувствовала себя неким божеством, способным даровать жизнь — это было в её власти!

Но только до тех пор, пока она находится здесь! — эту мысль Король Страх внушал ей почти ежедневно. Король рассказал ей, когда она немного подросла, что она — сирота, покинутая родными на произвол судьбы, что он — её благодетель. А внешний мир, мир людей, её породивший, — враждебен, корыстен и беспощаден. Что место в этом мире, уготованное ей судьбой, — нищенское существование плебея.

Страх внешнего мира, поселившийся в сердце Лиссы, был гарантией её безоговорочного и преданного служения своему спасителю — Королю Страху. Получалось так: чего боишься, тому и служишь! Но Лисса не чувствовала себя заложницей; напротив, она видела перед собой заботливого отца-наставника, выполняющего все её прихоти. И неважно, что они удивительным образом совпадали с желаниями самого покровителя.

— Лисса, детка! Можно тебя на минутку? — Король Страх отвёл Лиссу в сторону. — Хочу предупредить тебя: Крикуль — парень хороший! Я люблю его, как и всех моих воспитанников, но в последнее время у него появилось некоторое расстройство рассудка — перенапрягся, видимо, выполняя своё великое Предназначение. Сама понимаешь, собиратель слёз регулярно имеет дело с орущими от боли и ужаса детьми.

— Я понимаю, папа! Какой же ты заботливый у меня! Не всем детям так везёт, как повезло нам, очутившимся под твоим надёжным кровом! Вот было бы здорово, если бы дети всего мира никогда бы не плакали и были счастливы и защищены, как мы!!! Ты бы мог это устроить?!

— Я как раз работаю над этой глобальной проблемой, золотко моё!

Лисса радостно улыбнулась и снова крепко обняла отца:

— Спасибо!

Король Страх, осторожно отодвинув её от себя, негромко попросил:

— А ты займись Крикулем. Меня тревожит его здоровье. Может, дашь ему что-нибудь успокоительное?

— Хорошо, не волнуйся, обязательно! С ним будет всё отлично!

Крикуль всё прекрасно слышал. Всё до последнего слова. Видимо, папаша забыл о его уникальном слухе, который способен улавливать звуки, абсолютно невосприимчивые обычным человеческим ухом. Вот в соседней комнате улитка ползёт по мраморной поверхности фонтана. Почему фонтана?! Ниспадающая с высоты водная струя выдаёт его присутствие. И даже шум фонтана не способен заглушить для Крикуля шум трения, производимого движением улитки. «Вот так!» — с удовольствием констатировал Крикуль. Но вдруг… Стоп! Мысль о собственной исключительности внезапно и бесцеремонно была прервана другой: «А почему ты со своим исключительным слухом не слышал светопреставления, которое творилось в замке прошлой ночью?! Лисса сказала, что всё тут тряслось, как в центрифуге… почему ты так крепко спал?» Крикуль прокрутил плёнку памяти назад и остановился на моменте, когда перед сном он проглотил марципан. И понял, что сердечки «заряжены». Не мог он спать как убитый и не слышать погрома, который учинили разбушевавшиеся Ветры-хулиганы.

Коварный Страх подменил утоляющие голод конфеты феи Февралины, подсунул ему сильнейшее снотворное, способное полностью отключать сознание! А может, и делать его при этом управляемым?

Крикуль решил больше ни при каких обстоятельствах не есть этих конфет и при первой возможности избавиться от них.

Король Страх не выпускал ребят из виду, находясь всё время неподалёку.

— А хочешь, мой мальчик, я открою тебе страшную тайну? И тем самым выражу тебе своё бесконечное доверие!

— Какую тайну?! — настороженно спросил Крикуль.

Король Страх величественно приосанился и торжественно произнёс:

— Знаешь ли ты?! Ну конечно, пока не знаешь! А если не знаешь, так узнай, что в руках вот этой маленькой девочки, — он картинно выдвинул кисть в сторону Лиссы, — находится не только моя жизнь, но и моё *бессмертие!*

— Вот так так! — опешил Крикуль. — И как же это возможно?

— Очень просто! — тихо произнесла Лисса. — Бессмертия личности можно достичь путём поэлементной, поклеточной замены её изношенных мозговых структур на новые. Только что выращенные путём клонирования.

— Хочешь, — спросил Король Страх, — Лисса и тебя сделает бессмертным?

— Не хочу! — не раздумывая, ответил Крикуль.

<…>

Укрощение Шальных Ветров

Глава восьмая, в которой ночные хулиганы были примерно наказаны.

Накануне событий, описанных выше, ровно за двадцать четыре часа до того, как Крикуль познакомился с Лиссой, Страх Высоты вызвался вышвырнуть из замка зарвавшихся «гостей».

В его ведении были три Шальных Ветра, которых он иногда спускал с цепей, чтобы те порезвились, а заодно проветрили затхлые коридоры погруженного в вечную мглу мрачного Замка. Такие вылазки необузданных свирепых Ветров напоминали дикие погромы, когда они, резвясь, неумолимо сметали и безжалостно уничтожали на своём пути любое попавшееся им существо.

Любовь, Капуцин, Птеранодон и Кокои находились в двух шагах от секретарской Короля Страха и даже чуть было не столкнулись с Оксами, отправившимися за великаном Глазом, когда, внимательно прислушавшись к отдалённому гулу, Любовь произнесла:

— Тише, друзья! Вы слышите?

Её спутники смолкли и все обратились в слух.

— Лично я ничего не слышу, кроме щелчков. По пишущей машинке кто-то лупасит,— откликнулся Капуцин.

Птеранодон спросил:

— А что, что надо слышать?

Кокои пожал плечами в знак того, что тоже не слышит ничего особенного.

Буквально через несколько секунд после этого затряслись стены, и для всех стал очевиден стремительно приближающийся, нарастающий *гул* неизвестного происхождения. Тут уж друзья, не сговариваясь, хором ответили:

— Слышим.

Действовать нужно было молниеносно и решительно.

Любовь крикнула:

— За мной!— после чего скрылась за выступом тёмной ниши.

Друзья последовали её примеру.

В то же самое мгновение мимо спасительной ниши с головокружительной скоростью, с завыванием и улюлюканьем пронеслись ночные хулиганы — Шальные Ветры.

Если бы не Любовь, то наших героев ждала бы та же участь, что и зверушек Лиссы, очутившихся без присмотра в коридорах Замка. Если бы не Любовь!

Ниша, в которой очутились друзья, оказалась дымоходом. Любовь, подхватив Кокои на руки, приказала Капуцину и Птеранодону как можно ближе прижаться к ней.

— Наверх!— скомандовала она.

Невидимые силы, к которым она обращалась, окутали Любовь и искавших возле неё спасения спутников розовым сетчатым газом. Шарообразная капсула рванула ввысь, и они очутились на крыше.

Но даже теперь, находясь в относительной безопасности, они чувствовали, что Замок ходит ходуном.

— Ничего себе шуточки! Я думал, нам конец!— выдавил из себя не на шутку перепуганный Капуцин.

— А я вообще ни о чём не успел подумать! Что это было?— спросил наполовину контуженый Птеранодон, подпрыгивающий на одной ноге, словно хотел вытряхнуть из уха попавшую в него воду.

— Что ты скачешь, будто из бассейна вылез?— раздражился нелепым поведением Птеранодона Капуцин.

— Ох,— взмолился Птеранодон,— я оглох.

— Сейчас пройдёт, дорогой!— сказала Любовь и ласково погладила по голове бесстрашного доисторического ящера.

— Хорошо бы,— взмолился Птеранодон,— ничего не слышу.

Капуцин поморщился, будто видел перед собой завзятого симулянта.

Воздух снаружи был освежающе бодрящим. Небеса освещались неисчислимым количеством звёзд. Любовь вскинула голову и залюбовалась картиной звёздного неба. Особенно прекрасны были созвездия. Небо напоминало расшитый самоцветами бархатный купол шатра.

— Волшебно!— выдохнула Любовь.

Капуцин и Птеранодон тоже запрокинули головы и тут же забыли о зыбкости своего положения и двигающейся под ногами крыше.

Кокои высунулся из недр кармана на платье Любви. Всё это время он чувствовал себя вполне защищённым. Теперь он щурился по сторонам, пытаясь понять, что с ними происходит.

— Точно! Красотищщщщааа!— восторженно произнёс Птеранодон.

— Смотрите! Смотрите! Что это?— закричал Капуцин и указал на Луну, которая походила на просвечивающую насквозь тарелку из тончайшего китайского фарфора.

От лунной поверхности до того самого места, где они находились, протянулся яркий луч. Его конец обвился несколько раз вокруг трубы, из которой они только что вылетели. А затем друзья увидели, как по лучу быстро, словно канатоходец в цирке, стало что-то спускаться.

Очень скоро это «что-то» уже можно было хорошенько рассмотреть. Это был спортивного вида мальчик в облегающем тело костюме стального цвета. Когда его полёт закончился, он легко спрыгнул на крышу, очутившись рядом с потрясённой увиденным компанией. Луч исчез тотчас же, как только мальчик сдёрнул с головы капюшон.

Парнишке было на вид лет десять. Вьющиеся волосы рассыпались пышной волной вокруг лица, светящегося от радости, будто он встретил давних знакомых.

— Привет!— добродушно выкрикнул свалившийся с Луны. И вскинул кверху руку.

— Привет, Лунатик! Лихо это у тебя получилось,— выдавил из себя Капуцин, всё ещё находившийся под магнетизмом этого невероятного шоу.

— Да-а-а!— проговорил Птеранодон.— Как в сказке побывал!

Одна только Любовь спокойно подошла к мальчику и протянула руку:

— Я — Любовь! А тебя как зовут?

— ПутАстр, воспитанник Короля Страха,— ответил мальчик.

— Понятно!

— А мне ничего не понятно,— сказал Капуцин,— хоть я и не Птеранодон.

— А вы кто такие?— не переставая приветливо улыбаться, спросил ПутАстр.

— Друзья,— ответила Любовь.

— Чьи?— уточнил он.

— Твои!

Капуцин тоже подошёл вплотную к мальчику.

— Странное имя — ПутАстр. А я бы назвал тебя Лунатиком. Не находишь, оно тебе больше подходит?

ПутАстр засмеялся.

— Наверное, если бы я только на Луну и летал, то был бы Лунатиком. А так как я — Астральный Путешественник, или можно наоборот — Путешественник Астральный, то и имя я получил ПутАстр. Хотя, не скрою, на Луне я бываю гораздо чаще, чем на других планетах и звёздах.

— А-а-а, ну так теперь всё ясно! — сказал Капуцин и в нескольких фразах, с присущими журналисту образностью и лаконизмом, рассказал о том, кто они такие и с какой целью явились в Замок Короля Страха.

Выслушав их историю, ПутАстр восторженно воскликнул:

— Я так счастлив, что мы встретились! Поверьте, у меня есть на это особые причины! Судьба, благодарю тебя!

— Да не судьбу надо благодарить, а неведомую силу, которая нас из Замка на крышу выдавила. Иначе действительно, может, и не встретились бы, — уточнил Капуцин.

— Что за неведомая сила? — переспросил ПутАстр.

И тут заговорила Любовь:

— Я думаю, это были Шальные Ветры.

Улыбка исчезла с лица ПутАстра.

— Цепные псы Страха Высоты! Давно хотел с ними разобраться.

— Ты? — удивился Птеранодон.

— Так ты крутой парень, ПутАстр, — восхищённо воскликнул Капуцин. — Даже Любовь, которая много чего может, и то решила с ними не связываться.

ПутАстр ничего не успел ответить, как крыша затряслась с новой силой.

В момент затишья, пока ПутАстр спускался с Луны и знакомился с Любовью и её спутниками, Шальные Ветры докладывали Страху Высоты.

— Никакой вашей дамы с обезьяной и уткой мы не видели, — прогудел один из них.

— А вы весь замок прошерстили? — засомневался Страх Высоты.

— Весь! — пробасили Ветры хором.

— Сквознячком проехались!

— Все закоулки, все выступчики обшарили.

— Только на этаже у Лиссы стадо её немного примяли, — уточнил один из Шальных.

— Странно! — задумался Страх Высоты. — Уж не на крыше ли они спрятались? Летите туда и смахните в океан, чтобы духу их здесь больше не было.

— Слушаемся! — загудели Ветры и, взвыв с новой силой, метнулись на крышу Замка.

Им пришлось протискиваться сквозь узкий для них дымоход по одному. И так же, по одному, они были пойманы ПутАстром с помощью весьма необычного приспособления.

Как только крыша затряслась со страшной силой, а ПутАстр и его новые знакомые услышали гудение в трубе, Астральный Путешественник достал из своего заплечного рюкзака какой-то странного вида старый мешок.

ПутАстр для начала встряхнул его. Облако пыли накрыло не только Лунатика, но и остальных участников событий. А когда оно рассеялось, Любовь и её чихающие, отряхивающиеся от пыли друзья увидели, что мешок, словно чулок, натянут прямо на трубу.

— Ну и пылища! — возмутился Птеранодон и громко чихнул. — Апчхи! Ты что там хранил? Апчхи!

— Пыльную бурю! — ответил ПутАстр. — Этот мешок — отличный ловец!

— И что? — с сомнением спросил Капуцин. — Эта ловушка сработает?

Не успел ПутАстр сказать: «Сейчас увидишь!» — как в силок влетел, растянув его до небес, Первый Шальной Ветер, за ним — Второй и Третий. Мешок, заполненный вертлявой, злящейся, барахтающейся добычей, растягивался в разные стороны и приобретал при этом весьма причудливые формы. Шальные Ветры неистовствовали. ПутАстр натянул на голову капюшон, и как по мановению волшебной палочки возник тот самый Луч, который соединил трубу с Луной. ПутАстр улучил момент, когда Ветры в попытке вырваться наружу натянули мешок максимально вверх, и концом луча завязал мешок, словно воздушный шарик, перетянув его у основания. В следующий миг он стянул с трубы край мешка и выпустил лунный луч из рук.

Мешок, наполненный Шальными Ветрами, взмыл к небесам. Через какое-то время он и вправду стал похож на обыкновенный воздушный шар, мирно отправленный путешествовать по просторам Вселенной.

— Верикорепное зрерище! — проговорил Кокои, которого давно не было слышно.

— Лихо! Лихо! — зааплодировал Капуцин.

И все остальные присоединились к его рукоплесканиям.

— Ну и АстраПустер! — выразил своё восхищение незадачливый Птеранодон.

Все весело захохотали, и Астральный Путешественник в том числе. Капуцин даже пополам сложился во время приступа безудержного смеха.

— Ну, братец! Ты даёшь! — еле выдавил он в момент маленькой передышки. — АстраПустер, да?! Ах-ах-ха-ха-ха!!!!

Птеранодон только сейчас понял, что смеются над ним.

— А что, я что-то не так сказал?

Этой невинной репликой он вызвал новую волну веселья.

— Да ладно вам! — отмахнулся крылом осмеянный простак и побрёл поближе к трубе, через которую они попали на крышу.

Вдруг он сделал резкий скачок в сторону.

Все перевели взгляд на трубу, за край которой зацепились — сначала одна, а затем другая — костлявые руки неизвестного.

Потом этот неизвестный, покряхтывая, подтянулся, и из жерла трубы высунулась перепачканная сажей голова какого-то старика. С кислым, перепуганным выражением лица он осторожно спросил:

— А где мои пёсики?

— А-а-а-а-а-а! Страх Высоты! Милости просим! — проговорил ПутАстр, стремительно подходя к трубе.
— Нет, я лучше пойду обратно, — закряхтел старик.
— Ну зачем же обратно? В кои-то веки ты забрался на такую верхотуру — прямо герой! Иди к нам, поболтаем, — ПутАстр схватил Страха Высоты за шкирку и вытащил сопротивлявшегося хозяина Шальных Ветров наружу.
— Знакомьтесь, ребята, это мой непримиримый… друг — Страх Высоты! Непревзойдённый верхолаз, он давно мечтал прогуляться по Лунной Дорожке.
— Не болтай глупостей! — зло озираясь, процедил сквозь зубы Страх Высоты. — Ни о чём таком я не мечтал. Я вообще не могу так долго стоять на сквозняке, меня продует!
— А когда ты своих псов на нас натравливал, сквозняка не боялся? — спросил Капуцин, пристально разглядывая Страха Высоты. — Не хочешь по крыше прокатиться, раз уж тут оказался?
— Нет! Не хочу! Я вообще высоты боюсь!
— А искупаться хочешь? — спросил Капуцин, подойдя к краю крыши.

Оттуда было видно, как волны Океана пытаются штурмом взять стены Замка. Неистово наскакивая грудью на каменные глыбы, Водяные Великаны ударяются с размаху о неприступную преграду и, вдребезги разбиваясь, вздымают фонтаны брызг, а затем, обессилевшие, беспомощно стекают вниз, возвращаясь в родную стихию, где, собравшись с силами, вновь поднимаются на покорение крепости.

Несмотря на яростное сопротивление, угрозы, перешедшие в плаксивые уговоры и попытки оправдаться, Страх Высоты всё же был отправлен ПутАстром прогуляться по Лунной дорожке. Вернуться назад, судя по всему, ему предстояло не скоро.

Довольные тем, что очередной Страх был обезврежен, друзья решили немедленно продолжить свои опасные приключения. Тем более что в лице ПутАстра у них появился не только единомышленник, но и прекрасный проводник по Замку Короля Страха.
— А почему ты так нам обрадовался? — спросил Капуцин. — Сам хотел слинять отсюда?
— Хотел! Даже очень! Но вы так просто не поймёте, придётся кое-что объяснить.
— Ну давай!
— Я — Астральный Путешественник. Знаете, что это такое?
— Астральный — значит, звёздный! — продемонстрировал свою эрудицию Капуцин. — А путешественник — и так понятно.

Все остальные внимательно слушали.

ПутАстр продолжал:
— Я не просто путешествую от звезды к звезде, от планеты к планете ради своего удовольствия. Хотя само перемещение не доставляет мне особого труда. Главное моё предназначение — это оформление документов на приобретение Королём Страхом космических тел Солнечной системы. Вы, конечно, не знаете, что он скупил уже почти все звёзды и планеты.
— А Землю? — не сговариваясь, спросили Капуцин и Птеранодон.
— За Землю он борется, так же как и за её спутницу — Луну. Но с Луной, власть над которой он бы с удовольствием заграбастал, у него ничего не получится, это почти безнадёжно. Дело в том, что её полностью контролирует *Сила двенадцати*. Вы догадались, что это за сила?
— Конечно! — ответила Любовь. — *Сила двенадцати* — священный союз фей Острова Детства. Двенадцать фей — покровительницы детей Земли.
— Я горьзусь, сто зыву на Остреве Детисьтва! — пролепетал Кокои.
— Вот это да! А я и не знал, — присвистнул Птеранодон.
— А я думал раньше, что знаю больше, — вздохнул Капуцин.
— Не понял! Так ты знал об этом или нет? — спросил Птеранодон.
— Нет! — огрызнулся Капуцин. — Но это неважно, продолжай, Лунатик!
— Кстати, о Луне! Вы должны узнать тайну этой планеты! Тогда вы поймёте, что ваша экспедиция намного важней, чем вам кажется.

Капуцин встрепенулся:
— Тайна! Настоящая, стопроцентная тайна?! Ради неё журналист готов хоть в огонь, хоть в воду… хоть на Луну лететь!
— Эту секретную информацию на Земле знают всего три существа.
— Кроме фей! — уточнила Любовь.
— Ну да, конечно! Феи, естественно, в курсе! Об этом знают только — Любовь, я и Король Страх, — ПутАстр сделал загадочное лицо. — Так вот, знайте же и вы: Луна — это не просто спутница Земли. Луна — это Планета Гениев! Ещё древние называли гением душу человека. Так вот — именно на Луне находятся духовные сущности пока ещё не рождённых на Земле Людей.
— Что?????
— Да! Луну населяют живые Духовные Сущности Будущих Людей, или их *гении*.

Все разом повернули головы в сторону Луны.
— Посмотрите внимательно, — продолжил ПутАстр. — Сейчас хорошо виден символ этой Планеты — гигантский человеческий зародыш-эмбрион. Во-о-он он, свернулся калачиком. Словно в животе у матери лежит. Видите?
— Вижу!
— Потрясающе!
— Он борьсой!
— Гении сами выбирают себе родителей, время и место рождения. Время рождения — это очень важно, поверьте — знаю, что говорю.
— А поподробнее? — попросил Капуцин.
— Обязательно расскажу, только в другой раз. Времени у нас в обрез, надо действовать, поэтому пока расскажу только вкратце.
— Хорошо, давай дальше.
— Гении — Сущности Будущих Людей — всё знают о своём будущем. И будучи на Луне почти бестелесными — имея только контуры, сами придумывают и рисуют свой будущий человеческий портрет. Это

очень интересно. А уроки рисования им преподаёт маэстро Ниль Адмирари.
— Наш Ниль Адмирари? Хранитель Мудрости Острова Детства?! *Тот самый?!*
— Ну да!
— Так вот почему он ходит, как звездочёт, в плаще со звёздами!
— Он тоже Астральный Путешественник!

Друзья говорили наперебой.

— Действительно, чтобы больше узнать о своём доме, нужно его покинуть, — подытожил журналист.
— Но и это ещё не всё! Отец, то есть Король Страх, в последнее время задумал наладить поставку гениев, подходящих ему своими способностями, непосредственно с Луны прямо сюда, в Замок, минуя Землю. Чтобы эти дети прямо здесь и рождались. Чтобы потом они не стремились, как Крикуль, вернуться домой, к своей маме. Так ведь Страху было бы проще. И он хочет, чтобы я ему в этом помогал.
— Вот это да-а-а!!! — Капуцин посмотрел на Любовь. — Хороши дела!
— А помните, — продолжил ПутАстр, — я говорил, что на Луне бываю чаще, чем в других местах Солнечной системы?
— Помним-помним! — ответил Капуцин. — Я даже видел, как за тобой закрывали дверцу.
— Да, так вот это всё из-за того, что на Луне живёт Гений одной милой девочки… очень хорошей девочки, — ПутАстр опустил глаза и слегка смутился, — ну, в общем, она должна скоро родиться, её время скоро наступит, и я тоже хочу быть рядом с ней. На Земле. Мы созданы друг для друга! Мы любим! Любовь, ты ведь знаешь?!
— Разумеется! Было бы прекрасно, если бы вы вместе прошли свой земной путь. Вы были бы счастливы!
— Конечно! А пока я живу в Замке Короля Страха — это же невозможно! Ну, теперь вы понимаете, почему я так обрадовался вашей миссии и почему я готов всячески вам помогать?!
— А когда она должна родиться? — спросил любознательный Капуцин.
— Скоро.
— Как скоро? В каком месяце?
— Не знаю. Она просто сказала: *скоро!* Может быть, на днях. А сейчас какой месяц?
— Январь! Первый месяц Нового Года, — ответила Любовь. — А сам-то ты в каком месяце родился?
— Не знаю. Нам об этом не говорили. Тема летоисчисления вообще тщательно скрывается. Мне кажется, что об этом не знает никто из воспитанников Короля Страха. Ни у кого из нас нет календаря.
— Тщательно скрывается?! Любовь, что скажешь?
— Для меня это тоже загадка. Мой сын вообще большой любитель головоломок… обожает составлять ребусы и шарады…
— Ну, значит, это ещё одна тайна, которую нам нужно разгадать? Слушайте! А не та ли это самая тайна, что хранится в сейфе секретаря Короля Страха?
— Вполне возможно, — откликнулась Любовь. — В личных делах детей должны быть даты их рождения! Не случайно же это скрывается!
— Нужно немедленно лететь в секретарскую! — заторопился Капуцин.
— Нет, — сказала Любовь. — Для начала нам нужно убедиться, что Крикуль не передумал возвращаться. Если это не так, нам не справиться с остальными Страхами, которые не позволят захватить секретаря. Нужно срочно воссоединиться с Крикулем! ПутАстр, ты сможешь проводить нас к нему в лабораторию?
— Легко! — ответил Астральный Путешественник. — Это намного легче, чем укротить Шальные Ветры.

Бои без правил

Глава девятая, в которой Король Страх исполняет самое заветное желание Крикуля, а его друзья вызывают Страхи на поединок.

<…> Король Страх увлёк за собой собирателя слёз, и они оказались перед зеркальным лифтом. Но прежде чем в него войти, Король Страх сказал с грустью в голосе:
— Наверное, тебе это будет неприятно услышать, но у меня от тебя нет секретов, и лучше, чтоб ты об этом узнал сразу. Рот меня вызывал, чтобы сообщить о том, что начальник моей охраны арестован за превышение мер безопасности: он принял мою мать — Любовь — и её спутников, твоих бывших друзей, за нарушителей нашей границы и…
— Что? С ними что-то случилось?
— Ну — в общем, их больше нет.

Крикуль остолбенел. Ему было трудно дышать. В глазах потемнело.

На лице Короля Страха читались скорбь и сочувствие.

— Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь! — сказал Страх. — Пойми и ты меня. Всё-таки я потерял *мать!*

Крикулю очень хотелось заплакать, но что-то мешало слезам вырваться наружу. Однажды он уже пережил потерю друзей, но это было на Острове Детства, где царит добро, и надежды на спасение тогда оправдались. А здесь?! Нет, ему нужно было вернуться сюда одному… и никого не брать с собой. Но теперь думать об этом было поздно, слишком поздно!!!

Крикуль впервые видел Короля Страха в таком состоянии. Обе руки были безвольно опущены вдоль тела. Король ссутулился и, казалось, постарел на сто лет.

— Как же это тяжело — остаться без матери, Крикуль! Я только теперь понимаю тебя! Это ужасно! — еле слышно проговорил Король Страх. — И знаешь, я принял непростое для себя решение. Я отпускаю тебя. Прямо сейчас.
— Куда? — не поверил своим ушам Крикуль.
— Как куда? К твоей маме. Пока она жива и ждёт тебя.
— Это правда?

Крикуль не мог прийти в себя от изумления и внезапности решения его похитителя. Одна за другой — невероятные новости не укладывались в голове.

— Конечно, мой мальчик! Отправляйся! Прямо сейчас, пока я не передумал. Ты видишь, я не ставлю тебе никаких условий, ничего от тебя не требую, как некоторые. А просто беру и исполняю твоё самое заветное желание. Так кто после этого, по-твоему, к тебе лучше относится — я или феи Острова Детства?! Впрочем, можешь не отвечать, это и так ясно!

Король Страх взял Крикуля за руку и ввёл в зеркальный лифт.

— Что ты видишь? — спросил Страх.

— Зеркала, — ответил Крикуль, нисколько не сомневаясь, что перед ним зеркальные поверхности. — Только я почему-то в них не отражаюсь, и ты тоже.

— Странно, да? — спросил Король.

— Да!

— Просто зеркала эти необычные. Мы находимся с тобой в лифте материализации мыслеобразов. Ты представляешь себе место для перемещения. Произносишь адрес — и смело шагаешь по выбранному пути.

Король Страх не дал Крикулю дух перевести.

— Прощаться не будем. Долгие проводы — лишние слёзы. Там, на месте, сам разберёшься. Юго-Восточная Англия. Деревня Плакли, — произнёс Король Страх и после небольшой паузы завершил: — Она у тебя за спиной. Прощай, Крикуль!

Крикуль развернулся на сто восемьдесят градусов и увидел прямо перед собой опушку леса, рядом с которой находился дом Найджела и Эммы Эмерсонов.

Крикуль узнал это место: однажды во сне, который показал ему Повелитель Ночных Сновидений, он уже ходил по этой тропинке.

Волнение переполняло Крикуля. Всё произошло так стремительно. Неужели же всё позади? Он не успел попрощаться с Лиссой, хотя назначил ей свидание… — мелькнуло в голове. Потом вспомнил Тридэ и его пылкую речь в защиту Страха. «Может быть, все остальные воспитанники не так уж и хотят возвращаться к родным? И им хорошо там, где созданы все условия для реализации их Талантов? Но только не мне… я не знал, что Страх может так легко отпустить меня! Так просто… и вот я здесь…»

Крикуль медленно пошёл к дому, так ни разу и не обернувшись назад.

Страх неслышно следовал за ним.

Крикуль остановился, чтобы придумать, что же он всё-таки скажет, когда увидит маму… но не успел. Он увидел её.

Мама вышла из дома и решительным шагом направилась к конюшне.

У неё было строгое выражение лица, а в руке она держала хворостину. Крикуля она не заметила, хоть он и стоял в нескольких шагах.

— Георг! — крикнула она. — Немедленно иди сюда, негодный мальчишка!

Крикуль не верил своим глазам и ушам. Идиллическая картинка их встречи, которую так часто он представлял себе, была испорчена.

Не успела Эмма войти в конюшню, как оттуда послышалась её перепалка с каким-то мальчиком вперемешку со свистом хворостины и истошными воплями наказываемого.

— Мамочка, не надо! Мамочка, я больше не буду!

— Я тебя сколько раз просила, — неумолимо выговаривала Эмма, — не лазить без разрешения в шкаф с едой?! Кто пытался его открыть гвоздём и сломал замок?

— Ой! Я больше не буду!

— Вот тебе, — прикладывала горячих Эмма, — запомнишь ты у меня! А кто бычков привязал хвостами друг к другу?

— Ой! Ёй! Ёй!! Ёй! — раздавалось по всей округе.

Затем не на шутку разбушевавшаяся мать вытащила ревущего мальчишку наружу и силком потащила в дом, держа за ухо.

— Что за несносный изверг! То одно, то другое! Никакого с ним сладу нет! Вот уж правду в народе говорят: подменили колыбельки ведьмы лесные. Моего украли, ведьмёныша оставили!

В этом зарёванном, несчастном мальчугане Крикуль вдруг узнал себя! Он был точь-в-точь — Крикуль.

— Это что же, мой брат? — еле слышно проговорил Крикуль.

— Нет, это ты! — бесстрастно проговорил Король Страх, стоявший за его спиной.

Крикуль даже не удивился его присутствию.

— Как я? — недоумевая, переспросил Крикуль.

— Ты же видишь, — сказал Страх, — Эмме тебя давно вернули. Ты же слышал?! Только очень уж она тобой недовольна.

— Как это вернули?

— Слышал, что она сказала? Тебя забрали, а ведьминого сына подложили. Мама твоя поначалу подмены не заметила. Только теперь удивляется: кого это она на свет родила? А ты пойди и скажи: мама, я вернулся! Как, думаешь, поверит она тебе?

— Ну. Нет! Не знаю… — засомневался Крикуль.

— Вот и я не знаю, — сказал Страх.

— Но мы же с её, этим… сыном так похожи друг на друга!

— Да мало ли кто на кого похож? Она же к нему всё равно уже за столько лет привыкла… какой бы ни был сорванец, всё ж свой. Не поверит она тебе. Не изменить уже ничего. Не доказать. Ты же видишь: не ждёт тебя никто! Ну, что решаешь? Остаёшься или со мной возвращаешься? Пойми, чудак, Замок Короля Страха — это единственное место, где в тебе нуждаются.

Крикуль был сражён наповал. Огромная чёрная дыра зияла внутри него, и это было единственное, что он сейчас ощущал.

Крикуль молча развернулся и, понурив голову, побрёл обратно.

Незаметно для себя он сначала снова очутился в лифте. Зазеркалье осталось позади.

Перед входом в лабораторию, где на двери красовалась табличка с надписью «Собиратель слёз», Король Страх спросил:

— Ну что, Крикуль? Ты остаёшься со мной?

— Я подумаю, — ответил Крикуль, глядя в пол.

— Только недолго. Иди отдохни! А завтра ты должен будешь дать мне окончательный ответ! — твёрдо произнёс Король Страх.

— Хорошо,— покорно произнёс сломленный Крикуль.— До завтра.

Но даже Король Страх не мог знать, что одного «завтра» на двоих у них уже не наступит никогда.

Крикуль не знал, что от его решения зависит исход борьбы между Страхом и феями Острова Детства.

Он знал только то, что снова остался без друзей и что дорога назад бессмысленна. Его нигде не ждут. И у него нет выбора. Собирать слёзы — Великое Предназначение! Но это не его выбор. Это то, что ему настойчиво навязывают, внушают. Сердце — его главный барометр — указывало: он создан для другого. И потом, Крикуль хорошо помнил, что ещё на Острове Детства дал себе *слово* никогда больше, ни при каких обстоятельствах не заниматься сбором слёз. А если он нарушит своё слово, то перестанет себя уважать. А если не уважать самого себя, то для чего *жить?* Крикуль утвердился в намерении ответить Страху твёрдым «*Нет»!* Решение его было окончательным. И пусть будет что будет. Возможно — конец!

Лаборатория была бы погружена во мрак ночи, если бы не лунный небесный фонарь.

Это Солнце на обратной стороне Земли отражается в водах Океана, словно в зеркале, и освещает лунную поверхность.

Крикуль подошёл к прозрачной стене: кругом простиралась водная гладь.

«Искупаться бы сейчас,— подумал Крикуль.— Но это невозможно. Пойду хотя бы душ приму». Крикуль представил, какое блаженство подарят ему живительные струи.

Находясь под ниспадающим потоком прохладной воды, Крикуль услышал в своей комнате какую-то возню. Его никак не хотят оставить в покое. Что там ещё такое?

А может быть, это Лисса? Она же обещала прийти ночью. Будет хоть с кем поделиться переживаниями. Может, что-нибудь толковое посоветует. Крикуль наспех утёрся, оделся и вышел.

То, что он увидел, не могло оказаться правдой…

Не может быть!!! Он не верил своим глазам и даже потёр их кулаками.

Перед ним была не Лисса.

Комната была заполнена, как казалось ему, «потерянными навсегда» *друзьями*.

Любовь с Кокои на руках, Капуцин с Птеранодоном и ещё какой-то впервые виденный Крикулем парень стали наперебой обнимать и целовать его.

Не было слов!

— Так вы не погибли?! — просиял Крикуль.

— Как бы не так!

— Страх сказал, что его главный охранник вас ликвидировал.

— Ха, ещё чего! Его главный охранник Глаз, наоборот, нам очень помог!

— А это… вот, знакомься: ПутАстр — тоже юный гений! — отрекомендовал Капуцин.

— Астральный Путешественник,— протянул руку Крикулю его новый друг.— Можно просто — ПутАстр.

— Привет!

— Крикуль, ну ты на нас не обижайся, что там, ну, с самого начала, так произошло.

— Это зе бира маренькая восьтоцная хитрость! — произнёс Кокои.

— Ты сам, Кокои, у нас — маленькая восточная хитрость!

— Главное — мы снова вместе! А я уже думал, всё пропало! Я тут такое видел… Я же побывал не поверите где!

И Крикуль рассказал обо всех своих приключениях.

— Представляете, оказывается, моя мама давно уже нашла меня. Ну, то есть, понимаете, она не заметила подмены… — пытался завершить свой рассказ Крикуль, когда услышал донёсшиеся из глубины комнаты слова:

— Отец просто морочил тебя!

Все повернулись на голос и увидели незаметно вошедшую Лиссу. Она слышала всё, о чём рассказал Крикуль.

— Что значит — морочил? — спросил Крикуль.

— Не было на самом деле никакого твоего перемещения домой. Зеркальные лифты работают только в пределах Замка. Это был твой сон наяву, и сон этот показал тебе Король Страх.

— Сон?! Какой ещё сон?! Это — обман! И голый расчёт! — тяжело задышал Крикуль.— Король решил подкупить меня своими благодеяниями. Как же я мог забыть, с кем имею дело? Чуть не попался на его удочку. Раскис. Вот только сдаваться ему я всё равно не собирался.

— Я это почувствовала,— сказала Любовь.— Это и придаёт мне силы.

— А у меня что-то силы на исходе! — выдохнул Крикуль.

Лисса, улыбнувшись, напомнила:

— Я же дала тебе витамины. Немедленно съешь их, и твои силы удесятерятся!

— А я совсем забыл про них. Ой, и забыл вас познакомить! Ребята, это Лисса! Лисса, это мои друзья.

Крикуль был преисполнен решимости для новой борьбы. Теперь в ней снова был смысл.

Лиссу посвятили во все детали экспедиции. Многое из жизни Замка для неё было новостью, хотя кое о чём она, конечно, догадывалась. Теперь ей предстояло сделать нелёгкий выбор: с кем она?

Крикуль взял Лиссу за руку:

— Ну что, Лисса, ты с нами? Надо что-то решать.

— Да, всё так, Страх использовал нас, но как подумаю, что когда-то он спас меня от неминуемой гибели, найдя в коробке из-под микроволновки…

— Что???!!!! Тебя тоже? — воскликнул Крикуль

— А кого ещё? — спросила удивлённая Лисса.

Все сомнения разрешились сами собой. Теперь в борьбу за возвращение на Остров Детства готова была вступить целая команда единомышленников.

— Конечно, Страхи нас просто так отсюда не выпустят! Теперь главное — держаться всем вместе,— сказал Капуцин.— Жаль, что у нас не осталось больше волшебных предметов.

Птеранодон почесал затылок прутиком, вынув его из своих жиденьких перьев:

— Вот всё, что осталось от миртовой веточки Октябрины. Страх Голода чуть было не сожрал её целиком. Кому нужен теперь этот обглодыш?
— При хорошем воображении, может, ещё и сгодится! — загадочно произнесла Любовь.
— Так где его взять-то, это воображение? У меня с этим туго!
— Тренироваться надо! — подоспел всезнайка Капуцин. — Значит, с волшебными предметами у нас напряжёнка?
— А это?! — Любовь достала из складок своего платья резную шкатулку с изображёнными на ней тремя обезьянами: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу.
— Она же пустая.
— Ну, может, и хорошо, что она пока пустая! Не всегда важно иметь то, что можно положить куда-то, бывает важнее иметь то, куда можно что-то положить, — загадочно сказала Любовь.

Птеранодон снова почесал затылок обглоданной веточкой:
— Нич-чё не понял! Можно ещё раз?
— Да это неважно! Сами всё увидите, мои дорогие! Эта шкатулка давно ждёт, когда её заполнят, — туманно пояснила Любовь.

Все поняли, что Любовь знает секрет шкатулки и обязательно откроет его при случае.

Самым главным сейчас для друзей было разрешить другую загадку.
— Мы с вами знаем, что главная тайна Короля Страха спрятана в сейфе секретаря. Рот, если его хорошенько попросить, может, и расскажет нам про содержимое сейфа. А затем нам, возможно, только и останется что собрать оставшихся пленников и по воображаемому мосту вернуться на Остров Детства. Феи нас уже заждались.
— Любовь! Ты всё так красиво рассказала. Прямо операция под кодовым названием: «Проще простого», — съехидничал разволновавшийся Капуцин.
— А Страхи, а огнедышащая Химера, о которой нам Глаз рассказывал, а Король Страх — они нам не помеха? — поддержал его Птеранодон.
— Есть ещё и Оксы! — сказал Крикуль. — Это только те воины Короля Страха, которых мы знаем.

Тут Лисса привлекла внимание к себе:
— Огнедышащая Химера? Это та самая, что охраняет папиного секретаря?
— Да! Та самая! — ответил Капуцин.
— Я беру её на себя.
— Ого! Ты владеешь каким-то секретным оружием? — не поверил Капуцин.
— Просто Химочка — моё создание! Я иногда забираю её к себе на вакцинацию, предотвращающую процессы гипермутации. Вызову её. Как обычно.
— Здорово! — воскликнул Птеранодон.
— А Король Страх отпустит её к тебе? — не унимался Капуцин.
— Раньше проблем с этим не было. А ещё я могу победить Страх Болезней. У меня для него столько всего приготовлено!
— А я беру на себя Оксы! — сказал Крикуль. — Я уже однажды с ними сражался. Один-ноль в мою пользу.

Крикулю не хотелось выглядеть перед Лиссой пассивным наблюдателем.
— Можешь на меня рассчитывать, — поддержал Крикуля Птеранодон. — Я буду рядом! Авиатор авиатора никогда не подведёт.
— Остаётся самая малость: Страхи во Главе со своим Королём! — сказал Крикуль.
— Ну, во-первых, *Страх Одиночества* нами уже побеждён! — Капуцин стал закладывать пальцы.
— И *Страх Высоты* тоже! — подключился ПутАстр.
— И Страх Города, — напомнил Кокои про *Страх Голода*.
— И *Страх Темноты* тоже того… — не отставал от друзей Птеранодон. — Итого — четырёх уже нет! Осталось… семь.
— Все Страхи я могла бы уничтожить сама! — сказала неустрашимая Любовь. — Теперь, после испытаний, которые Крикуль с честью преодолел, сохранив верность своему слову, благородному сердцу и благим намерениям, справиться со Страхами не составит особого труда. Они ослаблены как никогда, однако у них достаточно сил, чтобы противостоять нам и помешать выполнить поставленную перед нами задачу. Во всяком случае, вы все имеете право внести каждый свою лепту и вызвать их на поединок. Я думаю, у каждого из вас есть шанс на победу.
— А кто из страхов у нас ещё остался? — спросил Капуцин. — Огласите, пожалуйста, весь список!

Любовь стала перечислять:
— Страх Боли, Страх Природных Аномалий, Страх Неизвестности, Страх Скорости.

ПутАстр заметил:
— А где ещё двое?
— *Страхом Насилия* и *Королём Страхов* я займусь сама! — сказала Любовь, и все увидели, как при этом изменился цвет её наряда, а затем и сам наряд. Она превратилась в красавицу-амазонку.

ПутАстр первым нарушил паузу:
— Мне кажется, что со *Страхом Скорости* я вполне бы мог справиться самостоятельно. Можно, я попробую?

Все радостно закивали.

Капуцин заметил при этом:
— Ну, если уж ты преодолеваешь расстояние от Луны до Земли за считанные секунды, то Страх Скорости для тебя уж точно не представляет никакой опасности. Дерзай! А я бы хотел попросить вас, друзья, отдать мне *Страх Неизвестности*. Очень было бы любопытно на него посмотреть: не представляю, как он может выглядеть?! С моим трезвым взглядом на вещи, Страх Неизвестности мне кажется чем-то из области фантазии и иносказаний. Как в сказке: иди Туда — Не Знаю Куда и принеси мне То — Не Знаю Что.

Любовь улыбнулась:
— Ты наверняка сможешь его заговорить. Помни только: чтобы сказать «Я знаю, что ничего не знаю», знать надо очень много!
— Я понял тебя, Любовь! Спасибо! Надеюсь, что с моей эрудицией я не подкачаю.

Тут заговорил Кокои. В последнее время его что-то не было слышно. Но в столь ответственный и опасный момент он не хотел оставаться в стороне.

— Я сразусь со Сатрахом Бори. Бори я никогда не цусьтвую. В бою я сатанавлюсь твёрьзе гаранита. Я — самурай! Борь — это не дря меня.
— Ну хорошо! — просияла Любовь. — Уверена, *Страх Боли* ты легко одолеешь, мой маленький Кокои! Даже не сомневаюсь!

«Бесхозным» оставался только *Страх Природных Аномалий* — жары и холода. «Беспризорника» решили «усыновить» совместными усилиями.

Любовь вновь напомнила, что в борьбе со Страхами сможет помочь любому из воинов Добра. В любой сложной ситуации им нужно будет всего-навсего лишь позвать её по имени. И она без промедлений окажется рядом.

Договорились, что после того как состоятся поединки наших героев со Страхами, все соберутся перед входом в секретарскую.

Только тогда они начнут штурм главной крепости!

Теперь же ПутАстр, который, в отличие от Крикуля, прекрасно ориентировался в Замке Страха, взялся показать каждому из членов экспедиции места обитания Страхов, кроме Лиссы, которая не нуждались в проводнике. Сейчас была ночь, и все Страхи, если речь не шла об экстренном совещании, который мог проводить Король Страх в своём кабинете, находились в собственных апартаментах.

А Король Страх пребывал в приподнятом настроении и полной уверенности, что Крикуль завтра же заявит о своей капитуляции и сдастся на милость победителя. У него не осталось другого выбора — ведь всего, чем он так дорожил, теперь не существует: ни друзей, ни цели, ни мечты.

Рот сообщил Королю Страху, что охранник Глаз схвачен Оксами. Оказалось, Глаз не только пропустил непрошеных гостей самостоятельно шляться по Замку, он ещё был виновником в поломке системы наблюдения. Это из-за него все мониторы будто ослепли, и обитателям Замка вот уже несколько дней приходится довольствоваться лишь звуковой связью.
— Прикажи Оксам привести Глаз в тронный зал, — прогрохотал Король Страх в переговорное устройство селектора. — Возмездие будет страшным, это я ему обещаю!

Если бы у секретаря Рта был бы такой же тонкий слух, как у Крикуля, он бы оглох.

Наши бесстрашные воины, словно группа захвата, рассредоточившись по Замку, одновременно приступили к боевым действиям.

Внезапность сыграла свою решающую роль, так что некоторые Страхи были просто застигнуты врасплох.

Страх Скорости предстал перед ПутАстром в совершенно помятом, заспанном виде, со странной причёской — будто волосы залили лаком сверхсильной фиксации в момент, когда на них дули вентилятором лишь с одной стороны, и они намертво сохранили это направление. Даже в момент появления Астрального Путешественника он был не в лучшей форме. Не говоря уже о том, что с ним сталось после предложения прокатиться с ветерком. Если бы кто-то со стороны наблюдал за происходящим, то легко увидел бы на ночном небе зигзагообразные росчерки следов, которые оставляли за собой два неопознанных летающих объекта. Эти НЛО были не кто иные, как ПутАстр и Страх Скорости, который очень скоро выбился из сил и исчез из крепких объятий Путешественника, для которого скорость была неотъемлемой частью его самого.

Страх Боли покраснел от злости и негодования, увидев перед входом в своё жилище малюсенького, едва заметного глазом лягушонка, бросавшего ему вызов.
— Да я просто раздавлю тебя, плюгавчик, — брезгливо проговорил Страх Боли, не подозревая об опасности, которую таило в себе это маленькое ядовитое существо.

Монстр раздул ноздри и начал раздуваться, достигнув невероятных размеров. Однако Кокои, оттолкнувшись от пола, словно под ним был батут, подскочил и уцепился лапкой за запястье Страха Боли. После этого произошла невероятная метаморфоза: Страх Боли со свистом начал сдуваться, тогда как Кокои, напротив, увеличивался с каждой секундой. И так до тех пор, пока Страх Боли не стал меньше мухи, неумолимо поглощённой Гигантской Лягушкой.

Страх Неизвестности открыл дверь своих апартаментов. На пороге стояла обезьяна.

Несмотря на то, что Король Страх предупреждал братьев о бдительности, повышенной опасности, которую представляют собой непрошеные гости, показывал их фотографии, просил Страхи быть в постоянной готовности к ликвидации посланников Острова Детства, Страх Неизвестности с присущей ему рассеянностью проявил непозволительную беспечность и безрассудство.

Напротив, проницательный Капуцин, увидев похожего на вопросительный знак старичка, черты лица которого в полной неопределённости скакали с места на место, тут же понял, с кем имеет дело.
— Страх Неизвестности дома? — спросил журналист.

Страх Неизвестности, увидев перед собой неизвестного, осторожно озираясь по сторонам, будто боясь, что обезьяна не одна, а это какая-то ловушка, осторожно ответил:
— Не знаю!
— А кто знает?
— Не знаю!
— А мне сдаётся, что это ты и есть — Страх Неизвестности! Или ты его слуга?
— Не знаю!
— Здорово! Я вот тоже чего только не знаю. Даже страшно подумать, сколько много всего… только признаться стыдно. А тебе-то стыдно бывает?
— Не знаю, — ответил Страх Неизвестности.
— Ну, это и понятно, можно было бы и не спрашивать. А я — журналист. Хочу у тебя интервью взять. Можно?
— Не знаю! — ответил немногословный Страх Неизвестности.
— Ну так я знаю, — сказал Капуцин и, отодвинув Страх, вошёл в его дом.

Внутри было какое-то бессмысленное нагромождение разностильной мебели, неизвестно для чего заставленной всякими пыльными безделушками. Прямо посреди большой комнаты стоял громоздкий шкаф, перекрывавший обзор. Подойдя к этому шкафу, Капуцин увидел, что Страх Неизвестности не один. За столом, сервированным бесчисленным числом чашек и дымящихся чайников, сидел какой-то подозрительный тип: он был в шортах, хотя на тело была надета тёплая фуфайка, на голове красовалась несуразная пляжная шляпа от солнца, а ноги в шерстяных носках были опущены в тазик с горячей водой, от которой шёл пар. Неизвестный подлил из чайника новую порцию кипятка и поёжился, будто никак не мог согреться. Было слышно, как от холода он заклацал зубами.
— Так это ты Страх Неизвестности?— спросил Капуцин.
— Не-а,— кивнул неизвестный в сторону открывшего дверь,— он.
— А ты кто?— спросил Капуцин.— Только не говори, что не знаешь.
— Почему не знаю? Знаю.
— Ну, уже легче. Так кто?— спросил самонадеянный Капуцин.
— *Страх Природных Аномалий*,— ответил старик в носках.

Капуцин даже присвистнул. Это что же получается: ему придётся сразу с двумя Страхами дела улаживать? Однако! Но, вспомнив, что в случае особой опасности всегда успеет позвать на помощь Любовь, решил взяться за дело. Тем более что жалкий вид «противников» не предвещал подвоха, а в случае победы на его счету будет ещё двое поверженных, не считая Страха Одиночества, которого он обезвредил, опрыскав его волшебным ароматом Апрелины.

— Да!— включился в разговор Капуцин.— Природные Аномалии— одна из самых насущных проблем современности. Возьму интервью и у тебя!
— Возьми!— обречённо вздохнул Страх Аномалий.
Тем временем Страх Неизвестности уселся за стол рядом с братом.
— Это кто?— спросил Страх Аномалий, кивнув в сторону Капуцина.
— Не знаю,— ответил Страх Неизвестности.
— Нашёл кого спрашивать,— сказал Капуцин,— я— журналист Острова Детства, собираю материал для репортажа о роли Страхов в современном мире. Король Страх знает о моём визите. А вы?
— Не знаю,— ответил Страх Неизвестности.
А его брат сказал, что очень даже знает про то, с какой целью они явились в Замок.
— Ну хорошо,— сказал Капуцин,— пожалуй, начнём.
Он достал свой микрофон и направил его в сторону братьев.
— Скажите, пожалуйста, как вы отнесётесь к тому, что международную метеорологическую службу, которая не способна на сегодняшний день прогнозировать природные аномалии, возглавит Страх Неизвестности?

Страх Неизвестности посмотрел на брата и спросил:
— Я не знаю, что это значит.
Страх Природных Аномалий насторожился.
— Страх Неизвестности не может ничего возглавлять! Тем более службу, которая занимается моими вопросами.
— Почему это я не могу возглавить, я не знаю?— стал петушиться Страх Неизвестности.
— Потому что, кроме неизвестности, тебе ничего не известно! Ты что, разбираешься в моих делах?!
— Я не знаю, что там в твоих делах такого, чтобы мне не разобраться!
— Кишка тонка! Недоросток! Я знаю, что ничего не знаю!
Наверное, последний аргумент в пользу драки был произнесён, так как после этих слов Страх Неизвестности подскочил как ошпаренный и так ахнул кипящим чайником по голове брата, что тут же стало ясно— пляжная шапочка не смогла смягчить удар. Шишка, немедленно вскочившая на голове стукнутого, приподняла шапку над головой Страха Природных Аномалий, и он стал похож на бледную поганку. Но это не помешало ему быстро вытащить ноги из тазика и перевернуть его содержимое на не знавшего, чего от него ожидать, Страха Неизвестности.
— Ну, не знаю, что я тебе сейчас сделаю!— взревел вымокший до нитки Страх Неизвестности.
Началась несусветная потасовка. Страх Природных Аномалий был явный отморозок, он бросал в Страх Неизвестности всё, что попадалось под руку. Его брат не уступал в оголтелости и безрассудстве. В ход шла мебель. Начался настоящий погром. Когда были переломаны о головы друг друга все столы и стулья, Страх Неизвестности завалил на брата слоноподобный шкаф. Раздавленный таким образом Страх Природных Аномалий немного подёргал ногами и стих.
— Что же ты наделал?— прокричал Капуцин, всё это время наблюдавший за дракой.
— Не знаю!— в испуге ответил покрывшийся испариной Страх Неизвестности.
И, с разбегу выпрыгнув в окно, скрылся в неизвестном направлении.
Капуцин подбежал к окну. Страх Неизвестности исчез. Только куда он делся? «Если не умеет летать, то ушёл под воду»,— подумал Капуцин, глядя на чернеющий далеко внизу Океан.
В это же самое время на другом конце Замка иссохший и тщедушный, но злобный и раздражительный *Страх Болезней* был засунут в медицинскую колбу перехитрившей его Лиссой. Словно джинн из сказки, он стучал изнутри и просил выпустить его наружу.
— Даже и не подумаю!— сказала Лисса.— Тебе ещё предстоит прокатиться на карусели.
— Не хочу на карусели! Меня тошнит! А-а-а, я боюсь!— закричал Страх Болезней, но Лисса, не раздумывая, засунула колбу в центрифугу и включила агрегат.
Затем Лисса набрала номер селектора секретаря Короля Страха.
— Рот у аппарата,— прогнусавил Рот.

— Это Лисса.
— Слушаю тебя внимательно!
— Здравствуйте! Я бы хотела, чтобы ко мне немедленно явилась Химера. Она ведь рядом с вами?
— Не понял, — ответил Рот. — Что за срочность? Нельзя подождать до утра?
— К сожалению, нельзя! Полученную сыворотку необходимо ввести немедленно. Иначе она испортится.
— Кто испортится, Химера?
— Сыворотка. Но и Химера, если сыворотку не ввести сейчас, к утру может мутировать и превратиться во что-нибудь невообразимое.

Рот даже перестал лупасить по клавишам пишущей машинки.

— А в кого, например?
— Да в кого угодно: может, в лягушку, может, в обезьяну, может, в утку…
— Минутку, — перебил Лиссу Рот, — я всё понял, сейчас Химера будет у тебя, деточка.
— Я её не задержу! — пообещала Лисса.
— Да уж не задерживай, пожалуйста, а то у нас тут такая напряжёнка…
— А что случилось? — спросила Лисса.
— Ой, и не спрашивай! Король Страх и Оксы заняты — разбираются с главным охранником Глазом. А мне никак нельзя оставаться надолго одному. Неровён час… ой, чуть не проболтался. Это секретная информация. Пока!
— До свидания! — сказала Лисса.

Секретарь Рот, тут же отославший Химеру на процедуру, даже и не подозревал, что его свидание с Лиссой и её друзьями не за горами.

Не успела Химера покинуть свой пост, как перед секретарской стали собираться все участники экспедиции. Один за другим подходили победители Страхов. Они делились случившимся, поздравляя друг друга. Самым довольным собой был журналист. Капуцина просто распирало от важности, ведь он справился сразу с двумя Страхами.

— Так, значит, и Страх Природных Аномалий… того? — удивлённо проговорил обрадованный Птеранодон. — Вот здорово!

Гордый, застенчивый Кокои вообще не захотел посвящать друзей в детали своего сражения.

— Всё быра осень быстра, — сдержанно сказал он.
— Вот это да-а-а!!! Молодцы! — сказал Крикуль. — А мы с Птерано пока только готовимся к бою. Узнали, что Оксы в тронном зале вместе с Королём Страхом. Любовь предложила заняться ими позже. Пока Рот в одиночестве — идём на захват сейфа.

Не успел Крикуль договорить, как у секретарской появилась Лисса.

Она была не одна. Вместе с ней шла её любимая корова Макка.

— Нашего полку прибыло! — с иронией прокомментировал появление бурёнки Капуцин.

Лисса представила свою кормилицу:

— Ребята, это моя Макка! Я ни за что не расстанусь с ней. Вдруг у нас всё получится, а мы с Маккой неразлучны… и я хочу…
— Да конечно! О чём говорить! С Маккой так с Маккой! — бодро поддержал Лиссу Крикуль.
— А воображаемый мост Макку выдержит? — с сомнением спросил Капуцин.
— До моста ещё дожить нужно! — осадил его Крикуль. — Ты не очень-то расслабляйся.

Он расценил реплику журналиста как выпад в адрес Лиссы. Капуцин это понял и, решив тут же исправить свою ошибку, мирно проговорил:

— Да, да, конечно! Самое трудное впереди! И потом: друг моего друга — мой друг! Это — главное!

Капуцин подошёл к Макке и приветственно склонил голову.

Любовь, обращаясь ко всем присутствующим, сказала:

— Ну что, не будем медлить. Все в сборе. Надеюсь, Рот не окажет нам яростного сопротивления.

Капуцин снова выскочил вперёд:

— Можно, я войду первым? Я так неотразим, что Рот просто не сможет устоять перед моим обаянием… и откроет нам сейф и все свои секреты…
— Разумеется, иди! — улыбнулась Любовь. — Мы следом.

Когда в дверях появилась обезьяна, Рот в первое мгновение подумал, что это вернулась Химера, которой не успели ввести вакцину, и она таки превратилась, как и предупреждала микробиолог Лисса, «во что-то невообразимое».

Рот даже хотел зло пошутить по этому поводу, но шутка так и застряла у него в глотке.

Вслед за обезьяной в секретарскую ввалилась компания незнакомцев.

И тут до Рта дошло, что это же *те самые* гости, которые наделали столько переполоха в Замке!!! С ними Любовь и воспитанники Короля Страха: ПутАстр, Лисса и этот чёртов Крикуль, из-за которого в последнее время было столько хлопот.

Рот подскочил как ошпаренный и завопил:

— Карау-у-у-у-ул, грабят!

Не успел Капуцин отпустить подготовленную заранее остро́ту, как дверь в смежную с секретарской комнату, в которой находился кабинет Короля Страха, распахнулась, и на пороге очутился… Страх Насилия.

Напрасно надеялись друзья: Рот оказался не один. Как только Страх Насилия хрустнул своими костлявыми пальцами и сделал шаг навстречу непрошеным посетителям, Рот молниеносно спрятался за его спиной.

— Спаси меня, Страх Насилия! Спаси!!! Они же явились за главной ценностью Короля! А я, я её хранитель, и ты должен, должен меня оберегать, защи-щи-щи-щать! — верещал Рот.
— Да заткнись ты! Трепло! — захрипел Страх Насилия. И, глянув на компанию растерявшихся от неожиданности героев, ухмыльнулся: — Ну что, не хотели по-хорошему — будет по-плохому…

Страх Насилия распахнул свой плащ, внутри которого были видны многочисленные кармашки с оружием: ножами, кастетами, пистолетами, гранатами и бомбочками.

— А может, всё-таки по-хорошему? — выступила вперёд Любовь, в руках которой была волшебная шкатулка с тремя обезьянками.

Пристально глядя в налившиеся кровью глаза Страха Насилия, она раскрыла коробочку и вкрадчиво произнесла:
— Страх Насилия, я — Любовь, и мы не знаем друг друга. Там, где есть Любовь, нет места Насилию — таков порядок вещей! Отправляйся к Стражам порядка. Они ждут тебя.

Всемогущая Любовь вытянула перед собой распахнутую настежь шкатулку, и Страх Насилия, воспаривший и вытянувшийся в зыбкую струнку, послушно скрылся в недрах шкатулки. Любовь захлопнула крышку.
— Ну вот. Всё кончено! По-хорошему!

Рот, оставшись один на один с командой Крикуля, стал увещевать и совестить:
— Как вам не стыдно? Вас много, а я один! Чего вам от меня надо?! Это же насилие!
— Ну кто бы говорил! — возмутился Капуцин, который так же, как остальные, был просто поражён простоте и элегантности трюка, который проделала Любовь. — Ты сам только что хотел прибегнуть к помощи Страха Насилия, чтобы избавиться от нас, и сам же возмущаешься… и потом, мы не собираемся уподобляться вам. У нас, как видишь, все дела делаются по-хорошему! Хочешь не попасть в этот обезьянник? — сказал Капуцин, указывая на волшебную шкатулку.
— Хочу! Хочу! Конечно, хочу! Спрашивайте, может, я вам сам скажу, что вам надо! Сам-сам-сам.
— Ну вот и прекрасно! — Капуцин подошёл к сейфу, который стоял недалеко от стола секретаря. — Нас интересуют личные дела воспитанников Короля Страха.
— А что, Король Страх уже там, в этой коробочке? — спросил трясшийся от страха Рот, который всё же думал о последствиях в случае победы хозяина.
— Скоро будет, не сомневайся! Ты лучше подумай, что станет с тобой, если ты не захочешь нам помочь!

Рот решил не испытывать терпения Капуцина.
— Пожалуйста, сейф открыт. Личные дела внутри. Берите!

Крикуль с друзьями стали вынимать одну за другой папки, в которых находились досье на каждого из них.

Разноцветные папки выложили на стол. Их было двенадцать.

Ребятам не терпелось заглянуть внутрь. Но прежде нужно было узнать главное.

Крикуль спросил:
— Ты тут кричал, что охраняешь главную ценность Короля Страха! Это она и есть — эти папки?
— Ну да!
— А почему никто из воспитанников не знает даты своего рождения? Здесь кроется какая-то тайна?
— Никакой тайны тут нет! Им просто рано ещё об этом знать! — Рот говорил, потупив взор, и было ясно, что он врёт.
— Так, — проговорил Капуцин, всё больше раздражаясь, — ты что-то скрываешь, и если не скажешь нам, в чём тут дело, я познакомлю тебя поближе с моим другом Листолазом Ужасным — лягушонком Кокои. Не смотри, что он — малыш. Один грамм его яда способен умертвить пятнадцать тысяч человек. Это тебе о чём-нибудь говорит?
— О! — взмолился Рот. — Не надо!
— Тогда говори: почему папки особо охраняются?

Рот помалкивал, только с шумом отдувался.

Любовь спросила:
— Рот, нам нужно как можно быстрее собрать всех воспитанников Короля Страха всех вместе. Как это сделать?
— Ну, — промямлил Рот, — пройтись по Замку…
— Кокои, дружище, подойди поближе, — позвал Капуцин. — По-моему, Рот не понял серьёзности наших намерений.

Кокои прыгнул на стол.

Рот взмолился:
— Хорошо, только скажите Королю Страху, что вы меня пытали. Хотя нет, он всё равно меня не пощадит.

Лисса не сдержала любопытства и занялась рассматриванием папок, она искала свою. Увидев, что девочка складывает папки одна на другую, Рот машинально крикнул:
— Осторожно! Только не ЯФМАМИИАСОНД!
— Что????? — спросили разом не расслышавшие последнего слова Капуцин, Птеранодон, ПутАстр и Любовь.

Один только Крикуль прекрасно услышал сказанное секретарём, который сразу же после машинально оброненного слова обеими ручонками закрыл себе рот:
— Ой, проговорился! Теперь мне конец!

Крикуль без труда повторил:
— Он сказал: только не ЯФМАМИИАСОНД!
— Что это за абракадабра?
— Шифр?
— Код?
— Секрет или тарабарщина?

Любовь, загадочно улыбнувшись, заметила:
— Ах, вот в чём дело! Я поняла. *ЯФМАМИИАСОНД* — это первые буквы названий двенадцати месяцев!

Рот решил кое-что уточнить и сделать вид, будто оказывает неоценимую услугу добровольно:
— Да! Да! Да! Если разложить папки по месяцам рождения воспитанников, они соберутся все вместе, и их можно будет переместить вслед за папками куда захотите. Январь, февраль, март, апрель… ну и так далее…
— Так просто! — воскликнул Капуцин. — Гениально! Всё, берём папки и бежим.
— Мы вас догоним, — сказала Любовь. — Крикуль и Птеранодон пойдут со мной. У нас тут ещё не все дела закончены. Надеюсь, мы не задержимся. Встречаемся на Призрачном мосту. У вас там будет время разложить папки и собрать юных гениев вместе. Ждите нас!

Лисса подбежала к Крикулю:
— Я пойду с тобой!
— Нет! Я не хочу, чтобы ты встречалась с Оксами. Это будет мужской разговор. Не волнуйся за меня. Тем более я иду не один: со мной самый надёжный в мире авиатор — бесстрашный Птеранодон и Любовь. Рядом с ней мне нечего опасаться.

Все надеялись на скорую встречу. Команда защитников Добра разделилась. Часть устремилась

к воображаемому мосту, а Любовь с Крикулем и Птеранодоном поспешили к тронному залу Короля Страха.

Крикуль вспомнил: отсюда начинались их приключения. Возможно, здесь они и закончатся. Ведь пока было неизвестно, на чьей стороне окажется победа.

Дорога в обратную сторону показалась намного короче.

Любовь на ходу инструктировала своих попутчиков:

— Ребята! Помните, у вас есть миртовая веточка. Птеранодончик, она у тебя? Не потерялась?

— Да вот она!— указал Птеранодон на торчащий из перьев кончик.— Разве она ещё действует?

— Ещё как!— ответила Любовь.— Она может превратиться в любое оружие. Только хорошенько представьте себе, какое бы вы хотели иметь.

— У меня с этим, как его… с воображением не очень…— смутился летающий ящер.

Крикуль подбодрил друга:

— Ну а я-то буду рядом с тобой!

— Ладно, на месте попробуем!

Затем Любовь напомнила друзьям:

— Главное — не забывайте: мы ограничены во времени! Как только Король Страх поймёт, что проиграл сражение, действия его будут непредсказуемы.

Крикуль уточнил:

— А он отправится следом за Страхом Насилия в твою шкатулочку?

— Нет!— ответила Любовь,— со Страхом Смерти этот номер не пройдёт.

— Так как же?— заволновался Крикуль.

— Я решу этот вопрос по-другому.

— По-хорошему?— уточнил Птеранодон.

— Попробую по-хорошему!— обнадёжила Любовь.

Троица отважных приблизилась к той самой необычной двери, ведущей в тронный зал, на которой был изображён Двуликий Янус — божество прошлого и будущего, символ начала и окончания всех дел. Здесь они, в самом начале этой истории, встретили Глаз — начальника охраны Короля.

Всё удивительным образом повторилось. Только теперь великан Глаз, поверженный, со скованными руками и вновь продетым сквозь его губы висячим замком, стоял по другую сторону двери.

Любовь, Птеранодон и Крикуль отчётливо слышали последние распоряжения Короля Страха; он приказывал Оксам:

— Глаз с него не спускайте! Отвечаете головой! Если к утру не наладит видеосвязь, шкуру спущу. Сам ломал — сам пусть чинит!

Глаз, видимо, что-то промычал, на что Король Страх прогрохотал в ответ:

— Я вижу, ты молодец среди овец! А на молодца и сам овца!

После этих слов дверь распахнулась, и все увидели друг друга.

— Это что ещё такое?— удивился Страх. Он не поверил своим глазам.— Вы откуда? Крикуль? Любовь?

Сверкнули молнии.

— Значит, продолжаем играть в бесстрашие?— зашипел почерневший от злости Страх.— Ну что ж,— глядя на Крикуля в упор, проговорил Король Страх,— Смерть обожает играть с бесстрашными в кошки-мышки. А ну-ка иди сюда, мышонок!

Любовь с твёрдостью, властно остановила его:

— Хватит! Игры закончились! Ты же понял, что проиграл?! Крикуль добровольно сделал свой выбор, иначе бы меня не было рядом с ним.

Король Страх молча оценивал ситуацию. Любовь продолжила:

— А теперь я желаю поговорить с тобой, сынок!

Крикуль сделал шаг вперёд и, смело глядя Страху в глаза, объявил:

— А я вызываю Оксы на бой!

Король Страх и Оксы переглянулись.

— Забавно!— усмехнулся Король Страх.— И это что, будет честный поединок? Без твоего участия, матушка?

— Да!— ответила Любовь.— Но и без твоего! Пусть они разбираются сами. Оставим их. Я тороплюсь и напоследок хочу тебе кое-что сказать наедине!

Любовь прошествовала в зал.

— Ты забыла, что здесь не бывает Солнца, и твоему Крикулю на этот раз никто не поможет. Этого дохлого Птеранодона я в расчёт не беру!

Птеранодон воинственно вскинул голову и затоптался на месте, будто готовился к нападению.

Любовь пресекла нападки Короля:

— У Крикуля есть Сила Духа, Воля к Победе и Верный Друг! Этого вполне достаточно, чтобы победить силы зла.

Страх расхохотался:

— Матушка, ну ты неисправимый романтик! Да что я вас уговариваю. Собаке собачья смерть! Пусть будет по-вашему. Оксы, идите и разорвите их на части! И возвращайтесь! Я вас жду!

— Будет сделано, Ваше Величество!— Оксы толкнули Глаз вперёд и скрылись по другую сторону двери.

В тронном зале загрохотали раскаты грома, засверкали молнии, короткие вспышки зарниц искрились даже под потолком коридора, где находились друг напротив друга Крикуль с Птеранодоном и Оксы с Глазом.

— Ну, пойдёмте, я с вами разберусь, смельчаки,— тут у нас есть дивное местечко. Мы с Королём здесь разные экзекуции проводим, «пыточная» называется. Если не трусите, конечно.

— И не надейся!— твёрдо ответил Крикуль.

— Ну, тогда за мной, там нам никто не помеш-ш-шает…— лениво зашипели Оксы.— Кончим всё раз и навсегда!

И действительно, следующей за дверью с Двуликим Янусом была нужная Оксам дверь в комнату пыток. Прежде чем войти в неё, Оксы развязали Глазу руки и толкнули в сторону мониторной:

— Иди работай! Нечего прохлаждаться! Чтоб к утру всё было налажено!

Глаз на прощанье с грустью посмотрел на своих недавних благодетелей и обречённо зашагал на свой пост.

Оксы вместе с Крикулем и Птеранодоном отправились на место дуэли.

Король Страх нервно расхаживал по залу.
— Нет, что ты хочешь от меня? — говорил он Любви. — Ты и твои подруги феи готовы лишить меня моего дела, моего дома. Вы хотите уничтожить меня! Почему ты — моя *мать* — на их стороне? Почему ты помогаешь им? Впрочем, я сам знаю ответ на этот вопрос! Потому что тебе всегда было наплевать на меня!
— Нет! Потому что ты выходишь за рамки своих полномочий, *сын мой!*
— Отчего же?!
— Оттого, что ты рождён, чтобы предупреждать об опасности — это твоё Великое Предназначение! А ты сам представляешь собой опасность для окружающих.
— Для кого именно?
— Для тех, кому ты призван служить верой и правдой!
— Кому это я призван служить?! Я — Король Страх!
— Людям! Ты должен их *защищать* и *охранять!* Ты должен бороться с безрассудством! А ты их пугаешь, находишь это весьма забавным и извлекаешь из этого выгоду.
— Я никому ничего не должен! Ты хочешь, чтобы я служил кому-то, а мне хочется обратного — чтобы, напротив, служили мне! Если ты думаешь, что создала меня ради того, чтобы я защищал кого-то, то ты сильно ошибаешься! Я буду работать только на себя! Защищать только себя! А тебя, Любовь, я просто *ненавижу*.
— Спасибо за откровенность, сынок!

Страх подошёл к столу и взял в руки, как показалось Любви, маленького пушистого котёнка, которого он начал месить.
— Вот смотри! Ты видишь? Оно из глины! Ты хочешь, чтобы оно у меня было таким же?
— Что это? — спросила Любовь.
— Это сердце моего охранника. Видишь, какое оно беспомощное и податливое, словно глина. Ты хочешь, чтобы у сына Великой Любви и Величайшего Воина всех времён и народов было такое же сердце? Уж лучше совсем без сердца!

Любовь отпрянула.
— Мне неприятно на это смотреть!
— Нет, уж ты посмотри! Я покажу тебе сердце твоего сына.

Король Страх бросил сердце Глаза на стол и вынул из внутреннего кармана своего сюртука своё собственное.
— Вот! Оно каменное!

Каменное сердце Страха еле помещалось в его ладони. Оно было большим, шершавым и достаточно тяжёлым. Рука Страха провисала под его тяжестью.

Любовь поморщилась.
— Оно каменное, мама! И в этом виновата только ты!
— Я? — удивилась Любовь. — Почему я? Что я такого сделала, чтобы оно стало таким?
— Потому что ты — великая, всемогущественная волшебница Любовь, моя мать, — никогда по-настоящему не любила меня — своего сына! Я всегда был слишком груб для тебя, слишком непоседлив и непослушен. Ты всегда бросала меня в одиночестве, на произвол судьбы, подолгу оставляла один на один с этим несправедливым миром! А теперь ты недовольна, что я *ожесточился!*
— Поверь, — ласково сказала Любовь, — я не хотела этого! Мне очень жаль, что ты не получил в достатке моего тепла и заботы, чтобы быть согретым и обласканным. Взращённый в любви, ты бы не стал столь жесток к другим. Наверное, я действительно виновата перед тобой. Я принимаю твой упрёк. Он справедлив.

Любовь мягким шагом, не спеша, подошла к Королю Страху и, приняв на руки каменное сердце, начала убаюкивать его, словно младенца. Послышались тихие звуки нежной свирели. Любовь, покачиваясь, запела колыбельную песенку.

Король Страх опустился на трон. Веки его отяжелели. Глаза закрылись сами собой. На лице появилось умиротворение, сладкая улыбка. И он очутился в объятиях сна.

Ему снилось, как он идёт по необозримо широкому полю с высокой колосящейся пшеницей, как его ноги утопают в шелковистой, мягкой траве. Как он чувствует неизъяснимое блаженство и восторг от созерцания непостижимой, девственной красоты природы. Высоко в небе стремительно летают хлопотливые ласточки. Крохотные сиреневые цветочки пробиваются сквозь землю, и маленький Страх едва касается напоённого теплом травяного ковра, расшитого незабудками, — он почти летит… и вдруг явственно слышит вдалеке звон булата. Этот звук приближается, слышится всё явственней, неумолимо нарастает с каждым мгновением — и вот перед ним, под барабанную дробь и свист картечи, открывается картина беспощадной битвы, где тысячи бойцов в неукротимой злобе крушат друг друга… кровь закипает в жилах. На красном вздыбленном коне, в самой гуще сражения, Страх видит своего отца. «Ты — *воин!* А сердце воина должно быть твёрже гранита!!!» — кричит ему отец.
— Твёрже гранита, — шепчет Страх во сне. — Твёрже гранита! — вскрикивает Страх и просыпается.

Увидев Любовь со своим сердцем на руках, он злобно произносит:
— Нет! Моё каменное сердце — это как раз то, что нужно! Отдай его мне!

Погрустневшая Любовь осторожно, будто на самом деле сердце Страха было сделано из хрупкого стекла, возвращает сыну его каменное сердце.
— Ты неисправим! Весь в отца! Ты всегда был и останешься таким! Тебе нужна *война ради войны!* Ты сам не желаешь жить с Любовью. Ты не оставляешь мне выбора. А я — я не могу постоянно жить в состоянии войны. Я исчезаю. Прощай! Прощай! Прощай!

Эхо многократно повторило последнее слово матери, а затем растворилось вслед за покинувшей Короля Страха Любовью.

— Прощай же и ты! — крикнул ей вдогонку Король Страх и торопливым шагом вышел из тронного зала.
— Оксы! Оксы! — ревел Страх что было силы. — Оксы, где вас носит, черт побери?!

Ослеплённый ненавистью, с перекошенным до неузнаваемости мертвецки-бледным лицом, носился Король Страх из конца в конец своего враз опустевшего Замка. Все двери комнат и апартаментов были распахнуты настежь. Кругом хозяйничали беспризорные ветры.

Только Няньки — Гигантские Руки и каменноподобные истуканы — Химеры то там, то тут попадались ему на пути. Одни истошно вопили, другие монотонно стенали, третьи ревели белугой, оставшись не у дел…

— Проклятье! Так, значит, им удалось! Всё пропало! Всё пропало!

В порыве ярости и бессильной злобы Король Страх, всё ещё державший в руках своё каменное сердце, с неимоверной силой запустил им в прозрачную хрустальную стену Замка. Прогремел оглушительный взрыв! Замок качнулся. Трещины стали разрывать его на части. Замок Короля Страха стал рушиться на глазах.

Океан бурлил и пенился, жадно поглощая отколовшиеся глыбы. Гигантская воронка неумолимо втягивала в себя остатки ещё совсем недавно казавшейся непоколебимой конструкции.

В эпицентре водоворота неистово вращалась еле заметная коробочка с изображением трёх обезьян.

Ничего не вижу! Ничего не слышу! Ничего никому не скажу!!!

Возвращение

Глава десятая, в которой мы узнаем, насколько важно обладать хорошим воображением.

Любовь летела к призрачному, воображаемому мосту. На фоне усыпанного звёздами ночного неба он хорошо просматривался со стороны. Ажурный, полупрозрачный мост слегка покачивался и прогибался под тяжестью стоявших на нём двенадцати вырванных из плена ребят. Здесь же были Капуцин, корова Макка. Некоторые из детей держались за руки, некоторые приветственно махали узнанной ими крылатой Любви.

— Ура-а-а! Ребята! С нами Любовь!

Капуцин крепко прижимал к себе папки с личными делами спасённых ребят. Он был чем-то встревожен.

Любовь опустилась рядом с Крикулем, который стоял с краю. Тот возбуждённо закусывал губы, будто находился на грани отчаяния.

— В чём дело? Что случилось?

— Любовь, сделай что-нибудь! Случилось непоправимое!

— Что такое?!

— Птеранодон остался там… с Оксами.

— Как? Почему?

Крикуль взволнованно затараторил:

— Капуцин уже здесь, на мосту, стал раскладывать папки по очереди. Ну, по месяцам… ребята стали появляться один за другим. Как только Капуцин назвал август — меня перенесло сюда, а Птерано остался один на один с Оксами… я даже сразу не мог сообразить, что произошло. Не успели забрать родившегося в декабре — Замок начал рушиться. Что делать? Нужно спасать Птеранодона. Он бы никогда нас не бросил в беде!

— Поздно! — сказала Любовь. — Мы не можем рисковать всеми ради одного. И от Замка Страха уже почти ничего не осталось, ты же видишь! Прости меня! Ничего не вернуть! Мост уже в пути!

— Это неправильно! Неправильно! Я так не хочу! — горько заплакал Крикуль.

— Никто не хотел! Поверь! Но всего нельзя предвидеть! Мне очень жаль.

Любовь обняла рыдавшего навзрыд Крикуля. Лисса, стоявшая неподалёку, тоже тихонько плакала и вовсе не осуждала не сумевшего сдержать слёзы Крикуля.

Внизу показался Остров Детства. Он светился и переливался миллиардом огней.

По периметру Острова вздымались ввысь струи приветственных пиротехнических фонтанов. Все феи собрались на центральной площади и радостно размахивали пёстрыми платками, разноцветными флажками и шляпками. Резиновые пушечки выстреливали облака серебряных и золотых конфетти. Призрачный воображаемый мост спускался всё ниже к земле, а праздничный искрящийся фейерверк, наоборот, накрывал долгожданных гостей спускающимся с небес парашютом.

Мост осторожно выгнулся дугой и коснулся земли.

Ребята один за другим, словно с ледяной горки, скатывались вниз. Даже у коровы Макки приземление вышло неплохо.

Всех их тут же принимали ласковые руки хозяек Острова.

— Ну наконец-то дома! — сказал Капуцин.

На его плече сидел Кокои, который тоже был бесконечно счастлив возвращению, но при этом, как всегда, сдержанно произнёс:

— Осень харасо!

Любовь поочерёдно обнялась с каждой из фей.

Ребята собрались в стайку.

Капуцин передал Декабрине папки с личными делами:

— Вот досье! Принимайте, сударыня! И разрешите представить вам наших друзей.

Капуцин называл всех вновь прибывших по именам и видам деятельности. После того как он произносил имя ребёнка, все вокруг взрывались приветственными криками и аплодисментами.

— *Лисса* — микробиолог, родилась в январе!

— Сегодня как раз твой день рождения, дорогая! — сказала тут же подскочившая к ней Январина.

— Мальчик *Мани* — финансовый гений, родился в феврале!

— Ах ты, мой сладенький! — схватила его на руки толстушка Февралина, от которой, как всегда, пахло пастилой и карамелькой.

— Режиссёр *Тридэ*, рождённый в марте!

Мартина просияла от радости и протянула ему руку.

— Электронный гений *Плато* — появился на свет в апреле.

Апрелина встала с ним рядом и приветливо улыбнулась:

— Очень рада тебе, дорогой!

— Гениальный лингвист *Логос* — родился в мае.

Майя тут же обняла его:

— Разве можно не узнать в тебе прирождённого поэта?

— Спасибо! Очень приятно познакомиться.

— В июне родился Астральный Путешественник *ПутАстр*.

Июнина была вне себя от счастья:

— Наверное, все июнята любят путешествовать, как я.

— Политолог *Гео* — родился в июле.

Июлина расцеловала своего подопечного под одобрительный возглас сестёр.

— Наш главный герой, рождённый в августе, — собиратель слёз *Крикуль*.

Весь Остров взорвался овациями, приветствуя бесстрашного Крикуля.

Августина давно прижала его к себе и не выпускала из объятий. Она уже знала, отчего он так расстроен.

Августина вскинула кверху руку и позволила себе уточнение:

— Крикуль отныне не собиратель слёз, с его уникальным слухом Крикуль станет великим музыкантом!

Все снова взревели:

— Ура-а-а!!! Гениальному музыканту!

— Это правда? — спросил Крикуль Августину.

— Разумеется, милый!

Капуцин продолжил:

— Биофизик по имени *Бином* — родился в сентябре.

Сентябрина, не скрывая слёз радости, расцеловала парня в обе щёки.

— Гениальный конструктор и архитектор *Витрум* — родился в октябре.

Октябрина тоже чмокнула его в щёчку и обняла по-родственному.

— В ноябре появился на свет юный гений психологии — психоаналитик *Лидий*.

— Ты просто неотразим, милый! Впервые вижу такое дивное существо! Будем дружить!

— Конечно. Буду рад!

— И наконец, наш двенадцатый гений, рождённый в декабре, — изобретатель развлечений *Блендер*.

Декабрина по-матерински крепко обняла смущённого мальчишку:

— Я счастлива!

Затем она повернулась ко всем собравшимся на площади и сказала:

— Я счастлива, друзья! Сегодня у всех нас великий день освобождения. Надеюсь, всех вас ждёт славное будущее. Сейчас Капуцин знакомил нас с вами, называя ваши Таланты! Это замечательно — проявлять одарённость и способности в той или иной области! Но я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, что всё-таки самым Великим Предназначением Человека было и остаётся — *быть человеком!* И выше этого не может быть ничего!.. Железный век власти Денег пройдёт, Эфирный век Информации рассеется, как дым, потому что дефицит Нравственности, которая является основой человеческого счастья, душевной ясности и спокойствия, дойдёт до своего предела — и она с новой силой начнёт свой путь к сердцам людей, чувствующих без неё своё сиротство и убожество. Так было! Есть! И так будет всегда, пока живо человечество! Помните об этом, *дети Земли!*

Остров взорвался аплодисментами.

Декабрина продолжила:

— Я хотела бы особо поблагодарить команду спасателей: нашего неподражаемого журналиста — находчивого и бесстрашного Капуцина; хозяина Жемчужного озера Острова Детства — надёжного и преданного Кокои; Любовь, роль которой в этой экспедиции невозможно переоценить! И конечно же, удивительного мальчика — нашего благородного и отважного Крикуля!

Волна рукоплесканий усилилась. Когда они стихли, Крикуль робко произнёс:

— А я так никого и не победил!

Декабрина возразила:

— Нет, Крикуль! Зря ты так думаешь! Интересы других людей ты поставил выше своих собственных! Между Добром и злом ты выбрал Добро! Ты поборол сомнения и обиды. Ты выиграл самое трудное сражение и преодолел самые трудные испытания, какие только возможны! Ты обладаешь не только чутким слухом, но и сердцем редчайшей красоты и чуткости. Мы все очень благодарны тебе!

Затем лицо Декабрины погрустнело.

— К большому нашему горю, с нами нет сегодня нашего всеобщего любимца — отважного Птеранодона, пожертвовавшего собой ради спасения всех вас. Это было редкое по своей искренности и непосредственности существо. Крикуль, ты последним видел нашего незабвенного Авиатора. Расскажи о его последних минутах.

Смущённый и всё ещё подавленный Крикуль вышел перед собравшимися.

— Мы с Птеранодоном остались наедине с Оксами. У нас была миртовая веточка, которая могла превратиться в любое оружие. Поэтому мы были уверены, что всё получится… — Крикуль будто снова очутился в пыточной. Он вспомнил злобный оскал синюшного от татуировок слуги Короля Страха — Оксов. — Птеранодон вынул миртовую веточку. А Оксы усмехнулись: «Что это у тебя там за зубочистка в лапках, курица не птица? Сейчас я сделаю из тебя курицу гриль». И тут я крикнул: «А мы представим себе, что это копьё, а его наконечник такой острый, что он проткнёт тебя, как червяка». И именно в этот момент меня внезапно переместили на воображаемый мост. Я перенёсся туда, а Птерано остался с Оксами. Не могу поверить, что больше никогда не увижу моего преданного друга, — слёзы снова наполнили глаза Крикуля. — Он ведь был такой… такой… — собиратель слёз никак не мог подобрать нужного слова. И снова заплакал навзрыд, едва договорив: — И у него совсем не было воображения.

Внезапно в этот же самый миг остров поразил страшный удар! Тряхнуло так, будто началось землетрясение! Земля под ногами дрогнула, а затем, как раз рядом с тем местом, где стоял Крикуль, сам собой возник небольшой холм. Оттуда с шумом,

разбросав по сторонам комья земли, песка и камня, вылетел живой и невредимый Птеранодон.

Перевернувшись несколько раз через голову, он шлёпнулся на землю. Затем поднялся и, неуклюже отряхиваясь, объяснил очумевшим от его неожиданного появления друзьям:

— А я представил себе подземный воображаемый мост. Во как! И у меня получилось!

Людмила Уланова

В море синем

Мечта про кита

Я вам расскажу: у меня есть мечта—
Хочу, чтобы мне подарили кита.
Понятно, что он не поместится в ванне,
Понятно, что в доме у нас теснота.
Пусть просто мне скажут: в одном океане
Есть кит—ну, допустим, по имени Ваня—
Отныне он твой от усов до хвоста.

Морской стишок

Морской конёк построил терем,
Но чтобы поселиться с ним,
Стать надо птицей или зверем—
И обязательно морским!

Морскою чайкой стать хотите?
А можно свинкою морской.
Морской капустой похрустите,
Запив её морской водой.

Кота и котика морского
Охотно примут в теремке.
А можно стать морской коровой,
Лежащей на морском песке.

В кого б вам лучше превратиться?
Хотите стать морским слоном,
Морской звездой, морской лисицей,
Морским игольчатым ежом?

А можно и одной иголкой,
Морскою рыбкою-иглой.
И только лишь морского волка
Не пустят в теремок морской!

Платьице для каракатицы

Подарил каракат каракатице
Симпатичное модное платьице.
Вот по морю она каракатит
В платье цвета морской волны,
И на поиски милой жены
Каракат море времени тратит:
Из-за цвета платья она
Совершенно ему не видна.

Про разных рыб

Рыбу-Молот мучит голод,
Разбирает злость.
Очень хочет Рыба-Молот
Слопать Рыбу-Гвоздь.
Проплыла три океана,
Сорок шесть морей.
Как ни грустно, как ни странно—
Нет нигде Гвоздей!
Подплыла Пила к подруге,
Воя от тоски.
Говорит: «Во всей округе
Ни одной доски!

Рыбу-Доску хоть одну бы
Мне бы на обед,
На неё точу я зубы
Много-много лет!»

Вдруг примчалась Рыба-Плотник
И обеих—хвать!
Будь же бдителен, охотник,
Чтоб едой не стать!

В море синем

В море синем и глубоком
Крабик ходит боком, боком.
Ржут над ним коньки морские.
Некультурные какие!

Куда делась рыба?

Пеликана альбатрос
Спрашивает: «Вы могли бы
Мне ответить на вопрос:
Почему так мало рыбы?!
Вроде здесь была сейчас—
И куда-то канула».
Пеликан мешком потряс,
Хмыкнул: «Пеликанула».

Элина Лунегова

Мотя

Димка и слова-паразиты

Как-то после уроков Марь Иванна говорит Димке:
— Пока не избавишься от слов-паразитов, на мои уроки не приходи!
— От чего не избавлюсь?—спрашивает Димка.
— От слов-паразитов,—повторяет Марь Иванна.—Вон, погляди, сколько их у тебя!

Димка оглядывает себя с головы до ног: нет у него никаких этих самых паразитов. Нет ни в ранце, даже в карманах куртки нет. Думает Димка, обманула его Марь Иванна, специально сказала ему там про каких-то паразитов, чтобы он в школу больше не приходил. Желания ходить в школу у него и так не было, да тут Марь Иванна ему сама запретила. Хотел Димка снова подойти к Марь Иванне, да испугался, что она снова посмотрит на него через свои очки и скажет: «Пока не избавишься от слов-паразитов, на мои уроки не приходи!» И решил тогда Димка сначала спросить об этих самых паразитах у папы.
— Ну-у-у,—протягивает папа, почёсывая затылок.

И вдруг Димка видит, как из-за папиного плеча лезет этот самый «ну», длинный такой, с тоненькими ручками и ножками. Садится он папе на плечо, кладёт ногу на ногу и нахально так смотрит на Димку. А папа всё думает, как бы сыну проще объяснить, а проще «ну» ничего сказать не может.
— Кыш!—говорит Димка слову-паразиту «ну».

«Ну» пугается и снова прячется за папино плечо.
— Это такие слова,—говорит папа,—которые ты произносишь чаще всех остальных.
— И много таких слов?—спрашивает Димка.
— Ну-у-у,—папа снова почёсывает затылок, а «ну» из-за папиного плеча показывает Димке язык.

Димка оставляет папу с «ну» и идёт на кухню к маме.
— Вот,—начинает мама и вдруг задумывается.

Димка ждёт, когда же ему мама что-то ответит. Но мама только помешивает ложкой макароны в кастрюле и молчит. И тут Димка замечает этого самого «вот». Сидит он на ложке и посмеивается. «Вот» на «ну» совсем не похож: «ну»—худой, а «вот»—толстый, да ещё с большим животом. Но тут у мамы выскальзывает ложка и падает в кипяток.
— У каждого человека,—говорит мама,—есть слова-паразиты.

Мама достаёт из кастрюли ложку, а вместе с ложкой показывается и «вот», отряхивается от воды и прыгает на своих коротеньких ножках. Димка выходит из кухни и наталкивается на свою сестру Светку.
— Блин, всё тебе не сидится!—говорит с раздражением Светка, и Димка видит, как на её косах покачивается «блин»—круглый и плоский, прямо как настоящий блин!

Димка подходит к зеркалу и долго смотрит на своё отражение: за ухом смотрит, в волосах смотрит—нет у него слов-паразитов. Не видит Димка, как сидят эти самые паразиты у него за спиной, тихо сидят, не показываются, боятся, что Димка их увидит.

Димка садится за уроки, открывает учебник и начинает читать. Потом закрывает рукой текст и давай его пересказывать. И вдруг видит, как по столу пробегает этот самый «ну», который совсем недавно сидел на папином плече. Димка замолкает, куда-то прячется и «ну». Димка снова за пересказ берётся, и перед ним появляется «вот» с большим животом. Димка осторожно закрывает книгу, поднимает её и со всей силой как ударит ею о стол. «Вот» и «ну» бегут в разные стороны.
— Блин!—вырывается у Димки от досады.

И тотчас возникает «блин», катается по столу вокруг учебника, а «вот» и «ну» тихонько посмеиваются.

И тут Димка догадывается: а ведь всеми этими словами-паразитами папа, мама и Сетка заразились от него! Папа говорит только «ну», мама—«вот», Светка—«блин», а он—все эти слова сразу!

Димка снова учебник открывает и начинает учить. Каждое слово по нескольку раз произносит, старается не ошибиться. Редко-редко пробегает по столу «ну», да и «вот» как-то заметно похудел. А о слове-паразите «блин» Димка и не вспоминает!

На следующий день приходит Димка в школу, встаёт возле стола Марь Иванны и громко, без запинок, произносит весь текст. Марь Иванна от удивления все слова забывает.
— Ну-у-у, Петров,—протягивает она, почёсывая красной ручкой затылок.

И Димка видит, как на этой самой ручке сидит «ну». Димка, конечно, ничего не говорит Марь Иванне, он только кладёт на стол дневник и садится на своё место.

Мотя

Живёт с нами по соседству собака. Зовут её Мотя. Породу Моти узнать трудно, потому как раскормили её хозяева по самое не могу. Если присмотреться получше, можно подумать, что это такса, потому как у Моти короткие лапки, длинное тельце и ушки. Только у таксы ушки висят, а у Моти огибают её толстую мордочку, которая, по всем признакам,

тоже должна быть длинной. Шёрстка у Моти тёмно-коричневого цвета, но из-за вразумительных габаритов короткую шёрстку трудно разглядеть. А вот жирную спинку увидеть можно, даже присматриваться не нужно. Из-за этой жирной спинки Мотя с трудом поднимается на третий этаж и подолгу стоит в пролётах. Когда поднимается по лестнице, не лает, только ворчит. Зато когда посидит немного возле двери, покрутит головкой с маленькими глазками, тогда и голос прорезается.

Мотя очень похожа на свою хозяйку—скандальную, грубую женщину, которая никого не стесняется и всегда громко выражается. Вот и Мотя по любому случаю тоже громко выражается и тоже никого не боится. Именно с её громкого выражения и началось наше знакомство. Я тогда поменяла местожительство и однажды, возвращаясь с работы, увидела Мотю. Она сидела на полу, прижавшись своей толстой спинкой к стенке, и провожала поднимавшихся по лестнице недобрым взглядом.

—Привет, собачка!—поздоровалась я с Мотей.

Но Мотя не знала вежливых слов и потому сразу меня облаяла. И как только она подала голос—открылась дверь, и я услышала другой голос—её хозяйки.

—Чего орёшь?—громко спросила хозяйка.—Иди домой!

Мотя немного пошевелилась, но встать с первого раза не смогла.

—Ты идёшь или нет?—крикнула хозяйка.

Мотя сделала ещё одно усилие и, перевернувшись всем тельцем, встала на свои короткие лапки. Окинув недобрым взглядом ещё нескольких соседей и поворчав в ответ на их приветствия, Мотя вошла в квартиру.

Гуляла Мотя всегда одна, её хозяевам даже в голову не приходило, что с собакой можно гулять. Каждое утро открывалась дверь, и Мотю выталкивали на прогулку—веником или ногой. Мотя обычно не возмущалась, даже не ворчала. Если не хотела идти гулять—сидела молча под дверью. Если выходила на улицу, то становилась посреди дороги и громко лаяла. Зная, что Мотя любит каждого облаять, хозяйка обычно кричала ей вслед:

—И смотри там, не ори!

Всё это время я думала о Моте, уж больно странное ей дали имя. На языке вертелось словосочетание «тётя Мотя», которое невольно вызывало улыбку. Но вот однажды, когда я вышла вынести мусор, то услышала громкую «беседу» наших соседей. Дверь их квартиры была открыта, так что орали они на весь подъезд. Внезапно одна из них замолчала, после чего возмущённо спросила:

—А это откуда здесь?

—А это нам наша Матильда с улицы принесла!—объяснила другая.

Затем первая женщина задала тот же самый вопрос Моте и получила от неё вразумительный собачий ответ.

—Ладно, но больше не таскай,—сказала она собаке и закрыла дверь.

Так я узнала полное имя нашей толстой соседки. Мотя, наверное, и дальше бы ворчала на соседей в коридоре и облаивала прохожих на улице, если бы в один прекрасный день она… не влюбилась. Влюбилась Мотя, разумеется, по-собачьи, но зато очень сильно, так сильно, что каждое утро перед прогулкой Мотя поднималась на пятый этаж и долго сидела перед жёлтой дверью. Именно за этой дверью жил карликовый пудель Митя. В квартиру на пятом этаже он приехал в гости вместе со своим хозяином. Когда состоялась первая встреча Моти и Мити—никому не известно, однако, с тех пор и маленький серый пуделёк потерял свой покой.

Когда Мотя садилась перед дверью на пятом этаже и громко лаяла, приглашая, вероятно, Митю погулять, Митя жалобно повизгивал. Мотя долго слушала, наклонив головку, после чего снова лаяла и снова слушала. Наконец, поднявшись на свои короткие лапки, она шла по лестнице вниз. А после прогулки снова проделывала расстояние в пять этажей, чтобы поговорить через дверь с Митей.

Не забывал приглашать на прогулки Мотю и Митя. Когда они с хозяином спускались с пятого этажа, Митя останавливался перед дверью, за которой жила Мотя, и жалобно скулил. Вот только в такие часы Мотя, вероятно, спала и потому никак не реагировала на приглашения Мити.

Встречались на улице Мотя и Митя редко. Зато когда встречались, их счастью не было предела. Митя бегал вокруг своей подруги, прыгал через её толстую спинку, припадал перед ней на лапки. Всего этого Мотя делать не могла, она только громко лаяла и поворачивалась к Мите всем своим толстым тельцем. Затем Митя с громким лаем начинал бегать по двору, а Мотя стояла у подъезда и внимательно следила за ним. Потом Митя снова подбегал к Моте, и снова неповоротливая Мотя, как умела, радовалась своему другу.

Но вот однажды Митя уехал. Мотя поняла это почти сразу, потому перестала ходить на пятый этаж. Она снова гуляет на улице одна и лает на прохожих, сидит подолгу в подъезде возле своей двери, но всякий раз, когда видит хозяйку той самой квартиры на пятом этаже, поднимается на свои короткие лапки и смотрит на неё как-то по-особенному. Но хозяйка обычно проходит мимо Моти, не замечая её. И только вчера, когда Мотя посмотрела на неё и громко тявкнула, хозяйка, улыбнувшись, сказала:

—В июле приедет твой Митя, а ты пока худей, чтобы могла бегать вместе с ним!..

стр. 200 **Абаева Людмила Николаевна**
Москва, 1951 г. р.

Поэт, переводчик. Родилась в г. Кизеле Пермской обл. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Анатолия Жигулина). Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Урал», «День и ночь», а также в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия». Автор книги стихов «Сны и птицы» (2010). Оргсекретарь Союза российских писателей. Лауреат Международной Артийской премии.

стр. 207 **Анкудинов Кирилл Николаевич**
Майкоп, 1970 г. р.

Поэт, литературный критик, эссеист. Родился в г. Златоуст Челябинской области. В 1993 году окончил филологический факультет Адыгейского государственного университета. Служил в армии. Окончил аспирантуру Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. Кандидат филологических наук. Преподаёт на филологическом факультете Адыгейского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Москва», в «Литературной газете», в газетах «Литературная Россия», «День литературы», «EX LIBRIS НГ», во многих центральных и региональных изданиях. Постоянный автор журнала «Бельские просторы» (Уфа), сайтов «Взгляд» и «ЧасКор». Автор поэтических сборников «Магнит» (1994, Майкоп) и «Пёстрая лента» (1996, Москва), участник и составитель многих центральных и региональных поэтических сборников. Составитель трёх изданий антологии-справочника «Современные русские поэты» (в соавторстве с академиком В. В. Агеносовым).

стр. 181 **Антипова Дарьяна**
Москва, 1984 г. р.

Родилась в Красноярске. Выпускница Красноярского литературного лицея (семинар Р. Х. Солнцева), училась в Красноярском государственном университете, в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар А. П. Торопцева). Член Союза писателей России. Работает на кафедре русского языка и стилистики Литературного института им. А. М. Горького и в этнической группе «ВеданЪ КолодЪ». Участвовала в Форумах молодых писателей России, в Форуме молодых писателей, пишущих для детей, в литературных семинарах и форумах в ФРГ, Нидерландах, Сербии.

стр. 13 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980-м окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008) за свод избранных стихотворений «Не такой» (московское издательство «Вест-Консалтинг»). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики: «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век». Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 131 **Бударин Сергей Сергеевич**
Самара, 1990 г. р.

Родился в Новокуйбышевске. Студент Самарского государственного технического университета (факультет автоматики и информационных технологий). Является руководителем поэтического студенческого клуба Самарского технического университета. Стихи пишет с 11-ти лет. Лауреат поэтической номинации регионального конкурса «Мы рождены для вдохновенья — 2011».

стр. 21 **Вебер Вальдемар Вениаминович**
Аугсбург (Германия), 1944 г. р.

Родился в Западной Сибири. Окончил Московский институт иностранных языков. Пишет на русском и немецком. Автор нескольких книг стихотворений. Многочисленные публикации поэтических

текстов в периодике в России, Австрии, Германии, Бельгии, Люксембурге. Переводил с немецкого и нидерландского. В 1970–1990-е годы — составитель ряда известных антологий немецкоязычной поэзии. В 1990–92 годах руководил семинаром художественного перевода в Литературном институте. Основал в Аугсбурге издательства «Waldemar Weber Verlag» и «Verlag an der Wertach».

стр. 37

Гайдук Николай Викторович

Красноярск, 1953 г. р.

Родился на Алтае. Детство прошло в селе Волчихе. Окончил медицинское училище и Алтайский институт культуры. Работал фельдшером, директором Дома культуры, плотогоном, доставщиком телеграмм, заведовал театральным отделом научно-методического центра народного творчества. Стихи печатались в краевых и областных газетах, в центральных издательствах. Первый сборник стихов — «Калинушка-Калина» (1986). В 1988 году вышел сборник прозы Н. Гайдука «С любовью и нежностью», роман «Волхитка». Член Союза писателей России.

стр. 33

Галкина Лика (Татарчук Галина)

Италия, 1966 г. р.

Родилась в Запорожье (Украина, СССР). Выпускница Харьковского государственного университета (факультет филологии и журналистики). В 1994 году эмигрировала в Израиль. В 1996 году окончила первый организованный в Израиле курс для русскоговорящих экскурсоводов; до 2001 года работала в туризме. В 2002 году переехала жить в Италию.

стр. 211

Данилова Наталья Юрьевна

Санкт-Петербург, 1957 г. р.

Родилась в Норильске. До 1982 года жила в Красноярске, где получила высшее образование в педагогическом университете имени В. П. Астафьева. Работала редактором художественных программ на региональной студии телевидения. Переехав в Таллинн в 1982 году, начала творческую деятельность в области литературы. В 90-х годах была художественным руководителем молодёжного театра «Бистро» в Сочи, куда переехала с семьёй в 1988 году. Также работала редактором художественного вещания СГТРК. Автор сценариев развлекательных, детских и молодёжных программ. Стихи и сказки публиковались в журнале «День и ночь».

стр. 136

Есин Сергей Николаевич

Москва, 1935 г. р.

Заочно окончил филологический факультет МГУ (1960). Работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником, артистом, главным редактором журнала «Кругозор». Первая крупная публикация — повесть «Живём только два раза» (1969), напечатанная под псевдонимом С. Зинин в журнале «Волга». Член СП СССР с 1979 года. В 1981 году окончил заочно Академию общественных наук при ЦК КПСС, и в том же году уволился с должности главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио, чтобы полностью посвятить себя литературному труду. С 1987 года преподаватель, в 1992–2006 годах также ректор Литературного института. Член правления (с 1994), секретарь (с 1999) Союза писателей России. Вице-президент Академии российской словесности. Заслуженный деятель искусств РФ. Почётный работник высшего образования РФ. Лауреат Международной премии М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

стр. 159

Захаров Владимир Евгеньевич

Новосибирск, Тусон (США), 1939 г. р.

Поэт, член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра. Автор пяти поэтических сборников и многих журнальных публикаций. Лауреат премии «Петрополь», обладатель медали им. Виктора Розова за достижения в области культуры. Обе награды — за книгу стихов «Перед небом», издательство «Время», 2005 год. Физик, математик, окончил Новосибирский университет (первый выпуск). В университете был одним из основателей Клуба поэтов, существующего доныне. Академик РАН, лауреат Государственных премий СССР и России. Обладатель медали им. Поля Дирака, присуждаемой за выдающиеся достижения в области теоретической и математической физики. В 1992–2003 годах — директор Института теоретической физики им. Ландау. В настоящее время — профессор Новосибирского и Аризонского (Тусон, США) университетов.

стр. 206

Ильинская Владислава

Одесса, 1984 г. р.

Родилась в Одессе, в семье музыкантов. Училась в ОНУ им. И. И. Мечникова (факультет русской филологии). Публикации в газете «Вечерняя Одесса». С 2010 года — член Южнорусского Союза Писателей (Одесская областная организация Конгресса литераторов Украины). Лауреат Третьего Международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции» (2011).

стр. 3

Кавин Николай Матвеевич

Санкт-Петербург

Родился в Ленинграде. После окончания средней школы три года работал на Ленинградском телевидении. Окончил театральное отделение института культуры, работал директором заводского клуба, режиссёром любительских театров в Бокситогорске (Лен. обл.) и Нарве (Эстония). В 1978–1992 годах — актёр, а затем зав. литчастью Красноярского ТЮЗа. С августа 1992 года — журналист «Радио России — Санкт-Петербург». Опубликовал беседы с академиками Д. С. Лихачёвым и А. М. Панченко, писателями В. П. Астафьевым и В. В. Конецким (журналы «День и ночь», «Звезда», газета «Первое сентября»). Литературный исследователь. Впервые по автографам опубликовал многие тексты Д. Хармса. Автор-составитель сборника детских произведений Хармса («Летят по небу шарики», Красн. кн. изд., 1990), автор статей о Д. И. Хармсе и его отце И. П. Ювачёве.

стр. 94 **Каганов Владимир Львович**
Кемерово, 1942 г. р.

Выпускник физико-математического факультета НГУ и Института стран Азии и Африки при МГУ. Был участником областной литературной студии «Притомье». Работал в научных институтах новосибирского Академгородка, заведующим отделом Дома учёных СО АН СССР. В 1983 году вернулся в Кемерово. Работал в Кемеровском университете и в Институте искусств и культуры, занимался литературной и научной работой. Как поэт и критик публиковался в литературных журналах и альманахах, коллективных сборниках. Автор книг стихов: «Ночной разговор» (1991), «День осеннего равноденствия» (1999), «Осиянный шатёр» (2006). Член Союза писателей России.

стр. 12 **Каренина Ирина**
Нижний Тагил, Москва, Минск

Поэт, критик, прозаик. Родилась в Нижнем Тагиле. Училась в Уральском государственном университете им. А. М. Горького (факультет культурологии), но курса не закончила. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Работала корректором, фотомоделью, администратором рок-группы, танцовщицей в кабаре, переводила с английского техническую литературу, вела драмкружок в ашраме кришнаитов, пела в ресторане, была режиссёром экспериментального театра, натурщицей, театральным критиком, пресс-атташе муниципальной администрации, шеф-редактором делового журнала. Автор пяти книг стихов. Редактор-составитель ряда литературных альманахов и книг поэтов Урала и Поволжья. Публиковалась в журналах «Урал», «Пульсар», «Транзит-Урал», «Пролог», в альманахе «Ликбез» и др. Шорт-листёр премии Виктора Астафьева (2009) в номинации «Поэзия». Стипендиат Министерства культуры РФ. Член Союза журналистов России.

стр. 156 **Ковальджи Кирилл Владимирович**
Москва, 1930 г. р.

Родился в бессарабском селе Ташлык (ныне Каменское Арцизского района Одесской области Украины), в болгарско-армянской семье. Его отец, Владимир Иванович Ковальджи (1901–1984), был помощником нотариуса, бухгалтером; мать, Маргарита Николаевна Урфалова (Урфалянц, 1899–1985),— домохозяйкой. Детство К. В. Ковальджи прошло в Кагуле и Аккермане. В 1954 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал журналистом в Кишинёве (1954–1959), консультантом в правлении Союза писателей СССР (1959–1970), зам. главного редактора журнала «Советская литература» (на иностранных языках, 1970–1972), зав. отделом журнала «Литературное обозрение» (1972–1977), зав. отделом критики журнала «Юность» (1977–1990), главным редактором издательства «Московский рабочий» (1992–2000); с 2001 года — руководитель программы «Интернет-журнал „Пролог“» (Фонд СЭИП). Член Союза писателей СССР с 1956 года, секретарь Союза писателей Москвы с 1992 года. Член Русского ПЕН-центра. Член редколлегии альманахов «Кольцо „А“», «Муза», журнала «Юность». Лауреат литературной премии Союза писателей Москвы «Венец» (2000). Заслуженный работник культуры РФ (2006). Публикуется как поэт с 1947 года. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Континент», «Октябрь», «Юность», «Огонёк», «Арион», «Нева» и других. Автор ряда книг стихов («Испытание», 1955; «Голоса», 1972; «После полудня», 1981; «Книга лирики», 1993; «Невидимый порог», 1999; «Тебе. До востребования», 2003; «Зёрна», 2005; «Избранная лирика», 2007) и прозы (роман «Лиманские истории», 1970; «Свеча на сквозняке», 1996; «Обратный отсчёт», 2004). К 80-летию писателя вышло «Литературное досье. Кирилл Ковальджи» (2010). Переводил поэтов Молдавии — Андрея Лупана, Ем. Букова, Г. Менюка, П. Боцу и др., поэтов Румынии — М. Эминеску, Дж. Кошбука, Н. Стэнеску, М. Сореску, М. Динеску и др. Стихи и проза Кирилла Ковальджи переводились на ряд европейских языков, отдельные издания — в Румынии, Польше, Болгарии, Молдавии.

стр. 36 **Коньков Юрий**
Москва, 1976 г. р.

Один из основателей и участник ЛИТО «Рука Москвы» («Рукомос»), главный редактор сайта «ТЕРМИТНИК поэзии», финалист поэтического конкурса на кубок «Кафемакс» (2009), участник поэтических фестивалей «Киевские лавры» и «Поэзия на Байкале» (2010), автор книги стихов «Ржаворонок» (М., 2009).

стр. 194 **Коробкова Евгения**
Карталы (Челябинская обл.), 1985 г. р.

Поэт, переводчик, литературный критик. Студентка Литературного института им. А. М. Горького. Публикации в журналах «Русский репортёр», «Жёлтая гусеница», «Кукумбер», «Арион», «Пролог», «День и ночь», газетах «Вечерняя Москва», «Новые известия», альманахах «Ликбез», «День поэзии». Переводы «Песен невинности и опыта» Уильяма Блейка вышли в 2010 году в издательстве «Рудомино». Стихотворения вошли в третий том «Антологии современной уральской поэзии». Участник фестиваля «СловоNova» (Пермь), 9-го, 10-го и 11-го форумов молодых писателей (Липки).

стр. 9 **Курбатов Валентин Яковлевич**
Псков, 1939 г. р.

Родился в Ульяновской области. Долгое время жил на Урале. Служил на Северном флоте. Окончил ВГИК. Выпустил книги об Астафьеве, гоголевском иллюстраторе А. Агине, М. Пришвине, В. Распутине; автор множества статей по русскому искусству, русской и зарубежной литературе. Член Союза писателей России. Академик Академии российской словесности, лауреат премии Л. Н. Толстого за 1998 год, премий за лучшую работу года журналов «Наш современник», «Литературное обозрение», «Смена», «Урал», «Москва».

стр. 86 **Лейбгор**
Москва, 1948 г. р.

Михаил Горевич и Владимир Лейбович родились в одном и том же году — 1948-м, окончили один и тот же институт, по специальности — математики. В соавторстве, под псевдонимом Лейбгор, ими написаны романы «Венецианец», «Праздники Каина». Роман «Венецианец» (в объёме трети нынешнего текста) — лонг-лист первой номинации «Букера», авторское чтение на радиостанции «Эхо Москвы» в серии передач (1991–1992), публикация романа (примерно треть нынешнего объёма) — в журнале «Волга» (№ 3, 4, 1993). Роман «Праздники Каина» издан (М., «Голдстеп», 1993). Кроме совместного творчества, авторы занимаются и собственным: М. Горевич пишет стихи, автор либретто ряда музыкальных произведений, член СП XXI века. В. Лейбович — библеист, нумеролог.

стр. 127 **Ленский Вениамин (Лебедев Алексей)**
Харьков, 1981 г. р.

Окончил Харьковскую академию физической культуры. Неоднократный лауреат областного конкурса-смотра молодых писателей «Молодая Слобожанщина». Публикации в журналах «Крещатик», «Введенская сторона», «Пролог» и других.

стр. 202 **Лузан Сергей**
Норильск, 1946 г. р.

Родился в г. Благовещенске. Работал матросом на Камчатке. Учился в Москве, был членом СМОГа — «самого молодого общества гениев» 60-х. В 1970 году приехал в Норильск. Работал охотником-промысловиком на Таймыре, заведовал Красным чумом. Был проходчиком на норильских рудниках, журналистом, редактором издательского центра, председателем Таймырского регионального отделения Союза писателей. Публиковал стихи в краевой и местной печати, в ФРГ. Выпустил сборники: «Волчьи звёзды», «Долина семи солнц», «Стая».

стр. 244 **Лунегова Элина Валерьевна**
Липецк, 1979 г. р.

Окончила педагогический университет г. Липецка по специальности «учитель физики», работала в школе, переводчиком и преподавателем итальянского в филиале Белгородского лингвистического университета. Позже поступила в Литературный институт имени Горького на отделение «детская литература» (семинар Р. Сефа) и по его окончании стала членом Союза писателей России. Несколько раз была участницей форумов молодых писателей России в Липках, Переделкино и Тарханах. Публикации в журналах «Встречи» (Чита), «Литературный альманах» (Липецк), интернет-журналах «Пролог» и «Русский переплёт», «Кукумбер» (Москва), газетах «Золотой ключик», «Липецкая газета», «Добрый вечер», «Молодёжный вестник» (Липецк) и некоторых других изданиях. Работает редактором и переводчиком в компании «Фото.ру».

стр. 124 **Няголова Ёлка**
Варна

Известная болгарская поэтесса, лауреат литературной премии имени Христо Ботева, председатель Славянской литературно-артистической академии и главный редактор журнала литературы и искусства «Знаки». Её поэтические сборники неоднократно выходили в Болгарии, Франции, Македонии, Украине, России.

стр. 13 **Попович Марина Лаврентьевна**
Москва, 1931 г. р.

Родилась в городе Велиже Смоленской области. Окончила авиационный техникум, авиационный институт, авиационную академию. Лётчик-испытатель 1 класса. Первой из лётчиков-испытателей — женщин преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21, за что получила прозвище «мадам МиГ» в иностранных СМИ. Полковник ВВС, генерал казачьих войск. 101-кратный рекордсмен мира, кандидат технических наук, Герой Социалистического Труда. Входила в первый отбор женщин — кандидатов в космонавты. Действительный член пяти академий, в том числе — Петровской академии наук и искусств, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, Платоновской академии наук (Франция, Париж). Является гранд-президентом САККУФОНА (Среднеазиатской Казахской Киргизской UFO научной ассоциации). Имеет высшую награду — Большую Золотую Медаль ФАИ. Автор семи книг, в том числе: «Хождение за два маха», «Сёстры Икара», «Старт над облаками», «Автограф в небе», «НЛО над планетой Земля». Принимала участие в написании сценариев к кинофильмам «Небо со мной», «Букет фиалок» и спектаклю «Шутка дьявола». Участник экспедиций в аномальные зоны. Вице-президент Международного Центра-Музея имени Николая Рериха.

стр. 60 **Пшеничников Виталий Фёдорович**
Красноярск, 1948 г. р.

Родился в лесопункте Хабайдак Уярского района Красноярского края, учился в г. Красноярске. Окончил техническое училище, работал слесарем-испытателем на заводе «Красмаш», заочно окончил юридический факультет Красноярского государственного университета, работал следователем прокуратуры, прокурором, судьёй федерального суда. Автор детективной и приключенческой прозы. Член Союза писателей России с декабря 2009 года.

стр. 7 **Саввиных Марина (Наумова Марина Олеговна)**
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети

Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельник «Обзор» (Чикаго), коллективные сборники и антологии. Автор шести книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член Президиума Международного союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 128 **Саидов Мурад Даглaрбекович (Мурад Саид)**
Махачкала, 1982 г. р.

Родом из селения Хрюг Ахтынского р-на, Лезгистан. После школы окончил Дагестанский колледж культуры и искусства. Стихи пишет с 15-ти лет.

стр. 163 **Самошкин Вячеслав Иванович**
Москва, 1945 г. р.

Родился в Пензенской области. Окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор сборника стихов «В сторону (от) СМОГа» (М., «Водолей», 2008) и поэтических переводов из румынской поэзии. Перевёл с румынского роман Ливиу Ребряну «Чуляндра», изданный в Кишинёве. Печатал подборки стихов в «Литературной России», журналах «Юность», «Литературная Молдавия. Кодры», «Китеж-град», альманахах. Член Союза писателей Москвы. В студенческие годы участвовал в объединении СМОГ. Журналист-международник. Работал заведующим бюро РИА «Новости» в Бухаресте, собкором «Известий», «Независимой газеты», «Времени новостей», «Московских новостей» в Румынии. Лауреат премии журнала «Огонёк» за 1982 год.

стр. 17 **Сафронова Наталья Григорьевна**
Красноярск

Родилась в Бирилюсском районе Красноярского края. Стихи пишет с юношеских лет, в последнее время увлеклась прозой. Публикации: коллективные сборники «Енисейские острова»; альманах «Новый Енисейский литератор»; авторский сборник «В небесах души» (Красноярск); альманах «Мост» (Санкт-Петербург).

стр. 125 **Свети (Гийо Светлана)**
Париж

Родилась в Андреаполе, дочь полковника. В детстве много путешествовала. После окончания медицинского института долгое время работала врачом в военно-морском госпитале во Владивостоке, затем в Риге. После второго замужества, в 2006 году, обосновалась в Париже. В 2010 году успешно опубликовала на французском языке свой первый роман из трилогии «Письма из Парижа во Владивосток: Как я украла миллионера» («J'ai volé le trésor de la France», Ed. Paulo-Ramand, France). В 2011 году в Париже, в известном издательстве «Publibook», увидел свет её второй том — «Нежный дождь».

стр. 74 **Селянинов Владимир (Жунин Владимир Николаевич)**
Красноярск, 1935 г. р.

Родился в Заозёрном Красноярского края. Окончил лесоинженерный факультет СибЛТИ. До выхода на пенсию в 1995 году работал на стройках края. Автор книг «Очень хочется умереть» и «Земля трясётся». Публикации в журнале «День и ночь», других журналах и газетах. Член Союза российских писателей.

стр. 191 **Семёнов Владимир Анатольевич**
Железногорск, 1957 г. р.

Выпускник Красноярского политехнического института по специальности «инженер-механик». Работал в НПО ПМ (сейчас ОАО ИСС). С 1985 по 1992 годы трудился лесником в «Горлесхозе». 1993–1994 годы — начальник учебного цеха в колледже. С 1994 года по настоящее время — профессиональный писатель (сатирик и юморист).

стр. 134 **Стариков Алексей Николаевич**
Кривой Рог, 1945 г. р.

Родился в селе Аннино Московской области. Сначала родители будущего поэта переехали в Казахстан, затем — в украинский город Кривой Рог, с которым связана практически вся его жизнь. Выпускник электротехнического факультета Криворожского горнорудного института. Писать стихи начал в студенческие годы. В 1975 году окончил аспирантуру, занимался преподавательской деятельностью. Регулярно печатался во всесоюзных и республиканских детских журналах. В 1980 и 1981 годах принимал участие в литературных семинарах журнала «Костёр». Алексей Стариков — кандидат технических наук, член Союза писателей СССР и Национального союза писателей Украины.

стр. 176 **Степанов Евгений Викторович**
Москва, 1964 г. р.

Выпускник факультета иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университета христианского образования в Женеве и аспирантуры факультета журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Литератор, издатель, культуролог. Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий. Генеральный директор издательства и типографии «Вест-консалтинг». Издатель и главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ» и др. Член Союза журналистов Москвы, Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка. Президент Международного Союза писателей XXI века.

стр. 95 Сыромятников Алексей

Самара, 1982 г. р.

Выпускник филологического факультета Самарского государственного университета. Член Самарской областной организации молодых литераторов. Публиковался в областных литературных журналах «Русское эхо», «Молодёжная волна», альманахе «Лабиринт». Лауреат журнала «Русское эхо» за 2010 год.

стр. 243 Уланова Людмила

Казань, 1966 г.р.

Выпускница факультета иностранных языков (Нижний Новгород). Работает переводчицей в компьютерной фирме. Автор более десятка книг для детей, выпущенных издательствами «Эксмо», «Дрофа», «Лабиринт Пресс» и других.

стр. 161 Фоняков Илья Олегович

Санкт-Петербург, 1935 г. р.

Родился в Бодайбо Иркутской области, в семье служащих. Работал литературным сотрудником в новосибирской областной газете «Советская Сибирь», собственным корреспондентом «ЛГ» по Сибири, затем в Ленинграде. Печатается с 1950 года. Автор нескольких книг стихов, очерковой и критической прозы. Переводил поэзию народов СССР. Множество публикаций в популярных российских и зарубежных литературных журналах. Член СП СССР (с 1961). Награждён медалью «За доблестный труд» (1970), Почётной грамотой Президиума ВС Грузинской ССР.

стр. 204 Хромова Светлана

Москва, 1982 г. р.

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького и Московскую государственную юридическую академию. Публикации: «Литературная учёба», «Пролог», «Дети Ра», «Алконостъ» и другие.

стр. 165 Хугаев Ирлан Сергеевич

Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии—Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь».

Редакционная подписка

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2012 год стоит 1500 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 250 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 243 06 38,
e-mail: disksid@mail.ru

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика)　　　______________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

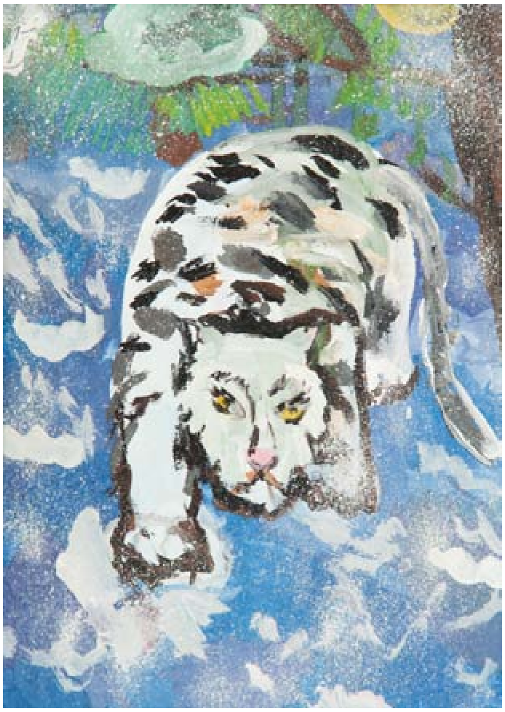
Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

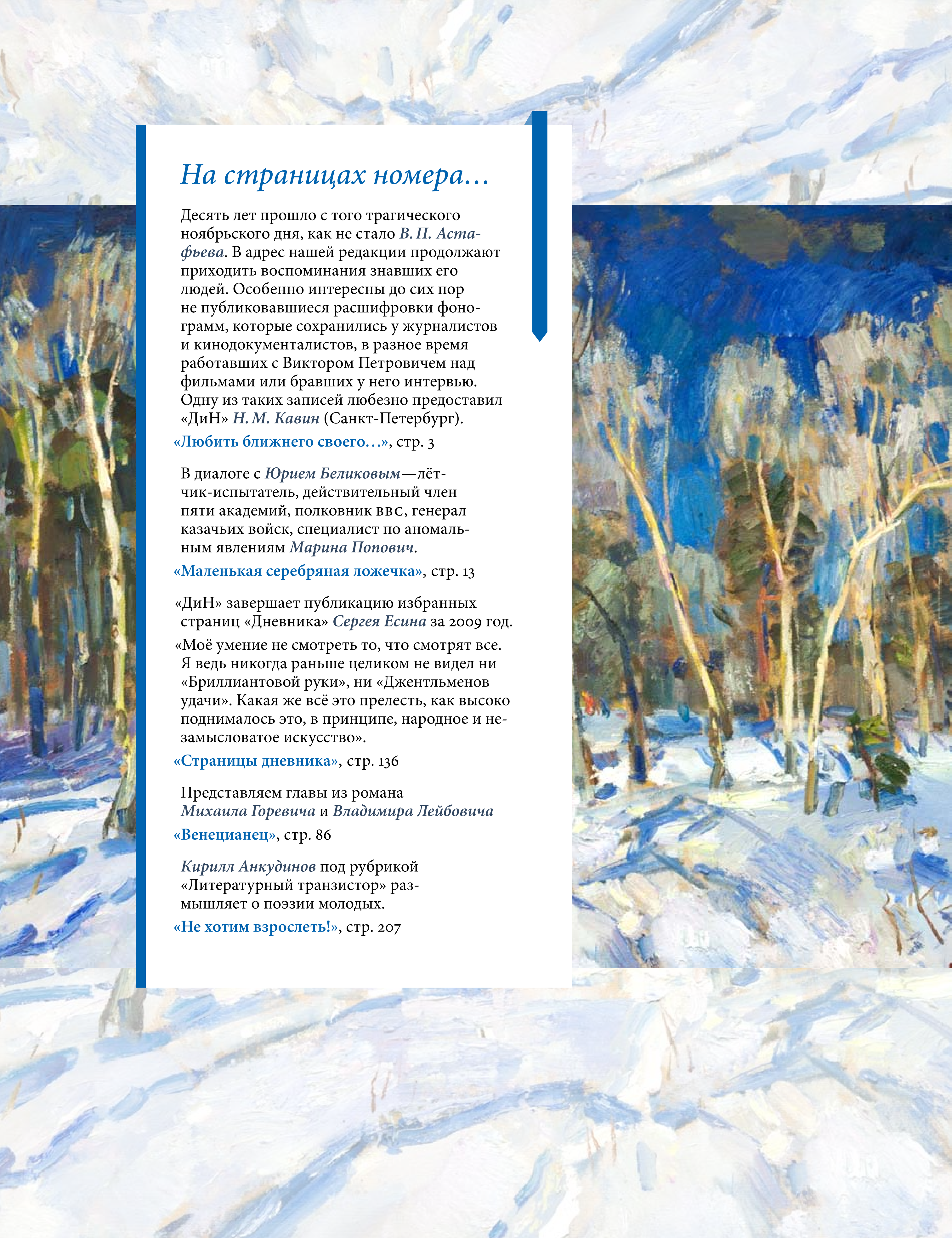
______________________ (подпись плательщика)　　　______________________ (дата платежа)

Михаил Морозов, 14 лет | **«Сладкий сон» | уголь | преподаватель О. И. Тимохин**

Таня Ковалёва, 11 лет | **«Бородатая неясыть»**
преподаватель О. В. Полякова



Таня Чащина, 11 лет
«Снежный барс»



На страницах номера…

Десять лет прошло с того трагического ноябрьского дня, как не стало *В. П. Астафьева*. В адрес нашей редакции продолжают приходить воспоминания знавших его людей. Особенно интересны до сих пор не публиковавшиеся расшифровки фонограмм, которые сохранились у журналистов и кинодокументалистов, в разное время работавших с Виктором Петровичем над фильмами или бравших у него интервью. Одну из таких записей любезно предоставил «ДиН» *Н. М. Кавин* (Санкт-Петербург).

«Любить ближнего своего…», стр. 3

В диалоге с *Юрием Беликовым* — лётчик-испытатель, действительный член пяти академий, полковник ВВС, генерал казачьих войск, специалист по аномальным явлениям *Марина Попович*.

«Маленькая серебряная ложечка», стр. 13

«ДиН» завершает публикацию избранных страниц «Дневника» *Сергея Есина* за 2009 год.

«Моё умение не смотреть то, что смотрят все. Я ведь никогда раньше целиком не видел ни «Бриллиантовой руки», ни «Джентльменов удачи». Какая же всё это прелесть, как высоко поднималось это, в принципе, народное и незамысловатое искусство».

«Страницы дневника», стр. 136

Представляем главы из романа *Михаила Горевича* и *Владимира Лейбовича*

«Венецианец», стр. 86

Кирилл Анкудинов под рубрикой «Литературный транзистор» размышляет о поэзии молодых.

«Не хотим взрослеть!», стр. 207